

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ



# КАРЕЛЬСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ



Издание подготовила  
У. С. КОНКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА · ЛЕНИНГРАД

1963

Общая редакция  
доктора филологических наук В. Я. ЕВСЕЕВА

Редакция текстов  
кандидатов филологических наук А. А. БЕЛЯКОВА  
и Г. Н. МАКАРОВА



## ПРЕДИСЛОВИЕ

При составлении настоящего сборника его составитель У. С. Конкка пользовалась фольклорными записями, сосредоточенными в архиве Карельского филиала АН СССР и собранными в разные годы на протяжении тридцати лет существования Карельского научно-исследовательского института, на базе которого позднее возник Институт языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР.

Кроме записей фольклористов — примерно две тысячи вариантов карельских сказок (которые в большинстве случаев до составления настоящего сборника были классифицированы по указателю сказочных сюжетов, составленному по системе Андреева—Аарне), — Карельский филиал располагает больше чем пятьюстами текстами карельских сказок, записанными силами языковедов филиала, а также звукозаписями карельских сказок.

Данному изданию карельских народных сказок предшествовала публикация ряда научно-популярных сборников карельских сказок, но лишь в некоторых из них примечания дают ссылки на указатель сказочных сюжетов. В трех сборниках тексты карельских сказок печатались в переводе на русский язык, в двух — только на карельском языке, и в одном сборнике карельские сказки даны в обработке на финский язык.

Подготовка данного тома научного издания карельских народных сказок, где рядом с карельскими текстами даются переводы на русский язык, была сопряжена с рядом трудностей. В настоящем сборнике представлена сказочная традиция северных карел разных районов Карельской АССР. Необходимость выделения сказок данной группы карел в отдельный том вызывается тем, что эти сказки во многих отношениях отличаются от южнокарельских сказок.

Южнокарельские (диввиковско-людиковские) сказки и сказки карел Калининской и Новгородской областей целесообразно издать отдельно.

Для того чтобы примечания к сказкам не теряли своего прямого назначения, чтобы читатель сборника получил представление о вариантности карельского сказочного эпоса, многие сюжеты

в данном сборнике даны в нескольких вариантах. Сборник содержит лишь часть бытующих среди карел сказочных сюжетов. Другие сюжеты сказок, представленные в хранящихся в архиве записях, будут использованы в других изданиях карельских народных сказок. Таковы, например, отсутствующие в данном сборнике, но имеющиеся в значительном количестве варианты сказки на сюжеты: «Марко Богатый» (А.—А. 461), «Дочь людоедка» (А.—А. 466), «Медный лоб» (А.—А. 502), «Лешие, обманутые бедным героем, выполняющим трудные задания при помощи шапки-невидимки» (А.—А. 518), «По щучьему велению» (А.—А. 675), «Безручка» (А.—А. 706), «Мертвая царевна» (А.—А. 709), «Доли богатого и бедного брата» (А.—А. 735), «С деньгами все возможно»: сын бедняка в золотом козле проникает к царевне и добывается ее руки (А.—А. 854); загадку осужденного бедняка судья не может разгадать и освобождает его (А.—А. 927), и многие другие.

В последующих изданиях карельского сказочного эпоса необходимо использовать и сюжеты многих бытовых сказок, не представленных в данном сборнике. Стоит вопрос о публикации богатырских карельских сказок, в частности, сказок на сюжеты карельских эпических песен и русских былин.

Намечается печатание карельских преданий в сказочном изложении; хотя такая форма изложения несет на себе печать индивидуального творчества, однако имеет явно выраженный традиционный характер.

Наконец, желательно учесть некоторые, в идейно-художественном отношении более интересные, современные советские сказочные образования, хотя они появляются лишь в репертуаре отдельных, преимущественно южнокарельских сказителей и не бытуют среди других исполнителей карельских сказок.

В последующих изданиях карельских сказок представится возможность дать статью о поэтическом языке сказок и более развернутый научный комментарий (подробный предметный указатель сюжетов и мотивов всех карельских сказок, сравнительный материал к ним из неполностью использованных в примечаниях к этому сборнику публикаций карельских сказок и неиспользованных сказок других финно-угорских народов и ряд других, в частности этнографических сведений, необходимых в сводном комментарии к карельским сказкам всех типов).

В публикуемом ныне сборнике карельских сказок использована меньше чем двадцатая часть записей карельских сказочных текстов, сосредоточенных в архиве Карельского филиала АН СССР.

В этом сборнике печатается четыре карельские сказки, расшифрованные с магнитофонной записи; в дальнейшем есть возможность увеличить количество публикаций таких записанных на магнитофонную ленту карельских сказок по сравнению с другими записями.

В последующие издания карельских народных сказок будут включены частично и сказки на такие сюжеты, которые уже представлены в данном сборнике, но у южных карел (ливвиков и лядиков) и у карел Калининской и Новгородской областей сильно отличаются от сказочной традиции северных карел Карельской АССР.

Карельские тексты сказок даются в сборнике в фонематической транскрипции. Знак мягкости над согласным, стоящим перед нейтральным гласным *i*, не ставится, поскольку в говорах согласные в этом положении различаются лишь как мягкие и полумягкие, и никакой смысловой разницы в этих случаях нет. По той же причине и в словах переднего вокализма мягкость не обозначается, но *d*, употребляемый в говорах на месте *j*, дается со знаком мягкости.

Применение скобок — квадратных и круглых — вызывается необходимостью дать в текстах карельских сказок и их переводах в первом случае объяснения составителя сборника, во втором случае — объяснения сказочника.





## О СОБИРАНИИ И НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КАРЕЛЬСКИХ СКАЗОК

Собирание и изучение карельской сказки, как и других жанров карельского народного творчества, имеет своеобразную историю. До Октябрьской революции карельский народ не имел своих научных кадров, и поэтому его история, экономика, этнография, народное творчество изучались главным образом русскими и финскими учеными, живущими за пределами Карелии.

К серьезному собиранию образцов карельского устного народного творчества первыми обратились финские ученые и любители народной поэзии.

В первые десятилетия XIX в., до создания Финского литературного общества (1831 г.), сказки в Карелии почти не собирались. По свидетельству М. Хаавио,<sup>1</sup> Леннрот записал первую сказку в 1833 г. в деревне Понгалахти (в нынешнем районе Калевалы). Во время поездки 1836 г. Леннрота сопровождал студент Гельсингфорского университета Каян, которому Литературное общество поручило собирать только сказки. В этот раз и сам Леннрот записал 51 сказку (по другим данным — 80 сказок). К сожалению, коллекция сказок Леннрота не опубликована полностью. Нам известны только сюжеты этих сказок по указателю Аарне.<sup>2</sup> Частично сказки, собранные Леннротом, были опубликованы в разных изданиях.<sup>3</sup>

Известный этнограф, лингвист и фольклорист Кастрен записывал сказки во время своей поездки в Карелию в 1839 г. Он пришел к заключению, что многие карельские сказки являются переводами русских сказок. Крупнейшие собиратели 40-х годов XIX в. Эуропеус, Рейнхольм и Альквист, кроме рун, также записывали сказки.

Первое издание финских и карельских сказок под названием «Сказки и предания финского народа»<sup>4</sup> предпринял ученик

<sup>1</sup> M. Haavio. Kansanrunouden keruu ja tutkimus. Helsinki, 1931, стр. 38.

<sup>2</sup> Aarne (см. список сокращений).

<sup>3</sup> E. Lönnrot: 1) Om det nordtschudiska språket. Akademisk afhandling, Helsingfors, 1853; 2) «Mehiläinen», 1836—1840.

<sup>4</sup> Suomen kansan satuja ja tarinoita. Toimittanut Eero Salmelainen. Helsinki, 1. osa, 1852; 2. osa, 1854; 3. osa, 1856; 4. osa, 1866.

Кастрена Эро Салмелайнен (Эрик Рудбек). Первая часть этого сборника вышла в 1852 г., последующие в 1854, 1856 и 1866 гг., всего 4 части.

Характерно название сборника Салмелайнена, объединяющее карельские и финские сказки в единый сказочный эпос. Такое приращение народного творчества карел к народному творчеству финнов было свойственно всем финским собирателям и исследователям того времени. Вследствие этого, например, «Калевала» была известна ученым других стран только как финский эпос. Финские исследователи, как и русские этнографы XIX в., относили карел к «финскому племени». Юлиус Крон, подчеркивая роль карел в создании эпических циклов и художественном совершенствовании рун, писал: «Мы можем с полным правом считать „Калевалу“ общим творением и достоянием всего финского народа» (т. е. карел и финнов).<sup>5</sup>

Объективно это обстоятельство сыграло свою положительную роль. Оно сберегло для науки интересный, богатый материал, который пропал бы бесследно, если бы финские ученые не обратились к изучению карельского языка и народного творчества. Карельское народное творчество благодаря своему богатству и высокой художественности не могло не привлекать внимания таких энтузиастов, как Ленрот и другие известные собиратели XIX в. Из тех произведений народного творчества, которые являются общими для карел и финнов, именно среди карел, живущих по обе стороны русско-финской границы, зачастую были записаны лучшие и наиболее полные варианты.

С самого начала зарождения сравнительного сказковедения в Финляндии карельская сказка широко использовалась финскими сказковедами как материал для изучения сказки с позиций теории заимствования. Финские исследователи не ставили своей целью изучить национальные особенности карельской сказки; она рассматривалась как восточнофинская сказка, которая, по мнению компаративистов, заимствована у русских, в отличие от западнофинской, т. е. собственно финской сказки, заимствованной у германских народов.

Финский ученый Э. Аспелин, который в конце XIX в. был организатором собрания фольклора, неоднократно подчеркивал значение собрания сказок. В частности, он призывал собирать сказки в «русской» Карелии, подчеркивая, что знакомство со сказками разных местностей важно для исследования путей странствования сказок. Эта целенаправленность ярче всего выразилась в собирательской и исследовательской практике Каарле Крона.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> J. Krohn. Suomalaisen kirjallisuuden historia, I. Kalevala. Helsinki, 1884, стр. 378.

<sup>6</sup> Об этом подробнее см. в статье: У. Кожика. «Финская швед» о сказке. Труды Карельского филиала АН СССР, вып. XX. Вопросы литературы и народного творчества, Петрозаводск, 1959.

Н. Крон, подобно Э. Салмелайнену, поместил карельские сказки наряду с финскими в свой сборник «Финские народные сказки»,<sup>7</sup> в первый том которого вошли сказки о животных, во второй — волшебные сказки.

Начиная с 60-х годов XIX в. карельские сказки наряду с финскими стали публиковаться как материал для изучения диалектов главным образом в ежегодниках «Suomi».<sup>8</sup> Интересный сказочный материал мы находим и в трех языковедческих выпусках «Образцы карельского языка»,<sup>9</sup> в которые наряду с новыми вошли и старые записи XIX в., сделанные финскими лингвистами.

Со второй половины XIX в. карельская сказка стала привлекать внимание отдельных представителей местной русской интеллигенции. В «Олонецких губернских ведомостях» за 1875 г. было напечатано несколько карельских сказок на карельском языке с русским переводом.<sup>10</sup>

В конце XIX в. карельские сказки собирал учитель Святозерской церковно-приходской школы Н. Ф. Лесков. Несколько сказок Н. Ф. Лесков напечатал в журнале «Живая старина»,<sup>11</sup> но только в русском переводе, без карельского текста.

Общезнавестен интерес русских научных кругов к карело-финскому эпосу, пробудившийся оразу же, как только были записаны первые эпические песни в Карелии. Со второй половины XIX в. внимание русских исследователей стала привлекать карельская и финская сказка. И. А. Худяков в книге «Материалы для изучения народной словесности» в VII разделе «Образцы финских сказок» перепечатал в русском переводе 15 сказок из сборника Э. Салмелайнена. Из них 7 сказок записаны в Карелии, 5 в районах Финляндии, населенных карелами, остальные 3 текста в собственно Финляндии. Цель, которую преследовал И. А. Худяков, перепечатав эти сказки, выражена им в следующих словах: «Поразительное сходство финских сказок с русскими, дающее повод думать, что они, может быть, перешли к финнам от нас, и побуждает нас обратить на них внимание наших исследователей».<sup>12</sup> Это предположение И. А. Худякова относительно заимствования сказок финнами (в данном случае, карелами) у русских было вызвано низким уровнем сказковедения того времени. Сказки разных народов были еще настолько мало изучены, что всякое сходство прежде всего бросалось в глаза. На самом же деле сказки, которые приводятся в книге И. А. Худякова, существенно отличаются от русских. Об-

<sup>7</sup> SKS I, II.

<sup>8</sup> Suomi, II jakso, №№ 8 (1867), 14 (1881), 17 (1885); III jakso, № 3 (1889).

<sup>9</sup> KKN I, II, III.

<sup>10</sup> «Олонецкие губернские ведомости», 1875, № 28, стр. 321.

<sup>11</sup> «Живая старина», год IV, вып. I—II, СПб., 1894.

<sup>12</sup> И. А. Худяков. Материалы для изучения народной словесности. СПб., 1863, стр. 50.



щее между ними то, что является общим для сказок очень многих народов, в первую очередь европейских.

Ряд наиболее распространенных карельских и финских сказок в целях сравнительного изучения опубликовал А. Аарне в русских журналах «Живая старина» и «Этнографическое обозрение»<sup>13</sup>. Аарне не приводит полных текстов, а дает лишь сжатый пересказ сюжета на русском языке, не указывая места записи по той причине, что сказки эти являются общераспространенными.

\* \* \*

Первые фольклорные записи и статьи о карельском народном творчестве после Октябрьской революции принадлежат фольклористу Г. Х. Богданову, карелу, уроженцу района Калевалы. В 1927 и 1928 гг. он, в составе карельской этнологической экспедиции Академии наук СССР под руководством проф. Золотарева, произвел записи и наблюдал живое бытование отдельных жанров народного творчества в северной Карелии. На территории современного района Калевалы и Лоужского района Г. Х. Богданов записывал главным образом стихотворные жанры, предания и побывальщины.

Только с 30-х годов начинается планомерное собирание сказок. В 1934 г. были сделаны первые записи сказок от известной севернокарельской сказительницы Марии Андроновны Ремшу из Вокнаволока; основной репертуар ее был записан в 1937—1941 гг.

Наиболее интенсивной была собирательская работа по сказке в предвоенные 1936—1941 гг. За это время было собрано свыше тысячи сказочных текстов, что составляет две трети общего количества карельских сказок, записанных в годы советской власти. Собирание сказок в этот период осуществлялось сотрудниками Карельского научно-исследовательского института культуры с помощью студентов Карельского педагогического института и Педагогического училища. Большой вклад в фольклорные фонды Карелии сделали собиратели К. Белова, Ф. Титкова, Ф. Фомкин, Г. Телкин, А. Николаевская, записывавшие сказки главным образом в южных районах Карелии. Из собирателей севернокарельских сказок довоенных лет следует отметить В. Кормуева, Аппикину, Я. Ругоева, О. Демидову-Пергамент, Т. Ананину, И. Яковлева. Ряд собирателей записывали как в северной, так и в южной Карелии: такими П. Куйжка, И. Пажлаков, Н. Хрисанфов. В предвоенные годы были выявлены наиболее интересные сказочники: М. А. Ремшу и М. М. Хотеева из северной Карелии, Т. Е. Туруев и М. И. Морозова из средней Карелии, А. К. Исаков, В. А. Соболев, П. Н. Уткин, С. И. Иванов из южной Карелии и многие другие.

<sup>13</sup> «Живая старина», год VIII, вып. I, стр. 105—110; год XI, вып. I, стр. 75—80; вып. II, стр. 217—220; «Этнографическое обозрение», кн. XXXVI, 1898, № 1, стр. 114—125; кн. XXXVII, 1898, № 2, стр. 125—128.

После Великой Отечественной войны была выявлена еще одна выдающаяся сказочница — М. И. Михеева (как исполнительница эпических рун она была известна раньше). В 1947—1948 г. сотрудница Института истории, языка и литературы Карельского филиала АН СССР Э. Тимонен записала весь обширный репертуар сказок М. И. Михеевой (по данным Архива Карельского филиала АН СССР — 92 сказки).

Если такие районы, как район Калевалы, Олонецкий, Пряжинский в отношении сказочного репертуара обследованы более или менее удовлетворительно, то некоторые районы Карелии выпали из поля зрения фольклористов. Например, из Кондопожского района до 1957 г. мы не имели ни одной карельской сказки, а изучение сказочного репертуара этого района могло бы много дать для исследования русско-карельских фольклорных связей, поскольку здесь карельские и русские крестьяне издавна живут в близком соседстве. Мало записано сказок в таких районах с коренным карельским населением, как бывший Тунгудский, Ругозерский, Кестеньгский, Ведлозерский.

Изучение карельской сказки в сильной степени затруднено почти полным отсутствием научных публикаций сказок. То немногое, что опубликовано в Финляндии (главным образом в XIX в. и в первые десятилетия XX в.), рассеяно по отдельным сборникам и периодическим изданиям. После Октябрьской революции у нас опубликовано незначительное, по сравнению с имеющимися записями, количество сказок.

Первый сборник сказок, составленный К. Беловой, куда вошли в основном записи из материалов Олонецкой экспедиции 1936 г., вышел в 1939 г. на карельском языке под названием «Карелиян рахвахан суарнат» («Сказки карельского народа»).<sup>14</sup> В сборник вошел 31 сказочный текст, среди которых 20 волшебных и 11 бытовых сказок. В сборнике представлены наиболее характерные для южной Карелии сюжеты. В 1940 г. К. Белова начала работать над составлением научного сборника карельских сказок под руководством профессора Н. П. Андреева, но это ценное начинание было прервано войной: составительница К. Белова трагически погибла во время воздушного налета вражеских самолетов.

В 1945 г. вышел из печати сборник сказок Марии Ремшу, известной севернокарельской сказочницы и исполнительницы эпических песен.<sup>15</sup> В сборник вошла 21 сказка из 57, записанных от М. Ремшу, из них 4 сказки о животных, 9 волшебных и 8 бытовых. Сказки напечатаны на севернокарельском диалекте, без литературной обработки, что является заслугой составительницы сборника П. Куйкка.

<sup>14</sup> Белова.

<sup>15</sup> Remsu.

В 1947 г. вышли «Карельские сказки» в русском переводе И. Пашлакова.<sup>16</sup> Но при изучении карельской сказки этим сборником следует пользоваться осторожно, так как сказки в нем подвергнуты литературной обработке и изменениям, имеющим принципиальное значение. В сборнике представлены сказки из разных районов республики в количестве 38 текстов (3 сказки о животных, 23 волшебных и 12 бытовых).

В сборнике «Карельский фольклор» (на русском языке), составленном В. Я. Есеевым,<sup>17</sup> наряду с образцами других жанров народного творчества карел представлены и сказки. Всего здесь напечатано 27 сказок, из них сказок о животных 3, волшебных сказок 13, бытовых 8 и 3 русских былины в сказочном изложении на карельском языке.

В послевоенные годы вышел сборник карельских сказок на финском языке. Это «Карельские народные сказки», записанные от М. И. Михеевой.<sup>18</sup> Составительница сборника Э. Тимонен преследовала не научные, а популяризаторские цели: тексты подвергнуты литературной обработке и даны на финском литературном языке, в результате чего в какой-то степени стерся карельский колорит сказок.

Наконец, в 1959 г. вышел еще один популярный сборник на русском языке — «Карельские народные сказки».<sup>19</sup> В сборник вошло 46 сказок и 5 преданий из разных мест Карелии (сказок о животных 9, волшебных 17, бытовых 20).

В карельском репертуаре по имеющимся записям на первом месте стоит волшебная сказка, составляющая примерно 60% из общего числа (около 2000 текстов), хранящихся в Архиве Карельского филиала записей сказок. На втором месте по количеству записей находятся бытовые и новеллистические сказки, составляющие около 35% записей. Сказки о животных представлены неожиданно малым количеством текстов — всего 3%, легендарных сказок записано около 0,5%.

Нельзя с достоверностью сказать, насколько реально такое соотношение видов сказок для северных и средних районов Карелии, но, очевидно, оно более или менее характерно для сказочного репертуара южной Карелии. Олонецкая фольклорная экспедиция 1936 г., целью которой, как указывалось в отчете экспедиции, было выявление живого бытования всех жанров в этом районе, показала следующее: волшебных сказок 206, бытовых и новеллистических 188, сказок о животных 18, легендарных сказок 2.

Сравнивая финские публикации карельских сказок с записями, сделанными у нас после Октябрьской революции (начиная с 30-х годов), мы обнаруживаем, что количество сатирических ска-

<sup>16</sup> Пашлаков.

<sup>17</sup> Есеев.

<sup>18</sup> Михеева.

<sup>19</sup> Конька.

... сильно возросло. Объясняется ли это только интересом собирателей? Известно, что финские собиратели XIX в. пренебрегали сатирическими сказками, находя их мораль «низкой». С другой стороны, советские собиратели особое внимание уделили именно сатирической сказке, до этого мало известной в публикациях и почти не изученной. И хотя у нас нет данных о бытовании и роли сатирической сказки в XIX в., можно предполагать, что уже тогда карелы имели развитую сатирическую сказку, которая служила народу, не имевшему письменной литературы, своего рода публицистикой. Сейчас среди взрослого населения явно наблюдается утрата интереса к волшебной сказке, хотя ее еще рассказывают детям, а также по просьбе собирателей. Читая записи карельских волшебных сказок, сделанные после революции, нередко поражаешься тому, насколько иногда обстоятельно, в реалистическом плане развернута «предыстория» сказки, в то время как основное действие, середина сказки, часто передано схематично, наспех, без интереса.

Наоборот, бытовая, в частности сатирическая, сказка еще может возбудить интерес даже взрослого населения благодаря комическому, что всегда высоко ценится в народе. Собирателям приходилось не раз наблюдать, как живо воспринимается взрослыми веселая сказка, а это в свою очередь обуславливает и мастерство исполнения, и богатую вариантность — элемент индивидуального творчества, импровизацию.

Хотя сказка в условиях Карелии еще и продолжает жить, есть основания говорить о ее угасании. Это вызвано целым комплексом причин, короче — коренным переломом всего жизненного уклада карельского крестьянина, лесоруба, рыбака. Усилились и умножились связи с окружающим миром. Книга, газета, радио, электричество создали новую бытовую обстановку в каждой семье, мало благоприятствующую культивированию сказок. По свидетельству самих сказочников, сейчас редко приходится рассказывать сказки, поэтому они забываются и теряют свои художественные достоинства: постоянные упражнения, необходимые для успешного исполнения любого произведения искусства, отсутствуют. По свидетельству хорошей исполнительницы сатирических сказок И. Р. Хитвала из Ухты, она рассказывает сказки только на сенокосе или на рыбной ловле, где собирается группа людей, и, оторванная от домашних дел, из-за отсутствия книг, электричества, радио коротает время, слушая сказки или распевая песни. В такой обстановке и поныне хорошо рассказанная сказка — желанное удовольствие.

Нельзя не согласиться с признанием ныне покойной сказительницы из района Калевалы Е. И. Хямяляйнен, которая мне летом 1954 г. говорила: «Были же раньше старинщики,<sup>20</sup> и умели же они

<sup>20</sup> В собственно карельском диалекте сказка называется *starina* (старина), а сказочник — *starenšikka* (старинщик).

рассказывать! Вот было воображение у людей! Теперь литература и культура, нет времени на посиделки по вечерам, литература взяла верх. Старики ушли, а к молодым не пристало (искусство рассказывания сказок)».

Сейчас уже на деревенские празднества специально не приглашают из другой деревни известного сказочника занимать хозяев и гостей — явление, имевшее место еще в начале XX в. В наше время имеется немало других средств для удовлетворения эстетических потребностей жителей самых отдаленных деревень. Постепенное снижение мастерства рассказывания сказок непосредственно связано с культурным строительством в деревне. Почти любой из старшего и среднего поколения еще назовет поддесятка имен выдающихся сказочников, умерших два-три десятилетия тому назад, от которых никто никогда не записывал сказок. Рассказывают, что проживавшие в деревне Каменное озеро района Калевалы братья Лесонены славились на весь район как исполнители сатирических сказок и анекдотов и что в 20-е годы ни один вечер в местном клубе не проходил без выступления которого-либо из этих братьев-сказочников.

При стремительном развитии деревни, при вторжении разнообразных новых форм искусства в крестьянскую среду случается, что старые сокровища начинают недооцениваться и забываться. На вопрос: «Почему сейчас мало рассказывают сказок?» — житель деревни Ювалакша района Калевалы П. Ф. Кениев летом 1959 г. ответил: «Прежде женщины и дети собирались в каком-нибудь одном доме (и рассказывали сказки), а теперь идут в кино и смотрят там те же самые сказки». Его жена Степанида Кениева решительно заявила: «Я лучше книгу почитаю, чем пойду к соседям, там только друг друга судят. Я пришла к такому выводу. Но только по-русски как не умеешь читать, так словно наполовину слепая. По-фински ведь так мало печатают. А кто и по-фински не умеет читать, тот совсем слепой. Дети охотнее по книгам читают те же сказки, нынче они не хотят даже и слушать их».<sup>21</sup>

Такие высказывания симптоматичны, несмотря на то, что сейчас еще можно найти среди старшего и среднего поколения, реже — среди молодежи, немало таких людей, которые охотно расскажут несколько сказок. Но, как уже говорилось, для того чтобы сказка жила своей естественной жизнью, нужна соответствующая обстановка. В той же деревне Ювалакша мне прошлым летом в одном доме рассказывали, что когда у них зимой останавливаются на ночлег обозники из Вокнаволока, то целыми вечерами и ночами рассказывают сказки.

И, конечно, как везде и всюду, сказки рассказывают детям. Сказочница Тимофеева из села Реболы, например, любит рассказывать сказки о животных, волшебных помнит мало, а бытовых

сказок в ее репертуаре совсем нет. Она объясняет это тем, что у нее есть маленькие внуки, которым она рассказывает сказки о животных — более сложных сказок они еще не в состоянии понять.

\* \* \*

В карельском сказочном репертуаре представлены все известные жанровые разновидности сказки: сказки о животных, волшебные, легендарные, авантюрно-новеллистические, бытовые сказки и сказки-анекдоты.

Ниже мы попытаемся разобраться в некоторых специфических чертах сюжетики и художественных особенностей карельской сказки. Те наблюдения, которые будут здесь изложены, не претендуют на исчерпывающее освещение особенностей карельской сказки. Чтобы иметь возможность всесторонне охарактеризовать национальные особенности сказок Карелии, остается еще положить много труда по собиранию и изучению карельских сказок.

В дальнейшем будут рассмотрены три основные группы сказок: сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. Следует оговориться, что в разделе «Бытовые сказки» рассматриваются не только собственно бытовые сказки, но и новеллистические, поскольку между теми и другими подчас бывает трудно провести границу.

**Сказки о животных.** В прошлом карелы имели богатый животный эпос. Карельским сказкам о животных повезло больше, чем сказкам волшебным и бытовым: большое количество их опубликовано в первой части сборника К. Крона «Финские народные сказки». Из 328 номеров сказок в этом сборнике 128 номеров записаны в Карелии. Сказки, опубликованные в сборнике К. Крона, в сюжетном отношении весьма разнообразны, но первое место по количеству сюжетов занимают сказки о лисе и медведе. Кроме сюжетов, бытующих у русских, почти все сюжеты, зарегистрированные в указателе А. Аарне, но неизвестные у русских, имелись, судя по сборнику К. Крона, как у финнов, так и у карел (см.: А.—А. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 20В, 31, 33, 36, 56А, 70, 90, 105, 120, 226, 232, 252, 280). Карельский животный эпос и финский настолько близки, что есть основание говорить об общем карело-финском животном эпосе, как мы говорим о героическом эпосе — общем достоянии карел и финнов. Правда, животный эпос, имевший тенденцию циклизации вокруг образа лисы, не получил у карел такого законченного вида, как героический эпос. По данным публикаций XIX в., эта циклизация у финнов была более интенсивной, чем у карел.

Кроме собственно сказок о животных, в Карелии еще в прошлом веке бытовала масса этиологических рассказов о различных свойствах и особенностях зверей, птиц и рыб. Рассказывали, на-

пример, почему у зайца кончики ушей черные и почему у него «заячья» губа; почему у лисы грудка белая, почему у медведя нет хвоста, почему у гагары ноги находятся не там, где у других птиц, и т. д. Многие сказки имеют этиологические концовки: например, популярная сказка о том, как медведь удил рыбу у проруби, объясняет, почему у медведя нет хвоста.

Наличие у карел этиологических рассказов о животных говорит о сравнительной архаичности карельского животного эпоса. Чем «моложе» народ по своему социально-историческому развитию, тем обширнее у него животный эпос. Это подтверждается наблюдениями над фольклором народностей, которых собиратели-фольклористы и этнографы XIX—XX вв. застали на низших ступенях общественного развития. Если, например, сравнивать карельские и саамские сказки о животных в их теперешнем состоянии, то можно обнаружить, что саамские сказки на те же сюжеты живее, богаче поэтическими деталями, в то время как карельские сказки уже тяготеют к определенной схеме, общей для многих европейских народов. В животном эпосе народов Севера без труда еще можно видеть тотемическую основу сюжета — отсюда, на наш взгляд, такая причудливость фантастики, переплетение человеческих судеб с судьбами животных. В одной саамской сказке девушка выходит замуж за лиса, который ведет себя как лиса в животном эпосе, и по сюжету сказку следует отнести к сказкам о животных.<sup>22</sup> В другой сказке девушка выходит за дикого оленя, который вместе с оленятами покидает ее за то, что она, вопреки его запрету, укладывает отца спать на шкуру дикого оленя.<sup>23</sup>

Таких явных следов тотемических верований в карельских сказках о животных уже нет. Они, очевидно, давно утратили тот мифологический характер и магическое значение, которые изначально свойственны сказкам о животных. Когда народ начал переходить к земледелию и охота стала играть вспомогательную роль, мифологические рассказы о животных постепенно «трансформировались» в сказки с определенными сказочными канонами (троичность, повторы и т. д.). Со временем эти сказки стали служить исключительно развлекательным целям и перешли в детскую аудиторию. Этим как раз и объясняется тот факт, что еще в XIX в. у карел и по количеству сюжетов, и по количеству вариантов сказок о животных было гораздо больше, чем в настоящее время.

Наиболее распространенными сюжетами в карельском животном эпосе являются сказки о лисе, которой, как и в эпосе других северных народов, противопоставляется главным образом не волк, а медведь. На первом месте по популярности стоят всемирно известные сюжеты «Лиса крадет рыбу с воза» и «Медведь у про-

<sup>22</sup> Сказки народов Севера. Составление, редакция, предисловие и примечания М. Г. Воскобойникова и Г. А. Меновщикова. М.—Л., 1959, стр. 23—25.

<sup>23</sup> Там же, стр. 27—28.

и которым примыкают сюжеты А.—А. 3 и 4 («Лиса заманивает голову сметаной» и «Битый небитого везет»). Далее по количеству вариантов идет сюжет А.—А. 9 о совместной работе лисы, медведя и волка и «Лиса-повитуха» (А.—А. 15).

Почти все сказки о лисе построены на антагонизме между лисой и медведем (в южнокарельских вариантах иногда вместо медведя появляется волк). Медведь сказок совсем не похож на того грозного владыку лесов, которому после удачной медвежьей охоты (правда, уже мертвому) оказывали царственные почести. По этнографическим источникам XIX в. известно,<sup>24</sup> что возвращение охотников с убитым медведем представляло целый ритуал; устраивалось празднование, на котором исполнялись особые румы «на убийство медведя».<sup>25</sup>

Вопрос об антагонизме лисы и медведя в сказках занимал еще К. Крона. В природе этот антагонизм не имеет места и, следовательно, не исходит из наблюдений над жизнью зверей. К. Крон выразил предположение, что антагонизм лисы и медведя может быть отражением антагонизма между чертом и человеком в сказках.<sup>26</sup> Действительно, мы находим в сказках о совместной работе лисы и медведя (и волка) мотивы из анекдотов о глупом черте или лешем. Даже противопоставление: лиса и медведь, человек и черт (леший) по своему характеру аналогичны. Лиса и человек хитры и находчивы, медведь и черт (леший) сильнее, но глупы и недогадливы. К лешему (первоначально был, конечно, леший; только позднее, под влиянием христианства, место лешего стал занимать черт) в народе было такое же двойное отношение, как и к медведю; с одной стороны, к нему относились с почтительным страхом, уважаемые старые охотники рассказывали о нем побывавших щины, из которых вставал образ лешего как существа справедливого и доброго, если с ним считались, но в то же время способного очень зло подшутить над человеком, если тот не соблюдал какого-то «этикета» в царстве лешего (например, охотник, войдя в пустую лесную избушку, должен был спрашивать у лешего разрешения на ночлег). Но в то же время о лешем рассказывали веселые анекдоты (только, конечно, не в лесу!), по которым леший представлялся существом сверхъестественной силы, но таким простодушным и глупым, что хитрому и умному человеку ничего не стоило его обмануть.

О древней мифологической связи лешего и медведя говорит и тот факт, что карелы иногда называют и того и другого именем «тесся» — лес.

<sup>24</sup> K. Krohn. Suomalaisen runojen uskonto. Suomensuvun uskonnot, I. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 1915, стр. 145—164.

<sup>25</sup> См. напр.: SKVR I, 4, №№ 1189—1267.

<sup>26</sup> K. Krohn. Tutkimuksia suomalaisten kansansatujen alalta, I. Viekkaamman suhde väkevämpäänsä ketunseikoissa kuvattuna. Helsinki, 1887, стр. 258.



Если сравнивать северные сказки, о лисе и медведе с анекдотами о глупом черте, имея в виду при этом языческие пережитки обожествления медведя и лешего, то невольно напрашивается вопрос: не имеем ли мы в обоих случаях дело со стремлением человека посредством художественного творчества освободиться из-под власти векового страха, т. е. — что по существу одно и то же — из-под власти религиозных верований? Несомненно, сказки о лисе могли преобразовываться в сказки о хитрой лисе и глупом медведе лишь в тот исторический период, когда человек настолько поднялся над миром животных, что осознал превосходство ума над физической силой. Весь сказочный эпос и фольклор в целом отражают этот переворот в сознании человека: мы видим в фольклоре целую галерею героев сверхъестественной силы; но позднее на сцену выходит находчивый, ловкий человек без всяких атрибутов сверхъестественного и только силой своего ума побеждает чудовищ, леших, чертей и т. д.

Таким образом, на наш взгляд, антагонизм в сказках между лисой и медведем не является отражением антагонизма человека и черта, как предполагал К. Крон, а скорее и то и другое является отражением определенного переворота в человеческом сознании: разум человека может одержать верх над физической силой и таинственными силами природы.

Карельские сказки о животных до сих пор остаются сказками о животных, а не о людях в образах животных. Хотя лиса, медведь и волк в сказках живут как люди — выращивают хлеб, строят жилище, разговаривают между собой и ведут себя по отношению друг к другу как и люди, но все же эти сказки остаются рассказами о животных, которым приписываются человеческие черты, а не наоборот, как часто принято утверждать, когда речь заходит о животном эпосе. Карельские сказки о животных не имеют аллегорического смысла, под тем или другим животным не подразумевается человек с определенными качествами, как в басне. Правда, литературная басня, используя животный эпос, в свою очередь оказывает влияние на народные сказки о животных, но на карельских сказках это влияние не чувствуется. Они — просто забавные рассказы о зверях, без назидательных концовок и морали. В этой непосредственности и заключается их прелесть.

**Волшебные сказки.** Карельская языковая среда по своему социальному признаку вплоть до наших дней была преимущественно крестьянской. Поэтому и карельская сказка как в старых, так и в новых записях отражает крестьянское миропонимание и отношение к тем или иным общественным явлениям. Волшебная сказка, возникнув в глубокой древности, хотя почти и не отражает социальных противоречий позднейших эпох, подобно бытовой сказке, однако вплетает в свою художественную ткань множество деталей, позволяющих судить, в какой среде и в какую социальную эпоху сказка получила данную форму. Карельские сказки выражают

выгляды крестьянства, добывающего себе средства к жизни личным трудом. Сказки, отражающие идеологию других сословий и социальных групп — например, сказки «кулацкие», «купеческие» и др., — встречаются как в новых, так и в старых записях довольно редко.

В волшебных сказках всех народов, стоящих на определенной ступени исторического развития, в галерее героев обязательно имеются цари и царевичи, короли, королевы, шахи, султаны, пришедшие в сказку в эпоху феодализма и заменившие собой более ранних героев сказки. Царевичи и царевны в крестьянской сказке являются данью сказочной романтике, «высокое звание» служит лишь своего рода этикеткой, в то время как по существу сказочные цари и короли живут, разговаривают и часто даже мыслят по-крестьянски. Правда, позднее, особенно в предреволюционную эпоху и после революции, в сказках народов нашей страны образ царя у иных сказочников стал притягивать к себе отрицательные качества и вызывать враждебное отношение рассказчика.

В карельских сказках особенно видно это крестьянское «внутро» сказочных царей. Быт их ничем не отличается от крестьянского быта: царь живет в деревянном крестьянском доме, добро свое он хранит в подполье и в подклети, как северные крестьяне. Царь, конечно, не работает — этим он отличается от крестьянина: от нечего делать он сидит у окна и рад всякому новому лицу, проходящему по двору, лишь бы только разогнать скуку. С одной стороны, царь простодушен, добр — когда сказочник не видел в самой сказке принципиального различия между крестьянским героем и царем в роли того же героя; с другой стороны, царь коварен, мстителен и беспощаден, когда по сюжету сказки он выступает в роли противника героя. В таких случаях, особенно в записях последних десятилетий, царя в конце сказки ждет справедливое возмездие: иногда он сам преклоняет колени перед героем из самых низов народа (см. текст № 56), и от великодушия героя зависит, прощает он царя или нет.

В карельских сказках реже, чем, например, в русских, главные герои — представители высших сословий. В русских сказках XIX в. мы часто встречаем такие пары главных действующих лиц: царевич и царевна, князь и княжна (или царевна), купец и царевна и т. д. В карельских сказках, как правило, второй из главных действующих лиц — представитель крестьянства: крестьянский сын женится на царевой дочери, или же крестьянская девушка выходит замуж за царевича. Таким образом как бы утверждается равноправие сословий, вернее, это равноправие понимается как нечто совершенно естественное, исконное. Это социально наивное, но по существу мудрое понимание человеческого равноправия было в прошлом характерно для карел, потому что, живя в глухих деревнях среди равных себе, они реже сталкивались с унижительным отношением к низшим сословиям со стороны высших.

Как в сказках любого народа, в карельских сказках в центре повествования стоит семья: герой добывает себе невесту, каково-нибудь злое существо разрушает уже сложившуюся семью; борьба с силами, препятствующими образованию семьи, составляет костяк волшебной сказки.

При изучении репертуарного состава карельских сказок обнаруживается, что для карел характерен особый круг сюжетов, известных и у других народов, но бытовавших у них менее широко.

Наиболее распространены и самобытны у карел такие сюжеты, в центре которых стоит не мужчина-герой (как например в русских сказках), а женщина-героиня, причем она не является активным, действующим началом, а наоборот — ей причиняет зло сказочное существо в образе женщины — Сюоятар.

Есть, правда, и сказки, в которых женщина выступает в роли активного начала — женщина-богатырь, но эти сказки очень редки. Такие сказки несомненно являются отголосками еще более древних воспоминаний о роли и могуществе женщины.<sup>27</sup>

Наиболее самобытными как по содержанию, так и по форме у карел являются сказки о невинно гонимых девушках и женщинах. Сюда относятся сказки о подменной невесте или жене, о падчерице (типа «Золушки»); о жене, рождающей чудесных детей; о сестре, которую брат убивает в результате козней жены.

Широко распространена в Карелии сказка на сюжет «Подменная невеста» (А.—А. 403). В большинстве вариантов сюжета «Подменная невеста», или, как эта сказка чаще называется у карел, «Черная (или золотая) утка», девушка хочет уклониться от сватовства царя сына, причем в качестве свата выступает брат девушки. Дочь старается выполнить наказ родителей, сделанный ими перед смертью: жить вместе с братом и не покидать родительского дома. Сын же об этом наказе забывает. Возможно, здесь отразилось разрушение каких-то первобытных брачных законов. Нарушение родительского наказа влечет за собой несчастье как для сестры, так и для брата. Следует отметить, что мотив нежелания сестры выйти замуж встречается лишь в севернокарельских вариантах сюжета, в то время как в южных вариантах девушка не отказывается от замужества. Этот факт тем более интересен, что, как известно, на севере Карелии сохранилось больше пережитков родовых отношений, чем на юге, где экономическое и социальное развитие шло более интенсивно.

Взаимоотношения рода и семьи отражаются также в сюжетах А.—А. 510А и 510В. Карельские сказки о мачехе и падчерице значительно отличаются от сказок других европейских народов на этот сюжет. Во всех карельских вариантах сюжета в качестве мачехи выступает Сюоятар. Это сказочный образ, генетически уходящий в мифологию, о котором ниже будет сказано более подробно.

<sup>27</sup> Сказка «Жена-богатырка» см.: Ковкка, стр. 149—152.

Сююятар представляет злое начало во всех карельских «семейных» сказках, в центре которых стоит невинно гонимая девушка или женщина. Е. М. Мелетинский по этому поводу пишет: «Борьба мачехи и падчерицы — это борьба не ведьмы и злой, деспотичной женщины с кроткой и доброй девушкой, а чужих друг другу родов». <sup>29</sup> При распаде рода нарушается первобытный брачный закон, т. е. эндогамия, и жен начинают брать за пределами племени. При эндогамии, согласно мнению ряда исследователей, не могло быть коллизии «мачеха — падчерица», так как все жены отца были родственницами между собой. Позднее, когда первоначальная коллизия, породившая сюжет, — вражда родов мачехи и падчерицы — была забыта, в сказке усиливается нравственная оценка: мачеха — злая женщина, падчерица — добрая, покорная девушка.

В карельских сказках о мачехе и падчерице вражда родов мачехи и падчерицы выступает более четко, чем в сказках других народов. Сююятар — женщина из чужого рода, отец случайно встречает ее по дороге; не найдя другой женщины, он вынужден на ней жениться. Или же, как чаще бывает, Сююятар превращает мать девушки в овцу и сама принимает облик матери. Овца-мать которую Сююятар приказывает убить и кости или кровь которой позже помогают дочери-сиротке добиться счастья, является тотемом материнского рода. Имеются сказки с более древними отголосками тотемических представлений, в которых животное (коза, баран), не выступая в образе покойной матери, спасает девушку и делает ее счастливой (см. тексты №№ 22 и 23).

Об архаичности карельских сказок о мачехе и падчерице свидетельствует тот факт, что в них очень слабо разработана нравственная оценка. Кротость и доброта падчерицы обычно не подчеркиваются; наоборот, падчерица по мере сил вредит мачехиной дочери, ломая ей руку, ногу, выбивая глаз на пиру у царя и ставившая мнимую невесту, мачехину дочь, в воду. В сказках также говорится о том, чтобы мачехина дочь причиняла зло старшей дочери. Падчерица побеждает в борьбе с мачехой не благодаря личным прекрасным качествам, а потому, что ей помогают силы материнского рода, — отголосок первобытного мировоззрения в сказке. Усилия мачехи и ее дочери бессильны перед могуществом рода. Осиротевшая девушка, положение которой в эпоху разложения рода и установления моногамной семьи становится трагическим, взывает к помощи материнского рода, но пользуется этой помощью для того, чтобы самой создать моногамную семью, потому что только в этом ее спасение. Мы видим, что в сказке, как и в действительности, в сложном сплетении соединяются два противоречивых начала — род и семья, прошлое и будущее.

<sup>29</sup> Е. М. Мелетинский. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Институт Востоковедения, М., 1958, стр. 184.

В ряде южнокарельских вариантов сюжета «Золушка» девушка-сиротку преследует не мачеха, а жена дяди.<sup>29</sup> Обычно об отце сиротки ничего не говорится, и можно предполагать, что к началу сказки умер, оставив жену вдовой и дочь сиротой. Жена дяди, о которой говорится, что она из рода Сюоятар, превращает невестку в овцу и приказывает своему мужу зарезать эту овцу. В дальнейшем жена дяди действует по отношению к сиротке как мачеха-Сюоятар. Эта коллизия «сиротка — жена дяди», очевидно, отражает разложение патриархальной семьи.

Большой интерес с точки зрения отражения древних брачных отношений представляет распространенный по всей Карелии сюжет А.—А. 510В («Свиной чехол»), представленный в разных версиях (см. примечание к тексту № 29). Жена, умирая, наказывает мужу взять после нее жену с характерной для нее самой приметой — с синим большим пальцем на руке. Но оказывается, что женщину, подобную покойной жене, он не может найти и вынужден жениться на дочери, у которой такой же синий палец, как у матери. В одном варианте мать, умирая, прямо завещает отцу жениться на дочери, если он, износив три пары железных сапог, не найдет синегривой, синеглазой и синепалой невесты (см. примечание к тексту № 30). Дочь пытается всячески оттянуть свадьбу и ставит отцу условия: требует достать ей роскошные платья редкой расцветки; в конце концов все же ей удается бежать. Здесь отец строго придерживается древнего брачного закона, по которому он может жениться только на женщине из рода покойной жены. Карельская сказка сохранила эту древнюю мотивировку поступков отца, в то время как, например, в русских сказках на этот сюжет появляется более позднее объяснение странного желания отца: дочь напоминает ему покойную жену, которую он очень любил.<sup>30</sup>

В группе сюжетов о невинно гонимой девушке (женщине) неизменно присутствует Сюоятар (Syöjätär, Syöjättäri, Syötteri, Syötär-akka, Syöväintteri, Syöväintterihä, Syöväintteroin akka, Tarankazen akka).

Образ этот является столь же популярным среди карел, как образ бабы-яги среди русских, т. е. им часто пользуются и в быту для характеристики определенных качеств женщины. Сюоятар и баба-яга близки не только по степени распространенности в сказках и популярности в народе. Они присутствуют в ряде общих сюжетов и выполняют одинаковые функции. Но это отнюдь не означает, что Сюоятар и баба-яга тождественны и что карельская Сюоятар есть перенесенная на карельскую почву русская баба-яга. Взаимовлияние образов, конечно, имело место, но генетически они оба самостоятельны.

<sup>29</sup> АКФ 101, 12а; 114, 22; 134, 122; 135, 177; 141, 25.

<sup>30</sup> Аф. 290.

Уже материал сказок наталкивает нас на мысль, что Сюоятар — древний мифологический образ, подучивший впоследствии некоторые человеческие черты.<sup>31</sup> Она обладает способностью превращать людей в животных и принимать облик других людей. Когда ее сжигают в смоляной яме, она заклинает: «Sirkkusia silmistäni, variksia, varpaistani, kuukäärmeitä kynsistäni, harakoita hapsistani, korppiloita korvistani»<sup>32</sup> (Пусть из моих глаз выйдут воробушки, из пальцев моих ног — вороны, из моих ногтей — гадюки, из моих волос — сороки, из моих ушей — вороны). Или же: «Dalgani muuttukka duavaliksi, kädeni — kiärmehiksi, tukkani — douhimadoziksi därveh»<sup>33</sup> (Пусть мои ноги превратятся в дьяволов, мои руки — в змей, мои волосы — в волосатиков в озере). В других сказках Сюоятар выставляет свой палец или руку из смоляной ямы и говорит: «Tästä mualla matosie, ilmoilla itikkäisie»<sup>34</sup> (Пусть отсюда выйдут черви на землю, комары в воздух). В некоторых сказках рассказчик добавляет от себя, что от Сюоятар и пошли комары и всякий гнус, мучающий человека.

В какой-то степени карельская Сюоятар сродни саамскому мифологическому существу оцце-аккь, ацек (паук-женщина, лягушка-женщина). В саамских сказках эта лягушка-женщина подменивает детей, и ее убивают. И тогда, «где у лягушки отпала голова, тут образовался красный мох, употребляемый лопарями на подстилку детям в зыбки, а где упали ноги, тут — черный мох, употребляемый при делании карбасов».<sup>35</sup> В некоторых карельских сказках также, когда Сюоятар привязывают к конскому хвосту, из частей ее тела вырастают болотные кочки и болотная трава.<sup>36</sup> Любопытная деталь: в саамском сказании от женщины-лягушки остается мох, пригодный для употребления человеком, а в карельских сказках — то, что расценивается отрицательно земледельцем. Это говорит о большей архаичности саамского образа женщины-лягушки, в котором понятия добра и зла еще четко не разграничены. Карельская же Сюоятар во всех положениях причиняет людям только зло.<sup>37</sup>

Превращение Сюоятар после смерти в комаров, ворон, сорок и болотные кочки и т. д. несомненно связано с древними представлениями о «переселении душ» покойников. В работе «Мифология

<sup>31</sup> Matti Hako. Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der finnischen Tradition. FFC, № 167, Helsinki, 1956, стр. 57—59. К: Krohn. Lapalieto Sybjätar. Suomalainen tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat, 1912, II. Helsinki, 1913.

<sup>32</sup> SKS II, стр. 135.

<sup>33</sup> АКФ 45, 1.

<sup>34</sup> АКФ 1, 6.

<sup>35</sup> Н. Н. Харузин. Русские лопари. Очерки прошлого и современного быта. ИОЛЕАЭ, LXVI, 1890, стр. 352.

<sup>36</sup> АКФ 65, 90; 65, 121; 72, 97.

<sup>37</sup> В северной Карелии «шеями Сюоятар» (Syöjättären kaklat) называются высокие кочки, появляющиеся на лугах и берегах озер и затрудняющие работу крестьянина.

финских рун»<sup>38</sup> К. Крон приводит примеры из народных поверий, в которых покойники выступают в образе мелких животных и насекомых, досаждающих людям. В определенное время, когда покойники якобы посещают свой дом, — гласит поверье, — надо соблюдать тишину и вечером не зажигать света, так как покойники не переносят света и шума; иначе летом комары, мошкара и оводы не дадут покоя людям и домашним животным.

В древних карельских и восточнофинских рунах-заклинаниях Сюоятар встречается очень часто, но как существо мифологическое, а не в очеловеченном образе, как в сказках. В заклинаньях на укусы змеи (Mavon sunty) из слюны, которую Сюоятар выплевывает в море, в воду, рождается змея; причем сама Сюоятар всегда изображается плывущей по волнам.<sup>39</sup> Очевидно, мифологическое существо Сюоятар первоначально связывали с водной стихией. В некоторых заклинаньях Сюоятар отождествляется со змеем-драконом:

Syöjätär merestä nousi,  
Lapakäärme lainehestä.<sup>40</sup>

Сюоятар встала из моря,  
Змей-дракон — на волны.

Сюоятар — мать змей, драконов, мать и средоточие всего того, что причиняет человеку зло. Как источник зла она упоминается и в заклинаньях на ушиб камнем и деревом:

Kivi Kimmon, Kammon poika,  
Maan muna, pellon kakkara,  
Syöjättären syönkäpynen,  
Tule työsi tuntemaan,  
Pahasi parantamaan,  
Kehnosä keventämään.<sup>41</sup>

Камень Киммо, сын Каммо,  
Яйцо земли, колобок поля,  
Ядро сердца Сюоятар,  
Приди узнать свою работу,  
Лечить зло (которое причинил),  
Свои дурные дела облегчать.

О дереве, причинившем увечье человеку, в заклинании говорится как о выросшем из «сердцевицы Сюоятар» (Syöjättären syistä kasvo).<sup>42</sup>

К. Крон в «Мифологии финских рун» пишет, что происхождение имени Сюоятар совершенно очевидно: уже Ганандер, исходя из слова *syöjä* — «едящий» с суффиксом женского рода *tär* (*tar*), видел в этом образе людоедку.<sup>43</sup> Такое объяснение можно принять с оговорками. Хотя Сюоятар и выступает в народной поэзии как начало зла, но очень редко она является людоедкой в прямом смысле. Сюоятар никогда не выступает в роли бабы-яги, которая сидит в своей избушке на курьих ножках и грозит съесть героя сказки. В карельских сказках русской бабе-яге в избушке на курьих

<sup>38</sup> K. Krohn. Suomalaisten runojen uskonto. Suomensuvun uskonnot IV, стр. 141—142.

<sup>39</sup> SKVR I, 4, №№ 374, 375, 378—381a, 414; SKVR II, №№ 761—764b.

<sup>40</sup> K. Krohn. Suomalaisten runojen uskonto, стр. 257.

<sup>41</sup> SKVR I, 4, № 52; №№ 49—50, 53, 54.

<sup>42</sup> SKVR I, 4, №№ 112—114.

<sup>43</sup> K. Krohn. Suomalaisten runojen uskonto, стр. 258.

ножках соответствует akka (баба, старуха), наделенная атрибутами яги, причем она тетка героя: сестра либо его матери, либо отца. Во-вторых, не всегда это злое существо называют Сюоятар (Syöjätär — «едящая»). В сказках имя Сюоятар встречается лишь в определенных районах Карелии, главным образом на севере. Известны и другие имена и прозвища: Siädäri, Syvätteri, Syväinterin akka, Tarankazen akka и т. д. (то же и в заклинаниях: Syvätär, Syvetäri, Syljettäri, Sylettäri<sup>44</sup>), семантика и этимология которых не изучена.

Возможно, имя Сюоятар образовалось по созвучию в более позднее время, когда появилась нравственная оценка древнего мифологического образа, когда божества стали делиться на добрых и злых.

Образ Сюоятар лишен той противоречивости и сложности, которую мы видим в образе русской бабы-яги. Сюоятар никогда не выступает в роли дарительницы или советчицы, помогающей герою в достижении его цели. В карельских сказках обитательница лесной избушки на курьих ножках — akka — самостоятельный образ. По своей роли в сказке она тождественна яге-дарительнице русских сказок. Внешне она характеризуется так: «Akku istuu räcäahan piäs, jalgu orrel, tojne toizel, silmät kui suolavakat, nännit kui rengit»<sup>45</sup> (Старуха сидит на печном столбе, нога на грядке, другая на другой грядке, глаза как солонки, груди как ведра). Или же: «Akka nenällä liikuttelou hiilie halko-orsista piällicci, sormet kuin värttinät, jalat kuin huasjariuvut, a nännit on kuin pluohkanat»<sup>46</sup> (Старуха через грядки носом разгребает уголья в печи, пальцы как веретена, ноги как жерди зарода, а груди как лохани).

Как видим, для карельской лесной старухи характерно то же преувеличение «физиологических сторон», какое наблюдается и в образе русской яги-дарительницы.<sup>47</sup>

Старуха, увидев путника, говорит: «Tulipahan Venyähän vertä suuväkseni, juuväkseni, partahani rannakseni»<sup>48</sup> (Пришла-таки русская кровь, чтобы мне поесть, попить, в бороду класть). У героя есть на это всегда готовый ответ: «Elä, täti rukka, milma suo: matkamiehellä on veret vetenä, a lihat on luina»<sup>49</sup> (Не ешь меня, тетенька, — у путника вместо крови вода, а вместо мяса кости). Часто герой на угрозу старухи съесть его отвечает бранью, упрекая ее за поспешность, что она, мол, готова съесть путника со

<sup>44</sup> Matti Hakko. Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung. стр. 57.

<sup>45</sup> АКФ 75, 130.

<sup>46</sup> АКФ 19, 86.

<sup>47</sup> В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки, Л., 1946, стр. 62.

<sup>48</sup> АКФ 19, 86.

<sup>49</sup> АКФ 19, 86.



грязью и потом: «Parempi syöttäzät, juottazit, kylyn lämmittäzät, rehmiempi olis yuvvâ»<sup>50</sup> (Лучше бы накормила, напоила, баню бы истопила, так мягче стало бы мясо).

После этого диалога старуха начинает расспрашивать пришельца, какого он роду-племени (или сама догадывается о родстве по его меткому ответу); оказывается, что герой — родич старухи, сын ее сестры или брата. После этого мифическая старуха готова всячески содействовать герою: дает ему чудесного коня, за одну ночь изнашивает его железные башмаки и железный посох, созывает всех зверей и птиц, чтобы узнать, где находится предмет или лицо, которого ищет герой. Подобным же образом действует и яга-дарительница в русских сказках. Примечательно, что лесная старуха в карельских сказках является теткой героя, тогда как в русских сказках на эту родственную связь между ягой и героем не указывается. Но родственная связь между старухой-дарительницей и героем не есть исключительно карельская черта; например, в мансийских сказках герой также называет старуху-дарительницу теткой, а в одной сказке об Эква-Пырице героя одаривают волшебными предметами его деды.<sup>51</sup>

Лесная старуха карельских сказок в сюжетах о чудесной жене является тещей героя, она обращается к нему со словами: «Зачем, зятек, пришел сюда?».

В карельских сказках о мачехе и падчерице, как уже говорилось, в роли мачехи всегда выступает Сюоятар. Образ мачехи в карельских сказках еще не «очеловечился» в такой степени, как в сказках других европейских народов. Она сохранила в себе еще много от сверхъестественного существа, действуя в сказке в соответствии с этими особенностями. Почти во всех вариантах сюжета «Золушка» Сюоятар превращает мать героини сказки в овцу. Овца — одна из метаморфоз матери, которая во всех состояниях печется о счастье своей дочери. По наущению Сюоятар муж убивает свою бывшую жену (или жену брата) в образе овцы, но могущество матери и ее рода от этого не ослабевает. Мать-овца перед смертью велит своей дочери собрать ее косточки или взять на платочек три капли крови, но ни в коем случае не есть ее мяса, т. е. мяса овцы. Этот мотив целиком связан с древ-

<sup>50</sup> Сказка № 39 в настоящем сборнике.

<sup>51</sup> А. Kannisto. Wogulische Volksdichtung. Bd. III, Märchen. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, 111. osa. Helsinki, 1956, стр. 118—126, 126—131; В. Чернецов. Вогульские сказки. Сборник фольклора народа манси (вогулов). Под ред. и с предисловием проф. В. Г. Богораза-Тана. Гослитиздат, Л., 1935, стр. 47—57.

Небезынтересно отметить, что В. Я. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» (стр. 294) приводит пример из одного мифа американских индейцев, где отец невесты испытывал героя огнем, но тот «бросил в огонь раковины, полученные им от его тетки, и они укротили огонь...». «Тетка героя соответствует нашей яга-дарительнице», — замечает В. Я. Пропп.

ними представлениями о животном-тотеме; тотемное животное также можно было есть только при определенных обрядах, так как тотем считался предком рода. О том, что именно овца связана с тотемом, говорит и тот факт, что еще в XIX в. в Карелии к некоторым христианским праздникам (особенно к Власову дню) приурочивались языческие пиршества, когда по всем правилам ритуала закалывали жертвенного барана, мясо которого затем съедалось (только мужчинами), а кости или закапывались, или погружались на дно озера.<sup>52</sup> В сказке девушка тоже закапывает кости матери-овцы; на этом месте вырастает дерево, а ветка дерева имеет чудесное свойство производить невыполнимую, казалось бы, работу: она помогает падчерице выполнить трудные задания мачехи.

Падчерице благодаря покойной матери удается затмить своей красотой и нарядами всех присутствующих на царском пиру, как бы ни хлопотала Суюатар за своих дочерей, она бессильна бороться с девушкой, которой помогает покойная мать! ведь покойники, по древним верованиям, обладали силой, которой не было у живых. Но Суюатар не сдается. После того как ее старания подменить цареву невесту (падчерицу) своей дочерью пропадают даром (подмена замечена), она превращает падчерицу в лягушку или в лебедя, но и эта ее попытка одержать победу в конце концов терпит крах. В конце сказки Суюатар ожидает справедливое возмездие: ее или сжигают в смоляной яме, или привязывают к хвосту буйного жеребца (см. текст № 28).

Сравнивая карельские сказки на этот сюжет с русскими сказками, мы видим существенную разницу как в сюжетной схеме, так и в деталях. Карельские сказки о мачехе (Суюатар) и падчерице обычно являются контаминацией двух сюжетов: А.—А. 510А и А.—А. 409. Но эти два сюжета, выступающие в указателе самостоятельно, органически объединяются в одно повествовательное целое.

Для русских сказок о мачехе такое сочетание сюжетов не характерно. Более типичный вид сюжета для русских сказок о мачехе и падчерице — «Одноглазка, Двуглазка, Трехглазка» (А.—А. 511). Девушке помогает «коровушка-буренушка», по существу то же, что овца в карельских сказках. Но в русских сказках связь коровы с покойной матерью девушки почти уже стерлась, лишь изредка мы встречаем этот отголосок древности, как например в сказке Онч. 129, где упоминается, что корова — приданое покойной матери.

<sup>52</sup> J. Krohn. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Helsinki, 1894, стр. 173—178.

О мотиве закапывания костей и волшебного дерева, вырастающего из костей, у разных народов см.: В. Я. Пропп. К вопросу о происхождении волшебной сказки (Волшебное дерево на могиле). («Советская этнография», № 1—2, 1934, стр. 128—151).

Некоторые русские сказки, записанные в Карелии, обнаруживают следы слияния русской и карельской традиции в сказках о мачехе и падчерице. Например, с точки зрения русской традиции сюжетная схема сказки Онч. 129 необычна: мотивы из сюжета А.—А. 511 «Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка» соединяются с сюжетом А.—А. 510А. Сказка явно обрывается, по карельской традиции за счастливым замужеством падчерицы должно следовать ее превращение в оленюху или лебедя, но об этом рассказчица забыла. В данном случае не удивительно переплетение русской и карельской традиции: ведь сказка записана А. А. Шахматовым в Заонежье, в деревне Яндомизеро. Такое же влияние карельской традиции сильно заметно в сказке «Строй» из сборника «Перстень — двенадцать ставешков».<sup>53</sup>

Из женских образов карельских волшебных сказок заслуживает еще внимания образ старой вдовы (leskiakka), доброй советчицы героя. Она играет ту же роль, что и бабушка-заворонья в русских сказках, но в сюжетах о невинно гонимых ей принадлежит особое место. Это мудрая, всезнающая женщина, к которой герой или героиня сказки обращается за советом в самый критический момент. Она дает не просто добрый совет, а раскрывает тайну, и это обстоятельство приводит сказку к быстрой развязке. В сюжете «Подменная невеста» тайну превращения настоящей невесты в утку знает только старушка-вдова, к которой утка приплывает по ночам. Вдова помогает царевичу освободить девушку-утку от чар и дает совет, как избавиться от жены-Суюятар (см. текст № 19). В сюжете «Золушка» старуха-вдова также указывает цареву сыну на подмену жены (см. текст № 28). Вдова не является активно действующим лицом, но без ее содействия царев сын не смог бы восстановить справедливость. В различных сюжетах с мотивом змеборства вдова помогает герою, предоставляя ему кров и сообщая важные сведения, необходимые герою для его действий.

Несмотря на то, что старуха в лесной избушке на курьих ножках тоже дает герою нужные советы и оказывает помощь, отношение героя к лесной старухе резко отличается от его отношения к старухе-вдове. Первую он может обругать, обойтись с ней грубо, да и встречает он ее случайно на своем пути, а к последней идет сам, обращается с ней почтительно, как с мудрой и всеми уважаемой женщиной. Эти два образа в карельских сказках четко разграничены, хотя выполняют одинаковые функции.

Из мужских героев карельских сказок привлекает внимание наиболее распространенный образ младшего брата Тухкимуса (Tuhkimus, Tuhkimuuricца Tuhkimurmicца). Слово тухкимус происходит от слова tuhka — зола, пепел; тухкимус — тот, кто сидит на

печи или за печкой и пересыпает золу, как обычно характеризуется Тухкимус в сказке. Именем Тухкимус называется иногда и младшая сестра в сказках типа «Золушка», но главным образом имя это относится к младшему брату. Младший брат Тухкимус характеризуется так: «Тухкимус на печи в золе сидит. Он отряхивается, золой пылит, спускается (с печи)». <sup>54</sup> При этом часто подчеркивается, что он ленив и поэтому лежит на печи: «У вдовы было три сына, два хороших, а третий был Тухкимус (запечник), все на печке спал». <sup>55</sup> Прилежание старших братьев противопоставляется лени Тухкимуса: «Тухкимо, со своей стороны, не утруждал себя ни работой, ни другими начинаниями, лениво полеживал на печи, откуда грязный и запачканный сажей только есть вместе с другими спускался. Но когда только хотел, мог он быть проворным и умным во всем, особенно в разговоре». <sup>56</sup> Иногда говорится прямо, что младший брат умнее и ловчее своих старших братьев (см. текст № 17).

Младший брат становится обездоленным в период распада большой семьи и дробления ее на малые семьи, так как инициаторами выдела из большой семьи обычно выступали старшие братья, которые старались захватить возможно большую часть семейной собственности. Народное сочувствие оказывается на стороне младшего брата, с которым поступили несправедливо. Е. Мелетинский связывает происхождение образа младшего брата с институтом наследования при патриархальной общине. «Народное общественное мнение, выразившееся в сказке, защищает равенство и общинную семейную собственность. Старших братьев, захвативших семейную собственность, сказка изображала как эгоистов, изменивших роду и патриархальным заветам, а младшего, оставшегося верным общинной морали, патриархальной традиции, близкого родителям, поддерживавшего семейную религию (культ предков), — как носителя патриархального единства большой семьи. Поэтому младший брат становится объектом идеализации в сказке, положительным героем, а его старшие братья — отрицательными». <sup>57</sup>

Конфликт между младшим и старшими братьями в карельских сказках выступает не всегда и не так развит, как в русских сказках. Тухкимус-младший брат включает в себя некоторые черты Тухкимус-падчерицы и Тухкимус-младшей сестры, а эти образы генетически древней образа младшего брата, так как они могли возникнуть уже при распаде матриархальных родовых отношений. Оба эти образа связаны с очагом (копоятся в пепле), они являются хранителями культа предков (связь падчерицы-Тухки-

<sup>54</sup> АКФ 26, 25.

<sup>55</sup> Евсеев, стр. 116.

<sup>56</sup> SKSjT, стр. 49.

<sup>57</sup> Е. М. Мелетинский. Герой волшебной сказки, стр. 147—148.

рус с покойной матерью и Тухкимуса-младшего брата с покойным отцом). Исконно карельских сюжетов о младшем брате очень мало, а распространенные сюжеты, дающие большое количество вариантов, заимствованы у русских (сюжеты «Сивко-Бурко», «Конек-горбунок», «Иван-царевич и серый волк» и «Молодые яблоки»).

В северной Карелии мы встречаем сюжет, близкий к обозначенному в указателе Аарне под номером 327В. В карельских сказках герой — Тухкимус или просто младший брат, но не мальчик с пальчик (или заморышек), как в русских сказках. Младший брат оказывается находчивее и умнее старших братьев, которых вынуждены примириться с этим фактом (см. текст № 17). Если в русских сказках на этот сюжет нет конфликта между старшим и младшим братом, то в карельских сказках на сходный сюжет конфликт уже назревает, не доходя, правда, до антагонизма. В южной Карелии этот сюжет обычно контаминирован с сюжетом «Конек-горбунок» (А.—А. 531). Братья добывают себе коней и едут искать невест, при этом невесты должны быть между собой сестрами. Мать невест хочет убить братьев, но об этом героя — младшего брата — предупреждает конь. После этого братья поступают на службу к царю и младший брат при помощи своего коня выполняет трудные задания. В некоторых случаях коллизия «старшие братья и младший брат» совершенно отсутствует.

Неантагонистический характер конфликта мы встречаем и в северокарельских сказках, близких по сюжету к русским сказкам «Сивко-Бурко». Существует ряд вариантов, помню опубликованного в данном сборнике, в которых младший брат Тухкимус получает не одну, а трех царевен и отдает их вместе с полученными от покойного отца (или другого дарителя) конями своим старшим братьям, однако при условии, утверждающем Тухкимуса равноправным среди братьев. Здесь уже налицо пренебрежительное отношение старших братьев к младшему, но последний, следуя законам родства, все же делает им добро. Братья не враждуют, но насмешливо относятся к Тухкимусу, и он отвечает им тем же.

Есть основание утверждать, что большинство карельских вариантов сюжета А.—А. 530А и 530В или заимствованы у русских, или же преобразились под влиянием русской сказки «Сивко-Бурко». Это подтверждается сравнительным анализом текстов. Во многих карельских вариантах мы встречаем русскую формулу вызова коня в искаженном виде, например: «Зерка-бурка, вешняя калушка, стань передо мной, лица травой»<sup>58</sup> или же «Слиухкай, виухкай, верной воронка, встань-перестань, конь бе-

жит, земля дрожит»,<sup>59</sup> и т. д. Встречаются также русские формы, переведенные на карельский язык и уже более или менее отшлифованные: «Seroi serkko, puuroi purkko, sluusit tuaton, sluusit tuaton, sluusi vielä Iivanua»<sup>60</sup> (Серый Серко, бурый Бурко, служил отцу, служил матери, послужи еще Ивану). Для сказок, заимствованных сравнительно недавно, характерно выпадение мотивов и повествовательных звеньев, что нарушает логику действия. Это мы видим и в карельских сказках о «Сивке-Бурке». Часто сказка не объясняет, кто дарит Тухкимусу коня, иногда даже не подчеркивается, что это был особенный, волшебный конь. Таким образом, получается, что герой добывается царевны без волшебства, без чудесных средств, что не является характерным для волшебной сказки. Например, в одной сказке<sup>61</sup> мотив сторожения сына на могиле отца имеется, но покойный отец ничего не дарит сыну. И далее сказка не объясняет, откуда у Тухкимуса каждый раз берутся лошадь и одежда лучше прежней.

Образ Тухкимуса благодаря своей близости к русскому Иванушке-дурачку мог привлечь к себе ряд новых сюжетов, ставших известными карелам через общение с русскими, но эти сюжеты не получили на карельской почве достаточной разработки и в художественном отношении уступают карельским сказкам о невинно гонимой девушке или женщине.

\* \*  
\*

По сюжетике, композиционному строю, по системе сказочных образов карельские сказки в целом можно отнести без оговорок к так называемым «интернациональным сказкам», т. е. к сказкам народов, дошедших до «схематизации сказочной сюжетности».<sup>62</sup> Но при более пристальном взгляде на карельские волшебные сказки обнаруживается, что они по своей поэтике отличаются от сказок других европейских народов. Прежде всего карельские волшебные сказки, особенно в северной Карелии, меньше по объему и лаконичней, художественные средства в них употребляются более экономно, чем в сказках европейских и большинства азиатских народов.

В карельских волшебных сказках элемент чудесного носит эпически спокойный характер, но в то же время мало развернут. Того «авторского» удивления и восхищения, которое присуще, например, сказкам многих русских мастеров, мы в карельских сказках не находим.

<sup>59</sup> АКФ 45, 9.

<sup>60</sup> АКФ 26, 25.

<sup>61</sup> АКФ 45, 2.

<sup>62</sup> А. Н. Веселовский, Собрание сочинений, т. II, вып. I, СПб., 1913, стр. 7.

Карелы, очевидно, никогда не знали сказочников-профессионалов, каковые появились в эпоху феодализма во многих странах Востока и Запада, когда в высших слоях общества был спрос на сказку. Известно, что именно в феодальном обществе благодаря профессионализму в рассказывании сказок волшебная сказка и получила свое пышное оформление. Следы этого профессионализма иногда чувствуются, например, в русских сказках: это развернутые зачины и концовки в ритмической и рифмованной прозе, рассчитанные на определенный эффект, стремление внести в повествование стилистические красоты, в результате чего создается некоторая замедленность повествования.

Карельская сказка, наоборот, сдержанна и сжата. В ней отсутствуют или почти отсутствуют описания; попытки дать психологическую характеристику героев почти не встречаются. Но лаконичность и сдержанность повествования не исключают типических формул и «общих мест», которые в течение многовековой шлифовки получили высокохудожественную форму. В то же время эти поэтические узоры органически вплетены в строгую повествовательную ткань, так что гармония не нарушается.

Исходная формула в карельских волшебных сказках предельно проста и почти неизменна: «*Oli ennein ukko da akka*» (фонетическое оформление может быть разное в зависимости от диалекта) — (Были раньше (в старину) старик и старуха (муж и жена)). Присказки в начале повествования, как часто бывает в русских сказках, в Карелии не встречаются. Зато экспозиция подчас бывает развернута, дается социальная характеристика сказочных старика и старухи (обычно подчеркивается их бедность) и бытовая обстановка — все это при помощи скупых, но точных деталей. С первых же слов сказки начинает проявляться закон сказочной тринности, который карельские сказочники строго соблюдают и сами сознают (см. замечание сказочницы в тексте № 11).

Для карельских волшебных сказок характерны стихотворные или ритмизованные вставки, которые, к сожалению, уже начинают забываться. В записях XIX в. они представлены шире. Стихотворные вставки являются сказочными «общими местами» и, как правило, служат в качестве обращения сказочного героя к кому-нибудь или же для описания красоты героя. Вот, например, «формула» созыва гостей на большой пир:

Hyvät iee hypättähes,  
Rimmat raccahis ajettähes,  
Sogiat iee sovvettahes  
Saarin poijan baaluh. □

Здоровые пусть сами бегут,  
Хромые пусть верхом едут,  
Слепые пусть на лодках плывут  
К цареву сыну на бал.

В сказке на сюжет «Подменная невеста» девушка, выходящая из воды, обращается к собачке:

Piili pikku koirazen,  
Nossa linkku, šua šartti  
Ilman oksan ulvomatta,  
Veräjälisen vieremättä,  
Sakarän nurahdamatta,  
Linnankunnan kuulomatta.<sup>64</sup>

Пийли, моя собачка,  
Подними заложку, открой вертушку,  
Чтобы сук (?) не стонал,  
Чтобы дверь не распахнулась,  
Чтобы петли не скригнули,  
Чтобы люди в замке не услышали.

При описании красоты чудесных детей или, как они называются по-карельски, «золотых сыновей», а также при описании девичьей красоты тоже употребляются такого рода рифмованные вставки. Вот описание золотых сыновей из сказки, записанной Леннротом в Ухте:

Otavainen olkapäillä,  
Kuutamoinen kulmaluilla,  
Päivyt ompi pääläella,  
Tähdet taivon hartehilla,  
Kädet on kulta kyynäpäistä,  
Jalat polvesta hopea.<sup>65</sup>

Большая медведица на плечах,  
Месяц на висках,  
Солнышко на макушке,  
Звезды небесные на спине,  
Руки от локтя из золота,  
Ноги от колен из серебра.

В некоторых карельских сказках из сборника Салмелайнена девичья красота описывается подобным же образом. Когда герой спускается в подземное царство, то встречает там девушку, которая

kultakangasta kutoopi,  
hopeaista helkyttääpi;  
kädet kultaset kalvosista,  
jalat hopeiset polvista,  
päivyt paistaa pääläelta,  
kuutamaiset kulmaluilta,  
otavaiset olkapäiltä,  
tähdet taivon hartioilta,  
seltsentähtiänen selästä.<sup>66</sup>

золотую ткань тклет,  
серебряную постукивает;  
руки золотые от запястья,  
ноги серебряные от колен,  
солнышко светит на макушке,  
по месяцу на висках,  
большая медведица на плечах,  
звезды небесные на спине,  
семизвездие на спине.

В настоящее время эта формула не употребляется при описании внешности девушки. В севернокарельских сказках встречается другая, более древняя формула красоты:

Vaateen läpi hiipi näkyvi,  
Hiipän läpi liha näkyvi,  
Lihan läpi luu näkyvi,  
Luun läpi ydin näkyvi.<sup>67</sup>

Сквозь одежду тело видно,  
Сквозь тело мясо видно,  
Сквозь мясо кость видна,  
Сквозь кость мозг виден.

Такая же, но уже разрушенная формула имеется в тексте № 40 настоящего сборника. Это описание красоты сближается с описанием красоты девушки в бурятских и якутских сказках. В одной якутской сказке говорится: «...сквозь платье видно

<sup>64</sup> KKN III, стр. 121. Запись сделана Генетцом в Каменном озере (нынешний район Калевалы) в 1871 г. (ср. такое же обращение в тексте № 19).

<sup>65</sup> SKS II, стр. 137. (См. также текст № 48 и примечание к нему).

<sup>66</sup> SKSjT, стр. 33.

<sup>67</sup> SKSjT, стр. 224.



теле: сквозь тело кости конечностей; сквозь кости виден мозг, переливающийся, как ртуть». <sup>68</sup>

Метрически стихотворные вставки сближаются с карельскими эпическими песнями и бытуют даже как самостоятельные произведения, правда, редко. Встречаются сказки, почти целиком выдержанные в стихотворной форме. <sup>69</sup>

Кроме стихотворных «общих мест», в карельских сказках встречаются и короткие формулы в виде одного предложения или словосочетания. О героине говорится: «Ei mualla moista, ei vesillä vertua» (Нет ни на суше такой, ни на воде похожей). Эта формула чаще встречается у носителей собственно карельского диалекта. У ливвиков и людигов же иная формула, обозначающая все необычайно красиво: «Ni tuta ni duumaaja ei saa» (Ни узнать, ни придумать нельзя). Встречается еще формула, близкая к русской «ни в сказке сказать, ни пером описать»: «Ni saaroil sanua ei saa, ni virzil vedää» (Нельзя ни в сказке сказать, ни в песне спеть).

О чудесном коне в севернокарельских сказках говорится: «Karva kultua, toini horieta, kolmannel ei ni sviettua» (Шерстинка золотая, другая серебряная, а третьей и цвета не назовешь). Этот конь ходит «в зеленом поле, на белой ниве» («vihannassa pellossa, valkjessa vainivossa»).

Сказочный лес описывается таким образом: «Moine on korbi rannal, što ei mennä hiiret aliči, linnut piäliči» (Такой лес на берегу, что мышам не пройти по земле, птицам не перелететь через него). Подобная формула употребляется и в других случаях, например, герой идет городить поле и делает такую изгородь, что мыши не пройти под нее и птице не перелететь через нее.

Диалог с бабой в лесной избушке тоже представляет собою сказочное «общее место». Герой обращается к избушке, которая вертится на петушиных шпорах (см. текст № 39).

Talozen-malozen,  
myöstäyhy, malostauhu  
matkamiehen yösiäksi,  
viluhisen lämpimäksi,  
vaipunehen vakaussijaksi.

Избушка-избушка,  
повернись, оствановись,  
(чтоб) путнику переночевать,  
овябшему обогреться,  
уставшему отдохнуть.

Первые слова бабы, которыми она встречает героя, всегда стереотипны: «Oho, tulipahan Venyähnen vertä suuvväkseni, juuvväkseni. partahani rannakseni» (Пришла-таки русская кровь, чтобы мне поесть, попить, в бороду класть!) (см. текст № 40). На это герой отвечает: «Mi on miusta syötäväksi — kopra luita, lusikka vertä. Mi on lihua, se on luina, mi on vertä, se on vetenä» (Какая из меня еда — горсть костей, ложка крови. Сколько тела — то все кости, сколько крови — то все водица) (см. текст № 40). Конечно, все

<sup>68</sup> И. А. Худяков. Верхоянский сборник. Иркутск, 1890, стр. 30.

<sup>69</sup> SKVR I, 3, 2008.

эти общие места варьируются, но основные элементы всегда общи не только внутри данного диалекта, но и для всех диалектов.

Концовки в краткой формуле характеризуют то благополучие, которого достиг герой, и выражают отношение сказочника к самому себе и к слушателям. Вот типичная севернокарельская концовка: «Siitä hyö ruvetiһ eleä elmettämäh. Hyövyttiһ hyгčäкse, parettiһ parčäкse. Sen pivus, sen kauneһus! Kullan lehti kuulijalla, lemмен lehti laulajalla, а ken ei kuullun — tervaparčča peršieһ!»<sup>70</sup> (Потом они стали жить-поживать. Разбогатели (далее непереводимо). Такой длины, такой красы (сказка)! Золотой листок слушавшему, листок любви спешшему, а кто не слышал — смоляной квач в. .!). Такую концовку или фрагменты ее мы встречаем главным образом в северной Карелии, где концовка является более устойчивой и обязательной.

Почти во всех районах Карелии, и на юге, и на севере, иногда вместо концовки встречается прибаутка (А.—А. 1880), заимствованная из русской сказки (см. текст № 15).

Выше, выделяя особенности стиля карельской сказки, мы отмечали такие черты, как лаконичность, сжатость, экономность художественных средств. Но здесь нельзя не сказать о противоречивости и неоднородности стиля карельской сказки, которые при внимательном чтении и сравнении текстов несомненно бросаются в глаза. Нередко попадаются сказки с развернутым повествованием, с контаминацией нескольких сюжетов и со сложным синтаксисом, с часто встречающимся последовательным подчинением в сложноподчиненных предложениях. Это явление нельзя рассматривать как результат влияния литературного языка, потому что часто рассказчики не знали ни русской, ни финской грамоты и жили безвыездно в своей деревне. Эту поэтическую прелесть усложненного синтаксиса, встречающегося не только в сказках, но и в повседневной речи многих карел, в свое время тонко уловил Э. Салмелайнен, который в «Сказках и преданиях финского народа» на основе этого синтаксиса создал свой поэтический стиль, ставший одним из краеугольных камней фундамента финской художественной прозы.

Как по содержанию, так и по стилю сказки не являются застывшими, неподвижными. В записях за последние десятилетия мы встречаем стилистические приемы, идущие от литературы. Естественно, что в язык грамотных сказочников проникают элементы литературного языка. С другой стороны, литературное влияние сказывается и на репертуаре карельских сказочников. В северной Карелии встречаются сказки западноевропейского происхождения, ставшие здесь известными, очевидно, благодаря финским сборникам сказок. В репертуаре выдающихся сказочников района Кале-

<sup>70</sup> KKN III, стр. 119. Сказка записана Генетцом в дер. Вокнаволок (нынешний район Калевалы) в 1871 г.

М. А. Ремшу и М. И. Михеевой имеются сказки, варианты которых в Карелии не обнаружены. Для примера можно назвать публикуемую в настоящем сборнике сказку «Ленивая дочь» (записана от М. А. Ремшу), которая является удачно «карелизированной» гриммовской сказкой «Три пряжи» (А.—А. 501). В том же районе наряду с карельской версией сказки «Чудесные дети» (А.—А. 707) встречается западноевропейская версия этого сюжета. Однако в вариантах «захожих» сюжетов преобладают карельские черты, повтому можно предположить, что эти сюжеты уже давно перекочевали в район Калевалы устным путем из Финляндии, с которой у северных карел пограничной полосы до революции были непосредственные экономические и культурные связи.

Но более сильное влияние на сказочное творчество карел оказала как русская народная, так и русская литературная сказка. Русско-карельские связи в области сказочного эпоса — проблема сложная и весьма интересная. Одному из вопросов этой большой проблемы посвящена работа В. Я. Евсеева «Карельские варианты пушкинских сказок».<sup>71</sup> Записи сказок на сюжеты «Золотая рыбка», «Мертвая царевна», «Чудесные дети», обнаруживающие частичное знакомство карельских сказочников с пушкинскими версиями этих сюжетов, сделаны как в южных, так и в северных районах республики. Это не случайно. Но в названном выше исследовании отмечается и то, что сюжеты этих сказок появились среди карел до пушкинских текстов.

Взаимовлияние в области карельского и русского фольклора — процесс, имеющий многовековую историю. Почти во всех жанрах карельского народного творчества обнаруживаются следы русского влияния. Достаточно сказать, что, например, карельский песенный репертуар во многих деревнях южной Карелии почти целиком сменился русскими народными лирическими песнями. Даже в северо-западных районах, где знание русского языка в старину было минимальным, уже в XIX в. широкое распространение имели русские хороводные песни. Что же касается сказки, то тут влияние, бесспорно, было взаимным. Но вопрос этот не изучен ни с точки зрения карельского, ни с точки зрения русского сказочного эпоса Карелии, поэтому здесь придется ограничиться лишь некоторыми замечаниями общего характера. В карельском репертуаре мы нередко встречаем заимствованные русские сказки, которые еще не получили присущую карельской сказке художественную форму. Такие сказки подчас сохранили даже русские названия: «Иван-дурачок», «Жар-птица», «Молодильные яблоки», «Портупей-прапорщик» и т. д.

С другой стороны, есть сюжеты, которые, судя по некоторым существенным признакам, когда-то заимствованы у русских, но

<sup>71</sup> «Известия Карело-Финского филиала Академии наук СССР», № 3, Петрозаводск, 1949, стр. 75—88.

успели уже отстояться и приобрести национальную форму. Таковы сюжеты «По щучьему веленью» (А.—А. 675), многие варианты сюжета «Сивко-Бурко» (А.—А. 530А), «Конек-горбунок» (А.—А. 531), «Иван-царевич и серый волк» (А.—А. 550) и другие.

В связи с вопросом о влиянии русского сказочного эпоса на карельскую сказку нельзя не обратить внимания на тот факт, что в южнокарельском сказочном репертуаре большое место занимают русские версии общих для всей Карелии сюжетов. С другой стороны, многие южнокарельские сказки по стилю рассказывания ближе к русским сказкам, чем к собственно карельским, в которых мы выше отметили лаконичность изложения. Просматривая записи, сделанные в южных районах республики — в Олонецком, Пряжинском, Суоярвском, — нередко наталкиваешься на сказки с развернутым повествованием, подробной детализацией и с усложненным действием. Любовь к развернутому повествованию наблюдается главным образом у мужчин, в частности у таких выдающихся сказочников южной Карелии, как С. И. Иванов, В. А. Соболев, Н. П. Уткин и А. К. Исаков. Близость их стиля к стилю русских мастеров сказки объясняется тесными экономическими и культурными связями южных карел с русскими. Отходничество, общие торговые центры, работа бок о бок с русскими крестьянами на железоделательных заводах (карельские крестьяне южных районов, как и русские крестьяне, были приписаны к Олонецким заводам) — все это способствовало культурному обмену между двумя этими народами.

**Бытовые сказки.** Из всех жанров карельского фольклора наиболее ярко жизнь карел в условиях классового общества отразилась в бытовых сатирических сказках.

Несмотря на сходство сюжетов с бытовыми сказками других (особенно соседних) народов, карельские бытовые сказки отражают специфические условия жизни карельского крестьянства в дореволюционной России. В сказках рассказывается, как два брата вместе делают пожогу и один из братьев несправедливо захватывает большую часть выращенной на пожоге ржи; бедный брат идет продавать кожу в соседнюю деревню за несколько десятков километров, потому что в своей деревне некому продать, кроме как своему брату-богачу; поп со своим работником молотят по ночам в риге или идут на дальнюю пожню косить сено на целую неделю; герой едет в Питер (иногда в Финляндию) торговать или на заработки — словом, реалистические черты народного быта в карельской сказке отражены как в любой другой национальной сказке.

Народность карельской сатирической сказки прежде всего выражена в ее классовой направленности и заостренности. Но и здесь мы видим ряд особенностей, отличающих карельскую сказку, например, от русской. В карельском сказочном репертуаре совершенно отсутствуют антикрепостнические сказки. Вместо барина

на помещика русских сказок здесь мы встречаем иногда неопределенного «господина», иногда «начальника», в некоторых случаях станового и земского начальника. Отсутствие антибарских сказок у карел объясняется тем, что карельские крестьяне были государственными, а не помещичьими. Местокость помещика и унижения барщины были неизвестны карельским крестьянам.

Выражая идеологию беднейшего крестьянства, карельская бытовая сказка отразила вопиющую нищету подавляющего большинства жителей карельских деревень. Отсутствие самых элементарных средств существования, постоянный недостаток в хлебе, жизнь на грани голода — все это нашло отражение в бытовых сказках. Вот как начинается большинство не только бытовых, но и волшебных сказок: «Была у старика и старухи одна дочь. Когда отец умер и мать ослепла, девушка пошла в город просить милостыню». <sup>72</sup> «Ливут муж и жена, детей у них много. Хлеб у них не уродился — стало голодно». <sup>73</sup> Почти всегда бедность является стимулом действия героя из народа. Сказка на сюжет «Знахарь» начинается так: «Были раньше старик и старуха. Очень они бедны. Старик ходит по деревне просить». <sup>74</sup> Сказка о мужике, ловко одурачившем попа, имеет такое начало: «Раньше у мужика не было ничего. Одна удочка, которой он удил рыбу в озере». <sup>75</sup>

Эта экспозиция, которая дана в начале многих сказок, точно характеризует положение бедняцких слоев крестьянства в XIX в. и в первые десятилетия XX в. Еще в конце XIX в. в Карелии отмечались случаи голодной смерти. В неурожайные годы, когда хлеб не рождался вследствие летних заморозков, жители целых деревень покидали свои дома и отправлялись на поиски хлеба в другие селения, где, по слухам, можно было найти работу и пищу, вместе с детьми и стариками брели по заснеженным лесным дорогам и погибали от голода, мороза и метелей.

В связи с ростом эксплуатации, увеличением налогов росла и недоимка, для взимания которых власти не находили эффективных средств. Вот что писалось в «Обзоре Олонецкой губернии за 1907 год» о недоимках: «...меры отобрания земель у неисправных плательщиков неприменимы, крестьяне-недоимщики с радостью бросают свои участки, лишь бы не платить сборов». <sup>76</sup>

Того, кто не знаком с истинным положением дореволюционного крестьянства, может поразить ограниченность идеалов счастья и благополучия, нашедших отражение в бытовых сказках. На человек, лишенный куса хлеба, может мечтать только о хлебе. Поэтому большинство карельских бытовых сказок, да и не только карельских, кончается материальным вознаграждением, которого

<sup>72</sup> АКФ 35, 294.

<sup>73</sup> АКФ 74, 2.

<sup>74</sup> АКФ 64, 8.

<sup>75</sup> АКФ 35, 23.

<sup>76</sup> Обзор Олонецкой губернии за 1907 год. Петрозаводск, 1908, стр. 23—24.

герой сказки удостаивается благодаря своим личным качествам — уму, находчивости, хитрости и смекалке.

Для бытовой сказки типично сознание роли крестьянства в истории как совокупности людей, создающих материальные блага и поэтому противостоящих всем тунеядцам. Это говорит о классовом и историческом чутье простого крестьянина, о его неистребимом чувстве собственного достоинства, которое господствующим классам не удалось умертвить вековым рабством и унижениями. Несмотря на нищету, отсутствие элементарного образования, несмотря на пропаганду правящих классов, вдалбливавших в головы крестьян, что их положение в обществе predetermined богом, трудовое крестьянство сохранило сознание превосходства над теми, на чьей стороне были сила и закон. В сознании исторической непобедимости народа скрываются корни оптимизма народно-поэтического творчества. В этом отношении характерна одна карельская сказка, раскрывающая отношение крестьянства к другим сословиям и к самому себе. Сказка называется «Глупый Ванька».<sup>77</sup> У одного крестьянина было три сына. Один поступил на царскую службу, второй сделался купцом, а третий, «глупый Ванька», остался пахать землю. Черт погубил войско старшего брата — генерала, довел среднего брата — купца — до банкротства, но пахарю — «глупому Ваньке» — не смог ничего сделать. Наоборот, побежденные Ванькой бесы научили его играть на музыкальном инструменте, лечить зубную боль и самому делать деньги. После этого Ванька загнал бесов под землю. Он стал сказочно богатым и выручил своих братьев.

Большинство карельских бытовых сказок — это сатирические сказки, в которых гиперболизируются и высмеиваются пороки господствующих классов. Излюбленный герой карельских сатирических сказок — бедный крестьянин или батрак, который благодаря характеру своих действий получил в сказковедении определение «ловкого человека». «Ловкий человек», или, как он часто называется в сказках, «шут», «шутник», выступает как активное начало в отличие от своего антипода (попа, купца, царя), который обычно пассивен и лишь дает крестьянскому герою возможность действовать, проявлять свои способности.

Завязкой сказок такого типа обычно служит встреча «шутника» с кем-нибудь из представителей привилегированных классов, чаще всего с попом. Последний хочет или развлечься, или испытать известного шутника, сможет ли тот его перехитрить.<sup>78</sup>

В такого типа бытовых сказках нет элемента чудесного. Но сказочная фантастика и здесь налицо, хотя она носит совсем иной характер, чем в волшебной сказке. Нет ничего сверхъестественного в том, что, например, герой одной севернокарельской сказки крадет

<sup>77</sup> АКФ 63, 208.

<sup>78</sup> АКФ 94, 26; 99, 7. См. также: Белова, 26 (русский перевод см. Пажлаков, стр. 135—138).

Дрова из поленицы царя и деражо, весело отвечает царю на обвинения в воровстве, но в то же время подобная ситуация в действительности абсолютно исключается.<sup>79</sup>

Живая действительность получает в сказке своеобразное художественное преломление, в котором пропорции и соотношения реальной жизни резко искажены, но все же выражают то главное, самое существенное, что характерно для миропонимания крестьянства в классовом обществе.

Судя по имеющимся записям, сказки о «ловких людях» и «шутах» являются самыми излюбленными в карельском репертуаре бытовых сказок. Сатира против царя встречается главным образом у северных карел, чаще всего в районе Калевалы. В других районах объектом осмеяния почти исключительно служит поп.

В основном сюжеты карельских сказок о «ловких людях» соответствуют сюжетной схеме «Шут» (А.—А. 1539) в соединении с мотивами сюжета «Шут-невеста» (А.—А. \*1538 I) и сюжета «Герой должен быть брошен в воду» (А.—А. \*1535 В). Естественно, что эта схема характеризует развитие сюжета только в общих чертах; в каждом отдельном случае художественные детали различны (см. тексты №№ 67, 68, 69).

Кроме сказок о «ловких людях», в карельском сказочном репертуаре довольно широко распространены сказки о «ловких ворах». Воровство в сказке — форма поединка между героем и его противником. Хотя крестьянская этика строго осуждала воровство, в сатирической сказке тем не менее оно представлено как искусство, требующее ума, смелости и остроумия. Ибо воровство здесь является средством, с помощью которого показаны поражение и унижение представителя господствующего класса перед вором — выходцем из народа. Образ «ловкого вора» по существу не отличается от образа «ловкого человека», «шута» — оба они наделены качествами, которые позволяют крестьянину чувствовать свое превосходство перед господами: здоровый практический ум, сообразительность и находчивость. В конце концов, после того как вор выполняет три сложных задания (украсть коня, которого караулят солдаты; украсть со стола самовар в присутствии попа и попадьи и т. д.), его противник вынужден признать вора «главным вором», «вором-мастером», а в иных случаях даже удостоверить это специальным свидетельством, чтобы вор мог «честно воровать», как мы читаем в сказке, записанной от сказочницы района Калевалы Мавры Хотеевой.<sup>80</sup>

В карельских сказках, где в качестве крестьянского героя выступает «шут» или «ловкий вор», поступки героя часто являются мстью за несправедливость или материальный ущерб, нанесенный ему попом или другим представителем господствующих сословий.

<sup>79</sup> Remsu, стр. 60—65.

<sup>80</sup> АКФ 20, 56.

Например, бедный Ванька, герой южнокарельских сказок, мстит попом за их неблагодарность: он на последние гроши вынужден угощать проезжих попов, а те не пускают его к себе даже на кухню.<sup>81</sup> В других сказках поп (купец) обманывает бедного мужика при какой-нибудь торговой сделке: например, поп и поповские работники уверяют мужика, который привел на базар корову, что вместо коровы у него коза; поп покупает у мужика корову, заплатив цену козы.<sup>82</sup> Или же купцы, сговорившись обмануть жену сапожника, которая пришла в город продавать изделия своего мужа, уверяют ее, что на этот раз вместо сапог она принесла уток.<sup>83</sup> Чтобы отомстить обидчику, крестьянин делает вид, будто бы обладает чудесной шапкой, при помощи которой можно расплавиться в трактирах. Мужик продает шапку за большие деньги, таким образом возместив материальный ущерб, который ему причинили. Поп (купец и др.), купивший шапку, собирает приятелей и ведет их в трактир кутить, чтобы похвастаться волшебной шапкой, но оказывается жестоко посрамленным. После ряда эпизодов, безуспешно пытаясь убить мужика, но каждый раз попадаясь на новую хитрость, классовый противник крестьянского героя сам гибнет из-за своей глупости и жадности. Мужик обычно не сам справляется с врагом, а лишь подготавливает те условия, при которых враг идет навстречу своей гибели.

На втором месте по количеству записей среди карельских бытовых сказок стоит группа сказок о хозяине и работнике. Если в сказках предыдущей группы народный герой выступает как представитель крестьянства, который ни юридически, ни экономически не зависит от своего антипода, то в сказках этой группы главное действующее лицо экономически зависит от представителя другого класса или сословия.

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что преобладающее большинство сказок этой группы рисует взаимоотношения попа и его работника. Только в редких случаях хозяином выступает купец, и совершенно отсутствуют сказки, в которых противопоставлялись бы хозяин-кулак и батрак. По всей вероятности, сказки этого типа возникли до капиталистического расслоения карельской деревни.

В карельских сказках о хозяине и работнике наблюдаются два типа активно действующего героя. Первый тип близок к образу ловкого человека из первой группы сказок.

Одна из сказок о хитром работнике начинается словами, которые уже характеризуют тип героя: «Отправляется такой веселый шутник работу искать». Уговор: делать только то, что велит хозяин (в данном случае поп). По распоряжению попа, в его отсутствие работник должен делать то же, что каждое утро будет де-

<sup>81</sup> АКФ 94, 25; 94, 88.

<sup>82</sup> Белова, 22.

<sup>83</sup> Remsu, стр. 80—82.



мать сосед. В первый день сосед разобрал старую крышу — работник разобрал новую крышу поповского дома. На другое утро сосед, в силу необходимости, убивает единственную корову — работник убивает всех коров попа, а на возражения попадьи отвечает, что у него есть уговор с батюшкой и что он слушает только его. Третий эпизод — эротический. Вернувшись из поездки, поп начинает обвинять работника, но последний созывает мужиков из деревни, прося их рассудить, кто прав: он или поп. Крестьянский суд, конечно, оправдывает работника. Комизм сказки усиливается еще тем, что поп в конце убеждается в своей неправоте и говорит работнику: «На этот раз ты молодец, все правильно сделал».<sup>84</sup>

Поп-хозяин в одних сказках глуп, иногда даже добр по глупости,<sup>85</sup> в других — труслив, скуп и жаден; он стремится получить от работника как можно больше за минимальное вознаграждение. Работник обманывает попа с целью проучить его за скупость и жадность: на сенокосе он втыкает в землю елочки и покрывает их мхом, чтобы они издали казались попу копнами заготовленного сена, в лесу он вместо дров кладет в поленицы сучья и мох<sup>86</sup> и т. д.

Другой тип активного героя в сказках о хозяине и работнике имеет общие черты с героем волшебных сказок типа «Чудесная сила». В такого рода карельских сказках не встречается известный в русских и финских сказках «уговор не сердиться». В карельских же сказках о попе и работнике широко распространена следующая завязка: попадьи не велит попу брать работника с именем Иван, Миша, Матти, Нийкой и т. д. Человек с таким именем как раз и встречается попу, бежит три раза ему навстречу и уверяет, что в этой местности других имен нет (см. тексты №№ 74, 76). Поп вынужден взять его в работники, после чего тот начинает вредить попу или попадье. Такой мотив не зарегистрирован ни у Аарне, ни у Андреева. Он близок к мотиву, встречающемуся в ряде волшебных сказок, где свекор или муж идет искать повивальную бабку для роженицы и наталкивается на Сююцар (см. тексты №№ 20, 48).

С точки зрения эволюции сказочных сюжетов интерес представляет группа карельских сказок о попе и его работнике, в которых работник действительно обладает чудесной силой, а не разыгрывает из себя сверхсильного человека, как в сказках типа «Балда». Такие сказки о попе и его работнике (см. текст № 76) происходят от волшебных сказок типа «Чудесная сила», в которых сын медведя (или медведицы) благодаря своему необычному происхождению наделен необыкновенной силой (см. тексты №№ 13, 47). В современных записях чаще всего один из родите-

<sup>84</sup> АКФ 74, 33.

<sup>85</sup> «Добрый» поп выступает часто в сюжете «Попадьи по-немецки заговорила» (А.—А \*1730 IV): АКФ, 20, 1; 22, 61; 35, 317; 65, 89; 72, 6.

<sup>86</sup> АКФ 12, 4; 74, 15; 74, 33. См. также текст № 74 в сборнике.

лей сына-медведя — поп или попадья, но в некоторых записях XIX в. герой является сыном лесной деви и охотника.<sup>87</sup>

В этих сказках родители хотят избавиться от беспокойного сына, который не умеет управлять своей силой и этим причиняет вред окружающим. Сказки о сыне-медведе несомненно древнего происхождения. Когда смысл и логика сюжета стали забываться, появилась необходимость восстановить их, но это произошло уже в новых социальных условиях. Почему отец-крестьянин хочет погубить своего неумелого, но доброго сына? Это не логично. Так пусть этим отцом будет поп — лицо, враждебное крестьянину, и логика действий героев восстановлена.<sup>88</sup> Позже, когда возникла проблема «хозяин и работник», поп-отец превратился в хозяина, а его сын-медведь — в работника. Так можно объяснить сходство сюжетов и совпадение мотивов в этих сказках, принадлежащих к разным сказочным типам — к волшебным и бытовым. И в тех и в других поп и попадья хотят избавиться от сына (или работника); для этого они дают ему задания: 1) привести из лесу якобы пропавшую лошадь или быка (на самом деле медведя); 2) поехать за рыбой на озеро, в котором живет водяной; 3) получить несуществующий долг у царя (задания могут варьироваться).

Если мы обратимся к бытовым сказкам этого типа о попе и его работнике, то увидим, что эволюция от волшебной сказки к бытовой еще не закончилась, в результате чего налицо противоречие формы и содержания. В одной и той же сказке работник, с одной стороны, действительно обладает чудесной силой, а с другой — при помощи хитрости добывается впечатления, что он сверхъестественный человек.<sup>89</sup> Социальный конфликт между хозяином и работником в этих сказках разрешается при помощи волшебных средств, что не типично для бытовых сказок.

В ином плане антагонистические отношения между представителями крестьянства и эксплуататорских классов выступают в сказках эротического характера, в которых социальный мотив перенесен в область морали. Примечательно, что непристойности встречаются только в тех сказках, где объектом сатиры является человек какого-нибудь высшего сословия, в карельских сказках — духовное лицо (поп, дьякон, дьячок, архиерей). В сказках, рисующих взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены в крестьянской среде, эти элементы отсутствуют. Сластолюбие духовных лиц, супружеские измены в поповской семье нашли осуждение, которое выражалось в форме сатирического осмеяния.

Народный герой (героиня) этих сказок действует, как обычно, хитростью, но сама тема исключает многократный обман и единоразовость между антагонистическими образами. Отсюда и построе-

<sup>87</sup> См., напр.: SKS;T, стр. 25—35.

<sup>88</sup> АКФ 35, 37; 100, 44; 135, 103; 136, 3.

<sup>89</sup> АКФ 13, 77; 65, 86; 94, 55; 112, 92.

ние сюжета этих сказок иное: сказочная троекратность осуществляется не посредством нанизывания эпизодов и варьирования действий героя, а путем введения новых действующих лиц при тождестве эпизодов. Если в сказках, где действующим началом является «шут» или «вор», единоборство между главным героем и его противником охватывает более или менее продолжительный отрезок времени, то в сказках данного типа время действия строго ограничено: один вечер или ночь; лишь в редких случаях действие продолжается следующим утром.

Из сказок, изображающих духовных лиц в роли неудачливых любовников, в Карелии наиболее распространены сказки с сюжетом, схема которого у Аарне—Андреева обозначена номером 1730 (см. тексты №№ 72, 73).

В ином плане дается образ представителя крестьянства в сказках типа «Семилетка», «Умные ответы», в которых единоборство между представителями разных классов выражается не в действии, а в загадочных ответах героя на вопросы человека из господствующего класса, в разгадывании трудных загадок. В образе героя преобладает не хитрость и ловкость, претворенные в действие, а своеобразная мудрость, умение остроумными ответами поставить в тупик чуждого крестьянской среде человека или разгадать его загадки. Такого типа герой — это крестьянский парень или девушка, отвечающие царю, судье, прокурору и т. д., или старый крестьянин, отвечающий на вопросы царя. Сюжетов с таким сказочным героем немного; в указателе Аарне—Андреева они обозначены номерами 875 («Семилетка»), 920 («Сын царя и сын кузнеца»), 921, \*921, IA и IB («Умные ответы»), \*921, II («Горшня»), 922 («Беспечальный монастырь»). В карельском репертуаре бытуют сюжеты: А.—А. 875, 920, 921,<sup>90</sup> \*921, IA и IB, 922.

Сказки на сюжет «Умная девушка» (А.—А. 875) в Карелии имеют иную, чем русские сказки на этот сюжет, завязку: бедный и богатый братья вместе возделывают подсеку, богатый брат хочет захватить себе весь урожай (или же бедный брат задолжал богатому брату и просит его подождать с долгом до урожая, на что тот не соглашается). Богатый брат подает в суд на бедного брата (или бедный на богатого, когда богатый брат уже захватил весь урожай). Вместо бедного брата в суд идет его дочь — взрослая девушка (см. текст № 52).

Загадки, которые загадывает судья, и ответы варьируются. Например, в одном из вариантов умная девушка на вопросы судьи: 1) что всего роскошней и сочней, 2) что всего быстрее и проворней, 3) что всего милей и дороже?<sup>91</sup> — отвечает так: 1) природа в Иванов день, 2) мысль, особенно у бедняков, 3) хозяйка, которая не откажет бедному человеку после долгого пути в ночлеге и

<sup>90</sup> См. примечание к текстам №№ 52, 57, 58.

<sup>91</sup> В русских сказках о семилетке встречается такое же сочетание вопросов или близкое ему. См., напр.: Аф. 328, Сок. 4, См. 47, 116, Худ. 16.

приготовит баню. Ответы богатого брата: 1) хорошо раскормленный бык, 2) его собственная лошадь, 3) собственная жена.<sup>92</sup>

Во всех карельских сказках об умной девушке героиня состязается в уме, с одной стороны, со своим богатым дядей или соседом и, с другой стороны, с судьей (прокурором), а не с царем и царским сыном, как большей частью в русских сказках (напр., Аф. 328, Онч. 49. См. №№ 47, 116, 192). На суде обычно судья (прокурор) держит сторону богатого брата (соседа), откладывает суд, когда видит, что перевес на стороне бедняка и т. д. Большого эффекта достигают ответы девушки благодаря тому, что она отвечает после богача, ответы которого всегда смешны своей уязвостью и отсутствием умения обобщать.

Выше рассматривались бытовые сказки, в которых раскрывается отношение крестьянства к другим сословиям и в которых наиболее ярко проявляется классовый антагонизм. Несмотря на разнообразие сюжетов, все эти сказки имеют одну идейно-художественную основу. Отражая отношение крестьянства к эксплуататорским классам, эти сказки в своем композиционном построении опираются на антитезу, которая обуславливает особенности сказочных образов. В любой из сказок этой наиболее многочисленной группы мы встречаем противопоставление социальных типов, каждый из которых наделен своими специфическими чертами. Черты, присущие типу одного социального полюса, отсутствуют у типа-антипода, вернее, наличествуют негативно: ум — глупость, остроумие — тупоумие, хитрость — простоватость, смекалка и находчивость — недомыслие, здоровая нравственность — распущенность и т. д. Все перечисленные позитивные качества присущи образу крестьянского положительного героя, а негативные — образу отрицательного героя, в качестве которого выступает поп, купец, господин, царский чиновник, царь.

От этих сказок, построенных по принципу полярности персонажей, отличается группа сказок о бедном и богатом братьях, т. е. о бедняке и богаче из крестьянского сословия. Речь идет о карельских версиях сюжетов «Чудесные дары» (А.—А. 564), «Чудесная мельница» (А.—А. 565) и «Две доли» (А.—А. 735). Сказки о бедном и богатом братьях как в карельском, так и в русском репертуаре немногочисленны, но у карел все же более распространены, чем у русских. Редки в Карелии также сатирические сказки о бедном и богатом братьях (сюжет «Дорогая кожа», А.—А. 1535).

В карельских сказках о бедном и богатом братьях отразилась начальная стадия имущественного расслоения в крестьянской среде, сопровождающегося грубым обманом и насилием. Но природы этого расслоения крестьянин-труженик не мог понять. Он склонен был видеть причину обогащения своего брата-крестьянина в содействии какой-то сверхъестественной силы — судьбы, доли.

<sup>92</sup> АКФ 28, 280.

Поэтому обман и насилие со стороны своего же брата-крестьянина вызывали у него недоумение, робость, жалость к себе и лишь после ряда столкновений побуждения отплатить богачу той же монетой. И не сам он приходит к мысли о мести, а его наталкивает на это сверхъестественный помощник — его Доля, его Счастье.<sup>93</sup>

Бедный брат не наделен сознанием моральной силы и превосходства — качествами, которые характерны для крестьянского героя в столкновении с представителями эксплуататорских классов. Бедняк чувствует свою приближенность перед богачом с его высокомерием и грубостью, против которых у бедняка нет морального оружия. Обычно сказка начинается с того, что бедный брат вынужден идти к богатому просить какой-то помощи — он делает это робко, потому что заранее знает, что здесь его ожидают всяческие унижения. Когда, по воле судьбы, бедняк становится материально обеспеченным, он не помнит зла и доверчиво делится своей удачей с богатым братом. На грубое насилие и обман богача бедняк вначале отвечает слезами и жалобами. И только ценой горького опыта и лишений он изживает свою доверчивость и мстит богачу.

Но было бы неверно отождествить сознание народа со степенью сознания положительного героя — бедного брата, как оно отражено в сказках этого типа. Пассивность, мягкотелость и доверчивость бедного брата по отношению к богатому брату явно осуждаются в сказках. Недаром и бедный брат получает чувствительный урок: двое дюжих молодцов из сумы, которую дарит бедняку Доля (или старик Хйиси), сперва порядком колотят бедного брата, чтобы впредь не был доверчивым до глупости и не позволял бы богатому брату издеваться над собой.

В сказках о бедном и богатом братьях социальная проблема бедности и богатства перенесена в философский и морально-этический план добра и зла, справедливости и несправедливости, где бесхитрость и честность в конце концов вознаграждаются, а насилие и обман получают заслуженное возмездие. В этом и кроется причина отсутствия юмора и сатиры в перечисленных выше сюжетах сказок о бедном и богатом братьях.

Идейно-художественные особенности сказок о бедном и богатом братьях обусловлены степенью сознательности крестьянства в эпоху, когда возникли эти сказки. Очевидно, они складывались в те времена, когда только еще начинался процесс имущественного расслоения крестьянства и когда бедный крестьянин не видел в богатом крестьянине его новой классовой природы. В силу словесных предрассудков он не понимал сущности противоречий между собой и богачом, в то время как противоречие между крестьянином и представителями господствующих сословий он ясно сознавал. В первом случае неясность давила и заставляла искать

<sup>93</sup> АКФ 99, 21; 102, 1; 132, 213; Белова, 13 (русский перевод см.: Пажлаков, стр. 114—118).

объяснения в области общечеловеческих морально-философских вопросов; во втором случае ясность и полная определенность придавали моральную силу и желание посмеяться, поиздеваться над всем тем, что чуждо трудящимся массам.

Характером социальных противоречий, непонятных бедному крестьянину, объясняется и то, что сказка о бедном и богатом братьях старается возбудить жалость к бедняку. В карельских сказках на эту тему часто рисуется картина голодного существования бедняцкой семьи, рисуются образы голодных детей бедняка, слезы отца и матери и т. д. В сказках, сюжет которых строится на классовом конфликте, такие картины отсутствуют: врагу не показывают слез и слабости, наоборот, врагу стремятся продемонстрировать свое превосходство и моральную силу. Примечательно, что в сказках не рисуются картины сбора податей, который, по историческим сведениям, иногда сопровождался даже применением военной силы, не рассказывается о рекрутских наборах и т. д. Бытовая сказка, отображающая классовые противоречия, не касается тем, в которых неизбежно пришлось бы показать бессилие крестьянства перед его поработителями. Ее общественная функция — показать силу и превосходство крестьянства, а не бессилие и слабость, чем и объясняется преобладание сатиры в бытовых сказках в целом. Этим же объясняется и ограниченность тематики сатирических сказок: тематика их строго ограничена от тематики исторических, рекрутских, солдатских песен, частушек и других жанров, которые тоже разрабатывают различные проблемы социального характера.

Особый раздел среди бытовых сказок составляют сказки, в которых раскрывается отношение крестьянина к некоторым сторонам быта в крестьянской среде. В этих сказках прежде всего отразилось отношение к женщине в патриархальной семье: в сказках высмеивается женская болтливость, упрямство, лень, измена мужу. Но в Карелии такие сказки гораздо менее популярны, чем сказки с ярко выраженной классовой направленностью. Большинство карельских сказок о женщинах отличается, например, от русских сказок на те же сюжеты своей мягкостью, незлобностью. В этом отношении характерна сказка № 55 из данного сборника. В ней мы видим оригинальную версию сюжета «Исправление ленивой». Муж тонко и остроумно «перевоспитывает» ленивую жену, не прибегая при этом к физическим мерам воздействия, что обычно для данного сюжета, и не унижая ее человеческого достоинства. Такое же бережное и терпеливое отношение к женщине мы видим в уникальной сказке «Живот плачет» (текст № 78; существуют всего две записи этой сказки из северной Карелии). Многие сюжеты, в которых женщина унижается (например, «Укрощение строптивой», А.—А. 901 А), в Карелии или совсем не встречаются, или встречаются очень редко. Женская неверность тоже является малопопулярной темой в карельском сказочном репер-

туаре. Из всех сюжетов на эту тему в Карелии бытует лишь два: «Гость Терентий» (А.—А. 1361) и «Никола Дупленский» (А.—А. 1380). Это не случайно. Народное творчество карел и наблюдения за их семейными отношениями показывают, что к женщине в Карелии всегда относились с уважением; несмотря на патриархальную форму семьи, женщина играла, в семье отнюдь не последнюю роль. Об этом говорят и эпические песни, и свадебные, и сказки.

В Карелии встречаются сказки, в которых объектом смеха служит мужчина — жених, муж. В сюжете «Невестины загадки» (А.—А. 921) умной девушке противопоставляется глупый жених (см. текст № 58). В сказках на сюжет «Муж выполняет работу жены» (А.—А. 1408) с мягким юмором и лукавством доказывается, что женщина может выполнять любую работу, а муж при попытке выполнять женскую работу обнаруживает свою беспомощность (см. текст № 63).

Наиболее распространенными и многочисленными из юмористических сказок являются сказки о глупцах на сюжеты «Набитый дурак» (А.—А. 1696), «Человек ищет людей глупее сестры и матери» (А.—А. 1384) и анекдоты типа анекдотов о пошехонцах.

Все эти бытовые сказки, которые отражают не отношение крестьян к другим сословиям, а к некоторым явлениям внутри сословия, объединяет одна идейно-художественная особенность — отсутствие образов-антиподов. Противоречия в них раскрываются не средствами сатиры, а при помощи юмора. Юмористические сказки в фольклористике вообще малоизучены. Между тем, они важны для понимания семейных отношений и норм поведения в крестьянской среде и, кроме того, для изучения особенностей народного юмора как истоков комического в литературе.

\* \* \*

Карельская бытовая сказка не однородна по своему содержанию и художественным особенностям. Значительное различие наблюдается между сказками, бытующими в южных районах Карелии (Олонецкий, Пряжинский, Кондопожский и Суоярвский), и сказками северной Карелии.

В севернокарельской сказке наиболее ярко выразилась добродушная насмешливость карельского ума. Только здесь, в районе Калевалы, мы встречаем веселого Кумохку, который беззлобно, но очень остроумно и ловко водит за нос царя, царских слуг и попа. Образ Кумохки особенно обаятелен потому, что здоровый юмор в нем сочетается с чувством независимости и человеческого достоинства.

В бытовых сказках отчетливо выступают две стороны севернокарельского национального характера: с одной стороны, эпическое спокойствие, медлительность и невозмутимость (см., например, текст № 68), с другой — своеобразная хвастливость, лишенная зазнайства и самодовольства, как одна из особенностей северного народного юмора.

Если брать «общий тон» сказки, то различие между южнокарельскими и севернокарельскими сказками заключается в том, что северной сказке больше присущи юмор и добродушная ирония — она преобладает и в сатирических сказках, — в то время как в южной сказке больше едкой сатиры и сарказма. В южнокарельской сказке наблюдается стремление к реалистическому описанию бедственного положения дореволюционной деревни с самовластием жулака-купца. Южнокарельская сказка по сравнению с севернокарельской дает гораздо больше материала для понимания тех общественных процессов, которые имели место в карельской деревне перед Октябрьской революцией, и перемен, происходивших в сознании крестьян.

Вот характерная экспозиция южнокарельской бытовой сказки: «Жили раньше два брата. Один был богатый, другой бедный. Бедный брат трудился дни и ночи. Все равно ему есть нечего. И дети у него чуть ли с голоду не умирают. А богатый брат ничего не делает, все равно живет очень богато». <sup>94</sup> Или: «Живут в деревне богатый и бедный брат. По-всякому пытается бедный брат разбогатеть, но никак не может, и детей мало: два сына-близнеца, шесть годов». <sup>95</sup> Или: «Жили старик со старухой и с сыном, бедные-пребедные, земли не было, только картошки немного сажали». <sup>96</sup> Крестьянин уже сознает безвыходность своего положения и невозможность выйти из нищеты честным трудом: «Пойду воровать. Тут как ни бейся, все равно жизнь не наладится. Все одно». <sup>97</sup> В другой сказке сын, заявив родителям, что идет воровать, говорит: «Почему только богатым владеть деньгами?». Когда отец страшает сына тюрьмой, тот отвечает: «Тюрьма еще не смерти!». <sup>98</sup> Эта отчаянная решимость любым путем освободиться от подступающей со всех сторон нищеты не характерна для севернокарельской сказки. В изображении отношений между хозяином и батраком в южнокарельских сказках на первый план выдвигается их социальная сущность, а не юмористическая сторона, как в северной сказке. Богатый купец мечтает найти такого сильного и здорового «казака» (карелы, как и русские на севере, называют работника «казаком»), который бы мог работать за двоих: «... один меньше ест, и платит одному меньше, чем двоим». <sup>99</sup>

Эти различия в характере бытовой сказки объясняются особенностями условий жизни северных и южных карел. Северные районы были в экономическом отношении наиболее отсталыми, природные условия здесь куда суровей, чем в южной части Карелии, пашню приходилось завоевывать у леса, клочок за клочком.

<sup>94</sup> АКФ 99, 21.

<sup>95</sup> АКФ 98, 7.

<sup>96</sup> АКФ 74, 24.

<sup>97</sup> АКФ 74, 24.

<sup>98</sup> АКФ 74, 11.

<sup>99</sup> АКФ 74, 59.



Естественно, что север не привлекал русских помещиков. Отдаленность края при существовавшем бездорожье обеспечивала крестьянам относительную независимость от повседневного надзора и гнета царских властей. Большое значение для крестьянского хозяйства в крае, где земледелие не могло прокормить населения, имело то обстоятельство, что до реформы 1861 г. крестьянские наделы не были размежеваны с государственными землями и крестьяне могли свободно использовать для своих нужд лес, ловить рыбу в озерах без дополнительного налога. Даже имущественное расслоение крестьянства, хотя и началось рано вследствие развития товарно-денежных отношений, не было таким резким и интенсивным, как на юге Карелии.

Олонецкий погост, куда входили южные районы края, заселенные карелами, уже в XVII в. был наиболее развитым в экономическом отношении наряду с русскими Шульгским и Толвуйским погостами. В середине XVII в. Олоонец стал военно-административным центром Карелии, он играл значительную роль во внутренней торговле, через Олоонец проходила внешняя торговля со Шведцией. Поэтому естественно, что феодальная эксплуатация крестьянства здесь была сильнее, чем на севере. Особенно невыносим стал феодальный гнет в XVIII в. в связи с развитием горнозаводского дела в крае. Крестьяне южной Карелии (как карелы, так и русские) были приписаны к Олонецким заводам и должны были нести тяжелые заводские повинности. Пребывание крестьян на заводских работах (добывание руды и ее перевозка, выжигание древесного угля и т. д.) отрывало их иногда на 6—8 месяцев в году от своего хозяйства, вследствие чего оно приходило в упадок, разорялось. Положение приписных крестьян было не лучше положения крепостных. В борьбе против феодального гнета карельские крестьяне юга выступали вместе с русскими крестьянами.

На юге условия для земледелия были лучше, чем на севере, поэтому здесь происходила острая борьба за землю. Богатые крестьяне покупали земли у купцов и мещан, путем экономического закабаления захватывали земельные участки бедняков. Имущественная и социальная дифференциация крестьянства здесь проходила быстрее и носила более острый характер, чем на севере.

Этими особенностями исторических и экономических условий жизни северных и южных карел определяются и различия в бытовых карельских сказках.

В южнокарельских сказках более резко, в чисто реалистическом плане выражен тип кулака — богатого брата и кабальная зависимость бедняка от него. Только на юге встречаются сказки, в которых богач — не брат бедняка, а тип деревенского мироеда, который держит в своих руках всю деревню, а не только «бедного брата», как это обыкновенно бывает в сказках такого типа (см. текст № 66 и примечание к нему). Такая интерпретация сюжета о бедном и богатом братьях свидетельствует о расширении круго-

зора крестьян-бедняков и батраков, осмысливающих богатого крестьянина-кулака уже как врага тружеников-крестьян.

Необходимо еще отметить, что на юге Карелии значительно больше сказок-новелл на морально-этические темы, в которых одним из главных действующих лиц является купеческий сын или сын бедняка, который становится купцом. Здесь распространены сказки о верной жене, по происхождению бедной девушке, иногда даже нищенке, которая дает чувствительный урок своему мужу-купцу, не нашедшему в себе твердости верить жене до конца: ведь он женится на нищей девушке потому, что только в ней, а не в купеческих дочерях надеется найти верность и честность.<sup>100</sup> Эти сказки выражают двойственное отношение к купцу со стороны крестьянства, как это мы наблюдаем и в русских сказках о купцах. Наличие сравнительно большого количества сказок о купцах на юге Карелии тоже объясняется исторически: близость к торговым путям внутреннего общероссийского и внешнего (путь в Швецию) рынков, близость знаменитой Шуньгской ярмарки способствовали развитию торговли среди южных карел и выделению из крестьянской среды торговых людей. В южнокарельских сказках часто встречается упоминание о Питере; купец едет торговать в Питер, иногда даже в Москву. Петербург выступает в южнокарельских сказках как нечто конкретное, понятное и близкое. Жизнь карельских как и русских крестьян Карелии через отходничество была тесно связана с Петербургом. По рассказам старожилов, местные купцы поставляли для Петербурга, помимо дров, сена, дичи и прочего, еще и живой товар: они собирали у крестьян-бедняков, обремененных большими семьями, малолетних детей и отвозили их в Петербург, определяли в купеческие лавки и магазины, пристраивали учениками к ремесленникам, за что получали от хозяев определенное вознаграждение. Некоторых сказочников южной Карелии в детстве постигла такая участь. Например, И. И. Тарасов, знаток старинных лирических песен и сказок, был отправлен в 10-летнем возрасте в Петербург, где выучился сапожному ремеслу. Прожив в Петербурге 20 лет, он ослеп и вернулся на родину.<sup>101</sup> Два крупных карельских сказочника из того же Пряжинского района, откуда был родом и Тарасов, В. А. Соболев и П. Н. Уткин, тоже таким же образом попали в детстве в Питер. В. А. Соболев рассказывает в своей автобиографии, что он бежал с пятью рублями в кармазе, которые дал хозяин, послав его в лавку.<sup>102</sup> Очевидно, бегство детей на родину было нередким явлением. От П. Н. Уткина записана сказка в форме повествования от первого лица, в которой сказочные положения переплетаются с реальной действительностью. Сказка начинается так: «Увезли меня в Питер и определили на пять лет мальчиком к сапожнику. Ну, мне стало жить

<sup>100</sup> АКФ 78, 48; 78, 58; 98, 8; 135, 167.

<sup>101</sup> АКФ 95, 11.

<sup>102</sup> АКФ, коллекция «Автобиографии карельских сказителей», № 7.

очень плохо. В четыре часа утра разбудят и до одиннадцати вечера на побегушках». <sup>103</sup> Герой сказки решил бежать. По пути к дому он попадает в положения, известные по сказкам-анекдотам.

Новые влияния, исходившие от наиболее революционных слоев русского народа, в сильной степени определили рост критического отношения к существующим порядкам со стороны карельских крестьян. По сравнению с северной, южнокарельская сказка по своей сатирической заостренности более близка к русской сатирической сказке. Добродушная ирония и юмор уступают место злой сатире и открытой ненависти к эксплуататорам. Одинаковые экономические и политические условия жизни карельских и русских крестьян, совместная борьба против эксплуататорских классов, идеологическое влияние наиболее передовой части русского народа на карельских крестьян — все это создало почву для культурных связей двух народов, в том числе и в области народно-поэтического творчества.

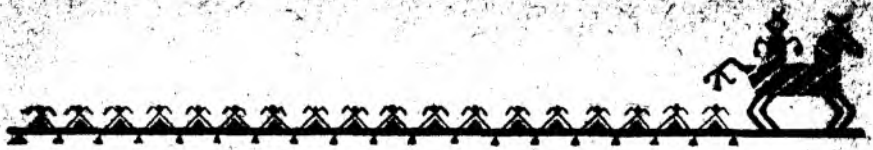
\* \* \*

В книге «Исторические корни волшебной сказки» В. Я. Пропп пишет: «Изучение фольклора может идти по двум направлениям: по направлению изучения сходства явлений и по линии изучения различий. Фольклор, и в частности сказка, не только единообразен, но при своем единообразии чрезвычайно богат и разнообразен». <sup>104</sup> В этом сходстве и различии сказок разных народов заключается трудность исследования национальной сказки: сходство прежде всего бросается в глаза, в то время как различия подчас с трудом поддаются определению.

В этой статье мы попытались рассмотреть основные особенности карельского сказочного эпоса. Однако многие вопросы из-за недостаточной изученности или остались вовсе не затронутыми, или освещены недостаточно основательно. Большой интерес представляет исследование локальных особенностей репертуара и поэтики сказки — тех различий внутри карельской сказки, которые связаны с этногенезом карельского народа. Весьма плодотворной для исследователя явится также углубление в область взаимовлияния сказочного репертуара, с одной стороны, русских и карел, и с другой — карел и финнов. Карельская сказка дает интересный материал для изучения взаимопроникновения различных фольклорных жанров, главным образом эпических песен и сказок, а также взаимовлияния таких жанровых разновидностей, как волшебная и бытовая сказка. Можно бы перечислить еще целый ряд проблем и вопросов, требующих внимания, в связи с изучением карельского сказочного эпоса. И число этих вопросов будет все возрастать по мере углубления исследователя в материал.

<sup>103</sup> АКФ 98, 5.

<sup>104</sup> В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки, стр. 337.



## СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

### 1. REPO TA UKKO KALALLA

Panou ukko kokkua järveh ta ryšyä niihi kokkih.. Lähtöy tyšillä huomena. Mänöy jystäy ryšan. Noštau — ryšä on täysi matikkua. Hänellä on ahkivo, minne panna kalat. Pani ryšan jälellä järveh ta läksi kotihih matikka-ahkivuo vetämäh ta šuksillä hiihtau. Repo juoksentelou puoleh-toiseh tiellä ta kaččou, kun ukko vetäy matikkua, ajattelou: «Millähän nuo matikat šaisi ukolta ahkivošta?». Heittäytyy kuollehekši tiellä. Ukko tulou revon kohtah:

— Kačohan, pyhä Petri anto kalua ta nyt pyhä Miikkula revon.

Ukko noššaltau revon ahkivoh matikkojen piällä. Jakkuh heittäy piällä, kun kuuma tuli. Iče hiihtau, ei kačaha jälellä päin.

Repo ahkivošta kaikki šyyti matikat tiepuoleh. Ukko tuli kotihih i karjuu:

— Tuo, akka, vakka matikkoja ottua ahkivošta!

Akka juokšou vakan kera. Ukko šanou:

— Täysi ahkivo on matikkua ta vielä on repo jakun alla!

Akka kohottau jakkuo ahkivošta.

— Tiällä ei ole, — šanou, — repuo, eikä matikkua.

Ukko kiivažtu šemmosekse, jotta mintäh siellä ei ole.

Akka šanou:

— Tule, kačo, vet on tyhjä ahkivoh!

Ukko kaččou:

— Kyllä še repo oli peijakaš ta šyyti miulta ahkivošta kaikki matikat.

Repo šai matikat, ukko jäi tyhjäkse.

### 1. ЛИСА И СТАРИК НА РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

Ставит старик крюки в озеро и мережи на эти крюки. Идет на другой день мережи смотреть. Пришел, прорубил лед, поднимает

мережу — мережа полна налимов. У него ажкиво\*,<sup>1</sup> куда положить рыбу. Опустил мережу обратно в озеро и потащил домой ажкиво с налимами, идет на лыжах. Лиса бежит по дороге с одной обочины на другую и смотрит, как старик тащит налимов, думает: «Как бы достать этих налимов у старика из ажкиво?». Притворяется мертвой на дороге. Старик подходит к лисе:

— Смотри-ка, святой Петри дал рыбы, да теперь святой Мийккула — лису.

Старик бросает лису в ажкиво на налимов. Куртку свою бросает на лису — жарко стало. Сам идет на лыжах, не смотрит назад.

Лиса из ажкиво всех налимов побросала на обочину дороги. Старик пришел домой и кричит:

— Неси, жена, корзину, налимов из ажкиво переложить!

Старуха бежит с корзиной. Старик говорит:

— Полное ажкиво налимов, да еще лиса под курткой!

Старуха приподнимает куртку:

— Здесь нет, — говорит, — ни лисы, ни налимов.

Старик даже вспыхнул: как это там нет ничего?

Старуха говорит:

— Иди посмотри, ведь пустое ажкиво.

Старик смотрит:

— Ну и лиса, чертовка, побросала у меня из ажкиво всех налимов.

Лисе достались налимы, старик остался ни с чем.

## 2. REPO TA KONTIE

Oli ennen ukko ta akka. Ukko pani verkkuo ta kalanpyyvyistä järveh ta läksi siitä kaččomah verkkojah. Repo näki, jotta ukko šai šijan šiikua, ta hänellä hyvin himoittais kalua. Tai kekši kei non, ta rupei tiellä muate.

Ukko ajau tietä myöte kalakuorman kera ta näköy kuollehen revon tiellä. Hiän revon ottau, luou rejen piällä ta iče ajau tiellä. A repo ukon šelän takana i šyyti kalat tiellä ta viimekse iče hyp päi pois reještä.

No ukko ajau hyvillä kotihis. Šanou akallah, jotta «tulehan nyt kaččomah, kun šain šijan kalua ta vielä revon».

Akka mänöy — ka reki tyhjä: eikä kalua, eikä repuo. Ukko päivittelöy, jotta «oho moššennikka, min kekši!».

Repo šai kalat ta kanto kaikki meččäh, yhteh tukkuh. Kontietulou, kyšyy:

— Mistä näin šijan šait kalua?

<sup>1</sup> Значение слов, отмеченных знаком\*, см. в конце сборника, в «Словаре местных слов».

— Ka kun mie, kuomasen, mänin pappilan avannolla, ta pakani kun oli, ta issuin yön häntä avannošša, niin näin aijan noššin kalua hännälläni. Mäne vain šieki, nin šuat!

Kontie mäni, ta istuu häntä avannošša. Alkau kylmyä. Ka hiän liikahuttelou häntyä, kuulou: jo on tarttun kaloja, kun on jykie, vain vielä istuu.

Pappilan piijat tullah huomenekšella vejellä ta nähäh kontie. Hyö korennoillah lyyväh, lyyväh, a kontie ei piäše pakoh, kun on hännän ijtän kiini. Siitä kumminki häntä katkesi, ta kontie piäsi pakoh. Siitä šuate jäi kontie lyhythännäkse.

## 2. ЛИСА Й МЕДВЕДЬ

Были раньше старик да старуха. Старик поставил сети и ловушки в озеро и пошел потом смотреть свои сети. Лиса увидела, что старик наловил много сига, а ей очень хотелось рыбы. Да и придумала средство и легла на дороге.

Старик едет по дороге с возом рыбы и видит мертвую лису на дороге. Он лису берет, бросает на воз, а сам едет дальше. А лиса за спиной у старика побросала рыбу на дорогу и потом сама выпрыгнула из саней.

Ну, старик едет довольный домой, говорит старухе, что «иди-ка посмотри, сколько я рыбы наловил да еще лису [нашел]».

Старуха подходит — сани пустые, ни рыбы, ни лисы. Старик сокрушается, что «ах, мошенница, что придумала!».

Лиса добыла рыбу и перетаскала всю в лес, в одну кучу. Медведь приходит, спрашивает:

— Откуда так много рыбы достала?

— А я, куманек мой, пошла в прорубь у поповского дома, а как был мороз да я просидела ночь с хвостом в проруби, так вот сколь много выудила рыбы своим хвостом. Иди-ка и ты, так наловишь!

Медведь пошел и сидит, опустив хвост в прорубь. Начинает подмораживать, он хвостом шевелит, слышит — уже прицепилась рыба, раз такой тяжелый [хвост], но все же сидит еще.

Поповские служанки приходят утром за водой и видят медведя. Они коромыслами бьют, бьют, а медведь не может убежать, потому что хвост примерз. Потом все же хвост оборвался, и медведь убежал. С тех пор остался медведь с коротким хвостом.

## 3. KONTIE, HUKKA TA REPO HUUNAN LEIKKUUŠŠÄ

Oli ennen yheššä kontiella, hukalla ta revolla huuhtah kylvetty ruista kašvamah. Otettih hyö leikattih ruis ta pantih riiheh. Kuivattih hyö riiheššä ruis ta ruvettih puimah.

Repo nousu riihen partisie pitelömäh ylähakši, kuin hukka ta kontie ruvetah puimah. Kontie ta hukka puijah, a repo aina partisen kerralla šortau konša kumpasellaki piäh. Hyö lattielta šanotah:

— Pitele, repo-kuomasen, paremmin, jotta ei partiset piäha šorruttais.

Repo vaštuau, jotta «pitelisin mie, vain kuin ei tahota pisyö», vain iče narošno šortelou partisie heilä piällä.

Šuatih hyö riihi puijukši. Pantih eri tukkuh jyvät, toiseh tukkuh ruumenet ta kolmanteh tukkuh olet. Ruveltih hyö jakamah nyt keškenäh tuloja.

Repo šanou heilä:

— Tavaš juamma niin, jotta pienimmällä pienin, šuurimmalla šuurin ta keškimmäisellä keškimmäini tukku.

Niin hyö juattih: repo šai jyvät, hukka šai ruumenet ta kontie šai olet. Lähettih hyö šiitä mylyh jauhottamah šualehieh.

Repo kuin jauhottau, niin kivi kolkkau, ta toisilla vain hil'ak-kaiseh kuuluu kuin hičajau. Hukka ta kontie kyšytäh:

— Mintäh šiula, repo-kuoma, kivi kolkkau kuin jauhotat, a meilä vain hičajau?

Repo vaštuau:

— Mie kun rupešin jauhottamah, niin panin čuuruo šekah, šillä še miula kivi kolkkau.

Otettih hukka ta kontie pantih čuuruo šekan, niin heiläki alko kivi kolkkaa. Šuatih hyö jauhotetukši ta ruveltih keittämäh. Keitetäh hyö keitetäh, ta tullah hukka ta kontie repo-kuoman luoh. Kyšytäh:

— Mintäh šiula on niin valkie ta keittyässä hupšuu, a meilä on niin mušta ta ei hupšu keittyässä?

Hukka ta kontie šanotah:

— Anna kun myö maissamma šiun huttuo.

Repo šanou:

— Anna mie ensin teiltä maissan.

Mänöy repo ottau kumpasenki pušta ta panou omah patahaš yhteh laitah. Šanou hukalla ta kontiella, jotta «ottuat tästä laijašta» (mihi hiän toi heijän omua keittuoh). Enšin maistelou kontie. Šanou:

— Šama maku mämmissä, šama tapa talkkunašša, — hänellä šattu omua huttuoh.

Šamoin maistelou hukka ta šanou:

— Šama maku mämmissä, šama tapa talkkunašša.

Hukalla niisi šattu omua huttuo, kuin repo pani eri kohtah ta käški šiitä maistua. Vielä kyšytäh repo-kuomalta hukka ta kontie, jotta «mintähpä šiula on valkiempi?». Repo heilä vaštuau:

— Mie pijin jovešša heitä, virtapaikašša, niin šentäh on valkiempi.

Otetah hukka ta kontie ruumenet ta olet. Männäh hyö ta panna joken likuomah virtapaikkah. Ottau virta ta viepi heiltä kaikki.

Niin heitä repo-kuoma petti koko ajan.

### 3. МЕДВЕДЬ, ВОЛК И ЛИСА ДЕЛЯТ УРОЖАЙ

Была [букв.: было] как-то у медведя, волка и лисы посеяна рожь [букв.: посеяна ржи] на общей пожоге. Сжали они рожь и свезли в ригу. Высушили рожь в риге и начали молотить.

Лиса забирается на колосники \*, когда медведь и волк начинают молотить. Медведь и волк молотят, а лиса все по колоснику роняет то одному, то другому на голову. Те снизу говорят:

— Держи, кумушка-лиса, получше, чтобы колосники не валились на голову.

Лиса отвечает, что «я-то стараюсь держать, но они плохо держатся», а сама нарочно бросает колосники на медведя и волка.

Обмолотили они рожь. Положили в одну кучу зерно, в другую — мякину да в третью кучу солому. Стали они делить между собой урожай.

Лиса говорит им:

— Давайте поделим так, что меньшему меньшую кучу, большему большую, а среднему среднюю кучу.

Так они поделили: лисе досталось зерно, волку — мякина, а медведю солома. Поехали они потом на мельницу молоть каждый свою долю.

Лиса как мелет, так жернов стучит, а у других только тихонько шуршит. Медведь и волк спрашивают:

— Почему у тебя, лиса-кума, жернов стучит, а у нас только шуршит?

Лиса отвечает:

— Когда я начала молоть, то подсыпала песка, оттого у меня жернов стучит.

Взяли волк и медведь подсыпали песка — вот и у них жернова стали стучать. Смололи они и стали варить. Варят они, варят, и идут волк и медведь к лисе-куме. Спрашивают:

— Почему у тебя загуста\* белая и, когда варится, пыхтит? А у нас черная и не пыхтит, когда варится.

Волк и медведь говорят:

— Дай-ка мы попробуем твоей загусты.

Лиса говорит:

— Дайте я вперед у вас попробую.

Идет лиса, берет у обоих из котлов загусты и кладет в свой котел в один край. Говорит волку и медведю, что «возьмите с этого края» (куда она положила их же загусты). Первым пробует медведь. Говорит:



— Tot же вкус у солодухи, тот же обычай у толокна. (Ему ведь попало своей же загусты).

Так же пробует волк и говорит:

— Тот же вкус у солодухи, тот же обычай у толокна.

Волку тоже попало своей же загусты, так как попробовал от-туда, откуда лиса велела. Еще спрашивают у лисы-кумы волк да медведь, что «почему у тебя [загуста] белее?». Лиса им отвечает:

— Я держала [муку] в реке, в быстром месте, так поэтому белее.

Берут волк и медведь мякину и солому. Идут они и кладут в реку белиться, в быстрое место. Течением у них и уносит все,

Так их лиса-кума все время обманывала.

#### 4. REPO, KONTIE TA JÄNIS

Oli ennen kuomakset — repo, kontie ta jänis. Hyö ollah ta eletäh yheššä koko taikani talvi. A kun kešä tulou, nin pannah yheššä vil'ua muah ta yheššä ruvetah niitä korjuamah. Repo kuin on viisaš ta jänis vielä vähäsen viisahempi, nin leikkautetah pel- lot kontiella yksinäh. Kontie i leikkuau pupšiu pellon, a toiset vain mečäššä juoššah — jänis korttehilla jälleššä, ta repo šoršie i müita otukšie šuamaššä.

Kuin, velliseni, tuli riihen puintiaika, nin kontie puipi, ta repo vain partehilla makuau ta sanou, jotta «pui, pui, kuomaseni, nin suuremman tukun šuat, a jäniksellä ta miula annat pienemmän tukun». Ka kun kontie puipi ta vielä yksinäh pakajau, jotta «mie šuan suuremman šualehen täštä ruavošta, a ne toiset kun kul'ajah, nin šuahah pienempi tukku».

Repo i mänöy šillä aikua kyläh ta rupieu tien viereh muate, jotta «kalamiehet kun tullah, nin šuan kalua keitokši». Hiän mänöy ta kaččou, jotta ukko ajau, tai rupieu poikittain muate. Tai ukko ajau ta näköy, jotta repo makuau tiepuoleššä, i ottau rekeh. Ukko ajau akkah luo hyvillä mielin, jotta «kuin šain šijan kalua ta vielä revon šain», nin akka häntä nyt hyvin vaštah ottau. Ukko ajau köröttelöy ta ei ni jälkeheš päin kačo. A repo sillä aikua otti ta nousi istumah tai alko kaloja luuva reještä pois ta niin ni iče pois hyppäi reještä. Ukko ajau pihah ta karjuu akallah, jotta «tule, akkašeni, kaloja ta repuo käymäh, kuin šain tuolta tieltä revon, ta kalua šuuren tukun». Ka akka kun tulou, kaččou — nin ei ni repuo, a kaloja on muuvan rejen pohjalla.

— Oho šie, kala- ta repomieš, kuin tuaš milmani valehtelit!

Ka ukko kun kačahti jällelläh rekeh, ka ei ni mistä ottua ka- loja, ni repuo. Ka kun akka häntä haukkumah, jotta «olet tuom- moni kalamieš ta vielä valehtelet milma, kun ei ole kuntuo kalua šuaha ta vielä repoja pakajat. Ka et kyllä, ukko, šyö tänä piänä mitänä, kroome noita ahvenieš!».

Repo ruttoh keräi kalat ta mänöy nakruan kontien ta jäniksen luo ta šanou, jotta «kuin mie šain avannošta, vel'let, kalua niin äijän, jotta en voinun kantua kaikkie».

— Ka kuomaseni, juakka nämä vil'at nyt, ta mie lähen siitä onkella avantoh.

Repo otti ta rupei jakaušta šuorittamah tai šanou viisahašta piästä, jotta «šie, suurin kuoma, ota suurin tukku, a meilä riittäy pienempi tukku». Niin kontie šai ruumenet, a repo ta jänis šuatih jyvät.

No nyt kontie šuoriu onkittamah kalua, a repo ta jänis lähetäh kyläh särvintä šuamah. Kontie kuin mäni ta pani häntäh avantoh, nin avanto i jäty. Vain pitäy sitä avannošša ta ajattelou, jotta enämpi kalua puuttuu, kun enämmän häntyä kirvelöy.

A repo mäni yhen talon aittah ta šöi, vel'let, kaikki kermat ta kuoriet maijoista.

A kontie oli avannolla aina huomeneššyöntih šuat'e. Vain kuin, vel'let, talon rahvaš nouštih mačuamašta ta nähtih, jotta kontie on avannolla, nin otettih šeipähät ta mäntih kontieta lyömäh. A kun kontie piäsi — mäni tietä myöt'e riiheh päin, nin näki, jotta repo-kouma makuau tiepuolešša tä karjuu, jotta «milma kun lyötih, nin aivot piästä lähettih». (A hiän vet šöi kermat ta kuoriet ta ne tartuttih karvoih).

A jänis kaččo vähäsen aikua ta höreyty nakramah, ka kaikki hypättih ken mih kerkisi, joka puoleh ta šuuntah, i näin jäniksellä tuli ristišuinii šuu.

Sen i pivuš, velli, miun starina.

#### 4. ЛИСА, МЕДВЕДЬ И ЗАЯЦ

Были раньше кумовья — лиса, медведь и заяц. Они были да жили вместе всю зимушку-зиму. А как лето приходит, так сеют вместе хлеб да и вместе начинают его убирать. Лиса, как умная была, да заяц еще немного поумней, то они и думают про себя: «Пусть медведь один жнет». Медведь жнет-пожинает поле, а другие только по лесу бегают — заяц за хвостом, а лиса на уток да другую дичь охотится.

Когда, братец мой, пришло время молотбы, то медведь молотит, а лиса только на колосниках полеживает да говорит, что «молоти, молоти, куманек, так кучу побольше получишь, а зайцу да мне дашь кучу поменьше». А медведь старается молотить да еще сам с собой разговаривает, что «я получу долю побольше за эту работу, а эти другие гуляют и получают кучи поменьше».

Лиса бежит в это время в деревню и ложится у дороги, [думает], что, мол, как подъедут рыбаки, так [она] получит рыбы на уху. Она идет да смотрит, что старик едет, да и растянулась поперек дороги, а старик едет да видит, что лиса лежит на обочине

дороги, и кладет ее в сани. Старик едет довольный к своей старухе, что много рыбы наловил да еще лису нашел, так жена его теперь хорошо встретит. Старик едет себе и назад даже не смотрит. А лиса в это время взяла да встала, да и начала рыбу выбрасывать из саней, да так и сама выпрыгнула из саней. Старик въезжает во двор и кричит старухе, что «иди, женушка, за рыбой и лисой — нашел там на дороге лису и рыбы большую кучу наловил». А старуха как приходит, так видит, что нет никакой лисы, а рыбы немного на дне саней.

— Ох ты, рыбак да охотник, опять и обманул меня!

Старик как взглянул назад на сани, так неоткуда взять ни лисы, ни рыбы. Вот старуха его ругать, что «такой ты рыбак, да еще обманываешь меня — нет сноровки рыбы наловить, а еще о лисах говоришь. Уж сегодня ты, старик, не поешь ничего, кроме этих своих окуней!».

Лиса живо собрала рыбу и идет к медведю и зайцу да говорит, что «я, братцы, столько рыбы наловила в проруби, что не могла все унести».

— Так, куманек, поделим-ка теперь этот хлеб, да я пойду удить на прорубь.

Лиса взяла да стала дележ производить да и говорит от умной головы, что «ты — самый большой, кум, возьми самую большую кучу, а нам хватит и поменьше кучи». Так медведь получил мякину, а лиса да заяц получили зерно.

Ну, теперь медведь собирается удить рыбу, а лиса и заяц идут в деревню еду доставать. Медведь как пошел да опустил хвост в прорубь, так прорубь и замерзла. Но только [медведь] держит [хвост] в проруби да думает, что больше рыбы попадает, коли все больше хвост щиплет.

А лиса зашла в амбар одного дома и съела, братцы, всю сметану и сливки с молока.

А медведь был на проруби до самого утреннего клева. Ну, братцы, как проснулись люди в доме и увидели, что медведь на проруби, так взяли колья и пошли медведя бить. А медведь, когда вырвался и пошел по дороге к риге, то увидел, что лиса-кума лежит на обочине дороги да кричит, что «меня так били, что мозги из головы вытекли». (А она ведь съела сметану да сливки, и это прилипло к шерсти).

А заяц смотрел некоторое время и как захохочет — тут все побежали кто куда, во все стороны, и так у зайца получились губы крестом.

Такой длины, братец, моя сказка.

## 5. UKKO, AKKA TA ORAVA

Ukko ta akka oltih jo vanhat. Ruvettih hyö kiukualla muate. Pirtin piällä tuli orava. Sielä lotajau, krapajau, ei anna heilä yörauhua. Akka šanou ukolla:

— Mäne pane lautani pirtin piällä, eikö še orava puutu.

Ukko nousi pirtin piällä ta pani šinne lautasen. Tuli takasin pirttih, rupei muate. Jo orava tuaš ni tuli pirtin piällä. Tai puuttu lautaseh. Sielä lotajau lautasešša. Akka šanou ukolla:

— Mäne ota, jo orava puuttu lautaseh.

Ukko nousou pirtin piällä, rupei ottamah oravua lautasešta. Tai toreuvuttih ukko ta orava. Orava kun löi korpalla ukkuo, hiän i kirpoi pirtin piältä. Ukko kuoli. Orava otti šalmošta ahkivon ta pani ukon ahkivoh. Läksi vetämäh ukkuo ahkivošša. Tuli jänis vaštah, kyšyy oravalta:

— Mitä vejät, orava?

Orava šanou:

— Vejän ukkuo, hyvyä mieštä.  
Pani pihet pirtin piällä,  
lautasen lapukin piällä,  
iše puuttu pihthih,  
lankei lautasih —  
miula, mečän juokšijalla,  
rahakarvan kantajalla,  
huutehešša hukšajalla,  
hämäräšša haklajällä.

Jänis šanou:

— Ota milma vetämäh.

Orava šanou:

— Haukkua palani ukkuo tai vejämmä kahen.

Lähettih vetämäh. Vejetäh kotvani. Tulou hukka vaštah, kyšyy:

— Mitä vejät, jänis?

— En mie vejä, orava vetäy, — šanou jänis.

Hukka kyšyy:

— Mitä vejät, orava?

— Vejän ukkuo, hyvyä mieštä.  
Pani pihet pirtin piällä,  
lautaset lapukin piällä,  
miula, mečän juokšijalla,  
rahakarvan kantajalla,  
iše puuttu pihthih,  
lankei lautasih.

Šanou orava hukalla:

— Haukkua palani ukkuo ta lyöttäyvy vetämäh.

Vejetäh vähän aikua. Tulou kontie vaštah.

— Mitä vejät, hukka?

— En mie vejä, jänis vetäy.

— Mitä vejät, jänis?

— En mie vejä, orava vetäy (orava kun on isäntä).

Orava šanou kontiella:

— Syö ukkuo palani ta lyöttäyvy vetämäh.

Kontie i söi ukon niin, jotta jäi vain muruni piätä ahkivoh.  
Tulou repo vaštah, kyšyy:

— Mitä vejät, kontie?

Kontie šanou:

— En mie vejä, hukka vetäy.

Hukka šanou:

— En mie vejä, orava vetäy.

— Mitä vejät, orava?

Orava šanou:

— Vejän ukkuo, hyväh mieštä.

Pani pihet pirtin piällä,  
lautaset lapukin piällä,  
miula, mečän juokšijalla,  
rahakarvan kantajalla,  
huutehešša hukšajalla,  
hämäräššä häkšijällä.  
Iče puuttu pihתיה,  
lankel lautasih.

Orava šanou revolla:

— Syö tuo loppuni ukko.

Repo söi šen viimešen piäpalasen.

Vejetäh tyhjäh ahkivuo koko joukolla. Kontie šanou:

— Nälkä tuli. Ku pienin, ku pienin, še šyyvähl

Orava šyötih. Vejettih tuas vähäni aikua, kontie tuas šanou:

— Nälkä tuli. Ku pienin, ku pienin, še i šyyvähl

Jänis šyötih. Repo šanou hukalla:

— Lakkä pakoh. Šyöy miät kontie.

Hukka ta repo meččäh pakoh juokšomah. Kontie vetäy yksinä  
tyhjäh ahkivuo. Šanou kontie:

— Nälkä tuli. Ku pienin, ku pienin, še i šyyvähl

Kačahtau jälelläh: ei ni ketänä matalla, kun tyhjäh ahkivo. Kon-  
tie šiänty pahanpäiväseksē. Löi ahkivon puuhu šäpälehiksē, iče  
läksi meččäh.

Šiihe i loppu starina.

### 3. СТАРИК, СТАРУХА И БЕЛКА

Старик да старуха были уже старые. Легли они на печи спать. На крышу избы пришла белка. Там скребется, стучит, не дает им покоя ночью. Старуха говорит старику:

— Поди поставь ловушку на крышу, не попадет ли белка.

Старик встал на крышу и поставил ловушку. Пришел обратно в избу, лег спать. Белка опять и пришла на крышу. Да и попала в ловушку. Гремт там в ловушке. Старуха говорит старику:

— Иди возьми, белка уже попала в ловушку.

Старик поднялся на избу, стал вынимать белку из ловушки, да и разодрались старик и белка. Белка как ударила старика по уху, он и упал с крыши. Старик умер. Белка взяла возле угла [дома] ахкиво и положила старика в ахкиво. Потащила старика в ахкиво. Встретился заяц, спрашивает у белки:

— Что везешь, белка?

Белка говорит:

— Везу старика, доброго человека:  
поставил клещи на крыше,  
ловушку на потолке,  
для меня, по лесу бегающей,  
денежный мех носящей,  
в утренней росе бродящей,  
в сумерках крадущейся.  
Сам попал в клещи,  
угодил в ловушку.

Заяц говорит:

— Возьми меня везти [старика].

Белка говорит:

— Откуси кусок от старика, да и потянем вдвоем.

Повезли дальше. Тащат некоторое время. Идет волк навстречу. спрашивает:

— Что везешь, заяц?

— Не я везу, белка везет, — говорит заяц.

Волк спрашивает:

— Что везешь, белка?

— Везу старика, доброго человека;  
поставил клещи на крыше,  
ловушку на потолке,  
для меня, по лесу бегающей,  
денежный мех носящей.  
Сам попал в свои клещи,  
угодил в ловушку.

Говорит белка волку:

— Откуси кусок от старика и давай вези.

Везут недолго. Идет медведь навстречу.

— Что везешь, волк?

— Не я везу, заяц везет.

— Что везешь, заяц?

— Не я везу, белка везет (белка ведь была за хозяина).

Белка говорит медведю:

— Давай вези [старика] и съешь кусок старика.

Медведь так съел старика, что остался только кусок головы в ахкиво. Идет лиса навстречу. спрашивает:

— Что везешь, медведь?

Медведь говорит:

— Не я везу, волк везет.

Волк говорит:

— Не я везу, белка везет.

— Что везешь, белка?

Белка говорит:

— Везу старика, доброго человека:  
поставил клещи на крыше,  
ловушку на потолке,  
для меня, по лесу бегающей,  
денежный мех носящей.  
Сам попал в свои клещи,  
угодил в ловушку.

Белка говорит лисе:

— Съешь остатки этого старика.

Лиса съела оставшийся кусок головы. Везут пустое ахкиво все вместе. Медведь говорит:

— Есть захотелось. Кто меньший, кто меньший, того съедем!

Белку съели. Везли опять немного времени, медведь опять говорит:

— Есть захотелось. Кто меньший, кто меньший, того съедем!

Зайца съели. Лиса говорит волку:

— Давай убежим, съест нас медведь.

Волк и лиса убежали в лес.

Медведь везет один пустое ахкиво. Говорит медведь:

— Есть захотелось. Кто меньший, кто меньший, того съедем!

Оглянувся назад — никого нет, кроме пустого ахкиво. Медведь сильно рассердился, трахнул ахкиво о дерево, сам пошел в лес.

На этом и кончилась сказка.

## 6. KURKI JA REPO KUOMAKSET

Repo šanou kurella:

— Tule huomena meilä päivakesräh.

Kurki ottau kuosalipiäh ta värttinäh ta mänöy reven luo. Alkau kesrätä. Repo rupei kuomua kostittamah. Keitti lintua kattilalla. Linnan kuato prälähytti kallivolla. Linta kallivuo myöte i juokši.

Repo šanou kurella:

— Rupie šyömäh, kuoma, lintua.

Kurki rupei šyömäh. N'okki, n'okki kallivolta lintua — ei ni mitänä šuanun. Repo iče nuoli kaiken linnan kallivolta. Kurki lähtöy poikeš ta šanou:

— Tule, repo-kuoma, huomena miun luo päivakesräh.

Repo kesryäy kotvasen. Kurki keittäy lintua vierahalla tai kuatau hyvin korkieh pyöhtimeh linnan. Kurki šanou revolla:

— Tule nyt, kuoma, šyömäh.

Kurki pissälti piäh pyöhtimeh ta kaikki šen linnan i šöi. Repo nuolekšenteli laitoja, eikä šuanun kun šen verran, min verran šai kurki kallivošta.

Repo lähtöy pois, šanou:

— Tältä ei passipuo, šöit kaiken linnan.

Kurki šanou:

— Kuoman lahjat kohakkah. Mitein šie šyötit milma eklein, miin mie silma tänäpäinä.

Sen pituni še.

## 6. ЖУРАВЛЬ И ЛИСА — КУМОВЬЯ

Лиса говорит журавлю:

— Приходи завтра днем к нам пряхть.

Журавль берет свою куделю да веретено и идет к лисе. Начинает пряхть. Лиса стала кума угощать. Сварила линду \* в котелке. Линду вылила на скалу. Линда по скале и потекла. Лиса говорит журавлю:

— Иди кушать, кум, линду.

Журавль начал есть. Клевал, клевал скалу — ничего не получил. Лиса сама сливала всю линду со скалы. Собирается журавль уходить и говорит:

— Приходи, лиса-кума, завтра ко мне пряхть.

Придет лиса сколько-то времени. Журавль варит линду для гостыи и выливает линду в очень высокую маслбойку. Журавль говорит лисе:

— Иди теперь, кума, есть.

Журавль сунул голову в маслбойку и съел всю линду. Лиса края лизала и даже столько не получила, сколько журавль со скалы.

Лиса уходит, говорит:

— И спасибо не скажу, сам всю линду съел.

Журавль говорит:

— Кумовья угощеньем поквитались. Как ты кормила меня вчера, так и я тебя сегодня.

Такой длины это.

## 7. KUREN TA REVON STARINA

Oli ennen kurki ta repo. Ollah kurki ta repo tai kävelläh šielä, kävelläh, vielä kuomaksi luatiuhutah. Repo kučeuu kurkie kostih. Tai mänöy kurki kostih. Mänöy, ta repo ei muuta kuin kauhasella šemmosella lautasella panou keittuo ta iče šyöy lippuan. Kurki raiska takou, takou, takou šiinä nenälläh, no mitähän šuau! Elä i huoli.

— Tule, kuoma, huomena miun luo kostih, — šanou, — mieki kostitan vastah hyväsestä.



Repo jaksi mielisäh, suvut ta manöy repsottu. Hän e muuta kun pyöhtimäh maitolintua. Ite syöy kurki vetäy, a repo raiska nuoli, nuoli laitoja ta sen kera niin pois pitäy hänen lähtie: «Kyllä mie vielä tällä kurella konstin tiljän ka...».

Tai sen keralla juoksi meččäh tai termärintasäh, päiväpaistoseh pyörähti muate šelälläh. Kurki matkuau šieltä, mistä halonleik kuusta matannou, ka kaččou: «Voi-voi, kun on repo-kuoma kuolluh, vuota hoti, tuota, maistelen kieltä». Kun rupesi šitä kuot'olemah, ka šilloin repo i sahvatti:

— Oho, puutuit šie kostittaja kiini!

— Elä, kuomaseni, elä kuomaseni, ei tällä keinoin, — šanou, — kuren lihoja hauvota.

— A miteinpä hauvotah?

— Ka, kun kuto ennein, — šanou, — tuattoni vakan hyvin vällän-vällän ta kättien vielä väll'emmän, — šanou, — ni šitä termän piälä kun, — šanou, — mäni, šitä kun pačkasi mänömäh, — šanou, — termän alla, nin šielä oikein hyväksi kuren lihat hautu.

Repo puumeččäh. Mäni puumeččäh repo tai šielä šherti, šai šitä lissettä ta kuto vakkasen ta — vakan vällän, kättien vielä väll'emmän. Kun pani ta mäni termän piällä, nakrau, ajattelou, jotta «kyllähän nyt kuren lihat hautuu». Kun rytkäi mänömäh, ka vakka kahallah ta kurki lentöhi šanou:

— Šiinä šiula, repo-kuoma, — šanou. — Repo viisaš-viisaš, a kurki vielä viisahampi!

Paha mielestä i tuli revolla kyllä: «Ei tule i mitä, vielä lähen uueštah promišlah». Mänöy, kaččou — puuša on pešäni. Varis raiska istuu šielä poikasien luona, hänellä on nellä pojaista. Tai alkau hännälläh kolkuttua, kolkuttua.

— Ka mitä šie, repo-kuoma, tiälä kolkuttelet? — šanou.

— Ka kačon puuta šukšekseni, lymmyštä lykätäkšeni. Täš ois hyvyä šukšipuuta.

— Elä, kuomasen, miula vet on pojat!

— Kun antanet yhen pojan šyvyä, ni en katkua, en leikkua.

Eläpä šouva. Varis lykkyäy hänellä poikasen, tai repo juokšii poikeš.

Toisena piänä alko himottua, tai mäni šaman puun juureh. Tuaš i kopšuttou hännälläh. Toini:

— Mitä šie, repo-kuoma?

— Oi, kačon puuta šukšekseni, lymmyštä lykätäkšeni. Tästä šuau hyvät šukšihuavukset.

— Elä, kuomasen, kun miula vet on pojat tiälä, ni...

— No kun yhen pojan antanet, ni kyllä mie heitän tämän.

No, hiän tuas pačkuau toisen pojan,

Repo juokšenteli voitavah ta šen kera tuas mäni šaman puun juureh.

— Ka a-voi-voi, johan mie šiula olen kakši poikua antan, mitä šie?

— Ka nyt kuan, ihan heti, kun et antanel

Hiän lykkäi kolmannen pojan, ka... lentäy se kurki:

— Tule, kuomasen, proskeniella, šyöy ni miun, — šanou, — repo, tuota, kun poikaseni on kaikki šyönyn, ei ole kuin yksi, — šanou, — miulani jänyn täh...

— O-o, — šanou, — kun šie olet tyhmä, — kurki šanoua. — Millä hän kuđtau? Nyt kun tulou, — šanou, — ni šano vain niin, jotta «šuuhus kuššah, repo-kuoma: šiula eikä ole veistä, eikä kirvestä, hännälläs hätyyttelet ni... Täh sanah... ta kun kyšynöy, jotta ken juohatti, ni šano, jotta kurki-kuoma juohatti.

Niin še i kävi. Repo kun pyörähteli, nälästy, ka mäni livahti, tuas koluuttau.

— Mitäpä šie sitä — šanou, — koluutat?

— Ka puuta šukšeksi, lymmyštä lykätäkšeni, — šanou, — täštä šuan hyväт šukšet.

— A mäne i, — šanou, — repo-kuoma, — šanou, — šiula eikä veistä eikä kirvestä, — šanou, — hännälläs häilyttelet, miulta poikaset šöit, ka viimestä et šyö, — šanou.

— Ken juohatti?

— Ka kurki-kuoma juohatti tai... .

— Vain vieläkö še kurki-kuoma kerran kostihini kerkiey, ka kyllä mie sillä maksan!

A kurki lentäy tuolla pitin taivasta liputtau, tai repo vain tyhjin šuin istuu.

## 7. СКАЗКА О ЖУРАВЛЕ И ЛИСЕ

Были раньше журавль и лиса. Были журавль и лиса, бегают там бегают, да еще кумовьями стали. Лиса зовет журавля в гости. Да и пошел журавль в гости. Приходит, а лиса поварешкой нали-вает суп на тарелку и сама знай себе лакает. Бедняга журавль долбит, долбит клювом, но разве тут что получишь! Ну погоди-ка.

— Приходи, кума, завтра ко мне в гости, — говорят, — я тоже тебя угощу хорошенько.

Лиса довольная собралась, пошла [в гости]. Он [журавль] больше ничего как в маслобойку молочную линду налил. Сам журавль ест себе, а бедняжка лиса лизала, лизала края, и так ни с чем ей пришлось уйти. «Я журавлю это еще припомню».

И побежала в лес, улеглась на склоне пригорка, на солнышке. Идет журавль оттуда, дрова рубить что ли ходил, и смотрит: «Ой-ой, лиса-кума умерла, дай-ка хоть ее языка попробую». Как стал пробовать, лиса тут и схватила:

— Ага, попался теперь, за то, что хорошо угощал!

— Не так, кумушка, не так, кумушка, — говорит журавль. — Журавлиное мясо надо тушить.

— А как тушить?

— В старину, — говорит, — мой отец [должно быть твой отец] сплел корзину реденькую-реденькую, а крышку совсем реденькую, — говорит, — потом на горку как поднялся, — говорит, — потом как бросит вниз под гору, — говорит, — так тут журавлиное мясо очень хорошо распарится.

Лиса в лес. Пошла в лес и там трудилась, надрала дранки и сплела корзину — корзину реденькую, крышку совсем реденькую. Положила журавля в корзину и поднялась на горку, ухмыляется, про себя думает, что «теперь-то журавлиное мясо распарится». Как бросит — корзина раскрылась и журавль улетел! Говорит [журавль]:

— Вот тебе, лиса-кума, — говорит. — Лиса хитра-хитра, а журавль еще хитрей!

Лисе досадно стало: «Ничего не вышло, пойду-ка я снова на промысел». Идет, смотрит — на дереве гнездо. Ворона, бедняжка, сидит там с птенцами, четыре птенчика у нее. И начинает [лиса] хвостом стучать да стучать.

— Что ты, лиса-кума, здесь стучишь? — говорит [ворона].

— Ищу дерево для лыж. Это дерево подходящее.

— Что ты, кума, у меня ведь птенцы!

— Если дашь одного птенца съест, то не свалю, не срублю [дерево].

Погоди-ка [букв.: не греби]. Ворона бросает ей птенца, и лиса убежала прочь.

На второй день опять захотелось, снова и пришла под то же самое дерево. Опять и постукивает хвостом. Ворона [говорит]:

— Что ты, лиса-кума?

— Ах, ищу дерева для лыж. Из этого [дерева] выйдут хорошие заготовки.

— Не руби, кума, ведь у меня здесь птенцы, так...

— Ну, если дашь одного птенца, то оставлю это [дерево].

Ну, она опять второго птенца бросает.

Лиса бегала, сколько бегалось, да опять пришла под то дерево.

— А-вой-вой, я же тебе уже двух птенцов дала, что тебе еще?

— Сейчас же срублю, если не дашь!

Она бросила третьего птенца, смотрит — летит тот журавль.

— Иди, куманек, попрощайся со мной, меня тоже лиса съест, — говорит. — Всех птенцов моих съела, только один, — говорит, — у меня остался.

— О-о, — говорит, — какая ты глупая, — журавль говорит. — Чем она свалит [дерево]? Теперь как придет, — говорит, — так ты скажи ей, что «иди-ка ты, лиса, — у тебя нет ни ножа, ни топора, хвостом своим только пугаешь». А если спросит, что кто надоумил, то скажи, что кум-журавль надоумил.

Так и вышло. Лиса как покрутилась, проголодалась, прибежала, опять стучит.

— Что ты тут, — говорит [ворона], — стучишь?

— Да иду дерено как аши, — говорит, — из этого дерени  
амжи выйдут.

— А иди-ка ты, лиса-кума, — говорит, — у тебя ни топора, ни  
ножа, — говорит, — хвостом своим машешь, у меня всех птенцов  
съела, но последнего не съешь, — говорит.

— Кто надоумил?

— А кум-журавль надоумил да и...

— Попадет еще кум-журавль в гости ко мне, так я ему еще от-  
плачу!

А журавль летит там в небе, а лиса с пустой пастью сидит.

### 8. ORAVA, KINNAŠ TA NIEKLA

On ennen kolme velleštä: orava, kinnaš, niekla. Hyö' lähetäh  
mečällä. Tulou kolme tiehuarua. Orava (heistä-vanhin) šanou:

— Kaikin lähemmä eri tietä, ken mitä šanou šualista, šen  
pitäy huhuta.

Niekla i löytäy männeššäh tervaškannon. Niekla huhouu:

— Kiiä, kiiä, kintahaisen,  
oravaisen oikuttele!  
Niekla-rukka löyvön löysi,  
šai šuuren šualehen!

Ne juoššah (kinnaš ta orava).

— Löysin mie tervaškannon, — niekla šanou.

— Mi šualis tämä on, tervaškantojahan on täysi mečä.

Häntä löytih šiinä. Mäntih tuaš eri tietä. Niekla löytäy vesilammin ta aikau huhuta:

— Kiiä, kiiä, kintahaisen,  
oravaisen oikuttele!  
Niekla-rukka löyvön löysi,  
šai šuuren šualehen!

Kinnaš ta orava tullah:

— Mitä šie löysit?

Niekla šanou:

— Vesilammin löysin.

Nieklua lyyväh, piekšetäh:

— Mi tämä šuuri šualis on, kun vesilampini on!

Lähetäh tuaš eri huaroilla mänömäh.

Niekla mänöy šuon laitah. Kaččou, kun petrakarja šuolla šyyväh kortehta. Niekla mänöy kaikkein šuurimman petran eteh mä-tähällä ta pistäytyy korttehen šiämeš. Šuuri petra šöi korttehen tai nieklan šöi marahaš. Niekla pistelöy, pistelöy petralla marua —

tai kuolou petra. Tulou niekla petran märašta ta karjuu tuaš vel-  
lijäh:

— Kiiä, kiiä, kintahaisen,  
oravaisen oikuttele!  
Niekla-rukka löyvön löysi,  
šai šuuren šualehen!

Kinnaš ta orava šanotah:

— Emmä nyt lähe, niekla tuaš valehtelou, min lienöy tervaš-  
kannon löytän.

Niekla tuaš toisen kerran:

— Kiiä, kiiä, kintahaisen,  
oravaisen oikuttele!  
Niekla-rukka löyvön löysi,  
šai šuuren šualehen!

Kinnaš ta orava šanotah:

— Emmä nyt lähe, niekla tuaš valehtelou, min lienöy vesi-  
lammin löytän.

Niekla huhuou kolmannen kerran:

— Kiiä, kiiä, kintahaisen,  
oravaisen oikuttele!  
Niekla-rukka löyvön löysi,  
šai šuuren šualehen!

Tullah kinnaš ta orava:

— Mi šiula nyt on šualis?

Niekla šanou:

— Mie ammuin petran.

Petra venyy kellottau kuollehena mättähällä. Kinnaš ta orava  
piätä šilitetäh nieklalta:

— Kun näin hyvän šualehen šait, nin nyt olet hyvä veikko.

Tai nyletäh še petra.

— No nyt pitäis miän ruveta keittämäh, nin ei ole kattilua.

Niekla šanou oravalla:

— Šiula kun on terävät kynnet, nin mäne kiso tuohta, luajimma  
tuohešta kattilan ta sillä keittämäh lihua.

Niekla ompeli tuohiropehen kattilakše.

— Ka ei ole vettä, — šanotah. — Mistä nyt vettä šuamma?

Niekla šanou:

— Löysinhan mie vesilammin, šielä on vettä.

Kinnaš kävi vettä.

— Ka ei meilä ole i puita, millä keittyä tätä lihua.

Niekla šanou:

— Löysinhan mie tervaškannon.

Niekla juokšou tervaškannon, ruvettih keittämäh. Šiita hyö  
keitettih, šyötih ta loppuset lihat vietih kotihih. Niitä vielä i nyt  
šyyväh, kun ei liene loputtu.

## 8. БЕЛКА, РУКАВИЦА ДА ИГЛА

Было раньше три брата: белка, рукавица, игла. Отправляются они на охоту. Пришли на перекресток трех дорог. Белка (из них старшая) говорит:

— Каждый пойдет по своей дороге. Кто найдет добычу, должен кричать.

Игла и находит по пути смолистый пень. Игла кричит:

— Лети, лети, рукавичка,  
белочка, поспеши:  
иглочка находку нашла,  
большую добычу раздобыла!

Они прибегают (рукавица и белка).

— Нашла я смолистый пень, — игла говорит.

— Что это за добыча — смолистых пней полон лес.

Побили ее [иглу] за это. Идут опять по разным дорогам. Игла находит ламбу\* и начинает звать:

— Лети, лети, рукавичка,  
белочка, поспеши:  
иглолка находку нашла,  
большую добычу раздобыла!

Рукавица и белка приходят:

— Что ты нашла?

Игла говорит:

— Ламбу нашла.

Иглу бьют, колотят:

— Что это за большая добыча — ламба!

Опять расходятся в разные стороны.

Игла идет на край болота. Смотрит — стадо оленей на болоте хвощ щиплет. Игла идет на кочку перед самым большим оленем и втыкается в сердцевину хвоща. Большой олень съел хвощ и иглу проглотил в свой живот. Игла колет, колет в животе оленя, и умирает олень. Выходит игла из живота оленя и кричит своим братьям:

— Лети, лети, рукавичка,  
белочка, поспеши:  
иглолка находку нашла,  
большую добычу раздобыла!

Рукавица да белка говорят:

— Не пойдём, опять игла врёт — какой-нибудь смолистый пень, верно, нашла.

Игла опять, второй раз:

— Лети, лети, рукавичка,  
белочка, поспеши:  
иглолка находку нашла,  
большую добычу раздобыла!

Рукавица и белка говорят:

— Не пойдём, игла опять врет — какую-нибудь ламбушку, верно, нашла.

Игла зовет третий раз: —

— Лети, лети, рукавичка,  
белочка, поспеши:  
иглолка находку нашла,  
большую добычу раздобыла!

Приходят рукавица да белка:

— Какая там еще у тебя добычка?

Игла говорит:

— Я подстрелила оленя.

Олень лежит мертвый на кочке. Рукавица да белка глядят иглу по голове:

— Коли такую хорошую добычку нашла, теперь ты хороший братец.

Освеживали оленя.

— Теперь надо бы нам сварить, так котла нет.

Игла говорит белке:

— У тебя раз когти острые, так иди надери бересты, сделаем из бересты котел и в нем сварим мясо.

Игла сшила из бересты котел.

— Так воды же нет, — говорят. — Где воды достанем?

Игла говорит:

— Я же нашла ламбу, там есть вода.

Рукавица сходила за водой.

— Там у нас же нет дров, чтобы мясо сварить.

Игла говорит:

— Я же нашла смолистый пень.

Игла сбегала за смолистым пнем, стали варить. Потом они сварили, поели и остатки мяса унесли домой. Еще и сейчас его едят, если уже не кончилось.

## 9. REVON STARINA

No, repo eläy, kävelöy linnoja myö'te ta kävelöy i mečššä šielä, tai varaštai šieltä linnalta kiššan. Varaštai kiššan. Vas'ka on nimi kiššalla. No, tuumaiččou, jotta mitä nyt tämän kiššan kera ruatoa. Tai kiššan panou kuoppah. Šalpoa panou rikkua, panou olkie, šii'tä lautoa vähäsen. Šattuu heän hukkah. Šanou hukalla. Hukka šanou:

— No, terveh, repo-kuomasenil

— No, terveh.

— A mitä šie eläkšentelet?

— Elän, šain, — šanou, — šemmosen elukan, jotta ei šita, — šanou, — kauhie i missä pitiä, šen olen muakuoppah šalvannut, jotta še i luatiu kummie, kun nähny keta.

— Ka millä še mie šaisiņ šitā nāhā? — še hukka šanou šilla revolla.

— Ka šitā, — šanou, — pitāy kaččuo tak oštorožno, tarkkaseh, — šanou. — Minkeä vain, — šanou, — hiivo- hil'akkaiseh, — šanou, — hiil'akkaiseh hiivo šinne ta ni kuot'ele turvalla eistyä niitä olkirikkoja šitā ta rupie lautua liikuttamah.

Hukka mänöy hiivou marallah, polvusillah, ka jottei ni mi rišantais. Alko kun šieltä hil'ah šytie šitā turvalla olkiloja. Lau-  
dua kun rubei, velli, liikuttamah, ga kun kazi tuumaiččou hiiri še on — ku hyppäi turpah! Kun šen turvan kynnisteli, revitteli, kun šitā veri tulou ni... čorosellah! Ka hiän kulin ei maita i šalvata, kun juokšou alinehen kera pakoh, jotta kankas tarajay.

Sattuupa me'vei ših, kontie. No kontie šanou, jotta «nyt, — šanou, — on... Mintāh on, — šanou, — kuomasen, — šanou, — turpa vereššā».

— Elä virka, — šanou, — kun, — šanou, — on šemmoni elukka, — šanou, — revolla, jotta kun miät nähny, ni šyöy.

— No eččikkā repo.

Ečitāh repuo ka, ečitāh, ečitāh, ka repo šiinā jo kuopan luona issuksentelou šiinā ta kaččelou. Tullah.

— No etkö šie millä keinoin meilä vois näyttiä elukkaa?

— Ei šitā, — šanou, — tallā keinoin voi näyttiä elukkaa. Pitāy, — šanou, — kantua, — šanou, — lihua suuri tukku, — šanou. — Ni mie kun tuon šyömāh, — šanou, — ni šiinā kyllā šitā niittä kyllā, — šanou, — šitā elukkaa.

Ka kun yksi mänöy, kun šieltä šikoja varaštan, šieltä šinälta, toini kun lehmie šortau, ta kal'atah mimmonē läjä ših.

No kučutah:

— Tulehan nyt, repo-kuomaseni, kačo, jotta eiköš šitā nyt vois tuuva jotta šyömāh, jotta emmakö myö nāhā šais?

Mänöy se repo ka:

— On nyt... Voit nyt, — šanou, — tuuvva, jo täššā nyt riittāy.

No panou šen hukan istuttau šemmosesh okšatukkoh, vanha okšatukko. Ših ašettau istumah ta ših lihatukkuh šelin. A šen panou me'vein puuh, šinne noštau ylähākše, jotta «nouše puuh tuoh». Ka še nousi ynnāh puolipuulla košantih. Tuopa šen kiššan. Ka še kun šiinā nuoleksentelou, iče šyvvā leksottau. A kun še kontie nakrau šielä puušša, jotta «tuokohan tuo nyt miät šöis?!» Ka hukallapa himottais se nāhā, jotta pitāis sei hänen nāhā. Rupeipa hāntiä pyörittāmāh. Kaši tuumaiččou, hiiri šei on. Hiäpā hukalla hāntāh ših. Ka hiän kun hukalla hāntāh hyppäi — hukka tuumaiččou, jotta hāntā šyömāh šei tuli. Hiän kun pakoh juoksemāh! Ka kaši kun šäikāhti, ka hiän ših puuh, missä on še me'vei. Ka hiän kun



sieltä pistypäi muah, jotta häntä syömäh sei tulk. Kun kuossäh, kun kaikki kankas täräjäy. A kun repo karjuu:

— Ota kiini tanssoajoa, pie peästä pelvoajoa, ota kiini tanssoajoa, pie peästä pelvoajoa!

A kun hyö sitä uhempah männäh, jotta «nyt äe kyllä käsköy meitä syömäh, jotta nyt pitäy kiirehempäh matata!». Jäi siitä revolla syömistä, hyvällä mielin šanou šielä, pakajau, jotta «ole viisaš, elä väkövä, ole viisaš, elä väkövä».

Ta ni eläy tänäki peänä, viešä kotvan ni huomena.

## 9. СКАЗКА О ЛИСЕ

Ну, живет лиса, ходит по городам, ходит и по лесам и крадет в городе kota. Крадет kota, Васькой кличут kota. Ну, думает, что теперь с этим котом делать. И закрыла kota в яму. Завалила яму мусором, положила соломы, потом немного досок. Встречается ей волк. Говорит [о коте] волку. Волк говорит:

— Здравствуй, лиса-кума!

— Здравствуй.

— Как поживаешь?

— Живу, — говорит, — нашла такого зверя, что его, — говорит, — не смею нигде держать. Я его закрыла в яме, а то он натворит чудес, если кого-нибудь увидит.

— Как бы мне его увидеть? — говорит волк лисе.

— А на него, — говорит, — надо посмотреть очень осторожно,<sup>1</sup> — говорит. — Иди, — говорит, — подкрадись тихонько, — говорит, — тихонечко подкрадись туда и попробуй мордой отодвинуть солому и доски.

Волк идет, подкрадывается на животе, на коленях ползет, чтобы ничто не треснуло. Начал там тихонечко мордой отталкивать солому. Доски как начал, братец, передвигать, кот думает — мышь, и вцепился в морду! Расцарапал морду, разодрал, кровь ручьем течет! А волк яму закрыть не может, с воем убежал, так что земля дрожит.

Случился тут медведь. Ну, медведь говорит, что «почему, кума, морда в крови?».

— Не говори! У лисы, — говорит, — такой зверь, что если нас увидит, то съест.

— Давай найдем лису.

Ищут лису, ищут, ищут, ищут, а лиса возле ямы посиживает да вокруг поглядывает. Подходят.

— Не можешь ли ты как-нибудь показать зверя?

<sup>1</sup> Курсивом в тексте даются встречающиеся в оригиналах русские слова и выражения. Это не относится к русским заимствованиям, употребляемым в повседневной речи карел.

— Глет, — говорят, — не так-то просто его показать. Надо, — говорит, — натаскать мяса большую кучу. Я как его пушу есть, — говорит, — то тут уж наверняка увидите этого зверя.

Один пошел — свиней крадет, другой — коров валит; такую кучу приволокли! Зовут лису:

— Иди-ка, лиса-кума, посмотри, нельзя ли уже привести его есть, чтобы нам увидеть.

Подходит лиса, смотрит:

— Довольно тут... Можно теперь, — говорит, — привести, хватит тут.

Ну, и сажает волка в кучу хвороста. Куча старого хвороста. Сажает его тут, спиной к куче мяса. А медведю велит подняться на дерево, мол, «взберись на это дерево». А тот до половины ствола вскарабкался. Принесит кота. Тот облизывается, облизывается, и давай есть. А медведь как на дереве смеется: «Так вот он бы нас съел?!». А волку тоже хочется увидеть, надо же ведь и ему увидеть. Начал хвостом шевелить. Кот думает — этомышь. И вцепился волку в хвост. Как он вцепился волку в хвост, волк думает — его съест хочет. Он давай бежать! А кот как испугается — да на то дерево, где был медведь. А тот оттуда головой вниз, думает — его теперь съест хочет. Бегут — даже земля дрожит. А лиса кричит:

— Держи прыгуна, хватай баловника! Держи прыгуна, хватай баловника!

А те еще пуше бегут — думают, что «лиса велит зверю нас съест — надо быстрее бежать!». Досталась лисе еда, довольная приговаривает, что «будь умен, а не силен, будь умен, а не силен».

Живет еще по сей день да еще и завтра поживет.

10

Oli ukko da akka. Heilä oli eluo koza da bokko. Kozua da bokkuo ukko da akka piettiä oigein hyvin, no kozalla da bokolla tuli igävä. Hyö duumaidih pois lähtie da alettih varuštua evästä kesselih. Koza šanou:

— Keryä evästä kesselih, igävä meilä tässä tulou.

Da ukko da akka kun lähtiettiä, hyö kerätäh kesselin täyteä evästä. Lähettiä matkah, otettiä kesselin šelgäh. Männäh, männäh, jo pimie tulou. Koza šanou:

— Kačo sie, eigö missä tulda nävy?

Bokko kačou dai nägöy: kylä sielä on višših. Kačotah: tuli palau. Hyö juoštih tulella. Kačotah, ga siinä yheksän hukku illasta keittäy. Heidä bokko da koza ei huomattukana alušša. Pölläšyttih. No koza kyžy:

— Midä myö ildazekši keitämmä?

— Ka šua suurin hukan piä kesselistä da keitä še, — šanou bokko loitombuata.

Hukat kačotah siinä kummua da aletah jo varata. Ken šanou kunnegi lähtievän, da toin'e toizen jälgeh männäh meččäh da pagoh. Siih jäi jo keitetty ildane. Bokko da koza syömäh. Šyödih: Bokko kesseliä kanduas's'a oli vaižun. Kun šai šyvvä, ni šanou:

— Rubiemma muate.

— Ei, — šanou koza. — Hyö moužot tullah jalelläh.

A hukat kun juoštih pagoh, juoštih kieli pitkanä da kerot ka-hallah. Tulou heilä kondie vaštah, kyžyy:

— Minne työ juoksetta, kun näin huahitatta?

— Ga koza da bokko kun tuldih da alettih suurimman hukan piädä kesselistä ottua, ni duumaiččima, jotta miän muamo tahi tuatto on tapettu, da läksimä pagoh.

— Ga iče hyö teilä keitettäväksi tuldih, — šanou kondie. — Lä-hemma yheššä sinne.

Dai lähettih juokšomah keittopaikalla yhekšän hukkaa da kym-menendenä kondie. Juoššah, jotta mua jymäjäy. A koza da bokko kun kuuldih, jotta tullah, dai hädyvyttih. Koza šanou bokolla:

— Nouška, velli, puuh, šyvväh miät.

Bokko kun kesselin kera rubei vualiudumah da vielä kun oli vaižun, ni jallat luiskahettihi puolipuušša. No mit'ein lienöy hei-lahtan, ni tarttu šarveštah okšah da jäi rippumah, a koza nouzi ladvah. A hukat da kondie tuldih siih. Paissah:

— Puuh ne on mändy.

— Pidäy lähtie kaččomah, — šanou kondie.

Tulou puun juurella. A bokolla himottau kačču, jotta midä hyö sielä alahana ruatah. No kun ei šua ni mit'ein piädäh kiändy. No kiändi mit'ein lienöy piädäh, ka šarvi i luiskahti. Silloin hian jymähti kesselin kera kondiella šelgäh. Koza tämän kun nägi, kar-jeutu puun ladvašta, jotta bokko rohkautuis:

— Pie sidä kondieda kiini, muut ollah miän!

A kondie jo muit'einki oli põlaštyn, da tämän kun kuuli, ni työnnäldäydy juokšomah pagoh. Hukat kun nähtih, jotta kondie läksi pagoh, dai hyö alettih juošša pagoh. A koza šolahti puušta da šanou:

— Nyt miän, bokko parka, on parašta kodih lähtie. Ei tämä maailmalla kulgu huvita.

Da lähettih da mändih kodih, eiga šen jälgeh enämbi puattu pois ukon da akan luoda konžana.

## 10. [НАПУГАННЫЕ ВОЛКИ]

Были старик и старуха. У них было всего добра коза да баран. Козу и барана старик со старухой держали очень хорошо, но козе да барану стало скучно, они надумали уйти и стали готовить по-дорожники в кошель. Коза говорит:

— Собирай харчи в кошель, скучно здесь нам становится. Когда старик и старуха ушли куда-то, они набрали полный кошель еды. Отправились в путь, взяли кошель на спину, идут, идут, уже темно становится. Коза говорит:

— Посмотри-ка, не видать ли где огонька?

Баран смотрит и видит: деревня там, наверно. Смотрят — костер горит. Они побежали к костру. Смотрят — а тут девять волков ужин варят. Их коза да баран и не заметили сначала. Испугались. Ну, коза спрашивает:

— Что мы на ужин сварим?

— Так возьми самую большую волчью голову из кошеля да свари ее, — говорит баран.

Волки смотрят на это чудо и начинают уже трусить. У каждого какое-нибудь дело нашлось, и так один за другим убегают в лес. Тут остался и готовый ужин. Баран да коза за еду. Поели. Баран, неся кошель, утомился; когда наелся, то сказал:

— Будем спать.

— Нет, — говорит коза, — они, может, вернутся обратно.

А волки удирали, бежали, высунув язык и пасти раскрыв. Идет им навстречу медведь, спрашивает:

— Куда вы бежите так запыхавшись?

— Как пришли коза и баран и начали самую большую волчью голову из кошеля доставать, так мы подумали, что это наша мать или же отец убиты, да убежали.

— Да ведь сами они к вам на съедение пришли, — говорит медведь. — Пойдем вместе туда.

И побежали к месту костра девять волков да десятым медведь. Бегут, так что земля гудит. А коза и баран, как услышали, что те идут, перепугались. Коза говорит барану:

— Залезем-ка, брат, на дерево, съедят ведь нас.

Баран как стал с кошелем карабкаться, да еще был усталый, так копыта у него соскользнули на середине дерева. Но как-то так пошатнулся, что зацепился рогом за сук да повис, а коза поднялась на вершину. А волки да медведь прибежали к месту. Говорят:

— Не иначе, как на дерево залезли.

— Надо пойти посмотреть, — говорит медведь.

Приходит [он] под дерево. А барану хочется посмотреть, что они там внизу делают, но никак не может повернуть голову. Ну, повернул как-то голову, тут рога соскользнула, тогда он грохнулся с кошелем медведю на спину. Коза это как увидела, закричала с верхушки дерева, чтобы барана подбодрить:

— Держи медведя, остальные наши!

А медведь и так был испуган, да когда еще это услышал, то пустился наутек. Волки когда увидели, что медведь побежал, то и они бросились бежать. А коза спустилась с дерева да сказала:

— Теперь нам, бедный баран, лучше всего пойти домой. Не веселит это скитание по свету.

да пошли и вернулись домой и после этого больше никогда не  
убегали от старика да старухи.

## 11. HÄRÄN STARINA

Oh ennen ukko ta akka. Heillä on härkä, suuri hyvin härkä. Ta tuli hyvin vihaseksi se härkä. Akka sanou ukolla, jotta «tapa pois härkä, kun rupesi niin vihaseksi». Ukko otti veičen ta mäni liäväh ta rupesi hivomah sitä veistäh. Härkä kyšyy, jotta «miksi sie, ukkosen, veistäš hivot?»

— Ka akka käski silma tappua — veistäni hivon.

Härkä sanou:

— Elä, ukkosen, tapa milma, piäššä milma meččäh — mie tuon hyvän otuksen — ta tervua miulta šelkä.

Ukko tervasi härältä šelän ta piäšti meččäh härän. Tai mäni šemmoseh šuorantaseh, termärintaseh, päiväpaistoseh. Alko šyyvä härkä siinä šykšyttellä. Tulou kontie hänen luo. Kyšyy härältä:

— Mitä ruat, härkäsen?

Härkä väittäsi hänellä:

— Tässä šyyvä šykšyttelen, tässä juuva jukšuttelen šuorantaseššä, päiväpaistoseššä. Suu kun sopličča, piä kuin jumini kurikka, häntä kun Hämeheh miekka, perše kun pellon veräjä,

Kontie sanou:

— Ota sie, härkäsen, milma šelkäššä, kun on niin kaunis ta levie šelkä.

A kontiella on se mieli, jotta hän kun šelkäš piäššöy härällä, nin hän šuuu šyyvä härän. Härällä mieleh ni oli:

— Ofan, — sanou, — tule sie šelkäš.

Tai kontie nousi härällä šelkäš. Läksi šmökyimäh laukkuamah ta jo kontie hyppäis šeläštä pois, ka šelkä kun on tervattu, mie ei ni piäše. Kontie huutau:

— Heitä tuolla mattähällä, heitä tällä mattähällä!

No ei mihinä, kun härkä laukkai kotih ta šeinäh kohti. Kontielta kun piä jymähti šeinäh, ta šiihi i kuoli. Ukko otti otuksen, nyli nahkan.

Oltih tuas huomeneh. Akka sanou, jotta «pois pitäy härkä tappua, ukko». Niin, ja ukko mänöy tuas liäväh ta rupieu veistäh hivomah. Härkä kyšyy:

— Miksi šie, ukkosen, veistäš hivot?

— Silma tappua.

Härkä sanou:

— Elä, ukkosen, tapa milma — työnnä meččäh, tervua šelkä: mie tuon tuas hyvän otuksen.

Ukko tervai šelän härältä, työnsi meččäh. Härkä mäni šiih šamah paikkah — šuorantaseh, termärintaseh, päiväpaistieseh. Tulou repo. Šanou härällä:

— Mitä ruat, härkäsen?

— Tässä šyvvä šyksyttelen, tässä juuva jukšuttelen. Šuu kun sopličča, piä kuin jumin kurikka, häntä kun Hämeheh miekka, perše kun pellon veräjä.

Repo šanou, jotta «ota, härkäsen, milma šelkähäs, kun šiula on niin kaunis ta šilie šelkä».

— Otan, otan, tule, — revolla šanou härkä, — nouše šelkäh.

Niin, ja repo nousi tuas härällä šelkäh ta härkä läksi laukkuamah. Jo hiän šiitä poisiki šelästä hyppäis, no ei piäše, kun puuttu tervah. Repo tuas huutau, niinkun kontie:

— Heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättähällä, heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättähällä!

Täi tuas kun laukkasi kotih härkä ta šeinyä vaššen hyppäi, ta piä revolta kun paukahti šeinäh, nin šiihi i kuolla kellahti. Ukko tulou vaštah tuas hyvällä mielin, kun härkä toi hyvän otukšen. No härän panou liäväh, revon nylköy — ta tuas nahkan šai hyvän. No ta muatah tuas yö kellotetah.

Akka šanou:

— Tapa pois, ukko, härkä, kun on noin vihani (kolmannen keran — kaikiččiähan še pitäy kolme kertua, hoš mitä taro).

No tuas kun veiččen ottau ta mänöy liäväh, alkau hivuo veičstäh. Ta härkä kyšyy:

— Mikši, ukkosen, veičtäs hivot?

— Silma tappua.

Härkä šanou:

— Elä, ukkosen, tapa milma. Työnnä meččäh, tervua šelkä — tuon hyvän otukšen.

Ukko tervai šelän härältä ta piäššälti meččäh.

No, härkä mänöy šiih šamah paikkah tuas — šuorantaseh, termärintaseh, päiväpaistoseh. Tulou jänis (vilmesekse jänisraiska tulou). Jänis šanou härällä:

— Mitä ruat, härkäsen, täššä?

— Ka täššä šyvvä šyksyttelen, täššä juuva jakšuttelen. Šuu kun sopličča, piä kun jumin kurikka, häntä kun Hämeheh miekka, perše kun pellon veräjä.

— Ota milma šelkähäs, — jänis šanou härällä.

— Tule sie, nouše šelkäh.

Jänis nousi šelkäh. Härkä läksi laukkuamah. Jänis-raiska rupeiš hyppämäh šelästä, ka ei ni piäše, kun tervah puuttu. Tuas karjuu jänis:

— Heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättähällä!

Ei mitänä kun härkä laukkai kotih ta vei ukolla otukšen. Ka ukko hyvällä mielin otti jäniksen ta tappo. Ta pani härän liäväh. Ta akka mi lienöy lapalivo ollun, kun ukon pakotti härkyä tappa-

nah. Jo ukko papou hevosen, välfästau, panou härän lihat rekeh-  
kontien lihat rekeh, revon lihat rekeh, tai jäniksen lihat. Tai nah-  
kat kaikki. Šiitä lähtöy linnalla, myöy ne lihat ja nahkat ja šuau  
hyvin äijän rahua lihoista ta nahkoista. Ta šiitä kun hän luati  
šuuren talon icelläh, kuin čuarin palatin, niillä rahoilla. Ja šiinä  
akkah kera eletäh vieläki, kun ei liene kuoltu. Tai loppu. Šiin on  
nyt še härän starina.

## 11. СКАЗКА ПРО БЫКА

Были раньше старик да старуха. У них был бык, огромный  
бык. И стал очень злым этот бык. Старуха и говорит старику, что  
«зарезь быка, раз стал такой злой». Старик взял нож, и пошел  
в хлев, и начал точить свой нож. Бык спрашивает, что «для чего  
ты, старичок, нож свой точишь?».

— Да старуха велела тебя зарезать — вот и точу свой нож.

Бык говорит:

— Не режь, старичок, меня, отпусти меня в лес — я принесу  
тебе хорошую добычу, засмоли мне спину.

Старик засмолил у быка спину и отпустил в лес быка. Да и  
пошел [бык] на край болота, на склон холма, на солнышко. Начал  
бык тут есть-пощипывать [траву]. Подходит к нему медведь. Спра-  
шивает у быка:

— Что делаешь, бычок?

Бык ответил ему:

— Тут [траву] ем-пощипываю, тут пью-попиваю на краю бо-  
лота, на солнышке. Рот [у меня] как соплича \*, голова как дубина,  
хвост как меч из Хяме, зад как ворота на поле.

Медведь говорит:

— Возьми ты, бычок, меня на свою спину, раз у тебя такая  
красивая и широкая спина.

А у медведя на уме, что он как заберется на спину быка, то он  
быка съест. Быку того и надо:

— Возьму, — говорит, — залезай на спину.

И медведь залез на спину быка. Помчался бык галопом, мед-  
ведь уже соскочил бы со спины, но спина как засмолена, так и не  
может соскочить. Медведь кричит:

— Высади на ту кочку, высади на эту кочку!

Но никуда не высадил, примчался бык домой и прямо об стену.  
Медведь как головой ударился об стену, так тут и подох. Старик  
взял добычу, содрал шкуру.

Дожили опять до утра. Старуха говорит, что «надо быка за-  
резать, старик». Да, и старик идет опять в хлев и начинает свой  
нож точить. Бык спрашивает:

— Для чего, старичок, нож свой точишь?

— Чтобы тебя зарезать.

Бык говорит:

— Не режь, старичок, меня, отпусти в лес, засмоли спину — я принесу тебе хорошую добычу.

Старик засмолил спину, отпустил в лес. Бык пошел на то же самое место — на край болота, на склон холма, на солнышко. Приходит лиса, говорит быку:

— Что делаешь, бычок?

— Тут [траву] ем-пощипываю, тут пью-попиваю. Рот как соплича, голова как дубина, хвост как меч из Хяме, зад как ворота на поле.

Лиса говорит, что «возьми, бычок, меня на свою спину, рав у тебя такая красивая и гладкая спина».

— Возьму, возьму, садись, — лисе говорит бык, — залезай на спину.

Да, и залезла лиса на спину быка, и бык помчался галопом. Она уже со спины соскочила бы, но не может, потому что прилипла к смоле. Лиса опять кричит, как и медведь:

— Высади на эту кочку, высади на ту кочку, высади на эту кочку, высади на ту кочку!

Да опять как примчался бык домой и на стену наскочил, лиса головой как ударилась об стену, так тут и лапки кверху, подохла. Старик опять довольный встречает быка, за то что тот принес хорошую добычу. Ну, быка ставит в хлев, с лисы шкуру сдирает — опять шкуру хорошую получил. Ну, опять ночь переспали.

Старуха говорит:

— Зарежь, старик, быка, раз такой злой (в третий раз — всегда ведь надо три раза, что ни плети).

Ну, опять [старик] берет нож и идет в хлев, начинает свой нож точить. И бык спрашивает:

— Для чего, старичок, нож свой точишь?

— Чтобы тебя зарезать.

Бык говорит:

— Не режь меня, старичок. Отпусти в лес, засмоли спину — принесу хорошую добычу.

Старик засмолил спину у быка и отпустил в лес.

Ну, бык идет опять на то же самое место — на край болота, на склон холма, на солнышко. Приходит заяц (последним бедняжка заяц приходит). Заяц говорит быку:

— Что, бычок, здесь делаешь?

— Да тут [траву] ем-пощипываю, тут пью-попиваю. Рот как соплича, голова как дубина, хвост как меч из Хяме, зад как ворота на поле.

— Возьми меня на свою спину, — заяц говорит быку.

— Садись, залезай на спину.

Заяц залез на спину. Бык пустился галопом. Бедняга заяц хотел бы соскочить со спины, но не может, потому что к смоле прилип. Опять кричит заяц:



— Высади на эту кочку, высади на ту кочку!

Но не тут-то было, бык примчался домой и доставил старикку добычу. И старик довольный взял зайца и зарезал. И поставил быка в хлев. А старуха, как была лапальиво\*, так заставила-таки старика зарезать быка. И старик лошадь запрягает и кладет бычью тушу в сани, медвежью тушу в сани, лисью тушку в сани, да и заячью тушку. И шкуры все. Потом едет в город и продает эти туши и шкуры и получает много денег за мясо и шкуры. И потом он построил себе большой дом, как царский дворец, на эти деньги. И в нем живет со старухой и поныне, если не умерли. Да и конец. Вот она сказка про быка.

## 12. JYVÄSTÄ KUKKO...»

Oli akka da ukko. Hyö kuoldih. Jai heildä poiga da yksi jyvä. Poiga läksi jyvän kera muailmalla. Mäni ensimmäizeh kvatierah. Ando jyväzen emännällä säilytettäväksi. A yön aigana kanat ni n'okittih že jyvä. Rubei kyzymäh huomeneksella jyvä, ga šidä ei ole. Hiän rubei kukkuo prižmimäh, dai šai kukon. Mäni toizeh kvatierah. Sielä kukko pandih bokkojen keralla. Bokot pušettih kukkuo da že kuoli. Poiga heildä bokon šai. Kolmannessa kvatierašša bokko pandih häkkilöijen keškeh, da že tapettih. Tuas šai poiga häkin da läksi matkah. Toizena piäna härgä pandih ubehien keškeh, že tapettih. Da poiga šai talošta ubehen. Poiga mäni dorogalla. Löydäy šieldä kuolien akan. Ottau žen, Mänöy kylän kaivoloilla, issuttau kuollehen akan kajvolla. Tullah tytöt vejellä:

— Kembä tämä?

— Ga muamo on. Kun hiešty, nin rubei jähyttelemäh. Hiän on huonokuulon'e.

— Tytöt mändih kättä liikuttamah: kuollut ni romahti muah. Poiga šanou:

— Tapoit muamon, tului miula akakši.

Dai tulou. Eletäh da šuahah kolme poigua. Kerran tulou poiga kuččumah händä kynnökseldä šyömäh. Šanou ukko:

— Kerran tuli jyvästä kukko, kukošta bokko, bokošta häkki, häkistä uveh, ubehešta rodih mieron kuolie, mieron kuoliešta nuori naine.

— Toizella da kolmannella pojalla šanou šamalla kienoin. Nain'e ajatteli, jotta ukko on tullut huimakši, mäni da hirttäydy.

## 12. «ИЗ ЗЕРНЫШКА ПЕТУХ...»

Были старуха и старик. Они умерли. Остался у них сын и одно зернышко. Сын пошел с зернышком по миру. Остановился на первый ночлег. А ночью куры и выклевали это зернышко. Стал

[парень] утром спрашивать зернышко, а его и нет. Он стал требовать петуха да и получил петуха. Зашел в другое место на ночлег, там петуха поместили с баранами. Бараны забодали петуха, и тот издох. Парень от них барана получил. На третьем ночлеге барана поставили с быками, и его [барана] убили. Опять получил парень быка и отправился в путь. На другой день быка поставили с жеребцами, его убили, и парню дали из этого дома жеребца. Парень вышел на дорогу. Находит там мертвую старуху, берет ее. Идет с ней к деревенскому колодцу, сажает мертвую старуху у колодца. Приходят девушки за водой:

— Это кто?

— Да это моя мать, вспотела и села поостыть. Она плохо слышит.

Девушка взяла старуху за руку: мертвое тело и упало на землю.

Парень говорит:

— Убила мать, — теперь иди за меня замуж.

И выходит [она] за него. Живут и наживают трех сыновей. Раз приходит сын на пашню звать его [отца] есть. Говорит отец:

— Однажды вышел из зернышка петух, из петуха — баран, из барана — бык, из быка — жеребец, из жеребца — мирской покойник, из мирского покойника — молодая жена.

Второму и третьему сыну говорит то же самое. Жена подумала, что муж сошел с ума, — пошла и повесилась.





## ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

### 13. IVAN MED'VED'EV

El'ettih pappi da papad'd'a. Hyö kyl'vettih hernehtä. Heen hernehmood'a rubezi syömäh, ei tietty ken syöy. Mändy pappi ka-raulah. Tulou kondie.

— Midä, — sanou, — sie tiälä issut? Nyt lähet meila yöksi.

I ottau papin matkah i vedi omah pezoh. Heilä rodih poiga Ivan Med'ved'ev. Poiga rubei kazvamäh päivilöidä da čoosuloida myöt'e. Kun poiga kazvau suureksi, heen sanou papilla:

— Lakkä pois.

Pappi sanou:

— Heen ved' tappau meet.

Poiga sanou:

— Ei tapa.

Heen loojitti pajassa kolme rauvast'a sauvua. Enzimäzen kun loojitti kolmepuudahizen dai sormiloin välissä katkai. Loojitti toizen kuuzipuudahizen dai katkoou. A kun sidä loojitti yhekšäpuudahizen dai ei voinun katata.

Hyö i lähetäh matkah. Tulou kondie vastah. Kyzyy:

— Kunne läksijä?

Poiga sanou:

— Läksimä pois, emmä rubie elämäh siun kera.

Sillä kerdoo kondie poigah käzin. A poiga kun löi, löi rauda-zella sauvalla i tappo kondien. Sidä mändih papin kodih. A sielä papad'd'a eläy bohatasti. A kun Ivan Med'ved'ev syöy yl'en aijan, i heen rubei keyhtymäh. Heen se i papilla sanou:

— Kenen lienet tuonnun, kai l'eivät dai kaikki syöy.

Poiga sanou:

— Miun tähe el'gee keyhykkee, mie lähen pois.

I lähtöy mooilmäh kävelömäh. Kulgou, kulgou dai tulou d'är-ven randah. Sielä istuu muzikka da ongittau. Honga on ongiroo-gana, mahol'ehmä sättänä, raudačieppi siimana. Ivan Med'ved'ev i sanou:

— On muzikalla vägee.

A muzikka sanou:

— Ei miula äijä vägee ole, vot kun sanotah Ivan Med'ved'evalla on äijä vägee.

Poiga sanou:

— Ka läkkä sie miula vel'leksi, lähemmä mooilmalla.

Muzikka i lähtöy. Lähetäh, männäh, männäh, nähäh — muzikka kahta voo-roo vassakkah plakuttau keegistä. Poiga sanou:

— Vot on muzikalla vägee, ni kahta voo-roo vassakkah plakuttau.

Muzikka sanou:

— Ei miula äijee vägee ole, vot kun sanotah on Ivan Med'ved'evalla.

Heen i sanou:

— Ka ni läkkä sie meilä kolmanneksi vel'leksi, myö lähemmä mooilmalla l'eibee soomah.

Heen i lähtöy. Männäh, männäh, tulou pertin'e vastah. Sielä on tanhuo täyzi l'ehmee. Hyö otetah l'ehmä is's'etäh dai jätetäh ongittajoo muzikkoo keittämäh, a toizet männäh l'eibee soomah. Kun muzikka sai rokan valmehekäsi, duumaiččou: «Mintäh l'eivän kajjat viikkossuttaneh?». Druk tulou savine n'eičyt, huumarella istuu, petkelellä riehkii, haula dorogan pyyhkiy, da ni muzikan kaiken lyöy, rokat d'uou dai lihat syöy, sidä järelläh mänöy. Toizet veikot tullah, ka ei ole syyvä ni d'uuva. Ivan Med'ved'ev sanou, što «ei ole tolkuo hot' godno looduh rokkoo keit'tee. Mintäh rokka on kuin astein pezendävezi?».

— D'uovuin, — sanou, — dai en voinun keit'tee.

Toissa peenä toos is's'etäh l'ehmä i d'ätetäh voo-roon plakuttajoo keittämäh rokkoo. Toos kun rokan kiettäy, da ni tulou savine n'eičyt, huumarella istuu, petkelellä riehkii, haula dorogan pyyhkiy. Tuli da ni muzikan riehkii, rokat d'uou, lihat syöy da ni mänöy pois. Tullah toizet veikot, ei ole ni syyvä, ni d'uuva midä, rokka kun pezinvezi. Toos is's'etäh l'ehmä. Ivan Med'ved'ev i sanou:

— Että voinun rokkoo keit'tee, ni syömistä roodoo, a nyt mie d'een keittämäh, a työ mängee l'eibee tuomah.

Heen se i kiettäy rokan, kaččou, ka tulou toos savine n'eičyt, huumarella istuu, pet'kel'ellä riehkii, haula dorogan pyyhkiy. Tulou dai rubieu rokkoo syömäh da keän se i tavottau, algau möuhie da ni lyöy pahanpäiväzeksi. N'eičyt lähtöy pagoh dai kai-voh uidiu. Veikot kun tullah, on murgina valmis, rokka valmis. Ivan Med'ved'ev i sanou:

— Työ että voinun roogoo loodie, a mie loojiin.

Ruvettih syömäh, syödih, dai Ivan Med'ved'ev sanou:

— Nyt rubiemma nuoroo punomah.

Punettih, punottih yl'en äijän, sidä män'dih kaivon rannalla. Heen sanou yhellä:

— Män'e sie kaivoh.

Se sanou:

— En mäne.

Heen käsköy toista:

— Mäne sie kaivoh.

Dai se sanou:

— En mäne.

Heen sanou:

— Ka ni kun että män'e, ni mie iče lähen, no hot' mie ollen sada vuotta, ni t'eilä pidäy vuottoo, i kun mie nuorasta l'ekahutan, ni štobj nostazija.

Hän'dä i lassetah kaivoh. Heen mänöy toizella moolla. Mänöy, mänöy, tulou vaskine linna vastah. Heen mänöy vaskiseh linnah, sielä on vaskine n'eičyt. N'eičyt sanou:

— Kuin sie tänne tulit, vet' meen t'otka on yl'en gordoi, lihoi lihoratka.

Heen sanou:

— Kuin tulin dai tulin, keree sobat da vuota milma.

Sidä mänöy, mänöy, tulou hobien'e linna vastah, hobiezessa linnassa hobien'e n'eičyt. Heen sanou:

— Oi, kuin sie tulit tänne, vet' meen t'otka on yl'en gordoi, lihoi lihoratka.

Heen i sanou:

— Kuin tulin dai tulin, keree sobat da ni vuota milma.

Sidä toos mänöy, mänöy, tulou kuldane linna vastah, a kuldazessa linnassa kuldane n'eičyt. Kuldane n'eičyt sanou:

— Kuin sie tulit tänne, vet' meen on t'otka yl'en gordoi, hoi lihoratka, heen nyt tappau siun. No kun heen tulou silmä tappamah, ni sie d'uo hänen vägevät l'ekarsvat i vettä pane sijah. Kun heen tulou da vaibunuona magoou da kun siun kera toroomah tulou da sidä pyrgiy l'ebäydymah, ni sie hän'dä lasse. Heen kun mänöy da vejet d'ouo, hänel'dä dostalit veet lähetäh.

Ei proidin ni aigoo, kun jo t'otka tulou dai poijan dogadin. Hyö toratah, toratah. T'otka i pyrgietöy l'ebäydymah. Poiga laskietou. Heen kun mäni dai vejet d'ouo dai dostalit veet kavotti. Kun tuli toroomah, poiga sraazu tappau hän'dä.

Sidä hyö n'eičöyön kera kai elot kerätäh dai lähetäh. Männäh da hobiezesta linnasta otetäh kai elot dai tytär, dai vaskizesta linnasta kai elot dai n'eičyt otetäh da ni männäh nuoran luoksi. Enzimäzeksi sidou vaskizet elot, sidä vaskizen n'eičöyön, sidä hobiezet elot da ni hobiezen n'eičöyön, a sidä kuldazet elot da ni kuldazen n'eičöyön. Sidä iče sidoutuu. Kun vel'let nossetah, duumajah što midä libo vielä on, dai kun nähäh, što on velli, hyö nuora poikki l'eikatah, i heen jarelläh kirbuou. Sielä heen kävelöy, kävelöy, ei tiijä kunne i männä. Mänöy kuuzen alla, a yö on yl'en vilu. A puussa ollah orlan poigazet: ilman meomuo. Heen

heittäy pinžakan da kattau heet pinžakalla. Orla kun tulou huomuksella, sanou:

— Ken miun poigie tappau, ken miun poigie läpehyttäy?

Poiijat i sanotah:

— Elä kiruo moomo, elä, mužikka meet lämmitti, a muit'en olizima kuollun.

Orla sanou:

— Ken on sielä puun alla?

Mänöy da kaččou, ka istuu mužikka kuuzen alla. Orla kyzyy:

— Ka midä sie olet t'eelä?

A mužikka sanou:

— Vot s'enin da s'enin, da sih looduh: mie kai nossatin ylähäksi, a kun milma nossettih, da ni vel'let nuora katattih i mie d'ärelläh langezin.

Orla sanou:

— Vot kun sie miun poigazie lämmitit, ni soo s'el'gäh.

Heen orlalla s'el'gah, orla l'en'dämäh, l'en'di, l'en'di i toi moon peellä. Heen kaččou, ka veikot vielä sporitah, ei voiija veššoja jagoo. Vel'let n'e pöllässyttih, duumai'jah: nyt tappau. A heen kun tuli dai ongiijalla ando vaskizen n'eiččyön, hobiezen n'eiččyön ando vooron plakuttajalla, a iče otti kuldazen n'eiččyön, dai vielä el'etäh.

### 13. ИВАН МЕДВЕДЕВ

Жили поп и поцадья. Они посеяли горох. На их гороховое поле кто-то стал приходиться горох есть — не знают, кто это. Идет поп караулить. Приходит медведица.

— Зачем, — говорит, — ты тут сидишь? Теперь пойдешь ко мне в мужья.

И берет попа и потащила в свою берлогу. У них родился сын Иван Медведев. Сын стал расти по дням и по часам. Когда сын вырос, он сказал попу:

— Уйдем отсюда.

Поп говорит:

— Она ведь убьет нас.

Сын говорит:

— Не убьет.

Он велел в кузнице сделать три железных палки. Первую, трехпудовую, он между пальцами сломал. Велел сделать шестипудовую — и ту сломал. А как сделали девятипудовую, — тут и не смог сломать.

Они отправились в путь. Идет медведица навстречу. Спрашивает:

— Куда пошли?

Сын говорит:

— Пошли прочь, не будем с тобой жить.

Медведица тут же бросилась на парня. А парень бил, бил железной палкой медведицу и убил. Потом пошли в дом попа. Там попадя богато живет. А Иван Медведев как много ест, так она начала беднеть. Она и говорит попу:

— Привел кого-то, весь хлеб приест и все съест.

Парень говорит:

— Из-за меня не стоит вам беднеть, я уйду.

И идет по свету бродить. Идет, идет — и приходит на берег озера. Там сидит мужик и удит. Сосна вместо удилица, яловая корова вместо наживки, железная цепь вместо лесы. Иван Медведев и говорит:

— Вот у мужика силища.

А мужик говорит:

— У меня не много силы, а вот, говорят, у Ивана Медведева много силы.

Парень говорит:

— Так будь моим братом, пойдем по свету.

Мужик идет с ним. Пошли, идут, идут, смотрят — мужик горой по горе постукивает. Парень [Иван Медведев] говорит:

— Вот у мужика силища — горой по горе постукивает.

Мужик говорит:

— У меня силы немного, а вот у Ивана Медведева, говорят, много силы.

Тот и говорит:

— Так пойдем с нами, будешь третий брат: мы пойдем по свету хлеба искать.

Он и отправляется с ними. Идут, идут — встречается избушка. Там полон двор коров. Они взяли корову зарезали, оставляют удилица варить, а другие идут добывать хлеб. Мужик когда суп сварил, думает: «Что-то долго за хлебом ходят». Вдруг приходит глиняная девица, в ступе сидит, пестом погоняет, помелом дорогу замечает, мужика всего избивает, суп выпивает, мясо съедает, потом обратно уходит. Братья приходят, а нечего ни есть, ни пить. Иван Медведев говорит, что «нет ума даже по-годному суп сварить. Почему суп как помой?».

— Угорел, — говорит, — так не мог сварить.

На другой день опять зарезали корову и оставляют мужика, который гору о гору поколачивал, суп варить. Опять как суп сварил, и приходит глиняная девица, в ступе сидит, пестом погоняет, помелом дорогу замечает. Пришла, мужика избивает, суп выпивает, мясо съедает да и уходит прочь. Приходят братья, нечего ни есть, ни пить, суп как помой. Опять режут корову. Иван Медведев и говорит:

— Не смогли еду приготовить и суп сварить, так теперь я останусь варить, а вы идите за хлебом.

Он варит суп и смотрит — идет глиняная девица, в ступе сидит, пестом погоняет, помелом дорогу замечает. Приходит и начи-

наст суп есть, а он за руку поймал, стал дубасить и порядком поволотил ее. Девушка убежала и скрылась в колодеце. Братья приходят — обед готов, еда приготовлена. Иван Медведев и говорит:

— Вы не сумели еду приготовить, а я приготовил.

Стали есть, поели, Иван Медведев и говорит:

— Теперь будем веревку вить.

Вили, вили очень много, потом пошли к колодецу. Он говорит одному [из братьев]:

— Иди ты в колодец.

Тот говорит:

— Не пойду.

Он велит другому:

— Иди ты в колодец.

Тот тоже говорит:

— Не пойду.

Он говорит:

— Ну, раз вы не пойдете, то я сам пойду, но будь я там хоть сто лет, вы должны меня ждать, и как я за веревку дерну, чтобы вы меня подняли.

Его и спустили в колодец. Он попадает в иной мир. Идет, идет — встречается медный дворец. Он идет в медный дворец, там медная девушка. Девушка говорит:

— Как ты сюда попал? Ведь наша тетка очень гордая, *лихая лихорадка*.

Он говорит:

— Как попал, так и попал. Собери свою одежду и жди меня.

Потом идет, идет — встречается серебряный дворец, в серебряном дворце серебряная девушка. Она говорит:

— Ой, как ты сюда попал? Ведь наша тетка очень гордая, *лихая лихорадка*.

Он и говорит:

— Как попал, так и попал. Собери свою одежду и жди меня.

Опять идет, идет — встречается золотой замок, а в золотом замке золотая девушка. Золотая девушка говорит:

— Как ты сюда попал? Ведь наша тетка очень гордая, *лихая лихорадка*, она тебя убьет. Но когда она придет тебя убивать, то ты выпей ее крепкие [придающие силу] лекарства и замени водой. Когда она придет и поотдохнет, а потом придет с тобой биться и потом попросится передохнуть, то ты еепусти. Она как воды выпьет, у нее и остальная сила пропадет.

Не прошло много времени, как тетка пришла и парня заметила. Они бьются, бьются. Тетка и просится передохнуть. Парень отпускает. Она как пошла и воду выпила — тут и остальную силу потеряла. Как пришла снова биться — парень сразу ее убил.

Потом они с девушкой все добро сложили и уходят. Приходят, из серебряного дворца берут все добро и девушку, из медного дворца тоже берут все добро и девушку и приходят к веревке.



Сперва приязнал медное добро и медную девушку, потом серебряное добро и серебряную девушку, а потом уже золотое добро и золотую девушку. Потом сам садится. Братья как подняли, думают — еще что-нибудь есть, а как увидели, что брат, они веревку перерезали, и он обратно упал. Там он ходит, ходит, не знает, куда идти. Встал под елкой, а ночь очень холодная. А на дереве орлята без матери. Он снимает пиджак и накрывает их пиджаком. Орлица как прилетает утром, говорит:

— Кто моих птенцов убивает, кто моих птенцов трогает?

Птенцы и говорят:

— Не ругай, мать, не ругай, мужик нас обогрел, не то мы бы умерли.

Орлица говорит:

— Кто там под деревом?

Идет посмотреть, а под деревом мужик сидит.

Орлица спрашивает:

— Как ты сюда попал?

А мужик говорит:

— Так и так, я всех поднял наверх, а когда меня стали поднимать, то братья веревку перерезали, и я обратно упал.

Орлица говорит:

+ За то, что ты моих птенцов обогрел, садись ко мне на спину.

Он на орлицу сел, орлица полетела; летела, летела и доставила его на землю. Он смотрит — а братья все еще спорят, не могут вещей поделить. Братья испугались, думают: теперь убьет. А он пришел, удильщику дал медную девушку, серебряную девушку да тому, кто горой по горе постукивал, а сам взял золотую девушку, да и до сих пор живут.

Ukko da akka elettih. Ukko panou ryžän vedeh. Lähtöy toissa piänä kaččomah. Puuttu haugi. Ukko rúbezi ottamah, ga haugi šanou:

— Elä otä tänäpiänä.

Dai ei ni ota. Tulou kodih, akka kyžyy:

— Toitgo kalua, šaitgo vereštä?

Ukko šanou:

— Elä šie kiirähä, oli haugi, ga en ottan.

Akka kiruou. Mänöy toissa piänä, ga tuaš on še šamani haugi ryžäššä. Haugi šanou:

— Elä ota tänäpiänä vielä.

Mänöy tuaš ukko kodih. Akka kyžyy:

— Toitgo vereštä?

— En tuonun, vuota vielä.

Lähtöy kolmandena piänä, ga haugi on da ei virka ni midä.  
Ottau mužikka hauvin, haugi šanou:

— Ota da vie kodih, elä anna akallaš kädeh.

Ukko tulou kodih, ga akka i juokšou kesselih käzin, ukko šanou:

— Elä kože, elä kože.

Haugi hänellä n'euvo: «Puhkua milma da leikkua, keškimurut pane luuvalla, vie ne aittah da kata skuat't'erilla, a hindäpalat da piä keittäkyä da šyögyä». Mužikka niini ruado. Kokkaruuvat pandih šildatanhuoh. «Šiidä pangua keškiruodie kon'ušnah da tanhuolla da liäväh». Šiidä illaissetti, ukko otti ruuvat i panou, kunne haugi käški. Dai muata ruvetti. Nouzi ukko aivozeh, läh-töy ulloš (talošša ei ollun ni mittymäistä žiivattua), avai veräjän, ga kai šeinät l'ekkuu, kun koirat haukutih kokkaruuvista. Kon'uš-nan oven kun avuau, ga kaksi hevoista hirnuu, ni kai šeinät lek-kuu. Liävän ovie kun avua'ou, ni lehmät vain kiändelivyvät. Nouzou pordahie myöt'en, kuulou: aitašša pojat kirjua' luvetah. Ei mäne aittah, tuli pirtti, šilmät pezi, moli i mäni aittah — šielä kaksi mužikkua, ne hänellä jalgoih, ukolla: «Šie meilä tuatto, myö šiula pojat». Tulou pertti, noštou akan maguamašta:

— Akka, nouze pois.

Akka nouzi, pani pertin lämmitä, akka murginua luadiu. Tul-lah pojat pertti:

— Šie meilä muamo, myö šiula poiijat, — kumarrutah jalgah. Murginoidih, šyödih-juodih, jalgah kumarrettih.

— Blahoslovikkua nyt meidä muailmah.

Hyö itkömäh: «Vašta tulija, dai jo i lähettä».

Yksi Vassilei Šutin, toine Ivan Šutin, lähtiettiin, otettiin kon'uš-našta hebozet da koirat, loppuzet žiivatat heilä jädih. Lähtiettiin, ajetah, dorogua myöte männäh. Tuli stolba vaštah. Stolbah on kirjutettu: «Kumban'e oigieh kädeh — šillä šurma, kumban'e va-šembah — šillä ni midä». Erotti, proššaiččiutti, Vassilei Šutin läksi šurmadorogah, a Ivan Šutin toizeh dorogah.

Vassilei ajo kodvan, ga huhuou — toin'e kuuli, tuldih molen jälellä. Vassilei šanou:

— Kun kumban'e kuulou, nin emmä šua tiedyä: kumban'e elošša, kumban'e kuollun.

Sovitti, što anna elävän veičeštä veri juokšou, kun toin'e kuollou. Tuaš itkietäh i erotah.

Vassilei Šutin ajo dorogah, ga kai mua mušša'la hal'akalla on opseidu. Leškiakkani eli dorogan šuušša, hiän leškiakkazeh i nouzou. Leškiakkah kun nouzou, gai kyžyy:

— Mindäh on hal'akalla katettu mua?

Leškiakka šanou:

— Kun čuarin tytär langei zmejalla šyödäväksi, i žentäh on katettu.

— Anna miula kuožalpiät, — kyžyy hiän akaida.

Panou kuožalpiät piällekkäh, i šaška kai leikkai, niin oli n'äbie. Muata venyttih.

— Kun kolme čuassuo päivän laškuh jäy, niin milma šua pistyh.

Akka kaččou: jo kolme čuassuo jäi, noštou Vassilein.

Heilä on huoneh, minne pidäy viija joga päivä piä šyödäväksi mavolla. Šinne oli tuodu čuarin tyttö šyödäväksi. Hiän mäni šinne, ga Vassilei [hebozen] šeläštä hyppäi. Mado šanou:

— Puhu puhtahašta hengeštä kolmie virštua, missä meilä torata.

A Vassilei šanou:

— Hot' šie puhu paganašta puarušta.

Dai mado puhu kolmie virštua i miäräzi paikan.

— Nyt, — šanou, — miehetgö torah, vain koirat? — šanou mado.

Vassilei šanou:

— Yhemmoini, kumbazet.

Mado šanou:

— Tuon kera vähä on torattavua, avua vain kero da lainuo, — šanou koirallah.

Vassilein koira on pieni, a mavon — kun lähtömä. Vassilei šanou koirallah:

— Šie mäne šiämeh, kun lainuo, da šie šyö šiämykset, da vuidi perzieštä elävänä.

Šiidä koira kun avai šuun, da koira mäni da šöi šuolet i vuidi elävänä.

— No, — mado šanou, — nyt miehet.

— No miehet, dai miehet, — šanou Vassilei Šutin, dai ruvetih torah.

Vassilei Šutin voitti mavon. Piät kiven alla panou, vardalot kandau vedeh, mereh jälelläh. Tyttö i jäi. Saldatta savušša verdeiččou. Kun ken šyyväh, dai saldatta luut korjuau. A neč kai eloh jädih. Vassilei Šutin läksi leškiakkah. Tuaš miekan hivo i pani kuožalipiäijän piällä, tuaš uppuou miekka painamatta.

— Nošša milma kuuven čuassun aigana.

Tuaš akkani noštou, i lähtöy tytön luo. On dogovora, kun ken pelaštanou tytön, že i moržiemeksi šuau.

Vassilei Šutin šanou tytöllä:

— Kačo kun kuuži kerdua lekahtau meri, nin šua pystyh milma. Kavissa piädä.

Tyttö kaččou: meri lekahti kuuži kerdua. Nošti Vassilein. Hiän mänöy. Kuužipiäini tulou. Tulou, ga heboni jo langieui.

— Mäne, mäne, eule tiälä varattavua. Kakši on mieštä mualla mainittavua, niidä eule tiälä.

Hiän tuaš i hyppäi. Zmeja šanou:

— Tiälägö i olet? Puhu puhtahašta šuušta, missä torata.

A puhu šie paganašta puaruštaš.

Dai mado puhu.

— No koirat, vain myö?

— No hot' koirat.

Vassilei šanou:

— Šukkizeni-šakkizeni, šukeldeliečče-šakeldeliečče, šuušta mäne, perziestä vuidi elävänä.

— Nyt miehet!

Telmetäh, telmetäh, ga tuaš i voitti Vassilei Šutin. Piät kiven alla, vardalot vedeh. I mänöy Vassilei leškiakkah. Saldatta kačou: ruaduo eule. Vuottau, što hiät voit pidyä.

Tuaš käšköy yheksän kuožalipiädä panna, hivo miekkah — kun heittäy piällä, ga kaikki leikkauvutah. Rubei muata.

— Kun yheksän čuassuo jäy päivän laškuh šuate, nin šua pystyh. A kun et šuane, nin piäššä heboni.

Äkka nošti, hiän nouzi. Tuaš šinne ajamah. Mäni šinne, ga tyttö itköy šielä, vuottau. Mäni tuaš, pani hebozen kolččah i mänöy tytön luo i šanou:

— Kačo, kun kaheksän kerdua meri lekahtau, nin šua pystyh, muiten kai proijimma.

Tyttö piädä kavistelou, hiän maguau. Kačou [tyttö]: meri kaheksän kerdua lekahti, hiän noštou, ei voi noštua, rubei itkömäh, da hänen kyynel' rozalla tipahti, da hiän [Vassilei] ni nouzi. Hyppäi dai läksi, a zmiija sarajapordahissa, čut' ei veryädä avua. Vassilei vaštai. A zmiija šanou:

— Mäne ielläh, kun tähä šuahe piäzit!

Heboni myöšty da perzielläh langei alahakši šuate.

— Hoh, täššägö i olet? Puhu nyt puhtahašta hengeštä yheksyä virštua, missä torata.

— A hoš šie puhu paganašta šuuštaš, yhemmoini.

Dai ruvettih torah. Toratah, toratah, telmetäh, ei ni voi Vassilei Šutin voittua. Kačou: rubieu päiväni noužomah, a vain päiväni nouššou, dai ei ni voi voittua. Vassilei i šanou:

— Istumma nyt lävähämäh.

Issuuttih, da hiän muuta kun loppuzen piän viuhkahutti poikki.

(On midä kandua päidä kiven alla — yheksän piädäl). Šuatto piät kiven alla, vardalot jogeh. Istuudu hebozella šelgäh da ajamah leškiakkah. Saldatta kun nägi, što ajau, ga saldatta ambu muzikan — že šihi ripsahti. Koirani juoksou tytön luo, käšköy hiirdä eččie. Koiratavotti hiiren dai vey muzikan luo. Hiiri nuoli pulkan šijan, ga muzikka i virgoi.

Muzikka läksi da mäni leškiakkah. Ei hivon miekkua, eigä kuožalipiädä kyžyn, vieri muata; kolme päiväy magai, a saldatta že hyvillä mielin kävelöy. Ei ni midä tiijä, kun nouzi, vuidi piähalla — ga jo ei ole že linna. Kai tuohukšet paletah paččahan piäššä, rahvaš kizatah da pajatetah. Leškiakkazelda kyžy:

— Midä nyt rodih linnassa, kun kai kizatan da vosselys pietäh, a kun mie tulin, nin muššalla katettu linna?

Leškiakka šanou:

— Kun čuarin tyttö langei šyödäväksi, nin pahua mielä pietih, a nyt saldatta piäšti, nin häidä pietäh.

Kyžyy akalda:

— Anna pahua vuatetta, kun on ukko kuollun.

Akka tuou hänellä vuatetta, hän šuorieu pahoih vuatteih, ottau koroban kazivardeh i lähtöy kyžymäh. Mäni čuarih, šielä svuad'bastolan taguana issutah, moržien kändau podnossalla viinua, r'umkat kuldazet, ei ni ken ruohi juuva. Kävelöy [tyttö] da tuaš ni vey tuatollah jällelläh. Tuas tuatto i työnzi ymbäri stolist. (Ennen varattih kyžyjie, kün ei rikottais' parie). Mänöy [tyttö] kattilalaučan piäh i kyžyjällä kumardau — ei ota, kumardi čuassun — šiidä vašta otti, joi — i r'umkan kannan alla. Šano tytär tuatollah. Tuas lähtöy — ei oteta. Hän mänöy kattilalaučan piäh, tuaš kumardau kaksi čuassuo, i [kyžyjä] r'umkan ottau, juon. Tyttö šanou tuatollah: «Ei ni ken ottan». Tuas tuatto valau i työndäy tuaš tariččemah, ei ni ken oteta. Tuas mänöy kattilalaučan piäh da kumardau. Jo kolmas čuassu matkuau, jo tuatto tuli kaččomah i saldatta že šuuttu. Hän joi r'umkan da kablukan alla. Tuatto ottau tytärä olgapiästä, tyttö i šanou:

— Tämä on mjun piäštäjä, tuatto!

Saldatta hyppäi:

— Šego on?

Čuari šanou:

— En tiijä, ken on piäštäjä da pelaštaja.

Saldatta šanou:

— Lähemmä kačomma, missä piät ollah.

Männäh sinne:

— Kačo, tässä ollah.

Še ei lekaha kattilalaučan piästä. Saldatta pyöri, pyöri, ei voi näyttäy. Tuatto šanou:

— En tiijä.

Kattilalaučan piästä šanou:

— Ota saldatta, anna noštou kivet da näyttäy.

A hän ni ei voi — vuattiet likauvutah, — šanou.

Mänöy kattilalaučan piästä:

— Läkkä, čuari-kormiiličča, ken pani, že i noštou.

Dai männäh, hän i noššaldi:

— Tässä on, kačo.

Tuldih perttih i kumiekaijah. Čuari šanou:

— Piemmägö uuen svuad'ban, vain endizellä otat?

— Otan vanhalla, hyvä on, jo kun kolme päivyä pidijä.

Ga mäni fatierahaššeh, šuorizi da mäni čuarin luo. Bufietta loppu, rahvaš lähettih, puara viijäh eri komnattah. Jo hyö ruvet-

tti muata. Ken kun on midä vasše rodiudun, ga šida i vardeič-  
čou, štobi spokoissa elyä. Kaččou yöllä — ga meren randa valguo-  
lou. Kyžyy morziemelda, mi šielä valguol'ou. Morzien šanou:  
— Vet' čirakko valguol'ou meren rannalla. Kun ken mänöy me-  
ren tuakši, nin kun šanou tukan libo karvan šildä, dai muuttau  
kiveksi.

Hiän ni šanou:

— Elä mäne šinne.

Hiän šanou:

— Lähen.

Mänöy šinne, a kun šielä liideliäkše — päiväni kaunis. Šai tu-  
kan piästä i karvan hebožešta, dai kiveksi i muututtih.

Veikko kun kaččou, ga veičestä veri juokšou. Tulou Ivan Šu-  
tin stolbah šuate dai tulou šihi šamah leškiakkah. Leškiakka  
i šanou:

— Midä šie kävelet? En tiijä, midä šie kävelet, — leškiakka ša-  
nou, — vet' šie nait? Lakkä, poigan, mie šiun šuatan morziemeš  
luo.

Tullah šinne, akka šuattau, ilda on. Ei ole hiän mužikka veš-  
selä. Morzien šanou:

— Midä olet et vešselä?

— Midä ollen — kun aiga proidiu, dai heitämmä kävelennän.  
Ruvetah muata, ga hiän panou suabl'at dai kai viereh, duumaič-  
čou, eigo morzien ole tappan veikkuo. Kävälöy šiinä vähäzen, ga  
tuaš valguol'ou meren randa. Veny vähäzen šiinä, ga:

— Mikse meren randa valguol'ou?

— Vaštahän šie eglen šinne läksit, — šanou morzien, — da mi  
šie ollet nyt, kun et malta ni midä.

Ei muuda kun hyppäi dai läksi, mäni. Šillä puolella meren  
randua löyhkäy čirakko ze. Nägöy: šiinä on heboni dai veikko  
dai koira kivenä. Čirakko kun tuli tukkua ottamah, ga kyngäštä  
i tabai.

— Laže pois, — pyrgiy čirakko.

— En laže, kuni et miun vellie piäštäne.

— Piäššän, ota tuošta puun juurilda butylka kuolien vettä,  
toin'e — elävyä vettä, vala enzin kuolien vejellä, šiida elävällä  
vejellä.

Ne i virrottih.

— Oh, kan viikon magazin!

— Olizit vielä viikoman muannun, kun mie en olis piäštän.

Hiän šanou:

— Milläbä šie tiežit miun tiäldä eččie?

Toin'e vaštai:

— Jo mie šiun morziemen kera magazin.

Da toin'e ei munda kun piän poikki veikolda. Dai kodih. Kun  
mäni morziemen komnattah, ga muuda kun piä leikata. Naini ker-

don, kuin velli vieri muata, vierl miekkojen kera. Dai šai tiedyš, što ei nämä ole muattu.

Velli mänöy tuaš da toizen virottau, tullah šieldä: yhemmoizet kakši hevoista, kakši koirua, kakši velleštä yhemmoista, da čuari ando elyš hiän koissah.

#### 14. [ДВА БРАТА]

Старик да старуха жили. Старик поставил мережу в воду. Идет на второй день смотреть. Попалась щука. Старик стал брать, а щука гворит:

— Не бери сегодня.

Да так и не взял. Приходит домой, старуха спрашивает:

— Принес рыбы, достал ли свежей?

Старик гворит:

— Не спеши ты: была щука, но не взял.

Старуха ругается. Идет на второй день, и опять та же самая щука в мереже. Щука гворит:

— Не бери еще и сегодня.

Идет старик опять домой. Старуха спрашивает:

— Принес ли свеженького?

— Не принес, подожди еще.

Идет на третий день, опять щука там, но не гворит ничего. Берет мужик щуку, щука гворит:

— Возьми и унеси домой, но не давай в руки своей старухе.

Старик приходит домой, а старуха уже бежит к его кошелю, старик гворит:

— Не трогай, не трогай!

Щука ему посоветовала: «Вычисти меня и разрежь: средние куски положи на блюдо, отнеси их в клеть и накрой скатертью, а хвост и голову сварите и съешьте». Мужик так и сделал. Кости головы положили на сарае.<sup>1</sup> «Потом положите кости с середины в конюшню, во двор и в хлев». Потом поужинали, старик взял кости и кладет, куда велела щука. И легли спать. Встал старик рано, выходит во двор (в доме не было никакой скотины), открыл ворота — даже стены дрожат, как собаки лают, [вышедшие] из костей головы. Как открывает дверь в конюшню — там две лошади ржут, что даже стены дрожат. Дверь в хлев как открывает — там коровы к нему поворачиваются. Поднимается по ступенькам, слышит: в клетки парни книгу читают. Не заходит в клеть, пришел в избу, глаза помыл, руки вымыл, помолился и пошел в клеть: там двое мужчин, они ему в ноги, старику: «Ты нам отец, мы тебе сыновья». Приходит в избу, будит старуху:

<sup>1</sup> Имеется в виду верхняя часть крытого двора в карельских и севернорусских крестьянских домах. «На сарай», как гворят карельские и русские крестьяне в Карелии, въезжают со двора по особому настилу (аввод, въезд), от избы сарай отделен сенями.

— Старуха, вставай.

Старуха встала, печь затопила, старуха завтрак готовит. Проходят сыновья в избу:

— Ты нам мать, мы тебе сыновья, — кланяются в ноги.

Позавтракали, поели-попили, в ноги поклонились.

— Благословите теперь нас по свету ходить.

Они плакаты: «Только что пришли, а уже уходите».

Один — Василий Шутин, второй — Иван Шутин, отправились, взяли в конюшне лошадей и собак, остальная скотина у них [у стариков] осталась. Отправились, едут по дороге. Встретился столб. На столбе написано: «Кто направо — тому смерть, кто налево — тому ничего». Расстались, попрощались, Василий Шутин поехал по смертной дороге, а Иван Шутин по другой.

Василий проехал сколько-то, крикнул — другой услышал, оба вернулись. Василий говорит:

— Если который умрет, то и не узнаем, который жив, который мертв.

Договорились, что пусть из ножа того, кто жив, потечет кровь, если другой умрет. Опять плачут и расстаются.

Василий Шутин ехал по дороге, видит — вся земля накрыта черным сукном. Старуха-вдова жила у дороги, он к старухе-вдове и заехал. Заходит к вдове и спрашивает:

— Почему земля сукном накрыта?

Старуха-вдова говорит:

— Царевой дочери выпало идти змею на съедение, и поэтому покрыта [земля черным сукном].

— Дай мне куклы кудели, — просит он у старушки.

Кладет он куклы кудели друг на друга, и шапка все разрезала — такая была острая. Легли спать.

— Когда останется три часа до захода солнца, то меня разбуди.

Старуха смотрит: только три часа осталось, будит Василия.

Там есть помещение, куда нужно каждый день приводить человека змею на съедение. Туда привели цареву дочь на съедение. Василий приехал туда и слез с коня. Змей говорит:

— Выдуй ты чистым духом поле в три версты, где нам биться.

А Василий говорит:

— Выдуй хоть ты поганым духом.

И змей выдул поле в три версты и наметил место.

— Теперь, — говорит, — мужчинам драться, или собакам? — говорит змей.

Василий говорит:

— Все равно кому.

Змей говорит:

— С этой [собакой] и драться нечего, раскрой только пасть и проглоти, — говорит своей собаке.

Василия собака маленькая, а у змея — как телка. Василий говорит своей собаке:



— Ты иди вовнутрь, если проглотит, и съешь внутренности и выйди живым из ж. . .

Потом как змея собака раскрыла пасть, собака Василия вошла и съела кишки и вышла живая.

— Ну, — змей говорит, — теперь мужчины.

— Ну, мужчины так мужчины, — говорит Василий Шутин, и начали биться.

Василий Шутин победил змея. Головы кладет под камень, туловище несет в воду, обратно в море. Девушка в живых и осталась. Солдат в саду караулит: если кого съедят, то солдат должен кости убрать. А те все в живых остались. Василий Шутин пошел к старухе-вдове. Опять наточил меч и положил на куклы кудели, опять меч без нажима разрезает куделю.

— Разбуди меня в шесть часов.

Опять старушка будит, и отправляется [Василий] к девушке. Есть договор, что кто спасет девушку, тому она и достанется ценой.

Василий Шутин говорит девушке:

— Смотри, как всколыхнется море шесть раз, то разбуди меня. Поищи в голове.

Девушка смотрит — море всколыхнулось шесть раз. Разбудила Василия. Он идет. Приходит шестиголовый. Подъезжает, а конь уже спотыкается.

— Иди, иди, некого здесь бояться. На земле только двое мужчин достойных, [но] тех здесь нет.

Он [Василий] опять и выскочил. Змей говорит:

— Так ты здесь? Выдуй чистым духом [поле], где биться.

— А выдуй ты поганым духом.

И змей выдул.

— Ну, собаки или мы?

— Ну, хоть собаки, — Василий говорит. — Собачка, собачка, ширяй, вползай, через рот войди, через ж. . . выйди живая!

— Теперь мужчины!

Бьются, бьются; опять и победил Василий Шутин — головы под камень, туловище в воду. И идет Василий к старухе-вдове. Солдат смотрит — работы нет. Ждет, что свадьбу можно справить.

Опять велит [Василий] девять кукол кудели положить, наточил свой меч; как бросил на куделю — меч все разрезал. Лег спать.

— Как останется девять часов до захода солнца, то меня разбуди. А если не сможешь, то выпусти коня.

Старуха разбудила, он встал. Опять туда поехал. Приехал туда, а девушка там плачет, ждет. Пришел, привязал коня к кольцу, подходит к девушке и говорит:

— Смотри, когда море всколыхнется восемь раз, то разбуди меня, иначе все пропадем.

Девушка в голове ищет, он спит. Смотрит [девушка]: море восемь раз всколыхнулось, она будит — не может разбудить, запла-

мала. Ее слеза на лицо упала, он и встал. Вскочил, и змей пойма-  
ется по взвозу \* сарая. Василий на него наскочил.

А змей говорит:

— Иди дальше, коли до этого места дошел!

Конь понялся и на крупе проехался донизу.

— Хо, так ты здесь? Выдуй теперь чистым духом поле в де-  
вятъ верст, где биться.

— А хоть ты выдуй поганим духом, все равно.

И стали биться. Бьются, бьются, борются, да не может Василий  
Шутин победить. Смотрит — стало солнце вставать, а если только  
солнце встанет, то ему и не победить. Василий и говорит:

— Сядем поотдохнуть.

Сели, и он последнюю голову смахнул. (Есть что носить под  
камень — девять голов!). Подожил головы под камень, туловище  
в реку. Сел на коня и поехал к старухе-вдове. Солдат как увидел,  
что едет, солдат и застрелил мужика [Василия] — тот тут и упал.  
Собачка бежит к девушке, она велит мышку поймать. Собака пой-  
мала мышку и отнесла к мужику. Мышка зализала след пули —  
мужик и ожил.

Мужик пошел и зашел к старухе-вдове. Не точил меча и не  
просил кудели, лег спать; три дня проспал, а солдат тот доволь-  
ный ходит. Ничего не знает [Василий], когда встал. Вышел во  
двор — как будто и не тот город: свечи горят на столбах, народ  
пляшет и поет. Спрашивает у старухи-вдовы:

— Что теперь случилось в городе, как все пляшут и веселятся,  
а когда я приехал, то город был черным покрыт?

Вдова говорит:

— Когда царевой дочери выпало идти на съедение, то все пе-  
чались, а теперь солдат ее опас, так свадьбу справляют.

Просит у старухи:

— Дай худую одежду, что от покойного мужа осталась.

Старуха приносит ему одежду, он надевает на себя плохую  
одежду, берет коряну в руку и отправляется просить [милостыню].  
Пришел к царю — там за свадебными столами сидят, невеста по-  
сит на подносе вино, рюмки золотые, никто не смеет пить. Обходит  
[девушка] всех и опять уносит обратно к отцу. Опять отец и велит  
ей обносить столы. (В старину нищих боялись, как бы не наслала  
порчу на новобрачных). Подходит [девушка] к скамье у двери и  
кланяется нищему — не берет, кланялась час — потом только взял,  
выпил — и рюмку под каблук. Сказала девушка отцу. Опять об-  
носит — никто не берет. Она подходит к скамье у двери, опять  
кланяется два часа, и [нищий] рюмку берет и выпивает. Девушка  
говорит отцу: «Никто не брал». Опять отец наливает и велит де-  
чери угощать — никто не берет. Опять подходит к скамье у двери  
и кланяется. Уже третий час кланяется, уже отец пришел по-  
смотреть, и солдат тот рассердился. Он [Василий] выпил —  
рюмку под каблук. Отец взял дочь за плечо, дочь и говорит:

— Это мой спаситель, отец!

Солдат вскочил:

— Этот?

Царь говорит:

— Не знаю, кто спаситель и избавитель.

Солдат говорит:

— Пойдем посмотрим, где головы.

Приходят туда:

— Смотри, здесь головы.

А тот на скамье у двери с места не двинется. Солдат вертеется, не может показать. Отец говорит:

— Не знаю.

Тот со скамьи у двери говорит:

— Возьми солдата, пусть поднимет камень и покажет.

А он и не может: «одежда запачкается», — говорит. Подходит тот со скамьи у двери:

— Пойдем, царь-кормилец: кто положил, тот и поднимет.

И приходят, он и поднял:

— Вот тут, смотри.

Вернулись в избу и советуются. Царь говорит:

— Новую ли свадьбу справим или по старой возьмешь?

— По старой возьму, сойдет, коли уже три дня справляют.

И пошел на свою квартиру, переделался и пошел к царю. Буфет кончился [так!], народ разошелся. Молодоженов увели в особую комнату. Они уже легли спать. Но кто для чего рожден, тот за тем и смотрит, чтобы в покое жить. Смотрит — ночью берет моря светится. Спрашивает у жены, что там светится. Жена говорит:

— Это ведь летучая мышь светится на берегу моря. Если кто пойдет за море и если она сможет взять у того волос или шерстинку, тут же превратит в камень.

Она и говорит:

— Не ходи туда.

Он говорит:

— Пойду.

Приходит туда, а там как летает, как соянце красное! Вырвала [летучая мышь] волос с головы и шерстинку у лошади — они и превратились в камни.

Брат смотрит — из ножа кровь течет. Приезжает Иван Шутин к столбу и попадает к той самой вдове. Вдова и говорит:

— Что ты ходишь? Не знаю, зачем ты ходишь, — вдова говорит, — ведь ты женился? Пойдем, сынок, я тебя отведу к твоей жене.

Приходят туда, старуха провожает, уже вечер. А он невеселый. Жена говорит:

— Почему не весел?

— Какой бы ни был — пройдет время — и перестанем бродить.

Легли спать, а он кладет рядом саблю и все другое. Думает — не жена ли убила брата. Походил тут немного, и опять засветился берег моря. Полежал немного тут:

— Почему берег моря светится?

— Ты же только вчера туда ходил, — говорит жена, — и какой-то ты теперь, ничего не понимаешь.

Больше ничего, как вскочил и вышел, уехал. На том берегу моря летает летучая мышь. Видит: тут лошадь, и брат, и собаки камнями стоят. Летучая мышь как подошла, чтобы волосок взять, он за локоть ее и схватил.

— Отпусти, — просится летучая мышь.

— Не отпущу, пока моего брата не оживишь.

— Оживляю. Возьми тут под корнями дерева бутылку мертвой воды, другую живой воды, помочи сперва мертвой водой, потом живой водой.

Те и ожили.

— Ох, как долго спал!

— Еще бы дольше проспал, если бы я не выручил.

Он [Василий] говорит:

— Как ты знал меня здесь искать?

Другой ответил:

— Я уже с твоей женой спал.

И брат больше ничего, как голову отрезал другому. И приехал домой. Как зашел в комнату жены, так больше ничего, как голову жене хочет отрезать. Жена рассказывает, как брат лег спать, лег с мечами. И узнал он, что не спали те.

Брат едет опять и другого брата оживляет, приезжают оттуда: одинаковые две лошади, две собаки, два брата одинаковых, и царь позволил им жить в своем доме.

## 15. «NENÄ HALKI — ŠUOLUA ŠIÄMEH»

Oli ennen ukko ta akka, heilä kolme poikua. Hyö ku oltih köyhät, ni vanhin poika šanou:

— Tuatto, muamo prostiet, plahosloviet milma čuarih kasa-kakše.

Vanhemmat šanotah:

— Hospoti prostikkah, mänel

Poika mänöy čuarin pihalla, kaččelou kellisteliytyy ikkunoihi. Čuari pistäy pääh ikkunasta. Kyšyy pojalta:

— Mitä kaččelet, poika?

Poika šanou:

— Työtä-ruokua ečin. Eikö čuari-kormeličalla olle mitä työtä?

Čuari šanou:

— Tule meilä pirttih, meilä on työtä i ruokua! Kun voinet tänä yönä varteija miun tyttären, jotta minne tytär käyt, nim šuat šata rupl'ua.

Čuari panou pojan tyttären huoneheh oven tua šeisomah ta varteimah, jotta minne še tytär mänöy. Tytär šolahti ikkunašta i mani männeššäh. Poika ei tietän ni mitänä. Čuari kyšyy pojahta:

— Tiijatkö, missä kävi?

Poika šanou:

— En tiijä, ovi ei liikkun.

Čuari šanou:

— Kun et tiijä, nin et ni palkkua šua.

Halkai pojahta nenän, šuolua pisti välih ta šanou:

— Mäne, kušta tulit!

Poika mänöy itkien kotih, kun nenä on halki ta šuolua šiameššäh.

Keskimäini poika šanou:

— Vuota, kun mie lähen čuarih kasakakše, käytkö miula niin pahoin.

Mänöy čuarih ta kyšyy:

— Onko työtä ta ruokua, čuari-kormelicča?

Čuari šanou:

— On meilä työtä ta ruokua. Kun voinet varteija miun tyttären tämän yön aikana, jotta mihin hän käyt, nin šuat šata rupl'ua.

Poika šanou:

— No, kuottelen mie.

Tai pannah hänet varteimah čuarin tyttären oven tuakše. Poika uinoi oven tuakše. Čuarin tytär šolahti ikkunašta. Kävi, missä hänen oli käytävä, ta tuli jällelläh.

Huomenekšella čuari kyšyy:

— Tiesitkö, missä tytär kävi?

— En tiijä, kun ei ovi liikahtan.

— No kun et tiijä, et ni palkkua šua. Mäne kotihis.

Čuari häneltä nenän halkai ta šuolua šiameh.

Šanou kolmaš poika, Tuhkimuš:

— Antakkua kun mie lähen čuarih kasakakše.

Tuattoh ta muamoh šanotah:

— Kun ei paremmatkana ošattu olla kasakkana, nenäh vain mänetettih, nin šinne ei ole šilma tarvis. Vain kun tahtonet, nim mäne.

Tuhkimuš läksi pyrkimäh kasakakše.

Kuuntelou tien viereššäh, kun kakši näkymätöintä riijelläh. Riita kuuluu, vain nävy ei.

Tuhkimuš kyšyy:

— Mitä työ riitelettä, kun että šovi?

Šanotah:

— Meilä kun jäi tuatto-rukasta semmoni lakki, jotta kun piähä pissämmä, nin ei niä ni ken. Nyt sitä riitelemmä, jotta kumpi se šen šuau. Etkö, veikkon, suuti — kumpasella se joutuu.

Tuhkimuksella annettih käteh lakki. Paikalla ilmestyy kaksi miestä. Tuhkimus sanou:

— Mie luon kiven ilmah: kumpi šen šuau ensimmäkse kiini, se i šuau lakin.

Tuhkimus loi kiven ilmah, ice pisti lakin piäh ta mäni männeš-säh. Häntä ei enämpyä ni nähty. Tullah miehet šiihi paikkah, mistä lähettih juokšomah kieve tavottamah. Ei ni ole lakkie — se mäni. Miehet sanotah:

— No hyvä oli, kun vei meiltä šen lakin, jotta myö piäsimä riitelömästä.

Jo Tuhkimus mänöy čuarih. Lakkih pissälti kormanoh, jotta čuari näkis häntä. Čuari kysyy:

— Mitä kävelet, poika, tiälä?

Tuhkimus sanou:

— Työtä-ruokua ečcimässä.

Čuari sanou:

— Meilä on työtä ta ruokua. Kun voinet varteiija miun tytärtä tänä yönä, jotta missä hiän käyt, nin šuat šata rupl'ua. Kun mänet tyttären oven tua, nin elä uinuo oven tua, jotta niät, kōnsa hiän lähtöy.

Tuhkimus sanou:

— Mie oven tuakse en rupie varteičcemah. Čuarissa on monta ovie ta ikkunua. Šiih huoneheh pitäy piässä, missä on tytär.

Čuari sanou:

— Ei se tytär piässä šiih huoneheh, missä on ice, vain kun voinet väkeh piässä šinne.

Tuhkimus pisti lakin piäh ta muuttu näkymättömäkse. Ice mäni čuarin tyttären huoneheh. Häntä ei niä ni ken, kun on lakki piässä. Tytär pakajau icekseh: «Pitäis lähtie ruttoseh. Mintäh mie näin myöhäššyin?».

Tytär šito ičceh nuorah, šen šito nuaklah ta ice solahtau ikunašta nuorua myöte muah. Tuhkimus hänellä jälkeh solahtau. Tytär ei ni tiijä. Šiinä oli heponi korietan eteh val'l'assettu ta kuški, ken sitä čuarin tytärtä käyttelöy.

Nousi čuarin tytär koriettah, ta Tuhkimus hänellä reunah istuutu.

Čuarin tytär kysyy:

— Mintäh tässä korietassa on nyt näin ahaš?

Tuhkimus kun šiinä istuu kōhöttäy, nin čuarin tyttäreellä on ahaš istuo. Čuarin tytär sanou kuškilla:

— Mintäh meilä matka joutuu näin hil'l'akkaiseh? Aja hyvin hevoista!

Kuški sanou:

— Totta se on paha keli. Ei voi heponi matata.

Ajettih vaskiseh meccäh. Sielä on vaskiset puut. Ajettih vaskimeccä läpi. Tuli vaskini järvi. Vaskisen järven rannassa on vaskini veneh ta vaskiset aivot. Tytär nousi veneheh tai Tuhkimuš veneheh. Kuski jäi rannalla vuottamah.

Tytär söuti vaskisen järven. Mäni hopiesen meccän rantah. Siinä oli hopieni heponi ta hopieni reki. Cuarin tytär istuutu rekeh. Tuhkimuš istu viereh. Cuarin tytär ei niä Tuhkimušta. Hiän ajattelou: «Mintäh reki on näin jykie ta matka joutuu hil'akkaiseh?». (A Tuhkimuš on rejessä, nin sen takie se on jykie ta matka joutuu hil'akkaiseh).

Tuli hopieni järvi, sen rannassa hopieni veneh, hopieset aivot. Cuarin tytär söuti hopiesen järven toiseh rantah: tuli kultani meccä. Siinä on kultani heponi, kultani reki. Tytär istuutu rekeh, tai Tuhkimuš. Ajettih kultasen järven rantah. Siinä on kultani veneh ta kultaset aivot. Cuarin tytär istuutu veneheh, tai Tuhkimuš veneheh. Soutau kultasen järven poikki. Järven rannassa on kultani suuri talo. Mänöy cuarin tytär taloh, tai Tuhkimuš jälkeh näkymättömänä. Sielä on vanha pikkaraini hyvin paha ukko. Sanou cuarin tyttärellä:

— Mintäh nyt näin myöhä tulit?

Tytär sanou:

— Niin oli paha keli, jotta heposet ei voinun matata ta mintäh lienöy ollun soutuaki niin jykie.

Ukko on stolalla pannun syömiset, juomiset ta sanou:

— Syö ruttoseh, jotta piäsemmä kisuamah.

Ruvettih syömäh. Hyö ei keritty ni mitänä syyvvä, kun Tuhkimuš kaikki söi.

Ukko sanou:

— Hyväkse olet nyt nälästyn, kun niin kiirehen kautta kaikki syöt.

No syötih ta ruvettih lattiella kisuamah tytär ta ukko. (A se ukko on cuarin tytön sulhani. On min luona käyvä!).

Tytär sanou:

— Nyt miun pitäy lähtie paikalla pois, kun niin pitälti viivyn matalla.

Tuhkimuksella on sumca. Hiän otti ta pani stuulat, stolat, aštiet, samovuarat ta kaikki siihi sumcah. Cuarin tytär kun läksi ovešta uloš, niin Tuhkimuš tempai i ukon sumcah ta sanou:

— länettäš ole sumcašsa!

Mäntih kultaseh veneheh ta souvettih kultani järvi poikki. Cuarin tytär ihmettelöy, kun on jykie veneh. Piästih kultasen meccän laitah. Tuhkimuš panou kultasen venehen ta aivot sumcahah. Kultameccästä ajettih läpi kultasella heposella. Tuhkimuš matkan varrella katkou kultasie oksie ta panou sumcahah. Cuarin tytär sanou ičekseh: «A-voi-voi, kuin olin pitälti, jo huomenešlintuset hypitäh

puissa, kun rapšau». (Še rapšau, kun Tuhkimuš oksie katkou).  
Kun kultamečästä läpi ajettih, mäntih hopiesen järven rantah.  
Tuhkimuš panou sumčahah kultasen heposen ta kultasen rejen.

Souvettih hopiesella venehellä hopieni järvi hopiesen mečan  
laitah. Tuhkimuš pisti hopiesen venehen ta aivot sumčahah. Ajetah,  
Tuhkimuš tuaš katkou hopiesešta mečästä oksie ta pistäy sum-  
čahah. Tytär tuaš šanou: «A-voi-voi, kuin olin pitälti, jo huome-  
nešlintuset hypitäh puissa, kun rapšau». Tultih vaškisen järven  
rantah. Souvettih vaškisella venehellä vaškisen mečan laitah.  
Tuhkimuš tuaš pissältäy sumčahah vaškisen venehen ta aivot.  
Šiinä rannašša vuotti čuarin tyttären oma heposeh. Ajetah šillä  
läpi vaškisen mečan. Tuhkimuš tuaš katkou vaškisista puista oksie  
ta pissältäy sumčahah. Tytär tuaš šanou, kun oksat rapšetah:  
«A-voi-voi, kuin mäni pitälti. Jo huomenešlintuset hypitäh puissa.  
Tuatto šielä noušou — ta mi tullou miula».

Piaštih hyö viimein čuarin pihalla. Tytär kun nousi korietašta —  
Tuhkimuš sumčahah heposen, rejen ta kuškin. (Šielä ollah kaikki!).  
Tuhkimuš vei sumčan kylyn lauteijen alla peittoh. Iče mänöy ču-  
arin tyttären oven tua ta šeisou šielä töröttäy, kuin Hovattaisen  
aklinskaine paita. Tulou čuari ta kyšyy:

— Šaitko tyttären varteija, missä kävi tänä yönä?

Tuhkimuš šanou:

— Šain tai tiijän, missä kävi.

Čuari šanou tyttärelläh:

— Avua ovi.

Tuhkimuš ta čuari männäš tyttären luo. Čuari šanou:

— Tämä poika šanou, jotta hian tietäy, missä šie käyt.

Čuarin tytär šanou:

— Šano nyt, kun tiijät.

Tuhkimuš luvettelou mečät, järvet ta kaikki, mitä oli nähny  
ta kuullun. Kaiken šanou, mitä on starinašša.

Čuarin tytär šanou:

— Šie valehtelet, eihän niitä ole olemašša šemmosie mečcie  
eikä järvie.

Čuari šanou Tuhkimuššella:

— En mie tiijä, onko niitä šemmosie olemašša, mitä šie šanot.  
Ei miun tytär kehtua šemmosen ukon luo käyvä. Šie valehtelet,  
kyllä šie tulet tapettavakše.

Tuhkimuš šanou:

— Kyllä mie voin teilä näyntyäki. Ne on miula kylyn laučan  
alla sumčašša. Mie lähen, käyn iče.

Čuari šanou:

— Emmä myö šilma iččies voi työntyä, šie voit puata.

Tuhkimuš šanou:

— Käykyä iče, kun että milma piäššä.



Čuari työntäy kaksi miestä käymäh kylyn lauččojen alta sumčua. Männeh miehet kylyn lauččojen alta sumčua — ei ni lekaha, niin on jykie. Tullah, šanotah čuarilla:

— Še on niin jykie, jotta emmä šuanun šitä liikkumah.

Čuari šanou Tuhkimukšella:

— No mäne käy iče.

Kakši mieštä panou varteiččomah, jottei Tuhkimuš pakene.

— Pankah vaikka kolmel

Tuhkimuš mänöy kylyh. Ottau yhellä kiälläh, noššaltau šelkäh sumčan ta tuou šen čuarin tai čuarin tyttären eteh. Avai sumčan. Šieltä nošti ensimmäisenä kuškin, heposen ta rejen. Šanou:

— Tällä heposella ta rejellä läksimä täštä ikkunan alta ajamah.

Čuarin tytär niin varajau, jotta ei ole uusi eikä kypsä, kun hänen matkat alko tulla ilmi. Jo alko Tuhkimuš noštua sumčäštä vaškisen heposen, vaškisen rejen ta vaškiset oksat ta šanou:

— Tällä heposella ajoimma ta tämmöseštä mečäštä vaškisen järven rantah.

Noštau sumčäštah vaškisen venehen ta aivot:

— Tämmöšellä venehellä šoutima hopiesen mečän reunah.

Tuhkimuš noštau sumčäštah hopiesen heposen, hopiesen korietan ta hopiesie oksie.

— Tämmöšellä heposella ta korietalla myö ajoimma tämmösen mečän läpi kultasen järven rantah.

Noštau sumčäštah kultasen venehen ta kultaset aivot, šanou:

— Tämmöšellä venehellä šoutima kultasen järven yli. Mänimä kultaseh taloh.

Noštau sumčäštah kultaset stolat, stuulat, samovuarat, kaikki aštiet ta šanou:

— Näillä stuulilla myö istuma, tältä stolalta ta näistä ašteista myö šöimmä, täštä samovuarašta joimma.

Ruaššaltau sumčäštah ukon ta näyttäy čuarilla.

— Täšš on šiula vävy! Tämän ukon kera šiun tyttäreš lattiella kisai.

Ukko šanou:

— Šuanko mie täššä häitä tanššie, tämä on miun moršien?

Čuari šanou:

— Tämä ukko pitäy hirttyä.

Ukko kun rupeši pläššimäh, tai hyppäi ikkunašta. Šinne i mäni. Šiitä vävyštä jätih kaikki šiihe.

Čuarin tytär šanou, kun ei voinun enyä mitänä šalata:

— Kyllä tämä on kaikki totta. En mie olis uškon, jotta šemosta mieštä on muailmašša, ken miun varteiččou..

Čuari šanou Tuhkimukšella:

— Kun ottanet tämän moršiemekšeš, nin šuat, kun et ottane, nin šuat palkan ta mäne kotihis.

Tuhkimuš šanou:

— Mistäpä köyhällä tulou čuarin tytär naisekše muuvaltal!

Piettiin hiat. Tuukimus piäsi duarin vävykse.

Tai sielä olin i mie häissä, ta sielä miula annettih viinua pohjattomalla pluohkanalla. Enkä mie piässyn paljon humaltumah. Annettih miula sieltä hernehini ruoska, nakrehini šatula. Tulin mie kotikyläh. Poikajoukko juošti miula vaštah, šyötih miulta hernehini ruoska, nakrehini šatula, mie en suanun ni mitänä.

I šiihe še i loppu. (Enämpi en voi ni mitä kekšie).

### 15. «НОС НАДВОЕ, СОЛИ В РАНУ»

Были раньше старик и старуха, у них — три сына. Так как они были бедны, то старший сын говорит:

— Отец, мать, простите—благословите меня к царю в работники.

Родители говорят:

— Господь простит, иди!

Парень идет на царский двор, разинув рот смотрит на окна. Царь высунул голову из окна. Спрашивает у парня:

— Что смотришь, парень?

Парень говорит:

— Работы да хлеба ишу. Нет ли у царя-кормильца какой-нибудь работы?

Царь говорит:

— Заходи в избу, у нас есть и работа, и хлеб. Если сможешь этой ночью укараулить, куда ходит моя дочь, то получишь сто рублей.

Царь велит парню встать за дверью дочерней спальни и сторожить, куда дочь уходит. Дочь выскользнула в окно и пошла своей дорогой. Парень ничегошеньки и не знал. Царь спрашивает у парня [утром]:

— Знаешь ли, куда [она] ходила?

Парень говорит:

— Не знаю, дверь не открывалась.

Царь говорит:

— Раз не знаешь, так и платы не получишь.

Расколол надвое у парня нос, посыпал соли в рану и говорит:

— Иди, откуда пришел!

Парень с плачем идет домой — нос расколот, да рана солью посыпана.

Средний сын говорит:

— Пстой-ка, я пойду в работники к царю, случится ли со мной так же.

Идет к царю и спрашивает:

— Нет ли работы да хлеба, царь-кормилец?

Царь говорит:

— Есть у нас работа да хлеб. Если сможешь этой ночью укараулить, куда уходит моя дочь, то получишь сто рублей.

Парень говорит:

— Ладно, я попробую.

И велят ему встать за дверью царевой дочери. Царева дочь вышла в окно. Сходила, куда ей надо было, и вернулась обратно.

Утром царь спрашивает:

— Узнал, куда дочь ходила?

— Не узнал, так как дверь не открывалась.

— Ну, раз не узнал, так и платы не получишь. Иди себе домой.

Царь ему нос надвое расколол и солью посыпал.

Говорит третий сын, Тухкимус:

— Дайте-ка я пойду к царю в работники.

Отец да мать говорят:

— Раз уж другие, получше тебя, не смогли работать у царя, только носов своих лишили, то ты там не нужен. Но если уж хочешь, так иди.

Тухкимус пошел проситься в работники. Прислушивается — у дороги двое невидимых спорят. Спор слышен, а никого не видно. Тухкимус спрашивает:

— О чем вы спорите, договориться не можете?

Говорят:

— Нам от покойного отца досталась такая шапка, что как ее наденешь, никто тебя не увидит. Теперь вот спорим, кто ее получит. Не рассудишь ли, братец, кому она достанется?

Дали шапку в руки Тухкимусу. Тут же появляются двое мужчин. Тухкимус говорит:

— Я брошу камень в воздух: кто первый его поймает, тот и получит шапку.

Тухкимус бросил камень в воздух, сам надел шапку и пошел дальше. Его больше и не увидели. Возвращаются мужчины на то место, откуда побежали за камнем. Нет шапки — исчезла. Говорят мужчины:

— Ну и хорошо, что унес у нас эту шапку, освободил нас от спора.

Тухкимус идет к царю. Шапку сунул в карман, чтобы царь мог его видеть. Царь спрашивает:

— Зачем ходишь здесь, парень?

Тухкимус говорит:

— Работы и хлеба ищу.

Царь говорит:

— У нас есть работа и хлеб. Если сможешь укараулить мою дочь этой ночью, то получишь сто рублей. Когда встанешь за дверью дочери, так не усни, чтобы увидел, когда она выйдет.

Тухкимус говорит:

— Я за дверью не стану сторожить. В царском доме много дверей и окон. В ту комнату меня впусти, где дочь.

Царь говорит:

— Дочь не впустит в свою комнату, но если сам сумеешь попасть силой...

Тухкимус надел шапку и стал невидим. Сам пошел в комнату царевой дочери. Его никто не видит, раз шапка на нем. Девушка говорит про себя: «Надо бы скорей ехать. Что же это я так задержалась?». Девушка обвязывается веревкой, веревку привязывает к гвоздю и спускается из окна по веревке на землю. Тухкимус спускается за ней, девушка про это и не знает. Там лошадь в карету запряжена и кучер [сидит], который цареву дочь возит.

Поднялась царева дочь в карету, а Тухкимус рядом с ней сел. Царева дочь спрашивает:

— Почему в этой карете теперь так тесно?

А это Тухкимус так развалился, что царевой дочери тесно сидеть. Царева дочь говорит кучеру:

— Почему у нас путь так медленно убывает? Погоняй-ка лошадь хорошенько!

Кучер говорит:

— Верно, дорога неважная. Лошадь не может везти.

Заехали в медный лес. Деревья там были из меди. Проехали медный лес. Приехали к медному озеру. На берегу медного озера — медная лодка с медными веслами. Царева дочь села в лодку — и Тухкимус в лодку. Кучер остался на берегу ждать.

Лодка переплыла медное озеро, пристала к берегу у опушки серебряного леса. Там серебряный конь и серебряные сани. Царева дочь села в сани, Тухкимус сел рядом. Царева дочь не видит Тухкимуса. Она думает: «Почему же сани такие тяжелые и путь медленно продвигается?». (А ведь Тухкимус сидит в санях, так поэтому и тяжело, и путь медленно продвигается).

Показалось серебряное озеро, там серебряная лодка, серебряные весла. Царева дочь гребла на другой берег серебряного озера. Показался золотой лес. Там золотая лошадь, золотые сани. Девушка села в сани — Тухкимус тоже. Приехали к золотому озеру. На берегу золотая лодка и золотые весла. Царева дочь садится в лодку — и Тухкимус в лодку. Гребет [царева дочь] через золотое озеро. На берегу озера стоит большой золотой дом. Царева дочь идет в дом — и Тухкимус невидимкой за ней. Там старый, маленький, уродливый старик. Говорит царевой дочери:

— Почему сегодня так поздно приехала?

Девушка говорит:

— Такая была плохая дорога, что лошади никак не могли везти, да и грести почему-то было тяжело.

Старик уже приготовил на столе еду, питье и говорит:

— Ешь быстрее, чтоб скорей пойти поиграть.

Сели кушать. Не успели ничего поесть, как Тухкимус все съел.

Старик говорит:

— Ну и проголодалась же ты, так быстро все съела.

Ну, поели и начали на полу играть девушка и старик. (А этот старик — жених царевой дочери. Было к кому ездить!). Девушка говорит:

— Теперь мне надо сразу же уезжать, раз так задержалась в пути.

У Тухкимуса была с собой сума. Он взял да положил стулья, стол, посуду, самовар и все в эту суму. Когда царева дочь вышла за дверь, Тухкимус схватил старика и его сунул в суму да говорит:

— Чтоб голоса не подавал в суме!

Пришли к золотой лодке и переплыли золотое озеро. Царева дочь удивляется, почему лодка тяжелая. Пристали к опушке золотого леса. Тухкимус кладет золотую лодку и весла в суму. Через золотой лес ехали на золотой лошади. Тухкимус по дороге ломает золотые ветки и кладет в свою суму. Царева дочь говорит про себя: «А-вой-вой, как долго я ездила, уже утренние птицы прыгают по веткам». (А это Тухкимус ветки ломает).

Как проехали золотой лес, приехали на берег серебряного озера, Тухкимус кладет в свою суму золотую лошадь и золотые сани. Переплыли на серебряной лодке серебряное озеро и пристали к опушке серебряного леса. Тухкимус сунул серебряную лодку и весла в свою суму. Едут, Тухкимус опять ломает в серебряном лесу ветки и сует в свою суму. Девушка опять говорит: «А-вой-вой, как я долго езжу, уже утренние птички прыгают на ветках». Приехали на берег медного озера. Переплыли на медной лодке медное озеро и пристали к опушке медного леса. Тухкимус опять кладет в свою суму медную лодку и весла. На этом берегу ждала цареву дочь ее собственная лошадь. Едут на ней через медный лес. Тухкимус опять ломает ветки с медных деревьев и сует в свою суму. Девушка опять говорит, когда ветки трещат: «А-вой-вой, как долго я была. Уже утренние птицы прыгают на деревьях. Отец там прощется — что-то со мной будет».

Добрались они наконец до царского двора. Девушка вышла из кареты — Тухкимус в свою суму лошадь, сани и кучера. (Там теперь все!). Тухкимус отнес свою суму в баню и спрятал под полки. Сам идет к дверям царевой дочери и стоит там, как аглицкая рубаха Ховаты.<sup>1</sup> Приходит царь и спрашивает:

— Укараудил дочь, куда она этой ночью ходила?

Тухкимус говорит:

— Укараудил да и знаю, куда ходила.

Царь говорит дочери:

— Открой дверь.

Тухкимус и царь заходят к царевой дочери. Царь говорит:

— Этот парень говорит, что он знает, куда ты ходишь.

Царева дочь говорит:

— Говори, коли знаешь.

<sup>1</sup> Местная поговорка, не имеющая широкого распространения.

Тухкимус перечисляет леса, озера и все, что видел и слышал. Все рассказывает, что и в сказке есть.

Царева дочь говорит:

— Ты врешь, ведь таких лесов и озер на свете нет.

Царь говорит Тухкимусу:

— Не знаю, есть ли на свете такое, о чем ты говоришь. И стала бы моя дочь ездить к такому старику! Ты врешь и наверняка будешь убит.

Тухкимус говорит:

— Я могу вам и показать. Все это у меня в бане под полком в суме. Я пойду сам схожу.

Царь говорит:

— Мы не можем тебя одного отпустить, ты можешь сбежать.

Тухкимус говорит:

— Сходите сами, раз меня не пускаете.

Царь посылает двух человек принести суму из бани. Идут мужчины за сумой — даже не шелохнется, такая тяжелая. Возвращаются, говорят царю:

— Она такая тяжелая, что с места не могли сдвинуть.

Царь говорит Тухкимусу:

— Ну, сходи сам.

Двух человек приставил к Тухкимусу, чтоб не сбежал.

— Приставьте хоть троих!

Тухкимус идет в баню. Берет одной рукой, взваливает суму на спину и приносит ее царю и царевой дочери. Открыл суму. Оттуда сперва поднял кучера, лошадь и сани. Говорит:

— На этой лошади и в этих санях мы поехали отсюда из-под окна.

Царева дочь так испугалась, что сама не своя [букв.: не сырая и не вареная], когда ее поездки стали обнаруживаться. Тухкимус уже вытаскивает из сумы медную лошадь, медные сани и медные ветки да говорит:

— На этой лошади ехали через такой лес на берег медного озера.

Поднимает из сумы медную лодку и весла:

— На такой лодке ехали до опушки серебряного леса.

Тухкимус вынимает из сумы серебряную лошадь, серебряную карету и серебряные ветки:

— На такой лошади и в такой карете мы ехали через такой лес к берегу золотого озера.

Поднимает из сумы золотую лодку и золотые весла, говорит:

— На такой лодке переплыли золотое озеро. Пришли в золотой дом.

Вынимает из сумы золотой стол, стулья, самовар, всю посуду и говорит:

— На этих стульях мы сидели, за этим столом и из этой посуды мы ели, из этого самовара пили.

Хватает из сумы старика и показывает царю:

— А тут тебе зять! С этим стариком твоя дочь играла на полу. Старик говорит:

— Могу ли я здесь свадьбу играть, ведь это моя невеста?

Царь говорит:

— Этого старика надо повесить.

Старик начал плясать и выпрыгнул в окно. С тем и ушел. От этого зятя все тут осталось.

Царева дочь говорит, раз ничего не может скрыть:

— Все это правда. Только не верилось мне, что есть на свете такой человек, кто меня укараулит.

Царь говорит Тухкимусу:

— Если возьмешь ее в жены, то бери, а если не возьмешь, то получишь плату да можешь идти домой.

Тухкимус говорит:

— Где же бедняку еще представится случай жениться на царевой дочери!

Сыграли свадьбу. Тухкимус стал царевым зятем.

И я там была на свадьбе, и там мне дали вина в посудине без дна. Немного я опьянела. Дали мне там гороховую плетъ, седло из репы. Приехала я в родную деревню. Ватага мальчишек побежала мне навстречу, съели у меня гороховую плетъ и седло из репы, мне ничего не досталось.

И на этом эта [сказка] и кончилась. (Больше ничего не могу придумать).

## 16. KUOSALISTARINA

Elettih ukko ta akka. Heilä oli kolme tytärtä. Ukko läksi hal-  
koh. Vanhempi tytär käsköy luatie kuosalin. Ukko luati. Meccässä  
tuli kontie. Ukolla sanou:

— Jos et anna tytärtä, syön heposen.

Ukko lupasi. Jätti kuosalin pinon piällä, jotta tytär tulis käy-  
mäh. Ukko tuli meccästä. Tytär tiijustau:

— Mintäh et tuonun kuosalie?

Ukko sanou:

— Mie unohin meccäh.

Lähtöy ukko toisena huomeneksena. Keskimmäini tytär käsköy  
luatie pesulauvan. Tuas tulou karhu. Kondie lupau syyvvä hepo-  
sen. Ukko tuas lupau tyttären. Tuas tulou ukko jälelläh. Tytär  
kysyy pesulautua.

— Meccäh unohutin.

— Ukko lähtöy kolmantena huomeneksena. Nuorin tytär käsköy  
luatie piiruanpualikan. Ukko lupasi. Mänöy meccäh. Tulou kondie

ta lupuaa šyyvvä heposen. Ukko sanou, jotta «huomena kaikki kolmen tullah, šiitä ota hejät». Lähtöy ukko tyttärie viemäh. Kuni val'vasti hevoista, akka pani rekeh pölkkyjä tyttärien tiestä. Ukko läksi. Akka nousi pirtin piällä. Tyttäret issutah karsinassa. Ukko šanou:

— Pitäy kaččuo, mitä on rieššä.

Akka karjuu:

— Ylähänä olen, alahuoti niän!

Ukko ei ni kačo. Mänöy ielläh. Tuas šuoriu kaččomah. Akka tuas samoin karjuu. Ukko ei ni kačo. Ukkuo kondie vuottau. Kun vain ruvetah rekie purkamah, tai nähäh: reki täysi čurkkua. Karhu šöi ukolta heposen. Kuni ukko mäni pinojen luo, šini akka katon piällä suoritti ta pani huhmaren. Ukko šiändy, näköy, jotta akka on katolla. Mänöy katon piällä, suomaldau huhmarta korvalla, niin še muah. Ukko jälgeh tai kuoli.

Jiätih tyttäret ta akka elämäh.

## 16. СКАЗКА О ПРЯЛКЕ

Жили старик да старуха. У них было три дочери. Старик поехал в лес за дровами. Старшая дочь просит сделать ей прялку. Старик сделал. Из лесу пришел медведь, говорит старику:

— Если не отдашь мне дочь, я съем твою лошадь.

Старик пообещал. Оставил прялку на поленнице, чтобы дочь пришла за ней. Приехал старик из лесу. Дочь спрашивает:

— Почему не принес прялку?

— Забыл в лесу.

Отправляется старик на следующее утро в лес. Средняя дочь велит сделать стиральную доску. Опять приходит медведь, хочет съесть лошадь. Старик снова обещает дочь. Возвращается старик из лесу. Дочь спрашивает про стиральную доску.

— В лесу забыл.

На третье утро опять старик отправляется. Младшая дочь велит сделать скалку. Старик пообещал. Приезжает в лес. Приходит медведь и хочет съесть лошадь. Старик говорит, что «завтра все трое придут, тогда и можешь их взять».

Собирается старик везти дочерей. Пока лошадь запрягал, старуха вместо дочерей положила в сани чурки. Старик поехал. Старуха поднялась на крышу, а дочери в подполье сидят. Старик говорит:

— Надо посмотреть, что в санях.

Старуха кричит:

— Я наверху, все внизу вижу!

Старик и не посмотрел. Едет дальше. Опять хочет посмотреть. Старуха опять так же кричит. Старик и не посмотрел. Медведь старика ждет. Как только начали сани разгружать, видят — целый



воз чурок. Медведь съел у старика лошадь. Пока старик едал к поленицам, старуха нарядила ступу и поставила на крыше. Старик рассержен, видит, что старуха на крыше. Поднимается на крышу да как даст ступе по уху, та и упала. Старик следом — и умер.

Остались дочери с матерью жить.

17

Oli ennen ukko ta akka, heilä oli kolme poikua. Ukko ta akka kuoltih, pojat jätiäh. Se nuorin poika on aina viisahampi ollun, še toisie aina kiusuau, kahta poikua. Pojat tuumatäh «Läkkä pois pakoh ta anna yksin jäpi». Tai peitočči šiltä veittääh täh pantih värččih eväštä ta vuatteitah, jotta yöllä lähettääh pakoh. Varuššettih, ni hiän i mäni šiih värččih, otti evähät ta vuattiet pois, a iče istuutu värččih. Yöllä kun lähettih, ta värčči ruuššallettiäh šelkähäš, ta juoššah, juoššah pakoh.

— No levähtäkkä, ei še nyt tavota.

Kun istuuhuttih, hiän ni n'urahtau:

— Elkyä jättyät!

— Oho moššennikka, jo tulou jäleštä!

Vel'jekšet tuaš juokšomah. Tuaš kun ruvetah levähtämäh, hiän tuaš i n'urahtau:

— Elkyä jättyät, mieki tuleni!

— Oho kehno, onnako tavottau. Läkkä pakoh!

No juoššah tuaš, tuaš vaivuttih, tuaš ruvetah levähtämäh. Hiän še laškeutuu värččistä, šanou:

— Tiälä mie olen, vel'jet, en mie ole jänyän.

No tuli talo vaštah. Mäntih taloh. Talošša on kolme tyttö. Kysytäh, jotta onko täššä muita eläjie.

— On meilä muämo, — šanotah, — ka mečäššä on.

Tuli akka kotih.

— Mie, — šanou, — nyt tiät tapan.

A nuorin vellistä šanou:

— Mitä šie meistä tapat, kun olemma näin laihat? Pane lihomah, šiitä tapat.

Tai panou karšinah, šyöttäy heilä hyvyä-parasta kuukauven. Käšköy:

— Leikkua palani pohkieštaš, joko oletta lihon.

Nuorin poika leikkuau lahuo, hyvin lahuo pökkelyö. Šanou:

— Tuošša on, maistele.

— Ei ole vielä lihottu, — šanou, — pitäy toini kuukauši lihottua, šyöttäy.

- Tuaš šyöttäy hyvä-parasta, tuaš kysyy kuukauven paista.
- Joko nyt oletta hyvät? Leikkua pohkeestaš.
- Tuaš leikkai palasen lahuo. Maisteli tuaš akka ta šanou.
- Ei ole vielä hyvät, pahat on lihat, vielä pitäy šyöttäy.
- Tai kuukauven tuaš šyöttäy. Poika leikkua tervaista oksua.
- šanou:
- Maistele nyt.
- Akka maisteli:
- Ka, — šanou, — hyvät ollah, nyt pitäy ottua paistikši yksi.
- Šanou tytölläh:
- Mie kun meččäh lähen, lämmitä pirtin kiukua hyvin äkiekše ta pane paistumah, — šanou, — van'hin poika. Mie kun meččästä tulen, niin šyön paistin.
- Tyttö lämmitti kiukuan kuumakši. Šanou:
- No tule, van'hin poika, mie panen kiukuah.
- Še rupesi itkömäh šielä, kun pitäy lähtie akan šyötäväkse.
- Šanou še nuorin poika:
- Anna mie lähen, šie jä tänne.
- Tai mäni nuorin poika pirttih, šanou tytöllä:
- Pane nyt milma kiukuah.
- Tyttö rupesi häntä panomah kiukuah. Hiän rupieu lapiella šeisual'lah. Tyttö šanou:
- Ei niin pie ruveta, rupie hyväšistä.
- No, hiän ryöhistäyty polvillah. Šanou:
- Ei niin pie ruveta, rupie paremmašta.
- Tyttö šiantyy, a hiän šanou:
- Juohatahan, mitein ruveta, mie en šuata, kun et juohattane.
- Juohatan mie, — tyttö šanou.
- Tyttö rupei šelälläh lapiella.
- Näin, — šanou, — rupie.
- Poika lykkäsi tytön lapiella kiukuah ta iče mäni karšinah.
- No akka tuli illalla meččästä tai otti paistin kiukuašta tai šyöpi.
- Šanou, jotta «voi, kun on makie ni...». A hiän keikkuu karšinašša:
- Oman tyttöš peršema'l'ua, oman tyttöš peršema'l'ua!
- Vel'let šanotah:
- Ole šie iänettä, elä šie virka mitänä.
- Läksi akka toissa piänä tuaš meččäh. Šanou:
- Toini poika pitäy paistua tulomakši.
- No tuaš tyttö lämmitti pirtin ta šanou:
- Tulkah nyt keškimmäini poika.
- Še tuas lähtöy itun kera. Še nuorin vel'leš šanou:
- Ole tiälä, mie lähen.
- Tai läksi tuaš. Konša mit'einki rupieu šiih lapiella. Tyttö šanou:
- Rupie hyväšistä, en mie šuata šilma kiukuah, kun pahasista ollet.

— Juohata, — sanou, — miten pitäy olla.

Tyttö kun rupei juohattamah, no hiän tuas loi šen kiukuah ta iče mäni karšinah. Tuas kun akka tuli mečšästä, niin tuas i šöi.

— A-voi-voi, kun on makie paistit!

Hiän keikkuu karšinašta:

— Oman tyttöš peršema'llua, oman tyttöš peršema'llua!

Toiset šanotah:

— Ole šie iänettäš, elä virka mitänä.

Tuaš läksi meččäh, sanou kolmannella tytölläh:

— Paissa viimeniki poika.

No tyttö tuas lämmitti kiukuah ta sanou:

— No tule nyt viimeniki šieltä, mie panen kiukuah.

Tuaš ni kōmähtäy še nuorin poika šiih lapiella šeisuall'ah, ta hoš miten pahasista. Tyttö sanou:

— Rupie hyväsisstä!

— A juohata šiel!

Tyttö tuas kun rupei juohattamah, hiän viimesenki tytön — kiukuah. No akka tuli mečšästä tai šöi viimesenki tytön, tai nouhitih pois pojat karšinašta, a nuorin poika ruoššalti šen akan kättäläh kahekše palakše tai šanou vellilläh:

— Mänkyä kotih, mie tulen jälleštä.

Otti šen akan puoliskon šelkähäs ta aštuu kotihis päin. Tuli rosvojen meččäpirtti vaštah. Hiän nousi pirtin piällä. Rosvot kun tultih tai levitettih, mitä šuatih päiväššä rahua ta vuatetta, hyvin äijä. Ta pantih keitto tulella, näläššä ollah. Hiän ni alko šavureištä kušša šinne keittoh.

— Hyvä tuli, tulipa tuota vettä tänne keittoh.

Tai aiko šittuo šinne loukošta. Šanotah:

Tulipa täh šakuo, kun makuo tulis vielä vähäni.

No hiän alko tunkie loukošta akan puolista šinne kämpäh, ta rosvaloilla hätä, ta hyö pakoh. Hiän kokosi rahat ta vuattiet šelkähäs ta mäni kotihis, ta sanou:

— Teillä ei ollun n'eruo hankkie rahua eikä vuatetta, kun tyhjänä tuletta!

Tuaš ruvettih yheššä elämäh. Šen pivuš ni starina.

## 17. [МЛАДШИЙ БРАТ]

Жили раньше старик да старуха, у них было три сына. Старик да старуха умерли, сыновья остались. Младший сын был умнее других, он все к другим пристаёт, к старшим братьям. Братья думают: «Убежим от него, пусть останется один». Да украдкой от того брата наложили в мешок еды и одежды, чтобы ночью убежать. Приготовили все, так он и залез в мешок, снял дорожки и одежду, а сам сел в мешок. Ночью отправились, мешок взвалили на спину и бегут; бегут.

— Давай поотдохнем, теперь уж не догонит.

Когда сели, он и подал голос:

— Не оставьте меня!

— Ох, мошенник, уже следом бежит!

Братья опять бежать. Снова как стали отдыхать, он опять и подает голос:

— Не оставьте, я тоже иду!

— Ох, негодный, кажется, догонит. Побежим!

Ну, бегут опять, опять устали, опять стали отдыхать. Он выходит из мешка, говорит:

— Я тут, братцы, я не отстал!

Встретился им дом. Зашли в дом. В доме три девушки. Спрашивают [братья], есть ли в этом доме еще кто-нибудь.

— Есть у нас мать, — говорят, — но она в лесу.

Пришла старуха домой.

— Я, — говорит, — теперь вас убью.

А младший из братьев говорит:

— Зачем ты нас будешь убивать, когда мы такие худые? Поставь на откорм, потом убьешь.

И запирает [старуха их] в подполье, кормит месяц самым лучшим. Говорит:

— Отрежь кусок от своей икры, уже ли [так!] вы разжирили.

Младший брат отрезал кусок гнилого, очень трухлявого бревна.

Говорит:

— Вот, попробуй.

— Еще не разжирили, — говорит, — надо еще второй месяц откармливать.

Опять кормит самым лучшим, опять через месяц спрашивает:

— Теперь уже готовы? — Отрежь от икры.

Опять отрезала кусок гнилушки. Попробовала опять старуха и говорит:

— Еще не готовы, плохое еще мясо, надо еще откармливать.

Да и откармливает еще месяц. Парень отрезает кусок смолистого сучка, говорит:

— Попробуй-ка теперь.

Старуха попробовала:

— Теперь, — говорит, — готовы, теперь надо взять одного на жаркое.

Говорит дочери:

— Я когда пойду в лес, натопи печь очень жарко, — говорит, — и посади старшего брата жариться, я, когда из лесу приду, то съем жаркое.

Дочь натопила жарко печь. Говорит:

— Ну, выходи, старший брат, я посажу тебя в печь.

Тот там заплакал, что надо идти на съедение старухе. Говорит этот младший брат:

— Дай-ка я пойду, ты останься здесь.

И пришел младший брат в избу, говорит девушке:

— Посади-ка меня в печь.

Девушка стала его в печь сажать. Он стал на лопату во весь рост. Девушка говорит:

— Не так, садись хорошенько.

Ну, он стал на колени. Говорит [девушка]:

— Не так, становись получше.

Девушка рассердилась, а он говорит:

— Покажи-ка, как надо становиться. Я не сумею, если не покажешь.

— Я покажу, — девушка говорит.

Девушка легла навзничь на лопату:

— Так, — говорит, — ложись.

Парень толкнул девушку на лопате в печь и сам ушел в подполье.

Ну, старуха пришла вечером из лесу и взяла жаркое из печи и стала есть. Говорит, что «ой, как вкусно!».

А он в подполье скачет:

— Своей дочери ягодицы, своей дочери ягодицы!

Братья говорят:

— Молчи ты, не говори ничего.

Пошла [старуха] на второй день опять в лес. Говорит:

— Второго брата надо изжарить к моему приходу.

Ну, опять дочь [вторая] натопила печь и говорит:

— Пусть теперь выходит средний брат.

Тот опять собирается с плачем. Младший брат говорит:

— Оставайся здесь, я пойду.

Да и пошел опять. То так, то этак становится на лопату.

Девушка говорит:

— Становись хорошенько, я не могу тебя в печь посадить, когда ты плохо становишься.

— Покажи, — говорит, — как надо становиться.

Девушка как стала показывать, он опять ее и сунул в печь и сам ушел в подполье. Опять как старуха пришла из лесу, то опять и съела [жаркое].

— А-вой-вой, какое вкусное жаркое!

Он скачет в подполье:

— Своей дочери ягодицы, своей дочери ягодицы!

Другие братья говорят:

— Молчи ты, не говори ничего.

Опять [старуха] пошла в лес, говорит третьей дочери:

— Изжарь последнего мальчика.

Ну, девушка натопила печь и говорит:

— Ну, выходи-ка оттуда последний, я посажу тебя в печь.

Опять и становится этот младший брат на лопату во весь рост да по-всякому не по-годному. Девушка говорит:

— Становись хорошенько!

— А ты мне покажи!

Девушка опять как стала показывать — он и последнюю дочь в печку. Ну, старуха пришла из лесу да и съела последнюю дочь, и вышли братья из подполья, а младший брат схватил старуху и разорвал на две части и говорит братьям:

— Идите домой, я после приду.

Взял половинку старухи на спину и идет домой. Встретилась лесная избушка разбойников. Он поднялся на крышу избушки. Разбойники пришли и разложили все, что награбили за день денег и одежды, очень много всего. И поставили на огонь похлебку вариться, голодные были. Он и стал в дымоход мочиться в ту похлебку.

— Вот хорошо, вот и вода для похлебки [разбойники говорят].

Да и стал с... через дымоход. Говорят:

— Вот и гуща, еще бы приправы немного.

Ну, он стал захихивать в дымоход половинку старухи туда в избу, а разбойники испугались и давай удирать. Он собрал деньги и одежду, взвалил на спину, и пошел домой, и говорит:

— У вас не хватило ума раздобыть денег и одежды, с пустыми руками вернулись!

Опять стали вместе жить. Такой длины и сказка.

## 18. ČULISTARINA

On ennen čuli. Hiän mänöy taloh. Talošša emäntä rukilla kes-  
ryäy. Čuli šanou:

— Pitäykö emännällä šanuo starina?

Emäntä šanou:

— Šano, čuli-kormeličča.

Čuli rupei starinua šanomah:

— Olin ennen aitašša, šöin voin šaikašta, šyön vielä i šiun-  
rukin keralla.

Tai šöi emännän ta rukin. Läksi talošta pois. Mänöy čuli tietä  
myöte. Mieš heposella halkuo vetäy. Čuli šanou halonvetäjällä:

— Pitäykö šanuo starina?

— Šano, čuli-kormeličča.

Čuli šano:

— Olin ennen aitašša, šöin voita šaikašta, šöin ni emännän  
rukin kera, šyön vielä i šiun halkoješ ta heposeš kera.

Tai šöi. Läksi ielläh. Tulou mieš vaštah ta vetäy heposen  
kera havuo. Čuli šanou:

— Pitäykö šanuo havunvetäjällä starina?

— Šano, čuli-kormeličča.

Čuli šanou:

— Olin ennen aitaassa, šöin voita šaikašta, šöin emännän rukiin kera, šöin halonvetäjän halkojen kera tai šiun šyön havuinen kera tai heposes.

Tai šöi. Iše ielläh. Mieš tulou heposella, heinyä vetäy. Čuli šanou:

— Pitäykö šanuo heinävetäjällä starina?

— Šano, čuli-kormelčča.

— Olin ennen aitaassa, šöin voita šaikašta, šöin emännän rukiin kera, šöin halonvetäjän halkojen kera, šöin havunvetäjän havuineh, heposineh, tai šiun šyön heposineš ta heinineš.

Tai šöi. Iše ielläh. Mänöy meččäh. Meččäššä on šuuri karja pukkija.

— Pitäykö pukit, starina šanuo?

Pukit šanotah:

— Pitäy.

— Olin ennen aitaassa, šöin voita šaikašta, šöin emännän rukiin kera, šöin halonvetäjän halkoneh, havunvetäjän havuineh ta heposineh, heinämiehen heinineh ta heposineh, tai tišt šyön.

Pukit šanotah:

— Elä šyö, kun on niin täysi vađđaş. Rupe enših honkan juurella leväntämäh, šiitš šyöt. Meistä tulou šiula šuuri yero.

Čuli rupei muate honkan juurella. Čuli uinosi. Pukit pašettih honka hänellä piällä. Čulilta mara i halkei, šielta šuatih kaikki, enšin tuli aitta ta voišajikka, šiitš emäntä rukiin kera, halonvetäjä halkoneh, havunvetäjä havuineh ta heposineh, heinämieš heinineh ta heposineh. Kaikki mäntih kotiloqieh ta ruvettih elämäh.

Šiinä i čulistarina.

## 18. СКАЗКА О ЧУЛИ

Был раньше чули. Заходит он в дом. В доме хозяйка на прялке прядет. Чули говорит:

— Рассказать хозяйке сказочку?

Хозяйка говорит:

— Расскажи, чули-кормилец.

Чули начинает сказывать сказку:

— Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съел и тебя с прялкой.

Да и съел хозяйку с прялкой. Ушел из дома. Идет чули по дороге. Человек дрова на лошади везет. Чули говорит вознице:

— Рассказать сказку?

— Расскажи, чули-кормилец.

Чули рассказал:

— Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съел и хозяйку с прялкой, съел еще и тебя с дровами да лошадыю.

Да и съел. Пошел дальше. Идет человек навстречу и везет на лошади хвою. Чули говорит:

— Рассказать сказку везущему хвою?

— Расскажи, чули-кормилец.

Чули говорит:

— Жил я прежде в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прялкой, съел везущего дрова вместе с дровами да еще и тебя съем с хвоей и лошадью твоей.

Да и съел. Сам дальше. Едет человек на лошади, сено везет. Чули говорит:

— Рассказать сказку везущему сено?

— Расскажи, чули-кормилец.

— Жил прежде, я в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прялкой, съел везущего дрова вместе с дровами, съел везущего хвою вместе с хвоей и лошадью, да и тебя съем с лошадью да сеном твоим.

Да и съел. Сам дальше. Идет в лес. В лесу большое стадо коз.

— Рассказать вам, козы, сказку?

Козы говорят:

— Расскажи!

— Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прялкой, съел везущего дрова вместе с дровами, везущего хвою вместе с хвоей и лошадью, везущего сено вместе с сеном и лошадью, да и вас съем.

Козы говорят:

— Не ешь нас сейчас, когда у тебя и так живот полон. Приляг сперва, поотдохни под сосной, потом и съешь. Из нас тебе выйдет один хороший обед.

Чули лег спать под сосной. Чули уснул. Козы свалили [букв.: забодали] сосну на чули. У чули живот и допнул. Оттуда вышли все: сперва вышли амбар и кадушка с маслом, потом хозяйка с прялкой, потом везущий дрова со своими дровами, везущий хвою со своей хвоей и лошадью, везущий сено со своим сеном и лошадью. Все разошлись по домам и стали жить.

Вот и сказка про чули.

#### 19. «PIILI, PIILI, PILKKANI...»

Oli ennen ukko ta akka. Ukolla ta akalla on tyttö ta poika. Ukko, akka kuollah, šanotah:

— Eläkkyy, lapšeni, hyväsešti, kun myö kuolemma.

Ukko ta akka kuoli. Ollah, eletäh. Poika lähtöy mečällä. Tu-lou čuarin poika vaštah, šanou:

— A-voi-voi, veikkon, kuin šie olet kaunis!

— En še mie ole kaunis, väin čikko miula on kahta-kolmie kaunehempi koissa.



Čuarin poika šanou:

— Millä keinoin šie miula šen naisekše šaisit?

Poika tulou kotih, šanou:

— Šilma, čikko, čuarin poika kučču naisekšeh.

Čikko šanou:

— En mie lähe čuarin pojalla naisekše, ennen kuin tuaton ta muamon jauhinkiven jauhomalla kulutan.

Toisena päivänä tuaš poika lähti meččäh. Tuaš tulou čuarin poika vaštah ta kyšyy:

— Lupasiko čikkoš lähtie miula naisekše?

Poika vaštai:

— Ei luvan lähtie, ennen kuin tuaton ta muamon jauhinkiven jauhomalla kuluttau.

Čuarin poika vielä työntäy tervehyisie ta pyytäy kyšymäh naisekšeh.

Poika mänöy kotih, šanou čikollah:

— Čuarin poika pyysi šilma naisekšeh.

Tyttö šanou:

— En lähe ennen kuin tuaton šuaman huumaren šurvomalla kulutan, tuattoši šuamat kynnykšet koššon helmoilla kulutan.

Kolmantena päivänä läksi poika meččäh. Tuaš tuli čuarin poika ta šanou:

— Lupasiko čikkoš lähtie naisekše?

— Ei luvan lähtie, ennen kuin tuaton šuaman huumaren šurvomalla kuluttau ta tuaton šuaman kynnykšen koššon helmoilla kuluttau.

Čuarin poika juohattau:

— Nyt kun mänet kotihis, niin pilkkele jauhinkivi, huhmar ta kynnyš, ta ašettele tiloilleh.

Poika kun tuli kotihis, pilkkeli jauhinkiven, huumaren ta kynnyksen, ta ašetteli tiloilleh.

Tytär šolahti karšinah ta rupei jauhomah. Šiitä häneltä kivi levisi. Tuli pois, mäni sarajah šurvomah: ta huhmar levisi. Tuli pois šieltä ta kun kynnykseštä harppai piäliči — tai kynnyš hajosi.

Poika kyšyy:

— Joko nyt lähet čuarih min'n'akše?

Tytär šanou:

— Totta šitä nyt pitäy lähtie.

Šiitä suorittih ta lähettih šoutamah. Šouvetah šiitä tuon pitkyä, tämän lyhyttä. Šouvetah rantah. Tulou Šyöjätär ta šanou:

— Ota, veikko, veneheš.

Tyttö šanou:

— Elä ota, veikko, veneheš, še on Šyöjätär. Paha pahašta tulou, paha pahan šiemenestä.

Tuaš šouvetah ielläh. Šyöjätär tuaš pyrkiy:

— Ota, veikko, veneheš.

— Ela ota, veikko, venehes, paha pahasta talou, paha pahan siemenestä.

Souvetah niin lähiče rantua, jotta Šyöjätär hyppäi veneheh. Ta miin istuutu tyttären tilalla šoutamah keski veneheh. Tyttäreilta otti kuulon polkeš. Poika šanou čikollah:

— Kohentele, čikko, istuimieš, parentele vuatteitaš, čuarin koti näkyy, linnan šeinä kuumottau.

Tyttö šanou:

— Mitä šanou Vienon veikko?

Šyöjättäri šanou šoutamašta:

— Šitä šanou Vienon veikko: puhkua šilmäš, katkua käteš, hyp-pyä mereh, muutu muššakše šoršakše.

Souvetah tuuš kotvasen matkua. Poika šanou:

— Kohentele, čikko, istuimieš, parentele vuatteitaš, čuarin koti näkyy, linnan šeinä kuumottau.

Tyttö šanou:

— Mitä šanou Vienon veikko?

Šyöjättäri šanou:

— Šitä šanou Vienon veikko: puhkua šilmäš, katkua käteš, hyp-pyä mereh, muutu muššakše šoršakše.

Tyttö otti puhkai šilmäš, katkai kätäh, šylki piällä, hyppäi me-reh ta muuttu muššakše šoršakše.

Šyöjättäri ta poika souvettih čuarin rantah. Čuarista, tiiijä šie, tullah morsianta vaštah. Čuarin pojalla häpie, kun niin kaun-hekše kehu, ta nyt šemmosen toi. Ottau hiän kui'enki moršiemien vaštah. Pojan káški viijä yhekšän upehen šekah, jotta ne šen šiešä hävittäy, kun valehteli.

Tuli ilta, ta rahvaš rupei muate. Šorša, mi jäi mereh, tull leskiakkaseh. Šorša oli nyt muuttun tyttärekshe ta ompeli paljan. Tyttö kučuu:

— Piili, piili, Piikkaseni,

piili, piiku kolraseni!

Šuata tämä čuarin pojan pelukših,

linnakunnan kuulomatta,

ovien avuamatta,

šakaran n'urahtamatta.

Šorsa mäni jälelläh mereh.

Čuarin poika kun nousou huomenekšella ta panou kätäh pian alla, kyšyy Šyöjättäriiltä:

— Ken tämän teki?

Šyöjättäri vaštuau:

— Iče mie makuan, vain kiät miula valvou.

Čuarin poika sanou:

— Mänkyä ta käykyä hakemašša pojan ruumis pois, jo ne upe-het tappo.

Männäh. Poika on jo toisen verran kaunistun, ei nin kuin on-nen. Čuarin poika kášköy nyt viijä pojan karhujen šekah, jotta

karhut šen kuit'enki syöpi. Toisena iltana kun ruvettiin maista, niin samah leskiakkah tulou šorša. Siitä še ompelou käsipaikan. Kučuu koirah:

— Piili, piili, Piikkaseni,  
piili, pikku koiraseni!  
Šuata tämä čuarin pojan pielukših,  
Ilanakunnan kuulomatta,  
ovien avuamatta,  
šakaran n'urahtamatta.

Koira vei käsipaikan čuarin pojan pielukših.

Huomenekšella kun čuarin poika noušou, panou kätöh piilä alla, löytäy käsipaikan. Tuas šanou:

— Ka mistä miula tämä on tullun?

Šyöjättär-akka šanou:

— Iče mie makuan, ka kiät miula valvou.

Čuarin poika šanou:

— Mänkyä ottakkua pois šen pojan luunmurut kontien ieltä, jo še on nyt kuit'enki piekšetty paloikse.

Poika ei kun on vain kaunistua. Čuarin poika šanou nyt:

— Viokya še valehuksešta hukkien etöh, ne šen kuit'enki kyäy.

Čuarin poika ajattelou, jotta mi nyt on kumma, kun pielukšista spuutiutu kahtena yönä paita ta käsipaikka. Mänöy leskiakkasen ta kyäy:

— Etkö šie tiijä, mistä miula spuutiutuu pielukših paita ta käsipaikka?

Leskiakkani šanou:

— Tiijä še on šiun morsien. Še on mereššä šoršana ta ompelou. Jo on käynyn kahtena iltana. Šie tule mailla, mäne oven tus piiloh. Nyt kun tulou, niin siitä niät. Šyöjättäri on šiula naiseh.

Čuarin poika käšköy kasakkojen kävyä pojan pois hukkien luota ta viijä še šemmošoh huoneheh, jottel Šyöjättäri tiijä.

Käytih poika pois. Tuli ilta. Čuarin poika šanou naisellah:

— Rupi muate, mje lähen kaupunkilla kotvasekše kävelömäh.

Mänöy leskiakkasen, ta mänöy peittoh. Rahvas kun muate rubei, tuas tuli šorša leskiakkah. Šorša kun tuli, šilloin še poika hyppäi käsin šiihe naiseheš. Naini muutteliutu skokunakše, čiči-liušukše, piiruan pualikakše ta konša mikseki. Poika kaikki ne revittelöy. Lopulta šorša muuttu kaunehekše tyttäreke. Poika šanou:

— Lähe kotih.

Tyttö šanou:

— En lähe, Šyöjättäri šyöy miun.

Lähtöy tyttö kuit'enki čuarin pojan kera. Poika viey hänet šemmošoh huoneheh, mis ei olé Šyöjättäri käynyn. Šyöttäy, jottelou naiseh.

— Ottakka ta kaivakka kylyn kynnyksen alla yheksän šyltä šyvä hauta, tulta ta tervašta täyten palamah.

Piijat kaivetäh hauta, levitetäh ruškiot haŕŕakat vajosilta kyllyn kynnyksellä šuate. Otetäh čuarin min'n'ua — Syöjättärie — käsipuolista kiini ta lähetäh kulettamah. Se kun nakrau räkrättäy, heiluttelou piätäh ta šanou:

— Näin šitä čuarin ainutta min'n'ua kylyh kuletetäh!

Piijat pučkattih Syöjättäri tuleh, tervan šekah, ovi umpeh. Yksi okšan loukkoni jäi kyllyn oveh typpimättä. Syöjättäri pisti reijašta nimettömän šormeh ta huusi:

— Tuošta tulkua tuonen toukkaset, man matoset, ilman ikuset itikkäiset čuarin poikua šyömäh!

Šiihe kun pissällettih kekälehellä, nin šillä šiakšet šavuo i varajan.

Šiitä čuarin poika piti hiät oikien moršiemeh kera, pojan nošti iččeh rinnalla elämäh. Šiitä hyö eletäh.

Sen pivuš i šarina.

### 19. «ПИИЛИ, ПИИЛИ, МОЯ ПЯТНАШКА...»

Были раньше старик да старуха. У старика и старухи [есть] дочь и сын. Старик и старуха, умирая, говорят:

— Живите, дети, хорошо, когда мы умрем.

Старик и старуха умерли. Живут да поживают [брат и сестра]. Брат отправляется в лес на охоту. Встречается ему царев сын, говорит:

— А-вой-вой, братец, до чего же ты красив!

— Не я красив, а вот сестра у меня дома в два-три раза красивее.

Царев сын говорит:

— Не можешь ли сделать так, чтобы она за меня замуж вышла?

Брат приходит домой, говорит:

— Тебя, сестра, царев сын звал замуж.

Сестра говорит:

— Не выйду я за царевича, пока при помоле не изотру ручной жернов отца да матери.

На другой день опять брат пошел в лес. Опять идет ему навстречу царев сын и спрашивает:

— Обещала ли твоя сестра выйти за меня?

Брат ответил:

— Не обещала выйти, пока при помоле не изотрет жернов отца да матери.

Царев сын снова посылает привет и просит уговорить сестру выйти за него.

Брат идет домой, говорит сестре:

— Царев сын просил тебя выйти за него замуж.

Девушка говорит:

— Не выйду, пока не дотолку ступку, отцом сделанную, и не изотру подолом сарафана порог, отцом сделанный.

На третий день пошел брат в лес. Опять встретился царев сын и говорит:

— Обещала ли сестра выйти за меня?

— Не обещала, пока не дотолкет ступку, отцом сделанную, и не изотрет подолом сарафана порог, отцом сделанный.

Царев сын дает совет:

— Теперь как пойдешь домой, изруби на куски жернов, ступку и порог, а куски сложи как были.

Брат как пришел домой, изрубил жернов, ступку и порог, а куски сложил как были.

Сестра спустилась в подполье и стала молоть. Тут у нее жернов рассыпался. Вернулась оттуда, пошла на сарай толочь — ступка рассыпалась. Вернулась оттуда да переступила порог — и порог рассыпался.

Брат спрашивает:

— Пойдешь ли уже к царю в невестки?

Сестра говорит:

— Верно, теперь уж надо идти.

Потом собрались и отправились на лодке. Гребут долго ли, коротко ли. Подплывают к берегу. Подходит Сюоятар и говорит:

— Возьми, братец, в лодку.

Девушка говорит:

— Не бери братец, в лодку, это Сюоятар. Зло из зла выходит, зло из семени зла.

Опять едут дальше. Сюоятар опять просится:

— Возьми, братец, в лодку.

Девушка говорит:

— Не бери, братец, в лодку: зло из зла выходит, зло из семени зла.

Едут так близко от берега, что Сюоятар прыгнула в лодку. Да так и села посредине лодки на место девушки грести. У девушки слух отняла. Брат говорит сестре:

— Поправь, сестра, сиденье, расправь свое платье, царев дом виднеется, городская стена светится.

Девушка говорит:

— Что говорит милый братец?

Сюояттари говорит:

— Вот что говорит милый братец: выколи себе глаза, сломай руки, прыгни в море, обернись черной уткой.

Едут опять некоторое время. Брат говорит:

— Поправь, сестра, сиденье, расправь свое платье, царев дом виднеется, городская стена светится.

Девушка говорит:

— Что говорит милый братец?

Сюояттари говорит:

— Вот что говорит милый братец: выколи себе глаза, сломай руки, прыгни в море, обернись черной уткой.

Девушка выколола себе глаза, сломала руки, плюнула, прыгнула в море и обернулась черной уткой.

Сюояттари и парень приплыли к цареву берегу. От царя знаешь ли, приходят невесту встречать. Цареву сыну стыдно: хвастался, что красивая, а теперь такую привезли. Принял он всё же невесту. Парня приказал запереть с девятью жеребцами, чтобы его там погубить, за то что обманул.

Настал вечер, и люди легли спать. Утка, что в море осталась, приплыла к старой вдове. Тут утка превратилась в девушку и сшила рубашку. Девушка зовет:

— Пийли, пийли, моя Пятнашка,  
пийли, маленькая моя собачка!  
Отнеси это в изголовье царя сына,  
чтоб в замке челядь не слышала,  
чтоб двери не открывались,  
чтоб петли не скрипнули.

Утка ушла обратно в море.

Царев сын утром просыпается да как сунет руку под подушку, тут же у Сюояттари и спрашивает:

— Кто это сшил?

Сюояттари отвечает:

— Сама я сплю, а руки у меня бодрствуют!

Царев сын говорит:

— Сходите принесите тело парня, его уже жеребцы растоптали.

Идут. Парень стал вдвое красивее, не то что прежде. Царев сын велит запереть парня с медведями; уж медведи-то его съедят.

На другой вечер, когда легли спать, к той же самой вдове приходит утка. Тут она вышила полотенце. Зовет собачку:

— Пийли, пийли, моя Пятнашка,  
пийли, маленькая моя собачка!  
Отнеси это в изголовье царя сына,  
чтоб в замке челядь не слышала,  
чтоб двери не открывались,  
чтоб петли не скрипнули.

Собачка отнесла полотенце в изголовье царя сына. Утром, когда царевич проснулся, то сунул руку под подушку и нашёл полотенце. Опять говорит:

— Откуда же это у меня?

Сюояттари говорит:

— Сама я сплю, а руки у меня бодрствуют.

Царев сын говорит:

— Сходите возьмите косточки этого парня у медведей, теперь-то от него одни клочья остались.

А парень еще краше стал. Царев сын говорит теперь:

— Уведите его за обман к волкам — уж те-то его съедят.

Царев сын думает: что за чудо, почему в изголовье появилась рубашка и полотенце? Идет к старой вдове и спрашивает:

— Не видишь ли ты, откуда появились у меня в изголовье рубашка и полотенце?

Старая вдова говорит:

— Твоя невеста здесь. Она живет в море уткой и шьет. Уже два вечера приходила. Ты приходи к нам, спрячься за дверью. Теперь как она придет, то увидишь. А женой у тебя Сюояттари.

Царев сын велит работникам сходить и взять парня от волков и поместить его в лаковой комнате, чтобы Сюояттари не знала.

Сходили за парнем. Наступил вечер. Царев сын говорит жене:

— Ложись спать, я пойду немного поброжу по городу.

Идет к старой вдове, прячется. Когда люди спать улеглись, опять утка пришла к старой вдове. Когда утка пришла, парень [царев сын] бросился к своей жене [невесте]. Жена [невеста] превращалась в лягушку, ящерицу, скалку, когда во что. Парень [царев сын] все это разрывает надвое. Наконец, утка превращается в красивую девушку. Парень [царев сын] говорит:

— Пойдем домой.

Девушка говорит:

— Не пойду, Сюояттари съест меня.

Все же идет девушка с царевым сыном. Парень ведет ее в такую комнату, где Сюояттари не бывала. Кормит, поит свою жену [невесту].

— Выройте под порогом бани яму в девять сажней, наполните ее смоллистыми корягами и подожгите.

Работницы вырыли яму, расстелили красные сукна от крыльца до порога бани. Берут цареву невестку — Сюояттари — под руки и ведут. Та громко смеется, вертит головой и говорит:

— Вот как единственную цареву невестку в баню ведут!

Работницы толкнули Сюояттари в огонь и смолу, дверь захлопнули. Одна дырка от сучка в дверях осталась не заткнутой. Сюояттари сунула в дырку свой безымянный палец и крикнула:

— Пусть отсюда выйдут черви тлена, гады земли, извечный гнус воздуха кусать царева сына!

В эту дырку сунули головешку, так поэтому комары дыма и боятся.

Потом царев сын справил свадьбу с настоящей невестой, парня [шурин] взял к себе жить. Так они и живут.

Такой длины и сказка.

## 20. SINIPETRA

Oli ennen ukko ta akka. Ukolla ta akalla oli poika. Siitä poika šanou muamollah ta tuatollah, että hän lähtöy naimah. Siitä hän ottau naisen. Eletäh naisen kera niin kauvan, että šyntyy tyttö.

Siitä häntä käsetäh puapuo käymäh: ken tulou vastah, ei ottua siitä.

Astuu tuon pitkyä tämän lyhyttä, tulou hänellä Šyöjättäri vastah, šanou:

— Tiijän, tiijän, kunne mänet!

Še šanou:

— Tanne mänen.

Šyöjättäri vastuau: ota häntä puapokše.

— Stukoi-stakoi, en ota šilma puapokšel!

Mies ielläh astuu, tuas Šyöjättäri poikki polvelta hyppyäy, tulou vastah, šanou:

— Tiijän, tiijän, kunne mänet, ota milma puapokše.

Šiitä häntä mies ottau puapokše. Šiitä hiän tulou puapon kera kotih. Šiitä ottau še lapšen, puapuiččou. Šiitä mänöy ottau rošenčan, työntäy mereh petrakše vierömäh. Iče rupieu rošenčakše. Šiitä lapši itköy, ei šyö vierašta nännie, ei lašta millänä viihytä.

Yksi leškiakka-paimen meččie kulkou. Lapšen äiti noušou mereštä, kyšyy paimenelta:

— Itköykö miun lapšeni, piikuuko miun pieneni, onko herrani murehešša?

Šiitä šanou paimenella:

— Tuo huomena miula lapši, imetän šen.

Hiän mänöy, paimen, illalla kotih, šanou isällä:

— Anna lapši huomena meččäh, šiitä, — šanou, — koivun lehet kolajau, huavan lehet holajau, petrakarja mereššä vieröy, šitä lapši kaččou.

Šyöjätär šanou:

— Mitä lapši meččäh, ei lapši meččäššä viihyl!

Kuit'enki antau lapšen. Paimen viey šamoilla tulilla, kuin eklein oli. Šanou paimen:

— Unikkisen-punikkisen,  
tule lašta šyöttämäh,  
ihaluas imettämäh:  
ei šyö Šyöjättäriitä,  
eikä juo juojattarelta,  
eikä tuohitötteröistä,  
eikä petkelen nenistä.

Hiän, lapšen äiti, noušou mereštä ta šyöttäy lašta, päivän on lapšen kera. Illalla paimen ottau lapšen kotih. Kyšyy Šyöjättäri:

— Milläpä lapši viihty, milläpä lapši on näin kylläni?

Paimen šiitä vastuau:

— Koivun lehet kolajau, huavan lehet holajau, petrakarja mereššä vieröy, šitäpä lapši kaččou ta viihty.

Muamo šanou:

— Tuo lapši huomena, imetän šen, enämpi en.niäkkänä. Lähen šuurien šelkien tua.



Huomeneksella lähtöy paimen meččäh, ottau lapsen, viedy ša-  
moilla tulilla, kun ekleinki. Tuas šano:

Unikkisen-punikkisen,  
tule lašta šyöttämäh,  
ihaluas imettämäh:  
eikä šyö Šyöjättäriiltä,  
eikä juo juojattarilta,  
eikä tuohitötteröistä,  
eikä petkelen nenistä.

Niin hiän noušou mereštä, luinen [?] tal'la korvissa, ta šyöt-  
täy lašta, imettäy. Lapši viihtyy. Šanou äiti:

— Tuo vielä huomena lapši, enämpi en häntä niä, lähen suur-  
ten merten tua.

Paimen tuou illalla lapsen kotih, häneltä tuatto kysyy:

— Millä lapši viihtyy, kun yön hyvin makuau?

— Sillä viihtyy, kun oma äiti mečässä šyöttäy — šiula on Šyö-  
jättäri naisena, — šanou paimen. — Otan huomena lapsen matkah,  
ta lähe šie mukah. Šie mäne peittoh.

Šyöjätär kyšyy mieheltä:

— Millä lapši viihtyy mečässä?

Hänellä västuau:

— Koivun lehet kolajau, huavan lehet holajau, petraparvi me-  
reššä vieröy, šitä lapši kaččou.

Paimen šanou vielä, että «kun huomena mänemmä meččäh,  
hiän rupieu piätäh šukimah, a mie panen tal'lan tuleh».

Šiitä naini šanou:

— Mikäpä käryllä haisu? Tal'ani palau!

Paimen šanou:

— Ei pala tal'laš.

Ta miehellä paimen šanou:

— Hyppyä šie naisen šelkäh, šilloin kun mie tal'lan luon tuleh.

Mies hyppäi ta šano:

— Nyt lähetaš kotih.

Naini šano:

— En lähe Šyöjättären šyötäväkse enkä juojattaren juotavakse.

Paimen viedy naisen ta lapsen kotihih. Šiitä mänöy mieš koči-  
hinše, lämmittäy kylp ta kaivau viittä šyltä šyvän hauvan, viedy  
ruškiella hal'vakalla Šyöjättären kylh. Kun avuau oven, nin Šyö-  
jättäri jutkahtau hautah, jošša on tervua ta tulta. Noštou hiän,  
Šyöjättäri, šormen ta šanou:

— Tuošta tulkah muan toukkaset, ilman itikkaiset!

Mieš ottau paimenelta oman naiseh ta ruvetah elämäh kuin  
enneinki eletti. Hyövytti hyrčäkse, puavutti parčäkse, vielä  
eletäh tänä päivänä ta eletäh huomenaki. Ta šiihi šie loppu.

Были раньше старик и старуха. У старика и старухи был сын. Потом сын говорит матери и отцу, что он пойдет жениться. Потом он берет жену, живут с женой так долго, что родилась у них дочка. Потом ему велят идти искать повивальную бабку, но кто встретится, ту не брать.

Идет долго ли, коротко ли, встречается ему Сюояттари, говорит:

— Знаю, знаю, куда идешь!

Он говорит:

— Иду своей дорогой.

Сюояттари просит, чтобы взял ее бабкой.

— Такая-сякая, не возьму тебя бабкой!

Мужчина идет дальше, опять Сюояттари из-за поворота выскакивает, идет ему навстречу, говорит:

— Знаю, знаю, куда идешь. Возьми меня бабкой.

Потом он ее берет бабкой. Приходит он с бабкой домой. Потом [Сюояттари] берет этого ребенка и бабит \*. Потом идет берет роженицу, превращает в важенку и толкает в море. Сама становится на место роженицы. Ребенок плачет, не берет чужую грудь, не могут ребенка ничем успокоить.

Одна вдова-пастушка по лесам ходит. Мать ребенка встает из моря, спрашивает у пастушки:

— Плачет ли мой ребенок, стонет ли мой маленький, печален ли мой господин?

Потом говорит пастушке:

— Принеси мне завтра ребенка, я накормлю его.

Она, пастушка, идет домой вечером, говорит отцу [ребенка]:

— Отдай ребенка завтра в лес, там, — говорит, — листья березы шумят, листья осины дрожат, стадо оленей в море купается, ребенок на это посмотрит.

Сюояттар говорит:

— Зачем ребенка в лес, ребенок в лесу не будет спокоен.

Все-таки отдает ребенка. Пастушка несет его на то же место, где вчера жгла костер [и встретила мать ребенка]. Говорит пастушка:

— Важенка-краснуха,  
иди дитя кормить,  
свою крошку поить:  
не ест у Сюояттари,  
не пьет у Сюояттари  
ни из берестяного рожка,  
ни с кончика песта.

Она, мать ребенка, встает из моря и кормит ребенка, проводит с ним день. Вечером пастушка уносит ребенка домой. Спрашивает Сюояттари:

— Чем ребенок тешился, почему ребенок такой сытый?

Пастушка отвечает:

— Листья березы шумят, листья осины дрожат, стадо оленей в море купается, ребенок на это смотрел и тешился.

Мать говорит:

— Принеси ребенка завтра, я его накормлю, больше и не увижу. Уйду за большие моря.

Утром идет пастушка в лес, берет ребенка, несет на то же место, где были вчера. Опять говорит:

— Ваюякка-краснука,  
иди дитя кормить,  
свою крошку поить:  
не ест у Сюояттjари,  
не пьет у юояттjари  
ни из берестяного рожка,  
ни с кончика песта.

Так она встает из моря, костяная[?] шкура накинута на голову, кормит ребенка грудью. Ребенок не плачет. Говорит мать:

— Принеси еще завтра ребенка, больше его не увижу, уйду за большие моря.

Пастушка приносит вечером ребенка домой, отец у нее спрашивает, чем она ребенка тешит, коли он так хорошо ночью спит.

— Тем ребенок тешится, что родная мать в лесу кормит. У тебя Сюояттjари вместо жены, — говорит пастушка. — Я возьму завтра ребенка, и ты иди со мной. Ты спрячься.

Сюояттjари спрашивает у мужа:

— Чем дитя в лесу тешится?

Ей отвечает:

— Листья березы шумят, листья осины дрожат, стадо оленей в море купается, на это ребенок смотрит.

Пастушка говорит еще, что «завтра, когда придем в лес, она будет чесать голову, и снимет с себя шкуру».

Потом жена говорит:

— Почему гарью пахнет? Моя шкура горит!

Пастушка говорит:

— Не горит твоя шкура.

И мужу пастушка говорит:

— Ты бросайся на жену, когда я брошу шкуру в огонь.

Муж набросился [на жену] и сказал:

— Теперь пойдем домой.

Жена говорит:

— Не пойду, чтоб меня съела Сюояттjари, чтоб выпила юояттjари.

Пастушка отводит жену и ребенка к себе домой. Потом идет муж домой, затапливает баню и выкапывает яму в пять сажений, по красному сукну ведет Сюояттjари в баню. Как только открыл

дверь, тут Сюояттари и бухнулась в яму, где были смола и огонь. Поднимает она, Сюояттари, палец и говорит:

— Пусть отсюда выйдут черви земли, гнус воздуха!

Муж берет у пастушки свою жену, и начинают они жить, как и прежде жили. Нажили добра, живут еще и сегодня да и завтра будут жить. Да тут и конец.

Oli ennen ukko da akka. Heilä ei ollun lašta, elettih-oldih, ga akka šanou ukolla:

— Loaji siä, ukko, miula puušta lapsi, što b<sup>o</sup> van olis miula lapsi.

Ukko mänöy pihalla, loadiu hänellä hoabopuušta, hallošta, lapsen, ku moasteri oligi. Akalla toi lapsen pertti, akka, pani kät-kyöh, algau sidä liekuttoo. Liekutti, lapsi rubei itkömäh. D'o lapsi rubei kažvamah, starinalapsi vet boikko kažvau. Lapsi kažvo d'o suureksi, šanou:

— Miula, toatto, pidäy naija.

Šanou [toatto]:

— Pidäy naija, ga nai siä.

Lähetäh andilašta eččimäh, mändih sih kyläh. Ku talon eläjät oldih, ga buitto talon eläjillä ei annettoo andilašta, kestä kozit-  
tih, siidä annettih andilaš. Svoad'bo piättih, kodih mändih, moata hiät i pandih. Huomuksella mändih noššattamah, ga d'o ženihä on yksinäh, andilašta d'o ei oo.

Heilä rodih paha mielestä, što vasta nai, a d'o naista eule, i heilä paha mielestä rodih, što ei meilä ole i puutin poiga. Toaš se šanou ženihä:

— Miula pidäy naija.

Vanhemmat šanotah:

— Kemoo siula rubiau tulomah, ku vašta nait, a d'o akkoo eule?

A poiga toatolla da moamolla ei šano, kunna hiän panou akat. Ku oma poiga on, ga ni midä auta, toaš i lähetäh andilašta eččimäh, toaš kyläh tuldih, d'o siidä kylästä akkoo ei annettoo, män-  
näh toizeh, toizesta ei annettoo, d'o mändih kolmandeh kyläh. Siellä toaš heilä andilaš annetah, svoad'bo pietäh, i toaš kodih tullah, gost'ooba gostitah, toaš heidä moata i pannah. Ku toaš huomuksella mändih, ga yhet toaš luuhuot, ei oo ni akan viestiä. Toaš šanou:

— Miula naija pidäy.

Vanhemmat roadi d'o naitettaš, ku hänellä akat pyzyttäis, ga ku hänellä eigo pyzyttee akat, eigo ni mit. Toaš prislos', lähetäh akkoo eččimäh. Mändih kyläh, mändih toizeh, mändih kolmandeh,

ga ni mistä ni midä, kai šanotäh: «Emma myö lähe hänellä syö-däväksi». Erähäh kyläh mändih, ga on kolme sizarda talošša, yksi šanou:

— Miä mänen, ku midä miä käššen loadia, jesli ne luadimizet loajittaneh, ni miä ka mänen.

Hiän šanou boat'uška-ukolla:

— Miä tulen, ku mänet kaynet ennen seppäh.

Käsköy loajittoo sepäššä yheksän purašta, yheksän keihästä, yheksän teräväpeedä lomoo da kolmet kivenlaššendapihet. Boat'uška kuundeli, ne loajitti, i tuli miehellä. Lähetthi kodih, i mändih kai svoad'bovägi ženihän kodih. Toaš gostitah, syyväh, d'uuvah, moata heidä pannah. Boat'uškalla šanou:

— Mit miä käššin loajittoo, ne varušša veräjän tagah.

Halguo päččih hiän panou sihi komnattah, mihi vierräh moatah. Moattih, ga ženihä andilahalla šanou:

— Mäne, — šanou, — kuču.

Hoš kedä kuču, ku käsköy kuččuo ni. Andiläš ku mäni kuččumah, ga hiän i kaiken ne brujat, kuin pidi, niin ni aźetti; terävät puolet pani kaikilda yläh päin. Tuli hiän da moata i vieri. Ženihä i šanou:

— Mindäh viikko ei tuldoo, igoi siä kirruit?

Andiläš šanou:

— Kirruin miä, ga en tiljä, mindäh hyö ei viikon tuldoo.

— Ka mäne siä kirru uuvestäh, — šanou ženihä.

Hiän mänöy, männeššä tulen päččih čokkozu, eigo kirru eigo midä, tullesšä tuou pihet perttih. Toaš muotah mänöy. Moattih kodvani, mieš i šanou:

— Midäbo viikko ei tuldoo, vuota siä, miä lähen kirrun.

Hiän ku sin mäni dai kirgu, sielä tuldih nečistoit diemanat, tuldih ku loajittih lomineh sinččoh: erähät d'aräheldih purahih, keihähih da lomuh, a erähät kiännyttih tagazin, a naini vuottau sidä ukkuodah ovihavošša pihet keeššä. Mieš ku oven avai, hiän pihtimillä liččooldi, sen ku liččai, se halgoksi i muuttui. Hiän otti da päččih i čokkai i šano:

— Ku ollet ristikanža, ni tule, ku et olle, ni elä tule.

Päčči lämbii kodvažen, ga sielä vieri halgoni. Hiän ottau toizet pihtimet, sen halgožen toaš pihtimillä liččou, kolištelou, kolištelou, toaš päččih i tresniy i šanou:

— Ku ollet ristikanža, ni tule, ku et olle, ni elä tule.

Kodvažen olduoh päčistä halgoni toaš i vieröy eušalla. Hiän tavottau kolmannet pihtimet kädeh, halguo kolištelou i päččih toaš i tresniy i šanou:

— Ku ollet ristikanža, ni tule, ku et olle, ni elä tule.

Kodvažen olduoh päčistä tulou mužikka, ku d'o hiän on kuniš, ni ei šoa ni šanomalla šanuol Hyö otettih da moatah i mändih da vai čuhkutetah moatah. Huomukšella toatto da moamo noštih i duumajah da keškenäh paiššah:

— Toas inehmizen äglästä, ei piä männä noššatamah.  
Toatto van moamo ollou männyn heidä noššatamah, kaččou, ga kahen moatah. Ku rodii hyvällä mielin, ni ei tiijä midä i roadoo.  
Tuli d'ärelläh perttih, šanou:

— Tänä peenä kahen moatah!

D'uostih kahen keššen noššatamah. Noššettih, ga ku muzikka on enništä kaunehemi, in'ehmine tože hyvä. Syödih, d'uodih, alletah eleä kodielošta.

El'ettih, el'ettih, ga rubettih d'o lähtömäh andilahan moalla gostih (heilä vet oli talo ylen bohatta, el'ettih ylen hyvin da bohataldi). Mändih kodimoalla, toizet čikot pietäh pahoo mielä, što hyö ei mäny moižeh taloh miehellä. Aku muzikka se on kaunis! Gostittih kodvani, a silloin oli kezaaika, čikko rubei pyrittämäh miehellä mänyttä čikkuo d'arviä kyl'vömäh, ukoldah kyzyy:

— Hoi väy, työnnä siä čikkuo d'arviä kyl'vömäh.

Väy šanou:

— Ei vet ole ägiä, kunna työ lähettä?

Ei ni työndänyn. Toičči kyzyy:

— Ka hoi väy, työnnä sie čikkuo, myö lähemmä kyl'vemmä dai terväzeh tulemma d'ärelläh.

Vielä väymiež ei työnnä. Lopulla broogu, broogu, dai šai čikokoh tovariššaksi. Mändih d'arven randah, d'akšatahežeh, rubetah kyl'vömäh. Hiän, se kodilane čikko, ottau kiven kaglah sidou, da čikon vedeh, a iče hänen šobat peällä panou da tulou kodih.  
A väy hänellä kyzyy:

— Kunnebo čikkoš d'äi?

— Miähän olen, — šanou hiän.

Väymiež rubei duumaiččomah: «Kui hiän on miun akka, neušto miä en tunne omoo akkoo. A hänen šobat on peällä». No toišta taloh ei deävinnyhyže. Gošt'oobišta loppiati, hyö lähettih kodih. Kodih tuldih, ga toatto da moamo kačotah, ga ei oo tämä endine n'eves'kä. No oli mi kaččou. Rubettih elošta ielläh elämäh, a muzikka ainos duumaiččou, što «eu miula tämä oma akka».

Se ku veissä kigli, dai nuorani kaglašta i šolahti, hiän nuorašta peäzi, oallollah hänen lykkäi rannalla. Tuli randah, kaččou; on ei suurikkaini kodi. Tuli koin luoh, kaččou, ga ku pordahien eissä on šoboo, a šobat ne kai on vereššä, pordahat on vereššä. Hiän otti da šobažet pezi, pordahat pezi, sinčot dai pertit pezi, šobat pani päčillä kuivah, a iče mäni šobien toaksi ištumah. Kuulou, ga izännät tullah, a hyö käydih zmijan kera vojuimah, no ni kün ei voidas sidä zmijaa voittoo. Muzikat tuldih koin pihalla, kuulou, ga paiššah:

— A-voi-voi, ku ken ollou tullun meihe godnoi ristikanza, ku on pordahat pessyn.

Tuldih sinčoh:

— A-voi-voi, dai on sinčon pessyn!

Tuldih perttih:

— A-voi-voi, dai od partin pessyn!

Kacahettih päcillä ga:

— A-voi-voi, dai sobat pessyn dai on pantun päcillä kuivamah. Tol'ko on godnoi ristikanža meilä tullun!

Tuldih perttih, iššuttihizeh, rubettih kirgumah:

— Hoi hyvä ristikanža, ku ollet nuori, ni tule meilä čikoksi, ku ollet keskinkerdahine, ni tule meilä ūboilla akaksi, ku ollet vanha, ni tule meilä moamoksi.

Päcildä vaštoau:

— Engo tule akaksi, engo tule moamoksi, ku ottanetta čikoksi, ni tulen.

— Tule siä miksi taho, vai siä tule, — vaššattih izännät.

Hian läksi sielä päcildä, tuli syötti mužikat, d'uotti. Hänellä annettih erinosobennoi komnatta, piettih händä ylen hyvin.

Viesti läksi moada myö, što sin d'eävietih kiukkani akka, ylen hyvä on naini, ei tiijettee, mistä tuli. Dai tiijušsettih siidä taloša, missä oli hian, se naini miehellä. Ukkoh duumaiččou: «Eigohan ole seže miun akka?».

Ottau da yhen kerran lähtöy meččäh, šaluo myö brodiu, tulou sen talon pihalla, mužikat ne pihalla aigau'uttih, terveys loajittih, kuda midägi besoduidih, tulija mieš sei kzyzyy:

— Midä elättä, midä oletta?

Hyö šanotah:

— Meilä eläessä nyt eu hädeš, ku d'umala meilä ando čikon.

— Midäbo roadau se čikko?

— Ei roa ni midä, syöttäy, d'uottau meidä, uberiu perttiloi; muuda semmojšta ni midä ei roa, — šanottih mužikat.

— Missäbä hian on?

— Ka hänellä myö andoma eri komnatan, sielä hian on, — sanotah mužikat.

— Eigo šoaš händä miula nähä?

Yksi i šanou:

— Ka miksi ei voi nähä? Voit, — šanou, — nähä, et siä ni midä hänellä roa.

— Ka midä še miä roan?

Yksi mäni kuččumah, šanou:

— Lakkä, čikko, ken ollou mužikka, kučču siuda nägiä.

Čikko vaštoau:

— Miä ku sin lähtenen, ni miä nämbi en oo tian.

Hian mäni, šanou:

— Čikko šano, što «ku miä teällä lähtenen, ni miä nämbi en oo tian».

Hyö šanotah, što «ku hian niin šano, ni myö emmä kuču».

— Ka tuogoo työ, ristikanžat, ku vet eulle miun, ga mie vet en ota, vierašta miula ei pie.

Kriikettih, toini läksi kuččumah toaš čikkoh, niin ni šano:

— Ku miä tullen sin, ni miä nämbi en oo tian.

Toaš tuli, niin ni šano, kui čikkoh šano. Hyö ei rubettu ni millä ožuttamah. Kriikettih, läksi kolmaš, mäni, šanou:

— Čikko, tule siä meien perttih käymäh, ku mužikka ken ollou, tahtou siuda nähä.

No neušto d'o ku kolmaš mäni kuččumah, ni siidä vielä ku ei läksiš. Lopulla sieldä läksi. Tuli perttih, missä oli ukkoh, kaččou, ga oma ukko istuu, hiän šanou:

— No ku miä täh tulin, ni miä nämbi en oo tiän.

Sen kera lähettih ukon kodih. Tuldih kodih, vanhemmat kaččotäh — ga nyt vašta on nastojaščoi poora. Se čikkoh otettih da siottih se hebožella händäh da heboista vičalla. Hebone händä potalla. Da ni lujettih:

Kuni siun luida,  
sini hagopulda,  
kuni šuolla mättähä,  
sini siun lihoja,  
kuni šuolla vettä,  
sini siun verdä.

## 21. [ПОДМЕНЕННАЯ ЖЕНА]

Были раньше старик да старуха. У них не было детей. Жили-были, старуха и говорит старику:

— Сделай ты мне, старик, из дерева ребенка, чтобы был у меня ребенок.

Старик идет во двор, сделал ей из осины, из полена, ребенка — мастер как был. Принес старухе ребенка в избу, старуха положила в колыбель, начала качать. Качала, качала — ребенок заплакал. Начал ребенок расти, в сказке ведь ребенок быстро растет. Ребенок стал взрослым, говорит:

— Мне, отец, надо пожениться.

Говорит [отец]:

— Надо, так женись.

Поехали искать невесту, приехали в одну деревню. Справно как жили они, так будто им не выдадут невесту — кого сосватали, ту и отдали. Сыграли свадьбу, приехали домой, уложили их спать. Утром пошли будить, а жених уже один, невесты и нет. Им [родителям] стало обидно, что только женился, а жены уже нет, и подумали они, что непутевый у них сын.

Опять говорит этот жених:

— Мне надо пожениться.

Родители говорят:

— Кто за тебя пойдет, коли ты только женился, а жены уже нет?

А сын отцу и матери не говорит, куда он жен девает. Свой сын — ничего не поделаешь, опять и едут искать невесту. Приехали опять в деревню — из этой деревни невесты не дали, приехали



в другую — тоже не дали, поехали в третью деревню. Там им выдали невесту, свадьбу сыграли, опять домой приехали, гостьба кончилась, опять их спать укладывают. Опять как утром пришли — так одни кости, от жены ни духу. Опять и говорит [сын]:

— Мне надо пожениться.

Родители рады бы женить, только бы у него жены не пропадали. Опять пришлось поехать искать жену. Приехали в деревню, приехали в другую, третью, но нигде ничего, все говорят: «Не пойдем мы к нему на съедение». Приехали в одну деревню, там три сестры в одном доме, одна говорит:

— Я пойду, если будет сделано то, что я веляю.

Говорит она свекру-батюшке:

— Я пойду, если сперва сходишь к кузнецу.

Велит сделать у кузнеца семь пешней, семь копий, семь остро-конечных ломов и трое больших щипцов.

Батюшка послушался, велел все сделать, и согласилась [девушка] выйти замуж. Поехали домой, и все свадебные гости пришли в дом жениха. Опять гостят, едят, пьют. Укладывают их спать. Батюшке говорит [невестка]:

— Что я велела сделать, приготовь все за дверью.

В той комнате, где они ложатся спать, она сложила дрова в печи. Легли, жених невесте говорит:

— Иди, — говорит, — позови.

Зови кого знаешь, раз велит звать-то. Невеста как пошла звать, так все эти вещи вверх остриями и установила. Вернулась она и спать легла. Жених и говорит:

— Почему долго не приходят, звала ли ты?

Невеста говорит:

— Звала я, да не знаю, почему они долго не приходят.

— Иди-ка позови снова, — говорит жених.

Она идет, походя сунула огонь в печь, никого не зовет, приносит щипцы в избу. Опять спать ложится. Поспали немного, муж и говорит:

— Что-то долго не идут. Погоди-ка, я пойду позову.

Он как пошел да позвал, оттуда пришли нечистые демоны, пришли и такой шум подняли в сених: одни натыкались на копы и ломы, а другие поворачивали обратно, а жена ждет мужа у дверей с щипцами в руках. Муж как открыл дверь, она его щипцами зажала; она как зажала, — он поленом и обернулся. Она взяла да в печь сунула и сказала:

— Если крещеный, то выходи, а если некрещеный, то не выходи.

Печь топилась сколько-то времени, оттуда полено и покатилося. Она берет другие щипцы, это полено опять в щипцы зажала, колотила, поколачивала, опять в печь бросила и говорит:

— Если крещеный, то выходи, если некрещеный, то не выходи.

Немного погода опять полено и покатилося на под. Она берет третьи щипцы, покладывает полено, в печь бросает и говорит:

— Если крещеный, то выходи, если некрещеный, то не выходи.

Немного погода из печи выходит мужчина, и какой же он красивый — даже словом не сказать! Они взяли да спать легли, и знай себе спят. Наутро отец и мать встали и говорят между собой:

— Опять жену сгубил, не надо идти будить.

Отец ли, мать ли пошла будить, смотрит — да ведь вдвоем спят. Так обрадовалась, что не знает, что и делать. Пришла обратно в избу, говорит:

— Сегодня вдвоем спят!

Побежали вдвоем будить. Разбудили — а муж краше прежнего, жена тоже хорошая. Поели, попили, занялись делами.

Пожили сколько-то и засобирались на родину жены в гости (а дом у них очень богатый, очень хорошо и богато жили). Приехали на родину жены, а другие сестры расстроились, что не пошли замуж в такой хороший дом. А муж какой красавец! Погостили немного, а было лето, сестра стала звать замужнюю сестру купаться на озеро, у ее мужа спрашивает:

— Зять, отпусти сестру купаться.

Зять говорит:

— Не жарко ведь, незачем вам ходить.

И не отпустил. Снова просит [сестра]:

— Послушай, зять, отпусти ты сестру, мы пойдем выкупаемся и быстро вернемся.

Зять все не отпускает. Наконец уговорила, пошли с сестрой. Пришли на берег озера, разделись, стали купаться. Она, эта незамужняя сестра, привязывает сестре камень на шею — и в воду, а сама одевает на себя ее одежду и приходит домой. А зять у нее спрашивает:

— Где твоя сестра осталась?

— Это же я, — говорит она.

Зять подумал: «Как же это моя жена, неужто я не знаю своей жены? А ее одежда на ней». Ну, другая сестра не появлялась в доме. Прошло время гостить, они поехали домой. Домой приехали, а отец да мать смотрят, что не прежняя это невестка. Ну, какая бы ни была. Начали снова жить, а муж все думает, что «не моя эта жена».

Та как в воде барахталась, веревка на шее и развязалась, она освободилась, волной ее бросило на берег. Вышла на берег, смотрит — стоит небольшой дом. Подошла к дому, смотрит — перед крыльцом много одежды, а одежда вся в крови, и ступеньки тоже в крови. Она взяла да одежду выстирала, крыльцо и избу вымыла, одежду на печи развесила сушиться, а сама спряталась за одеждой. Слышит — хозяева идут; а они со змеем ходили воевать,

но никак не могут победить того змея. Мужики пришли во двор, она слышит, как говорят:

— А-вой-вой, какой-то добрый человек пришел к нам и крыльцо вымыл.

Пришли в сени:

— А-вой-вой, и сенцы вымыл!

Пришли в избу:

— А-вой-вой, избу тоже вымыл!

Взглянули на печь:

— А-вой-вой, и одежду выстирал и развесил на печи. Ну и добрый же человек к нам пришел!

Зашли в избу, сели, начали звать:

— Хой, добрый человек, если ты молода, то будь нам сестрой, если среднего возраста — будь любому из нас женой, если старая, то будь нам матерью.

С печи отвечает:

— Не буду ни женой, ни матерью. Если возьмете сестрой, то выйду.

— Будь ты кем хочешь, только выходи, — ответили хозяйка.

Она с печи слезла, накормила мужиков, напоила. Ей дали особую комнату, очень хорошо к ней относились.

Разнеслась весть по земле, что появилась там вдруг незнакомая женщина, очень хорошая молодка, но не знают, откуда пришла. И узнали про это в том доме, где она была замужем. Муж думает: «Не моя ли хоть это жена?».

Отправляется однажды в лес, бродит по бору, зашел во двор того дома. Мужики те случились во дворе, поздоровались, поговорили о том о сем, пришедший и спрашивает:

— Как живете, как можете?

Они говорят:

— Что нам теперь не жить, когда бог нам сестру дал.

— Что она делает, эта сестра?

— Ничего не делает — кормит-поит нас, убирает в доме, больше ничего не делает, — сказали мужики.

— Где же она?

— Мы ей дали отдельную комнату, там она, — говорят мужики.

— Нельзя ли мне ее увидеть?

Один и говорит:

— Почему же нельзя? Можно, — говорит, — увидеть, ничего ведь ты ей не сделаешь.

— Что же я ей сделаю?

Один пошел звать, говорит:

— Пойдем, сестра, какой-то мужик хочет тебя видеть.

Сестра отвечает:

— Если я туда выйду, то я больше не ваша.

Он пошел, говорит:

— Сестра сказала, что «если я выйду, то я больше не ваша». Они говорят, что «раз она так сказала, то мы не позволим ее».

— Да приведите вы, добрые люди, — ведь если она не моя, то я ведь не возьму, чужую мне не надо.

Пошел другой опять звать сестру, она так же сказала:

— Если я выйду, то я уже не ваша.

Опять вернулся, так и передал, как сестра сказала. Пошел третий, сказал:

— Пойдем, сестра, в нашу избу, мужик какой-то хочет тебя видеть.

Ну как не пойдешь, коли третий уже пришел звать. Наконец пошла. Пришла в избу, где был ее муж, смотрит — муж сидит, она и говорит:

— Ну, раз я пришла сюда, то я больше не ваша.

Тут же отправились с мужем домой. Пришли домой, родители смотрят — теперь только настоящая пара. А ту сестру взяли да привязали к хвосту лошади, а лошадь ударили вицей\*. Лошадь ее залягала. И проговаривали:

Твои кости  
будут валежником,  
кочками на болоте  
будет твое мясо,  
водой на болоте  
будет твоя кровь.

## 22. KAPREHEN STARINA

Oli ennen ukko ta akka. Eletäh ollah, ka akka šuorittau ukon kalan pyytöh. Lähtöy, kalua pyytäy, šuau kalua hiän äijän šielä. Hänellä pitäy kotih lähtie tulomah. Tulou, tulou, šoutau keškijärvellä. Ei häneššä ijaššä ole ollut ni mitä puutošta, kun puuttu veneh, ni kunne päi ei tärähä paikoiltah. No mi täššä ilmani kumm' on? Panettelou airuo veteh — ei täytä pohjah, panettelou huoparije — ei täytä pohjah. Šielä veiššä pakajau, jotta «kun antanet, mi on koissa šyntyn, ni peäšöy veneh matkah».

— No anat še, — šanou, — antoa pitäy. Ollou heponi varšan šoat — anan, ollou lehmä vasikan šoat — anan. Naini miula ei ijaššäh lašta šoa, ka ollou lapšen šoat, tai šen anan.

Läksi veneh matkoamah, läksi ukko kotih tulomah. Tulou rantoih, ka akka mänöy vaštah.

— No mitä, ukkoseni, kalalla kuuluu?

— Ka kuuluu, akka, — šanou, — kalalla, kun veneh tarttu keškišelällä, kumpaseššä ei ole ijaššäh ollut ni mimmoišta puutošta, — šanou. — Mi meil on, onko meillä mitä koissa šyntyt? Sielä jär-

veissä pakajau, jotta «andanet, mi on koissa syntyet tällä aikoa, ni peäsöy veneh matkah».

— Ka neušeli sie, ukkoseni, lupasit, kun mie tyttären syn-  
nytin?

— Ka luvattu on, — šanou.

Akka kai itköy, ukko itköy, hyö ei rahittais šitä panna veteh, kun ainut tytär synty. No kašvatetah, jo še tyttö on toisella vuu-  
vella. Šanou še ukko, jotta «kun myö tämän lurasima ta emmä  
myö lupuşta täytä, ni meät iččemä rapiestau erähänä piänä». No šuali viija, ni šanou akka ukolla, jot «šiula kun kiät ylennöy,  
ni mäne vie tuonne niemeh, heitällä šinne moalla lapšeš».

Ukko ottau lapšen, vief šinne niemeh, heittäy šinne moalla  
lapšen. Še lapši šielä itköy, itköy, itköy. Kapris kuuntelou: no  
missähän itentä kuuluu, missähän itentä kuuluu? Mänöy itkuo  
kohti, ka kaččou, kun lapši on pikkaraini tänne heitetty, jotta  
jo itköy. Tai kuulou kapris — itköy še suutkamiarie šiel. Ottau  
šen-lapšen, ottau šen lapšen, vief šinne hänen — hänellä on šem-  
moni luajittu pahanpäiväni mökkini, pikkaraini taloni, ših vief  
lapšen ta... Alkau šillä kerätä lapšella maituo, linnalta kyšyy  
akoilta, čuarista käy kyšymäh. Hyö šanotah:

— No mika hänel nyt maito pitäy kaprehella?

Hian šitä lašta kašvattau, elättäy, kašvau jo še lapši. Jo on  
tyttö mimmoni. Šanou šillä kaprehella, jot «vain kuin miula on  
paha, — šanou, — kun miula ei ole teälä voatetta ni mitä, — šanou, —  
piällä panna ni...».

Kapris šanou:

— Elähän šie kiirehä. Mie, — šanou, — šuan voatetta, lähen, —  
šanou, — čuarista kyšymäh.

Mänöy, ka kyšyy voatetta ka:

— Antakkua työ miula hot' mimmosie ploatoja ta kompi-  
naškoja ta štaniloja ta hot' mitä, — šanou, — keräkköä.

Ka hyö šanotah:

— Miksi teilä pidäy, kun kaprehella, — šanotah, — voate pidäy,  
ka miksi šiula pitäy?

— Miula, — šanou, — tarviččou, antakkoa.

Hyö kerätäh hänellä voatetta nuytillini. Lähtöy, vief šinne,  
tytön šen suorittau hyväsešti, še tyttöni suorii, jo on ynnäh puo-  
lella varrella tyttö alkau olla. Šanou, jotta «mäne šie kyšy hot' mitä  
keštä ruatuo, — šanou, — buitto hot' mie opašteleutusin hot' mitä  
ruatamah». Mänöy kapris šielä kävelöy, kävelöy šielä, kyšyy ruatua.  
Šanotah:

— Kui šie roat ta mimmoista šielä ruatuo antua pitäy, tara-  
puušie? Eihän šiula ni mitä ruatua šua.

— No antakkua työ.

Annetah ruatuo, kun vief ruatuo, še tyttö nii hyvin roatau  
roavot, vief jalelläh. Šanotah:

— Ei ole tämä hänen ruavokset. Hänellä hot' ken on sielä ruataja.

Erähän kerran lähtöy tuas, ruatuo ottau ta kyfyy ruatuo ta sieltä annetah ruatuo, entiset viefy ta lähtöy. Cuarin poika sanou:

— Pitäy tästä lähtie provierimah, missä hän eläy ta ken hänellä sielä ruatau, ei tämä nyt ice näitä ruavoksie rua.

Ka hiän matkuau jälkeh peitokkali, hiän matkuau jälkeh peitokkali. Mänöy tietä myöten ta kacçou: hyppäi tropinkah, semmoni — ei ole siitä alušta i tietä tallattu — semmoni on kuin meçikkö, siitä hyppiäy, a siel on tropinkaini. Mänöy hiän jälkeh, mänöy kacçou — ka taloni on siellä helppon'i. Mänöy, kacçou. Pistäyty sinne, tai çuarin poika männä viuhahtau sinne. Tyttö se kaikki säikähtäy. Sanou, jotta «mitä sie, mistä sie nyt tuan kuletit?». Ka kapris sanou:

— Ka ice hiän i tuli.

Tai sanou, alkau pakautella, pakautella tyttyö, ka tyttö se pakajau, tyttö se pakajau. Kaprehella sanou:

— No mistä sie olet hänen tänne suanut, — sanou, — tämän tytön?

— Mie, — sanou, — tämän tytön sain jo, — sanou, — ammuin, ku pikkarasen lapsen tuolta niemeštä löysin, kun oli lykätty sinne itkömäh, ni mie hänen olen, — sanou, — kasvattan täyvellä varrella, tai hiän miun, — sanou, — vanhantau nyt, — sanou, — kun mie vahnanen.

Ka hiän sanou, jotta «mie, — sanou, — tullen täh tyttöh sulhasiksi», — sanou.

— E-elä, — sanou, — sitä pakaja, — sanou, — Ivan-carovic, — se tyttö sanou. — Ei, — sanou, — havumajassa kasvanehešta tytöstä ole çuarin pojan morsienta.

No ei muuta kun mänöy poika kotih. Sanou toatolla ta momolla, jotta «mie tuon morsiemien täh». Hyö kysytäh:

— Ka mistä sie tuot?

— A mie, — sanou, — mistä tuonen, ni sieltä vastah ottakkua.

— Ka kun sie, — sanotah, — toisit hot' kutaskuinki hänet ihmisenke [?].

— No tuon, — sanou.

Ottau luajittau masterskoissa parahista sulkkuloista vuattiet, pluat'at ompeluttau, tuuzlit oštou parahat, hyvät paikat ottau... Palltot hyvät luajittau kai, kun mänöy sinne, viefy, tyttö ei ni millä ruohi ruveta suorimah.

— Muuta ku, — sanou, — suorie!

Sen tytön kun suorittau, se kun on kun... kaunis, semmoni hyväni rotih, jotta...

No, viefy. Tai sanou, jotta «kuinpa mie, — sanou, — kaprehen rukan tuah heitän, — sanou, — kun hiän miun kasvatti? — sanou.

— Ka kapris, — sanou, — siun pitäy ottua, — sanou. — Mänöy çuarissa tuo kapris, — sanou. — Ota, ota kapris.

Tai kapris lähtöy sinne, männäh, ka cuarin hyvin vastah ni otetah häntä sitä morsiemien kera, ta morsienta ševätäh, tai kaprista otetah mielelläh, tai aletah siinä eleä. Se tyttö hyvin kaikemmoista kuuntelou ta ruatamah on poikkoi ta, jotta niin on mielehini heistä kaikista — sulhasesta, muamosta, tuattoloista, jotta... No heila keräytyy... hein'aika on. Piijat ollah heinän ruannassa, kasakat sitä samua, heilä kertyy vuatetta väkisuuri tukku pestäviä. Se naini sanou, jotta «mie, — sanou, — lähen pesen vuattiet nyt, — sanou, — rannalla». Še ei ni millä muamoh työntäis:

— Elä, elä lähe, elä lähe, elä lähe, elä lähe, elä lähe!

Ei muuta kun lähtöy. Mänöy, rannalla vuatetta pesöy, pesöy, pesöy, kiirehtäy niitä vuateita. Tulou Šyötärin akka.

— Terveh cuarin pojan morsiemel! Jumal'apu.

— Ka terveh, terveh!

— Läkki, velli, kylvemmä, näin kun olet sie hiessä, — sanou, — kaikki valuu vetenä, — sanou, — rosie myöten, kylvemmä järvie ruttoseh.

— En, velli, — sanou, — mie joutais, — sanou, — kylpemäh, — sanou, — järvie, miul on äijä pestävyä, — sanou.

— No läkki tai läkki!

Muanitteli, muanitteli, ka se arvelou tyttö, jotta kun ois lähtie ta kylpie, kun on tämmöini äkie hänessä tätä pessä vuatetta. Mänöy, jaksautuu rivahtau, männäh, kylpömäh kä... Hiän jälellä kualau, a häntä käsköy iellä kualamah. Hiän kualau iellä, ka hiän jälellä jätättäy ta jätättäy ta... Mualla hyppäi, sanou:

— Ottakkua nyt, — sanou, — nyt on luvattu järvessä tyttö! — sanou.

Ka se sinne i painallettih veteh.

No hiän kun suorieu sen vuateih, ne panou jalaccimet jalkah, ne vuattiet piäl. Alkau pessä lomsuttua. Ei ne männä sinne ni tänne päin enämpi ruavokset. Ka cuarin poika tulou jo sieltä kešen päiviä kačcomah morsienta. Ka tuli sih rinnalla, ka ei hänellä[?] ei ni kačaha eikä, pois mänöy ka... Šanou muamollah, jotta «en mie tiijä, — sanou, — mintäh on, — sanou, — miun morsien tuommoseksi männyt, — sanou. — En, — sanou, — voi ni kačcuo».

Ka tuloupa šitä sinne i perttih, kä kun astuu skloimuttuu, ei ne mäne sinne ni tänne ašunnat eikä asiet eikä tielot eikä ni mit. Eikä ruvettu suvaiccomah eikä... Alko sruikkuo:

— Kapris pitäy tappua poikes, kapris pitäy tappua poikes! — se akka sruikkuu.

— Ka, — še sanou cuarin poika, sanou, — miksipä sie tapat, — sanou, — kun sie hänet otit, — sanou, — jotta šanoit, jotta miun kun hiän kašvatti, ni mie hänen vanhannan, šyötän vanhana kaiken hyväšesti? Mitä sie nyt sen piällä sruikut?

Ei muuta kuin sruikkuu. Kapris sanou:

— Työntäkkiä, vellet, milma hot' meren rannalla kapukkojani kaštelen, pešen, — šanou.

— Ka mäne šie, — čuarin poika šanou.

Mänöy šinne, kä mänöy šinne meren niemeh, alkau šielä itkie. Tyttö noušou järveštä. Yksi šanou:

— Milma huomena tapetahl!

Tyttö šanou:

— Milma huomena šyyvväh!

No itetäh, itetäh, itetäh kaklakkah, ta šanou, jotta «kun, — šanou, — kapris-rukka, viel ei šilma tapettane, ni tule velli huomena vielä miun luo viestilöillä».

Hiän mänöy še kapris kotih. Še muuta kuin sruikkuu še neveskä:

— Ka, pitäy kapris tappual!

Hyö šanotan:

— Mitä šie nyt. Onhan, — šanotah, — tuon lihoitta lihua, tai tuon luloitta luuta nyt čuarissa. Eihän tuon piällä pię, nyt kruokuo, kun šie hänen lupasit vanhakše šyöttöä, vanhantua.

— Lupasin, ka mitä tuolla virkua on!

Hiän tuaš huomena pyrkiy, šanou:

— Työntäkkyyä työ hot' meren rannalla kaputtojani kaštelen, pešeyvyn šielä.

Čuarin poika šanou:

— Mäne, mäne.

Čuarin poika kaččou — kunne männä hötvöttäy, meren rantua juokšou. No. Tai šielä mänöy, alkau itkie. Tyttö šieltä noušou mereštä, hiän mualla šinä istuu. Aletäh itkie kaklakkah. Tyttö šanou:

— Milma huomena šyyvväh!

Kapris šanou:

— Milma huomena tapetahl!

No itetäh, itetäh. Yksi tuaš lähtöy järveh, toini lähtöy kotih. No čuarin poika arvelou, jotta «missähän toa kapris kävelöy, missähän toa kapris kävelöy?». Arvelou: «Kun huomena läksis, ka läksin mie proverkalla, jotta missä hän kävelöy».

Mänöy, huomena pyrkiy, ka mielellä ni työntäy še čuarin poika. Šanou, jotta «mäne, mäne, mäne...» Iče jälkeh hiivou, iče jälkeh hiivou! Mänöy, ka kaččou: istuutu meren niemeh, alko itkie hyykyttiä. Kaččou — ku še tyttö šieltä mereštä nousi, kun kaklakkah itetäh. Yksi šanou:

— Milma huomena šyyvväh!

Toini šanou:

— Milma huomena tapetahl!

Hiän kun mänöy šinne kapsahtau, šanou:

— Eikä šyyvvä, eikä tapeta, ni kummaista ei ruata!

Moršiemellä šanqu:

— Matkua yain kotih.



A še šanou naini, jotta «mitä mie lähen, — šanou, — apposen alašti olen. Enhän mie ilkie i kunne ni männä».

— No vuatittu liehet, — šanou. — Mie vien, — šanou, — papin luo, leškiakan, — šanou, — siitä vuatičen, siitä käyn kotih jaleštä.

— Kun et, — šanou tytär, — sitä ativuo kunne uhhotine, mie ennen en tule teillä.

Tai lähetäh. Viey moršiemien šinne leškiakkaseh, papih. Leškiak-  
kaseh pluat'asen panou piällä, kaprehen viey kotihisseh.

A še vain sruikkuu še neveskä, jotta «kapris tappakkual!» Arve-  
lou: «Iče otat ločkun täniltana, ei kapris ota».

Tai panou hänen šemmosseh huoneheh, miss on upehie täyši,  
niitä upehheposie, jotta täyši huoneh. Šinne panou, veräjän šalpuau,  
šen moršiemien. Še šinne kun potittih, še šinne levitettih, kai pikku  
palasiksi pilkottih. Šiitä luupalat hauvattih.

Ta ni moršiemeh šen käyt kotihisseh, ta kaikki ihašsutah —  
čuarit tai čuarin akat, tai iče peäšöy elämäh, tai eletäh hyväsešti  
loppuikä.

## 22. СКАЗКА ПРО КОЗЛА

Были раньше муж и жена. Живут-поживают, и посылает жена  
мужа рыбу ловить. Отправляется, рыбу ловит, много он там рыбы  
наловил. Надо ему домой возвращаться. Едет, едет, гребет по сере-  
дине озера. Не бывало там вовек никакой мели, а лодка при-  
стала — с места не сдвинется. Что за чудо? Пробует веслом — не  
доставает до дна, пробует кормовым веслом — не доставает до дна. Там  
из воды говорит, что «если дашь, что дома родилось, то пойдет  
лодка дальше».

— Что ж поделаешь, — говорит, — дать надо. Если лошадь  
ожеребилась — дам, если корова отелилась — дам. Жена у меня  
век не рожала, а если родила ребенка, то и того отдам.

Поплыла лодка дальше, поехал муж дальше домой. Причали-  
вает к берегу, а жена выходит встречать.

— Хорошо ли, муженек, порыбачил?

— Порыбачил, жена, — говорит, — но вот лодка пристала на  
самой середине озера, где вовек не бывало никакой мели, — гово-  
рит. — Что у нас есть, родился ли у нас в доме кто-нибудь? Там  
в озере говорит, что «если отдашь, кто у тебя за это время дома  
родился, тогда лодка поплывет дальше».

— Да неужели ты, муженек, пообещал, когда я дочь родила?

— Обещана теперь, — говорит.

Жена плачет, муж плачет, жалко им ее бросать в воду, ведь  
единственная дочь родилась. Ну, растят ее, девочке той уже второй  
год пошел. Говорит как-то муж, что «раз мы ее обещали и не вы-  
полнили обещания, то нас самих утащит в какой-нибудь день». Но  
жаль отдать, и говорит жена мужу, что «если у тебя руки подни-

мутся, то иди отнеси ее на тот мыс, оставь там на берегу свое дитя».

Муж берет ребенка, уносит туда на мыс, оставляет ребенка там на берегу. Ребенок этот там плачет, плачет, плачет. Козел прислушивается: откуда плач слышен, откуда плач слышен? Идет на плач и смотрит — ребенок маленький здесь брошен и плачет. И слышит козел — плачет там целыми сутками. Берет этого ребенка, уносит его в свой, — у него построена такая плохонькая лачуга, маленький домишко, — туда уносит ребенка. . . Отправляется искать для ребенка молока, в городе у женщин просит, в царев дом идет просить. Они говорят:

— Зачем ему, козлу, молоко понадобилось?

Он этого ребенка растит, кормит, вырастает уже этот ребенок. Уже девушка в года входит. Говорит этому козлу, что «до чего же мне плохо, — говорит, — что у меня здесь нет никакой одежды, — говорит, — что на себя надеть».

Козел говорит:

— Не спеши. Я, — говорит, — достану одежду, пойду, — говорит, — у царя просить.

Приходит и просит одежду:

— Дайте вы мне хоть каких-нибудь платьев да комбинашек да штанишек, да хоть что-нибудь, — говорит, — соберите.

А они говорят:

— Зачем козлу, — говорят, — одежда нужна, зачем тебе нужно?

— Мне, — говорит, — надобно, дайте.

Они насобирали ему узелок одежды. Идет, приносит туда, девушку ту одевает хорошенько, девушка оделась, уже она начинает входить в возраст. Говорит, что «иди ты и попроси хоть у кого работы, — говорит, — чтобы мне хоть научиться что-нибудь делать». Идет козел, ходит там, ходит, работу спрашивает. Говорят:

— Как ты будешь работать, и какую тебе работу надо дать? Ты же ничего не можешь делать.

— Ну дайте все же.

Дали работы, приносит работу, девушка эта так хорошо все сделала, относит [козел] обратно. Говорят:

— Это не им сделано. Есть у него там кто-нибудь, кто делает.

Однажды идет опять, просит работу, и дают ему там работу, сделанное отдает и идет обратно. Царев сын говорит:

— Надо пойти проверить, где он живет и кто у него там работает, не сам же он эту работу делает.

Вот идет он следом тайком, идет следом тайком. Идет по дороге и смотрит — метнулся [козел] на тропинку, — сначала даже не протоптана, — в лесок метнулся — а там тропинка. Идет он следом, идет и смотрит — домишко плохонький стоит. Идет, смотрит. Нырнул [козел] в домик, царев сын туда же следом. Девушка та даже перепугалась. Говорит, что «зачем ты, откуда ты этого привел?». А козел говорит:

— А сам он и пришел.

И начинает говорить, говорить, говорить с девушкой, и девушка говорит, и девушка говорит. Козлу говорит [царев сын]:

— Где ты ее нашел, — говорит, — эту девушку?

— Я, — говорит, — эту девушку нашел, — говорит, — уже давно, когда там на мысу маленького ребенка подобрал, которого бросили там плачущего; так я ее, — говорит, — вырастил до полного возраста, и она будет мне, — говорит, — опорой в старости, — говорит, — когда я состарюсь.

А он говорит, что «я, — говорит, — приду сватать эту девушку», — говорит.

— Не-ет, — говорит, — не говори так, Иван-царевич, — девушка эта говорит. — Девушка, выросшая в шалаше из хвои, — говорит, — цареву сыну не невеста.

Ну, больше ничего, как идет парень домой. Говорит отцу и матери, что «я приведу сюда жену». Они спрашивают:

— Откуда же ты приведешь?

— А я, — говорит, — откуда бы ни привел, оттуда и встречайте.

— Ну, если бы ты, — говорят, — привел ее, как у людей положено.

— Приведу, — говорит.

Идет, велит сделать в мастерской из лучших шелков одежду, велит сшить платье, туфли покупает самые лучшие, хорошие платки покупает... Пальто хорошее велит сделать, а когда идет туда, то девушка никак не смеет одеть это на себя.

— Никаких, — говорит, — только одевайся!

Одел эту девушку — такая стала красивая, такая хорошая, что...

И говорит, что «как же я, — говорит, — бедного козла здесь брошу, — говорит, — когда он меня вырастил?» — говорит.

— А козла, — говорит, — тебе надо взять, — говорит. — Найдется у царя место для козла, — говорит. — Возьми, возьми козла.

И козел тоже отправляется туда, приходят, а у царя хорошо его [царевича] с женой встречают, молодую обнимают, и козла с радостью принимают, и начинают тут жить. Девушка эта хорошо слушается и в работе бойкая, и так всем пришлось по душе — мужу, отцу, матери, — что...

Ну, у них накопилось... было время сенокоса. Служанки были на сенокосе, работники тоже, у них накопилось стирки большая куча. Эта женщина говорит, что «я, — говорит, — пойду стирать белье, — говорит, — на берег». Матушка-то эта никак не отпускает ее:

— Нет, не ходи, не ходи, не ходи, не ходи!

Все же идет. Приходит, на берегу белье стирает, стирает, стирает, горопится. Приходит баба Сюотяри.

— Здравствуй, жена царева сына! Бог в помощь.

— Здравствуй, здравствуй!

— Пойдем, сестра [букв.: брат], выкупаемся, а то совсем вспотеела, — говорит, — пот ручьем льет, — говорит, — по щекам, выкупаемся быстренько в озере.

— Мне, сестра [букв.: брат], — говорит, — некогда, — говорит, — купаться, — говорит, — у меня стирки много, — говорит.

— Пойдем да и пойдем!

Уговаривала, уговаривала, а девушка та и думает: можно и пойти выкупаться, раз так жарко стирать белье. Идет, быстренько раздевается, идут купаться да... Она [Скюотяри] сзади бредет, а ей [жене царевича] велит впереди брести. Та бредет впереди, а она все отстает да отстает да... На берег выскочила, говорит:

— Берите теперь, — говорит, — теперь обещанная девушка в озере! — говорит.

И ту под воду туда и потащили.

Ну, она надевает на себя одежду той, обувает ее обувь — переодевается в ее одежду. Начинает стирать. А дело уже не так выходит. Вот царев сын идет посреди дня повидаться со своей женой. Подошел, встал рядом, а та даже не взглянула, он уходит... Говорит матери, что «не знаю, — говорит, — почему, — говорит, — моя жена так изменилась, — говорит. — Не могу даже смотреть».

Приходит она потом в избу, и ходит она так тяжело, и походка, и дела, и работа — все не то. И не стали ни любить и ни... Начала приставать:

— Козла надо зарезать, козла надо зарезать, — эта баба пристает.

— Так зачем же, — этот царев сын говорит, — ты его убьешь, — говорит, — коли сама взяла, — говорит, — и сказала, что раз он меня воспитал, то я позабочусь о его старости, буду его старого хорошенько кормить? Зачем же ты теперь так стала говорить?

А она все свое. Козел говорит:

— Отпустите, братцы, меня на берег моря, хоть свои копытца смочу, вымою, — говорит.

— Что ж, иди, — царев сын говорит.

Идет туда, идет туда на морской мыс, начинает там плакать. Девушка выходит из воды. Козел говорит:

— Меня завтра зарежут!

Девушка говорит:

— Меня завтра съедят!

И плачут, плачут, плачут, обнявшись, и говорит [девушка], что «если тебя, бедный козлик, еще не зарежут, то приходи, брат, завтра ко мне за вестями».

Он, этот козел, идет домой. А невестка эта все пристает:

— Надо козла зарезать!

Они говорят:

— Да что ты, — говорят, — есть ведь у царя мясо без его мяса и без его костей. Зачем же его резать, коли ты обещала до старости кормить, о его старости заботиться?

— Обещала, но какой от него толк!

Он [козел] опять назавтра просится, говорит:

— Отпустите вы меня хоть на берег моря помочить копытца, помоюсь там.

Царев сын говорит:

— Иди, иди.

Царев сын смотрит — куда-то бежит рысцой, по берегу моря бежит. Ну и приходит туда, начинает плакать. Девушка оттуда, из моря, поднимается, он [козел] тут на берегу сидит. Начинают обнявшись плакать. Девушка говорит:

— Меня завтра съедят!

Козел говорит:

— Меня завтра зарежут!

Ну, плачут, плачут. Одна опять уходит в озеро, другой идет домой. А царев сын думает, что «куда этот козел ходит, куда этот козел ходит?». Думает: «Если бы завтра пошел, то я бы выследил, куда он ходит».

Идет на другой день, просится [козел], а царев сын охотно отпускает. Говорит, что «иди, иди, иди. . .». Сам следом крадется, сам следом крадется! Идет и смотрит — сел на морском мысу, начал плакать всхлипывая. Смотрит — эта девушка оттуда из моря поднялась, обнявшись плачут. Одна говорит:

— Меня завтра съедят!

Другой говорит:

— Меня завтра зарежут!

Он [царевич] как бросится туда, говорит:

— И не съедят, и не зарежут — ни того, ни другого не сделают!

Жене говорит:

— Иди себе домой.

А жена эта говорит, что «как я пойду, — говорит, — ведь я совсем голая. Не могу я идти никуда, срамиться».

— Ну, одежда будет, — говорит. — Я сведу тебя к бабушке, к вдове, — говорит, — там одену тебя, потом после за тобой зайду.

— Пока, — говорит девушка, — ту гостью не сживешь со света, я к вам не вернусь.

И отправились. Ведет жену туда ко вдове, к бабушке. Платье вдовы надела на себя, козла [царевич] повел домой.

А эта невестка все ноет, что «убейте козла!» Думает [царевич]: «Сама сегодня вечером щелчок получишь, а не козел».

И запирает ее в таком строении, где полно жеребцов, этих козней, полное помещение. Туда бросает ту жену, ворота запирает. Ту там залягали, растоптали, на мелкие куски искрошили. Потом обломки костей похоронили.

А ту другую жену привел домой, и все обрадовались — и царь, и царева жена, и стали хорошо жить до самой смерти.

### 23. BOKKO DA TYTTÖ

Oli ennen ukko da akka. Hyö molemmat kuoldih, d'ai yksi tytär da bokko. Bokko biägyy, biägyy, kun kuoli emändä. Tyttö i šanou:

— Lähemmä hot' kunne, bokko, toizeh kyläh piän eloh. Em-mägö voi missä piädä elättiä.

Siidä lähettih bokon keralla — olgie kubon regeh. Bokko vedäy regie, a hiän d'algeh astuu. Bokko i šanou tyttöllä:

— A- voi-voi, nyt tulou šuuri Šyötär-akka vaštah. Mäne olgikuvon šiameh, peittävy. (Tyttö oli ylen kaunis).

Tyttö i peittäydy. Astuu bokko, vedäy sidä regie. Tulou Šyötär-akka vaštah. Kyzzy:

— Kunne mänet, midä vejät?

Bokko vaštua:

— Läksin piän eloh. Otin olgie kubozen, kuin nällässyn, nin syön.

Proidi Šyötär-akka, tyttö i nouzi sielä rejestä pois. Tuas tulou toine Šyötär-akka vaštah. Šanou bokolla:

— Kunne mänet, midä vejät?

A tyttö mäni peittoh yhen ollen šiameh. Šyötär-akka puistelou kaiket ollet. Ei ni midä löydän. Kaikki ollet keräi kuboh. Ei kosken. Dai proidi ielläh. Tyttö nouzi. Assutah bokon kera rinnakkah. Kaččou, ka kylä näky. Männäh köyhän leškiakan luokši. Kolistau ikkunah. Šanou akalla, d'otta hiän laskis heidä yöksi. Staruha šanou:

— Tulgua, tulgua.

Tyttö šanou:

— Mistä staučašta milma šyötät, šiidä i miun bokkuo syötä, millä šijalla milma magautat, šillä miun bokkuo.

— Tule, tule, — šanou leškiakka, — kaikki niin luajin.

Dai tuli tyttö bokon kera pertih. Misssä bokko maguau, šiinä i tyttö. Ylen kaunis on tyttö. Illalla istuu, d'oga päiviä ikkunan viereššä ruadau.

Ivan-careivičalla šanotah, d'otta on hyvä tyttö šiinä talošša. Šiidä Ivan-careivič rubieu sidä tyttö kozičcomah. Žen tytön ottau miehellä. Dai bokon ottau priduan'eiksi. Emändä laski bokon pihalla. Bokon varästi Šyötär-akka. Emändä lähtöy ečcimäh bokkuo, kuin bokko myöhästy, ei tullun kodih. Tulou šillä naizella vaštah Šyötär-akka, kyzzy:

— Kunne mänet?

Naine šanou:

— Mänen bokkuo ečcimäh, bokko kado.

Šyötär-akka šanou:

— Proiji miun d'aloin keššistä läbi, ni löydyy šiun bokko.

Kun naine proidi d'allankeššicci, niin muuttuigi Šyötär-akaksi, a Šyötär-akka naizeksi. Otti bokon dai mänöy Ivan-careivičan luoksi. Šanou:

— Kačo, mie löyvin bokon.

Ivan-careivič kačcou: kuin buto ei ole hänen akka, kuin on mustaverine. A bokko biägyy, igävöicčöy omua emändiä. Ivan-careivič mänöy leškiakan luoksi dai šanou: šenin da šenin, «ei ole miun akka. Midä mie ruadazin?». Leskiakka šanou:

— Mäne vai mečcäh da tuo akkas kodih, mie probuicēn hot' midä ruadau. A Šyötär-akka aja pois.

Ivan-careivič mänöy mečcäh, āstuu — tulou vastah akkah.

Hain i šanou:

— Iäkkä poiges kodih. Bokko itköy, igävöicčöy. Läkkä pois kodih, a Šyötär-akan ajaminna pois.

Lähettih ukon kera kodih. A Šyötär-akka ei tiijä, d'otta hän on akku ečcimäššä, vain koissa rehendelicčöy.

Šiidä Ivan-careivič toi akkah leškiakan luoksi, a iče mäni kodih, šanou Šyötär-akalla:

— Šiula täydy lähtie miun luoda pois, et sie ole emändä.

— Šyötär-akka šanou:

— Kuin mie kerran tulin šiun morziemeksi, nin kunne mie lähen?

Ivan-careivič šanou:

— Kušta tuliit, sinne i mäne.

Šyötär-akka kačcou — ei tullun elošta. Suoriudu i läksi pois.

Mänöy Ivan-careivič, ottau akan, i ruvetah hänen kera da bokon kera elämäh. Bokko heitti biägyynnän. Šiihi i loppu. Šiidä elävyttih endizen akan kera.

### 23. ДЕВУШКА И БАРАН

Были раньше старик да старуха. Они оба умерли, осталась одна дочь да баран. Баран блеет, блеет, что хозяйка умерла. Девушка и говорит:

— Пойдем, баран, хоть куда-нибудь в другую деревню кормиться. Не сможем ли где-нибудь прокормиться.

Потом отправились с бараном — сноп соломы в сани. Баран сани везет, а она сзади идет. Баран и говорит девушке:

— А-вой-вой, большая баба Сюотяр идет навстречу! Заройся в сноп соломы, спрячься. (Девушка была очень красивая).

Девушка и спряталась. Идет баран, тащит сани. Идет навстречу баба Сюотяр. Спрашивает:

— Куда идешь, что везешь?

Баран отвечает:

— Пошел свою голову кормить. Взял сноп соломы, как голодаюсь — то поем.

Прошла баба Сюотяр, девушка и встала из саней. Опять встречается другая баба Сюотяр. Говорит барану:

— Куда идешь, что везешь?

А девушка спряталась внутри одной соломинки. Баба Сюотяр перетрясла всю солому — ничего не нашла. Всю солому собрала в сноп, не тронула. И пошла дальше. Девушка встала. Идут с бараном рядышком. Смотрит — деревня виднеется. Идут к бедной вдове, [девушка] стучится в окно. Говорит женщине, чтобы она пустила их на ночь. Старуха говорит:

— Заходите, заходите.

Девушка говорит:

— Из какой чашки меня будешь кормить — из той же и моего барана корми, на какую постель меня уложишь спать — на ту же и моего барана.

— Заходи, заходи, — говорит вдова, — все так сделаю.

И пришла девушка с бараном в избу. Где баран спит — там и девушка. Девушка очень красивая. Каждый вечер она сидит возле окна и работает.

Ивану-царевичу говорят, что в том доме есть хорошая девушка. Потом Иван-царевич стал ту девушку сватать. Берет эту девушку за себя замуж. И барана берет вместо приданого. Хозяйка выпустила барана во двор. Барана украла баба Сюотяр. Хозяйка идет искать барана, когда баран не вернулся домой. Встречается этой женщине баба Сюотяр, спрашивает:

— Куда идешь?

Женщина говорит:

— Иду барана искать, баран потерялся.

Баба Сюотяр говорит:

— Пройди между моими ногами, так найдется твой баран.

Когда женщина прошла между ногами, то превратилась в бабу Сюотяр, а баба Сюотяр стала женщиной, взяла барана и идет к Ивану-царевичу. Говорит:

— Смотри, я нашла барана.

А Иван-царевич смотрит: как будто не его жена, потому что чернявая. А баран блеет, скукает по своей хозяйке. Иван-царевич идет к старухе-вдове и говорит: так и так, это не моя жена, что мне делать? Старуха-вдова говорит:

— Иди в лес и приведи свою жену домой, я попробую что-нибудь сделать. А бабу Сюотяр прогони.

Иван-царевич пошел в лес, идет — встречается ему жена. Он и говорит:

— Пойдем домой. Баран плачет, скукает. Пойдем домой, а бабу Сюотяр выгоним.

Пошли с мужем домой. А баба Сюотяр не знает, что он пошел жену искать, она себе дома хозяйничает. Потом Иван-царевич привел жену к вдове, а сам пошел домой. Пришел домой, говорит бабе Сюотяр:



— Тебе надо уйти от меня, ты не хозяйка.

Баба Сюотяр говорит:

— Раз я пришла к тебе в жены, то куда же я пойду?

Иван-царевич говорит:

— Откуда пришла, туда иди.

Баба Сюотяр смотрит — тут жизни не будет. Собралась и ушла. Идет Иван-царевич, берет жену и начинает с ней и с бараном жить. Баран перестал бляеть. Тут и конец. Так и стали жить с прежней женой.

## 24. PAIMEN JUAKKO

Eli ennen paimen Juakko. Hiän eli ilmaiseh ikäh ei ni mitä tehnyt, kun vain lehmie paimenti. Hiän šielä meččššä ajattelou: «Mintäh mie en voi akottuo, kun mie šuan niin äijän rahua, ta kaikki annan papilla ta kirkkoh. Rahua on šiaššettävä ta akotuttava».

Tulou hänellä oikein kaunis tytär eteh. Še tytär šanou:

— Mitä, Juakko, tuumaičet?

— Mie en ni mitä tuumaiče.

— Tuumaičet šie, tuumaičet, — šanou tytär.

Tytär kato, ta Juakko ei ni nähny, mihi še tytär mäni. Ilta-sella ajo Juakko kotih ta makasi yčn. Samalla läksj toisena päivänä meččšš karjan kera. Tulou Juakolla šamat ajatukset pläh, jotta on nyt rahua šiaššettävä ta akotuttava. Ku Juakko ajattelou, tulou tuáš oikein kaunis tytär eteh ta kyšyy:

— Mitä šie, Juakko, tuumaičet?

— En mie ni mitä tuumaiče.

— Tuumaičet. Juakko, tuumaičet.

Šitten tytär tuáš katosi pues.

Kolmantena päivänä tuáš Juakko ajau karjan meččšš ta tuáš tuumaiččou šamoja ajatuksie, jotta on rahua šiaššettävä ta akotuttava. Tulou tuáš kaunehmpi tytär Juakolla eteh ta kyšyy:

— Mitä šie, Juakko, tuumaičet?

— En mie mitänä tuumaiče.

— Tuumaičet, Juakko, tuumaičet, mie tiijän, mitä šie tuumaičet.

Šie tuumaičet, jotta šium on akotuttava, ta ota šie, Juakko, milma naisekši.

Juakko šanou, jotta «kuin še meistä pari tulou, kuin mie olen paimenpoika ta pahaššä vuatetukšesšä, ta šie olet niin kaunis ta hyvissä vuatetuksiššä, kuin še meistä pari tulou?». Tytär šanou, jotta «ei še mitä, ota vain, Juakko, milma naisekši». No Juakko šanou:

— Kun šie tahot, nin tulkah meistä pari.

Ta niin Juakko akottuki. Niin hyö ajetah illalla morsiemeh kanssa lehmät kotih. Sielä kylässä nošsettih semmoini ilo, jotta nyt sai Juakko niin kaunehen naisen, jotta ei ole missän maailmassa niin kaunista naista, kuin Juakolla on naini. Käytih häntä kaikki tervehtimäh: pienet ni suuret, nuoret ni vanhat — kaikki käytih Juakkuo ta hänen naistah tervehtimäh.

Muattih hyö yön. Siitä naini sanou Juakolla:

— Etkö sie, Juakko, sua miula hevoista kylästä, lähemmä ku-laimah.

Juakko sai heposen i val'lassettih i noustih rekeh. Juakko otti ohjakset käteh, nin naini sanou:

— Elä sie, Juakko aja, anna miula ohjakset, mie ajan, pysy sie vain rejessä.

No ajettih suurista vuaroista piällicci, kun ei ollun ni tietä ni jälkie. Kun hyö ajettih, nin kaikki aukeni tieksi, nin kaikki tuli silieksi, meccä kahen puolen siirty.

Tuli heilä vastah semmoiset huonehet, jotta ei ole cuarilla semmoisie huonehie, eikä ole missänä linnassa semmoisie huonehie. Naini sanou Juakolla, jotta «tässä on mejän huonehet: sie kun annoit kaikki rahat papilla ta keräsit, nin pappi moli ta jumala anto meilä semmoiset huonehet, kun sie kaiken ikäsi olit paimenpoikan». Tässä hyö nyt ruvetah elämäh.

Siitä hyö alettih elyä. Heilä on niin hauska elyä, jotta Juakko ei ni niä kun päivät mänöy iltah. On heilä sielä niin äijä rikkahuksie, niin äijä eläimie, jottei ni koko maailmassa niin äijä rikkahuksie ta eläimie.

Suau sitten cuari tietä, jotta Juakolla on niin kaunis naine, jotta ei semmoista ole maailmassa, eikä hänellä cuarilla ole. Tai huonehet Juakolla on paremmat, kui hänellä, cuarilla. Ka piättäy cuari lähtie Juakon luo kostih.

Cuari läksi Juakon luo kostih: hän tietäy, jotta missä Juakko eläy. Ta ei hän ni kuin voi piässä sinne, kun meccä on matalla. Cuarilla täytyy myöstyö ta ottua viisikymmentä soltattua. Ottau cuari viisikymmentä soltattua ta lähtöy Juakon luo mänemäh. Konkonaini kuukausi raivatah viisikymmentä soltattua tietä Juakon luo. Kuatah meccie ta tietä raivatah.

No niin hyö piästih Juakon pihah. Niin sanou cuari naisellah, jotta «mäne sie iessä pirttih, ta mie tulen perässä». Mäni cuarin naini pirttih. Sielä on niin hyvä, niin kaunehet on huonehet. Häntä otetah hyvin vastah, näytelläh ta kostitetah häntä hyvin. Aikua mänöy puolitoista cuassuo, nin cuari jo ikävystyy. Tulou cuarin naini pihalla, nin cuari kyšyy, jotta «mitä sie olit niin kotvan sielä?», Naini sanou:

— Kun sie mänet siämeh, nin sieki olet sielä vielä kotvemman, on sielä kaccomista: niin kaunehet on Juakon huonehet, ta niin kaunis on Juakon naini, ta niin hyvin kostitettih milma!

Nyt läksi cuari. Mäni cuari, kävelöy Juakon kera. Ensin cuarie Juakko kostittau: syyväh ta juuvah viinua, sitte Juakko näytätäy cuarilla, mitä on hänellä omaisuutta. Sanou cuari Juakolla:

— Jos sie et sua, Juakko, tietyä, mimmoiset miula ta miun naisella tulou koti tuolla ilmalla, niin mie otan siun huonehet, siun naisen ta piän siulta leikkuan pues.

I lähtöy pues cuari. Juakko jäi pahoillah. Juakon naini sanou Juakolla:

— A mita, Juakko, olet niin pahoillah? Cuari sanallako satatti, vain carkalla vuarto?

— Ei hiän carkalla vuartan, vai sanalla hiän satatti.

— No mitäkö hiän siula sano?

— Sano cuari, jotta miula on suatava tietyä, mimmoini tulou talo cuarilla ta cuarin naisella toisella muailmalla, kuin cuari kuolou.

Juakon naini sanou Juakolla:

— Pane huoli jumalah ta rupie muata.

Ta hiän rupie kesryämäh. Hiän kesryäy kerän rihmua ta nosti Juakon. Hiän samalla tavalla kolmena iltana kesryäy kolme keryä rihmua. Siitä sanou Juakolla:

— Nyt sie lähet cuarilla tuonilmaista kotie tiijustamah.

Ta antau Juakolla kolme keryä, panou ne vakkaseh.

Panou kerän vieremäh ta antau Juakolla rihmanpiän käteh.

— Kävelet kerän perässä, nin kerä näyttäy siula, kunne on mäntävä.

Käveli Juakko kerän perässä, ta tulou illalla talo vastah. Mänöu Juakko taloh ta näköy: kaksi naista kuatah vettä althasta althah, vettä ei ni lisävyv, ni puolene.

Juakko sanou:

— Terveh, naiset!

— Terveh, terveh, Juakkoseni, tule taloh! Mistä matkuat, mistä mänet? Etkö, Juakko miän as's'ua tološi, kun vettä pitäy althasta althah ammullella ilmaini ikä, millä myö lienemmä tänne joutun, mistä syystä?

— No voin mie tolosie as's'an, kun muistanen.

Toisena päivänä Juakko pani toisen kerän vieremäh: kerä vieröy, Juakko peräh, kerä taloh — Juakko taloh. Kaksi miestä suuret turkit piällä toine toistah kulakoilla pieksetäh, eikä läm mintä voija suaha, niin kylmetty ollah, a pirtti on lämmin, kuin kilyn löyly.

Juakko sanou:

— Terveh miehillä!

Ne miehet sanotah:

— Terveh, terveh, Juakkoseni, mistä matkuat, kunne mänet? Etkö sie, Juakkoseni, miän as's'ua tološi, kuin meilä pitäy kaikki ikä toine toistah pieksyä.

— Kyllä mie, jos muissan, nin sanon.

Makuu Juakko yön ta huomeneksella panou kolmannen kerän vieremäh. Mänöy kerä taloh, Juakko peräh. Tulou Juakko pirttih ta näköy: kiukualla vanha akka kuivua leipyä purou, jotta veri juokšou hampahista ta ikenistä. Juakko šanou:

— Terveh, akkal

— Terveh, terveh, Juakkoseni. Mistä matkuat, kunne mänet? Millä lienen mie, Juakkoseni, täh ruatoh rotuutun ta millä täštä työstä piäšsen, kun ilmani ikä pitäy kuivie leipie šyvvä, ta ni kuin nälkä ei lähe pueš. Tološi šie, Juakkoseni, miun as's'a.

— Još muissan, nin tološin.

Makuu Juakko yön ta läksi kävelemäh. Jo näkyyki etähänä jumalan koti. Tulou Juakko kotih. Jumala viuhahtau Juakolla vaštah.

— Terveh, terveh, Juakkoseni, olet tullut šuurrella as's'alla. (Jumalan tytär oli Juakolla naisena).

Juakko vaštua:

— Niin olen tullun šuurella as's'alla.

— Nyt šiuła pitäy olla tällä as's'alla nel'ät vuorokauvet.

Juakko juotettih, šyötettih kylläseksi, pantih Juakko muata. Jo Juakko vietih šemmoiseh huoneheh, ta vaikka Juakolla oli kaunehet huonehet, ni tämä huoneh oli vielä kaunehemp, ta kovin makie haju oli huonehešša, ta šeinillä on kaikenmoisie kaunehukse, mimmoisie Juakko ei ni konša ole nähyn. Šemmoiset kaunehet oltih ne huonehet. Juakko kun kaččeli, kaččeli, nin ei hän ni kerin uinota, kun häntä tultih jo noštamah. Niin še päivä hyö elättih ta šamalla tavalla Juakko šyötettih, juotettih ta pantih fuaš muata. Toini yö on Juakolla vielä häušempi muata, kuin hänet pantih makuamah vielä kaunehempah huoneheh. Juakko kuni kaččeli, kaččeli tai ei kerin kaikkie ni kačču, kuin häntä tultih noštamah.

Nyt hyö päivän elättih. Pantih Juakon kolmantena iltana muata, Šemmoiseh huoneheh pantih: šielä oli pimie, šielä oli paha haju. alahalla palo tuli, ta šijua ei jännyn, kuin pieni lohes [?] kylen alla, ta käyttih Juakko kaikki eläimet n'okkimah. Šemmoiseh huoneheh Juakko joutu kolmanneksi yöksi. Še oli min pitkä yö — Juakko tuumi, jotta hän kokonaisen vuoven on šielä muannun. Tultih, Juakko huomeneksella nošettih. Kysyy spuassu Juakoita:

— No kuin, Juakko, oli šiuun muattava?

Juakko šanou:

— Paha oli miula muata, kuin oli niin pimie ta paha haju. Tuli palo alla, ta yö oli niin pitkä, ta kaikki eläimet käyttih milma n'okkimah.

Šanou spuassu, jotta šemmoini tulou čuarilla tuonilmaini koti, šemmoisen čuari anšaičči. Enšimmäine yö še oli, jotta mimmoini tulou Juakolla tuonilmaine eloš. Toine yö oli šellaini, jotta mimmoini tulou tuonilmaini eloš Juakon naisella.

Mäni tuas päivä ta tuli tuas yö. Pantih Juakon neljänneksi yöksi muata. Pantih semmoiseh huoneheh: oli šielä pämie ta paha haju, kumminki vähän parempi, ku oli kolmantena yönä.

Tulou spuassu Juakkuo noštamah ta kyšyy:

— Mimmoini še tämä yö oli?

Juakko šanou:

— Oli še paha yö, mutta ei še niin paha ollut, kuin kolmas yö oli.

Spuassu šanou, jotta semmoini elämä še tulou čuarin naisella tuolla ilmalla. Spuassu otti ta kirjutti pitän kirjan, ta anto šen Juakolla:

— Tämä vie čuarin stolalla ta iče juokše pihalla ta kačo, mitä tapahtuu čuarilla.

Juakko šanou:

— Kuin mie jouvuin ensimmäisenä yönä taloh, nin šielä kaksi naista vettä amulletih. Hyö kašettih kyšyö, miksi hyö on joutun semmoiseh työh ta kotvanko heilä on amullettava vettä.

Spuassu šanou:

— Hyö on jouvuttu semmoiseh työh šiksi, kun hyö ennen myötih maituo, ni hyö pantih maitoh vettä. Šiitä työštä hyö piäššäh šillä, kuin luvetah mahon lehmän karvat ta ne kirjuteh miula. Sitten hyö piäššäh šiitä työštä.

Sitten Juakko kyšy:

— Kuin mie tulln toisena yönä toiseh taloh, nin šiinä talošša kaksi mieštä turkkiloissa toine toistah kulakoilla pieksettih ta ni kuin ei voitu lämmitä. Hyö kašettih kyšyö, jotta kotvanko heilä on šitä ruatuo ruattava ta miksi hyö ollah šiih työh jouvuttu. Sano šie miula še as's'a.

Spuassu šano:

— Hyö ei lašettu matkamieštä taloh, kun tull matkamieš hiän taloh talviyöllä. Matkamieš pihalla kylmi. Šiitä hyö ollah joutun semmoiseh työh, ta ei šiitä hyö muulla piäššä, kun heilä on tähtisenä yönä luvettava tähet taivahalta ta miula kirjutetah. Sitte hyö piäššäh šiitä työštä.

Tuas Juakko kyšyi

— Kuin mie kolmantena yönä jouvuin kolmanteh taloh, nin šiinä talošša akka šöi kuivua leipyä niin, jotta veri tuli hampahista ta ikenistä, ta akka ei voinnu ni kuin šyvvä vačoač täyveksi. Hiän kaški kyšyö šiuulta, miksi hiän on šiihe ruatoh joutun ta kotvanko on šitä ruatuo ruattava.

Spuassu vaštuan:

— Hiän on joutun šiihe työh, kuin on antan kyšyjällä semmoista kuivua ta paha leipyä, mimmoista hiän iče ei voinnu šyvvä. Hiän piäšöy šiitä ruavošta, kuin hiän lukou, aijänkö jyvie on šuurešša ruispellošša, ta kirjuttau miula.

Nyt Juakko läksi takasin. Hiän käy kaikkih taloih ta kerto kaikilla, mitä ni spuassu šano ta millä hyö omaštah ruavoštah piäššäh.

Sitte mäni Juakko cuarin kotih i heitti kirjases stolalla ta juoksi pirtistä pihalla ta kacco, kuin cuarin talo upposi miah piirpuo myöte. Vain vähäne piirpuo jäi näkymäh — semmoini se kirja oli painava.

Niin Juakko piäsi naiseh luo ta rupei hiän elämäh onnellista elämyä, omasta työstäh hiän sai sen hyvän elämän.

Sen pivus se starina on. Ken lienne kuullun, sillä kultarenkas korvah, ken ei lienne kuullun, sillä parōca persieh.

## 24. ПАСТУХ ЮАККО

Жил раньше пастух Юакко. Он прожил всю жизнь и ничего другого не делал, как только пас коров. Он там в лесу думает: «Почему бы мне не жениться, коли я так много денег получаю, а все отдаю попу да в церковь? Надо накопить денег и жениться».

Тут перед ним встала очень красивая девушка. Эта девушка говорит:

— О чем, Юакко, думаешь?

— Ни о чем я не думаю.

— Думаешь ты, думаешь, — говорит девушка.

Девушка исчезла, и Юакко даже не заметил, куда она ушла. Вечером Юакко пригнал стадо домой и проспал ночь. На второй день также пошел в лес со стадом. Приходят Юакко те же мысли в голову, что надо теперь денег накопить и жениться. Когда Юакко так думает, опять встает перед ним красивая девушка и спрашивает:

— О чем ты, Юакко, думаешь?

— Ни о чем я не думаю.

— Думаешь, Юакко, думаешь.

Потом опять девушка исчезла.

На третий день Юакко опять погнал стадо в лес и опять о том же думает, что надо накопить денег и жениться. Встает перед Юакко девушка еще красивее и спрашивает:

— О чем ты, Юакко, думаешь?

— Ни о чем я не думаю.

— Думаешь, Юакко, думаешь, я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что тебе надо жениться, так возьми ты, Юакко, меня в жены.

Юакко говорит, что «какая же из нас пара выйдет, коли я пастух и в плохой одежде, а ты такая красивая и в хорошей одежде, как же из нас пара выйдет?». Девушка говорит, что «это ничего, ты только, Юакко, возьми меня в жены». Ну, Юакко говорит:

— Если ты хочешь, то пусть из нас будет пара.

И так Юакко и женился. Так они с женой вечером пригнали стадо домой. Там в деревне началось такое веселье, [из-за того] что Юакко добыл себе такую красивую жену, что нет на всем свете такой красивой женщины, как у Юакко жена. Ходили его все

поздравлять: и малые, и большие, и молодые и старые — все ходили Юакко и его жену приветствовать.

Переспали они ночь. Потом жена говорит Юакко:

— Не можешь ли ты, Юакко, достать мне в деревне лошадь, поедем кататься.

Юакко достал лошадь, запрягли и сели в сани. Юакко взял вожжи в руки, а жена и говорит:

— Ты, Юакко, не правь, а дай мне вожжи, я буду править, ты только держись в санях.

Ехали они через большие горы, где не было ни дороги, ни следа. Когда они проезжали, то повсюду открывалась дорога, все становилось гладко, лес по обе стороны раздвигался.

Встретились им такие покои, что у царя нет таких покоев и ни в каком городе таких покоев нет. Жена говорит Юакко, что «вот наши покои: ты как отдавал все деньги попу, то поп молился, и бог дал нам такие покои за то, что ты всю жизнь был пастухом». Тут они теперь начинают жить.

Начали они потом жить. Им так весело жить, что Юакко даже не замечает, как дни проходят. У них там столько богатства, столько всякой живности, что во всем мире нет столько богатства и живности.

Доходит потом до царя, что у Юакко такая красивая жена, что другой такой нет в мире и даже у него, у царя, нет. Да и покои у Юакко лучше, чем у него, у царя. И решил царь отправиться к Юакко в гости.

Поехал царь к Юакко в гости: он знает, где Юакко живет. Но не может он никак туда попасть, потому что на пути леса. Царю приходится возвращаться и брать пятьдесят солдат. Берет царь пятьдесят солдат и отправляется к Юакко. Пятьдесят солдат целый месяц расчищают дорогу к Юакко. Валют лес и расчищают дорогу.

Так они добрались до двора Юакко. Говорит царь своей жене, что «иди ты вперед в избу, а я приду следом». Зашла царева жена в избу. Там так хорошо, такие красивые покои. Ее хорошо принимают, показывают все и угощают ее хорошо. Времени проходит полтора часа, царь уже заждался. Выходит царева жена во двор, царь и спрашивает, что «почему ты была там так долго?». Жена говорит:

— Когда ты туда зайдешь, то ты будешь там еще дольше. Есть там что смотреть: такие красивые у Юакко покои, да такая красивая у Юакко жена, и так хорошо они меня угощали!

Теперь пошел царь. Зашел царь, ходит с Юакко. Сперва Юакко царя угощает: едят и пьют вино, — потом Юакко показывает царю, сколько у него добра. Говорит царь Юакко:

— Если ты, Юакко, не сможешь узнать, какой дом будет у меня и у моей жены на том свете, то я возьму твои покои, твою жену и тебе голову отрублю.

И царь уважает. Юакко остался печальный. Жена Юакко говорит:

— Что, Юакко, так печален? Или царь словом обидел, или чаркой обнес?

— Не обнес он чаркой, но словом обидел.

— Ну что же он тебе сказал?

— Царь сказал, что я должен узнать, какой дом будет у царя и царицы жены на том свете, когда царь умрет.

Жена Юакко говорит:

— Оставь заботу на бога и ложись спать.

И она начинает прясть. Напряла она клубок ниток и разбудила Юакко. Так она за три вечера напярда три клубка ниток. Потом говорит Юакко:

— Теперь ты отправишься узнавать, какой дом будет у царя на том свете.

И дает Юакко три клубка, кладет их в короб. Бросила клубок катиться и дала Юакко конец нитки в руку.

— Иди за клубком, и клубок покажет тебе, куда надо идти.

Шел Юакко за клубком, и вечером встречается ему дом. Заходит Юакко в дом и видит: две женщины переливают воду из корыта в корыто, вода и не прибавляется, и не убавляется. Юакко говорит:

— Здравствуйте, женщины!

— Здравствуй, здравствуй, Яшенька, заходи в дом! Откуда идешь, куда направляешься? Не доложишь ли, Юакко, и про наше дело: весь век надо воду из корыта в корыто переливать, за что мы сюда попали, за какую вину?

— Конечно, доложу дело, если не забуду.

На второй день Юакко пустил другой клубок катиться: клубок катится — Юакко следом, клубок в дом — Юакко в дом. Двое мужчин в больших шубах друг друга кулаками дубасят, но не могут согреться — так продрогли, а изба теплая, как жаркая баня. Юакко говорит:

— Здравствуйте, мужики!

Мужчины эти говорят:

— Здравствуй, здравствуй, Яшенька, откуда идешь, куда направляешься? Не можешь ли ты, Яшенька, доложить про наше дело: зачем нам надо весь век друг друга колотить?

— Если не забуду, то скажу.

Спит Юакко ночь и утром пускает третий клубок катиться. Катится клубок в дом — Юакко следом. Приходит Юакко в избу и видит: на печи старуха сухой хлеб грызет, так что кровь течет из десен и зубов. Юакко говорит:

— Здравствуй, бабка!

— Здравствуй, здравствуй, Яшенька. Откуда идешь, куда направляешься? Почему я, Яшенька, должна этим делом заниматься и как я от этой работы избавлюсь? Весь век надо грызть



сухой хлеб, а голод не унимается. Доложи ты, Яшенька, про мое дело.

— Если не забуду, то доложу.

Спит Юакко ночь и отправляется дальше. Вот уже и виден вдалеке дом бога. Заходит Юакко в дом. Бог выходит навстречу Юакко:

— Здравствуй, здравствуй, Яшенька, ты пришел по большому делу. (Дочь бога была у Юакко женой).

Юакко отвечает:

— Да, пришел по большому делу.

— Теперь тебе надо по этому делу побыть здесь четверо суток.

Напоили Юакко, накормили досыта, уложили Юакко спать. Юакко увел в такую комнату, что хоть у него были красивые покои, но эта комната была еще красивее, и очень сладкий запах был в комнате, и на стенах были всякие украшения, каких Юакко никогда не видел. Такие красивые были эти покои. Юакко все смотрел, смотрел, да так и не успел уснуть, когда его пришли будить. Так они прожили этот день и так же Юакко кормили, давали и уложили опять спать. Вторую ночь Юакко было еще веселее спать, потому что его уложили в комнате еще красивее. Пока Юакко смотрел, смотрел да не успел все даже просмотреть, когда пришли его будить.

Они опять день прожили. Уложили Юакко на третий вечер спать. В такой комнате уложили: там было темно, там был плохой запах, внизу горел огонь, и постели не было, кроме как немножко под боком, и приходили Юакко всякие твари кусать. В такую комнату понал Юакко на третью ночь. Это была долгая ночь — Юакко думал, что он пробыл там целый год. Пришли утром Юакко будить. Спрашивает Спас у Юакко:

— Ну, как, Юакко, тебе спалось?

Юакко говорит:

— Плохо мне спалось, потому что было темно и плохой запах. Огонь горел внизу, и ночь была такая дедьва, и все твари приходили меня кусать.

Говорит Спас, что такой будет у царя дом на том свете, это царь заслужил. Первая ночь была, что такая у Юакко жизнь [будет] на том свете. Вторая ночь была, что такая будет на том свете жизнь у жены Юакко.

Прошел опять день, и опять настала ночь. Уложили Юакко на четвертую ночь спать. Уложили в такой комнате: было там темно и плохой запах, но все же немножко получше, чем в третью ночь. Приходит Спас будить Юакко и спрашивает:

— Какова эта ночь была?

Юакко говорит:

— Плохая была ночь, но не такая плохая, как третья ночь была.

Спас говорит, что такая жизнь будет у царевой жены на том свете. Спас взял да написал длинное письмо и дал его Юакко.

— Отнеси это к царю, положи на стол и сам беги во двор и смотри, что случится с царем.

Юакко говорит:

— Когда я попал в дом на первую ночь, то там две женщины воду переливали. Они велели спросить, почему им выпала такая работа и долго ли им нужно воду переливать.

Спас говорит:

— Им выпала такая работа потому, что когда они прежде продавали молоко, то они наливали в молоко воду. От этой работы они избавятся тем, что сосчитают шерстинки у яловой коровы и напишут об этом мне. Тогда они избавятся от этой работы.

Потом Юакко спросил:

— Когда я пришел на вторую ночь в другой дом, то в том доме двое мужчин в шубах друг друга кулаками колотили и никак не могли согреться. Они велели спросить, что долго ли им придется этим делом заниматься и за что им такая работа выпала. Скажи мне про это дело.

Спас сказал:

— Они не пускали путника в дом, когда к ним в дом в зимнюю пору путник просился. Путник во дворе мерз. За это им выпала такая работа, и от этой работы они не избавятся иначе, пока не сосчитают в звездную ночь звезды на небе и мне об этом напишут. Тогда они избавятся от этой работы.

Опять Юакко спросил:

— Когда я на третью ночь попал в третий дом, то в том доме старуха прызла сухой хлеб, так что кровь текла из десен и зубов, а старуха никак не могла наесться досыта. Она велела спросить у тебя, за что ей выпала такая работа и долго ли ей придется это делать.

Спас отвечает:

— Ей выпала такая работа за то, что она давала нищему такой сухой и плохой хлеб, какого она сама не могла есть. Она избавится от этой работы, когда сосчитает, сколько зерен в большом ржаном поле, и напишет мне.

Теперь Юакко пошел обратно. Он заходил во все дома и рассказывает всем, что Спас сказал и чем они от своей работы избавятся. Потом Юакко зашел в дом царя, и бросил письмо на стол, и выбежал из избы во двор, и смотрел, как царев дом провалился в землю до трубы. Немного только трубы осталось на виду — такое тяжелое было это письмо.

Так Юакко вернулся к жене и стал жить счастливо, своим трудом он заслужил эту хорошую жизнь.

Такой длины эта сказка. Кто слушал, тому золотую серьгу в ухо, кто не слушал — тому смоляной квач\* в ж...

## 25. HÄTIKÖ-TYTTÄREN STARINA

Oli kaksi sisarušta. Toini on laiska. Šen nimi on Hätkkö. Toini on virkku ta ruatau kaikki. Virkku tytär pesi pyykkie. Mäni avannolla huuhtomah vuatteita. Hänellä oli pualikka. Še kirpoi avantoh. Tyttö hyppyäy avantoh pualikalla jälkeh. Järven pohjašta läksi levie tie. Tyttö ei löyvä pualikkua ta läksi tietä myöt'e mänömäh. Tien piäššä tulou talo. Mänöy taloh. Talošša on koukku: leuka akka. Akka kyšyy:

— Mistä olet, tyttön?

Tyttö vastuu:

— Tuolta olen ylailmoilta.

— Mitäpä sie tänne läksit? — kyšyy akka.

— Läksin työtä-ruokua eččimäh. (Ei ruohi šanuo, jotta hiän läksi pualikkua eččimäh).

— Miula on työtä ta ruokua.

Šyöttäy, juottau tyttären. Šanou:

— Mäne liäväh. Lypšä lehmät ta ašeta hyväšistä.

Lehmät ollah pahanšjivoseš, šitašša. Tytär lämmitäy vettä ta pešöy ne hyväšistä. Lehmät ruokkiu, lypšäy, tulou pirttih, tuou majjon akalla.

Akka mänöy liäväh. Kyšyy lehmiltä:

— Mitein uušä piika ruato, hyvinkö ruokki?

Lehmät šanotah:

— Hyväšistä pesi, ruokki, lämmitä juomista anto, hyväšistä lypši.

Akka šyöttäy, juottau tyttären hyvällä mielin, kun niin hyväšistä ruato.

Tytär kyšyy:

— Mitäpä nyt on työtä?

Akka šanou:

— Lämmitä kyly ta peše hyväšistä lapšet.

Hiän mänöy, lämmitäy kylin, vejen kuumentau, vaššat laittau valmehekše. Tulou pirttih ta šanou:

— Kyly on, täti, valmis.

Akka panou tuohiropeheš šammakon poikasie ta čičiliuškoja i šanou:

— Mäne peše nämä lapšet.

Tytär mänöy ta ajattelou, jotta hyvät on nämä lapšet. Tytär pesi lapšet yksitellen, valo puhtahalla vejellä, pani ropeheš. Toi pirttih lapšet akalla. Nošti kiukahan korvalla. Akka kyšyy lapsilta:

— Hyväšistäkö kylvetti?

Lapšet šanotah:

— Hyväšistä. Šie et ole meitä ni konša niin hyväšistä peššyn.

Hiän pesi ta valo meijät kaikki yksitellen.

Akka šanou:

— Nyt, tyttön, mäne poikeš. Miula ei ole enämpi mitänä työtä.

Antau tyttärellä palkakse kaksi lippaa. Tytär läksi, että yhden lippahan yhteh käteh, toisen lippahan toiseh käteh ta männeessä löytäy i pualikan. Tulou kotih. Hätikkö-tytär šanou:

— Missä šie olit?

Hiän šanou:

— Huuboin pyykkie, kirvotin pualikan. Läksin sitä eččimäh. Jouvuin tietä myöt'e taloh. Olin šielä piikana. Nämä lippahat šain palkakše.

Tyttö avuau lippahat: yheššä on kultua, toiseššä šulkkuo.

Hätikkö-tyttärellä rupei mieli tekömäh, jotta pitäy hänenki lähtie šinne ta šuaha palkakše šemmoset lippahat. Hiän peši vähäsen pyykkie, mäni huuhtomah, loi pualikan avannolla jian alla ta iče hyppäi jälkeh. Mäni tietä myöt'e šamaseh taloh, missä oli ollun sisär. Taloššä akka kyšyy:

— Mistä olet, tyttö, mitä läksit tänne?

— Tuoltahan ylailmoilta. Läksin työtä-ruokua eččimäh.

Akka šanou:

— Miula on työtä ta ruokua.

Šyöttäy, juottau šen tyttären. Kašköy liäväh:

— Mäne juota ta lypsä lehmät.

Tytär mänöy liäväh. Trähni kylmyä vettä eteh, miltä hännän, miltä nännin, miltä šarven kiskou ta vielä noituu lehmie. Tulou tupah:

— Täšš on maito, työt on ruattu!

Akka mänöy liäväh, kyšyy lehmiltä:

— Mimmoni on piika?

Lehmät itetäh tušissah, kun hiän kellä mitäki pahua ruate. Akka kyšyy:

— Mit työt itettä?

Lehmät šanotah:

— Šemmosen piijan laitoit, mikä trähni viluo vettä eteh ta meijat kaikki vaivasilla päivillä löi.

Tulou akka pirttih. Šanou piijalla:

— Mäne lämmitä kyly.

Mänöy tyttö, pikkusen lämmittäy, šavun keralla pačkua kiu-kuan pellin. Tulou pirttih, šanou akalla:

— Kyly on valmis!

Akka panou lapšet — šammakot ta čičiliuškot — tuohiropeheh ta kašköy kylvettämäh. Tyttö viey kylyh lapšet. Šiel on šavuo. Pačkua šammakot ta čičiliuškot ropeheh yhtäaikua. Viluo vettä piällä. Eikä šen paremmin kylvetä. Katkuau miltä hännän, miltä jalan, puhkou šilmät. Lapšet itetäh, karjutah. Akka kyšyy:

— Mitein piika kylvetti?

Ne itetäh ta šanotah, jotta puolet tappo ta loput šuatto vaiva-siksi.

Akka šanou:

— Mäne nyt poikes. Ei ole työtä enäämpyä meillä.

Tytär lähtöy pois. Akka antaa kaksi lippasta. Sanou:

— Kun mänet kotibis, avua nämä riiehen kynnyksellä, niin se tulou täysi eluo.

Tytär mäni hyvällä mielin, jotta nyt hänellä on tavarua näin kaunehissa lippahissa, ta mäni riieheh. Niin hän avai lippahat: toiseessa oli tulta, toiseessa tervua. Riiehi äyTTY palamah. Hätikkötytär tuli niin mušsakši šavušta, kuin terva, ta šemmošekši jai koko ijakšeh.

Siihi še loppu.

## 25. СКАЗКА О ДЕВУШКЕ-НЕРЯХЕ

Было две сестры. Одна — ленивая, ее зовут неряхой. Другая — прилежная и все делает. Прилежная девушка стирала белье. Пошла на прорубь полоскать белье. У нее был валеk, он упал в прорубь. Девушка спрыгнула в прорубь за вальком. На дне озера была широкая дорога. Девушка не нашла валька и пошла по дороге. В конце дороги стоит дом. Заходит в дом. В доме старуха подбородок кочаргой. Старуха спрашивает:

— Откуда ты, доченька?

Девушка отвечает:

— Оттуда, с верхнего света.

— Зачем ты сюда пришла? — спрашивает старуха.

— Пошла работы, еды искать. (Не смеет сказать, что она пошла валеk искать).

— У меня найдется работа и еда.

Кормит-поит девушку. Говорит:

— Пойди в хлев. Подои коров и убери хорошенько.

Коровы грязные, в навозе. Девушка греет воду и моет их хорошенько. Коров кормит, доит, приходит в избу, приносит молоко старухе. Старуха идет в хлев, спрашивает у коров:

— Как новая служанка работала? Хорошо ли накормила?

Коровы говорят:

— Хорошо вымыла, накормила, теплее поило дала, хорошо поила.

Старуха кормит-поит девушку, довольная, что [та] так все хорошо сделала. Девушка спрашивает:

— Что теперь делать?

Старуха говорит:

— Натопи баню и вымой хорошенько детей.

Она идет, топтит баню, воду греет, веники готовит. Приходит в избу и говорит:

— Тетья, баня готова.

Старуха кладет в берестяной короб лягушат и ящериц и говорит:

— Иди вымой этих детей.

Девушка идет и думает, что ничего себе дети. Девушка вымыла детей поодиночке, окатила чистой водой, положила в короб. Принесла старухе в избу детей. Подняла на припечек. Старуха спрашивает у детей:

— Хорошо ли выпарила?

Дети говорят:

— Хорошо. Ты никогда нас так хорошо не мыла. Она вымыла и окатила всех нас поодиночке.

Старуха говорит:

— Теперь, доченька, иди обратно. У меня больше нет работы.

Дает девушке в награду два сундучка. Девушка пошла, взяла один сундучок в одну руку, другой сундучок в другую руку, а по пути нашла еще и валеk. Приходит домой. Девушка-неряха говорит:

— Где ты была?

Она говорит:

— Полоскала белье, уронила валеk, пошла его искать. Попала по дороге в дом, была там служанкой. Эти сундучки получила в награду.

Девушка открывает сундучки: в одном было золото, в другом — шелка.

Девушке-неряхе тоже захотелось туда пойти и получить в награду такие сундучки. Она постирала немного белья, пошла полоскать, бросила валеk в прорубь под лед и прыгнула сама следом. Пошла по дороге в тот же самый дом, где была ее сестра. В доме старуха спрашивает:

— Откуда ты, девушка, зачем пришла сюда?

— Оттуда, с верхнего света. Пошла работы и еды искать.

Старуха говорит:

— У меня есть работа и еда.

Кормит, поит эту девушку. Посылает ее в хлев:

— Иди, напои и подои коров.

Девушка идет в хлев. Плеснула коровам холодной воды, у которой хвост, у которой сосок, у которой рог оторвала да еще кричит на коров. Приходит в избу:

— Вот молоко, работа сделана!

Старуха идет в хлев, спрашивает у коров:

— Какова служанка?

Коровы плачут от боли, ведь она каждой какой-нибудь вред причинила. Старуха спрашивает:

— Почему вы плачете?

Коровы говорят:

— Такую служанку прислала, которая плеснула нам холодной воды и всех нас искалечила.

Приходит старуха в избу. Говорит служанке:

— Иди натопи баню.

Идет девушка, немножко топит, с дымом закрывает баню. Приходит в избу, говорит старухе:

— Бани готова!

Старуха кладет детей — лягушек и ящериц — в берестяной короб и велит выпарить их. Девушка несет детей в баню, там дымно. Бросает лягушек и ящериц всех разом в корыто, холодную воду льет на них. И не попарила вовсе. Ломает кому хвост, кому ножку, глаза выкальвает. Дети плачут, кричат. Старуха спрашивает:

— Как служанка вас попарила?

Те плачут и говорят, что половину их она убила, а остальных сделала калеками. Старуха говорит [неряхе]:

— Теперь можешь идти. Нет у нас больше работы.

Девушка уходит. Старуха дает два сундучка. Говорит:

— Когда придешь домой, открой эти [сундучки] на пороге риги, и она будет полна добра.

Девушка пошла обрадованная, что у нее такие красивые сундучки с добром, и зашла в ригу. Как она открыла сундучки: в одном был огонь, в другом смола. Рига загорелась. Девушка-неряха почернела от дыма, как смола, и такой осталась на всю жизнь.

На том и кончилось.

26

Oli ennen ukko da akka. Oli ukolla da akalla yksi tytär. Tyttärellä oli nimi Maša. Maamo kuolou. A taatto lähtöy akka eččimäh. Mänöy, mänöy dorogaa myöt'en, tulou Syötär-akka vastah. Sanou:

— Terveh, kunne mänet?

Sanou:

— Mänen akkaa eččimäh.

— Ota milma.

— En ota.

Se Syötär-akka d'uoksi, kylgeh mäni dai taas vastah tulou, taas tervehyttä laadius:

— Terveh, kunne mänet?

— Mänen akkaa eččimäh.

— Ota milma.

— En ota.

Taas ielläh i mänöy mužikka. A Syötär-akka d'uoksou kylgie myöt'e. Taas vastah i tulou mužikalla.

— Terveh, kunne mänet?

— Mänen akkaa eččimäh.

— Ota milma.

— Ka tule sie.

I mändih kodih. Eletäh, ka se Syötärin akka ei rubie Mašaa Yuubimah. Saau hän iče tyttären. Pannah nimi Nataša. Syötärin akka sanou:

— Nukka viemmä Mašan meččäpertizellä, kuin kolssa ei kehtas laadie, annamma raaduo värččih.

No taatto i soglasieti. Pannah värččih kattilan'e da d'auhuo hutuksi, da työda. Lähtöy taatto viemäh. Viey meččäpertizellä da yksinäh d'ättäy. Maša kezriäy, kezriäy, igävöiččöy. Panou illalla päčim lämmitä, keittäy huttuo da rubei ildazella. Rubieu huttuo syömäh, ka tulou hiiri. Hiiri i sanou:

— Anna, Maša, krasnoi deviča, miula huttuo.

Maša i ando luzikalla hiirellä huttuo. Hiiri hutun söi dai päčim alla läksi, sanou:

— Passibo, Maša.

Maša söi dai vieröy maata. Kuulou, tulou veräjän taaksi i kolistau ovie. Maša i kyzzy:

— Ken on?

Kondie sanou:

— Avaal

Avai oven, ka kondie.

— A nukka, Maša, krasnoi devuška, «huukah», — kondie sanou, — mie rubien silma tabottelemah, a siula panen kellozen kaglah. Kuin tabottanen, ni siun. syön, a kuin en tabottane, ni loppuijän hyvin elät.

I panä Mašalla kellozen kaglah. Rubettih, a hiiri ruttozeh tuli, kellozen kaglasta otti, i Mašan päčim taaksi käški. Hiiri d'uoksen-delou, d'uoksendelou laučan alla. A d'o kuin kondie tabottelou, ni kaikki sraastil! Kondie d'o vaibu. Dai sanou:

— No riiči, Maša, krasnoi deviča, paikka.

Maša ruttozeh hiireldä kaglasta čillizen otti, dai mäni kerittämäh kondielda paikkua. Kondie sanou:

— Passibo, Maša, krasnoi deviča, prosti da viere maata.

Maša vieri maata i magaa huomnukseh saabe. Huomnuksella nouzi, lähtöy ullos. Avai oven, ka kaččou — kuin on pihalla kajkenmoista vaatetta, lipasta, kaikenmoista eluo. Maša ihastu.

A Mašalla kolssa on rikkikoirane. Koirane i haukkuu. A Syötär-akka paistau kakkaraa. Koirane haukkuu: «T'af, t'af, Natašan luut kolissah, a Mašan kullat helissäh». Syötär-akka ottau dai siizmalla andau bokkah, sanou:

— Midä, mado, haukut?

Taatto i sanou:

— Pidäy meilä lähtie Mašaa tuomah meččästä.

Dai taatto läksi tuomah. Hebozella läksi tuomah. Mänöy sinne, ka on midä kaččuo. Lipasta, vaatetta, d'alaččie, kaikkie on. Siidä Maša i sanou: senin, kondie toi.

Taatto rejen täyven keräi. Maša langat värččih keräi. I lähtietäh kodih. Rikkikoirane taas i haukkuu: «T'af, t'af, Mašan kullat helissäh, a Natašan luut kolissah». Syötärin akka taas uhvatkalla i andau koiraista:

— Midä, mado, haukut?



Tuldih pertih, ka on miät kääbuo: lippahie nošetah, pertih tullah. Syötären akalla rodih zaali. Sanou:

— Viemmä i Natašan.

Dai lähtiettih viemäh Nataškaa. Syötärin akka panou vähäzen työdä värčöih, panou huttuo keralla. Vei taatto meččäh, dai d'ättäy sinne. Nataša sidä kezriäy vähäzen. Tulou ilda, rubei huttuo keittämäh. Keitti hutun, ka rubieu ildazella. Tulou hiiri päcin taguada:

— Ana, Nataše, krasnaja deviča, huttuo.

Hiän händä luzikalla piädä vasse. Sanou:

— Siula huttu? Iše tahon!

Hiiri i läksi pois pagoh päcin taaksi. Söi i vieröy maata. Tulou kondie oven taaksi, kolistau. Mäni Nataša oveh — ka kondie. Kondie i sanou:

— Nukko, Nataša, krasnoi deviča, «huukah». Na, ota kellone kaglah, a mie rubien tabottelemah. Kuin tabottanen, ni ayön, a kuin en tabottane, ni palkan maksan.

I rubettih. Pani Nataša kellozen kaglah dai rubei d'uoksendele mah. Kondie tabotti dai söi, dai luuhuzet pölkyzellä pani pistyn.

Koira koissa i haukkuu: «T'af, t'af, Mašan kullat helissäh, a Natašan luut kolissah». Syötären akka ottau dai uhvatkalla i isköy, sanou:

— Hoi, mado!

Koira i pagoh d'uoksi laučan alla. Syötär-akka sanou:

— Pidäy Nataša tuuva pois, d'o Nataša eluo sai.

Tulou taatto, avai oven, ka luuhuot pölkyzellä. Värčöih pani da regeh lykkäi, da läksi kodih ajamah. Koirane taas haukkuu: «T'af, t'af, Mašan kullat helissäh, a Natašan luut kolissah». Tuli taatto kodih da lykkäi luut värčöizen kera lattiella. Maamo rubet itkemäh. Da starina sihi i loppu.

## 26. [МАЧЕХА И ПЯДЧЕРИЦА]

Были раньше муж и жена. У мужа и жены была одна дочь. Дочь звали Машей. Мать умирает, а отец отправляется жену искать. Идет, идет по дороге, встречается баба Сюотяр. Говорит:

— Здравствуй, куда идешь?

Говорит:

— Иду жену искать.

— Возьми меня.

— Не возьму.

Эта баба Сюотяр бежала, бежала, завернула в сторону и опять встречается, опять здороваётся:

— Здравствуй, куда идешь?

— Иду жену искать.

— Возьми меня.

— Не возьму.

Мужик идет себе дальше. А баба Сюотяр бежит сторонкой. Опять и встречается мужику.

— Здравствуй, куда идешь?

— Иду жену искать.

— Возьми меня.

— Ну иди.

И пошли домой. Живут, а эта баба Сюотяр не влюбила Машу. Родилась у нее самой дочь, дают ей имя Наташа. Баба Сюотяр говорит:

— А ну-ка отвезем Машу в лесную избушку, раз ей дома лень работать, дадим ей в мешке работу с собой.

Ну, отец и согласился. Кладут в мешок котелочек и муку для загусты и льна. Повез ее отец. Привозит в лесную избушку и оставляет одну. Маша придет, придет, скучает. Затапливает вечером печь, варит загусту и стала ужинать. Начинает загусту есть, прибегает мышь. Мышь и говорит:

— Дай, Маша, красная девица, мне загусты.

Маша и дала на ложке мышке загусты. Мышка загусту съела и под печку спряталась, говорит:

— Спасибо, Маша.

Маша поела и легла спать. Слышит — кто-то заходит в ворота и стучится в дверь. Маша и спрашивает:

— Кто там?

Медведь говорит:

— Открой!

Открыла дверь — а там медведь.

— А ну-ка, Маша, красная девица, [давай играть] в жмурки, — медведь говорит, — я буду тебя ловить, я тебе привяжу колокольчик на шею. Если поймаю, то тебя съем, а если не поймаю, то весь век хорошо проживешь.

И привязал Маше колокольчик на шею. Начали, а мышка подбежала, колокольчик у Маши взяла, а ей велела стать на печку. Мышка бегает, бегает под лавкой. А уж как медведь старается, старается поймать, прямо страсть! Уже устал медведь. И говорит:

— Ну, развяжи, Маша, красная девица, платок.

Маша быстренько у мышки с шеи колокольчик взяла и подошла к медведю развязывать платок. Медведь говорит:

— Спасибо, Маша, красная девица, прости и ложись спать.

Маша легла спать и спит до утра. Утром встала, выходит во двор. Открыла дверь и смотрит — во дворе стоят сундуки с одеждой и со всяким добром. Маша обрадовалась.

А у Маши дома есть маленькая собачка. Собачка и залаяла. А баба Сюотяр печет блины. Собачка лает: «Тяв-тяв, Наташины кости гремят, а Машино золото звенит». Баба Сюотяр взяла да стукнула сковородником по боку, говорит:

— Что, змея, лаешь?

Отец и говорит:

— Надо нам съездить Машу привезти из леса.

И отец поехал за ней, на лошади поехал. Приезжает туда, — а там есть на что посмотреть: сундуки, одежда, обувь — все есть. Потом Маша и говорит: так и так, медведь принес.

Отец полные сани нагрузил. Маша нитки в мешок собрала. И отправляется домой. Собачонка опять и лает: «Тяв-тяв, Машино золото звенит, а Наташины кости гремят». Баба Сюотяр опять ухватом и бьет собачку:

— Что, змея, лаешь?

Пришли в избу — есть на что посмотреть: сундуки в избу несут. Бабе Сюотяр стало завидно. Говорит:

— Отвезем и Наташу.

И повезли Наташу. Баба Сюотяр кладет только немного льна в мешок, кладет муку для загусты. Увез отец ее в лес и оставляет там. Наташа тут немного прядет. Наступает вечер, стала она загусту варить. Сварила загусту и стала ужинать. Вышла мышка из-за печки:

— Дай, Наташа, красная девица, загусты.

Она стукнула мышку ложкой по голове. Говорит:

— Тебе загусты? Я сама хочу!

Мышка и убежала за печку. Поела [Наташа] и ложится спать. Приходит медведь к двери, стучит. Пошла Наташа к двери — а там медведь. Медведь и говорит:

— Ну-ка, Наташа, красная девица, [давай играть] в жмурки! На, возьми колокольчик на шею, а я буду ловить. Если поймаю, то съем, а если не поймаю, то заработок выплачу.

И начали. Привязала Наташа колокольчик на шею и стала бегать. Медведь поймал и съел [ее] и кости сложил на чурку.

Собака дома лает: «Тяв-тяв, Машино золото звенит, а Наташины кости гремят». Баба Сюотяр ухватом и бьет, говорит:

— У, змея!

Собака и спряталась под скамьей. Баба Сюотяр говорит:

— Надо Наташу обратно привезти, уже достала Наташа добра.

Приезжает отец, открыл дверь, а косточки на чурке. Собрал их в мешок и бросил в сани. И поехал домой. Собачка опять лает: «Тяв-тяв, Машино золото звенит, а Наташины кости гремят». Приехал отец домой и бросил мешок с костями на пол. Мать стала плакать. И сказка на этом кончилась.

## 27. LAISKA TYTTÄR

Oli ennen ukko ta akka. Heillä oli yksi tyttö. Ukko kuoli. Tyttö oli hyvin kaunis, vain niin laiska, jotta ei suateta i mihi töihi. Akan pitäy häntä kyšymällä elättyä. Kerran tulou akka ky-

šymästä. Niin haukkuu tytärtäh, jotta kaikki hirvie, kun ei ole kehan hoti vettä käyvä, vain kiukualla muuta luhmottau.

Čuarin poika matkuan mečästä, nin kuulou, kun elämä kuuluu talošta. Hiän mänöy kaččomah, jotta mitä šielä on. Tyttö vain ohöttäy kiukualla. Čuarin poika šanou:

— Mitä šie papatat tiälä?

— Ka mitä mie en papata, — šanou akka, — kun tyttö niin ruatau, niin ruatau, jotta kun tuon kylästä liinua värčillisen, nin päivässä kesryäy. Kerkieis vielä vanhempanaki nuo voimah mänettä.

Eletäh tuas päivie, ta tuas akka kun rupieü tyttö haukkumah, miks ei .kehtua ruatua, nin čuarin poika tuas ni šattuu tulomah. Akka tuas kiäntäy, jotta «šitä haukun, kun en millänä šua töillä täytetykše». Čuarin poika arvelou, jotta pitäy tulla šulhasekše, kun on noin ruataja ta kaunis. Ošti kaikki hyvät vuattiet tai kävi tytön. Akka jäi hyvilläh, kun ošasi valehella.

— Emmä, — šanotah, — vielä häitä pie, kun on muita piiruja ensin, šitä jalešta piemmä hiät vašta.

No toiset kun lähettih piiruloih, nin tytöllä kannettih liinavärčči eteh, jotta «kesryä nyt šillä aikua, kun toiset lähtöy piiruloih».

Tytöllä hätä kateh. Hiän itkömäh, kun ei šuata i yhtä kesrätä. Tuli oikein kauhien näköni akka ta šanou:

— Ku häihi kuččunet, nin mie šiula kesryän.

Tyttö lupau kučču, ta hiän kesryäy liinat ta panou vyyhet nuakloih. Akka mäni matkahaš.

Piiruloista tulijat ihmetelläh hyvilläh, jotta «johan meillä nyt šattu kesryjä». Ta tuas toisena piänä kun lähetah tai tuuvah tuas värčillini kesrättävyä. Tuli toini akka, vielä kauhiempi, ta šanou, jotta «häiheš kun kuččunet, nin kesryän». Tyttö kyšyy, jotta «mistäpä teitä šuau kučču?» — nin akka š'euvou:

— Kujanšuušša on kallivo, kopahuta vain kallivoh, nin myö tulemma kallivon alta.

Niin akka hänellä tuas kesryäy. Piirumiehet ollah tuas hyvilläh. Šamoin kolmantena piänä hänellä tuuvah tuas kesrättävät, ta nyt kolmaš kaikkein kauhein akka ne hänellä kesryäy. Tuas piirumiehet ollah mielissäh, jotta ei minne šuaha.

Tai luajittih hiät. Šanotah, jotta «kuču šie heimokuntaš, kun ollou ketä».

— On miula, — šanou tyttö, — kolme tätie, mit pitäis kučču, vain ne ollah oikein hirvien näkösie.

No kumminki kun kašetäh kučču, nin hiän mänöy ta kopahuttu kallivoh, ta šieltä tulla viuhahtau jäti.

Šanou akka, kun tulou pirttih, jotta «en mie voi istuo enkä aštu, kun jalka ei pie yhtänä pravešua». Šitä jalkuah potkiu.

— Mipä šiula šiinä on? — kyšytäh.

— Ka kun olen ikäni kesrännyn, nin polkiessa on tämmösekse männyn.

«Ahah, — arvelou çuarin poika, — empäi pane akkuani kesrytmän enämpi, kun näin pahakse mänöy jalka».

Tuli toini täti kall'ivošta. Sillä kun käsi piekšäytyy ta šormet primpettäy jotta...

— Ei miušta ole vierahakse, kun ei pisy käsi paikallah, — šanou akka.

— Miä šiuła šiinä on? — tuaš kyšytäh.

— Ka kun ikäni olen kesrännyn, nin šentäh olen tämmöni.

Çuarin poika tuaš ni kuulou.

Tulou kolmas täti. Se kielelläh nuolekšiu ta piekšäy sitä. Šanou:

— Kun ikäni olen nuollun rihmoja kesräteššä, nin ei pisy kieli paikallah.

Çuarin poika arvelou, jotta «en ijäššäh anna akkani kesrätä, kun tuommosekse männäh». Niin piäsi tyttö, jotta ei tarvin kesrätä enämpyä ni konša.

## 27. ЛЕНИВАЯ ДОЧЬ

Были раньше старик да старуха. У них была одна дочь. Старик умер. Девушка очень красивая, но такая ленивая, что ни на какую работу ее не пошлешь. Старуха должна ее милостивей кормить. Однажды ходила старуха побираться и пришла домой. Так она ругает дочь, что даже страшно, потому что той день было привести даме воды, лежит себе на печи.

Царев сын идет из лесу и слышит, как шум доносится из дома. Он заходит посмотреть, что там такое. Девушка лежит себе на печи. Царев сын говорит:

— Что ты тут трещишь?

— Как не будешь трещать, — говорит старуха, — когда дочь так работает, так работает, что как только примесу из деревни мешок льна, то за день спрядет. Успела бы еще в старости истратить свои силы.

Прожили опять сколько-то дней, и опять, когда старуха начинает ругать свою дочь за то, что та ничего не делает, цареву сыну снова и случается проходить мимо. Старуха опять поворачивает [дело] так: мол потому ругаю, что никак не могу напасть на нее работы.

Царев сын думает, что надо прийти свататься, раз такая работающая и красивая. Накупил хорошей одежды и привел девушку [домой]. Старуха осталась довольнейконька, что так хорошо сумела наврать.

— Не будем, — говорят, — еще свадьбу справлять, потому что есть другие шеры, потом после справим свадьбу.

Ну, другие как пошли на пир, то девушке принесли мешок льна, что «спряди за то время, пока другие будут на пиру».

Девушка испугалась [букв.: беда в руки]. Она плакать, потому что нисколько не умеет прясть. Пришла очень страшная старуха и говорит:

— Если на свадьбу позовешь, то я тебе спряду.

Девушка обещает позвать, и она [старуха] спряла лен и мотки равесила на гвоздях. Старуха ушла своей дорогой.

Пришедшие с пира довольные, удивляются, что «наконец-то мы нашли прядильщицу». И на второй день так отправляются, и приносят опять мешок льна для прядения. Пришла другая старуха, еще страшнее, и говорит, что «на свадьбу если позовешь, то спряду». Девушка спрашивает, что «откуда вас звать?» — а старуха говорит:

— В конце прогона есть скала, стукни только по скале, и мы выйдем из-под скалы.

Так старуха опять ей спряла. Пришедшие с пира опять рады. И на третий день также ей приносят, что прясть, и теперь третья, самая страшная, старуха ей это спряла. Опять пришедшие с пира довольны, что не напастись работы [на прядильщицу].

И устроили свадьбу. Говорят [невесте], что «позови ты\* родственников, если у тебя есть кто».

— Есть у меня, — говорит девушка, — три тетки, которых надо бы позвать, но только они очень страшные.

Но все же, раз велят позвать, она идет и стучит по скале, и оттуда выходит тетка.

Говорит старуха, когда заходит в избу, что «не могу я ни сидеть, ни ходить, потому что нога нисколько не слушается». Ногой этой все время дрыгает.

— Что у тебя с ней? — спрашивают.

— Весь век пряла, крутила колесо, вот такая и стала.

«Ага, — думает царев сын, — больше я и не заставлю свою жену прясть, коли нога такая становится».

Пришла другая тетка из-под скалы. У той рука трясется и пальцы прыгают, что прямо.!

— С меня не гостья, потому что рукой не владею, — говорит старуха.

— Что с ней? — опять спрашивают.

— Весь век пряла, поэтому и такая.

Царев сын опять это и слышит. Приходит третья тетка. Та языком все лижет, и язык у нее болтается. Говорит:

— Весь свой век нитку слюнявила, прядя, вот и не держится язык на месте.

Царев сын думает, что «никогда в жизни не дам своей жене прясть, если такая становится». Так девушка избавилась, и не надо было ей больше никогда прясть.

Oli ennen ukko ta akka. Ukolla ta akalla on tyttö ta poika. Siitä heilä, vellisen, on musta lammas, ta hyö ukkoh kera lähetäh sitä eččimäh mečstä. Siitä luatiuvutah, jotta kumpani löytänöy, nin siitä pitäy karjuo toisellah. Hyö lähetäh toini toista tietä myöte. Siitä akka kävelöy, tai tulou Syöjätär vastah ta sanou, jotta «syle, huora, huotrahani ta muutu mussaksi lampahaksi meččäh». Akka vet ensin ei mielelläh ois sylken, vain viimein piti sylkie. Syöjätär karjuu:

— Hoi ukkosen, tule pois, mie löysin lampahan!

Ukko tuli, ta männäh kotih. Tyttö tulou vastah ta juoksou lampahan kaklah ta sanou, jotta «tämä on miun muamoni, ta tämä ei ole miun muamo». Sillä lampahalla ei anneta kuin juomista. Tyttö viepi sillä varastamalla leipiä. Siitä syötetäh muuven päivä, ta Syöjätär sanou, jotta tämä pitäy tappua, jotta ei kuolis ta ei laih-tuis. Ukko läksi tappamah, vain tyttö juoksi ja sanou, jotta «elä, tuattoseni, tapa muamuoni, vet tämä on miun muamo, vain Syöjätär muutti sen tämmöseksi». Ukko ei ni tappan sitä lammasta, vain heitti silläh ta mäni ruttoh pirttih ta pani veiččeh nuaklah. Toisena piänä Syöjätär sanou, jotta se pitäy tappua eikä sitä pie elättyä. A lammas sanou, jotta «kun, tyttön, milma tapetah, nin rokkua syö, vain lihoja elä, armahaiseni, syö. Ta ota ne luut ta keryä ta vie ne tuonne koivun juureh ta hautua sinne». Ukko läksi ta tappau sen lampahan, ta keitetäh keittuo, nin tyttö ei syö kuin vähäsen, a toiset syyväh jotta hirvittäy. Syöjätär sanou, jotta «vain tuo tyttö pitäy uhhotie kokonah, kun ei syö eikä mitänä».

Eletäh ta ollah, ka lähetäh čuarih, pitoih, kun sielä on hiät, ta Syöjätär oikein pyrittäy sinne käymäh. Sinne lähetäh ta tyttö ei ni oteta matkah, vain Syöjätär antau tehtävie tytölläh, jotta mitä pitäy ruatua sillä aikua, kun hyö ollah sielä. Suöjätär vielä suau tytön siinä lähtiessä, ta se kasvau hyvin ruttoh, jotta kerkisi niih pitoih. Siitä antau sillä vanhan akan tytöllä, jotta sevottau jyvie sekasin kolmie lajie ta käsköy ne selittämäh erikseh, jotta ne vain oltais selvemät. Tyttö mänöy muamoh luijen piällä ta itköy, jotta «auta, muamosen, milma, nyt jouvun mieki tapetta-vaksi». Muamoh sanou, jotta «ota tuosta koivusta varpa ta sano, jotta mänkyä, jyvät, erikseh, mitein ennen olija». Tyttö niin ni ruatau ta mänöy sinne jyvien luokse ta lyöy varvalla ta sanou, jotta «mänkyä, jyvät, sinne mitein ennen olija». Samassa kuin löi, niin jyvät mäntih eri läjih. Vielä vei sen vičan sinne mistä otti. Mäni vielä muamoh luo, ta pakajau muamoh, jotta «eikös siula, tyttön, haluttais sinne piiruih ta paaluih?».

— Ka mintäh sei miula haluttais, ka vet ei ole vuatetta mim-moistakana, kun on vain värčistä kosto yksi piällä.

Muamoh sanou, jotta «kun mie mänen hautah ta käsen heposen, nin yhdessä korvassa suoriuvu, toisessa peseyvy ta lähe sillä ajamah

sinne piiruih». Tyttö seisou ta vuottau hepolista, kä kääcou, kun heponi tuli, jotta yksi kylki on kultua, toini hopteta ta kölmättä ei vet väreissä ole. Tyttö ruttoh otti ta jaksautu tai hyppäi yhteh korvah — ka kuin puhas ta kaunis, jotta mualla ei toista ole! Hyppäi toiseh — ka kuin vuattiet, ni mualla ei moista vuattetusta ole! Ka niin, velli, tyttö hyppäi heposen selkäh ta läksi čuarin pitoih ajamah. Mäni čuarin pihah ta pani heposeh kiini. Ta kun väki näki hänen, niin juossah vastah, jotta ken tämä tämmöni on ta paissah, jotta tämä on varmah ulkomuan čuarin tyttö ta tuli pitoih. Häntä pantih parahih huonebih ta parahih stolih. Istuu stolassa ta kääcou, jotta Syöjättären tyttö stolan alla koirien kera kilpua luita jyrtsy. Hiän vet kuin potata kamahutti, ta silmä lenti pois Syöjättären tyttöltä. Ka kun Syöjätar rupei karjumah, jotta «ottuat kiini, ottuat kiini, jotta ken tuo oli, kun tuon čuuton luati, jotta tyttöltä silmän potkail». Rahvas hyppäi, vellisen, tyttyö ajamah, ka tyttö pakoh juoksomah, tai oltih justih suamassa, nin tyttö loi sormikkahan kiästäh ta niin i piäsi pakoh, kun rahvas ruvettih sormikasta tavottamah. Tyttö ajo sinne koivun luo ta anto muamollah heposen ta ne vuattiet ta pani sen väröčimekon pahasen piällah ta mäni kotihis ta rupei niitä jyvie liikuttelomah. Ne tulah, kun tyttö itköy kuin tapettu, kun silmä piästä läksi.

— Ka mi siula, sisären, on tullun sielä?

— Ka tuli sillä, kun čuarin pojan kera krovatilta krovatilla hypittih ta laučalta laučalla, nin sielä puhkai silmäh.

Tyttö sanou, jotta «vain kun, sisären, sielä oli väkie äijä ta kun kävi ulkomuan čuarin tyttö, nin se vasta oli kaunis, kun kaikki rahvas sitä kačottih». Sen naisen tyttö sanou, jotta «enkös muamosen, hoti mie ollun?».

— Ka a-voi-voi, siekö sielä olisit ollut! Ka et, kačo, vielä semmoni vekari ole, tai ei semmoset vuattiet oltu, kuin siula.

Toisena piänä lähetah, ta Syöjätar panou yhen patasellisen vettä ta yhen patasellisen maituo yhteh ta käsköy selvittyä tytön sillä aikua, kuin hyö ollah sielä pivoissa. Tyttö mänöy muamoh hauvan piällä ta itköy, jotta «nyt, muamosen, jouvun tapettavaksi, kun tuas pani vettä patasen ta maituo toisen yhteh ta käski minun selittyä».

— Ka ota, tyttön, tuosta varpa ta mäne lyö ristih, nin ne selkiey siitä.

Tyttö ruato työtä n'euvoittuo ta otti varvan ta löi ristih, ta maito i vesi selkisi erikseh ta toini toiseh pataseh. Tyttö vei sen varvan sinne entiseh paikkah ta mäni muamoh hauvan luokse. Tuas muamoh anto hänellä samammoisen heposen ta vielä paremmat vuattiet, ta tyttö lähtöy sinne piiruih ta paaluuh ajua körötelömäh. Ka kun mäni sinne, ta rahvas juossah vastah ta sanotah, jotta tuas se eklini tyttö on, ta otetah rahvas häntä hyväsesti vastah. Tuas kun syöy parasta ta hyvyä, nin kääcou, kun sisäreh syöy hyviä-parasta koirien kera stolan alta kilpua. Siitä kuin on



lähössä, niin ottau ta potkuau sitä sisärtäh, ka käsi i mäni poikki. Hiän juoksou ta sormuksen ni loi, ta rahvas sitä ottamah, tai piäsi pakoh. Vei heposeh ta pani pabat vuattiet piälläh ta alko liikutella niittä maitoja ta vesie.

Ka kun tullah, ka tyttö itköy, jotta käsi mäni poikki ta kipie on. No siitä Syöjätär sanou, jotta «sisäres kun čuarin pojan kera hyppi, nin sai rapsun».

— Ka enkös mie hoti potannun?

— Ka sie sielä et ollun, ka oli hos min čuarin tyttö ta se oli kaunis. Ta oli siinä kačottavua, kun heponi oli karva kultua, toini puoli hopieta ta kolmatta väriekänä ei ole.

Siitä tuas kolmantena piänä männäh sinne, a tyttö jätetäh kotih. A Syöjätär kuatau klukuan ta sanou, jotta «tätä kun et suanne valmeheksi, nin piältäs pois jouvut, kun tulemma pois pivoista». Tyttö mänöy muamoh luu ta suau sen varvan ta mänöy kotih ta lyöy ristih, jotta «tule, kiukua, kuvotuksi ta vielä parempi ennistä». Kiukua tuli valmeheksi ta tyttö vei varvan pois muamollah. Tyttö suau heposen ta vuattiet muamoltah ta mänöy čuarin pitoih. Ka kun rahvas mänöy vastah ta viijäh parempih pitoih. Ka tyttö kačou, kun sisäreh sielä koirien kera kilpua syöy, tai, velli, rävytytti potata sitä, ka jalka mäni poikki. Tyttö juoksou heposen luu ta luou kalossih jama ta piäsöy pois. Hiän viepi heposen ta suorieu omih vuatteihes ta mänöy puitto saviija keryämäh lattielta, jotta hiän sen on kuton.

Ka kun tullah ta sanotah, jotta semmoni sielä tuas oli, ta jalka mäni poikki, kun čuarin pojan kera telmi.

— Ka enkö se mie hoti ollut?

— Ka sie siinä vielä pakaja piättömie aseita, — sanou Syöjätär.

Ka nyt tuas čuarilassa tulou pivot, jotta kellä sopiu ne kalossi, sormikas ta sormus, nin se piäsöy hänellä morsiemeksi. Ka rahvas vet kuin kaikki käyväh ta Syöjätär vestäy ta vuolou jalkoja työtäh, jotta vain passuas ne veššat, ka ei vet suanut semmosie. Čuarin poika sanou, jotta vieläkö on semmosie ihmisie miän linnassa, ken ei ole käynyn näitä paššauttamassa.

— Ka on miula tyttö, mi ei ole käynyt tiälä.

— Ka antuat senki tullä ta paššauttua.

— Ka minnehän tuo on käynyt, hulvattu, — sanou Syöjätär sielä.

Tyttö kun mäni, nin justih i kävi ne kaikki. Vain tämän jälkeh čuarin poika sanou, jotta «tässä on miun akka». A nyt čuarin poika sanou, jotta «läkkä myö i nyt naiseni teitä ta kačomma sitä». Hyö mäntih ta tyttö i sanou, jotta «ole sie tässä vähäni aikua, nin mie käyn tuola». Poika i jäi, a tyttö mäni ta sanou, jotta «nyt mie, muamosen, jouvuin petah, kun čuarin pojalla naiseksi, ta vet ei ole kuin tämmöset pahat vuattiet».

— Ka tyttön, ota parahat vuattiet ta mäne, lapsen, ota kolme hepoista ta tavarua täyvet rejet.

Tyttö ruoto tämän käsetyn työn ta vasta siitä mäni miehen luó. Syöjätär neuvou tyttyöh, jotta «sie mäne kaimuamah ta kun tulou joki, nin luo sisäres jokeh ta mäne sen tilalla». Ka kun mänäh sillalla ta Syöjättären tyttö rupei luomah toista jokeh, ka kun, vellet, toini kiänty ta työnti sen jokeh ta sinne i jäi. Nyt kun mäntih čuarih, ka sielä vasta ruvettih häitä pitämäh erilailta ta hyväsesti, ei kuin ennein.

Nyt hyö sielä čuarissa ollah ta eletäh ta čuarin pojan naini tulou paksuksi tai suau lapsen. Syöjätär kun kuulou, jotta lapsi on tullun, ta lähtöy hammasta kantamah. Ka kun mänöy sillalla, ka näköy, jotta on hukanputki kasvan. «Ka anna hoti otan tuon punukalla». Vain kuin vejälti, nin sieltä karjutah, jotta «elä, muamosen, vejä — vet mie olen tiälä». Vain silloin Syöjätär läksi vualussah[?] čuarih, jotta mie en ole kenenkänä luoksenneltava[?] Tai mänöy čuarin luoksi ta ensimmäisessä huonehessa i karjuu, jotta «muatahko vain valvotah tiälä?».

— Ka eikä muata, eikä valvota, silma vasista[?] vuotetah, — vastuau kanan jäliččä hinkalosta.

Tulou vielä toisena piänä ta karjuu, jotta «muatahko tiälä vain valvotah?».

— Ka silma tiälä vuotetah, — tuas vet kanan jäliččä vastuau. A kun kolmantena piänä tuli, nin jäliččä oli joutun kuumah, niin ei voinut vassata, tai Syöjätär i piäsi huonehah. Tai sanou, jotta «syle, huora, huotrahani, muutu mussaksi petraksi, vain et sylkene, niin paikalla tapan!». Naini i sylki ta joutu petraksi meččäh, a Syöjätär sanou, jotta «rupienpas čuarin pojalla akaksi iče, kun ei tyttöni piässyt».

Lapsi ei rupie syömäh mitänä ta itköy, ta puapo i mäni ta sanou, jotta «emmä myö tule juttuh sielä kyllyssä». Kaččou, jotta ei tämä ole se entini naini, mi oli ta sai lapsen. Tuotih, vellisen, se Syöjätär lapsen kera pirttih, jotta ei ois niin paha olla sielä kyllyssä, ta kuin vielä itköy niin lujah, jotta ei ni mitänä tolkkuo tule. Ka kun tuuvah pirttih, nin toivotah, jotta se naini on rikottu ta tuommoseksi on männyn.

Kulu muuven päivä, tai yhtenä piänä petra mänöy leskiakkah ta sanou, jotta «kây sie se miun lapsi, jotta mie saisin vähäsen imettyä».

— Ka puitto en voi käyvä, käyn mie täksi yöksi.

Leskiakka mäni ta čuarin pojalta i kysyy, jotta «anna, poikan, mie hoijan tuata lasta yhen yön, kun hiän teilä noin itköy lujasti».

— Ka mintäh mie en voi antua, kun vain ottanet.

— Ka otan mie, kerran tulin käymäh.

Leskiakka otti lapsen ta mäni pihallah ta alko karjuo, jotta

sinikkisen, punikkisen,  
tule lastas ruokkimah,  
kun ei syö Syöjättäritä,  
eikä juo juojattarilta.

Silloin sinipetra tuli ta loi turkkih piältäh ta otti ta muuttu ihmiseksi ta syötti ta hoiti hyväsesti lastah.

Huomeneksella leskiakka vei lapsen, ta lapsi anto rauhassa muata koko čuarin väjen ta vielä koko yön. Toisena piänä taas leskiakka kävi lapsen ta mäni kotihis ta karjuu pihalla, jotta

sinikkisen, punikkisen,  
tule lastas ruokkimah,  
ihalaistas ruokkimah.

Ka silloin poro tuli pihah, loi sen turkkih piältäh ta mäni pirttih ta yön ajan hoiti vet lastah.

A kolmantena piänä i lähtöy vielä leskiakka käymäh lasta, kun se petra käski käyvä. Hän mäni käymäh ta sanou čuarin pojalla, jotta «anna, poikan, mie vielä kolmannen yön hoijan lastas, niin siitä sie suat hoitua. Tai sie kun voinet, nin lähe miun, köyhän, luo käymäh».

— Ka mintäh mie en anna, ka annan kun vielä niin hyvta hoijat. Tai iče tulen sinne, kun vain piäsen aseiltani.

Leskiakka otti lapsen ta mäni pois kotihis, tai čuarin poika niisi ruttoh mäni jälkeh ta tavotti vielä leskiakan tiellä. Leskiakka hänellä sanou, jotta «kun, vellisen, mänemmä meilä, nin mäne sie peittoh; nin kun tulou petra tiellä, kun mie kučun, nin sie ole peitossa, a kun mie suan sen pirttih ta hänen heittäy turkkih pihalla, nin sie ota ta polta se ta siitä tule pirttih ta sano, jotta „sie miun ta mie siun“, nin suat omas entises naises, a siula vet on nyt Syöjätär naisena ta oma on sinipetrana».

Poika mäni peittoh, ta akka kuču petran pihah ta vei sen pirttih, i poika sillä aikua, kun naini rupei lastah syöttämäh, nin poika otti ta poltti sen petran nahkan, a naini vasta viimeksi hyppäi ta karjuu, jotta «aivan turkkini ken lienöy polttat, kuin käryllä haisuul».

— Ka ken siulta poltti? — sanou leskiakka.

— Ka ken ni lienöy polttat, ka poltettu on, — i niin yritti pihalla, ka poika on ovilla jo tulossa ta karjuu, jotta «sie miun ta mie siun, nyt ei muuta kuin hyväsesti elämäh».

— Ka en mie siula lähe, vaikka rannan kivijä juossen! Ta vielä Syöjättären käsih toisen kerran — ka en mie, kačo, lähe, jo muamoni uhoti tai miun yhen kerran, nin en lähel!

— Ka se ei ni ketä uhoti, kun mie vain käsen hänet uhotie.

Tai mäni čuarih ta käski Syöjättären polttua ihan paikalla, ta se poltettih. Čuarin poika mäni ja otti naiseh ta lapseh ta ruvetih hyväsesti elämäh. Ka vielä i leskiakalla luajitti uuvet huonehet ta anto syömistä, juomista iäkseh.

## 28. ЧЕРНАЯ ОВЦА

Были раньше муж да жена. У мужа и жены есть дочь и сын. Есть еще у них, братец мой, черная овца, и однажды муж с женой пошли в лес ее искать. Договорились, что кто найдет, пусть крикнет другому. Они разошлись по разным дорогам. Ходит там жена, и встречается ей Сюоятар и говорит, что «плюнь в мой ножны и обернись черной овцой». Жениха сперва не хотела плюнуть, но в конце концов пришлось плюнуть. Сюоятар кричит:

— Хой, муженек, вернись — я овцу нашла!

Муж вернулся, пошли домой. Дочка выходит навстречу и бросается обнимать овцу, что «это моя мать, а та не моя мать». Овце не дают ничего, кроме поила. Дочка украдкой носит ей хлеб. Прошло тут несколько дней, и Сюоятар говорит, что «надо зарезать эту овцу, а то совсем исхудает да еще околеет». Муж пошел резать, но дочь побежала за ним и сказала, что «не убивай, отец, мою мать — ведь это моя мать, а Сюоятар ее превратила в овцу». Отец и не зарезал овцу, вернулся скоро в избу и повесил нож на гвоздь. На другой день Сюоятар говорит, что надо овцу зарезать, и незачем ее держать. А овца говорит, что «когда меня, доченька, зарежут, то ты суп ешь, а мяса, милая моя, не ешь. И возьми собери кости и закопай их вон под той березой». Отец пошел и зарезал овцу, и сварили суп. Дочь только немного поела, а другие едят, что страх. Сюоятар говорит, что «от этой девчонки надо избавиться, раз ничего не ест».

Жили да были, и отправляются на пир к царю на свадьбу, — Сюоятар очень уговаривает туда идти. Собираются туда, а дочь и не берут с собой, а Сюоятар дает ей работу, что надо делать, пока она будет там. Сюоятар еще тут перед отправлением родила дочь, и та выросла так быстро, что подросла к тому пиру. Потом дает [Сюоятар] дочери первой жены такую работу, что перемешала трех сортов зерно и велела это разобрать. Девушка идет на костях матери плачет, что «помоги мне, матушка, а то меня тоже убьют». Мать говорит, что «возьми ветку с этой березы и скажи: „Отделитесь, зернышки, как раньше были“». Дочь так и сделала и пошла в избу, ударила веткой по зерну и говорит, что «идите, зерна, как раньше были». Как только ударила — зерна тут же разделились на три кучи. Она отнесла ветку туда, откуда взяла. Подошла еще к матери, а мать говорит, что «не хочется ли тебе, доченька, на тот пир да бал?».

— Как же не хочется, но ведь у меня нет никакой одежды, кроме сарафана из мешковины, что на мне.

Мать говорит, что «как я спущусь сейчас в могилу, то вышлю тебе лошадь, ты в одном ухе вымойся, в другом оденься и поезжай на этой лошади на пир».

Дочь стоит и ждет лошадь, смотрит — прискакала лошадь: одна шерстинка золотая, другая серебряная, а третьей шерстинки и цвета не назвать. Девушка живо разделась, залезла в одно ухо — вышла такая чистая и красивая, что другой такой на свете не найти! Залезла в другое ухо — вышла в такой одежде, что на свете такой одежды не бывает! И так, братец, она села на лошадь и поехала на царский пир. Приехала на царев двор и привязала лошадь. Царские гости выбегают ей навстречу и говорят, что кто же это такая, что она, верно, иновемного царя дочь и сюда на пир приехала. Ее усадили в лучшие поком и за лучший стол. Сидит за столом и видит, что дочь Сюоятар под столом с собаками наперебой кости грызет. Она как пнет ногой, так у дочки Сюоятар глаз выбила. Сюоятар как закричит:

— Хватайте ее, хватайте ее! Кто она такая, что у моей дочери глаз выбила?!

Народ бросился, братец мой, ей вдогонку, чуть было уже ее схватили, а девушка тут перчатку с руки бросила и убежала, потому что народ бросился ловить перчатку. Девушка вернулась к берегу, отдала лошадь и ту одежду матери и одела снова сарафан из мешковины, зашла в ямбу и стада будто бы перебирать зернышки. Приходят те, а дочка [Сюоятар] ревет как зарезанная: глаз выбит.

— Что с тобой там случилось, сестрица?

— Как не случится — с царевичем прыгали с кровати на кровать и с лавки на лавку — вот и упала и без глаза осталась [Сюоятар говорит].

Дочь [Сюоятар] говорит:

— Сколько там, сестрица, народу было! И дочь иновемного царя приезжала, вот была красавица! Весь народ любовался. Сиротка говорит, что «не я ли это была?».

— А-вой-вой, она там была! У тебя еще нос не дорос, да и одежда у той не такая, как у тебя.

На другой день засобирались, и Сюоятар взяла горшок молока и другой воды, слила в одну посуду и велит падчерице отделить молоко от воды, пока они на пиру. Девушка идет к могиле матери и плачет, что «теперь, маменька, меня убьют: слила молоко с водой и велела отделить».

— Возьми, доченька, веточку и ударь крест-накрест, так все будет по-прежнему.

Дочь послушалась совета, взяла ветку и ударила крест-накрест: вода и молоко оказались в разных горшочках. Девушка отнесла веточку на прежнее место и подошла к могиле матери. Опять мать дала ей такую же лошадь, а одежду еще лучше, и девушка поехала туда на пиры да балы. А как приехала туда, народ бежит навстречу, и говорят, что «опять эта вчерашняя девушка приехала», и хорошо ее встречают. Опять ее угощают самым лучшим, и видит она, что сестра с собаками наперебой под столом уго-

щается. Перед тем как уйти, взяла она да и пнула сестру — у той рука и сломалась. Она бежать, кольцо бросила — люди его ловить, ей и удалось убежать. Отвела лошадь, одела на себя худую одежду и начала будто бы переливать молоко и воду.

А те как приходят, так дочь плачет, что рука сломалась да больно. Ну, Сюоятар говорит, что «сестра твоя с царевичем прыгала, вот и несчастье случилось».

— Да не я ли хоть пнула?

— Тебя там не было, а была там какого-то царя дочь, да такая красивая, что было на что смотреть. И лошадь у нее — шерстинка золотая, другая серебряная, а третьей и цвета не назвать.

На третий день снова идут на пир, а ту девушку оставляют дома. А Сюоятар свалила печь и говорит, что «если печь не будет стоять по-прежнему, когда мы вернемся, то быть тебе без головы». Девушка идет к матери, берет ту ветку, идет домой и ударяет крест-накрест, что «сложись, печь, да чтоб была лучше прежнего». Печь сложилась, и девушка отнесла ветку обратно матери. Мать дает ей лошадь и одежду, и она идет на пир к царю. А народ встречает ее, и ведут на лучшее место. Видит она — сестра с собаками наперебой ест; она, братец, как пнет ее — у той нога и сломалась. Девушка побежала к лошади, сбросила галошу с ноги — так и удалась ей уйти. Она отвела лошадь, переделалась и пошла в избу, стала глину с полу собирать, как будто она и сложила печь.

Приходят те и говорят, что такая там была [красавица], да нога [у сестры] сломалась, как с царевичем баловалась.

— Да не я ли там была?

— Будет тебе пустое болтать, — говорит Сюоятар.

Ну, теперь опять у царя собирают пир: кому подойдет эта галоша, перчатка да кольцо — та и будет невестой царевича. Все приходят мерить, а Сюоятар стругает ноги [и руки] у своей дочери, чтобы подошли эти вещи, но никак не подходят. Царев сын спрашивает, что «есть ли еще люди в городе, которые не приходили примерять?».

— А есть у меня дочь, но она здесь не бывала.

— Так пусть и она придет и примерит.

— Нигде эта бестолковая не бывала, — говорит Сюоятар.

Девушка как пришла, то все ей и подошло. После этого царев сын говорит, что «вот эта моя жена». А теперь царев сын говорит, что, «пойдем, жена, по тем дорожкам, по которым ты жавала». Они пошли, а девушка и говорит, что «побудь здесь недолго, а я схожу туда». Он остался, а девушка пошла [к могиле матери] и говорит, что «теперь я, маменька, в беду попала: царев сын взял меня в жены, а ведь у меня ничего нет, кроме этой плохой одежды».

— Так возьми, доченька, лучшую одежду и возьми, дитя мое, трех лошадей с тремя возами всякого добра.

Девушка сделала, как мать велела, и после этого вернулась к мужу.

Сюоятар учит свою дочь, что «ты иди провожать ее, и как будете реку переходить, толкни сестру в воду и сама иди на ее место». Когда пришли на мост, дочь Сюоятар хотела было толкнуть сестру в реку, но та, братцы, вперед ее толкнула — другая там и осталась. Пришли к царю и стали свадьбу играть на славу, как раньше не игрывали.

Живут они там в царском доме, и забеременела жена царевича и родила ребенка. Сюоятар как узнала, что ребенок родился, собралась на зубок что-нибудь снести. Пришла на мост, видит, что выросла дудка: «Дай-ка возьму вто для внучка». А как дернула, оттуда крикнули, что «не рви, маменька, это ведь я тут». Тут Сюоятар разъярилась и понеслась к царю. Пришла к царю и в первой комнате кричит, что «тут спят или бодрствуют?».

— И не спят, и не бодрствуют, тебя негодную ждут, — отвечает куриное яйцо с шестка.

Приходит на другой день и кричит, что «спят ли тут или бодрствуют?».

— Тебя тут дожидаются, — опять куриное яйцо отвечает.

А на третий день как пришла, то яйцо покатилося в жаркое место и не могло ответить. Сюоятар и проникла в комнаты. Да и говорит [жене царевича], что «плюнь, курва, в мои ножны и превратись в черную важенку, а если не плюнешь, то тут же убью». Женщина плюнула и оказалась важенькой в лесу, а Сюоятар говорит, что «стану-ка я сама женой царевича, коли дочери моей не пришлось».

Ребенок ничего не ест и плачет все, и повитуха пошла в избу и сказала, что не знает, что и делать с ним. Смотрит она, что не та это женщина, которая ребенка родила. Привели, братцы, эту Сюоятар с ребенком в избу — может, здесь ему будет лучше, чем в бане, и плакать перестанет. В избу как привели, то [домашние] подумали, что невестку испортили, оттого и стала на себя не похожа.

Прошло несколько дней, и однажды важенка идет к старухе-вдове и говорит, что «сходи за моим ребенком и принеси мне, чтобы я могла его немного покормить».

— Как не принести, уж я принесу его на эту ночь.

Вдова пошла и у царевича и спрашивает, что «дай, сынок, я поняичу вашего ребенка эту ночь, уж очень сильно он плачет».

— Отчего же не дать, коли возьмешь.

— Возьму, раз пришла за ним.

Вдова взяла ребенка и пришла на свой двор и начала звать, что

синюха-краснуха,  
поди свое дитя кормить:  
не ест у Сюоятар,  
не пьет у Сюоятар.

Тут синяя важенка пришла, и сбросила с себя шкуру, да обернулась человеком, и стала кормить ребенка и нянчиться с ним.

Наутро вдова отнесла ребенка, и ребенок в следующую ночь дал всем спокойно спать. На другой день вдова опять сходила за ребенком и пришла на свой двор да повзвала, что

синюха-краснуха,  
иди свое дитя кормить,  
ненаглядного поить.

Тут примчалась важенка, и сбросила с себя шкуру, да зашла в избу, и всю ночь нянчилась с ребенком.

Еще на третий день вдова идет за ребенком, раз важенка велела. Пришла она и говорит царевичу, что «дай, сынок, я еще третью ночь понянчу твоего ребенка, а потом уж нянчись ты сам. И если сможешь, то приходи ко мне, бедной вдове».

— Почему бы не дать ребенка, коли ты так хорошо его нянчишь. И сам придю к тебе, как только с делами управлюсь.

Вдова взяла ребенка и пошла домой, а царевич вскоре пошел за ней и догнал ее по дороге. И вдова говорит ему, что «когда, братец, придем ко мне, то ты спрячься. И как покажется важенка на дворе, а я ее позову, то ты не выходи. А когда я приведу ее в избу — она шкуру свою сбросит во дворе, — то ты возьми да сожги шкуру и потом приходи в избу да скажи, что „ты моя, а я твой“, и так получишь обратно свою прежнюю жену, а то у тебя ведь женой Сюоятар, а своя жена синей важенкой бегает».

Царевич спрятался, и старуха повзвала важенку во двор да повела ее в избу, и царевич тем временем, когда жена кормила ребенка, взял да сжег оленью шкуру, а жена вскочила и кричит, что «верно, шкуру мою кто-то сжег, раз гарью пахнет!».

— Да кто ее мог сжечь? — говорит вдова.

— Кто бы ни был, но шкура сожжена! — и бросилась было на двор, но царевич в дверях встретился и кричит, что «ты моя, а я твой — будем по-хорошему жить, больше никаких».

— Не стану я с тобой жить! Лучше я весь век буду по прибрежным камням бегать, чем дамся второй раз в руки Сюоятар. Не вернусь! Она мою мать погубила и меня уже однажды, не пойду!

— Теперь уж она никого не погубит, раз я велю ее погубить.

И пошел домой и приказал тут же сжечь Сюоятар, и ее сожгли. Царевич вернулся да взял свою жену и ребенка, и стали они хорошо жить. Да еще вдове велел построить новый дом и дал еды да питья на весь ее век.



Eli kerran ukko ta akka. Heilä oli tytär. Akka i läsiyty. Ennen kuolentua tyttärelläh jätti käsipaikan ta sieran, a ukollah jätti kuokan. Ukko i alko ahissella tyttäreh. Hyö lämmitetäh kyly, i ukko tuumuau, jotta kylyssä hiän ahistau tyttäreh. Ukko käsköy tyttäreh kylyö valmistamah. No tytär läksi kylyö valmistamah tai arvai, mittyet on ukolla meininkit. Kylyssä hiän šylki altahan piäh, mi puaji hänen ieitä. Iče läksi pakoh juokšomah. Tulou ukko kylyh i šinčistä kyšyy, onko hiän kylyssä. No šylki i vaštuau altahan piästä. Ukko mäni kylyh, ka ei ni niä tyttäreh. Eččiy, eččiy, no ei löyvä. Ukko tyttärellä peräh. Juokšou, juokšou, jo alkau näkyö:

— Kačaha, tyttöin, tänne päin!

Tytär kuulou, jotta ukko on takana, lyöy šenin käsipaikalla kolmičči ristih i šanou:

— Täh tulis vierukka-vuarukka,  
kivikkö, kannikko,  
jotta ei piästäis jaloin juoksijat,  
ei šilvin lentäjät,  
yličči, ei ympäri,  
ei päičči, ei piäličči.

Ukon ta tyttären välih šenin tulou šuuri vuara. Ukko arvelou:  
«Olisko še akkani jättämä kuokka tässä!».

Tai juokšou, käyt kuokan koistah. Tulou, kaivau, kaivau tai šuau reijän läpi vuarašta. Rupieu kuokkua peittämäh, a lintunä i näköu tai laulau:

— Či, či, čijasen,  
Vajan-kujan varpusen,  
Ukko peiton peittäy,  
mie šanon kylän akoilla,  
kylän akat viljäh.

— Huh, huh, huh, vielä ne kuokka viijäh, — šanou ukko ta kuokan kotih vey.

Tuaš juokšou peräh. Jo on tavottamašša. Tyttö i kuulou. Tuaš kolmičči käsipaikalla ristih lyöy i šanou:

— Täh tulis vierukka-vuarukka,  
kivikkö, kannikko,  
jotta ei piästäis jaloin juoksijat,  
ei šilvin lentäjät  
yličči ei ympäri,  
ei päičči, ei piäličči.

Tuaš hiän välih šuuri vuara kašvau. Ukko tuaš i tuumuau, jotta «olis kun akkani jättämä kuokka tässä», tai käyt kuokan koistah.

Kaivau, kaivau tuaš i piäšöy vuaran läpi. Rupieu kuokkua peittämäh, a lintuni puušša i laulau:

— Či, či, čijasen,  
vajan-kujan varpusen,

ukko peiton peittä,  
mie šanon kylän akoilla,  
kylän akat viijäh.

— Huh, huh, huh, vielä ne kuokka viijäh, pitäy kuokka kotih viijä, — ta ukko kuokan tuaš kotih viey.

Tuaš i juokšou, juokšou tyttäreh perässä. On yllättämässä tai šanou:

— Kačaha, tyttöin, tänne päin!

Tytär tuaš i kuulou tai kačahtau tuakše päin. Ukko on aivan tavottamaisillah. Nyt tytär lyöy ristih kolmičči sieralla tai šanou:

— Täh tulis tulini koški tai košen kešellä šuari!

Niin i tuli, tai ukko jäi kešellä koškie šuareh. Tuoštah tytär piäsi rauhah ukošta.

## 29. [ПОГОНЯ ЗА ДОЧЕРЬЮ]

Жили когда-то старик и старуха. У них была дочь. Старуха и заболела. Перед смертью оставила дочери полотенце и брусом, а старику своему оставила мотыгу. Старик и начал приставать к своей дочери. Они затопили баню, и старик думает, что в бане он пристанет к дочери. Старик велит дочери приготовить баню. Ну, дочь пошла готовить баню и догадалась, что за думы у старика. В бане она плюнула на корыто, чтобы слюна говорила за нее. Сама пустилась бежать. Приходит старик в баню и спрашивает из сеней, в бане ли она. Слюна с корыта и отвечает. Старик заходит в баню, а дочери и не видать. Ищет, ищет, но не находит. Старик за дочьрью следом. Бежит, бежит, вот уже увидел ее:

— Оглянись, доченька, назад!

Дочь слышит, что старик сзади, махнет этак полотенцем три раза крест-накрест и говорит:

— Пусть будет здесь круча-гора,  
камни да пни,  
чтобы не могли пройти  
ни на ногах бегающие,  
ни на крыльях летающие,  
ни через, ни в обход,  
ни вдоль, ни поперек.

Так между стариком и дочьрью появляется большая гора. Старик и думает: «Была бы тут женой оставленная мотыга!». И бежит, приносит из дому мотыгу. Приходит копает, копает и прокапывает дыру сквозь гору. Начинает мотыгу прятать, а птичка и видит да поет:

— Чи-чи, моя синичка,  
валя-куяя,<sup>1</sup> воробушек!  
Старик мотыгу прячет.

<sup>1</sup> Звукосочетание, внесенное для ритма и аллитерации.

Я скажу деревенским бабам —  
деревенские бабы украдут.

— Ху-ху-ху, еще мотыгу украдут, — говорит старик и несет мотыгу домой.

Опять бежит следом. Вот уже нагоняет. Дочь и слышит. Опять трижды машет полотенцем крест-накрест и говорит:

— Пусть будет здесь круча-гора,  
камни да пни,  
чтобы не могли пройти  
ни на ногах бегающие,  
ни на крыльях летающие,  
ни через, ни в обход,  
ни вдоль, ни поперек.

Опять между ними вырастает большая гора. Старик опять и думает, что «была бы тут женой оставленная мотыга», — и идет домой за мотыгой. Копает, копает, и опять проходит сквозь гору. Начинает мотыгу прятать, а птичка на дереве и поет:

— Чи-чи, моя синичка,  
аяяи-куяя, воробушек!  
Старик мотыгу прячет.  
Я скажу деревенским бабам —  
деревенские бабы украдут.

— Ху-ху-ху, еще украдут мотыгу, надо мотыгу домой отнести.

И старик опять уносит мотыгу домой. Опять и бежит, бежит за дочерью. Вот уже нагоняет и говорит:

— Оглянись, доченька, назад!

Дочка опять слышит и оглядывается назад. Старик вот-вот схватит. Теперь дочь ударяет брусом трижды крест-накрест и говорит:

— Чтобы здесь появился огненный водопад и посреди водопада остров!

Так и случилось, и старик остался посреди водопада на острове. Тут девушка избавилась от старика.

Oli ennen ukko da akka. Oli heilä yksi tytär. Maamolle oli peigalo sinine dai tyttärelläh. Tytärä kučuttih Mašaksi. Siidä maamo kuolou. Maamo i sanou kuollessa ukolla:

— Mie kuin kuolen, ni ota akka, štobj olis akalla sinine peigalo.

Kuoli akka, ukko läksi eččimäh toista akkoa. Ečči, ečči sielä viikon aigoa, ei ni mistä voi löydyä semmoista, štobj olis sinine peigalo. Tuli kodih, sanou tyttärelläh:

— Nyt pidäy tulla siula miehellä.

A tytär hänellä vastazi:

— Kuin ostanet orahankarvalla šulkun, niin lähen miehellä.

Taatto läksi, laukkah käy, toizeh käy, kolmannesta i löydi.  
Tuli kodih i tyttäreällä i andau:

— Tässä on, Maša, šulku.

Tytär sanou:

— Ei vielä. Kuin ostanet zor'ankarvalla šulkun, ni siidä tul-  
len.

Taatto touze laukasta taas ečči, toizesta ečči, kolmandesta  
i löydi. Tuli kodih i sanou tyttäreälläh:

— Tässä šulku, d'ogo tulet?

Tyttö sanou:

— En tule. Kuin ostanet vielä kolmannen — tähenkarvalla, sil-  
loin vasta tulen.

Taatto taas läksi, laukasta ečči, toizesta ečči, kolmannesta  
i löydi. Tuli kodih i sanou:

— Tässä šulku, d'ogo tulet?

Tyttö sanou:

— En vielä tule. Löyvä raudane lipas, missä mie voizin seizuo,  
ištuo, viruo, da siämeštä lukkuuduis.

Siidä löydi taatto kolmannesta laukasta lippahan. Löydi, toi.

— No d'ogo tulet?

— Nyt tulen, vain lähemmä, taatto, venčah.

Tyttö ottau keralla lippahan dai šulkut. Lähetäh, tytär istuu-  
duu soudamah. Taatto istuuduu peräh. Souvetah, souvetah. Tytär  
i sanou:

— Taatto, miula ullos tahottau.

Taatto sanou:

— Dai miula tahottau.

Tytär i sanou taatolla:

— Mäne sie iellä käy.

Taatto kuin läksi meččäh ullos, a tyttö sillä aigoa lippahah  
da lippahan lukkuh. Tuli taatto, ka ei ole tyttyö. Kirguu:

— Ka Maša, ka Maša!

Mašoa ei ole ni missä, iändä ei anna Maša. Hyppiäy taatto  
maada myöt'en, ei ni mistä kuulu Mašoa. Otti venchen lykkäi  
vezillä, vähäzen matkai, a hänellä on paha mielestä, što tytär kado.  
Pahassa mielessä sanou:

— Kuin tytär mäni, ni mäne i sie, — i lykkäi lippahan vedeh.

Läksi d'äreälläh pahalla mielin taatto soudamah kodih. A lipas  
läksi vettä myöt'en kublamah. Kublau, kublau, kublau vettä myö-  
t'en. A Ivan-careivičan kazačihat kannetah vettä kylyh, dai nähäh  
že lipas vejessä paistau, kuin tähti loittona. Gi sanotah Ivan-carei-  
vičalla:

— Mi niä paistau, kuin tähti, tuuvalla vejellä?

Hiän kaččou — paistau. Sanou:

— Pidäy händä tuuva, mi hiän on.

Lähetthi, venehellä souvetah kazačihat, dai Ivan-careivič on venehessä. Mändih sinne — ga lipas! Nossetthi veneheh da tuodih kodih. Kuott'elou avata, ka ei ni millä voi avata. Siidä eisti zen lippahan oman krovatin viereh.

A Ivan-careivičalla ei ni kedä, kuin kaksi kazačiho. Ilda on. Lähetäh hyö bes's'odah, a laaitah sija da syömine, ildane pannah stolalla. Kai lähetthi bes's'odah. Maša sillä aigoa nouzou. Panou orahankarvalla šulkun piällä, mänöy, stolassa syöy vähäzen i mänöy vähäzen kävelöy latetta myöt'en. Kuin hiän söi, niin d'ai d'algi laučah i lattieh, orahankarvalla d'algi d'äy. I mänöy vähäzen Ivan-careivičan krovatilla magoau. Ennen heijän tulendua taas mänöy lippahah. Tulou Ivan-careivič kazačihojen kera bes's'odasta. Kazačihat i sanotah:

— Ken ollou ollut, kuin on d'algi d'iänyn stolah dai lattieh, dai on siun krovatilla muannun, dai on syönnyn.

A ei voija arvata, ken on ollun. Kačottih da maata vierdih, ei ni kedä niähty. Toine päivä mänöy, taas ilda tulou, taas hyö samoia sidä luajitah, syömine varussetah i lähetäh bes's'odah. Taas kuin lähetthi, ka hiän ni nouzou lippahasta. Suorieu, panou zor'ankarvalla šulkun. Syöy stolassa, d'algi d'äy, kävelöy pertiä myöt'e, d'algi d'äy, mänöy magoau krovatilla, d'algi d'äy. Dai taasen ennen hiän tulendua lippahah mänöy. Tullah taas bes's'odasta dai matalla paissah:

— Taasko ollou kedä ollun meilä vain eigo ole ollun?

Tuldih, ka taas on lattiella kävellyn dai krovatilla maannun. Ivan-careivič sanou:

— No olgahäze.

A iče i duumaiččou: «Ken že on kävelijä?». Tulou päivä, ka mänöy leskiakkazen luoksi i sanou leskiakalla:

— Etgö sie midä-tiijä, mi hiän meilä on pertissä: kuin lähemmä illoilla, tulemma, ni kenen oldaneh jälet pertissä?

Leskiakkane hänellä i sanou:

— Siula on lippahassa tyttö, varussa vain taas tänäpäinä il lalla sijat dai stolat, kazačihat työnnä bes's'odah, iče viere hi'l'akkaizeh lippahasta vaste. Anna hänellä valda: kuin syöy — kačo, kuin kävelöy latetta myöt'en — kačo, a kuin vieröy siun sijalla maata, ka sinne sie mäne, — i juohattau, sanou, — sano: «Terveh, anna šuuda». I sano: «Sie miun akka, mie siun ukko». Sie siidä otat hänen miehellä.

Ivan-careivič tulou kodih. Ilda tuli, kazačihat bes's'odah työndäy, stola pannah, sija laaitah, a Ivan-careivič sanou:

— Mängiä työ kahen, a mie tänäpäinä en lähe, — kazačiholla sanou hi'l'akkaizeh.

Kazačihat lähetthi, a hiän mäni istuudu krovatin taakse. Istu, ka Maša nouzou lippahasta. Nouzou, ka suorieu, panou tähankarvalla šulkun. Mänöy istuuduu syömäh stolan luoksi. Ivan-carei-

viē kaččou: latetta myöten kävelöy že Maša. Tulou, vieröy hänen krovatilla maata. Ivan-careivič nouzou hil'akaizeh, mänöy hil'akaizeh i andau šuuda, sanou:

— Sie olet miun akka, mie siun ukko.

No hyö i yhytäh. Tullah kazačihat bes's'odasta, ka Ivan-careivičalla d'o akka.

Ruvetah hyö elämäh, kaikki elos lien toizenmoine, sadut ruvettih pihalla kazvamah. Saau Maša enzi vuodena poijan.

Lähtöy suovattana Maša kazačihan kera vettä kandamah kylyh. Tulou Syöttäriin akka vastah. Dai sanou:

— Muutu mussalla merellä mussaksi sorzaksi.

Kolme kerdoa hänellä sanou, hän ei paikalda liikaha. I carevna muuttu sorzaksi dai läksj lendämäh. A Syöttäriin akka läksi vettä kandamah. Päivät lendelöy merillä, a yöksi tulou kylyn salmolla čieppih. Syöttäriin akka mäni kodih, lapsi, že poiga, ei mäne ni rinnalla, dai sadut ruvettih langiemah, dai iče Ivan-careivič ei ole vesselä. Kazačihat kuin kävelläh siinä rannalla, niin kuuMäh, kuin sorza kzyzy kazačihoilda:

— Lipajaugo lehyt, porraugo poigane, a ongo i herrani murehessa?

Kazačiha hänellä i vastuau:

— Eigä lipaja lehyt, eigä porroa poigane, eigä i herrani ole murehessa.

A Ivan-careivič taas mänöy leskiakkazen luoksi, sanou:

— Kuin miula taas elämä muuttu?

A leskiakka sanou:

— Siula on Syötär-akka akkana, a siun oma akka merellä sorzana.

Ivan-careivič sanou:

— A kuinbo mie voizin saaha?

Leskiakka d'uohattau, sanou:

— Že sorza tulou yöksi kylyn salmoh čieppih. Tahkuo vain miekka ylen näbieksi, štobi iskizit kerran, dai poikki mänis čieppi, i siidä hiän muuttuu siula akakši.

Ivan-careivič tulou kodih i rupezi hivomah saab'oa. Illalla i mänöy vardeimah. Tuli sorza. Hiän iski kerran čieppie, že mäni poikki, dai sorza muuttu jällelläh akaksi. I astu akka ukkoh keralla kodih. Lapsi ihastu maamah, sadut ruvettih uvestah cvettimäh. A Syöttäriin akka on siinä talossa toizessa pertissä, valmeheksi triebuiččou syömistä, kannetah hänellä. Ivan-careivič käsköy kazačihoilla kylyn lämmitiä. Kaivattau ylen suuren hauvan žen kylyn edeh. Panou tervoa sillä hauvalla siämeh valmeheksi. Levittäy ruskien sarran. Dai työndäy žen Syötär-akan enziksi kylyh. Niin kuin počitaiččiis händä. Astuu se Syötär-akka kylyh. Ukko astuu hil'akaizeh d'algeh. Astu, astu žen hauvan kohtah, ukko žen sarran vejäldi, da Syötär-akka haudah pystypäin. Da spičkan lykkäi, dai sihi i Syötär-akka palo.

Ivan-careivič piäzi hyvän akan ker elämäh. Sadut cvettimäh, poiga voimah. Kaikki läksi elos hyvin matkoamah. Siinä i loppu:

Были раньше старик и старуха. Была у них одна дочь. У матери большой палец [на руке] был синий и у дочери также. Дочь звали Машей. Потом мать умирает. Мать, умирая, и говорит отцу:

— Когда я умру, то возьми жену, чтобы у нее большой палец был синий.

Старуха умерла, старик пошел искать другую жену. Искал, искал долгое время, но нигде не может найти такую, чтобы большой палец был синий. Пришел домой, говорит дочери:

— Теперь ты должна выйти за меня замуж.

А дочь ему ответила:

— Если купишь платье из шелка цвета зеленой, тогда выйду.

Отец пошел; заходит в лавку, заходит в другую, в третьей и нашел. Пришел домой и дочери подает:

— Вот, Маша, платье.

Дочь говорит:

— Не выйду еще. Если купишь платье из шелка цвета зари, тогда выйду [за тебя].

Отец опять пошел в одной лавке, искал в другой, в третьей и нашел. Пришел домой и говорит дочери:

— Вот платье, выйдешь ли уже?

Девушка говорит:

— Не выйду. Если купишь еще третье платье — цвета звезды, только тогда выйду.

Отец опять пошел, искал в одной лавке, искал в другой, в третьей и нашел. Пришел домой и говорит:

— Вот платье, выйдешь ли уже?

Девушка говорит:

— Не выйду еще: найди железный сундук, где я могла бы стоять, сидеть, лежать, и чтобы изнутри он запирался.

Потом нашел отец в третьей лавке сундук. Нашел, принес.

— Ну, выйдешь ли уже?

— Теперь выйду. Пойдем, отец, венчаться.

Девушка берет с собой сундук и шелковые платья. Отправляются, дочь садится грести. Отец садится на корму править. Гребут, гребут. Дочь и говорит:

— Отец, мне по нужде хочется.

Отец говорит:

— И мне хочется.

Дочь и говорит отцу:

— Иди ты вперед сходи.

Отец когда пошел в лес по нужде, дочь тем временем в сундук, а сундук заперла. Пришел отец — нет дочери. Кричит:

— Маша! Маша!

Маши нет нигде, а Маша голоса не подает. Побежал отец по берегу, нигде не слышно Маши. Взял лодку, толкнул на воду, не-

много проехал, а ему горько, что дочь пропала. С горенью говорит:

— Раз дочь пропала, пропадай и ты, — и бросил сундук в воду.

Стал отец опечаленный грести обратно домой. А сундук по воде поплыл. Плывет, плывет по воде. А работницы Ивана-царевича носят воду в баню да и видят этот сундук на воде — как звезда сияет издали. И говорят Ивану-царевичу:

— Что это сияет, как звезда, там на воде?

Он посмотрел — сияет. Говорит:

— Надо это привести, что это такое?

Поехали на лодке, гробут работницы, и Иван-царевич тоже в лодке. Подъехали туда — так это сундук! Подняли его в лодку и доставили домой. Пытается [Иван-царевич] открыть, но никак не может открыть. Тогда придвинул этот сундук к своей кровати.

А у Ивана-царевича нет никого, кроме двух работниц. Был вечер. Собираются они на беседу и приготавливают постель и еду, ужин ставят на стол. Все ушли на беседу. Маша тем временем встает. Надевает платье из шелка цвета зеленой, идет к столу, ест немного, ходит по полу. Когда она ела, то остался след на скамье и на столе, цвета зеленой след остался. И идет, на кровати Ивана-царевича немного лежит. Перед их приходом опять прячется в сундук.

Приходит Иван-царевич с работницами с беседы. Работницы и говорят:

— Здесь кто-то был, потому что следы остались на столе и на полу, и на твоей кровати спал и ел [кто-то].

И не могли догадаться, кто был. Посмотрели и спать легли, никого не увидели. Второй день проходит, опять вечер настает, опять они [работницы] постель ставят, еду готовят и уходят на беседу. Опять, когда [те] ушли, она встает из сундука. Одевает на себя платье из шелка цвета зари. Ест за столом — след остается, ходит по избе — след остается, идет ложится на кровать — след остается. И опять перед их приходом возвращается в сундук. Идут опять с беседы и дорогой говорят:

— Был ли опять кто-нибудь у нас или не был?

Пришли — опять кто-то ходил по полу и на кровати лежал. Иван-царевич говорит:

— Ну, пускай.

А сам думает: «Кто же это ходит?». Проходит день, и идет [Иван-царевич] к старушке-вдове и говорит вдове:

— Не знаешь ли ты, кто у нас в избе: когда вечерами уходим, вернемся, то чьи-то следы в избе.

Старуха-вдова ему и говорит:

— У тебя в сундуке девушка. Приготовь-ка опять сегодня вечером постель и стол, работниц отпусти на беседу, сам ложись тихонечко за сундуком. Дай ей волю: будет есть — смотри, будет ходить по полу — смотри, а когда ляжет на твою кровать, ты



тоже идя туда. — Унит [вдова] говорит — скажи: «Здравствуй, дай поцелуй». И скажи: «Ты моя жена, я твой муж». Ты потом на ней женись.

Иван-царевич приходит домой. Настал вечер, работниц Иван-царевич отпускает на беседу, [те] стол накрывают, постель готовят, а Иван-царевич говорит:

— Идите вы вдвоем, а я сегодня не пойду. — работницам говорит тихонько.

Работницы ушли, а он пошел сел за кровать. Сел, а Маша встает из сундука. Встает и одевается, надевает на себя платье из шелка цвета звезды. Идет и садится за стол есть. Иван-царевич смотрит — ходит по полу эта Маша. Подходит, ложится на его кровать. Иван-царевич встает тихонько, подходит тихонько и целует [ее], говорит:

— Ты моя жена, я твой муж.

Ну и они поженились.

Приходят работницы с беседы, а у Ивана-царевича уже жена. Начали они жить, вся жизнь по-другому пошла, сады стали во дворе расти. Родила Маша в первый год сына.

Идет в субботу Маша с работницей воду носить в баню. Встречается ей баба Сюоттари и говорит:

— Превратись в черную утку на черном море.

Три раза ей говорит, а она с места не двигается. И царица превратилась в утку и полетела. А баба Сюоттари пошла [вместо нее] воду носить. [Царица] днем летает по морям, а на ночь приходит к бане и становится на цепь. Баба Сюоттари пошла в дом Ивана-царевича: ребенок, этот мальчик, даже близко не подходит, и сады стали гибнуть, и сам Иван-царевич не весел. Работницы ходят по берегу и слышат, как утка у них спрашивает:

— Трепещет ли листок, лепечет ли сынок, и печален ли мой господин?

Работница ей и отвечает:

— Не трепещет листок, не лепечет сынок и не [так!] печален твой господин.

А Иван-царевич опять идет к старухе-вдове, говорит:

— Почему моя жизнь так изменилась?

А старая вдова говорит:

— У тебя баба Сюоттар женой, а твоя настоящая жена на море уткой.

Иван-царевич говорит:

— А как мне ее вернуть?

Вдова советует, говорит:

— Эта утка приходит на цепь к бане. Наточи меч очень остро, чтобы за один удар цепь перерубить, и тогда она превратится в твою жену.

Иван-царевич приходит домой и стал точить саблю. Вечером идет караулить. Прилетела утка. Он ударил раз по цепи, цепь

оборвалась — и утка превратилась снова в женщину. И пошла жена со своим мужем домой. Ребенок обрадовался матери, сады вновь зацвели. А баба Сюоттяри находится в этом доме в другой избе, требует еды, подносят ей. Иван-царевич велит работницам истопить баню. Приказывает выкопать очень глубокую яму перед баней. Наполняют эту яму смолой, расстилают красное сукно. И велит [Иван-царевич] бабе Сюотяр первой идти в баню, как бы почитая ее. Идет эта баба Сюотяр в баню. Муж [Иван-царевич] идет тихонько следом. Шла, шла, дошла до ямы — муж сукно дернул, и баба Сюотяр в яму вниз головой. [Иван-царевич] спичку бросил, и тут баба Сюотяр сгорела.

[Иван-царевич] стал снова с хорошей женой жить. Сады стали цвести, ребенок расти, вся жизнь стала поправляться. Тут и конец.

### 31. ŠINPEIGALON STARINA

Oli ennen ukko da akka. Heilä on tytär. Akalla da tyttärellä on šinine peigalo. Akka läziydy dai rubieu kuolomah, ukollah sanou:

— Jesli kun ruvennet miun kuolenduo naimah, niin muista elä nai, kun šinipeigaloizista.

Akka kuoli, dai ukko lähtöy šinipeigaluo eččimäh. Kaikkialla kävelöy, kai paikkazet eččiy, no löydiä ni mistä ei voi. Tuli kodih dai sanou tyttärelläh:

— En ni mistä šinipeigaluo löydänyn, siun nyt pidäy miula miehellä tulla.

Tyttö itköy, sanou:

— Äsen siula tulen, kun päivänmoizen šulkun tuonet.

Läksi tuatto eččimäh. Eččiy, eččiy kai linnat i löyzi yhestä päivänmoizen šulkun. Tuli kodih.

— Nyt, tyttäreni, jo löyžin šulkun, tule miula akakši.

Tytär itköy:

— Äsen siulas tulen, kun voinet kuudamonmoizen šulkun tuuva.

Tuas tuatto läksi eččimäh. Ečči, ečči kai paikat i löyzi šemmoizen šulkun. Tuli kodih dai sanou:

— Nyt, tyttäreni, siuda rubien naimah.

— Oi, tata, en tule vielä. Miula kuni et löydäne šemmoista šulkkuo, mimmone on tähti taivahalla.

Tuas tuatto kai paikat ečči dai löyzi. Tuli kodih, sanou tyttärellä:

— Nyt siun pidäy tulla miula — ei ni mi auta.

Läksi tyttö jauhomah, itköy da jauhou, itköy da jauhou. Tuli hiiri dai sanou:

— Jauho, jauho, neidizeni, tuatollaš männäkšeš, ičelläš svuad'bakši.

Mänöy hiän siidä leškiakkazella sanomah:

— A-voi-voi, kun pidäy tuatolla miehellä männä. Etgö tiijä n'euvuo, millä mie piäzizin?

— Tiijän, — sanou leškiakka, — ota piitukku, harjatukku da šulkkupaikka. Kun kilyššä jaksauvut, sylle kartan piäh, sylle päčin piällä i sylle lauteilla.

Tulou kodih, lämmiti kylun. Mäni kylyh dai jakšauduossah sylgi kartan piäh, päčillä da lauteilla. Tuatto mäni oven tuakše i huhuou:

— Jogo jouvut?

Ei tyttö ni midä virka. Avai oven, ka on kun vuattiet, a tyttö on alašti puannun. Hiän hyppäzi tytöllä jälgeh:

— Jo huora, kurva, miun jätti!

Jo tuatto on aivan tabuamašša, silloin tyttö lykkiäy harjatukun, i sih roiteh šemmoine meččä, što ni millä ei šua piäššä.

— A-voi-voi, en ottanun kilpakirvestä engä halpahakkurie.

Läksi kodih hakkurie käymäh. Hakkazi mečän, a tyttö sillä aigua juokšou jo pitän matkua ielleh. Tuatto jo leikkai mečän, dai tuas juokšou jo ihan jälleššä. Tyttö tuas lykkiäy piit, i rodih piivuara. Tuas tuatto hakuuau, hakuuau dai piäžöy jälgeh. Tuas on ihan kannäšša, lykkäi tyttö šulkkupaikan. Rodih heijen välih tuline koški. Tuatto toizelda rannalda:

— Tule, kaksi sanua sanon, nyt mie silma en voi enyä tavata. Vot siula matin kalkut kaglah, — i lykkäzi hänellä ne kaglah.

Läksi tyttö matkuamah ielläh, tuli havon luo, sanou:

— Vuota siä, kun tuošta piäličči harppuan.

I ne hänellä kaglašša sanotah: «Vuota siä, kun tuošta piäličči harppuan».

Mänöy hiän tuas ielläh. Tuli vastah onži kando:

— Vuotaš kun noužen tuoh kandoh.

Dai ne hänellä kaglašša matitellah: «Vuota kun noužen tuoh kandoh».

Nouzi hiän kandoh i ei ruohi ni kunne liikkuo, kun on ihan alašti.

Sillä aigua čuarin poiga on mečällä, koira rubieu ylen äijäl'di haukkumäh ondeh kandoh. Tuli čuarin poiga kodih i sanou tuatollah da muamollah:

— Mi ollou onnešša kannošša, kun koira ylen haukkuu.

— Ka pidäy kaččuo, midä haukkuu.

Tuli kaččo čuarin poiga, mäni kodih, sanou:

— Kannošša on ylen kaunis neičyt: ni mualla moista, ni vezillä verdaista. Mie hänestä nain.

Otti hiän neičöyön kodih toissapiänä, a tyttö ni midä ei paissa ruohi. Eletäh-ollah jo kolme vuotta. Kun ei ni kenen kera pagize, pannah händä hirzistä perttie pežemäh — ei virka. Pandih märgiä

kagrua jauhomah — ei ni midä virka. Jo väčäudu dai sai ylen kaunehen poijan. Poiga polvilla leikattih, nö ni midä ei virka. Cuarin poiga händä kuubi, ka ei voi ni kuin ollä hänen kera, kun ei pagize. Rubieu cuarin poiga naimah toizešta. Tytöllä paha mieli. Mäni leškiakkazeh, sanou akalla:

— Kuule, kukki leškiakkane, etgo voi n'euvo, kuin mie näistä päästään?

Hiän i sanou tytöllä:

— Ota da mäne kodihes, keitä mahon lehmän maidoh lında, siidä sano: «Kuot'elgua lindua». Ne kun männäh maistelomah, dai luzikalla painalluta ielleh. Hyö sinne i paletah.

Mäni hiän kodih, keitti linnan, sanou:

— Maisselgua šuolua.

Ne kun mändih maistelomah, dai hiän luzikalla ielläh painallutti. Sanou:

— Oligo hyvä?

Ka ei enyä i matiteldu. Hiän ylen äijäldi ihaštu.

Tuli svuad'ba, a hiän on prislugana. Kisseiperednikan helmalla stolalla voipadua kandau. Uuzi moržien i sanou stolan tagua:

— Mitty prostoi on miän korolin akka, kun padua kisseiperednikalla kandau.

Vanha akka i sanou:

— Miula hiržipertti pežetettih, märgiä kagrua jauhotettih, poiga polvilla leikattih — ni midä en virkkan, a siä jo enzištolašša pagizet.

Poiga kun kuuli iänen, hänen luo hyppäzi ihaštukšissah. Da hänen ottau akakšeh, i ruvetah elämäh hyö endizelläh da vielä paremmin.

### 31. СКАЗКА О СИНЕПАЛОИ

Были раньше старик и старуха, у них была дочь. У старухи и дочери было по синему большому пальцу [на руке]. Старуха заболела и готовится умереть, старику своему говорит:

— Если после моей смерти будешь жениться, то ни на ком не женись, кроме синепалой.

Старуха умерла, и старик отправляется искать синепалюю. Повсюду ходит, во всех местах ищет, но нигде не может найти. Пришел домой и говорит своей дочери:

— Нигде не нашел синепалюю, придется теперь тебе за меня замуж выйти.

Дочь плачет, говорит:

— Только тогда выйду, если принесешь шелковое платье, подобное солнцу.

Пошел отец искать. Ищет, ищет по всем городам и нашел в одном шелковое платье, подобное солнцу. Пришел домой.

— Теперь, дочь моя, нашел я платье, выходи за меня замуж.

Дочь плачет:

— Только тогда за тебя выйду, если принесешь шелковое платье, подобное моему.

Опять отец пошел искать. Искал, искал во всех местах и нашел такое платье. Пришел домой и говорит:

— Теперь, дочь моя, женюсь на тебе.

— Ой, отец, не выйду еще, пока не найдешь мне такого платья, как звезда на небе.

Опять отец во всех местах искал и нашел. Пришел домой, говорит дочери:

— Теперь тебе придется выйти за меня, ничто [больше] не поможет.

Пошла дочь молот, плачет да мелет, плачет да мелет. Пришла мышка и говорит:

— Мели, мели, моя девушка, себе на свадьбу, чтоб за отца выйти.

Идет она [девушка] потом к старухе-вдове рассказывать:

— А-вой-вой, за отца надо выходить. Не дашь ли совет, как мне набавиться?

— Да, — говорит старуха-вдова, — возьми несколько кремней, горсть щетинок и шелковый платок. Когда разденешься в бане, плюнь на корыто, плюнь на каменку и плюнь на полок.

Приходит домой, затопила баню. Пошла в баню и, раздеваясь, плюнула на корыто, на каменку и на полок. Отец пришел и за дверью кричит:

— Уже ли [так] готова?

Дочь не отвечает. Открыл дверь — нет никого, кроме одежды, а дочь голая убежала. Он побежал за дочерью следом:

— Бросила, б... , курва, меня!

Отец уже вот-вот догонит, тогда девушка бросает горсть щетинок, и тут вырастает такой лес, что никак нельзя пройти.

— А-вой-вой, не взял своего походного топора ни своей военной секиры.

Вернулся домой за своим топором. Вырубил лес, а дочь тем временем убежала далеко вперед. Отец вырубил лес и опять нагоняет. Дочь опять бросает кремни, и вырастает кремневая гора. Опять отец рубит, рубит и продолжает погоню. Уже совсем близко, и бросила девушка шелковый платок! Стал между ними огненный водопад. Отец с другого берега [кричит]:

— Подойди, два слова скажу, теперь я тебя больше не могу поймать. Вот тебе яйца-дравнилки на шею, — и бросил их ей на шею.

Пошла девушка дальше, подошла к колоде, говорит:

— Постой-ка, перешагну через это.

И дравнилки на ее шее говорят: «Постой-ка, перешагну через это».

Идет она опять дальше. Встретился дуплистый пенёк:

— Пстой-ка, спрячусь в этом дупле.  
И дразнилки на ее шее передразнивают: «Пстой-ка, спрячусь в этом дупле».

Спряталась она в дупле и не смеет никуда выйти, потому что совсем голая.

В это время царев сын охотится. Собака начинает очень громко лаять на дуплистый пенёк. Пришел царев сын домой и говорит отцу и матери:

— Что-то есть в дуплистом пне, собака очень лаяла.

— Так надо посмотреть, почему лаяла.

Пошел царев сын посмотреть; пришел домой, говорит:

— В дупле очень красивая девушка: нет ни на суше такой, ни на воде похожей. Я на ней женюсь.

Взял он девушку на второй день к себе домой, а девушка ничего не смеет говорить. Живут-поживают уже три года. Так как она ни с кем не говорит, то заставляют ее нетесаную бревенчатую избу мыть — молчит. Заставляют ее мокрый овес молотить — молчит, ничего не говорит. Вот уже забеременела и родила очень красивого мальчика. Сына на коленях зарезали — ничего не говорит. Царев сын ее любит, но никак не может с ней жить, из-за того что она не разговаривает. Задумал царев сын жениться на другой. Девушка [жена] опечалилась. Пошла к старухе-вдове, говорит старухе:

— Слушай, милая старушка-вдова, не дашь ли совет, как мне избавиться от этих [дразнилок]?

Она и говорит девушке:

— Иди домой, свари линду на молоке яловой коровы, потом скажи: «Попробуйте линду». Они [дразнилки] как будут пробовать, ты ложкой толкни поглубже. Они там и сварятся.

Пошла она домой, сварила линду, говорит [дразнилкам]:

— Попробуйте, довольно ли соли?

Они как стали пробовать, она ложкой толкнула поглубже. Говорит:

— Вкусно ли?

Больше уже не дразнят. Она очень обрадовалась.

Настал день свадьбы, а она служит прислугой. Подолом кисейного передника горшок с маслом на стол несет. Новая невеста и говорит из-за стола:

— Какая простая эта жена нашего короля — горшок подолом кисейного передника несет.

Бывшая жена и говорит:

— Меня заставляли нетесаную бревенчатую избу мыть, мокрый овес молотить, сына на коленях зарезали — все молчала, а ты первый раз за столом сидишь и уже заговорила.

Царев сын как услышал ее голос — к ней обрадованный подскочил. И снова берет ее в жены, и начинают они жить по-прежнему и даже лучше.

## 32. KOLME TYTÄRTÄ I ČUARIN POIKA

Oli ennen köyhä ukko ta akka. Heilä oli kolme tytärtä. A ne vanhemmat tyttäret ollah paremmat ičeštäh, šitā nuorinta ei šuvaita. Šanotah ne vanhemmat tyttäret:

— Kun olemma köyhät, niin etkö šie, tuatto, meitä laše čuarih piijakši?

Ukko ta akka šanotah:

— Lašemma.

Hyö i työnnetäh tyttäret. Vanhin tytär lähtöy čuarih. Lehmä tulou vaštah taipaleella, kappa šarvien nenissä. Lehmä šanou:

— Lypšā milma, miula on vaikie olla maijošša.

Tyttö šanou:

— En mie rupie šion takie šittauttamah käsieni, mie olen kolme vuotta valmistautun čuarin piijakši.

Tuli pokko vaštah, šarvissa on keriččemet, šanou:

— Keriče, tyttöni, milma, miula on vaikie olla villoissa.

Tyttö šanou:

— En mie šion takie rupie šittauttamah käsieni, kerran olen kolme vuotta šuoriutun čuarin piijakši.

Ukko tulou vaštah. Hänellä on turkissa ylen äijä täitä, oikein päriellä šukiu täitä. Hiän i šanou tytöllä:

— Tapa miulta täit turkista.

Tyttö šanou:

— En rupie šion täitäš tappamah enkä täitymäh.

Tyttö mänöy čuarih i šanou:

— Otattako milma piijakši?

Čuari šanou:

— Kuin še emmä ota noin kaunehusta i puhtahaista tyttyö.

Toini tyttö toše lähtöy čuarih, i yhellä tavalla tulou lehmä vaštah ta käšköy tytön lypšyā, tyttö ei lypšā. Tulou pokko vaštah, käšköy keritā, tyttö ei keriče. Šiitä tulou vaštah ukko, ukolta toše ei tapa täitä. No čuari še kuit'enki ottau hänen piijakši.

Nuorin tytär läksi. Tulou lehmä vaštah, hiän lypšy lehmän, juou majjon, lampahalta keriččöy villat ta ottau ne matkah, ukolta päivän tappau täitä turkista. Ukko antau palkinnokši šauvan. Kun šauvalla pyörähyttäy, niin šiitä tulou hyvyä kaikkie, mitä vain tahtonou tyttö. No šiitä tyttö i mänöy čuarih i pyrkiy piijakši.

Čuari šanou, jotta «šilma en ota muukši kuin šikoja hoitamah».

A kun še tyttö rupieuo hoitamah, ta šillä šauvalla kun lekahuttau juomista, nin šijat lihotah ylen äjjälti. A hiän illat ta huomekšet šikoja hoitau, a päivät tuhkie šieklou narošno, a iče on kaunis, jotta kai čuari ihašteliutuu. A čuarilla on poika, i tällä pojalla koko maailmašta ei löyvetä vertahista. Čuari luatiu piirut ta kuččuou joka valtiošta kaiken rahvahan, i štopi ni ken ei niistä äis pois.

Čuarin poika i kučuu piikojä tuomah vettä käsiästieh, a ne tytöt nuoremmalla šanotah, jotta «šiki-šoki, kerkie hot' čuarin pojalla panomah vettä käsiästieh». Še kun hyppyäy tuhkišah, i čuarin poika i šanou:

— Mäne, poharaati, poikeš, kun šilma parempua ei liene ollun vejen tuojua, — i kolahuttah häntä piähä pännällä.

No ne toiset tytöt lähettih piiruh, a yksi še Tuhkimuš jäi vanhojen akkojen kera kotih, heitä ei otettu piiruh. Tyttö šanou akoilla, jotta «piäštäkyä milma täštä marjoja appamah — ikävähän on miula tässä kešäpäivä viettyä». Akat häntä i piäšsettih. Hiän mänöy šauvah luokši meččäh, pyörähyttäy šauvua kolme kertua ympärihisseh, i hänellä tulou kolme korvuo. Enšimmäiseššä on vettä, millä pešeytyö, a toiseššä korvoššä on vuattiet, mih šuoriutuö, a kolmanneššä on heponi. Tai tyttö tulou niin kaunehekši, što ei ni sviettua. Hiän pani oikein kaunehet tähtikirjaset vuattiet piälläh i ajo oikein kaunehella heposella piiruloih. Čuarin poika häntä mäni vaštah ottamah i vei šinne parahah huvipaikkah, šen kera kisua, što kiäštä ei piäštele. Kyšyy, velli, tyttäreltä:

— Mistä linnašta šie olet, mistä muašta?

Tytär šanou hänellä, jotta «mie olen šiitä linnašta, missä kun käsiästieh vettä viijäh, nin pännällä piähä lyyväh».

Čuarin poika luatiu šemmosen kokan, jotta kun tyttö lähtöy, nin šulkkuapaikka jäy rippumah šihi kokkah. Tyttö läksi, a čuarin poika še valmisti pihalla šotaväkie varteimah, minne še tyttö lähtöy. A kun tyttö läksi, tai lykkäsi kultarahua ilmah, i ne šotamiehet ruvettih niitä keryämäh, a tyttö šillä aikua i mäni matkahäšeh.

Tytär tuli šamah paikkah, heitti vuattiet piältäh i istuutu kiukualla šieklomah tuhkie ennen toisien tulou. Sisäret tultih, i še tyttö kyšyy, jotta «mitä näkiä, mitä kuuliä šielä piiruloissa?».

A ne šanotah:

— Ei kuulu erikoista ni mitä. Vain kun oli tyttö kaunis, jotta ei ollut mualla moista, eikä vesillä vertua, ta šitä kaiken päivän kisautti čuarin poika.

A še tyttö šanou:

— Enkö hot' mie ollun?

A tyttäret šanotah:

— Šie, šiki-šoki, vielä kehtuat paissa šemmoista!

A še čuari tahtou laittua toisena piänä piirut, jotta eikö vielä še kaunis tytär tule piiruloih. Tyttäret tuaš šanotah:

— Šiki-šoki, piäše hot' vettä panomah käsiästieh čuarin pojalla.

A še tuaš tuprahtau šihi, a čuarin poika še i plakkua kapluka piätä vašše i šanou:

— Eikö šitä ole parempua piikua, kuin šie?

Toiset kaikin lähettih piiruloih, yksin še tyttö jäi vanhojen kkojen kera kotih. Tuaš pyrkiy akoilta marjua appamah. Akat



työnnetäh hänet. Hän mänöy šauvah luokše, pyörahyttäy sitä kolme kertua. Tulou kolme korvu. Yheššä pešeytyy, toiseššä šuoriotuu kuutamokirjasih vuatteih i vielä kaunehemman heposen ottau. Hän lähtöy ajamah. Tulou, čuarin poika vielä paremmin ottau häntä vaštah. Šielä huvittelou kaiken päivän. Čuarin poika tuaš i kyšyy:

— Mistä linnasta šie olet, čikkon?

A tyttö vaštuaui:

— Šieltä, missä kaplukalla piäh lyyväh, konša vettä viijäh käšiaštieh.

Hän rupieu lähtömäh, i čuarin poika ašettau oven niin, što šihi stupnin kanta jäy. Panou ne šotamiehet varteimah. No hän kultua lykkyäy, i ne ruvetah niitä keryämäh i ei nähä, kunne šie tyttö mänöy, lentäy kuin lintu. Hän tulou, jakšautuu, šilmät hierou tuhkah ta nokeh, jotta ei tunnettais. A ne toiset tullah i ihašte-liuvutah, jotta vain kun on kaunis tyttö, oikein kullašša läikkyy kaikki huonehet. A šie tyttö šanou:

— Enkö ho' mie ollun?

— Ho-ho-hoo, vielä kun et šie, Tuhkimuš, šielä kävellyn! Pisy vain hotehillaš, elä ho' virka rahvahalla.

No čuari vielä kolmantena piänä luatiu piirut. Panou varukšet vielä paremmat, jotta joutuis rutompah jalka. Kolmantena piänä hommatah piiruja. Tyttäret šuoritah, čuarin poika kyšyy vettä käšiaštieh, a čuarin pojalla on sirkalo kiäššä, konša tulou nuorin tyttö vettä viemäh käšiaštieh. Hän šillä i hlopiu piätä vašše.

Tuaš kaikki muut lähettih i šanottih nuorimmalla tytöllä, jotta šikapiikoja ei huoli ottua matkah. Hän tuaš akoilta pyrkiy marjah. Mänöy, pyörahyttäy šauvua. Pešeytyy, šuoriotuu päiväkirjasih vuatteih, a šie heponi on kultakarvani, loistau jo monelta virššalta. Häntä čuarin poika ottau ihaštukšišša vaštah, kai kumarteliutuu. Viijäh häntä ylimpah tvorččah. Šielä kostitah päivä iltah šuate, tanššitah. Čuarin poika tuaš i kyšyy tytöltä:

— Mistä linnašta šie olet? Mistä muašta?

Hän i vaštuaui:

— Šieltä, missä sirkalolla lyyväh piätä vašše, kun vettä viijäh käšiaštieh.

Čuarin poika voitau skiäkän tervah, a šie šormuš tytöltä i jäy šihi skiäkäh, konša hän lähtöy pois. Hän mani pihalla, lykkäsi kultua, a čuarin poika šie oli varottan šotamiehie, jotta kullista ei šua huolie, pitäy kaččuo, kunne mänöy tyttö. Häntä šotamiehet ei keritty tavata. Tyttö pakeni, a ne šotamiehet jälkeh. A iče tyttö ei kerinnyn piältä heittyä niitä vuateita, kerkisi vain šilmät noveta.

Čuari šanou, jotta huomena pitäy luatie tarkaštus, kuččuo kaikki hiäväki kokoh. Kučutah kaikki kokoh, paššautellah, kenen piäštä on paikka lähten, kenen jalašta kenkä lähten, kenen kiäštä on šormus lähten. Kellä paššannou, šie onki čuarin pojan akka. No ni kenellä ei paššata. Syöjättäri-akka tyttäreltä vettä jalkua, jotta

eikö stupni paššuais. Čuarin poika kuččuu Tuhkimukšen kiukualta i šanou:

— Tule i šie šieltä tuhkista, eikö šiula paššua.

No še kun tuli ta paneteltih, no kakras. Paikka nin kuin hänen piästä lähten, stupni kuin hänen jalašta lähten, šormuš kuin hänen šormešta otettu. Tuhkavuatteit t'ernittih, ka kačotah: ka hänellä ollah päivänkirjaset vuattiet piällä!

Čuarin poika šanou:

— Tässä on miun nastojaššoi moršien, tämän kera mie rupien elämäh koko ijän!

Čuari venččuu poikah čuariksi, a naisen čarounakši. Hyö piäštih elämäh elvottelomah.

Starina šen pivuš, šen kaunehuš.

### 32. ТРИ СЕСТРЫ И ЦАРЕВ СЫН

Были раньше бедные старик и старуха. У них было три дочери. А старшие дочери считают себя лучше младшей, ее не любят. Говорят те старшие дочери:

— Поскольку мы бедные, то не отпустишь ли ты, отец, нас к царю в прислуги?

Старик и старуха говорят:

— Идите.

Они и отпускают дочерей. Отправляется старшая дочь к царю. По дороге встречается корова с подоиником на рогах. Корова говорит:

— Выдои меня, мне тяжело с молоком [ходить].

Девушка говорит:

— Я не стану из-за тебя свои руки пачкать. Я три года готовилась к царю в служанки.

Идет баран навстречу, на рогах ножницы, говорит:

— Выстриги, девушка, меня, мне тяжело с шерстью [ходить].

Девушка говорит:

— Я не стану из-за тебя пачкать руки, раз уж я три года собиралась к царю в прислуги.

Идет навстречу старик. У него в шубе очень много вшей, прямо щепкой вшей вычесывает. Он и говорит девушке:

— Убей из моей шубы вшей.

Девушка говорит:

— Не буду твоих вшей бить, сама завшивею.

Девушка идет к царю и говорит:

— Возьмете ли меня в прислуги?

Царь говорит:

— Как не возьмем такую красивенькую и чистенькую девушку!

Вторая сестра тоже отправляется к царю, и ей также встречается корова и просит девушку выдоить — девушка не доит. Идет

навстречу баран, просит выстричь — девушка не стрижет. Потом встречается старик, она тоже не убивает вшей у старика. Ну, а царь все же берет ее в прислуги.

Младшая дочка пошла. Встречается [ей] корова, она корову выдоила, молоко выпила. Овду выстригла и шерсть взяла с собой, у старика целый день была вшей. Старик дает ей в награду палку. Надо только повернуть палкой, и будет всякого добра, чего только девушка пожелает. Ну, потом девушка идет к царю и просится в прислуги. Царь говорит, что «тебя возьму только за свиньями ходить».

Стала девушка за свиньями ходить, и только этой палкой помещает поило — и свиньи очень сильно жиреют. Она вечером и утром свиней кормит, а днем золу нарочно сеет, а сама такая красивая, что даже царь восхищается. А у царя есть сын, и этому сыну не могут на всем свете найти равной. Царь устраивает пир, созывает со всех государств весь народ, и чтобы все непременно пришли.

Царев сын зовет служанок принести воды в рукомойник, а те говорят младшей сестре, что, мол, «ты, замарашка, поторопись налить цареву сыну воды в рукомойник». Она как прыгнула с кучи золы, царев сын и говорит:

— Уходи, бога ради, если уж больше некому принести воды, — и ударил ее карандашом по голове.

Другие девушки пошли на пир, одна эта Тужкимус осталась со старухами дома, их на пир не взяли. Девушка говорит старухам, что «пустите меня хоть по ягоды — скучно мне здесь летний день коротать». Старухи ее и отпустили. Она идет в лес к своей палке, проводит палкой три раза вокруг себя — и появляются три ушата. В первом — вода для мытья, во втором — одежда, чтобы нарядиться, а в третьем — лошадь. И девушка становится такой красивой, что сказать нельзя. Она надела на себя очень красивые одежды, как звездное небо, и поехала на красивой лошади на пир. Царев сын вышел ее встречать и повел в самое лучшее место веселья, только с ней играет, из рук не выпускает. Спрашивает, брат, у девушки:

— Из какого ты города, из какой страны?

Девушка говорит ему, что «я из того города, где карандашом по голове бьют, когда в рукомойник воду наливают».

Царев сын устраивает такой крючок, что когда девушка уходит, то ее шелковый платок остается висеть на этом крючке. Девушка ушла, а царев сын поставил солдат во дворе подкарауливать, куда девушка поедет. А девушка когда вышла, то бросила золотые монеты в воздух, и эти солдаты стали их собирать, а девушка тем временем ушла своей дорогой.

Девушка вернулась на то же место, сняла одежду и перед приходом других села на печь золу просеивать. Пришли сестры, и эта девушка спрашивает, мол, «что же вы видели, что слышали там на пиру?».

— Ничего особенного. Только девушка там была такая красивая, что на суше нет подобной, на воде равной, и с ней царев сын целый день играл.

А эта девушка говорит:

— Не я ли там была?

А сестры говорят:

— Ты, замарашка, не совестно говорить такое!

А царь хочет устроить на другой день пир: не придет ли еще та красивая девушка на пир. На другой день опять собираются на пир. Сестры опять говорят [младшей]:

— Замарашка, поди-ка налей хоть воды в рукомойник для царев сына.

Она опять подскочила к нему вся в зле, а царев сын как стукнет ее каблуком по голове и говорит:

— Неужели нет получше служанки?

Все другие ушли на пир, одна эта девушка осталась со старухами дома. Опять просится у старух по ягодам. Старухи ее отпускают. Она идет к своей палке, поворачивает ее три раза. Появляется три ушата. В одном моется, в другом одевается в одежду цвета месяца, а из третьего берет лошадь краше прежней. Она едет на пир. Приезжает, а царев сын еще лучше ее встречает. Там развлекается [она] целый день. Царев сын опять и спрашивает:

— Ты из какого города, сестра моя?

А девушка отвечает:

— Оттуда, где каблуком по голове бьют, когда воду наливают в рукомойник.

Она собирается уходить, а царев сын прилаживает дверь так, что там остается каблук башмака. А солдаты опять караулят. Ну, она золото бросает, и они начинают собирать и не видят, куда девушка уходит — летит как птица. Она приходит, раздевается, мажет лицо золой и сажет, чтобы не узнали. А другие приходят и восхищаются, что, мол, до чего же красивая девушка там была, даже все комнаты золотом засияли! А эта девушка говорит:

— Не я ли там была?

— Хо-хо-хо, тебе, Тухкимус, там только и ходить! Не сходи с ума, не говори хоть при людях.

Ну, царь на третий день устраивает пир. Девушки собираются, царев сын просит принести воды в рукомойник, а у царев сына в руке зеркало. Когда младшая сестра идет воду наливать, он зеркалом и хлопнул ее по голове.

Опять все ушли и сказали младшей сестре, что свинаркам не место на пиру. Она опять у старух отпрашивается за ягодами. Идет, поворачивает палкой. Умывается, одевает одежду цвета солнца, а у лошади шерсть золотая, за несколько верст сверкает. Царев сын с восхищением ее встречает, даже раскланивается

перед ней. Там угощаются весь день до вечера, танцуют. Царев сын опять и спрашивает у девушки:

— Из какого ты города, из какой страны?

Она и отвечает:

— Оттуда, где зеркалом по голове бьют, когда воду наливают в рукомойник.

Царев сын намазывает дверную ручку смолой, и кольцо у девушки и остается на этой ручке, когда она уходит. Она вышла во двор, бросила золота, а царев сын уже предупредил солдат, чтобы не бросались на золото: надо выследить, куда пойдет девушка. Солдаты не успели ее поймать. Девушка убежала, а солдаты за ней. Девушка не успела онять с себя ту одежду, только успела запачкать лицо сажей.

Царь говорит, что завтра надо устроить проверку, собрать всей гостей. Собрали всех, примеряют, с чьей головы платок, с чьей ноги башмак, с чьей руки кольцо. Кому будет впору, та и будет женой царева сына. Но никому не подходит. Баба Сюю-тар у своей дочери обтесывает ногу, чтобы башмак влез. Царев сын зовет Тухкимус с печи и говорит:

— Выходи-ка и ты оттуда из золы, не подойдет ли тебе.

Ну, она как слезла оттуда и примерила, так все как раз: платок как будто с ее головы, башмак как будто с ее ноги, кольцо как будто с ее пальца. Сдернули с нее грязную одежду, смотрят — на ней одежда цвета солнца!

Царев сын говорит:

— Вот моя настоящая невеста, с ней я буду жить всю жизнь!

Царь дал сыну престол, Тухкимус стала царицей, Стали они жить-поживать.

Сказка такой длины, такой красоты.

### 33. TUHKIMUS-NIÄTÄSTARINA

Oli ennen ukko, akka. Heilä oli kolme poikua. Kolmas poika on Tuhkimus. Heilä alko niätä käyvä riiheh. Šanou vanhin poika:

— Tuatto, milma plahoslovi niätiä varteimah.

— No spuassu plahosloviu, tai i mie plahoslovin, — šanou ukko. — Keitä, akka, huttu!

Akka keittäy hutun, panou voita šilmäksi. Läksi poika riiheh. Heitti riihen hinkalolla huttupuan. Iče mänöy hinkalolla varteimah. Istu šielä ikä-h aikah. Jo hiän uinoi šiihe. Niätä tuli ta šöi hutun piähäs ta mäni matkahaš. Hiän šiitä havaččiutu.

— Noh, oi-voi, nyt on huttu šyöty, — šano poika, — mitä nyt šanon, kun kotih mänen?

Mäni kotih. Tuatto-muamo šanou:

— Näitkö niätiiä?

— En nähny.

— Missäpä huttu, — šanou ukko, — kun et nähny niätiiä?

Poika šanou:

— Issuin, issuin, vuotin. Tuli nälkä ta šöin hutun.

Toini poika šanou:

— Työntäkkä milma niätiiä varteimah.

— No mäne, oletko vosroimpi šie. Keitä huttu, akka.

Akka keittäy hutun ta panou voita šilmäkši.

Läksi poika riieheh, niätiiä varteimah. Mänöy, panou huttupuan hinkalolla, iče mänöy olkiläjäh. Šielä istuu ikäh-aikah. Ei niätiiä kuulu eikä nävy. Ta tuaš uinoi. Tuli niätä, šöi hutun, mäni matkahaš. Mäni kotih poika. Šanou ukko:

— Missä niätä?

— En mie nähny.

— No minnepä huttu šai?

— Ka nälkä tuli, nin šöin.

Ukko šanou:

— Taijatta šyöttiiä niätällä hutut.

— Ne en ole nähny niätiiä.

Šanou Tuhkimuš:

— Keitä, muamo, huttu miula. Mie lähen niätiiä varteimah.

— Kun ei ole ollun paremmista varteijua, nin šiušta ei ole kuit'enkana.

— No eihän mäne tuottomakši, kun en miekänä nähne.

Akka keittäy hutun. Ei panekana voita šilmäkši, kun on Tuhkimuš. Panou vain piimiä šilmäkši huttuh. No poika läksi riieheh huttupuan kera. Mäni, pani riiehen hinkalolla. Iče istuu olkitukušša. Ištu, istu ikäh-aikah — alko pimie tulla. Niätä hänellä riieheh tuli. Alkopa huttuo šyvvä. Silloin hän niätän kiini, šelkäh hyppäi. Šanou niätä šiinä:

— Kun piäštänet miun pois, nin vielä olen hyvä aijallah. Kuin tulou čuarin piirut-pualat, nin tule šuurella kivellä, šuuren kujan šuuhu, šiitä šielä huhuot: «Niä milma, niätäseni, kuule, kultarintasenil».

Čuarissa tuli piirut-pualat. Šiitä ne hyvät pojat pešeyty lupi luulla pal'ahalla, šepo šelvällä lihalla. Šiitä hyvät pojat lähetäh čuarin piiruihe. Tuhkimuš niillä šanou:

— Ottakua milmaki čuarin piiruih-pualoih.

— Šilmahan otetah šinne tuhkauttamah ihmisiel

Šiitä hyö mäni. Tuhkimuš šoláhti kiukualta. Juokši šuuren kujan šuuhu, šuurella kivellä, huhuou:

— Niä milma, niätäseni, kuule, kultarintasenil

Niätä ajau heposella: karva kultua, toini hopeniä, kolmannella ei voi sviettua antua. Korvašša pešeytyy, toisešša vuatteutuu. Pis-

tuoli poikkipuolin selässä. Niitä anto heposen Tuhkimuksella. Tuhkimus lähti ajamah čuarin piiruhe-pualoihe.

Tuhkimus tietäy: ken osannou ampuo čuarin tyttären korvirenkahah, še šuu čuarin tyttären moršiemekšeh. Tuhkimus ampu čuarin tyttären korvirenkahah. Še ei piäššyn tulemah puolivaliikhkänä muata, kun Tuhkimus otti šen kiini ta kormanoh. Mänöy pirtti kiirehešti, eikä hän rupie šyömäh, eikä juomah, kun šanou, jotta „jovuttuat moršien“.

Jovutettih, jovutettih. Hän vei pihalla moršiemien. Nošti šelkäh heposella moršiemien, iče peräh. Lentoh nousi heponi.

Tuhkimus mäni kotiheš. Pani moršiemien ta heposen aittah. Iče istuu keškikiukualla, kuin tulou toiset pojat kotih.

— No, mitäpä tämä nyt keškikiukualla korhottau?

— Teitä rupesin vuottamah, mittyöt on čuarin piirut-pualat.

— Oli šielä i šiun näkösie, — šanotah toiset pojat.

— No još lienöy miun näkösie, oli šielä i tiän näkösie, — šanou Tuhkimus.

Huomena tulou tuaš čuarissa piirut-pualat. Hyö tuaš šuoriuvutah piiruih-pualoih šuamah keškimmäistä čuarin tytärtä. Ken šuanou ampuo čuarin tyttären rannerenkahan, še šuu čuarin tyttären. Tuhkimus šanou:

— Ottuat, veikot, milmaki.

— Ole šie tuhkišš-tähkišš.

Lähetäh toiset vellet. Tuhkimus lähtöy šuuren kujan šuuhu, šuurella kivellä. Šielä huhuo:

— Niä milma, niätäseni, kuule, kultarintaseni!

Niätä ajau heposella: karva kultua, toini hopieta, kolmannella ei voi sviettua antaa. Korvašša pešeytyy, toisešša vuatteutuu, hyppäsi heposen šelkäh. Läksi ajamah. Juokšijan heposen šelästä ampu rannerenkahan, mäni pirtti, šano:

— Jovuttuat, jovuttuat ruttoh!

Jovutettih, jovutettih. Tuhkimus vei moršiemien pihalla ta pani heposen šelkäh. Iče hyppäi jälkeh. Silloin lentoh levahti heponi. Mäni kotihiš. Vei aittahaš moršiemien tai heposen. Istuu kiukan korvalla. Tullah toiset vellet. Jo on Tuhkimuksella uši paita ta uuvet houšut piällä, kenkät uuvet. Toiset vellet šanou:

— Mistä tämä on nämä vuattiet šuanun?

— Suapihan nämä, još taivahalla šilmät ristiy.

— Mittyöt oli čuarin piirut? — šanou Tuhkimus.

Toiset pojat vaššatah:

— Oli šielä i šiun moisie.

— Kun lienöy ollun miun moisie, niin oli šielä i tiän moisie.

Huomena tulou čuarissa, šanotah, piirut-pualat. Ken šuanou čuarin tyttären šormukšen ampuo, niin še šuu nuorimman tyttären moršiemekšeh.

Toiset pojat šuoriu tuaš, pešeytyy čuarin piiruihe-pualoihe. Tuhkimus šanou:

— Ottakkua i milma.

— Ei oteta šilma šinne ihmisie tuhkauttamah.

— Noh, kun että ota, nin mänkiä, — šanou Tuhkimuš.

Hyö läksi čuarin piiruihe. Tuhkimuš läksi kiukuualta. Mänöy tuaš šuuren kujan šuuhu, šuurella kivellä. Huhuou šielä:

— Niä milma, niätäseni, kuule, kultarintasenil

Niäta ajau heposella — karva kultua, toini hopieta, kolmennella ei sviuttua voi antua. Korvašša pešeytyy, toisešša vuatteutuu. Pistuoli poikkipuolin šeläššä. Tuhkimuš pešeytyy, vuatteutuu, otti pistuolin käteheš, läksi ajamah. Mänöy čuarin luokši, ampuu rayš-tähästä šormukšen ta kormanoh. Eika häntä ušo kenkänä, jotta hiän on Tuhkimuš. Hiän šanou:

— Jouvuttuat, jouvuttuat moršien!

Eika hiän šyö, eikä juo. Moršien iouvutettih. Tuhkimuš vei pihalla moršiemien, nošti heposella šelkäh, iče hyppäsi jalkeh. Niin heponi levahti lentoh. Mäni Tuhkimuš kotihis moršiemien kera. Tuaš vei aittahaš kolmannen moršiemien. Istuu kosinon laijalla koissa. Tulou toiset pojat piiruista-pualoista. Hiän kyšyy:

— Mittyöt oli čuarin piirut-pualat?

Ne toiset pojat vaštuaui, jotta „oli šielä šiun moisie.“

— Još lienöy ollun miun moisie, niin oli šielä i tiän moisie, — šanou Tuhkimuš.

Toiset pojat šanou:

— Pitäy viessata miän aitat.

Šiitä hyö viessattih vanhimman aitta, šiitä keškimmäisen aitta. Heilä ei šielä kuin jyvii čavahtelou ta petäjälevyjä, mistä pet-tuo tehä.

Šanou Tuhkimuš:

— Viessatkua työ, veikot, miunki aitta.

Ne šanotah:

— Mitähän tuota šiun aitašta viessata, kun ei miän aitois-sakana ollun mitänä.

— No viessakkua, viessakkua.

Toiset vellet kävi Tuhkimukšen aitan kynnyksellä uloš. Šiitä hyö ruvetah viessuamah šiitä aittua. Šielä kun kultua ta hopieta romeutal šanotah Tuhkimuksella:

— Näytä, veikko, aitta!

— En näytä, ennen kuin jyršittä nämä kynnyksiltä.

Kun avatah ovi — šielä čuarin tyttäret kaikki. Kolme hevoista — karva kultua, toini hopieta, kolmannella ei voi ni sviuttua antua.

— Anna, veikko, meilä näistä moršiemet!

Šanou Tuhkimuš:

— Niinhän työ šanoja čuarin piiruih ta pualoih kun kävijä, jotta on šielä šiun moisie, niin šanoinhan mie, jotta on šielä i tiänki moisie.

Šiitä Tuhkimuš antau vanhimmalla vellellä vanhimman čuarin tyttären, keškimmäisellä keškimmäisen tyttären, iče ottau nuorim-



man. Piäsšäh hyvin elämäh. Tuhkimuš piäsöy čuarih vävykse. Eletäh tänäki päivänä, kotvan vielä huomena.

Šen pivuš, šen kaunehuš, kullän lehti kuulijalla, lemmen lehti laulajalla.

### 33. СКАЗКА О ТУХКИМУСЕ И КУНИЦЕ

Были раньше старик и старуха. У них было три сына. Третий сын — Тухкимус. К ним в ригу стала ходить куница. Говорит старший сын:

— Отец, благослови меня выслеживать куницу.

— Ну, Спас благословит, и я благословлю, — говорит старик. — Свари, старуха, загусту!

Старуха сварила загусту, положила масла в глазок. Пошел парень в ригу. Поставил на припечек горшок с загустой. Сам сел на припечек караулить куницу. Сидел там сколько-то времени. И уснул тут. Куница пришла, и съела загусту, и ушла своей дорогой. Потом он проснулся.

— Ах, ой-вой, загуста уже съедена, — говорит парень, — что теперь скажу, как домой приду?

Пошел домой. Отец-мать говорят:

— Видел ли куницу?

— Не видел.

— А где же загуста, коли куницу не видел?

Сын говорит:

— Сидел, сидел, ждал. Стало голодно, и съел загусту.

Второй сын говорит:

— Пошлите меня куницу караулить.

— Ну, иди, может ты поумнее. Свари загусту, старуха.

Старуха сварила загусту и положила масла в глазок. Пришел сын в ригу куницу караулить. Пришел, поставил горшок с загустой на припечек, сам лег на кучу соломы. Сидел там сколько-то времени. Куницы не слышно, не видно. И он также уснул. Пришла куница, загусту съела, ушла своей дорогой. Пошел парень домой.

Говорит старик:

— Где куница?

— Я не видал.

— Ну, а куда же загуста делась?

— Да есть захотел и съел.

Старик говорит:

— Вы, наверно, кунице загусту скармливаете.

— Не видал я куницы.

Говорит Тухкимус:

— Свари, мать, загусту для меня. Я пойду куницу караулить.

— Другие, получше тебя, не укараулили, а ты и подавно.

— Хуже не будет, если и я не увижу [куницу].

Старуха сварила загусту, а масла в глазок и не положила, потому что для Тухкимуса. Капнула только простокваши в глазок. Ну, парень пошел в ригу с горшком загусты. Пришел, поставил горшок на припечек. Сам сидит на куче соломы. Сидел, сидел сколько-то времени — стало темнеть. Куница к нему в ригу пришла. Начала загусту есть. Тогда он на куницу бросился, поймал. Говорит ему куница:

— Если отпустишь меня, то я могу еще тебе пригодиться. Когда будет царский пир-бал, то приходи на большой камень к концу большого прогона, потом там крикни: «Увидь меня, моя куница, услышь, моя златогрудая!».

Устроили у царя пиры-балы. Те, хорошие братья, умылись чисто [букв. до голых костей, до самого мяса]. Потом хорошие братья отправляются на царский пир. Тухкимус им говорит:

— Возьмите и меня на царский пир-бал.

— Тебя как раз и возьмем туда, золой людей пачкать!

Потом они пошли. Тухкимус спустился с печи. Пробежал на конец большого прогона, на большой камень, крикнул:

— Увидь меня, моя куница, услышь, моя златогрудая!

Куница едет на лошади, [у которой] шерстинка золотая, другая серебряная, третьей и цвета не назвать. [Тухкимус] в одном ухе умывается, в другом одевается. Пистолет поперек на спине. Куница дала лошадь Тухкимусу. Тухкимус поехал на царские пиры-балы.

Тухкимус знает: кто сумеет выстрелить в сережку царевой дочери, тот получит цареву дочь в жены. Тухкимус выстрелил в сережку царевой дочери. Она [сережка] не успела пролететь и половины [расстояния] до земли, как Тухкимус поймал ее — и в карман. Заходит торопливо в избу, не садится ни есть, ни пить, а говорит, что «готовьте скорее невесту».

Готовили-приготавливали. Он увел невесту на двор. Посадил невесту на лошадь, сам сел сзади. Лошадь поднялась в воздух. Тухкимус приехал домой. Запер невесту и лошадь в амбаре. Сам сел на середину печи, пока другие братья не придут домой.

— Ну, что этот на середине печи расселся?

— Вас ждал, каковы царские пиры-балы?

— Были там и на тебя похожие, — говорят другие братья.

— Ну, если были на меня похожие, то были и на вас похожие, — говорит Тухкимус.

Назавтра опять у царя пиры-балы. Опять они собираются на пиры-балы добывать среднюю царскую дочь. Кто сумеет выстрелить в браслет царевой дочери, тот получит цареву дочь. Тухкимус говорит:

— Возьмите, братья, и меня.

— Сиди ты в своей золе да в пепле!

Отправляются другие братья. Тухкимус идет к концу большого прогона, на большой камень. Там зовет:

— Увидь меня, моя куница, услышь, моя златогрудая!

Куница едет на лошади, [у которой] шерстинка золотая, другая серебряная, третьей и цвета не назвать. [Тухкимус] в одном ухе умывается, в другом одевается, прыгнул на коня. Поехал. С бегущей лошади выстрелил в браслет, зашел в избу, сказал:

— Готовьте, готовьте скорей невесту!

Готовили-приготавливали. Тухкимус увел невесту на двор и посадил ее на лошадь. Сам сел сзади. Тогда лошадь поднялась в воздух. Приехал домой. Увел в амбар невесту и лошадь. Сидит на краю печи. Приходят другие братья. На Тухкимусе новая рубаха и новые штаны, сапоги новые. Другие братья говорят:

— Где ты достал эту одежду?

— Можно достать, если на небо перекреститься.

— Каковы царские пиры? — говорит Тухкимус.

Братья отвечают:

— Были там и на тебя похожие.

— Если были на меня похожие, то были там и на вас похожие.

Завтра, говорят, будут у царя пиры-балы. Кто сумеет выстрелить в кольцо младшей царевой дочери, тому будет младшая царева дочь невестой. Братья опять собираются, умываются для царских пиров-балов. Тухкимус говорит:

— Возьмите и меня.

— Не возьмем тебя туда, людей пачкать золой.

— Ну, не возьмете, так идите, — говорит Тухкимус.

Пошли они на царский пир. Тухкимус спустился с печи. Идет опять к концу большого прогона, на большой камень. Зовет оттуда:

— Увидь меня, моя куница, услышь, моя златогрудая!

Куница едет на лошади, [у которой] шерстинка золотая, другая серебряная, третьей и цвета не назвать. [Тухкимус] в одном ухе умывается, в другом одевается. Пистолет поперек спины. Тухкимус умывается, одевается, взял пистолет в руки, поехал. Приехал к царю, выстрелил в кольцо на стрехе — и в карман. И ни один человек не поверил бы, что это Тухкимус. Он говорит:

— Готовьте, готовьте невесту!

И не ест он, и не пьет. Невесту приготовили. Тухкимус увел невесту во двор, посадил на лошадь; сам сел сзади. Лошадь полетела. Приехал Тухкимус домой с невестой. И третью невесту увел в амбар. Сидит дома на краю голбца\*. Приходят другие братья с пиров-балов. Он спрашивает:

— Каковы были царские пиры-балы?

Те, другие братья, отвечают, что «были там на тебя похожие».

— Если были на меня похожие, то были там и на вас похожие, — говорит Тухкимус.

Братья говорят:

— Надо взвесить наши амбары.

Потом он [Тухкимус] взвесил амбар старшего [брата], потом амбар среднего [брата]. У них там только зернышки перекатываются и куски сосновой коры, из которой хлеб с корой делают.

Говорит Тухкимус:

— Взвесьте, братцы, и мой амбар.

Те говорят:

— К чему твой-то амбар взвешивать, коли даже в наших амбарах ничего не было.

— Ну взвесьте, взвесьте.

А другие братья ходили по нужде на порог амбара Тухкимуса. Потом они стали взвешивать этот амбар. Там как золото и серебро загремело! Говорят Тухкимусу:

— Покажи, братец, что в амбаре!

— Не покажу, — Тухкимус говорит, — пока не соскоблите то, что на пороге.

Как открыли дверь — там все царские дочери. Три лошади: шерстинка золотая, другая — серебряная, третьей и цвета назвать нельзя.

— Дай, братец, нам этих невест!

Говорит Тухкимус:

— Вы ведь говорили, когда на царские пиры да балы ходили, что есть там на тебя похожие, так сказал же ведь я, что есть там и на вас похожие [?].

Потом Тухкимус дает старшему брату старшую цареву дочь, среднему — среднюю дочь, сам берет младшую. Стали хорошо жить. Тухкимус стал царевым зятем. Живут и по сей день, еще и завтра поживут.

Такой длины, такой красы [сказка], золотой листок слушающему, листок любви поющему.

### 34. KOLMEJALKANI HEPONI

Eli ennen tuas šiela ukko ta akka. Heilä oli kolme puekua. Yksi oli Tuhkimus-Tähkimys. Ollah-eletäh, ta ne kaksi velloštä lähetäh akkoja eččimäh, a Tuhkimus-Tähkimys kotih jäy. Toiset vellet mäntih tallih ta otettih šieltä parahat kaksi hevoista. Tuhkimus-Tähkimys mänöy tallih, a hänellä jätetty kolmejalkani heponi. I šanou:

— Vellet lähettih kuoleman reisulla, ta kun lähtenet heitä pu-lašta piäštämäh, niin hyppyä šelkäh.

Tuhkimus-Tähkimys hyppäy kolmejalkasella heposella šelkäh ta lähtöy ajamah vellilyellä peräh. Ajau, ajau — tiellä tulou vaštah oikein korkie puu. Heponi i šanou jotta „pisyhän šelässä, niin yritämmä hypätä puušta piälliči“.

— No emmä myö piälicci piäse.

→ No pisyhän šeläššä, hypättävä siitä on, muit'en vel'let tapetah.

Yritettih kerta — ei piäšty. Yritettih tueni kerta — ei piäšty. A kolmannella kerralla jo i piäštih. Ajetah, ajetah — tuli Šyöjätterin talo vaštah. Heponi i šanou, jotta „mäne pirttüh hil'akkaiseh ta puekien lakit laita tyttärillä piäh, a paikat pojilla piäh, ta vuota kun Šyöjätteri kahentuesta aikana tulou ta lyöy tyttäriltäh piät puekki. Siitä noššat vellet ta tuletta uloš“.

Tuhkimuš-Tähkimyš niin i mänöy pirttüh ta niin i luatiu, kuin hänellä heponi kaški: lakit ta paikat vajehti. Kahentuesta aikah Šyöjätteri-akka tuli ta lyei tyttäriltäh piät puekki. Tuhkimuš-Tähkimyš nošti velleh, ta siitä lähettih kotih ajamah.

No mitäše. Nehiän vellekšet hyvillä heposilla lähettih mänemäh kuin tuulennenät. A Tuhkimuš-Tähkimyš vain hil'akkaiseh matata kuhnuttau. Ajau, ajau, a jo etähyäti näköy, jotta mi tievireššä päin losninou. Iöekšeh i tuumuau, jotta tuo pitäy šuaha hänellä. Mänöy šiih kohtah, hyppyäy heposen šeläštä ta rupieu sitä ottamah. A heponi i šanou, jotta „tulou äijä huolta.“ No Tuhkimuš-Tähkimyš — jotta ottau hiän tuon šulan, kun nuen hyvin valottau.

Ajetah, ajetah, mäntih. Pueka šen šulan i jättäy heposen piän piällä. No vellet kun huomenekšella mäntih tallih, niin šielä nähäh, jotta šulka valottau vain Tuhkimukšen heposella, a hiän heposilla on aivan pimie. Tästä vellekšet šiännyttih ta tuumaijah čuarilla kielie. Mäntih čuarin luo tai šanotah, jotta šemmoisen ta šemmoisen šulan sai. Ta muka heilä kehuu, jotta hiän šuau i šen linnun, miltä še šulka on kirvonnun. No eläi kiirähä. Čuari i kučču Tuhkimukšen ta šano, jotta hänen pitäy tuuva še lintu, miltä še šulka on kirvonnun. No tuesena päivänä mänöy pueka poloni heposeh luo, ta heponi i kyšyy:

— Mitä olet niin pahalla mielin? Vain onko šanalla šatatettu, eli šarvella vuarrettu?

— Ei ole šanalla šatatettu eikä šarvella vuarrettu. Vain čuari anto ečittäväksi šen linnun, miltä on kirvonnun še šulka.

— No, johan mie šiula šanoin, jotta ei olis pitän ottua sitä šulkua. No kun on tullun otetukši, niin hyppyä šelkäh, lähemmä eččimäh.

Tai lähettih. Ajetah, ajetah — tulou kultani pyörijä häkki vaštah. Šielä istuu še lintuni. Heponi i šanou, jotta „mie kierrän myötäh päiväy kolme kertua ta vaštah päiväy kolme kertua, siitä kun piettyy häkki, nin še šiieppua lintuni šiämeštä“.

Niin i luajittih. Heponi kolme kertua kierti vaštah päiväy, ta kolme kertua myötäh päiväy, ta lintuni šuatih ta vietih čuarilla.

Vellekšet tuas i kielitäh, jotta Tuhkimuš-Tähkimyš muka heilä kehuu, jotta hiän šuau i šen lintusen häkin. No čuari tuas kučču

pojan ta anto hommattavaksi häkin. No tämä se sentäh helpompi homma oli. Mänöy heposeh luo, a heponi i kyšyy:

— Mitä olet niin pahalla mielin? Vai onko šanalla šatatettu eli šarvella vuarrettu?

— Ei ole šanalla šatatettu eikä šarvella vuarrettu, vain on annettu hommattavaksi šen lintusen häkki.

— No elähän hätyäle kun hyppyä šelkäh.

Tuaš lähettih ta käytih še häkki ta tuotih čuarilla. No kun ollah-eletäh, niin vel'lekset tuaš i kielitäh, jotta Tuhkimuš muka kehuu, jotta hän šuau muailman kaunehemman tyttären kätäh. No čuari tuaš kučuu Tuhkimukšen ta šanou, jotta pitäy šuaha hänelä muailman kaunehin tytär.

Tuhkimuš-Tähkimyš tuesena päivänä i mänöy heposen luo, a heponi i šanou hänellä:

— Mitä olet niin pahalla mielin? Vain onko šanalla šatatettu eli šarvella vuarrettu?

— Ei ole šanalla šatatettu eikä šarvella vuarrettu. Vain nyt on annettu šuataavaksi kaikista kaunehin tytär käsih.

— No johan mie šanoin, jotta ei olis pitän ottua šitä šulkua, vain kun kerran še on luajittu, niin hyppyä šelkäh.

Otettih matkah stola, viinua ta ičeštäh šuettajat harput. Ajetah, ajetah — tullah meren rannalla. Laitetah stolalla viinua i ičeštäh šuettajat harput. A iče männäh puun tuakši. Heponi i šanou, jotta „kun mereltä tulou tytär ta ryyppyältäy ensi kerran, ta šiitä tuesen kerran, ta vašta kun kolmannen kerran juou ta polvisillah lankieu, niin šiitä vašta juokše ottamah, ennen ei pie juošša“.

No ollah vuotellah, kačotah — ka mereltä veneh šoutau. A harput ne šuetetah. Veneh jo i rantah tuli, a šieltä uekein kaunis tytär läh-töy stolah päin. Ottau kakši äskelta eteh, yhen tuakši. Niin mänöy stolan luo, ta kun ryyppyältäy kerran — šilloin pueka puleutuu juokšomah. Tytär veneheh ta merellä. Pueka ei ni kuin keštän. Ruvettih tuaš vuottamah, a heponi varottau, jotta „elä ennen lähe juokšomah, ennen kun ei polvisillah lankenne“.

Vuotetah, vuotetah — tuaš tytär tulou rantah. Kakši äskelta eteh, yhen tuakši, ta niin lähenöy stolan luo. Ryyppyäy kerran viinua, ryyppyäy tuesen — pueka tuaš ei keštän — kun puleutu juokšomah, a tytär tuaš veneheh ta merellä.

Pojalla tuaš paha mieleštä: no vielä še tulou vuottua. Vuotetah, vuotetah — tuaš i tulou rantah. Kakši äskelta eteh, yhen tuakši, niin lähenöy stola. Ryyppyäy kerran, ryyppyäy tuesen ta ryyppyäy kolmannen ta repšahtau polvillah, šilloin pueka puleutu juokšomah ta šai tyttären käsihinše. Lähettih ta ajettih kotih. Tyttären vei čuarilla. A tytär i šanou, jotta „kun šaitta miut tänne, niin šuakua i miun vuattiet“. Čuari tuaš i antau Tuhkimukšella šuataavaksi tyttären vuattiet. Tuhkimuš tuaš huomenekšella i mänöy heposeh luo, a še i šanou:

— Mitä olet niin pahalla mielin? Vain onko šanalla šatatettu eli šarvella vuarrettu?

— No ei ole šanalla šatatettu eikä šarvella vuarrettu. Vain on annettu šuatavaksi šen tyttären vuattiet.

— No kun on annettu šuatavaksi vuattiet, niin šuahan lautua ta nuaklua ta piäše šelkah.

No Tuhkimuš-Tähkimyš hommasi nuaklua ta lautua, ta lähettih tuaš matkah. Ajettih, ajettin—tultih meren rannalla. Heponi i šanou, jotta Tuhkimuš niin kun šalpuais hänet rannalla lautojen šiameh, a iče mänis etemmäksi ta kaččois, kun tulou ensimmäini ualto, tulou tueni ualto ta tulou kolmaš ualto, ni hiän kun potkuau šen lautakopin ilmah, niin šiitä Tuhkimuš juoksis vuatteita keryämäh. No niin i luajittih. Pueka šalpai rannalla heposen lautojen šiameh, a iče mäni etemmäksi. Kaččou—ka tulou ensimmäine šuuri ualto. Kaččou—ka toini vielä šuurempi, a kolmaš ihan vuorena i läheštyy. Tuli ualto rantah, heponi kun potalla rävähytti, niin šilloin pueka juokši vuatteita keryämäh. Keräsi vuattiet ta vietih ne čuarilla.

No nyt tytär i šanou, jotta ken hänen tänne on šuattan, niin sillä hiän i miehellä mänöy. A tämä ei ollun čuarin eikä Tuhkimukšen vellekšien mieltä myöt'e. I hyö tuumauvuttih, jotta hyppätetäh Tuhkimuš tervapatah, ta anna šielä palau. Tervapatua koko netäli kiehutetah. Kaikki rahvaš kerävytäh kaččomah, kuna päivänä pojan pitäis hypätä tervapatah. Rahvašta on uekein äijä keräytyn. Tuhkimuš-Tähkimyš tulou šinne heposeh kera. A hyö šovittih, jotta kun heponi kolme kertua juokšou šen tervapuan ympärä myötäh ta vaštah päivyä, ta šiitä kun mih kohtah kielelläh lipuau, ni šiih kohtah i hyppyä šie. No Tuhkimuš-Tähkimyš i pani tämän korvan tuakše. Tultih šinne čuarin luo, a šiinä še i vellekšet ollah. Tuhkimuš-Tähkimyš i šanou čuarilla, jotta hiän piäštäis hänen heposen viimeistä kertua kaimuamah häntä, kun on näin äijän auttan häntä. Ta čuari antau luvan. Pueka še nousi šinne ylähäksi, mistä pitäy hypätä šiih tervapatah. A heponi ensin juokšou vaštah päivyä kolme kertua, šiitä myötäh päivyä kolme kertua ta lipuau kielelläh tervapatah. Pueka i hypätä kapšahtau šiih kohtah ta šiitä kyytie noušou šieltä kultasissa vuatteissa. Täštäkö tytär ihaštuu ta juokšou pojalla kaklah. A čuari ta vellekšet niise kilvan juoššah ylähäksi ta šinne peräkkäh hypätäh ta šinne paletah. Tuošta Tuhkimuš-Tähkimyš piäsi rauhah ta šai muailman kaunhemman tyttären akakšeh ta piäsi vielä šiih paikkah čuariksi.

#### 34. ТРЕХНОГАЯ ЛОШАДЬ

Были раньше опять там старик и старуха. У них было три сына. Один был Тухкимус-Тяхкимюс. Жили-были, и те два брата отправляются искать жен, а Тухкимус-Тяхкимюс остается дома.

Другие братья пошли в конюшню и взяли там двух лучших лошадей. Тухкимус-Тяхкимюс идет в конюшню — ему оставлена трехногая лошадь, [которая] говорит:

— Братья отправились в путь смерти, если поедешь их выручать, то вскочи мне на спину.

Тухкимус-Тяхкимюс вскакивает на трехногую лошадь и пускается догонять своих братьев. Едет, едет — на дороге очень высокое дерево, лошадь и говорит, что «держись-ка покрепче, попробуем перепрыгнуть через это дерево».

— Не перескочить нам.

— Ну, держись-ка покрепче, перескочить надо, иначе братьев убьют.

Попробовали раз — не смогли перескочить. Попробовали второй раз — не смогли перескочить. А на третий раз уже и перескочили. Едут, едут — встретился дом Сюояттjари. Лошадь и говорит, что «иди потихоньку в избу и шапки братьев надень на головы девушек, а [их] платки — на головы братьев, и, жди, как Сюояттjари в двенадцать часов придет и отсечет головы своим дочерям. Потом разбудишь братьев и выйдете во двор».

Тухкимус-Тяхкимюс идет в избу и все делает так, как ему лошадь велела: шапки и платки поменял. В двенадцать часов пришла баба Сюояттjари и отсекла головы своим дочерям. Тухкимус-Тяхкимюс разбудил братьев, и потом они поехали домой.

Что там! Эти-то братья на хороших лошадях поехали, как вихри. А Тухкимус-Тяхкимюс едет себе потихоньку. Едет, едет и уже издали видит, что на обочине дороги что-то блестящее. Про себя и думает, что это надо ему достать. Доезжает до этого места, спрыгивает с лошади и хочет взять это [блестящее]. А лошадь и говорит, что «будет много заботы». Но Тухкимус-Тяхкимюс [говорит], что возьмет он все же это перо, потому что так ярко светится.

Едут, едут, приехали домой. Парень это перо оставляет над головой лошади. Те братья утром пошли в конюшню и видят, что перо светит только лошади Тухкимуса, а у их лошадей совсем темно. Братья из-за этого рассердились и надумали донести царю. Пошли к царю и говорят, что такое-то и такое-то перо [достал Тухкимус]. И будто бы хватается им, что он достанет и ту птицу, у которой выпало то перо. Ну, поди-ка. Царь и вызвал Тухкимуса, и сказал, что надо доставить ту птицу, у которой выпало то перо. Ну, на другой день идет бедный парень к лошади, а лошадь и спрашивает:

— Почему так опечален? Или словом задела, или рогом обнесли?

— И словом не задела, и рогом не обнесли. Только царь приказал найти ту птицу, у которой выпало то перо.

— Ведь я говорила тебе, что не надо было брать то перо. Ну, раз довелось взять, то прыгай мне на спину, поедем искать.



И поехали. Едут, едут — встречается золотая вращающаяся клетка. В ней и сидит эта птица. Лошадь и говорит, что «я обойду [клетку] три раза по солнцу и три раза против солнца, и как остановится клетка, то ты и схвати птичку из клетки».

Так и сделали. Лошадь три раза обошла по солнцу и три раза против солнца — достали птицу и принесли царю.

Братья опять и наговаривают, что Тухкимус-Тяхкимюс будто бы им хвастается, что он достанет и клетку той птички. Ну, царь опять вызвал парня и приказал доставить клетку. Ну, это дело все же полегче. Идет к лошади, а лошадь и спрашивает:

— Почему так опечален? Или словом задела, или рогом обнесли?

— И словом не задела, и рогом не обнесли, только велено клетку той птички доставить.

— Ну, не горюй, а садись мне на спину.

Опять поехали и привезли ту клетку и доставили царю. Ну, живут-поживают, так опять братья и наговаривают, что Тухкимус будто бы хвастается, что он достанет самую красивую девушку в мире. Ну, царь опять и зовет Тухкимуса и говорит, что надо достать ему самую красивую девушку в мире.

Тухкимус-Тяхкимюс в другой день идет к лошади, а лошадь и говорит ему:

— Почему так опечален? Или словом задела, или рогом обнесли?

— И словом не задела, и рогом не обнесли. Только велено доставить самую красивую девушку.

— Ведь я же говорила, что не надо было брать то перо, но раз это сделано, то прыгай мне на спину.

Взяли с собой стол, вина и самоиграющую арфу. Едут, едут — приезжают на берег моря. Ставят на стол вино и самоиграющую арфу. А сами прячутся за дерево. Лошадь и говорит, что «когда с моря придет девушка и пригубит раз, потом второй раз и когда только третий раз выпьет и на колени упадет, то только тогда беги, чтобы схватить ее, раньше не беги».

Ну, ждут-поджидают, смотрят — плывет по морю лодка. А арфа играет. Лодка причалила к берегу, а из нее очень красивая девушка выходит и идет к столу. Делает два шага вперед, один шаг назад. Так подходит к столу, и только глотнула [вина] один раз, парень бросился бежать [к ней]. Девушка в лодку и на море! Парень никак не мог выдержать. Стали опять ждать, а лошадь предупреждает, что «не беги прежде, чем она не упадет на колени».

Ждут, ждут — опять девушка и приплыла к берегу. Два шага вперед, один назад, и так приближается к столу. Сделала глоток, другой — парень опять и не выдержал, бросился бежать, а девушка снова в лодку и на море.

Парень опять огорчился: придется еще подождать. Ждут, ждут — опять и выходит [девушка] на берег. Два шага вперед, шаг назад, так подходит к столу. Сделала глоток, сделала другой и сделала третий. Да упала на колени; тогда парень бросился бежать и поймал девушку. Поехали домой. Девушку передал царю. А девушка и говорит, что «коли меня сюда доставили, так доставьте и мои одежды». Царь опять и велит Тухкимусу достать одежды девушки. Тухкимус опять утром идет к лошади, а лошадь и говорит:

— Почему ты так печален? Или словом задела, или рогом обнесли?

— И словом не задела, и рогом не обнесли. Только велели достать одежды девушки.

— Ну, раз велено достать одежды, то захвати-ка досок и гвоздей и садись на меня.

Ну, Тухкимус достал досок и гвоздей, и отправились опять в путь. Ехали, ехали — приехали на берег моря. Лошадь и говорит, что Тухкимус должен как бы запереть ее [лошадь] в будке из досок, а сам пусть отойдет и посмотрит, как прикатит первая волна, потом вторая волна, а когда придет третья волна, то она сломает будку из досок, и тогда Тухкимус должен подбежать, чтобы собрать одежды. Ну, так и сделали. Парень запер лошадь на берегу в будке из досок, а сам отошел подальше. Смотрит — катится первая большая волна. Смотрит — так вторая еще больше, а третья, как гора, приближается. Прикатила волна к берегу, лошадь как ударила ногой [по будке], тогда парень побежал собирать одежды. Собрал одежды, и доставили их царю.

Ну, теперь девушка говорит, что кто ее сюда привел, за того она и замуж выйдет. А это и не пришлось по нраву царю и братьям Тухкимуса. И они придумали, что надо заставить Тухкимуса прыгнуть в котел со смолой, пусть там сгорит. Целую неделю смолу в котле кипятят. Весь народ собирается смотреть в тот день, когда парень должен прыгать в котел со смолой. Народу очень много собралось. Тухкимус-Тяхкимюс приходит туда с лошадю. А они договорились, что когда лошадь обежит котел со смолой три раза по солнцу и три раза против солнца и в каком месте потом лизнет языком, в то место и должен прыгнуть. Ну, Тухкимус-Тяхкимюс намотал это на ус [букв.: заложил за ухо]. Пришли туда к царю, а братья [Тухкимуса] тоже тут. Тухкимус-Тяхкимюс и говорит царю, чтобы он отпустил его. [Тухкимуса] лошадь последний раз провожать его, потому что она так много ему помогала. И царь разрешает. Парень встал туда повыше, откуда надо прыгать в этот котел со смолой. А лошадь сперва бежит против солнца три раза, потом по солнцу три раза и лизнула языком котел. Парень и прыгает в тот котел и тут же встает оттуда в золотой одежде. Тут девушка как обрадуется и бросится парню на шею! А царь и братья [Тухкимуса]

тоже бегут наперегонки наверх, и друг за другом прыгают [в котел], и сгорают. Тут Тухкимус-Тяхкимюс избавился от них и получил в жены самую красивую в мире девушку и к тому же еще остался на том месте царем.

Oli yheksän poigoo ukolla da akalla, pojat lähettih koista i šanottih moomollah:

— Ku šoonet tyttären, ni pane kuoželi veräjän peellä, ku šoonet pojan, ni pane puraš veräjän peellä.

A Syöttäri bleedi kuundeli ikkunan alla. Akka šai tyttären i pani kuoželin veräjän peellä, a Syöttäri bleedi pani purahan veräjän peellä, a kuoželin otti. Pojat tullah, itetäh, itetäh, i lähettih pois.

Tyttöni ni kažvo, mäni leskiakan luoh i šano:

— Oligo miula veikkuo?

Leskiakka šanou:

— Oli yheksän veikkuo.

Tyttöni šanou:

— Blahoslovikko miuda, miä lähen veikkoloin luoh.

Händä blahoslovittih, i hiän läksi matkah rikkikoiražen kera. Matkai, matkai, matkai, tuli Syöttäri akka vaštah i kyzy:

— Kunna mänet?

Šanou:

— Läksin veikkoloin luoh.

— Ota miuda.

— En ota.

— Et ottane — lähen, ottanet — lähen, — šano i läksi tyttöžen kera matkah.

Matattih, matattih, matattih, tuli lambi vaštah. Syöttäri akka šanou:

— Nukka, tyttön, d'ärveh.

— En rubia.

Rikkikoirani šanou:

— Hyvän emän tytär, hyvän izän tytär, elä rubia d'ärveh, vaštau siulda voottiat.

Syöttäri akka ottau da poolikalla koirasta isköy, koirazelda d'alga i katkieu. No tyttöni d'arviä kylvömäh ei rubennun. Lähettih ielläh matkah. Matattih, matattih, matattih, tuli lambini vaštah. Syöttäri akka šanou:

— Nukka, tyttöni, d'ärveh.

— En rubia.

Rikkikoirani šanou:

— Hyvän emän tytär, hyvän izän tytär, elä rubia d'ärveh, varaštou siulda voottiat.

Syöttärin akka ku koirasta poolikalla kolahuttou, dai d'alga i katkiau. No tyttöni d'arviä kylvömäh ei rubennun. Lähetthi ielläh matkah. A rikkikoirani klikkiy kahella d'allalla. Matattih, matattih, matattih, tuli lambini vaštah. Syöttärin akka i šanou:

— Nukka siä d'arviä kylvömäh.

— En rubia.

Rikkikoirani šanou:

— Hyvän emän tytär, hyvän izän tytär, elä rubia d'arviä kylvömäh, varaštou siulda voottiat.

Syöttärin akka kun ottou da koirasta poolikkažella i kolahuttou, koirażelda d'algani i katkiau. Lähetthi matkah, a koirani klikkiy d'o yhellä d'allalla. Matattih, matattih, matattih, tuli lambini vaštah. Syöttärin akka šanou:

— Nukka siä, tyttön, d'arviä kylvömäh.

— En rubia.

Koirani i šanou:

— Hyvän emän tytär, hyvän izän tytär, elä rubia d'arviä kylvömäh, varaštou siulda šobat.

Syöttärin akka koirasta poolikalla i kolahuttou, koirażelda d'algimäni d'algani katkei. Lähetthi ielläh matkah. Koirani van viēröy mooda myöteh. Matattih, matattih, matattih, tuli lambini vaštah.

Syöttärin akka i šanou:

— Nukka siä, tyttön, kylvömäh, ku on ägiä.

— En rubia.

Koirani šanou:

— Hyvän emän tytär, hyvän izän tytär, elä rubia d'arviä kylvömäh, varaštou siulda voottiat.

Syöttärin akka silmän koirażelda i kaivau. Lähetthi ielläh matkah. Matattih, matattih, matattih — tuli lambini vaštah. Syöttärin akka i šanou:

— Ka nukka siä, tyttön, tässä myö kylvemmä d'ärven.

— En rubia.

Koirani šanou:

— Hyvän emän tytär, hyvän izän tytär, elä rubia d'ärveh, varaštou siulda voottiat.

Syöttärin akka koirażelda toižen silmän i kaivo da lopun šuohoh sotki. Lähetthi matkah ielläh kahen, koirani d'ai. Tyttö itköy, itköy, itköy. Matattih, matattih, matattih, tuli lambi vaštah. Syöttärin akka šanou:

— Nukka, tyttön, d'arviä kylvömäh.

— En rubia.

— Rubennet — peežet eloh, et rubenne — tapan.

Prišlos' rubeta d'arviä kylvömäh. D'akšattihižeh. Syöttärin akka šanou:

Kudamani loitomma mänemmä, kudamani loitomma mänemmä?

Moonitti tytön da lykkäi vedeh loitoš, a iče d'uoksi da hänen hyvät šulkužet šobat peellä pani da läksi matkah, a tyttözellä d'ätti rogozažet omahah šobat. Tyttöni tuli d'algeh itušša, vootei-da kzyzy, a Syöttäriin akka šanou:

— Vuota, mänemmä veikkoloin talon luoh, dai anan.

Tyttözellä pidäy matata rogozažissa vooteišša. Matattih, matattih, mändih veikkoloin pordahien luoh, veikot tuldih vaštah. Ku kačotah, on kudamani hyvissä šulkuzišša vooteišša, se i tem-mattih perttih, a toini d'ai rogozažissa sihi. Syöttäriin akalda ky-zytäh:

— Kembä, čikko, tuo on rogozavooteišša?

— En tiiä ken ollou, dorogalla miun kera tuli.

Syöttäriin akka tuli čikoksi, a čikko Syöttäriin akaksi. Työnnet-tih tyttöistä paimenih. Hiän mäni, nouzi korgiella kivellä da van pajattau, a veikko kuundelou (pajattau linduloilla, ku linnut rubet-tih peeličči lendämäh):

Lugluni, lagluni,  
viegee viesti tootollani,  
viegee viesti moomollani:  
olen pal'lo paimenissa,  
kirjon, karjon kačonnissa,  
yhəkšissä veijoissa,  
kahekšoissa min'noissa,  
kivirieška syödävänä,  
šavikurnikka purdavana,  
Syöttäriin akka on miun sijašša,  
miä olen Syöttäriin akan sijašša.  
Rikkikoraželda d'allat katko,  
šuooh šotki,  
silvät katvo,  
šobat varašti.

Veikko rubei duumaimah: „Eigöhän tämä ole miän čikko, a se, kudamani on nyt meijen čikkona; ole Syöttäriin akka?“. I šano toi-zilla veikoilla. Veikot ei uššottoo. Tyttöni työnnettih toišša peenä tooš paimenih. Nyt kuundelou toini veikko. Tyttöni kivellä ištuu da pajattau, ku linnut rubettih peeličči lendämäh:

Lugluni, lagluni,  
viegee viesti tootollani,  
viegee viesti moomollani:  
Olen pal'lo paimenissa,  
kirjon, karjon kačonnissa,  
yhəkšissä veijoissa,  
kahekšoissa min'noissa,  
kivirieška syödävänä,  
šavikurnikka purdavana.  
Syöttäriin akka on miun sijašša,  
miä olen Syöttäriin akan sijašša.  
Rikkikoraželda d'allat katko,  
šuooh šotki,

silmät kaivo,  
šobat varašti.

Veikko tooš viestin vei toizilla veikkoloilla, nyt lähetäh toišša peenä kai yheksän veikkuo kuundelomah, midä paimen pajattau. Ku linnut peeličči rubettih lendämäh, hiän ni rubei pajattamah, a veikot kai kuunnellah:

Lugluni, lagluni,  
viegee viesti tootollani,  
viegee viesti moomollani:  
olen pal'lo paimenissa,  
kirjon, karjon kačonnissa,  
yhekšissä veijoissa,  
kaheksöissa min'n'öissa,  
kivirieška syddävänä,  
šavikurnikka purdavana,  
Syöttäriä akka on miun sijašša,  
Miä olen Syöttäriä akan sijašša.  
Rikkikotraželda d'allat katko,  
šuooh šotki,  
silmät kaivo,  
šobat varašti.

Veikot paissah keskenäh:

— Tämä on meilä oma čikko, a se eule meijen čikko.

Tuldih paimentytön luoh, kzyyttih:

— Midäbä, tyttözeni, pajatat, ken siä olet?

Tyttöni šanou:

— Miä olen teijen čikko.

Šano kaiken, kuin hiän läksi koišta, kuin tuli tän, kaiken šano. Veikot tuldih kodih, a sillä Syöttäriä akalla ei šanottu ni midä. Lämmitettih kyly, kiehašutettih tervabučči, bučilla peellä pandih ruškia šarga, tuldih Syöttäriä akkoo kylyh pyrittämäh:

— Hoi, čikko, läkkä kylyh, myö kylyn lämmitimmä.

— En lähe, ei himota.

— Ka läkkä siä, čikko, matašta tulduo kylyh.

Läksi. Viehätetäh käzipuoliškoloista, šanotah:

— Čikko, aššu tuoda šargoo myöten.

Hiän ku aštu, dai tervabuččih čolkahtih, sin ni korveni. Alletah nastojaščoida čikkoo gostittaa da ugostia. Sihi i starina loppu. Alletah elee da piruija.

### 35. [ДЕВЯТЬ БРАТЬЕВ И СЕСТРА]

Было у мужа и жены девять сыновей. Сыновья, уходя из дому, сказали матери:

— Если родишь дочь, то положи прялку на ворота дома, а если родишь сына, то положи пешню на ворота.

А Сюоттяри, курва, подслушивала под окном. Жена родила дочь и положила прялку на ворота, а Сюоттяри, курва, положила

на ворота пешком, а прялку сняла. Сыновья приходят — плачут, плачут и ушли прочь.

Девочка подросла, пошла ко вдове и спросила:

— Были ли у меня братья?

Вдова говорит:

— Было девять братьев.

Девочка говорит [родителям]:

— Благословите меня, я пойду к братьям.

Ее благословили, и она отправилась в путь с маленькой собачкой. Шла, шла, шла — встретила ее Сюоттари и спросила:

— Куда идешь?

Говорит:

— Пошла к братьям.

— Возьми меня с собой.

— Не возьму.

— Возьмешь — пойду, не возьмешь — пойду, — сказала и пошла с девочкой.

Шли, шли, шли — пришли к ламбе. Баба Сюоттари говорит:

— Давай-ка, девочка, купаться.

— Не буду.

Собачка говорит:

— Доброй матери дочь, доброго отца дочь, не ходи купаться, украдет у тебя одежду.

Баба Сюоттари ударила собачку палкой, у собачки нога и сломалась. Ну, девочка не стала купаться. Пошли дальше. Шли, шли, шли — пришли к ламбе. Баба Сюоттари говорит:

— Давай-ка, девочка, купаться.

— Не буду.

Собачка говорит:

— Доброй матери дочь, доброго отца дочь, не ходи купаться, украдет у тебя одежду.

Баба Сюоттари как стукнет собачку палкой — так у собачки нога и сломалась. Ну, девочка купаться не стала. Отправились дальше. А собачка на двух ногах попрыгивает. Шли, шли, шли — пришли к ламбе. Баба Сюоттари и говорит:

— Давай-ка купаться.

— Не буду.

Собачка говорит:

— Доброй матери дочь, доброго отца дочь — не ходи купаться, одежду у тебя украдет.

Баба Сюоттари как стукнет собачку палкой, так у собачки нога и сломалась. Пошли дальше, а собачка на одной ноге подпрыгивает. Шли, шли, шли — пришли к ламбе. Баба Сюоттари говорит:

— Давай-ка, доченька, купаться.

— Не буду.

Собачка говорит:

— Добрай матери дочь, добраго отца дочь, не ходи купаться, украдет у тебя одежду.

Баба Сюоттяри стукнула собачку палкой, у собачки последняя нога сломалась. Пустились дальше в путь. Собачка по земле катится. Шли, шли, шли — пришли к ламбе. Баба Сюоттяри и говорит:

— Давай-ка, доченька, купаться — очень уж жарко.

— Не буду.

Собачка говорит:

— Добрай матери дочь, добраго отца дочь, не ходи купаться, украдет у тебя одежду.

Баба Сюоттяри глаз у собачки и выколола. Пошли дальше. Шли, шли, шли — пришли к ламбе. Баба Сюоттяри говорит:

— Давай-ка, доченька, выкупаемся здесь.

— Не буду.

Собачка говорит:

— Добрай матери дочь, добраго отца дочь, не ходи купаться, украдет у тебя одежду.

Баба Сюоттяри второй глаз у собачки выколола и собачку в болото закопала. Пошли дальше вдвоем, собачка осталась. Девочка плачет, плачет, плачет. Шли, шли, шли — пришли к ламбе. Баба Сюоттяри говорит:

— Давай-ка, доченька, купаться.

— Не буду.

— Если будешь — останешься жива, не будешь — убью.

Пришлось купаться. Разделись. Баба Сюоттяри говорит:

— Которая дальше забредет, которая дальше забредет?

Сманила девушку и оставила далеко от берега, сама побегала, надела шелковую одежду девушки и пошли дальше, а девочке оставила свою одежду из рогожи. Девочка с плачем идет следом, просит отдать одежду, а баба Сюоттяри говорит:

— Подожди, придем к дому братьев, тогда отдам.

Пришлось девочке идти в одежде из рогожи. Шли, шли, шли — подошли к крыльцу дома братьев, братья вышли встречать. Посмотрели — ту, которая была в хорошей шелковой одежде, увели в избу, а другая в рогоже осталась тут. У бабы Сюоттяри спрашивают:

— Сестра, это кто в рогожной одежде?

— Не знаю, кто она, по дороге увязалась.

Баба Сюоттяри стала за сестру, а сестра за бабу Сюоттяри. Отправили девочку коров пасти. Она пошла, встала на большой камень и поет (а брат слушает); поет птицам, когда птицы над ней пролетали:

Дуглушки-лаглушки,  
отнесите весть отцу,  
отнесите весть матери:  
я, бедняжка, в пастушках  
стадо пеструх стерегу



у девяти братьев,  
у восьми невесток.  
Преснушку из камня дали с собой,  
рыбник из глины дали грызть.  
Баба Сюоттари на моем месте,  
я на месте бабы Сюоттари.  
У собачки ноги переломала,  
глаза выколола,  
в болото затоптала,  
одежду украла.

Брат задумался: «Не эта ли и есть наша сестра, а та, которая сейчас за сестру, баба Сюоттари?». И сказал об этом другим братьям. Братья не поверили. Послали девочку на второй день коров пасти. Теперь подслушивает другой брат. Девочка сидит на камне и запела, когда птицы над ней пролетали:

Луглушки-лаглушки,  
отнесите весть отцу,  
отнесите весть матери:  
я, бедняжка, в пастушках,  
стадо пеструх стерегу  
у девяти братьев,  
у восьми невесток.  
Преснушку из камня дали есть,  
рыбник из глины дали грызть.  
Баба Сюоттари на моем месте,  
я на месте бабы Сюоттари.  
У собачки ноги переломала,  
глаза выколола,  
в болото затоптала,  
одежду украла.

Брат рассказал об этом другим братьям, и на третий день все девять братьев идут слушать, о чем пастушка поет. Когда птицы стали пролетать над ней, она снова и запела, а братья все слушают:

Луглушки-лаглушки,  
отнесите весть отцу,  
отнесите весть матери:  
я, бедняжка, в пастушках,  
стадо пеструх стерегу  
у девяти братьев,  
у восьми невесток.  
Преснушку из камня дали есть,  
рыбник из глины дали грызть.  
Баба Сюоттари на моем месте,  
я на месте бабы Сюоттари.  
У собаки ноги переломала,  
глаза выколола,  
в болото затоптала,  
одежду украла.

Братья говорят между собой:

— Вот эта и есть нам родная сестра, а та нам не сестра.

Подошли к пастушке, спросили:

— О чем ты, девочка, поешь? Кто ты такая?

Девочка говорит:

— Я ваша сестра.

Рассказала все: как из дому вышла, как сюда шла, — все рассказала. Братья пришли домой, а той бабе Сюоттяри ничего не сказали. Истопили баню, прокипятили смолу в бочке, сверху на бочку бросили красное сукно. Пришли бабу Сюоттяри в баню звать:

— Хой, сестра, пойдём в баню — мы баню истопили.

— Не пойду, не хочется.

— Да иди же, сестра, с дороги в баню.

Пошла. Ведут её под руки, говорят:

— Ступай, сестра, по этому сукну.

Она как пошла — в бочку со смолой бухнулась, там и сварилась. Стали настоящую сестру угощать и потчевать. Начинают жить и пировать. Тут и сказка кончилась.

### 36. KIŠŠALAN LINNAN PRINSESSÄ

Eli ennen ukko ta akka. Heil oli yks tytär. Akka i kuolou ukolta. Ukko lähtöy toista akkua eččimäh. Tulou Šyöjätär vaattah ta kyšyy:

— Mistäkä, ukko, tulet? Minne, ukko, mänet? Ota milma akakšeš.

— En ota mie Šyöjätärtä.

Ukko mänöy ielleh, Šyöjätär mänöy ielleh. Juokšou Šyöjätär poikki polvelta ja kyšyy:

— Minne ukko mänet?

— Akkua eččimäh, — šanou ukko.

— Ota milma akakšeš.

— Eikö tialä muita ole kuin Šyöjättärie? No još mie šiun otan, kun muita ei ole.

Šyöjätär šanou:

— Mäne kotihis, mie tulen jaleštä, käyn vain prituanieta otamašša.

Ukko mänöy kotihis. Šyöjätär tulou jaleštä, hänellä on prituanieta vain kakši tytärtä. Ne on kuin rupiskokunat. Ukolla on niis tytär.

Aletah šiinä elyä. Šyöjätär rupieu vihuamah ukon tytärtä. Šyöjätär ottau vettä stauččah ja käšköy ukon tyttären juuva. Toiset tyttäret šanotah:

— Elä juo, še on pahua vettä.

Ukon tytär šanou:

— Ei miula pie vettä, mie en juo.

Syöjätär luou tyttären silmillä šen vejen. Tyttäreellä rupeš iiti vaeča kašvamah. Hiän tuli raškahakši. Syöjätär šanou ukolla:

— Suata pois tämä tytär. Tämä kun on kyläššä juoksija, niš sai maran ičelläh.

Ukko šanou tyttäreelläh:

— Suorie, tyttären, lähemmä meččäh.

Tytär arvuaš, jotta nyt hänen tuatto tahtou viijä tapettavakši. Läks i ukko tyttäreneh pimieš šynkkäh meččäh. Hiän jättäy tyttärukan meččäh, iče lähtöy pois. Tytär jäy šinne itkömäh.

Luatiu meččäh ičelläh pikkaraisen pirtin ja alkau šiinä elyä. Šai kiššanpoikasen. Še rupei pakajamah, kun oli ihmieššä šyntyn. Še kyšyy:

— Etkö šie, muamo, vois mitä neuluo, mie läksisin linnah myömäh vaikka čuarin pojalla, emmäkö šais jauhuo.

Tytär neulou kaunehen käsipaikan puun juurista. Šitou šen kiššanpojan kaklah ja käšköy viemäh čuarin pojalla, jotta eikö antais jauhuo.

Kišša viey ja šanou:

— Kiššalan linnan prinšeššä käški tämän tuomah šiula ja kyšy, jotta eikö olis antua jauhuo.

Čuarin poika ihmettelöy, kun käsipaikka on niin kaunis. Šitou kiššalla kaklah pienen jauhopuššin ja laittau muamoh luo. (Tytär oli kiššanpoikua kieltän šanomašta muamokši, vain käški šanomah Kiššalan linnan prinšeššäkäš).

Muamolla tuli paha mieli, kun čuarin poika mielty šiiehe käšipaikkäh. Ja rupeš pelkyämäh, jotta čuarin poika voipi tulla kaččomäh, a hänellä on pieni kekälehistä luajittu pirtti.

Yhtäkkie tytön šilmieš ilmešty hänen kuollut oma muamoh ja antau tyttäreellä pikkaraisen šulkkupaikan ja käšköy lyömäh ristieš, jotta tulis paremmat huonehet kuin čuarilla. Tytöllä tuli huonehet paremmat kuin čuarilla. Tytär neulou kaunehen pajan, šitou kiššanpojalla kaklah ja käšköy viemäh šen čuarin pojalla kostinčakši.

Kiššanpoika juokšuttau čuarin pojalla pajan ja šanou:

— Täššä Kiššalan linnan prinšeššä työnši pajan šiula kostinčakši.

Čuarin poika kirjuttau kirjasen ja panou kiššanpojalla kaklah šen. Šiiehe on kirjutettu, jotta Kiššalan linnan prinšeššä tulis käymäh. Čuarin poika tahtou nähä, mimmoni še on, kun ošau šen mosie neuluo.

Kiššanpoika viey šen tytöllä. Tytär šuorieu hyvieš vuatteieš. Kiššanpoika lähtöy iellä juokšomah, jotta näyttäy, missä on čuarin koti. Tytär mänöy čuarieš. Čuarin poika šanou sisäreelläh, jotta «mäne kävelemäh tämän tytön kera. Još hiän likapaikoissa roštou helmojah, niin šilloin še on mualaisie, još ei, niin šilloin še on prinšeššä». Kiššanpoika kuuli ja kuiskuu muamollah: «Likapaikoissa elä noššä helmojah».

Niin hyö lähettih kaupunkilla kävelemäh čuarin tyttären kera. Tytär kuaļau mahtavašti, niinkuin ainaki herrašvaki ja čuarin tytär, eikä lekahuta helmojah.

Tullah kotih, čuarin poika kyšyy sisäreļtäh:

— Mitein käveli?

Sisär šanou:

— Niin še käveli kuin mieki, ei še noštan helmojah.

Čuarin poika tuaš šanou sisäreļläh, jotta «kun käymmä muate, niin pane olkie alla. Još še tietäy, jotta on olkie, niin še on Kiššalan linnan prinšešša».

Kišša kuuli ja šano muamollah:

— Huomenekšella kun kyšytäh šiulta, kuin makasit, niin vaštua: «Muiten oli hyvä muata, vain niin oli kuin hirret alla».

Pantih tytär muate ja olkie lakanan alla. Tyttö makuau yön šiinä. Huomenekšella noššatetah vierašta murkinalla. Čuarin tytär kyšyy:

— Miten oli, čikkö, muata meilä, oliko hyvä vain paha?

Kiššalan linnan prinšešša šanou:

— Hyvä oli muiten muata, vain niin olis niinkuin hiršie ollun kylkeni alla.

Čuarin poika kyšy tuaš sisäreļtäh ja uško, jotta kyllä še on Kiššalan linnan prinšešša.

Čuarin poika šanou:

— Mie tulen silma käymäh moršiemekšeni.

Tyttö mänöy kotih. Hänellä on koti niinkuin čuarilla.

Čuarin poika mäni šulhasikše, toi moršiemien ja kiššan toi mukana. Kiššalan linnan prinšešša ļöi šulkkupaikallah, jotta Kiššalan linnan huonehet kavottais pois. Siitä hyö alettih čuarissa elyä.

Sen pituni še.

### 36. ПРИНЦЕССА КОШАЧЬЕГО ЗАМКА

Жили раньше старик и старуха. У них была одна дочь. Старуха и умерла у старика. Встречается ему Сюоятар и спрашивает:

— Откуда и куда, старик, идешь? Возьми меня в жены.

— Не возьму я тебя, Сюоятар.

Старик идет дальше, Сюоятар идет дальше. Бежит Сюоятар напрямком [за поворотом опять встречается] и спрашивает:

— Куда, старик, идешь?

— Жену искать, — говорит старик.

— Возьми меня в жены.

— Так неужели здесь нет никого, кроме одних Сюоятар? Разве взять тебя, раз других нет.

Сюоятар говорит:

— Иди домой, я приду после, схожу только за приданым.

Старик идет домой. Сюоятар приходит следом, приданое ее — только две дочери. Они похожи на жаб. У старика тоже дочка.

Начинают тут жить. Сюоятар стала ненавидеть старикову дочь. Сюоятар берет воды в чашку и велит стариковой дочери пить. Другие дочери [Сюоятар] говорят:

— Не пей, это плохая вода.

Старикова дочь говорит:

— Не надо мне воды, не буду пить.

Сюоятар выплескивает эту воду в лицо [стариковой] дочери. У девушки от этого начал живот расти. Она забеременела. Сюоятар говорит старику:

— Уведи эту дочку. Она гулящая [букв.: по деревне бегающая], вот и стала с животом.

Старик говорит своей дочери:

— Оденься, доченька, пойдем в лес.

Дочь догадывается, что отец хочет увести ее, чтоб убить. Пошел старик с дочерью в темный, мрачный лес. Оставляет он бедняжку в лесу, а сам уходит прочь. Дочь остается там плакать. Строит она в лесу маленькую избушку и начинает в ней жить. Родила котенка. Он стал говорить, так как родился от человека. Он спрашивает:

— Не можешь ли, мать, что-нибудь сшить, я пошел бы в город продавать цареву сыну: может, муки получим.

Девушка сплела красивое полотенце из корней дерева. Привязывает она к шее котенка и велит нести цареву сыну: может, муки даст.

Котенок приносит и говорит:

— Принцесса Кошачьего замка велела это доставить тебе и спросить, нет ли муки дать [так!].

Царев сын удивляется, так как полотенце очень красивое. Привязывает котенку на шею маленький мешочек с мукой и посылает к матери. (Девушка велела котенку называть ее не матерью, а принцессой Кошачьего замка).

Мать опечалилась, оттого что цареву сыну так понравилось это полотенце, и стала бояться, что царев сын может прийти посмотреть, а у нее маленькая, сделанная из головешек избушка.

Вдруг перед глазами девушки встала ее покойная мать и дает дочери маленький шелковый платок и велит махнуть крест-накрест, чтобы стал дом лучше, чем у царя. У девушки стали покой лучше, чем у царя. Девушка сшила красивую рубаху, привязала на шею котенку и велит нести это цареву сыну в подарок. Котенок доставляет цареву сыну рубаху и говорит:

— Вот принцесса Кошачьего замка прислала тебе в подарок рубаху.

Царев сын пишет письмо и привязывает на шею котенку. Там написано, чтобы принцесса Кошачьего замка пришла к нему. Царев сын хочет увидеть, какова она, раз она умеет такое шить.

Котенок приносит это [письмо] девушке. Девушка одевает на себя хорошую одежду. Котенок бежит впереди, чтоб показать дорогу к цареву дому. Девушка идет в дом царя. Царев сын говорит своей сестре, что «иди гулять с этой девушкой. Если она в грязных местах подберет подол, значит, она из деревенских, а если нет — то тогда она принцесса». Котенок услышал это и шепчет своей матери: «В грязных местах не подбирай подол».

Так они пошли гулять по городу с царевой дочерью. Девушка бредет [по грязи] так величественно, будто настоящая госпожа и царева дочь, не притрагивается даже к юбкам. Приходят домой; царев сын спрашивает у своей сестры:

— Как она гуляла?

Сестра говорит:

— Так же гуляла, как и я, не подбирала подол.

Царев сын опять говорит своей сестре, что «когда ляжете спать, то положи соломы под перины. Если она узнает, что там солома, то тогда она принцесса Кошачьего замка».

Кот услышал это и говорит матери:

— Утром, как у тебя спросят, как спала, то скажи: «Так-то спала хорошо, но как будто бревна были под боком».

Уложили девушку спать и положили соломы под простыню. Девушка спит тут ночь. Утром будят завтракать. Царева дочь спрашивает:

— Как, сестра, спалось у нас, хорошо было или плохо?

Принцесса Кошачьего замка говорит:

— Так-то хорошо было спать, но только мне показалось, будто бревна под боком.

Царев сын опять спросил у сестры и поверил, что все же это принцесса Кошачьего замка.

Царев сын говорит:

— Я приду сватать тебя.

Девушка пошла домой. Дом у нее, как у царя. Царев сын пришел сватать, привел жену и кота с собой. Принцесса Кошачьего замка махнула шелковым платком, чтобы Кошачий замок исчез. Потом они начали жить в царском доме.

Вот такой длины эта [сказка].

### 37. BRIHAČŪ KONDIEN BERLOGASSA ELI

Oli ennen ukko da akka. Taatto da maamo kuollah, a poiga se d'äy. Hiän duumaiččou: «Midäbö mie rubien yksin elämän, lähen pois hot' kunne». Läksi, ni iče ei tiijä kunne mänöy. Matkai, matkai. Matkaau meččyä myöten. Mäni, mäni monie päivie.

Aigaudu kondien pezäh -- berlogah. No i kaččou -- männä ei männä, a hiän on vaibunun, nällästyn. Mäni pezäh, se on tyhjä, vieri maata marallah. I bespaameti uinoi maata, magaa. Tuli kondie, nuuhtelou, kaččou, on duuhu inoi. Mänöy hillakazih sihl omah pezäh, Kaččou -- ka muzikka sielä magaa. Mäni siämeh, liikuttau händä, a hiän on bespaameti. Duumaiččou händä syvvä, a taas duumaiččou: «Vuota nossan, ken hiän on». Nossatti hänen, gai se poiga töllisty, pöllästy. Sanou kondie:

— Nukka miun kera elämäh, rubietko veikoksi vai rubiet pojaksi?

— Rubien pojaksi, — sanou brihačču.

No i ruvettih elämäh, kävelläh mečissä linnun saamizeh, midä vain voijah saaha. Kondie kuin saau dai syöy keittämätöndä dai suolatta, a brihačču se yhtä on nälässä, hiän ei voi syvvä keittämätöndä. I sanou:

— Kuin miula on ylen nälkä, en voi syvvä keittämätöndä, kuin olis keittyä.

Hiän, se kondie sanou:

— Kuin se keitetäh? — Ei ni tiijä kuin keitetäh.

Sanou:

— Keitetäh — kuin olis kattilaine da suolaa da spičkat, silloin olis parembi syvvä,

Poiga sanou:

— Vuota vain, mie käyn kyläh, tuon kattilan da suolaa, da keitämmä, sidä tulou parembi.

I läksi kylästä kattilaa käymäh. Toi suolat, kattilat. Keittäy lihaa. Ruvettih syömäh, dai kondie sanou:

— Parembi näin i on.

Siinä eletäh, päivät kävelläh, vaibutah. Illalla kuin tullah, ni laizus on keittyä, kondie se hot' niin söis, ni brihačču ei voi. Kondie i sanou:

— Olisko siula naija? Nukka vain lähemmä ulgomaan čaarin luoksi kozzomah tyttö.

Se poiga i sanou:

— A kuin čaari kyzyy, kenenbo olet?

Hiän i sanou:

— Sanomma niin, d'otta olet Ivan kuningahan poiga, mie lähen käyn iellä.

I lähtöy mäne tiijä kunne mečcie myöten. Mäni čaarin luoksi i sanou:

— Etkö sie anna tytärä Ivan kuningahalla miehellä?

Čaari i kyzy:

— Ka kusta olet sie i ken on naitettava?

Hiän sanou:

— Olen ulgomaasta čaari i livan-poiga on naitettava.

No i čaari soglasiudu andamah tytärä. Kondie sanou:

— Mie lähen ženihän käyn, varuštaukkua.

Matkaau, matkaau kondie i tulou kodih sen pojan luoksi. Tuli kodih, ka i sanou pojalla:

— Akka on saadu.

Poiga se on rivussa, lijassa kai sraasti, nõ sielä berlogassa ollessa. I sanou:

— Kuinbo, kuin mie olen pahassa vaatteissa, midäbö myö sanomma, da ei ole meilä ni midä elosta.

A kondie hänellä i sanou:

— Mie näin, mečässä eletäh kaksi zmejaa, no i heilä on suuri, suuri raudani kodi i heilä on lehmäkarja, lammaškarja, hevoiskarja. Kuottelemma, emmägö millä voi heildä kodie saaha, sihi i tuomma. Läkka naimah. Kuin čaarin luo mänemmä, ni pidäy d'ogiloista poikki, ni sanomma čaarilla, d'otta vaattiet kirbottih d'ogeh.

A poiga i sanou:

— A milläbö mie pääzen niistä d'ogiloista poikki?

— A mie siun selässä vien d'ogiloista poikki.

Männäh čaarin luoksi. Čaari i kaččou, kuin se poiga on lijassa da revussa, i kyzzy kondiela:

— Kembä siula tämä on?

— Se on, — vastazi kondie, — livan-kuningahan poiga, d'ovesta poikki kuin läksimä, ni hänellä kaikki vaattiet mändih d'ogeh.

Čaari ando hyvät vaattiet, šuoritti, da i ruvettih svaad'baa pidämäh. Svaad'ba piettih i lähtemäh ruvetah kodih. Čaari sanou:

— Pidäy lähtie miula nyt tiän mailla kaččomah.

Kondie händä priglasiu:

— Läkka, läkka.

I lähettih, matatah, matatah mečcie myöte. Se kondie heidä vedäy. Kondie d'uoksomah läksi iellä, sanou:

— Työ tulgua hi'Yakkazin, a mie teidä vuotan sielä!

Iče mäni niien zmejohen karjan luo. I sanou kondie paimenella:

— Mie siun syön, kuin et sanone, d'otta tämä on livan-kuningahan pojan ussad'ba. Kuin et sanone, ni mie siun syön.

— Elä vain syö, — sanou paimen.

I tullah sihi čaari, a kondie lähikazellä siinä viruu paimenesta. Čaari tuli sihi i sanou:

— Kenen sie karjaa paimennat?

Paimen sanou:

— livan-kuningahan karjaa.

Dai lähettih ielläh. Kondie läksi d'uoksemah, hyö d'algeh. Se oli heboiskarja, a toine tulou lehmäkarja. Kondie mänöy dai sanou paimenella:

— Kuin et kuunnelle milma, ni mie siun syön.

Sanou:

— Elä vain syö, ni sanon.

Tullah taas čaari svaad'ban keralla, taas čaari i kyzzy paimenelda:



— Kenen karjaa paimennat?

Paimen sanou:

— Iivan-kuningahan.

Taas mennäh ielläh. Tulou lammaskarja vastah. Kondie i sanou paimenella:

— Sano, kuin čaari tulou, ni d'otta sie Iivan-kuningahan karjaa paimennat, a kuin et sanone, ni mie siun syön.

— Elä syö, kondiezen, sanon.

Tuli čaari dai kzyzy paimenelda:

— Kenen karjaa paimennat?

— Iivan-kuningahan, — vastazi paimen.

Taas ajetah ielläh. Kondie taas d'uoksou ielläh. Mäni raudazeh kodih, ka zmejät ollah koissa, a zmejoilla on suuri saabra perässä. Kondie i sanou zmeillä:

— Mengiä terävazeh saabrah, tullah teidä tappamah.

Zmejät terävazeh mändih dai peitävyttih saabrah. Kondie kattohiät heinillä. Katto hiät da tulen keskeh niillä zmeillä. Dai palehtah sielä, telmetäh, hiän molemmat sihi poltti. Tulou svaad'ba, čaari tulou i sanou:

— Midäbö on savuo?

Kondie sanou:

— Ka suuret karjat mečästä tullah, ni čakkoja vassatessa on laaittu.

Da pertih männäh sihi kaikki. Iče siinä keitetäh, iče siinä d'uo-tetah. Kodi hyvä. Karjat tuldih illalla kodih. Čaari hyvällä mielin, d'otta Iivan-kuningas on bohatta. I rubei lähtemäh pois. Čaari d'ättäsi sihi tyttären. I hyö elämäh ruvettih. Kondie sanou pojalla:

— Nyt kuin mie siun, Iivan-kuningahan poiga, saatoin siun hyvin elämäh, ni kuin mie kuolen, ni štobi pappi tuo milma maaha pannessä.

Hiän ni sanou:

— A-voi-voi, kaksi tuoni!

No i kondie narošne heittäydyy: ei voi, dai kuolou. Kuolou senin, on ilda. A iče narošne heittäydyy. Poiga da akka sanotah:

— Kuoli, a-voi-voi, kuoli!

Poiga sanou:

— Viemmä poiges maaha.

Akka i sanou:

— Vet hiän käski papin tuuvva.

Ukko se sanou:

— A emmä d'o lähe tuomah, kuin kuoli, ni viemmä!

A akka kzyzy:

— A kaivammago i hauvvan?

Sanou:

— Emmä d'o kaiva, sinä on kanava, sihi lykkiämmä.

I otettih hurstih kiäritäh i kanavah sihi ribautetah. Viedih dai tullah kodih maata. Kodvani maattih dai kuullah — kolistau. Molemmat männäh avuamah dai kzyztäh:

— Ken on?  
 Ka hän sanou:  
 — Avakkaa, poigane, mie olen.  
 Poiga vähäistä ei langie, niin pöllästy. Tuli pertih — avattih,  
 kai poiga sanou:  
 — Vet sie kuolit?!  
 — Kuolin, poigane, ka kuin et tuonnun pappie, ka milma sinne  
 ei ni otettu, a iče sanoit, d'otta tuot kaksi. Sinne papitta ei oteta.  
 Siidä eletti, oldih, dai kondie kuoli tovestah. Siidä poiga toi  
 kaksi pappie. Siidä pappilojen kera maaha pani, haudah kaivo.  
 Siidä enämbi ei nossun. Da hyö ruvetti elämäh hyvin naizen  
 keralla ielläh. Da sihi i loppu.

### 37. ПАРЕНЕК В МЕДВЕЖЬЕЙ БЕРЛОГЕ ЖИЛ

Были раньше старик и старуха. Отец и мать умерли, а сын  
 остался. Он думает: «Зачем я буду здесь один жить, пойду куда-  
 нибудь». Отправился, и сам не знает, куда идет. Шел, шел. Идет  
 по лесу. Шел, шел несколько дней. Набрел на медвежью берлогу.  
 Ну, и смотрит: заходить — не заходить, а он усталый и голодный.  
 Зашел в берлогу — в ней пусто, лег на живот спать. И уснул без  
 памяти, спит. Пришел медведь, нюхает, смотрит — дух иной. За-  
 ходит тихонечко в берлогу. Смотрит — а там мужик спит. Зашел  
 внутрь, потрогал его, а он как будто без памяти. Хочет он  
 его съесть, а потом подумал: «Постой, разбужу, кто он  
 такой?». Разбудил его, а парень остолбенел, испугался. Говорит  
 медведь:

— А давай-ка со мной жить. Будешь ли братом или будешь  
 сыном?

— Буду сыном, — говорит паренек.

Ну, и стали жить, ходят в лес за дичью и за всем, что только  
 смогут поймать. Медведь что достанет, так и съест сырым и без  
 соли, а паренек — тот все голодный, он не может есть невареное.  
 И говорит:

— Мне очень голодно, не могу есть невареное, если бы по-  
 пробовать варить.

Он, этот медведь, говорит:

— А как это варят? — не знает, как и варят.

Говорит [парень]:

— Варят так: если бы был котелок, да соль, да спички, тогда  
 все было бы вкуснее.

Парень говорит:

— Постой-ка, я схожу в деревню, принесу котел и соли, и сва-  
 рим, тогда лучше будет.

И пошел в деревню за котлом. Принес соль, котел. Варит  
 мясо. Стали есть, медведь и говорит:

— И правда, так лучше.

Живут тут, целыми днями бродят, устают. Вечером, когда приходят, лён варить, медведь тот коть так бы съел, а паренек не может. Медведь и говорит:

— А что, если бы тебе пожениться? Давай-ка пойдём свататься к дочери иноземного царя.

Парень вѣтъ и говорит:

— А если царь спросит, ты чей?

Он [медведь] и говорит:

— Скажем так, что ты сын Ивана-короля, я пойду вперед схожу.

И идет, поди знай куда, по лесам. Пришел к царю и говорит:

— Не выдашь ли ты дочь за [сына] Ивана-короля замуж?

Царь и спрашивает:

— Откуда ты и кто жених?

Он говорит:

— Я другой страны царь и сын Иван — жених.

Ну, царь и согласился выдать дочь. Медведь говорит:

— Я пойду схожу за женихом, приготовляйтесь.

Идет, идет медведь и приходит домой к тому парню. Пришел домой и говорит парню:

— Жена есть.

Парень в лохмотьях, грязный, прямо страсть — ведь в берлоге живет. И говорит:

— Что же мы скажем: я вон в какой плохой одежде, и нет у нас никакого добра.

А медведь ему и говорит:

— Я видел, в лесу живут два змея, ну и у них большой-большой железный дом, и у них есть стадо коров, стадо овец, табун лошадей. Попытаемся, не сможем ли как-нибудь у них дом захватить, туда и приведем [невесту]. Пошли жениться. Когда к царю придем, — а надо через реки переходить, — то скажем царю, что одежда упала в реку.

А парень и говорит:

— А как же я эти реки перейду?

— А я тебя на спине перенесу через эти реки.

Приходит к царю. Царь и смотрит, что этот парень в лохмотьях и грязный, и спрашивает у медведя:

— Кто вто у тебя?

— Это, — ответил медведь, — сын Ивана-короля. Когда через реку переходили, у него вся одежда упала в реку.

Царь дал хорошую одежду, одел его, и стали свадьбу справлять. Свадьбу справили и засобирались ехать домой. Царь говорит:

— Надо мне теперь поехать ваши земли смотреть.

Медведь его приглашает:

— Поедем, поедем.

И отправились; едут, едут по лесам. Медведь этот их ведет. Медведь побежал вперед, говорит:

— Вы идите тихонько, а я вас там подожду!

Сам пошел к стаду тех эмеев. И говорит медведь пастуху:

— Я тебя съем, если не скажешь, что эта усадьба сына Ивана-короля. Если не скажешь, то я тебя съем.

— Скажу, только не ешь, — говорит пастух.

И приходят тут царь [и остальные], а медведь недалеко от пастуха лежит. Царь подошел и говорит:

— Чье стадо ты пасешь?

Пастух говорит:

— Стадо Ивана-короля.

И поехали дальше. Медведь побежал, они следом идут. Это был табун лошадей, а дальше будет стадо коров. Медведь приходит и говорит пастуху:

— Если не послушаешься меня, то я тебя съем.

Говорит [пастух]:

— Только не ешь, так скажу.

Приходят опять царь и свадебные гости, и опять царь спрашивает у пастуха:

— Чье стадо пасешь?

Пастух говорит:

— Ивана-короля.

Опять идут дальше. Встречается стадо овец. Медведь и говорит пастуху:

— Когда царь проедет, то скажи, что ты пасешь стадо Ивана-короля, а если не скажешь, то я тебя съем.

— Не ешь, медведушко, скажу.

Приехал царь и спросил у пастуха:

— Чье стадо пасешь?

— Ивана-короля, — ответил пастух.

Опять едут дальше. Медведь опять бежит вперед. Пришел в железный дом, а змеи дома, а у эмеев стоит большой стог сена да домом. Медведь и говорит змеям:

— Идите спрячьтесь скорее в стогу, вас идут убивать.

Змеи быстренько пошли и спрятались в стогу. Медведь укрыл их сеном. Укрыл их и огонь сунул внутрь, где были змеи. И горят они там, извиваются — он обоих тут сжег. Приходят свадебные гости, царь приходит и говорит:

— Что это за дым?

Медведь говорит:

— А вот большие стада придут из лесу, так от комаров дым развели.

И заходят все в избу. Сами тут варят, сами тут едят. Дом хороший. Стада пришли вечером домой. Царь доволен, что Иван-король богат. И начинает собираться обратно домой. Царь оставляет тут дочь.

И они стали жить. Медведь говорит парню:

— Теперь как я тебя, сын Ивана-короля, хоршо устроил. то когда я умру, позови попа меня хоронить.

Он и говорит:

— А-вой-вой, двух позову!

Ну и медведь нарочно прикидывается: неможется ему, и умирает. Умирает он, был вечер. А сам нарочно притворился. Парень и его жена говорят:

— Умер, а-вой-вой, умер!

Парень говорит:

— Закопаем в землю.

Жена и говорит:

— Ведь он велел попа привести.

Муж этот говорит:

— Не пойдем за попом; раз умер, то так закопаем.

А жена спрашивает:

— А выроем ли могилу?

Говорит [муж]:

— А не будем рыть, тут есть канава, туда бросим.

И взяли, в рядно завернули и туда в канаву тащат. Отнесли и возвращаются домой спать. Спали сколько-то и слышат — стучатся. Идут вместе открывать и спрашивают:

— Кто там?

А он говорит:

— Откройте, сынок, это я.

Парень чуть не упал, так испугался. Пришел в избу; открыли ему, и парень говорит:

— Ведь ты умер?!

— Умер, сынок, а так как ты попа не привел, то меня туда и не приняли. А сам сказал, что приведешь двух. Туда без попа не принимают.

Потом жили-были, и медведь умер взаправду. Тогда парень привел двух попов. Потом с попами похоронил, могилу выкопал. Потом больше не встал [медведь]. И они стали дальше с женой хоршо жить. Да и тут конец.

### 36. TUNKIMUŠ-TÄNKIMYŠ

On ennen ukko da akka. Heilä on kolme poigua. Heilä on sadu hyvin šuuri pihalla, šiih marjua kažvau. Šiihi lindu käyt šyömäh, šordamah, murottamah marjoja, vai ei ni ken tiijä, mi linduja šiihe käyt. Vanhin poiga šanou:

— Muamö-tuatto, blahosloviet milma saduloida vardeimah. Mie lähen kačon, ken saduh käyt.

No dai šanotah:

— Spuassu blahoslovietakse.

No dai lähtöy vardeičöemah. Ne a kun mäni da uinoi, dai lindu kävi dai söi, dai murotti, dai mäni matkojah, ei ni šuanuh tiedyä, mi še oli lindu. Sanou tuatollah-muamollah:

— Ei ni ken käynh.

Tuatto-muamo šanotah:

— Kuin ei ni ken käynh, kuin kaikki on mureteldu!

Toine poiga šanou:

— Blahoslovi, tuatto-muamo, vardeimah.

Dai tuatto-muamo blahoslovitäh. Hiän ni lähtöy vardeimah, toine poiga, dai tuaš šamalla keinoin ni uinoi. Kodih tulou, šanou:

— Ei ni kedä käynh.

Šielä šanotah:

→ Totta še on ken tahto käynh, kuin on kaikki muretettu, ka naverno magait.

— En, — šanou, — en muannuh.

Šanou nuorin poiga (še on Tuhkimuš-Tähkimuš):

— Blahoslovi milma, tuatto-muamo, karavulah!

Šanotah tuatto da muamo:

— Kuin ei muista liennyh, ka ei ni šiušta, Tuhkimuš-Tähkimuš, rodie.

No kuit'enki šanotah:

— Spuassu blahoslovikkah, kuin še hänen voinet šuaha.

Poiga i lähtöy šiidä vardeimah. Mäni saduh, veny, veny. Kuin veny, ka tuli, velli, šemmoine lindu saduh, ka kogo doroga tuli valgieksi. Se lindu šyöy, šyöy, da murottau. Poiga nouzi veny-mästä dai tabai hännästä, dai šai yhen šulan kobrahah, a lindu lendi poikes. Mäni kodih, vei šen šulan da šanou:

— Oli šemmoine lindu, vain še mäni.

Da pani šulan šeinäh. Sulga niin valuo andau, d'otta ei pie tulda pertih, še on kun kuldane. Ne i šanotah, vanhemmat pojat: — Tuatto-muamo, blahoslovi meidä linduo eččimäh.

Hyö blahoslovitah. Lähetäh ne pojat aštumah tiedä myöten. Aššutah, hyö, aššutah tuon pitkyä, tämän lyhyttä, tulou stolba vaštah. Šiidä stolbašta lähtöy kolme tiedä. Yksi tie lähtöy piädäh myöte, toine tie — šuau tytön reunašša muata, a kolmaš tie lähtöy, d'otta hukka šyöy hebozen — kaikki on kirjutettu šihi stolbah. Ne pojat duumaijah: «Kuda tiedä lähtie?». Dai lähettih šidä tiedä, kuin šuau tytön reunašša muata. Hyö kun šinne matattih vähä aigua, tuli talo vaštah. Hyö šiihe mändih taloh, ka šielä tyttö kangašta kudou. Hiän pani heilä šyyvä. Šyöttäy šiinä poigie stolbašta. Šyötti, šanou:

— Ruvekkua krovattih muata.

Ne kun ruvettih krovattih muata, ka šinne bezvŕesti mändih: šielä oli tyrmä alla.

No ne sinne i mändih. A koissa nuorin poiga šanou:

— Tuatto-muamö, blahosloviet, mie lähen velle eččimäh.

Hyö händä blahoslovittih. Heilä on kolmekymmendä vuotta venyt hebone šoimen alla. Hiän šanou:

— Anduat työ tuo hebone miula.

Ka vanhemmat šanotah:

— Et šie ni kunna šen keralla piäze.

Hiän otti šen hebozen dai läksi, dai tuli šiihi stolbah šuati, dai lugi, midä oli šiinä kirjutettu. Dai poiga duumaiččou: «Kuin miula on niin paha hebone, ka anna hukka šyöy miun hebozen, lähen šidä tiedä myöt'en». Dai läksi šidä tiedä myöt'en. Matkuau, matkuau, matkuau — tuli hänellä hukka vaštah, šanou:

— Mie šyön šiun hebozen.

— Elä šyö, et šie miun hebozešta hyövy.

Dai ei šyönyh. Dai tuaš läksi matkuamah, dai šama hukka tulou vaštah dai šanou:

— Mie šyön šiun hebozen.

— Elä šyö, et hyövy.

Dai hukka ei šyönyh. Dai tuaš hiän matkuau, matkuau — tuli kolmannen kerran hukka vaštah, šanou:

— Nyt kyllä šyön hebozen.

— A šyönet, velli, — šanou, — šyö.

Dai läksi hebozelda šeläštä da ando hukalla hebozen. Hukka rubei šidä šyömäh, a hiän iče läksi ielläš aštumah. Še kun hukka šidä hevoista šöi, šöi, dai šöi loppuh šuat'e, dai šanou: «Vuota, lähen kyzyn, kunna tuo poiga läksi». Mäni šen pojan luo, šanou:

— Kunne šie mänet?

— A, — šanou, — meilä oli sadu, da šiihi kävi lindu, še murtotti meijän saduo, niin mie läksin eččimäh.

Šanou hukka:

— Nouze miula šelgäh, mie kuin šöin šiun hebozen, niin mie lähen šiula kazakoiččemäh.

Hiän nouzi hukaka šelgäh, ka kun še, velli, läksi mänemäh kikiriekkuo kiändämäh, niin mänöyl Da hukka vei hänen šillä linnalla, missä on še lindu, da šanou:

— Mäne ota lindu, lindu on šemmoizešša häkissä, lindu on kaunis, a häkki vielä kaunehembi, vain lindu ota, vain häkkie elä koše.

Dai lähtöy še poiga šidä linduo šuamah. Otti šen linnun käsihinšä, ka paha on näin linduo kandua, a häkki še olis vielä kaunehembi kuin lindu, kaikki hyvin hoikašša on rihmašša kiini. Hiän rubei šidä rihmua katkuamah, katkuamah — ka barabanat šoit-tamah, barabanat šoit-tamah. Dai rahvaš juoštih dai poiga hvatittih. Dai šanotah:

— Kun et toizelda linnalda šuane šezenmoista hevoista, silloin šiulda piä poikki.

Mäni hukan luo, kerdou hukalla, dai hukka šanou:

— Nouze šelgäh.

• Dai nouzi, dai läksi hukka viemäh. Mändin sillä linnalla, hukka i šanou:

— Hebone mäne ota tallista, päičet on luašša, vain elä ota päičilöidä, ota yksi hebone.

Hiän hebozen kuin otti harjašta, ka paha on harjašta vedyä, ka hiän duumaiččou: «Vuota otan päičet». Kuin otti päičet, ka kruunut šoitamah, ka barabanat panomah. Tuldih dai otettih poiga kiini. Kun hvatittih kiini:

— Kuin et šuane toizista muaista, toizista linnoista tänne čuarin tytärpä, niin piäzet piättäš.

Mäni hukan luo. Hukka šanou:

— Nouze šelgäh.

Dai vei hukka händä šihi linnah, missä on še čuari ta čuariu tytär. Ilda kuin tuli, hukka muuttuu pojaksi, dai suorittih šen pojan kera. Sillä hukalla on skripka, dai hiän niin kaunehešti šoittau skripkalla, d'otta kaikki rahvaš linnalla uinotah. Männäh šen tytön ikkunan alla šoitamah. Se tyttö on kolmien lukkujen tagana. Hiän kaččou niihi šoitajih ikkunašta, kai ripšahtau. Illalla bes'soda luajitah dai kaikki linnan tytöt tullah bes'sodah. Kuin šielä bes'sodašša hukka šoittau, ka niin kaikki rahvaš uinotah, a še tyttö niin ni ripšahti. Bes'soda loppu. Dai toissa piänä šamalla tavoin männäh šoitamah čuarin ikkunan alla, ka še čuarin tyttö on ihan hyppymäššä ikkunašta. Hyö illalla tuas luajittih bes'soda, dai še čuarin tyttö tulou bes'sodah, a kun še hukka niin kaunehešti šoittau, niin še tyttö mielyd šihe toizeh čuarin poigah i mänöy sillä yškäh. Hukka muuttu tuas hukaksi, niappäi tytön šelgähänšä, da toine poiga nouzi hukalla šelgäh. Hukka kun juošša viuhahutti, šen i nähtih, dai juokši šihi linnah, minne jai hebone. Hukka šanou:

— Vuota, mie vien tämän tytön šiidä hebozesta.

Hukka lähtöy. Mäni šinne, vei tytön, otti hebozen, da muuttui hukaksi, da tembäi tytön šekä hebozen, da kuin kikuriukkuo kiändi — šen i nähtih, Mäni hiän šiidä šen pojan luokši. Vei tytön pojan luo, a iče šanou:

— Mie lähen vien hebozen šiidä linnušta.

Vei šen hebozen, hänellä še piäššetäh še lindu klietkan kera, da muuttu hukaksi, kiändi kikuriukkuo dai vei hebozen dai linnun. Lähetäh šidä matkah, matatah, matatah — männäh ši šuat'e, missä hukka hänen hebozen šöi. Šanou hukka:

— Mie tähä šuat'e šiula kazakoičin, nyt šie täštä mäne, elä vain, ristiveikko, stolban luona magua.

Erotah poikeš. Poiga matkuau, da tulou šihi stolbah šuati. Kuin tuldih stolbah da kuin poiga on vaibun, panou linnun, riputtau stolbah, šidou hebozen stolbah kiini, a tyttö da poiga käydih yheššä muata. Hebone kuin stolbua liikuttau, niin telefonalangat šoittau šinne tytön luokši pertih, da tyttö duumaiččou, d'otta



pidäy niida poigie piästyä, totta šidä telefonalangat šoitetah. Dai piästi ne pojat krovatin alda. Ne kun vellät kuin šieldä piäštih dai mändih stolban luokši, dai kačotah, d'otta vellellä kaikki on: šekä linnut, d'otta hebozet, dai työt. Dai hyö šanotah:

— Tapamma, otamma nämä kaikki.

Da niin i luajittih: leikatah piä da otetah kaikki, a händä lykätäh tien viereh. Dai mändih kodin, šanotah šielä, d'otta hyö kaikki šuadih, i ruvettih vanhembua poigua tytöštä naittamah.

Hukka duumaiččou: «Lähen käyn stolbah, jogo hiän še miun prijätteli lienöy piäššyn, eigo hot' ruvennuh stolban luokši muata». Kun tuli hukka šiihe, ka nägöy, d'otta jo on piä leikattu. Lähtöy hukka elävyä vettä eččimäh. Läksi hukka, mäni, kikuriukkuo kiändi da šai elävyä vettä, pezi hyvin prijättelin, valo. Dai virgoi še poiga. Dai hiän šanou:

— Kačo, kün muata rubezit, šilma tapettih da kaikki viedih, da vanhin poiga šiun morziemešta jo nait. Mäne nyt hyvin ruttoh kodihize.

Hiän läksi kodihinze. Hiän mänöy šinne, ku šielä hiän jo nägöy: ihmizet šyöy, juou, morzien kumardau. Hiän käyt laučan piäh istumah. Tyttö kaččou — še on hänen šulhane, hänen imennoi kolčane on käješšä. Hiän, še morzien, tuli, istuudu šihi šulahai-zella yškäh, šanou:

— Tämä on miun piäštän, da tällä mie i mänen miehellä.

Tuatto ajo kaikki muut da pidi pojan hiät, da ruvettih hyö hyvin elämäh.

### 38. ТУХКИМУС-ТЯХКИМЮС

Были раньше старик да старуха. У них было три сына. У них сад очень большой во дворе, там ягоды растут. Туда прилетает птица-есть, роңять, мать ягоды, но никто не знает, что за птица. Старший сын говорит:

— Мать-отец, благословите меня сад караулить. Я пойду посмотрю, кто в сад ходит.

Ну, и говорят:

— Спас благословит.

Ну, и он идёт караулить. Ну, а как пришел, так и заснул, а птица прилетела, поклевала, пороңяла ягод и улетела своей дорогой; так и не узнал, что это за птица была. Говорит отцу-матери:

— Никто не прилетал.

Отец-мать говорят:

— Как так никто не прилетал, когда все помято!?

Второй сын говорит:

— Благословите, отец-мать, караулить.

И отец-мать благословяют. Вот он и отправляется караулить, второй сын, и также и заснул. Приходит домой, говорит:

— Никого не было.

Там говорят:

— Верно, уж кто-то приходил, коли все памято; ты, наверно, проспал.

— Нет, — говорит, — не спал.

Говорит младший сын (это Тухкимус-Тяжкимюс):

— Благословите меня, отец-мать, караулить!

Говорят отец и мать:

— Коли другие не сумели, то и ты, Тухкимус-Тяжкимюс, не сумеешь. — Но все-таки говорят: «Спас благословит, может, и сумеешь поймать».

Парень и отправляется потом караулить. Пришел в сад, лежал, лежал. Полежал он, и прилетела, братец, такая птица в сад, что вся дорога стала светлой. Эта птица клюет, клюет и роняет [ягоды]. Парень вскочил да и схватил за хвост, и осталось у него в руке одно перо, а птица улетела. Пришел домой, принес это перо и говорит:

— Была такая птица, только она улетела.

И воткнул перо в стену. Перо так светит, что не надо в избе и огня зажигать, вся изба будто в золоте. Те и говорят, старшие сыновья:

— Отец-мать, благословите нас птицу искать.

Они благословляют. Отправляются те сыновья по дороге. Идут они, идут, — долго ли коротко ли — встречается столб. От этого столба расходятся три дороги. Одна дорога — голову потеряешь, другая дорога — с девушкой спать, а третья дорога — волк съест лошадь (все это написано на том столбе). Те сыновья думают: «По какой дороге поехать?». И поехали по той дороге, где можно с девушкой спать. Они проехали немного, встретился им дом. Они зашли в этот дом, а там девушка ткет. Она собрала им поесть. Кормит тут парней за столом. Накормила, говорит:

— Ложитесь на кровать спать.

Те как легли на кровать, так туда без вести и пропали (там под полом была тюрьма).

Ну, те туда и пропали. А дома младший сын говорит:

— Отец-мать, благословите, я поеду братьев искать.

Они его благословили. У них была лошадь, тридцать лет пролежала под яслями. Он [Тухкимус] говорит:

— Дайте вы эту лошадь мне.

Родители говорят:

— На ней ты никуда не уедешь.

Он взял эту лошадь и поехал, и приехал к тому столбу и прочитал, что на нем было написано. И парень думает: «Раз у меня такая плохая лошадь, то пусть волк съест у меня лошадь — поеду-ка я по этой дороге».

И поехал по той дороге. Едет, едет, едет — встречается ему волк, говорит:

— Я съем твою лошадь.

— Не ешь, моей лошадию не наешься.

Так и не съел. И опять поехал дальше Тухкимус, и тот же волк встречается и говорит:

— Я съем твою лошадь.

— Не ешь, не наешься.

Волк опять и не съел. И опять он едет, едет — встретился волк в третий раз, говорит:

— Уж теперь-то съем твою лошадь.

— А съешь, брат, — говорит, — так ешь.

И слез с лошади и дал волку лошадь. Волк стал ее есть, а он сам пошел шагать дальше. Волк ту лошадь ел, ел и съел до конца, и говорит: «Постой-ка, пойду спрошу, куда этот парень пошел». Догнал парня, говорит:

— Куда ты идешь?

— А у нас был сад, — говорит, — и туда прилетала птица, она все ломала наш сад, и вот я пошел ее искать.

Говорит волк:

— Садись на меня — раз я съел твою лошадь, то я буду тебе служить.

Он сел на волка, а тот как пошел, братец, кубарем так и летит! И волк доставил его в тот город, где живет та птица, и говорит:

— Поди возьми птицу, птица в такой-то клетке. Птица красивая, а клетка еще красивее, но только птицу возьми, а клетку не трогай.

И отправляется этот парень доставать ту птицу. Взял ту птицу в руки, а плохо так птицу нести, а клетка еще красивее, чем птица, висит на очень тоненькой ниточке. Когда он стал ту нитку рвать — тут барабаны заиграли, барабаны заиграли! И прибежали люди, и парня схватили. И говорят:

— Если не достанешь в другом городе такого-то коня, то голова с плеч.

Пришел к волку, рассказывает волку, и волк говорит:

— Садись на меня.

И сел, и помчался волк. Приехали в тот город, волк и говорит:

— Иди, возьми лошадь из конюшни. Уздечка висит на полке, но только не бери уздечки, возьми одну лошадь.

Он взял лошадь за гриву, а плохо за гриву тащить, он и думает: «Погоди-ка, возьму уздечку». Как только взял уздечку — тут же струны звенеть, барабаны греметь. Прибежали и схватили парня и говорят:

— Если не достанешь в других землях, в других городах цареву дочь, то без головы останешься.

Пошел к волку. Волк говорит:

— Садись на меня.

И доставил волк его в тот город, где живет тот царь и царица дочь. Вечер как настал, волк обернулся парнем, и собрались они с тем парнем [с Тухкимусом]. У волка скрипка, и он так хорошо играет на скрипке, что весь народ в городе засыпает. Идут они играть под окном той девушки. Эта девушка за тремя замками. Она смотрит на тех музыкантов из окна — и без памяти падает. Вечером устраивают беседу, и все девушки города приходят на беседу. И эта царица дочь приходит на беседу. Там на беседе волк так играет, что весь народ засыпает, а эта девушка так и упала без памяти. Беседа кончилась. И на другой день также идут играть под окном царя, а эта царица дочь готова выпрыгнуть в окно. Они вечером опять устроили беседу, и эта царица дочь приходит на беседу. А этот волк так красиво играет, что эта девушка полюбила того другого царица сына [Тухкимуса] и садится ему на колени. Волк обернулся опять волком, схватил девушку, и парень сел на волка. Волк так помчался, что только его и видели, и прибежал в тот город, где был конь. Волк говорит:

— Погоди, я отнесу эту девушку за того коня.

Волк идет [в облике парня]. Пришел туда, отдал девушку, взял коня, и обернулся волком, и схватил девушку и коня, и так покатились кубарем — только и видели. Пришел он потом к тому парню. Привел девушку к парню, а сам говорит:

— Я отведу коня за ту птицу.

Увел того коня, ему отдают ту птицу с клеткой, и он обернулся волком, перекувырнулся и унес коня и птицу. Отправляются потом в путь; едут, едут — приезжают на то место, где волк съел его лошадь. Говорит волк:

— Я тебе до сих пор служил, теперь ты иди дальше, только, крестный братец, у столба не спи.

Расстаются они. Парень едет, едет — и приезжает к тому столбу. Когда приехали к столбу, парень так устал, вешает клетку с птицей на столб, привязывает коня к столбу, а девушка с парнем легли вместе спать. Конь как столб шатает, что телефонные провода звенят у девушки в избе, и девушка думает, что надо отпустить тех парней: верно об этом телефонные провода звенят. И выпустила тех парней из-под кровати. Те братья как освободились оттуда да и пришли к столбу, и смотрят, что у брата все есть: и птица, и конь, и девушка. И они говорят:

— Убьем, возьмем это все.

Да так и сделали: отрезали голову и взяли все, а его бросили на обочине дороги. И приехали домой, говорят там, что они все достали, и стали старшего сына женить на девушке.

Волк думает: «Пойду схожу к столбу, уехал ли уже мой приятель, не лег ли хоть он спать у столба». Как пришел волк туда и видит, что у того голова отрезана. Отправляется волк живую воду искать. Пошел волк, перекувырнулся и достал живой воды, обмыл

хорошенько приятеля, окатил, и ожил этот парень. Он [волок] и говорит:

— Смотри, как спать лег, тебя и убили, и все унесли, и старший брат уже на твоей невесте женится. Иди теперь скорей домой.

Он отправился домой. Приходит туда и видит: люди едят, пьют, невеста кланяется. Он садится на скамье у дверей. Девушка смотрит — это ее жених, ее именное кольцо на руке. Она, эта невеста, пришла, села к жениху на колени, говорит:

— Этот меня выручил, и за этого я и замуж выйду.

Отец прогнал всех других [сыновей] и справил свадьбу младшего сына, и стали они хорошо жить.

### 39. ČAR' DAVIDA

Oli ennen čar' Davida. Hiän kävi sahar'noissa muašša nuoris-tumah, šielä elävyä vettä juomah. Akallah ei tuonun. Akka kun vanheni ta kuoli, niin hiän tuoš uvven ni nait. Toini naini eli, eli tai kuoli. Otti kolmannen, ka kolmas naini šai pojan. Hiän ei ni malta lähtie matkoilla sahar'noih muah, kun niin on hänellä mielehini poika. Pojalla pantih nimeksi Ivan-čarejevič. Šai naini toisen pojan, šillä pantih nimeksi Petri-čarejevič, tai kolmannen pojan šai, šillä nimeksi — Nikolai-čarejevič.

Pojkie kun hiän kašvatti, ka ei malttan lähtie sahar'noih muaha, ka hiän jo i vanheni da enämpi ei ni kyheyhy ni vouzu lähtömäh. Kävelöy da ohahtelou: «En voi lähtie enämpi, nyt kuoloma tulou».

Vanhin poika Ivan-čarejevič šanou:

— Tuatto-muamo, prostikkua-blahoslovikkua milma elävyä vettä eččimäh.

Häntä prostitah-blahoslovitah, tai hiän lähtöy. Annetah hänellä parahat vuattiet, miškat, millä čuari ennen liikku.

Hiän lähtöy. Mänöy tuon pitkyä, tämän lyhyttä, ka tulou kolme tietä vaštah: yhteh stolppah on kirjutettu, jotta elävyä vettä, toiseh, jotta zmejan kera pellošša toruamah, a kolmanteh, jotta neičöyön kera muate.

Ivan-čarejevič: «Lähen neičöyön kera muate». Mänöy, ka tulou neičyt vaštah, kaunis, kai kullašša, hopiešša, šanou:

— Tule, tule, Ivan-čarejevič, šilma olen vuottan, kai kolme vuotta jo ruoka on ollun stolalla.

Tytär šyötti, juotti, viey hänen šänkyh muate, šänky kaunis-kaunis, jotta hirviel!

— Nouše, — šanou, — šänkyh muate.

Ivan-čarejevič kun nousou, ka pogrebah i lankieu. Šinne kun pučkahti, ka šielä mieštä hos kuin äijä. On šekä herrua jotta talonpoikua. Šanotah: «Ken tuli?». Kačotah — ka Ivan-čarejevič. Šanotah: «Ohoh, puutuit ni šie tänne, tiälä šuat kyllälti märkyä kagrua šyvvä».

Toine poika koissa kokistelou, jo hänellä himottau muailmalla, kun ei velliekänä kuulu kotih, tai šanou muamolla-tuatolla:

— Tuatto-muamo, prostikkua-blahoslovikkua milma elävyä vettä käymäh.

Häntä suoritetah tuaš, ta lähtöy niinkuin vanhempi velliki, mänöy niih tiešuaroih.

Yhteh on kirjutettu: elävyä vettä, toiseh — pellossa zmejan kera toruamah, jällelläh tulošta ei ole tietuo, a kolmanteh — neič-čyön kera makuamah. Perti-čarejevič duumaiččou: «A lähen neič-čyön kera makuamah».

Neičyt jo vaštah tulou, šanou:

— Tule, tule Petri-čarejevič, šilma kuuši vuotta vuotan, et tule, kyliči kävelet.

— Hm, — šanou Petri-čarejevič, — vašta koistani läksin.

Viey neičyt tuaš kotihih, šyöttäy, juottau kylläseksi (kylläseksi hiän šyöttäy hos pogrebah pannessah), viey muate.

— Nouse, — šanou, — muate rupiemma.

Petri-čarejevič nousou, ka pogrebah ni pučkahtau. Tuaš šielä mieštä hos kuin äijä, tai hänen velli šieläl Vellelläh kättä antau. Šanou velli:

— Tai šie tänne? Nyt kačo olemma tilašša!

Nikolai-čarejevič še oli pahin poika tuatolla ta muamolla. Häntä ei šuvaittu koissa, Tuhkimus-Tähkimyš oli, kiukuanagerisšä tuhkien kera. Tai Tuhkimus — Nikolai-čarejevič, hänellä on jo kaheksäntoista vuotta, pyrkiy elävyä vettä eččimäh:

— Tuatto-muamo, blahoslovikkua milma, kun ei ni toisesta vellestä tulijua tullun.

— Kunne šiušta läksijäštä, pisy kiukuallas, kun ei ni toisista mitänä rodiutun, — šanotah tuatto tai muamo.

Nikolai-čarejevič lähtöy. Annetah hänellä paharaiska heponi, kläyčy. Ajau Nikolai-čarejevič aitojen peräh. A hiän kuulou, jotta hänellä on äijä väkie. Hiän ottau tai ruaššaltau hepozelta nahkan korvih, šanou:

— Korpit, voronat, muamon-tuaton hevoista šyömäh!

Lennetäh korpit, voronat hevoista šyömäh. Hiän kun vihelti, ka tuli šiuh hänellä heponi, karva kultua, toini hopieta, kolmannel ei ni sviettual Lähtöy šillä hepozella ajamah. Tulou šiuh šamah tiešuarah, mih velletki oli ajettu. Kaččou — yhteh tieh on kirjutettu: elävyä vettä, toiseh — zmejan kera toruamah, kolmanteh — neiččyön kera makuamah.

Duumaiččou Nikolai-čarejevič: «Kunne milma on työnnetty, ka šinne mänenki». Lähtöy šitä tietä, mi juohattau elävyä vettä eč-

čimäh. Lähtöy hiän šitā matkuamah. Matkuau päivän, matkuau toizen, jo kolmannen, ka tulou talo vaštah, kukon kannakšilla pyöriy, kanan varpahilla. Šanou:

— Talosen-malosen, myöštäyhy, maloštahu, matkamiehen yöšijakši, vaipunuon vakaušijakši.

Talo i myöštyy. Astuu Nikolai-čarejevič perttih. Kaččou — šielä akka hyvin šuurinenäni alko pauhata:

— Huh, huh, tulipahan venyähän verta šyvväkšeni, juvväkšeni.

— Oho šie, huora-kurva, — šanou Nikolai-čarejevič, — šöisit matkamiehen šittoneh-kusineh, hikineh, väkineh. Kylyn lämmitäsit, kylvettäsit matkamiehen, pehmiempi olis ičelläs šyvvä.

Akka šanou:

— Oho, ken olet šie noin ošava šanoja?

— Mie olen, — šanou Nikolai-čarejevič, — Davida-čuarin nuorin poika.

— Ohoh, — akka šanou, — kun olet lähini heimolaini, mie olen Davida-čuarin vanhin čikko. Kunne, läksit, poikazen?

— A läksin, — šanou Nikolai, — saharnoista muašta elävyä yettä käymäh, kun tuatto-muamo ruvettih vanhenomah.

— Äijä šinne on männehie, vain vähä šieltä on tullehie. Miun ukko kun kävi, niin hepozelta häntä šyötih.

Kyselöy akka šanomie: «Kui šielä nyt velli eläy, jo ammuin ei käy tiälä».

Šyötti, juotti pojan, anto hänellä toisen hepozen, šanou:

— Nuorin sizäreni eläy šielä läššä, ka hiän juohattau.

Nikolai-čarejevič ajau tuaš tuon pitkyä, tämän lyhyttä, tulou talo šenin vastah, pyöriy kukon kannakšilla. Hiän tuaš šanou:

— Talosen-malosen, myöštäyhy, maloštahu, matkamiehen yöšijakše, viluhizen lämpimäkše, vaipunuon varakše.

Talo i myöštyy. Mänöy pirttih. Šielä akka nenälläh kekälehie liikuttau, šanou:

— Tuli tuaš venyähän verta šyvväkšeni, juvväkšeni.

— Oho šie, huora, šie šöisit matkamiehen šittoneh-kusineh, hikineh, väkineh — parempi šyöttäsit, juottasit matkamiehen, kylvettäsit, niin olis ičelläs pehmiempi šyvvä.

— Oho, ken olet niin ošava šanoiltaš?

— Olen Davida-čuarin nuorin poika.

— Oletpahan lähini heimolaini, mie olen Davida-čuarin keškimmäine čikko. Kunne läksit, poikan?

— Läksin elävyä vettä eččimäh, kun tuatto-muamo ruvettih vanhenomah.

— Oo, — šanou, — äijä šinne on männehie, vähä šieltä tullehie. Miun ukko kävi, ka hepozelta häntä šyötih.

Šyötti, juotti, kostitti pojan, šanou:

— Jätä hepozeš tähä, mie annan šula toisen hepozen. Kun jälelläh tulou kiireh tulla, niin levähtänyöllä hepozella piäset.

Nikolai-čarejevič hepozen heitti, läksi tuaš ajamah.

Ajau päivän, toizen, jo kolmannen päiväykšen. Illalla tulou talo vaštah, pyöriy tuaš kukon kannakšilla, kanan varpahilla. Šanou Nikolai:

— Talosen-malosen, myöstäyhy, maloštahu, matkamiehen yöšijakši, viluhisen lämpimäkši, vaipunuon vakaušijakši.

Talo myöstyy. Aštuu taloh, šielä akka kiukuata havuou, šanou:

— Huh, huh, tulipahan venyähän vertä šyvväkšeni, juvväkšeni, jo ammuin en ole šuanun.

— Oho, šie, huora-kurva, bliädi, — šanou, — šöisit matkamiehen šittoneh-kusineh, hikineh, väkineh — parempi šyöttäsit, juottasit, kylyn lämmittäsit, kylvettäsit, niin pehmiempi olis šyvvä.

— A ken olet moini ošava šanoiltaš?

— Olen Davida-čuarin nuorin poika.

— Oletpahan lähini heimolaini, mie olen Davida-čuarin nuorin čikko. Kunne läksit, poikan, näin pitällä matalla?

— Läksin elävyä vettä eččimäh, kun tuatto-muamo vanhettih, jotta nuorissuttais jälelläh.

— Äijä on šinne männehie, vain vähä on šieltä tullehie. Miun ukko kävi, ka hepozelta häntä šyötih.

— Etkö, tätizen, tiijä, kuin šuaha šitä vettä?

— En, poikan, tiijä, vain mie annan šiula šen hepozen, kulla miun veikko kävi šielä, heponi tietäy. Mie šanon vain šen verran, jotta kun mänet täštä šiniseh liettieh (peskuh), nin heponi juohattau ielläh.

Mänöy Nikolai, ajau šinizeh liettieh, ka heponi šanou:

— Pane, — šanou, — šilmäš umpeh, kiinitä hyvin, lyö vielä paremmin, jotta mie piäsen mereštä piäličči.

Poika niin ruatau. Ajetah meren šuareh. Šuari on hyvin kauris, heinä kultani kašvau, okšat puissa kultaset. Heponi šanou:

— Šie rupie muate ta makua niin pitälti, kun mie en hirnunne.

A iče heponi mänöy kultaista kuluo, hopiesta heinänpiätä šyömäh. Päivä šijautu. Hepone hirnakoičči. Poika hyppäi ylähäkši. Šanou heponi:

— Hyppyä šelkäh, lyö hyvin, kiinitä vielä paremmin, jotta piäsemmä mereštä piäličči.

Niin Nikolai löi hyvin, kiinitti vielä paremmin tai ajetah meren pojkki, tai vielä steklazen linnan šeinän piäličči čuarin kaivon luokši. Šanou heponi pojalla:

— Nyt kun mänet, kai ollah ovet kahallah, čuarin tytär makuau, hänen pielukšissa on kakši butilkua — toini on mušta, toini valkie, ota ne, vain muuta ni mitä elä liikuta.

Mänöy Nikolai-čarejevič, aštuu yhekšänteh kerrokšeh, matalla šielä oli šyömyä, juomua stolat täyvet, hiän ni mitä ei košeta. Mänöy čuarin tyttären kamarih, ka tämä šielä pal'ahin nahkoin makuau čirhottau. Poika ottau butilkat, kaččou, duumaiččou: «Et še kyllä



jiä čärähyttämättä». Tai ottau ta čärähyttäy tyttären ta iče kiirehölzešti juokšou hepozen luo.

Kaččou — ka heponi on umpivereššä. Šanou heponi:

— En käšken ni mitä koškje, a šie et ollun koškomatta, kačoi nyt, min čuudon luait. Ota čuarin kaivošta vettä, luo miula kolme kertua piällä.

Poika luou. Veri katou, ka vašempah kantapiäh vähäzen jiiy. Lähetäh kiireheššä ajamah, ka hepozen kapie (še verini), koški linnan šeinäh, ka šeinä halki. Siih paukahukšeh čuarin tytär havaččutu.

Cuarista lähettih ajamah pojalla jälkeh. Heponi šanou:

— Kiinnitä hyvin, lyö paremmin, jotta piäšemmä pakoh.

Poika löy. Ajetah kiireheššä, tätih vajehtau hepozen, ei ole aikua kostimah, ajau ielläh. Kaččou — jo ollah čuarin voiskat läššä. Piäšöy toizeh tätih, tuaš vajehtau hepozen, ajau ielläh kolmanteh tätih, vajehtau hepozen omah hepoteh da ajau stolpah šuahe, da piäšöy rajan toisella puolen. Tai čuarin tytär piäšöy stolpah šuahe, vain rajašta piäličči ei voi tulla. Rajan toizella-puolen aikau haukuo, šanou:

— En voi nyt tulla šillä puolen, vain viärys viäryvven piällä piäšöy, vielä puutut miun kätehl!

Tyttö läksi ajamah jällelläh, a Nikolai-čarejevič duumaiččou: «Lähen vielä zmejan kera toruan». Otti ryyppäi elävyä vettä, ka tuntou, kun hänellä väkie lizäyty. Mänöy zmejan luo peltoh. Kaččou — kun on väkie kuatun muštanah muaššä. Kyšyy:

— Voitko ken vaššata, mintäh on täh äijän rahvasta kuattu?

Yksi vähäzen noštau piätä, šanou:

— Zmeja noušou muašta, niin še tappau äijä rahvašta.

Mänöy toizeh peltoh, tuaš kyšyy:

— Voittako ken vaššata, mintäh on äijän rahvašta kuattu?

Yksi vähäzen piätä noštau, šanou:

— Zmeja noušou pellošta, še tappau.

Kolmanteh mänöy, ka šiel on vähemmä kuattu rahvašta. Kešellä peltuo on stoila, missä hevoista šyötetäh, da šatra, missä ičellä levähtyä. Hiän šitou hepozen stoilah, a iče ojentautuu levähtämäh šatrah. Yksi raanenni noušou pellošta istumah, pakauttau:

— Ken ollet, poikan, ka ennen päivänlaškuo šulaki šurma tulou.

Rupei päivä laškomah, tai zmeja noušou pellošta šemmoizen karjehen kera:

— Ken on tullun muate miun šatrah, ken on ruohtin miun stoilah panna hepozen?

Nikolai-čarejevič noušou:

— Ka elä šie häntä šittoneh šyöl Davai myö ajamma heposilana kiistah. Kumpasen heponi iellä vaipunou, šillä loppu.

Ajetah kerta pellošta ympärä. Zmejan heponi lankieuh polvillah. Ajetah toini kerta — tuaš lankieuh. Kolmaš kerta kun ajetah, ka kokonah lankieuh. Nikolai-čarejevič ottau ta panou zmejan heposi-

neh päivineh kolmekši palakši, a iče mäni zmejan šatrah muate.

Makai yön. Huomenekšella nousi, ka rupieu eččimäh šitä loukkuo, mistä zmeja nouzi. Eččiu, eččiu, ka näköy, kun on pieni loukkoni muašša, niinkun värttinän kannalla pissetty, šiinä on liinani nuorani. Hiän kun nuorašta vejältäy, ka avautuu vaškini ovi da vaškini mosta. Hiän matkuau vaškista mostua myöten, tulou vaškini dvorčča vaštah. Mänöu dvorččah — ka tyttö kaunis, kankašta kutou, šanou Nikolai-čarejevičilla:

— Terveh, terveh, Mikola-čarejevič, tuaton tapoit, ka muamuo et tapa, muamo on etevämpi. Vain kun ottanet moršiemekšes, niin tapat i muamon.

— Otan, — šanou Mikola, — tullesšani, nyt mänen vielä ielläh.

— Mäne, mäne, — šanou, — on miula šielä toini sizär.

Mikola-čarejevič matkuau ielläh, ka tulou hopieni dvorčča vaštah. Mänöy dvorččah, ka vielä kaunehempi tyttär kutou kankašta.

— Terveh, terveh, Mikola-čarejevič, tapoit tuaton, ka' muamuo et tapa, vain kun ottanet moršiemekšes, ka tapat ni muamon.

— Otan, — šanou, — ka mänen vielä ielläh.

— Mäne, mäne, — šanou, — kolmannen sizären kera eläy muamoni.

Mänöy Mikola-čarejevič. Tulou kultani dvorčča vaštah. Aštuu šiämeh, ka niin kaunis tyttär kutou kankašta, jotta hiän kai põläštyy (vain ihastunko lienöy niin šijan). Šanou tyttär:

— Tulet, tulet Mikola-čarevič! Tapoit tuaton, ka tapat ni muamon, kun ottanet miun akakšes.

— Otan, otan, — šanou Mikola-čarejevič, — ota šormukseni.

Ottau nimettömästä šormešta šormuksen, antau tytöllä. Tyttö antau oman šormuksen Mikolalla, šanou:

— Nyt kun muamo tulou, niin šiun paikalla šiihi tappau, vain šie pyri prostiutumah kuulla ta päivällä, niin hiän kun laškou, niin mäne sarajalla, šiel on kakši butilkua: toini mušta, toini valkie, juo vezi valkiešta, a tilalla kua mušta vezi.

Ei keritä i šanua loppie, kun tulou viuhahtau akka tai pačkuau Mikolan muaha. Kerozen piällä tahtou aštuo, ka šanou Mikola:

— Elä vielä tapa, piäššä kuulla ta päivällä prostiutumah.

— Mäne, — šanou akka.

Mikola mänöy, noušou sarajalla, juou valkien vejen, muššan panou šijah. Tulou, niin on väkövä, kai kultani late henšuu (uppuou). Ottau pačkuau akan lattieh, puristau keroista.

— Mie nyt šiun tapan!

— Mie kun šiun piäššin prostiutumah, niin piäššä šieki milma.

Piäštäy häntä Mikola, ka akka mänöy ta juou kuolien vejen ta šiihi i halkei. Piäšöy henkitoreissah kynnyksellä, karjuu tyttärelläh:

— Ved'ma, šöit!

— Pihalla on tukku keluo (puuta), — šanou tyttö. — On hänellä vielä äijä šukulaista, polttakka häntä tässä, niin ei voija meillä ni mitä.

Polttettih akka. Tyttö ottau šulkkupaikan. Löi ristih-rastih šillä huonehie, ne muututtih kultajälicäkksi, kiäriy šen paikan šiameh, antau pojalla ta šanou:

— Kun minne mänemmä, niin kun tämän levität, niin šamanoini koti tulou.

Männäh toizen sizären luo. Toini sizär šenin lyöy šulkkupaikalla huonehie: «Muuttukkah tämä jälicäkksi», — šanou. Ne i muututah. Kiäriy paikkah, antau Mikolalla.

Männäh kolmannen sizären luo. Tämä šenin lyöy ristih-rastih huonehie, tuáš muuttau huonehet jälicäkksi. Lähetäh matkah, nouššah mualla. Tullah tuáš stolpan luo. Šanou Mikola tyttärillä:

— Työ vuottakkua tässä, mie lähen vielä neičcyön kera maquamah, en jätä tätä i kolmatta reissuo käymättä.

Mänöy, ka tulou neičyt jo vaštah, kai itköy, šanou:

— Tule, tule Mikola čarejevič, kylicči kavelet, et tule miun luo.

«A olen mie šiun moizie kraalečkoja nähny», — duumaičcou. Tytär šyöttäy, juottau, lähetäh muate. Šanou tytär:

— Nouše šänkyh.

— A emäntä noušou iellä, — šanou Mikola.

— Nouše, nouše, ei šielä i mitä ole, — tytär šanou.

— Ka etkö šie šiitä noušel!

Ottau ruaššaltau ta pačkuau tyttären šinne.

Mušikkajoukko hypätäh (niitä on jo šata kolmekymmentä miestä):

— Ken tuli, ken tuli?

Kun nähäh, jotta še šamani ved'ma, kumpani hiät šuatto, — riivitätah tukista, kázistä, peršieh potitah häntä.

Karjuu pogrebašta:

— Laše, hyvä mieš, ota milma pois! Tule miun kera elämäh, mie olen čuarin tytär!

— Šuuhu mie šiula kušen! Šano avuamet, jotta piäššämmä pois rahvahan!

Avai, ka šielä on papin poikua, kupčan poikua, ka šieläi hänen vellet. Zdorovaičcou vellien kera.

Tytär itköy ta pyrküy. Šanou Mikola, jotta «anna podpiskaš, jotta ni ketä rahvašta et enämpi vaivua, a iče šuat jähä. Kun kuullen, jotta šie tämmöistä pelie piet, ka vielä myö šiut opaššamma».

Antau tyttö podpiskan, ta lähtöy Mikola vellieh kera. Tullah tuáš stolpah. Šen tytön kuvan revittelöy kolmannašta tieštä. Lähetäh matkah ielläh. Mikola-čarejevič on niin vaipun, jotta ei voi matata. Šanou vellilöillä:

— Levähtäkkä vähäzen.

Ruvetah levähtämäh. Käšköy Mikola piätä eččie morziemellah, šiihi ni uinuou bohaterskoih uneh. Ei kuule ni mitä.

Vellet paissah:

— Meitä tuatto ennen hyvänä piti, a myö mänemmä nyt kotih ilman mitäi. Tappakka velli.

— A emmä tapa, — šanou toini velli, — šitokka kiät puuhu kiini ta lykakkä mereh. Šinne hiän iče kuulou.

Moršien itköy, noššattau, ei Mikola kuule. Vellet šivotah Mikolua šuureh keloh ta lykätäh mereh. Otetah naizet ta männäh kotih.

Mikolua tuuli kuletteli merellä, ka vief hantä toizeh muaha. Päivä on hyvin kaunis, tyyni. Näköy čuarin tyttö ikkunašta merellä plavinan. Šanou čuarin tytär piijoilla:

— Mänkyä käykyä kaččökkua, mi plaviu merellä.

Männäh piijat šouvetah, kačotah — muzikka, tai hantä šouvvetah rantah. Šanotah čuarin työllä: niin i niin, muzikan toimma.

— Lähen, — šanou čuarin tytär, — kačon, mi hiän on muzikkoja.

Kaččou, čarskoissa vuattiešša on mieš, čarskoi miekka, kuottelou kormanoja — ka butilka! Prizkaččou šillä, ka mieš kai muštenou. Kuottelou toista kormanuo, ka toini butilka. Prizkaččou šillä, ka mieš hypyäy pystyh.

— Huh, huh, kun viikon makain!

— A olizit vielä viikoman muannun miutta pahatta.

Mänöy poika leškiakkah. Šanou:

— Anna, akkazen, šyvvä ta ota elämäh.

Otti akka hantä, anto šyvvä. Poika rupei muate, makai päivänlaškuh šuate. Noušou, mänöy pihalla kävelömäh, kuulou itkuoa. Mänöy kyšyy akalta:

— Mitähän linnašša mänöy tuammoini itku?

— A, — šanou akka, — čuarin tytärtä annetah kolmipäizellä zmejalla šyötäväksi. Jo vietih meren rantah.

Šanou poika leškiakalla:

— Anna miula kolme kuožalpiätä villua.

Antau akka. Hiän ottau hivou miekkah, lyöy ne kaikki kuožalit poikki, šanou:

— A lähen, — šanou, — kuottelen vielä voimieni.

Lähtöy, mänöy meren rantah, šielä čuarin tytär istuu ta itköy.

Šanou poika:

— Eči piätä miulta. Mitä nähnet, niin šano miula.

Tyttö eččiy. Alkau meri lainehtie. Kerran tuli vetenä, toizen lumena, kolmannen tulena. Nöuzi kolmepäini zmeja mereštä, heponi hänen polvizillah lankei, karjahti zmeja hepozellah:

— Mitä hiiškut, hiijen elävä, korškut, konnan ruška? Ei ole muita mualla varattavie, kun Mikola-čarejevič, tai šen luita korppi ei ole tänne kantan.

Hyppäi Mikola:

— Hauku mieštä šilmissä, elä šilmien takana!

— Puhu puhtahašta puaruštaš rautani tanner torata, — šanou zmeja.

— A ei rapamaroilla tannerta, kačo kun kotis palau!

Zmeja kun kačahti, ka hiän zmejalta piät poikki. Panou piät kiven alla, muun runkon mereh.

Tyttö pyrittäy häntä kotih:

— Lähe tuaton luo, mie šiun, šie miun, rupiemma yheššä elämäh.

— En lähe, miula on jo moršienta kyllälti.

Mikola mänöy jällelläh leškiakkah makuamah.

Čuari ihaštu, kun tyttö piäsi. Luati piirut-bualut, kučeuu kaiken rahvahan šyömäh-juomah. Šielä vesselyijäh.

Mereššä zmeja šiänty, työntäy čuarih kirjazen, jotta «miun vellen tapoitta, jesli että anna tytärtä miula šyvvä, niin šyön koko linnan».

Čuarih tuas šuru lankei! Šitä itetäh kaikin, koko linnan väki. Mikola tuas päivänlasun jälkeh mänöy pihalla, kuulou itkuo. Tulou pirttih, kyšyy leškiakalta:

— Mitä linnoveh itköy?

— A itetäh, kun kuušipäini zmeja tulou čuarin tytärtä šyömäh.

— Anna miula villua kuuši kuožalipiätä.

Leikkai villapiät ta läksi meren rantah. Šanou tyttöllä:

— Eči piätä, a mitä nähnet, niin šano miula.

Alko meri volnuiččiutuo. Kerran lumena, toisen vetenä, kolmannen tulena. Nousi zmeja mereštä, ka heponi lankei polvisillah.

— Mitä hiiškut, hiijen elävä, korškut konnan ruoka? Ei ole muita varattavie, kun Nikolai-čarejevič, tai šen luita korppi ei tänne kantan.

Hyppäi Nikolai:

— Hauku mieštä šilmissä, elä šilmien takana!

— Puhu puhtahašta puaruštaš rautani tanner šotua käyvä.

— Ei rapamahoilla pie rautatannerta, kačo kun kotis palau!

Zmeja kun kačahti, hiän šillä aikua piät poikki. Pani piät kiven alla, muun runkon mereh.

Tyttö molius:

— Tule meilä, mie šiun, šie miun, tuatto kučeuu, ei piäššäl

Mikola ruaššalti iččeh pois tyttären šepäilyštä i läksi leškiakkah muate.

Čuari tuas ihaštu. Luati piirut-bualut. Kučeuu rahvahan pirui-mah. Šielä pietäh iluo puoleh päiväh.

Mereššä viimeni zmeja šiänty, työntäy viessin, jotta «vellet tapoitta, ka ei ni tyttö šyömättä jia. Että vain työntäne meren rantah šyötäväksi, niin koko linnan šyön». Tuas čuarih šuru lankei, itetäh koko linnoveh. Mikola nousou makuamašta, kävelöy pihalla. Kuulou, tuas linnoveh itköy. Kyšyy leškiakalta:

— Mitä apieta tuas linnoveh pitäy?

— Pietäh, kun čuarin tytär on annettu yhekšipäisellä zmejalla šyötäväksi.

— Anna yhekšän kuožalipiätä.

Antau leškiakka tuaš yhekšän kuožalipiätä. Hivou Mikola miekan. Lyöy kuožaliija, kaheksän šuau poikki, yhekšättä ei ni šuanun.

— Lähen, — šanou, — hot' ei tämä kerta männeki imehittä-kummita.

Mänöy rantah. Šanou tytöllä:

— Eci piätä. Mitä nähnet, šano miula.

Tyttö eččiy piätä. Alko meri volnuiččiuotuo. Kerran tulou lumenä, toisen vetenä, kolmannen tulena. Noušou zmeja mereštä. Heponi polvizillah lankieu. Karjahtau zmeja:

— Mitä hiiškut, hiijen elävä, korškut, konnan ruoka? Ei ole muita mualla varattavie, kuin Mikola-čarejevič, tai šen huita korppi ei ole tänne kantan.

Hyppäi Mikola:

— Hauku miestä silmissä, elä silmien takana!

— Puhu puhtahašta puaruštaš rautani tanner šotie.

— Ei rapamaralla pie tannerta, Kačo kun kotis palau!

Zmeja kačahti, hiän vejälti miekalla, ka kaheksän piätä poikki, yhekšäs.jäi. Zmeja puri kiän. Čuarin tyttö šito kiän šulkkupaikalla. Toreuvuttih uvveštah, Mikola vejälti viimesen piän poikki. Čuarin tytär molieu:

— Lähe čuariksi, en eruo mie šiušta.

Mikola d'erniy čuarin tytön kiät kaklaštah, mänöy leškiakkah. Čuari haukkuu tytärtä:

— Mintäh et tuo šulhasiksi, jo kolmannen kerran piäšti šurmašta!

— Kun ei, — šanou tyttö, — lähe, niin min mie voin.

Čuari luatiu tuaš piirut-bualut. Kuččuu kaikki šinne rujot, rammat, verišokiet. Leškiakkaki šinne piätty mänömäh. Kyšyy čuari:

— Joko kaikin, koko linnan väki on tiälä? Onko šemmoni mieš, kumpani piäšti miun tyttären kuolomašta?

Šanou, leškiakka:

— On miun luona mieš, kumpani kolme kertua kävi zmejua tappamašša ta lähtiessäh löi aina kuožalipiätä poikki.

Čuari työntäy kaksi koriettua Mikolua käymäh. No Mikola noššetah ta viimein hiän lähtöy. Čuari kun hyvällä mielin ottau vaštah, kostitah šiinä, šyvväh, juvvah, šanou čuari:

— Ota koko linna ta rupie čuariksi. Mie olen jo vanha tai kykenemätöin čuariksi, a šiummoini mieš olisit paikallaš čuarina. Ota tyttäreni, kaikki annan šiula.

— En ota, eikä miušta ole čuariksi. Naizie miula on jo entisie kyllälti, — šanou Mikola.

— Milläpä mie šiun hyvittäri? — čuari kyšyy.

— Ei miula muuta pie kun kakši saltattua ta niillä kun annat den'gua niin šijän, jotta myö tulemma toimeh iellä matatešša.

Čuari antau saltatat ta den'gat ta niin hyö lähetäh taivaltamah iellä. Šanou saltatoilla Mikola:

— Nyt pitäy miän piässä mereštä poikki, vain kun mie en kuollun yhen puun kera kikuassani, niin lähen mie kyšyn čuarista vielä viisi puuta, niistä luaimma lautan ta šillä lähemmä merellä.

Niin hiän ni ruato. Otti puut, löi ne lautakši, ta lähettih plavimah. Ajellah, ajellah merellä, ka tullah kotirantah. Nouššah leškiakkah. Šiinä eletäh yön ympäryštä. Huomenekšella Mikola käšköy toisella saltatoista oštua rokosinua kolme väröcie, kolme šieklua ta kolmet luapottimet. Saltatta tuou rokosat, šuoritah niih rokosoih, pannah šiekat piähä, luapotit jalkah, lähettih čuarih näyttelömäh. Lähtiessäh Mikola-čarejevič kyšyy leškiakalta:

— Vieläkö Davida-čuari eläy?

— Vielä eläy, — leškiakka šanou, — vai hiän on jo ylen vanha, ei piäse ni liikkumah.

— A missäpä čuarin pojat?

— Kakši tultih muailmalta jälelläh, tuotih kolme tytärtä. Kakši tytärtä mäntih čuarin pojilla miehellä, a kolmas kävelöy muššissa, ei mäne ni kellä, vuottau Mikola-čarejeviččua.

Näijen tietojen keralla lähettih, Mikola-čarejevič šoittau, a saltatat pläšitäh. Hiän näköy muamoh tai tuattoh, — vanhettu on jo šiijalti, oma morzienki kävelöy šiinä allapäin pahalla mielin. Jo duumaiččou: kun olis ottua da tunnuštautuo ta ruveta yheššä elämäh. Ei keritä i kunne, kun mereltä tulou laiva, ajau čuarin rantah. Lähtöy čuari (vanhin poika on nyt čuarina) kaččomah, mi laivojah laški rantah. Hal'akak on levitetty čuarin pihašta rantah šuate. Hyppyäy čuari šl'upkah tai šouti laivah. Kun rupei noušomah šl'upkašta laivah, kiät noštou laivan laitah. Kakši brihaččuista nelläntoista vuvven vanhua tullah kaččomah ta kysytäh muamoltah:

— Hoi muamo, šuuttimmako myö diädän kera, niinkuin hiän šuutti tuaton kera?

— Šuuttikkua, — vaštua muamo, — vain elkyä aivan niin kipiēsti.

Pojat rapšatah diädältä šormet poikki. Čuari tulou voivotuksen ta kiruomisen kera pirttih, šanou niin i niin: «Mi diädä mie heil olen, tämmöini šutka piettih».

Mikola-čarejevič niin jäpšähtäy, kai šoitto kirpuou kiäštä. Lähtöy Petr-čarejevič kaččomah. Aštuu hal'akan laitua, hyppyäy šl'upkah, šamoin rupieu noušomah. Tuaš brihačut tullah kysytäh muamelta:

— Šuuttimmako, muamo, diätän kera, niinkuin hiän šuutti tuaton kera?

— Šuuttikkua, vain elkyä niin kipiēsti.

Pojat rapšatah šormet poikki.

Tuou diädä tuäs voivotuksen ta kiruomisen kera: «Mi diädi mie olen heiläl!»

Mikola-čarejevič kaččou ajan tulleheksi, šanou saltatoilla:

— Tämä laiva on tullun milma käymäh. Nyt pitäy miun lähtie. Työ ottakkua hal'akak (verkani še oli) vuatteiksena.

Läksi. Aštuu keški hal'akkua. Čuarin ikkunašta kačotah, šanotah:

— Tuolta še piä leikatah.

A Mikola-čarejevič noušou laivah, ta lähetäh omien poikien ta mučoin kera ajamah, tai starina loppu.

### 39. ЦАРЬ ДАВИД

Был раньше царь Давид. Он ходил в сахарную землю омолаживаться, туда живую воду пить. Жене не принес. Жена как состарилась и умерла, так он опять на другой и женился. Вторая жена жила, жила да и умерла. Взял третью, а третья жена родила сына. Ему [царю] некогда даже ехать в сахарную землю, так люб ему сын. Сыну дали имя Иван-царевич. Родила эта жена второго сына, тому дали имя Петр-царевич, и третьего сына родила, того назвали Николай-царевич.

Растил он сыновей, и некогда ему было ехать в сахарную землю, и вот он состарился и уже и вовсе не может ехать. Ходит да охает: «Теперь уже не могу ехать, теперь смерть придет».

Старший сын Иван-царевич говорит:

— Отец-мать, простите, благословите меня живую воду искать.

Его простили, благословили, и он отправляется. Дают ему лучшую одежду, меч, с чем царь раньше ездил.

Пускается он в путь. Едет, долго ли коротко ли — и встречаются ему три дороги: на одном столбе написано, что за живой водой ехать, на другом, что со змеем в поле биться, а на третьем, что с девушкой спать.

Иван-царевич [думает]: «Пойду с девушкой посплю». Едет, а девушка выходит навстречу, красивая, вся в золоте и серебре, говорит:

— Иди, иди, Иван-царевич, тебя ждала, три года уже еда на столе.

Девушка накормила-напоила, повела его спать, кровать красивая-красивая, прямо ужас!

— Ложись, — говорит, — на кровать спать.

Иван-царевич как лег, так в погреб и упал. Туда бухнулся, а там уже мужчин того больше. Есть и господа, и крестьяне. Говорят: «Кто пришел?» — Смотрят — да это Иван-царевич! Говорят: «Ох-ох, попался и ты, вдоволь сырого овса наешься».

Второй сын дома похаживает, хочется и ему уже на белый свет, раз брата не слышно, вот и говорит отцу-матери:



— Отец-мать, простите-благословите меня за живой водой съездить.

Его опять собрали, и отправляется он как и старший брат, приезжает на перекресток дорог. На одном [столбе] написано: живая вода, на втором — со змеем в поле биться; вернешься ли нет — неизвестно, а на третьем — с девушкой спать. Петр-царевич думает: «А поеду-ка я с девушкой посплю». Девушка уже навстречу идет, говорит:

— Иди, иди, Петр-царевич, шесть лет тебя жду, а ты не едешь, все мимо ходишь.

— Хм, — говорит Петр-царевич, — я только что из дома выехал.

Повела девушка его в свой дом, кормит-поит досыта (и то ладно, хоть досыта кормит перед тем, как в погреб бросить), ведет спать.

— Ложись, — говорит, — будем спать.

Петр-царевич ложится — и бухается в погреб. Опять там мужчин того больше, и его брат там же! Брату руку подает. Говорит брат:

— И ты сюда? Ну и попали же мы!

Николай-царевич, тот самый плохой сын у отца и матери. Его дома не любили, потому что был Тухкимус-Тяхкимюс, на печи в золе сидел. Ну и Тухкимус — Николай-царевич, ему было уже восемнадцать лет, — просится на поиски живой воды:

— Отец-мать, благословите меня, раз и второй брат не вернулся.

— Куда тебе, сиди на печи, раз и у других ничего не вышло, — говорят отец да мать.

Николай-царевич отправляется. Дают ему плохонькую лошаденку, клячу. Доезжает Николай-царевич до последней изгороди у опушки леса. А он чувствует, что у него много силы. Он взял да сдернул шкуру с лошади, говорит:

— Вороны, воробы, слетайтесь коня отца-матери клевать!

Прилетают вороны коня клевать. Он как свистнул, то тут же появилась лошадь: шерстинка золотая, другая серебряная, а третьей и цвета назвать нельзя! Едет дальше на этой лошади. Подъезжает к тому самому перекрестку, куда и братья приехали. Смотрит — на одной дороге написано: живая вода, на другой — со змеем биться, на третьей — с девушкой спать.

Думает Николай-царевич: «За чем меня отправили, я за тем и поеду». Отправляется по той дороге, по которой надо ехать живую воду искать. Едет по этой дороге. Едет день, едет второй, уже и третий, и встречается дом: на петушиной пятке вертится, на курьих лапках. Говорит:

— Избушка-избушка, повернись-остановись, путнику заночевать, уставшему поотдохнуть.

Домик и поворачивается. Николай-царевич заходит в избу. Смотрит — там старуха с огромным носом, начала греметь:

— Хух-хух, пришла-таки русская кровь, чтобы мне поесть-попить.

— Ох ты, б...., курва, — говорит Николай-царевич, — готова съесть путника с г...., с потом и силой; лучше бы накормила-напоила путника, попарила бы в бане, так самой было бы лучше мягкое есть.

Старуха говорит:

— Охо, кто ты, такой острый на язык?

— Я, — говорит Николай-царевич, — младший сын Давида-царя.

— Охо, — говорит старуха, — ты же мой ближайший родственник, я старшая сестра Давида-царя. Куда поехал, сынок?

— А поехал, — говорит Николай, — в сахарную землю за живой водой, потому что отец и мать начали стареть.

— Много туда уехавших, но мало оттуда возвратившихся. Когда мой муж ездил, так у коня хвост съели.

Расспрашивает старуха о вестях: «Как там брат ныне живет, уже давно не бывает здесь».

Накормида-напоила парня, дала ему другого коня, говорит:

— Моя младшая сестра живет там близко, так она посоветует.

Николай-царевич едет опять, долго ли коротко ли — встречается дом, на петушиных пятках вертится. Он опять говорит:

— Избушка-избушка, повернись-остановись, путнику заночевать, озябшему обогреться, уставшему отдохнуть.

Дом и поворачивается, он заходит в избу. Там старуха носом головешки шевелит, говорит.

— Пришла опять русская кровь, мне поесть, попить.

— Охо ты, б...., ты бы съела путника с г...., с потом и силой; лучше накормила бы, напоила путника, в бане попарила бы, так самой было бы мягче есть.

— Охо, кто ты, такой острый на язык?

— Я младший сын Давида-царя.

— Ты же мой ближайший родственник, я средняя сестра Давида-царя. Куда едешь, сынок?

— Поехал искать живую воду, потому что отец-мать начали стареть.

— О-о, — говорит, — много туда уехавших, мало оттуда возвратившихся. Когда мой муж туда ездил, то у коня хвост съели.

Накормила-напоила, угостила парня, говорит:

— Оставь здесь свою лошадь, я дам тебе другую лошадь. Если на обратном пути надо будет быстро скакать, то на отдохнувшем коне скорей уедешь.

Николай-царевич коня оставил, поехал опять дальше. Едет день, другой, уже третий день едет. Вечером встречается дом,

вертается опять на петушиных пятках, на курьих лапках. Говорит Николай:

— Избушка-набушка, повернись-остановись, путнику заночевать, озябшему обогреться, уставшему отдохнуть.

Дом поворачивается. Заходит в дом, там старуха печь помелом метет, говорит:

— Хух-хух, пришла-таки русская кровь, мне попить, поесть, давно не бывала.

— Охо ты, б..., курва, — говорит, — хочешь съесть путника с г..., с потом и силой; лучше накормила бы, напоила, баню истопила, попарила бы, так мягче было бы самой есть.

— А кто ты, такой острый на язык?

— Я младший сын Давида-царя.

— Так ты же мой ближайший родственник, я младшая сестра Давида-царя. Куда поехал, сынок, в такую дальнюю дорогу?

— Поехал живую воду искать, потому что отец-мать состарились, надо их снова омолодить.

— Много туда уехавших, только немного оттуда возвратившихся. Мой муж ездил, так у лошади хвост съели.

— Не знаешь ли, тетенька, как достать этой воды?

— Не знаю, сынок, но я дам тебе ту лошадь, на которой мой брат туда ездил, лошадь знает. Я только то скажу, что поедешь отсюда к синему песчаному берегу, а дальше лошадь подскажет.

Едет Николай, приезжает к синему песчаному берегу, лошадь и говорит:

— Закрой, — говорит, — глаза, затяни хорошенько подпруги, ударь еще лучше хлыстом, чтобы мне перепрыгнуть через море.

Парень так и делает. Приезжают на морской остров. Остров очень красивый, золотая трава растет, ветки на деревьях золотые. Лошадь говорит:

— Ты ложись спать и спи до тех пор, пока я не заржу.

А лошадь сама пошла золотую траву, серебряную мураву есть. Солнце село. Лошадь заржала. Парень вскочил на ноги. Говорит лошадь:

— Садись на спину, ударь хорошенько, затяни еще лучше подпруги, чтобы перепрыгнуть через море.

Николай ударил хорошо, затянул подпруги еще лучше, и так перескакивают через море да еще через стеклянную стену к цареву колодцу. Говорит лошадь парню:

— Теперь как пойдешь, то все двери открыты, царева дочь спит, в ее изголовье две бутылки — одна черная, другая белая — возьми их, только больше ничего не трогай.

Идет Николай-царевич, поднимается на девятый этаж, по пути там столы ломаются от еды и питья, он ни до чего не дотрагивается. Заходит в горницу царевой дочери, а та нагая спит разбросавшись. Парень берет бутылки, смотрит, думает: «А уж так

просто я не уйду». Взял да и сделал свое дело, а сам быстрейко бежит к лошади. Смотрит — лошадь вся в крови. Говорит лошади:

— Не велела ничего трогать, а ты не мог не тронуть — смотри-ка теперь, каких чудес натворил. Возьми из царева коловца воды, окати меня три раза.

Парень окатывает. Кровь исчезает, но на левом копыте чуть остается. Спешно выезжают, тут копыто лошади (то кровавое) задело крепостную стену, и стена раскололась. От этого грохота царева дочь проснулась. От царя пустились за парнем в погоню. Лошадь говорит:

— Затяни хорошенько, бей еще лучше, чтобы нам уйти от погони.

Парень бьет. Едут, спешат, тетка меняет лошадь, погостить некогда, едет дальше. Смотрит — уже близко царев войско. Приезжает к другой тетке, опять меняет лошадь, едет дальше к третьей тетке, меняет лошадь на свою лошадь и доезжает до столба и оказывается по другую сторону границы. Царева дочь тоже доезжает до столба, но границу перейти не может. С той стороны границы ругает его, говорит:

— Я сейчас не могу перейти на ту сторону, но только неправду неправдой же наказывают — я еще до тебя доберусь!

Девушка поехала обратно, а Николай-царевич думает: «Поеду еще со змеем биться». Взял выпил живой воды — и чувствует, что у него силы прибавилось. Идет к змею на поле. Смотрит — на земле черным-черно народу полегло. Спрашивает:

— Может ли кто ответить, почему здесь много народу уложено? Один чуть поднимает голову, говорит:

— Змей поднимается из земли, так он много народу убивает. Идет на другое поле, опять спрашивает:

— Может ли кто ответить, почему много народу уложено? Один чуть голову поднимает, говорит:

— Змей из земли поднимается, он убивает.

На третье поле приезжает, а там меньше народу уложено. Посреди поля стойло, чтобы лошадь накормить, и шатер, где самому поотдохнуть. Он привязывает лошадь к стойлу, а сам ложится в шатре поотдохнуть. Один раненый с поля поднимается, говорит:

— Не знаю, кто ты, сынок, но до заката и к тебе смерть придет.

Стало солнце заходить, тут и змей поднимается из земли с таким рыком:

— Кто сюда пришел спать в моем шатре, кто посмел в мое стойло лошадь поставить?

Николай-царевич говорит:

— Ты хоть не съешь с г...! Давай-ка мы поскачем на своих лошадях; чья лошадь раньше устанет — тому конец.

Объехали один раз поле. Лошадь змея падает на колени.

Объезжают второй раз — опять падает. Третий раз как объехали, так уже и не встает. Николай-царевич взял да изрубил змея с его лошадыю на три куска, а сам пошел в шатер змея спать.

Проспал ночь. Утром встал, стал искать ту дыру, откуда змей поднимался. Ищет, ищет и видит — есть маленькая дырка в земле, как будто тупым кончиком веретена сделанная, тут конопляная веревочка. Он как за веревочку дернул, открывается перед ним медная дверь, а там медный мост. Он идет по медному мосту, встречается медный дворец. Идет во дворец — а там девушка красивая ткет, говорит Николаю-царевичу:

— Здравствуй, здравствуй, Микола-царевич, отца убил, но мать не убьешь, мать поумней. Но если возьмешь меня в жены, то и мать убьешь.

— Возьму, — говорит Микола, — на обратном пути, теперь я еще дальше пойду.

— Иди, иди, — говорит, — у меня там вторая сестра.

Микола-царевич идет дальше и вот встречается серебряный дворец. Идет во дворец, а там девушка, еще краше, ткет.

— Здравствуй, здравствуй, Микола-царевич, отца убил, но мать не убьешь, но если возьмешь [меня] в жены, то убьешь и мать.

— Возьму, — говорит, — но теперь пойду еще дальше.

— Иди, иди, — говорит, — с третьей сестрой наша мать живет.

Идет Микола-царевич. Встречается золотой дворец. Заходит во дворец, а там такая красавица ткет, что он даже испугался (а может и обрадовался так сильно). Говорит девушка:

— Так ты пришел, Микола-царевич! Отца убил, убьешь и мать, если меня возьмешь в жены.

— Возьму, возьму, — говорит Микола-царевич, — возьми мое кольцо.

Снимает кольцо с безымянного пальца, дает девушке. Девушка дает свое кольцо Миколу, говорит:

— Теперь как мать придет, то тут же на месте попытается тебя убить, но ты попросись проститься с луной и солнцем, и она как отпустит тебя, так ты иди на сарай, там две бутылки: одна черная, другая белая — выпей воду из белой, а в бутылку налей черной воды.

Не успела договорить слово, как врывается старуха и валит Миколу с ног. Хочет на горло наступить, а Микола и говорит:

— Не убивай еще, отпусти с луной и солнцем проститься.

— Иди, — говорит старуха.

Микола идет, поднимается на сарай, выпивает белую воду, взамен наливает черной. Возвращается такой сильный, что золотой пол под ним гнется. Валит старуху с ног, начинает душить.

— Теперь я тебя убью!

— Я тебя отпустила проститься, так ты меня тоже отпусти.

Отпустил ее Микола, старуха пошла и выпила мертвую воду да тут и лопнула. Из последних сил приползла до порога, кричит дочери:

— Съела меня, ведьма!

— Во дворе куча сухих дров, — говорит девушка. — У нее много родственников, давай сожжем ее, чтобы не могли [родственники] с нами ничего сделать.

Сожгли старуху. Девушка берет шелковый платок, ударила крест-накрест по покоям, они превратились в золотое яйцо, завернула его в платок, подает парню и говорит:

— Как придем куда-нибудь и как только развернешь этот платок — то такой же дом будет.

Идут к другой сестре. Другая сестра этак бьет шелковым платком по покоям: «Пусть превратится этот дом в яйцо», — говорит. Дом и превратился. Завернула в платок, подает Миколу.

Идут к третьей сестре. Она этак опять крест-накрест по покоям — опять превращаются покои в яйцо. Отправляются в путь, поднимаются на землю. Приходят к столбу. Говорит Микола девушкам:

— Вы здесь подождите, я пойду еще с девушкой посплю — надо и в третью дорогу съездить.

Приезжает, а девушка уже навстречу идет, даже плачет, говорит:

— Заходи, заходи, Микола-царевич, мимо ходишь, ко мне не зайдешь.

«А видал я таких краль, как ты», — думает [Микола-царевич].

Девушка кормит-поит, идут спать. Девушка говорит:

— Ложись на кровать.

— Пусть хозяйка вперед ляжет, — говорит Микола.

— Ложись, ложись, ничего там нет, — говорит девушка.

— Так ты не ляжешь!

Берет и бросает девушку на кровать.

Мужчины гурьбой подскочили (их уже там сто тридцать человек):

— Кто пришел, кто пришел?

Когда увидели, что это та самая ведьма, которая их туда заперла, стали рвать ее за волосы, за руки, пинают ее в зад.

Кричит [девушка] из погребца:

— Выпусти, добрый человек, меня отсюда. Оставайся со мной жить, я дочь царя!

— Н..... мне на тебя! Скажи, где ключи, чтобы людей выпустить.

Открыл — а там есть и поповские сыновья, и купеческие сыновья, да там и его братья. Здороваются с братьями.

Девушка плачет и просит выпустить. Говорит Микола, что «дай подписку, что не будешь больше никого мучить, тогда

можешь оставаться здесь жить. Но если услышу, что ты опять за прежнее взялась, так мы тебя проучим».

Дает девушка подниксу, и отправляется Микола с братьями. Приезжает опять к столбу. Разорвал карточку той девушки, что была на столбе. Пускаются дальше в путь. Микола-царевич так устал, что не может ехать. Говорит братьям:

— Поотдохнем немного.

Стали отдыхать. Микола велит невесте поискать в голове, тут и засыпает богатырским сном. Ничего не слышит.

Братья говорят:

— Раньше отец нас любил, а мы теперь приедем домой ни с чем. Давайте убьем брата.

— Не будем убивать, — говорит другой брат, — а привяжем его к бревну и бросим в море. Там он сам умрет.

Невеста плачет, будит — не слышит Микола.

Братья привязывают Миколу к большой сосне и бросают в море. Берут девушку и едут домой.

Ветер нес Миколу по морю, и унесло его в другую страну.

День был красивый, без ветра. Видит царева дочь из окна, как по морю что-то плывет. Говорит царева дочь служанкам:

— Подите посмотрите, что плывет по морю.

Идут служанки, гребут, смотрят — мужчина, и привозят его на берег. Говорят царице: так и так, мужчину привезли.

— Пойду, — говорит царева дочь, — посмотрю, что он за человек.

Смотрит — в царской одежде мужчина, царский меч; ошупала карманы — а там бутылка! Побрызгала водой — мужчина весь почернел. Ошупала другой карман — а там другая бутылка. Побрызгала водой — мужчина вскочил на ноги.

— Хух-хух, как долго спал!

— Еще дольше бы поспал, если б не я, плохая.

Идет парень к старой вдове. Говорит:

— Накорми меня, бабушка, и возьми к себе жить.

Пригласила его старуха и дала поесть. Парень лег спать, спал до заката. Встает, выходит погулять на улицу — слышит плач. Возвращается, спрашивает у старухи:

— Почему в городе такой плач?

— А, — говорит старуха, — царице дочь отдают трехголового змею на съедение. Уже увели на берег моря.

Говорит парень вдове:

— Дай мне шерсти три кудели.

Старуха дает. Он наточил своей меч, одним ударом рассеял все те кудели, говорит:

— Пойду-ка, — говорит, — попытаю еще свою силу.

Идет, приходит на берег моря, там царева дочь сидит да плачет. Говорит парень:

— Пойди у меня в голове. Если что где увидишь — скажи мне.

Девушка ищет. Море начинает волноваться. Первый раз всколыхнулось водой, второй раз снегом, в третий раз огнем. Вышел трехголовый змей из моря, лошадь его на колени упала, крикнул змей лошади:

— Что фыркаешь, тварь хийси, храпишь, корм для жабы? Некого больше на земле бояться, кроме Миколы-царевича, но его костей ворон сюда не занес.

Подскочил Микола:

— Ругай человека в глаза, а не за глаза!

— Выдохни чистым дыханием железное поле, чтобы побиться, — говорит змей.

— Не для чего толстобрюхим поле для битвы, смотри — дом твой горит!

Змей как оглянулся, Микола у него все головы отсек. Головы кладет под камень, туловище в море.

Девушка зовет его домой:

— Пойдем к отцу. Я твоя, ты мой — будем вместе жить.

— Не пойду, у меня уже вдоволь невест.

Микола идет обратно ко вдове спать.

Царь обрадовался, что дочь спаслась. Устроил пиры-балы, зовет всех людей есть-пить. Там веселятся.

Морской змей рассердился, шлет царю письмо, что «моего брата убили: если не выдадите мне дочь на съедение, то я съем весь город».

Опять на царев дом печаль пала! Все плачут, весь народ в городе. Микола опять после заката выходит на улицу — слышит плач.

Приходит в избу, спрашивает у вдовы:

— О чем народ в городе плачет?

— Плачут потому, что шестиголовый змей придет и цареву дочь съест.

— Дай мне шесть куделей шерсти.

Рассек кудели и пошел на берег моря. Говорит девушке:

— Поищи в голове, а если что вокруг увидишь, то скажи мне.

Начало море волноваться. Раз всколыхнулось снегом, второй раз водой, в третий раз огнем. Вышел змей из моря, а лошадь его упала на колени.

— Что фыркаешь, тварь хийси, храпишь, корм жабы? Некого больше бояться, кроме Николая-царевича, но и его костей ворон сюда не занес.

Подскочил Николай:

— Ругай человека в глаза, а не за глаза!

— Выдохни чистым дыханием железное поле, чтобы воевать.

— Не для чего толстобрюхим железное поле, посмотри-ка — дом твой горит!

Змей как оглянулся, он тем временем головы отсек. Головы положил под камень, туловище в море.



Девушка умоляет:

— Пойдем к нам, я твоя, ты мой, отец зовет, не отпустит тебя!

Микола вырвался из объятий девушки и пошел ко вдове спать.

Царь опять обрадовался. Устроил пиры-балы. Позвали людей пировать. Веселятся там до полудня.

Последний змей в море рассердился, посылает весть, что «братьев убили, но и девушка будет съедена. Если только не пошлете ее на берег моря на съедение, то весь народ в городе съем». Опять на царев дом печаль пала, весь народ в городе плачет. Микола встает, идет по улице гулять. Слышит — опять народ в городе плачет. Спрашивает у вдовы:

— О чем опять народ в городе печалится?

— Печалится, потому что цареву дочь отдали девятиголовому змею на съедение.

— Давай девять куделей.

Дает старуха опять девять куделей. Наточил Микола меч. Ударил по куделям — восемь рассек, а девятую и не смог.

— Пойду, — говорит, — хоть в этот раз не обойдется без чудес.

Приходит на берег. Говорит девушке:

— Прищи в голове. Если что вокруг увидишь, скажи мне.

Девушка идет в голове. Начало море волноваться. Первый раз всколыхнулось снегом, второй раз водой, третий раз огнем. Выходит змей из моря. Конь падает на колени. Змей крикнул:

— Что фыркаешь, тварь хйси, храпишь, корм для жабы? Некого больше на земле бояться, кроме Миколы-царевича, но и его костей ворон сюда не занес.

Подскочил Микола:

— Ругай человека в глаза, а не за глаза!

— Выдохни чистым дыханием поле для битвы.

— Не для чего толстобрюхому поле битвы. Смотри — твой дом горит!

Змей оглянулся, он [Микола] ударил мечом — восемь голов отсек, девятая осталась, Змей укусил его за руку. Царева дочь перевязала руку шелковым платком. Стали снова биться, Микола последнюю голову отсек, Царева дочь умоляет:

— Пойдем, будешь царем, я с тобой не расстанусь.

Микола вырывается из объятий царевой дочери, идет к вдове. Царь ругает дочь:

— Почему не привела жениха, он уже в третий раз от смерти избавил!

— Что же я могу, — говорит дочь, — коли не идет.

Царь опять устраивает пиры-балы. Зовет туда всех калек, хромых, слепых. Идет туда и старуха-вдова. Спрашивает царь:

— Уже ли все [так], весь народ из города здесь? Есть ли здесь тот человек, который спас мою дочь от смерти?

Говорит вдова:

— У меня живет человек, который ходил три раза убивать змея и, уходя, каждый раз перерезал [ударом меча] кудря.

Царь посылает за Миколой две кареты. Ну, Миколу будят, и, наконец, он идет [к царю]. Царь с радостью его встречает, угощают его, едят, пьют, говорит царь:

— Возьми весь город и будь царем. Я уже стар и не могу больше быть царем, а такой человек, как ты, был бы тут на своем месте. Возьми мою дочь, все тебе отдам.

— Не возьму, из меня не царь. Жен у меня и прежних достаточно, — говорит Микола.

— Чем же я тебе отплачу? — спрашивает царь.

— Мне ничего не надо, кроме двух солдат, и если дашь им столько денег, сколько нам понадобится для обратного пути.

Царь дает солдат и денег, и так они отправляются дальше. Микола говорит солдатам:

— Теперь нам надо переплыть море. Но коли я, на одном бревне плавая, не утонул, то пойду-ка я попрошу у царя пять бревен, сделаем из них плот и на нем выйдем в море.

Так он и сделал. Взял бревна, сколотил плот, и пустились в плаванье. Плынут, плывут по морю, приплывают к родному берегу. Заходят ко вдове. Там ночуют. Наутро Микола велит одному из солдат купить три рогожных куля, три решета и три пары лаптей. Солдат приносит рогожи, они одеваются в эти рогожи, на головы надевают по решету, на ноги обувают лапти, идут к царю представлять [скоморошить]. Уходя, Микола-царевич спрашивает у вдовы:

— Жив ли еще Давид-царь?

— Жив еще, — вдова говорит, — но только он очень стар, даже двигаться не может.

— А где же царевы сыновья?

— Двое вернулись обратно со света, привезли трех девушек. Две девушки вышли замуж за царевых сыновей, а третья ходит в черном, ни за кого не идет, ждет Миколу-царевича.

С этими вестями отправились. Микола-царевич играет, а солдаты пляшут. Он видит мать и отца: постарели очень; его невеста ходит тут печальная, тоскливая. Уже подумал [Микола] — не признаться ли и начать вместе жить? Не успели ничего, как приплывает с моря корабль, причаливает к царскому берегу. Идет царь (старший сын теперь царем) смотреть, что за корабль пристал к берегу. Сукна разостланы от царева двора до берега. Прыгает царь в шляпку и поднимается на корабль. Когда стал подниматься из шляпки на корабль, ухватился руками за борт корабля. Два мальчика четырнадцати лет идут смотреть и спрашивают у матери:

— Хой, мать, можно нам подшутить над дядей, как он подшутил над нашим отцом?

— Шутите, — отвечает мать, — но только не так больно.

Мальчики отрубили дяде пальцы. Царь приходит в избу со стоном и руганью, говорит — так и так, «что я им за дядя, этакую шутку со мной сыграли».

Микола-царевич так вздрогнул, что даже инструмент выпал из рук. Уходит Петр-царевич смотреть. Идет по краю сукна, прыгает в шлюпку, так же хочет подняться на корабль. Опять приходят мальчики, спрашивают у матери:

— Подшутим ли, мать, над дядей, как он подшутил над отцом?

— Шутите, только не так больно.

Мальчики отрубили пальцы.

Приходит опять дядя со стоном и руганью: «Что я им за дядя!».

Микола-царевич видит, что время пришло, говорит солдатам:

— Этот корабль пришел за мной. Мне надо идти. Вы возьмите сукно себе на одежду.

Пошел. Идет по середине сукна. Из окон царева дома смотрят, говорят:

— Уж этому-то голову снесут.

А Микола-царевич встает на корабль и поехал со своими сыновьями и женой, да и сказка кончилась.

#### 40. HARAKKASTARINA

Čuarilla oli kolme tytärtä ta yksi poika. Čuari ta čuarin akka kuollah. Hyö kuolintauvissah šanotah pojallah, jotta «ela ota akkua, ta tyttärellä, jotta «ela ota ukkuo, kun on millä ely».

Heillä on yksi vanha ukko palvelija. Sillä oli nimi Uškošini Jušši, joka taluo ohjasi. Hyö elettih šiinä vähäni aikua, ta heillä oli myös palvelušväkie ta oli yksi kamaripiika. Piika rupei pölyjä pyyhkimäh lapsien kamarista ta avasi ikkunan. Ikkunasta lenši šisäh harakka ta muuttu mieheksi. No hyö šiinä hämmästy, jotta mikä nyt ihme, kun harakka lenši ta mieheksi muuttu. Niin i käšettih vierästä istumah, niinkun ainaki. Ja vieraš istuutu ta alko kos'suo morsiemekšeh vanhinta tytärtä. Velleh ta toiset sisaret šanottih, jotta kun vanhemmat kuoli, ni hyö ei käsetty männä naimisih. No mies šano tyttärellä, jotta «kun et tule miula ta että anna, nin šuanko olla vaikka yötä?». Hyö šanottih, jotta «kyllä šie yötä šuat olla, vain ei tytärtä anneta». Šyötettih, juotettih vieraš ta käšettih muata. Huomenekšella nousou piika, keittäy čajjut ta ajau tyttärie ta poikie šyömäh ta juomah. Mänöy vanhempua tytärtä kuččumah, ta šitä ei ole ni missä. Eikä ole vierašta. Harakka oli vienyn vanhemman tyttären. Nyt toiset tyttäret ta pojat piätti, jotta pölyjä pyyhkiessä ei šua koššana avata ikkunua.

Siitä päivästä, kuin vanhin tytär katosi, kulu vuosi. Piika tuas pikkusen lonkasi ikkunua, jotta šormi välh mänöy, kun rupei pölyjä pyyhkimäh. Harakka tuas lenti ravošta pirttih. Ja tuas muuttu mieheksi, niinku viimeki vuotena. Poika ta tyttäret hätävyttih, jotta tuas še tuli tytärtä viemäh. Harakka alko kos's'uo keškimmäistä tytärtä. Hyö vaššatah, jotta «ei anneta, kun meiltä viime vuonna harakka vei vanhemman tyttären». Niin vieraš pyrki yöksi. Hänet šyötettih, juotettih, muata häntä pantih. Piika nousou huomenekšella. Ei ole vierašta eikä keškimmäistä tytärtä. Piika noššattau kaiken talonväjen. No tytär on katon ta vieraš on katon. Heilä on paha mieleštä, kun sisär kato. Piikua varotetah, jotta «olkah vaikka kuin pakšu pöly, nin jotta vain et enämpyä avuais ikkunua». Sisär ta velli ollah pahoillah, kun hyö jättih kahen.

Vuuvun kuluttuo, kun on kaunis kešä, piika tuas rupieu pyyhkimäh pölyjä ta avuau ikkunua šen verran, jotta kärpäne ravošta mahtuu. Šiitä ravošta lentäy harakka ta muuttuu mieheksi. Še rupieu kos's'omah nuorinta tytärtä. Velli šiäntyy harakan piällä ta šanou, jotta «nyt šuat lähtie pois». Še ei lähten. (Velli luulou, jotta še on šama harakka, mikä vei muutki sisarukšet ta nyt tuli viimeštä ottamah). Vieraš ei lähten pois. Šiihi hän yöksi jäi. Piika nousou huomenekšella. Nuorin tytär on katon. Ne mäni männeššäh. Niitä ei kuulu, ei nävy. Velli jäi yksinäh ikävöimäh.

Muutamana päivänä še poika kävelöy kaikki čuarin huonehet ta palatsit, mitä on. Hän näköy yheššä huonehešša avuamen reijän. Avuanta ei mistänä löyvvä. Tiettäy šepäššä avuamen, jotta šaisi oven auki. Poika avuau oven. Šielä on aivan tyhjä pikkaraini huone. Ei ole muuta kuin pal'lahat šeinät ta pieni ikkuna. Poika ajattelou: «Mitä tuaštaki on lukittu, kun on aivan pal'lahat šeinät», — ta läksi pois šiitä huonehešta. Kaččou — oven piällä on pikkaraini tilkku. Ottau ta kohottau sitä tilkkupalua. Šielä on valokuva. Hän kun näki šen valokuvan, nin šilloin kuantu šelälläh. Še oli niin kaunis. Valokuvan toisella puolella oli kirjutettu: «Marija prekrasnoi devuška». Poika kaččo tarkkaseh šen valokuvan, jätti oven piällä paikallah šen. Šanou uškollisella palvelijalla:

— Miun šiitä Marija prekrasnoi devuškašta pitäy šuaha moršien.

Ukko šanou:

— Šie et sitä šua. Ennen tuattoš oli viittä viisahampi, kuutta kuulusampi, ta šekänä ei šuanun. Šiun ei ole ni yrittämistä.

No poika piätti, jotta kyllä hän lähtöy eččimäh sitä.

Niin hän nousi heposella šelkäh ta läksi ajamah. Ukon kanšša oli tehty šopimuš kahen totistajan aikana, jotta još čuarin poika ei tule kolmeh vuoteh takasin, niin ukko šuau olla kaiken omistaja.

Poika ajo päivän iltah ästi. On talo tien viereššä, kukon kannuksilla šeisou. Poika alko šanuo:

— Talosen-malošen, myöštayhy maloštauhu, matkamiehen yöšijaksi, viluhisen lämpimäksi.

Talo ei pyöri enämpi, pysähty paikalla. Poika mänöy taloh. Akka on pirtissä. Nenällä orresta piäliči tulihilie liikuttelou päčissä.

Akka šanou:

— Tulipahan venyähen vertä šyvväkšeni, juuvvakšeni, partahani pannakšeni!

Poika vaštuau:

— Mi on miušta šyötäväksi: kopra luita, lusikka verta. Mi on lihua, še on luina, mi on verta, še on vetenä.

— Onnakko olet nuorimman sisäreni poika, kun olet niin ošava pakinoissaš?

Poika vaštuau:

— Olen, tätiseni.

Akka kyšyy vierahalta šanomie.

— Mihin, poikan, olet mänöššä?

— Olen, tätiseni, eččimäššä šemmoista Marija prekrasnoita devuškuu moršiemekšeni.

Akka vaštuau:

— Tiijan. Paljo šinne on männehie, vähä pois tullehie.

Šyöttäy, juottau pojan. Pitäy hänet yötä. Heponi tallih pannah. Poika makuau yön. Täti noššattau murkinalla pojan. Šanou täti pojalla:

— Mie, poikan, annan šiula teräškapie-heposen, jätä omaš tähä. Še teräškapie-heponi šiun šuattau.

Akka antau pojalla heposen, millä on kynnet niinkun kissalla. Šanou:

— Kun täštä nyt päivän ajat, niin tulou kallivo, viittäkymmentä šyltä korkie, niinkun šeinä noušou. Lyö hevoista ruošalla, niin se hyppyäy ta piäšöy vuaran piällä.

Poika ajo päivän iltah ästi. Tuli šemmoni kallivo. Poika kaččou — kauhie on kallivo, mitenhan tuonne piäšöy? Löi ruošalla poika hevoista. Heponi hyppäsi, alko krapaštua ta niin še piäsi šinne ylöš kallivon piällä.

Kaččou — šiuri talo on, vaškini tarha. Kolme piikua pyyhkiy kolikoilla talon pihua. Piijat kačahettih ta šanotah:

— No mitä ihmettä nyt tuli, kun ei ole ni koša ketänä tiälä käynyn?

Piijat ruvettih huutamah:

— Hoi emäntä, velleš tuli!

Šielä oli emäntänä pojan vanhin sisär. Harakka hänen toi tänne. Emäntä šanou:

— Miun vellen luita ei tänne ole korppi kantan.

Kačahtau ikkunašta:

— Miun velli! — Ta niin ikkunašta hyppyä kohaštaš vellelläh  
vaštah:

— Miten šie, vellen, tänne piäsit, mihi vain linnut lennetäh?

Poika vaštuau sisärelläh:

— Piäsijä piäsöy, kun lähtöy eččimäh.

Sisär viey vellen pirttih. Šyöttäy, juottau. Poika kyšyy:

— A missä harakka on?

Sisär vaštuau:

— Alailmoilla lentelömäššä.

Juuri šiih šamah pakinah lentäy harakka ta muuttuu miehekši.  
Harakka šanou:

— Terveh, mistä piäsit ta millä piäsit tänne?.. Nyt šiun pitäy  
olla tiälä kolme kuukautta meilä vierahana.

Poika vaštuau harakalla:

— En jouva mie niin pitältä olemah. Olen luatin kolmen vuuv-  
ven šopimukšen. Još viivyn, nin miulta talo mänöy.

Harakka šanou:

— Mitä vaššen olet lähten niin vähäksi aikua?

Poika vaštuau harakalla:

— Sisärijäni eččimäh, ta toini asie: Marija prekrasnoita de-  
vuškua moršiemekšeni šuahuštamah.

Harakka remahti nakramah. Kaikki häntä halkei harakalta.

— Meitä on, — harakka šanou, — kolme velleštä. Kaikki olemma  
šiivinlentäjät, a šie, jaloinjokšija, elä ni yritä, kun myö šiivin-  
lentäjät emmä ole šuanun.

No kolme kuukautta kulu. Hauška oli olla šielä, jotta poika  
ei luullun vielä niin paljon aikua mänövänkänä. Harakka šanou  
pojalla:

— No nyt mäne, jo aikaš mäni.

Poika jättäy hyvästit harakka-vävyllä ta sisärelläh. Harakka  
šanou, jotta «nyt tulou vaštah šata šyltä šuuri kallivo. Nin kun  
voinet šen yli piäššä, šielä on keškimmäini sisäreš».

Ajo päivän tuaš poika iltah šuahe. Piäsi šiihe kallivon viereh.  
Kaččou poika: «Kauhie on kallivo, mitein voinen piäššä?». Jo he-  
vostah poika tuaš ruošalla löi. Še alko noušša krapaštua. Nousi,  
nousi krapašti. Ei enämpyä kynnet pisy, kirpuou. No piäsi kum-  
minki kallivon piällä.

Kuuši piikua pyyhkiy pihua. Hopieni on talo, hopieset kaikki  
portahat. Kačahettih piijat tuakšeh päin ta huuvetah:

— Emäntä, velleš tuli!

Emäntä šanou:

— Ei ni korppi ole kantan miun vellen luita tänne.

Hiän kaččomah: ta velli i olil Hyppyä kohaštaš ikkunašta  
vellelläh kaklah:

— A millä, veikkon, piäsit tänne?

Velli šanou, jotta «tāti anto miula šemmosen heposen, jotta  
še on piäššyn näijen kallivojen piällä».

Sisär viey velleh pirttih, šyöttäy, juottau. Poika kyšyy:

— Missä harakka on?

Sisär šanou:

— Alailmoilla lentelöy.

Harakka lenti šiih pakinah pirttih ta muuttu mieheksi. Kätelöy vierašta. Harakka kyšyy:

— Mitein olet tänne piäššyn?.. Nyt šiun pitäy olla meilä vierahana kuuši kuukautta.

Cuarin poika šanou:

— En voi olla niin kauvan. Miula on šopimuš ei olla enämpy kolmie vuotta.

Harakka kyšyy:

— Miksi läksit niin vähäksi aikua?

Poika vaštuau:

— Muarie prekrasnoita devuškaa moršiemekšeni eččimäh.

Harakka remahti nakramah, kaikki häntä halkei. Harakka šanou:

— Mie šiivillä olen lentän, en ole šuanun. A šie, tyhmä poika, elä ni yritä.

Poika ei ni iče tiijä, kuin huvašša mänöy aika. Mäni kuuši kuukautta. Harakka šanou:

— Nyt, niälämieš, šuat lähtie, jo on kuuši kuukautta kulun. Nyt kun lähet ajamah, tulou vaštah šatua viittäkymmentä šyltä korkie kallivo. Šielä on kultani talo ja šiinä emäntänä šiun nuorin sisär.

Cuarin poika läksi ajamah. Ajo päivän iltah ašti. Piäsi šen kallivon viereh. Kaččelou, kummaštelou šiinä: «Mitein voinen piäššä tuon kallivon piällä, kun on puolitaivahašša korkevuš». Löi poika ruošalla hevoistah. Se läksi krapaštamah šinne kallivon piällä. Ei voi enämpi heponi noušša. Kaikki jo šen kynnet katkiele. Vain piäššöy še kumminki kallivon piällä.

Yheksän piükua pihua pyyhkiy, kultani talo on, kultaset portahat.

Piijat kaččomah rapauhuttih ta karjutah:

— Hoi emäntä, velleš tuli!

Emäntä šanou:

— Ei miun vellen luita ni korppi tänne kannu.

Kaččautu ikkunah—niñ velli on! Hyppyäy šuorah ikkunašta vellelläh kaklah ta itköy. Šanou sisär:

— Millä koštilla nyt, veikkon, piäsit tänne?

Poika šanou:

— Tāti anto šemmosen hepošen, jotta šillä mie tulin.

Viey pirttih sisär velleh. Šyöttäy ta juottau. Poika kyšyy, missä harakka-vävy. Sisär vaštuau:

— Alailmoilla lentelöy.

Ei keritä pakinan loppuh, kun tuaš harakka viuhahtau pirttih ta muuttuu mieheksi.

— Vieraško on, — šanou, — meilä tullun? — Kättelöy ta kyšyy: Miten piäsit ta millä?

Harakka šanou, jotta «siun pitäy olla vierahana meilä yheksän kuukautta».

Poika šanou:

— En mie jouvva olemah niin kauan. Miulta mänöy koko talo ta valtakunta. Läksin sisärtäni eččimäh ta Marija prekrasnoi devuškaa moršiemekšeni kos'somah.

Harakka remahtau nakramah, ta häntä häneltä halkei.

Niin pijan kulu yheksän kuukautta, jotta poika ei ni huomannun, kuin ruttoh še mäni. Harakka šanou:

— Nyt mäne, jo kulu yheksän kuukautta.

Poika lähtöy, hyvästi jättelöy. Lähtiessä šanotah:

— Et šie Marija prekrasnoi devuškaa šua, kun emmä myö, šiivientäjät, ole šuanun.

Poika ajo päivän iltah ašti. Tien viereššä on rautani talo. Mänöy taloh. Akka on šuuri, kielelläh leipyä luou kiukuah. (On akalla enämpi šuurutta kuin meilä!).

— Tuli, — šanou, — venyähän verta šyvväkšeni, juuvvakšeni, partahani pannakšeni.

— Elä, tätisen. Ei miušša ole šyötävvyä eikä juotavua.

— Onnako olet nuoremman sisäreni poika, kun olet niin ošava pakinoissaš.

Akka šyöttäy, juottau pojan, kyšyy kuulumiset:

— Minne, poikan, matkuat?

Poika šanou:

— Marija prekrasnoi devuškaa mänen moršiemekšeni eččimäh. Etkö tiijä, miten šen šaisin?

Akka šanou:

— Ei ole linnut piäšty Marija prekrasnoin devuškan luo. Miten šie, ukko rukka, piäšset. Nyt kun päivän ajat, on päivähyksen piäššä noita-akka. Šie rupie šillä töihe. Hiän panou heposie paimentamah. Elä šano, jotta šie mänet Marija prekrasnoi devuškaa eččimäh. Šano, jotta työtä-ruokua eččimäh läksin. Hiän ottau šiut heposien paimenekše koko kešäkše. Šillä akalla on hyvin parahaiska heponi. Još hiän šiula palkkua tariččou, nin elä šuoššu mihinkänä muuhu, kuin šiihe heposeh. Še šiula ohjeita antau, miten šaisit Marija prekrasnoi devuškan moršiemekši.

Niin hiän läksi šiitä tätih luota ajamah. Niin tuli talo, kun ajo päivän tuaš. Mänöy taloh. Talošša on vihasen näköni emäntä. Kyšyy akka:

— Minne matkuat, minne matan piet, prihaččuine?

— Läksin työtä-ruokua eččimäh.

Akka šanou:

— Miula on työtä ta ruokua, rupie heposie paimentamah. Miula on kolmešatua hevoista.



Poika rupei šihe paimeneksi. Hänellä annettih kolmešatua hevoista ta käšettih kolme kuukautta mečäššä paimentua. Poika hoiti niinkun täti oli neuvon, pahua hevoista hyvin. Kolmen kuukauven piäštä poika tulou taloh. Heposet oli oikein lihavat, kaunehet ta hyvin pietyt. Paimen on kolme päivyä vielä talošša. Emäntä tariččou palkkua. Šanou:

— Ota mitä tahot, ota kultua, ota hopeita.

Poika šanou:

— Rahua miula ei pie. Anna miula pahačaini heponi.

Akka šanou:

— Šitä hevoista mie en anna, ennen annan kaikki kolmešatua hevoista, ennen kuin šen yhen.

Ta niin poika pissälti lakkih piähä:

— Et anna, nin pie kaikki!

Akka juokšou jälkeh:

— Ota, ota, roisto, še heponi!

Poika otti pahan heposen. Akka šanou:

— Tulou še kuitenkin jälelläh.

Heponi rupieu pakajamah, šanou:

— Šie pie lujašti šuiččie, jotta ei hiän šua jälelläh milma.

Poika läksi ajamah, ei antan šuiččie akalla. Ajettih kotvan.

Tuli linna. Heponi pakajau, šanou:

— Täššä, tällä linnalla on rajaš uutari. Kyšy rajaš uutarilta, jotta šuauko hiän neuluo šemmosen kotkan, mikä lentäy šinne, mihi ajattelet. Nin še kotka mänöy Marija prekrasnoi devuškan luokše.

Poika jättäy heposen peltojen perillä, iče lähtöy kaupunkilla.

Poika mänöy šihi rajaš uutariih. Šanou š uutarilla:

— Etkö ošua šemmoista kotkua neuluo, millä henki tulou, ta mänöy šinne, minne iče ajattelet?

Š uutari šanou:

— Šuatan mie, olen mie neulon šemmosie. Vain še makšau nijän — kakšitoista rupl'ua. Kahen netälin piäštä tule käymäh.

Poika ei voinun olla kun kakši päivyä, ei voinun enämpi keštyä ta mäni š uutariih. Š uutari šanoki, jotta valmis on. Poika makšo monta tuhatta rupl'ua, vaikka š uutari pyyši kahtatoista. Poika kun niin hyvin makšo, niin š uutari puhalti kotkah henken. Š uutari šanou pojalla:

— Ajattele nyt, mihi pitäis männä.

Poika istuutu kotkalla šelkäh ta ajatteli, jotta «nyt Marija prekrasnoi devuškan luokše lennä».

Kotka lenti kolmiäkymmentä kilometrie pitkän kallivon šiämeš. Siellä oli šuuret kaunehet-huonehet. Avautu ovet. Čuarin poika mäni šisällä. Viimesen oven kun avasi, nin šielä še neičyt istu. Še oli niin kaunis, jotta poika pyörty kynnyšellä. Nahkašta läpi

lihat näky neičöyöllä, lihašta läpi luut, luista läpi ytimet — niin oli kaunis. Poika tointu. Neičyt otti hänet hyvin vaštah, kyšy:

— Ken olet ta mistä olet?

Poika šanou, jotta «šilma olen eččin niin pitän aikua».

Tytär šanou:

— Täššä olen: mie šiun, sie miun.

Marija prekrasnoi devuška pani pojan erityiseh huoneheh, missä ei ni ken käynyn. Šano palvelijalla, jotta «tuo ruokua kakši vertua enämpi, kuin ennen. Mie niin paljo šyön». Eikä šano, jotta hänellä on šulhani. Šitä ihmetelläh, jotta mintäh niin paljon Marija prekrasnoi devuška šyöy.

Marija prekrasnoi devuška oli čuarin tytär. Häntä ei voitu ihmisien šeuroissa pityä, sillä hiän oli niin kaunis, jotta monet hänen kaunehuoštah kuoli.

Niin še poika oli šielä kallivošša, min verran lienöy ollunki. Hauskašti šielä kulu aika. Marija prekrasnoi devuška šanou:

— Mäne nyt pois. Jo on aika lähtie, muiten taloš mänöy. Mie tulen jälkeh, konša aika tulou.

Poika nousi kotkalla šelkäh, jätti hyväšti Marija prekrasnoi devuškalla. Lenti kotkalla omah valtakuntah, omilla čuarin pihoilla. Šielä oli pihalla jo še paha heponi. Marija prekrasnoi devuška oli jo vuottamašša pojan kanšša. Hiän oli tullun vielä rutompah sillä heposella, kuin čuarin poika kotkalla.

Uškollini Jušši tulou vaštah ottamah. Ei ollun enämpyä kuin kolme minuuttie, kun šopimuš olis männyn umpeh, ta talo ta koko valtakunta olis männyn. Nyt čuarin poika šai oman talon ta valtakunnan, šekä Marija prekrasnoi devuškan, ta vielä pojan ta heposen. Taloh jäi vielä uškollini Jušši, ta niin eletäh tänäki piänä, kun ei liene kuoltu.

#### 40. СКАЗКА О СОРОКАХ

У царя было три дочери и один сын. Царь и царева жена умирают. Они перед смертью говорят сыну, что «не бери жены», и дочери, что «не бери мужа, коли есть на что жить».

У них был один старик-слуга. Его звали верный Юсси, он домом управлял. Жили они тут немного времени, и была у них еще прислуга и одна горничная. Горничная стала вытирать пыль в детской комнате и открыла окно. В окно влетела сорока и обернулась мужчиной. Ну, они тут растерялись, мол, что это за чудо, сорока прилетела и мужчиной обернулась. Пригласили гостя сесть, как полагается. И гость сел и начал сватать старшую дочь. Ее брат и другие сестры сказали, что когда родители умирали, то не велели выходить замуж. Ну, мужчина говорит, что «раз не выходишь за меня и не выдаете [замуж], то не могу ли я хоть переночевать здесь?». Они сказали, что «переночевать, конечно, можешь, только девушку не дадим». Накормили, напоили гостя

и велели спать ложиться. Утром служанка встает, варит чай и будит сестер и брата есть да пить. Пошла старшую сестру звать, а ее нет нигде. И гостя нет. Сорока унесла старшую сестру. Ну, другие сестры и брат решили, что когда будут вытирать пыль, никогда нельзя открывать окна.

С того дня, как старшая сестра пропала, прошел год. Служанка опять чуть-чуть приоткрыла окно, настолько, что палец можно просунуть, когда стала пыль вытирать. Сорока опять влетела в ту щель. И опять обернулась мужчиной, как и в прошлый год. Парень и девушки испугались, что опять он пришел за одной из сестер. Сорока стала сватать среднюю дочь. Они отвечают, что «не выдадим, потому что в прошлом году у нас сорока утащила старшую дочь». Гость попросился на ночь. Его накормили-напоили, спать уложили. Служанка встает утром: нет ни гостя, ни средней сестры. Служанка поднимает весь дом на ноги. Ну, девушка исчезла и гость исчез. Им горько оттого, что сестра пропала. Предупреждают служанку, что какой бы толстый слой пыли ни был, но чтобы больше ни в коем случае не открывала окна. Сестра и брат опечалены, оставшись вдвоем.

Через год, когда было прекрасное лето, служанка опять стала вытирать пыль и приоткрыла окно настолько, что муха лишь могла в щель пролететь. В эту щель прилетает сорока и оборачивается мужчиной. Он начинает сватать младшую сестру. Брат рассердился на сороку и говорит, что «теперь можешь убираться». Тот не ушел. (Брат думает, что это та же сорока, которая унесла двух сестер, и теперь прилетела за последней). Гость не ушел. Остался тут ночевать. Служанка встает утром: младшая сестра пропала. Их след простыл, не слышно, не видно. Брат остался один скучать.

В один день обходит этот парень все царские комнаты и дворцы, чтобы узнать, что там есть. Видит он в одной двери замочную скважину, а ключа нигде не находит. Велит кузнецу сделать ключ, чтобы дверь открыть. Парень открывает дверь. Там совсем пустая маленькая комната. Нет ничего, кроме голых стен и маленького окошка. Парень думает: «И для чего запирать, коли одни голые стены?» — и пошел к выходу. Смотрит — над дверью маленький доскут. Взял и приподнял этот доскут. Под ним фотография. Он когда увидел эту фотографию, тут же упал навзничь. Такая там была красавица. На обороте фотографии было написано: «*Мария-прекрасная девушка*». Парень внимательно рассмотрел девушку, оставил [карточку] на месте над дверью. Говорит черному слуге:

— *Мария-прекрасная девушка* должна стать моей женой.

Старик говорит:

— Не получишь ты ее. Был прежде твой отец в пять раз умнее, и шесть раз знаменитее тебя, и даже он не добился ее. Тебе нечего и пытаться.

Ну, а парень решил, что все же он поедет искать ее. Он сел на коня и поехал. Со стариком был сделан договор при двух свидетелях, что если царев сын не вернется через три года, то старик будет владельцем всего.

Парень ехал целый день до вечера. Стоит дом у дороги, на петушиных шпорах стоит.

Парень начал говорить:

— Избушка-избушка, повернись-остановись, путнику заночевать, озябшему обогреться!

Дом не вертится больше, тут же остановился. Парень заходит в дом. В избе старуха. Носом через грядку \* горящие угли в печи мешает. Старуха говорит:

— Пришла-таки русская кровь, чтобы мне поесть-попить, в бороду класть!

Парень отвечает:

— Какая из меня еда: горсть костей, ложка крови. Сколько тела — то все кости, сколько крови — то все водица.

— Да ты никак сын моей младшей сестры, уж больно складно говоришь?

Парень отвечает:

— Да, тетенька.

Старуха спрашивает гостя о новостях.

— Куда, сынок, едешь?

— Иду, тетенька, искать *Марию-прекрасную* девушку себе в жены.

Старуха отвечает:

— Знаю. Много туда ушедших, мало возвратившихся.

Кормит-пойт парня, на ночь оставляет. Лошадь ставят в конюшню. Парень ночь поспал. Тетка будит парня завтракать. Говорит тетка парню:

— Я, сынок, дам тебе коня-стальное копыто, оставь своего здесь. Этот конь-стальное копыто тебя доставит.

Старуха дает парню коня, у которого когти, как у кошки.

— Как проедешь день — встретится тебе скала отвесная, высотой пятьдесят саженей, как стена поднимается. Ударь коня хлыстом, и он прыгнет на ту скалу.

Парень ехал целый день до вечера. Встретилась та скала. Парень смотрит — страшная скала, как на нее подняться? Ударил парень коня хлыстом. Конь прыгнул, начал карабкаться и так взобрался на скалу.

Смотрит [парень] — стоит большой дом, медная ограда. Три служанки подметают голиками двор. Служанки взглянули и говорят:

— Что за чудо приключилось? Никто к нам никогда не заезжал!

Служанки стали кричать:

— Эй, хозяйка, брат твой приехал!

Хозяйкой там была старшая сестра парня. Сорока ее сюда принесла. Хозяйка говорит:

— Моего брата костей ворон сюда не занесет.

Взглянула в окно:

— Мой брат! — И так прямо в окно и бросилась брата встречать.

— Как ты, братец, сюда попал, куда только птицы прилетают?

Парень отвечает сестре:

— Желаящий попадет, когда пойдет искать.

Сестра проводит брата в избу, кормит, поит. Парень спрашивает:

— А где же сорока?

Сестра отвечает:

— В нижнем мире летает.

Как раз при этом разговоре прилетает сорока и превращается в мужчину.

Сорока говорит:

— Здравствуй, как ты попал и на чем ты попал сюда? Теперь тебе надо погостить здесь у нас три месяца.

Парень отвечает сороке:

— Не могу я так долго оставаться. Я сделал договор на три года. Если задержусь, то дом потеряю.

Сорока говорит:

— Зачем поехал на такой короткий срок?

Парень отвечает сороке:

— Сестер искать, и другое дело: *Марию-прекрасную девушку* в жены добывать.

Сорока расхохоталась, даже хвост надвое рассекся.

— Нас, — сорока говорит, три брата, все на крыльях летающие. А ты, на ногах бегающий, даже не пытайся, рав мы, на крыльях летающие, не смогли добыть.

Ну, три месяца прошли. Так там было весело, что парень даже не думал, что так много времени прошло. Сорока говорит парню:

Ну, теперь иди, уже время твое прошло.

Парень прощается с зятем-сорокой и с сестрой. Сорока говорит, что «теперь встретится скала в сто саженой высоты; если сумеешь через нее перебраться, то там живет средняя сестра».

Ехал опять парень целый день до вечера. Доехал до той скалы. Смотрит парень: «Страшная скала, смогу ли подняться?». Хлестнул парень своего коня кнутом. Начал конь карабкаться вверх. Поднимался, поднимался, карабкаясь. Уже больше когти не держат, падает. Но все же вскарабкался на скалу.

Там шесть служанок подметают двор. Дом серебряный, даже ступеньки серебряные. Оглянулись служанки и кричат:

— Хозяйка, твой брат приехал!

Хозяйка говорит:

— Даже ворон не принесет костей моего брата сюда.

Посмотрела она — так и есть, брат! Прыгает прямо из окна брату на шею:

— Как же, братец, ты сюда попал?

Брат говорит, что «тетка дала мне такого коня, который забрался на эти скалы». Сестра ведет брата в избу, кормит-поит. Парень спрашивает:

— Где сорока?

Сестра говорит:

— В нижнем мире летает.

При этих словах прилетела сорока в избу и обернулась мужчиной. Здоровается с гостем за руку. Сорока спрашивает:

— Как ты сюда попал? Теперь тебе придется у нас погостить шесть месяцев.

Царев сын говорит:

— Не могу я так долго. У меня договор на три года — больше я не могу пробыть.

Сорока спрашивает:

— Почему поехал на такой короткий срок?

Парень отвечает:

— Поехал *Марию-прекрасную девушку* в жены себе искать.

Сорока как расхохочется, даже хвост надвое рассекся. Сорока говорит:

— Я на крыльях летаю, и то не сосватал ее. А ты, глупый, и не пытайся.

Парень даже не замечает, как быстро проходит время. Прошли шесть месяцев. Сорока говорит:

— Теперь, шурин, можешь ехать, уже шесть месяцев прошло. Теперь как поедешь, встретится скала высотой в сто пятьдесят саженей. Там золотой дом, и в нем за хозяйку твоя младшая сестра.

Царев сын поехал дальше. Проехал день до вечера. Добрался до той скалы. Смотрит и удивляется: «Смогу ли забраться на эту скалу, до половины неба высота».

Ударил парень кнутом своего коня. Тот стал карабкаться на скалу. Не может больше конь подниматься. Уже когти у него ломаются, но все же кое-как поднимается он на скалу.

Там девять служанок двор подметают, дом золотой, золотые ступеньки. Служанки посмотрели и кричат:

— Эй, хозяйка, твой брат приехал!

Хозяйка говорит:

— Даже ворон не принесет сюда костей моего брата.

Взглянула в окно — а там брат! Прыгает прямо из окна брату на шею и плачет. Говорит сестра:

— Каким путем, братец, ты сюда добрался?

Парень говорит:

— Тетка дала такого коня, на нем я приехал.

Уводит сестра брата в избу. Кормит и поит. Парень спрашивает, где зять-сорока. Сестра отвечает:

— В нижнем мире летает.

Не успели поговорить, как опять прилетает сорока в избу и оборачивается мужчиной.

— К нам гость, — говорит, — приехал? — Здоровается за руку и спрашивает: Как и на чем ты сюда попал?

Сорока говорит, что «тебе надо погостить у нас девять месяцев».

Парень говорит:

— Не могу я так долго пробыть. Я потеряю весь дом и царство. Поехал я сестру искать и *Марию-прекрасную девушку* сватать.

Сорока как расхохочется, даже хвост у нее надвое рассекся. Так быстро прошли девять месяцев, что парень даже не заметил, как скоро срок прошел. Сорока говорит:

— Теперь иди, уже прошло девять месяцев.

Парень отправляется, прощается. Перед уходом ему говорят:

— Не сосватать тебе *Марию-прекрасную девушку*, коли мы, на крыльях летающие, не смогли сосватать.

Парень ехал целый день до вечера. Возле дороги стоит железный дом. Заходит в дом. Там огромная старуха, языком хлеба и печь сажает. (Побольше нас с тобой старуха-то!).

— Пришла, говорит, — русская кровь, чтобы мне поесть-попить, в бороду класть.

— Не надо, тетенька. Во мне нечего ни есть, ни пить.

— Ты хоть не сын ли моей младшей сестры, уж очень остер на язык?

Старуха кормит-поит парня, расспрашивает новости:

— Куда, сынок, едешь?

Парень говорит:

— Еду *Марию-прекрасную девушку* себе в жены искать. Не опасен ли ты, как ее найти?

Старуха говорит:

Даже птицы не проникали к *Марии-прекрасной девушке*. Как-то ты, бедняга, попадешь? Теперь как день проедешь, есть за день пути старуха-колдунья. Ты наймись к ней на работу. Она платит тебе пасти лошадей. Не говори, что ты едешь искать *Марию-прекрасную девушку*. Скажи, что пошел искать работы и еды. Она возьмет тебя пасти лошадей на целое лето. У этой старухи есть захудалая лошадка. Если она будет предлагать тебе плату, то не соглашайся брать ничего, кроме этой лошади. Она тебе даст совет, как сосватать *Марию-прекрасную девушку*.

Так он поехал от тетки дальше. Проехал день, показался дом. Заходит в дом. В доме злая на вид хозяйка. Спрашивает старуха:

— Куда едешь, куда путь держишь, паренек?

— Поехал работы и еды искать.

Старуха говорит:

— У меня есть работа и еда, оставайся пасти лошадей. У меня триста лошадей.

Парень остался тут пастухом. Дали ему триста лошадей и велели пасти их три месяца в лесу. Парень, как посоветовала ему тетка, ухаживал за плохой лошадкой. Через три месяца парень возвращается в дом. Кони были в теле, красивые и откормленные. Пастух пробыл еще три дня в доме. Хозяйка предлагает плату. Говорит:

— Возьми что хочешь, возьми золота, возьми серебра.

Парень говорит:

— Денег мне не надо. Дай мне плохонькую лошадку.

Старуха говорит:

— Той лошади я не отдам, скорее отдам все триста лошадей, чем эту одну.

Тут парень нахлобучил шапку:

— Не отдашь, так пусть все твои останутся!

Старуха бежит за ним:

— Бери, бери, негодяй, ту лошады!

Парень взял плохую лошаденку. Старуха говорит:

— Все равно она вернется обратно.

Лошадь начинает разговаривать, говорит:

— Ты держи покрепче уздечку, чтобы старуха не смогла вернуть меня обратно.

Парень поехал, не отдал уздечку старухе. Ехали долго. Встретился город. Лошадь говорит:

— Здесь, в этом городе живет сапожник. Спроси у сапожника, что сумеет ли он сшить такого орла, который летит туда, куда задумаешь. Этот-то орел и долетит до *Марии-прекрасной* девушки.

Парень оставляет лошадь на краю поля, сам идет в город. Приходит парень к тому сапожнику. Говорит сапожнику:

— Сможешь ли ты сшить такого орла, который был бы живой и летел бы туда, куда сам задумаешь?

Сапожник говорит:

— Смогу я, я таких шивал. Только это дорого стоит — двенадцать рублей. Через две недели приходи.

Парень не мог ждать больше двух дней, не мог больше терпеть и пошел к сапожнику. Сапожник и говорит, что уже готово. Парень заплатил много тысяч, хотя сапожник просил двенадцать рублей. За то, что парень так хорошо заплатил, сапожник вдунул в орла дух. Сапожник говорит парню:

— Подумай теперь, куда надо лететь.

Парень сел на орла и подумал, что «теперь лети к *Марии-прекрасной* девушке».

Орел влетел внутрь скалы длиной в тридцать километров. Там были большие, красивые покои. Двери раскрылись. Царев сын



вошел туда. Последнюю дверь как открыл, тут эта девушка и сидела. Она была такая красивая, что парень на пороге упал без памяти. Сквозь кожу у девушки мясо просвечивало, сквозь мясо — кости, сквозь кости мозг виднелся — такая была красивая. Парень пришел в себя. Девушка встретила его хорошо, спросила:

— Кто ты и откуда?

Парень говорит, что «тебя так долго искал».

Девушка говорит:

— Я тут; я твоя, ты мой.

*Мария-прекрасная девушка* спрятала парня в особой комнате, куда никто не входил. Сказала прислуге, что «приноси еды в два раза больше, чем раньше. Я стала так много есть». А не говорит, что у нее жених. *Мария-прекрасная девушка* была дочь царя. Она не могла жить с людьми, потому что была такая красивая, что многие из-за ее красоты умирали.

Удивляются, что почему *Мария-прекрасная девушка* стала так много есть. Так этот парень жил там в скале, сам не знал сколько времени. Весело проходило там время. *Мария-прекрасная девушка* говорит:

— Теперь уезжай. Уже пора отправляться, иначе дом потеряешь. Я приеду следом, когда время настанет.

Парень сел на орла, попрощался с *Марией-прекрасной девушкой*. Прилетел на орле в свое государство, на свой царский двор. Там во дворе стояла уже та плохая лошаденка. *Мария-прекрасная девушка* уже ждала его с сыном. Она на лошади прискакала скорее, чем царев сын на орле.

Верный Юсси идет их встречать. Осталось всего три минуты, как истек бы срок договора и дом и все государство бы пропали. Царев сын получил дом и государство, *Марию-прекрасную девушку* да еще сына и лошадь. В доме остался еще верный Юсси, и так живут они и по сей день, если не умерли.

#### 41. KULTAKALAN STARINA

Eletäh ukko ta akka. Heilä ei ole ni ketä, kun kahen vain eletäh. Keyhänä hyö eletäh. Se ukkokonna on niin laiska, jotta ei kehtua ni mitä luatie. Akka vain emättäy ukkuo:

— Sie et kehtua luatie et ni mitä. Sentäh meilä ei ni ole ni mitä.

Tai karjuu ukolla:

— Mäne hot'a kalua onkita iltaseksi, kun et ni mitä kehtua luatie. Hot' šen hyvän luatisit.

Ukko lähtöy kalalla. Onkittau, onkittau, ei ni mitä kun šua.

Tai šopottau ičelläh: «No nyt še tuas akalla on karjumista. Ei še ušo, jotta en mie šuanun en ni mitä. Šanou, jotta tuas mie makasin hot' min puun alla. Šuaha hot' kuin pieni kala pitäis».

Tai šuau ukko viimeksi kalan. Kun kačahtau, niin kala on kultani, tai šanou še kala ihmisen kielellä:

— Piäššä pois milma veteh, ukko, niin mie luajin šiula äijän hyvyä. Kun tulet täh kohtah rannalla, kumarrat ta šanot: «Kuule, kultakalasseni», niin mie heti šiuh ni tulen.

Ukko piästäy šen kalan tai lähtöy kotih. Akka i šanou:

— Missä on kalat? Tuaš, prot'uaka, šielä makasit, et kehannut onkittua.

— Šain mie, akka, kalan. Šuuri oli še kala ta kultani. Pyrki še kala jalelläh järveh, ta mie otin ta lasin šen veteh.

— Mintähpä, prot'uaka, šenki lasit etkä voinut hot' šitä tuuvva keitokši?

— Ka hiän lupasi äijä hyviä luatie meilä.

— No kun niin ollou, niin mänei nyt kyšy siltä apuo. Tahon, jotta olis meilä yllin-kyllin šyömistä. Mäne i šua.

Ukko mänöy rannalla, kumartau tai šanou:

— Kuule, kultakalasseni!

Tulou kultakalani tai kyšyy:

— No mi šiula, ukko, on tullut?

— Akka šanou, jotta olis meilä šyvvvä kaikkie, mitä vain šuu šuvaččou.

— No mäne kotih, tulou teilä šyömistä yllin-kyllin.

Ukko tulou kotih. Kun on stolalla kaikkie, mitä vain tällä muailmalla on, a akka jo stolan piäššä hyvillä mielin šyöy. Eletäh huomeneh. Akka jo i šanou tuaš:

— No nyt pitäy šuaha, jotta koti meilä olis parempi kun čuarilla.

Ukko mänöy rannalla, tuaš ni kumartau šillä kalalla:

— Kuule, kultakalasseni!

Kala tuas ni tulou ukon luo:

— No mitä šiula on tullut nyt, ukko? Mitä šiula nyt pitäy?

Ukko šanou kalalla:

— Ka kun akka sahhotti talon paremman, kun ičelläh čuarilla. Starikka tulou kotih. Vanhakši on starikka ta harmuakši tullun, a tuommoista taluo ei ole vielä nähny.

Akka hyvillä mielin kävelöy. Ukko niise joka paikan kaččelou tai ajattelou: «Nyt häntä pätöy eliä tai kuolla täh, kun tämä talo on näin hyvä ta kaunis».

— Mäne nyt kalaš luo ta kyšy hyvie vuateita: kost'amoja, tuf-  
lija, šuappuata.

Mänöy ukko järven rannalla ta tuaš ni kumartau šillä kalalla:

— Kuule, kultakalasseni!

— Mitäpä nyt pitäy?

— Nyt kun akka sahhotti kaikenmoista hyviä vuatetta: kost'amoja, tufflija, paikkoja, šuappuata.

— No mäne kotih, tulou teilä vuattiet paremmat kun čuarilla.

Tulou ukko kotih, kun on tullun vuatetta niin äijä ta niin hyviä, jotta hyö ei ole i kuultu ei jotta nähty. Eletäh tuas huomeh, tai šanou akka ukolla:

— No pitäy nyt meilä kultaokorotta ta kolme kultapetrua. Kaččosima hot' niit' tässä, kun ei ole mitä ruatua meilä.

Ukko i vaštuau akalla:

— Äijä šie, akka, rupeit sahhottimah, jo nyt myö näillä tulisima toimeh, vielä enämpi kun toimeh.

— Mäne, mäne ta luaji mitä šiula käsetäh!

Piti ukon lähtie tuas rannalla. Kumartau ukko tuas kalalla:

— Kuule, kultakalani!

Tai tulou kala:

— No mitäpä nyt pitäy?

— Ka sahhotti nyt akka kultaokorotat kultapaččahijen kera ta kolme kultapetrua ikraitais okorotašša.

— No mäne ukko kotih. Tulou teilä kultaokorotta ta kulta-petrat.

Tulou ukko kotih. Ne petrat kun niin kisatah kultaokorotašša — kaikki kultakarvat läikytäh.

Eletäh tuas. Heilä nyt on oikein hyvä elämä. Akka tuas ni sanou:

— Mäne kalaš luo ta šano, jotta antais kala miula helmankantajan, jotta ei veteliivyttäis nämä uporkat muata myöti.

— Ole jo nyt, akka, vähemmällä!

— Mäne, mäne ta luaji mitä šiula käsetäh!

Mänöy ukko järven rannalla, kumartelou:

— Kuule, kultakalasi!

Kala tulou:

— No mitäpä nyt vielä pitäy teilä?

— Ka nyt sahhotti akka helmojen kantajan, jotta ne sulkku-uporkat ei veteliivyttäis muata myöti.

Kala kun niin hyppiäy, kaikki vesi noušou ylähäksi:

— No mäne, ukko, kotihisseš!

Mänöy ukko kotih. Kaččou, niin ei ni mitä enämpi ole. On vain še entini paha šavukämpä. Mänöy pertti, akka istuu, itköy hölpöttäy. Šanou ukko akalla:

— No äijä piti šiula, liika äijä piti! Ite nyt ruireta mi šiula pitäny. Šait nyt kaikki päiväksi.

Ših hökläh jouvuttih elämäh. Šiinä nyt eletäh tänäki piänä ta vielä kotvan huomenaki.

#### 41. СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ

Живут старик да старуха. У них никого нет, вдвоем только и живут. Живут они бедно. Старичонка тот лентяй, ничего ему неохота делать. Старуха только и ругает старика:

— Ничего-то тебе неохота делать. Повтому у нас и нет ничего. И кричит старику:

— Иди хоть рыбу удить на ужин, коль другое тебе лень делать. Хоть одно доброе дело сделаешь.

Идет старик за рыбой. Удит, удит — ничего не попадается. Да и бормочет про себя: «Ну, теперь у старухи есть из-за чего ругаться. Не поверит ведь, что ничего не попадается. Скажет, что опять я под деревом проспал это время. Надо бы поймать хоть самую малую рыбку».

Напоследок старик и поймал рыбу. Как посмотрит — так рыба-то золотая и говорит человеческим языком:

— Отпусти меня, старик, в воду, так я тебе много добра сделаю. Как придешь на берег в этом месте и поклонись: «Послушай, золотая рыбка», — то я тут же приплыву.

Старик отпускает рыбку и идет домой.

Старуха спрашивает:

— Где рыба? Опять, бродяга, там спал, лень было удить.

— Поймал я, жена, рыбу. Большая была рыба да еще золотая. Попросилась эта рыба обратно в озеро, и я взял да отпустил ее в воду.

— Зачем, бродяга, отпустил? Хоть бы ту принес на уху.

— Так она обещала сделать нам много добра.

— Ну, коли так, то иди попроси у нее помощи. Хочу, чтобы у нас было вдоволь еды. Иди-ка доставай.

Старик идет на берег, кланяется и говорит:

— Послушай, золотая рыбка!

Подплывает золотая рыбка и спрашивает:

— Что, старик, случилось?

— Старуха велит, чтобы у нас было всякой еды, что только душа пожелает.

— Ну, иди домой, будет у вас еды вдоволь.

Старик приходит домой. А на столе уже все, что ни есть на этом свете, а старуха сидит довольная за столом и ест.

Дожили до другого дня. Старуха опять и говорит:

— Ну, теперь нам надо дом лучше, чем у царя.

Старик идет на берег, опять и кланяется той рыбе:

— Послушай, золотая рыбка!

Рыба опять и приплывает к старику:

— Что теперь случилось, старик? Что тебе теперь надо?

Старик говорит рыбе:

— Да старухе захотелось дом получше, чем у царя.

Приходит старик домой. До старости дожил и поседел, а такого дома еще не видал. Старуха довольная похаживает. Старик тоже во все места заглядывает и думает: «Теперь можно жить да и умереть здесь — такой хороший да красивый дом».

— Иди теперь к своей рыбе и попроси хорошую одежду: костюмы, туфли, сапоги.

Идет старик к берегу озера да опять и кланяется той рыбе:

— Послушай, золотая рыбка!

— Что теперь надо?

— Захотелось теперь старухе хорошую одежду: костюмы, туфли, платки, сапоги.

— Ну, иди домой, будет у вас одежда лучше, чем у царя.

Приходит старик домой — одежды у них столько да такой хорошей, что они никогда и не видывали такой. Живут опять до другого дня, старуха и говорит старику:

— Теперь надо нам золотую ограду и трех золотых оленей. Хотя на них бы смотрели, раз нечего нам больше делать.

Старик и отвечает старухе:

— Много ты, старуха, захотела. Уж нам довольно всего, больше чем довольно.

— Иди, иди да делай, что тебе велят.

Пришлось старику опять идти на берег. Кланяется старик опять рыбе:

— Послушай, золотая рыбка!

Приплывает рыба:

— Ну, что теперь надо?

— Так захотела старуха золотую ограду с золотыми столбами и чтобы три золотых оленя играли в ограде.

— Ну, иди, старик, домой. Будет у вас золотая ограда и золотые олени.

Приходит старик домой. Те олени так играют в золотой ограде — золотая шерсть только поблескивает.

Живут дальше. Жизнь у них теперь очень хорошая. Но старуха опять и говорит:

— Иди к своей рыбе и скажи, чтобы дала мне прислугу подолы нести, чтобы шелковые наряды не волочились по земле.

— Перестань ты, старуха!

— Иди, иди да делай, что тебе велят.

Идет старик на берег озера, кланяется:

— Послушай, золотая рыбка!

Рыба приплывает:

— Ну что еще вам надо?

— Так теперь старуха захотела иметь прислугу носить подолы, чтобы шелковые наряды не волочились по земле.

Рыба как подпрыгнет, даже брызги воды летят вверх:

— Ну, иди, старик, домой!

Идет старик домой. Смотрит, а уже ничего нет. Только та старая курная избенка стоит. Заходит в избу: старуха сидит, слезно плачет. Говорит старик старухе:

— Много ты захотела, слишком много! Реви теперь, сколько тебе надо. Из-за тебя всего лишились.

В этой калупе и остались жить. Там живут и по сей день да еще и завтра поживут.

#### 42. ČUARIN TYTÄR

Oli ennen ukko ta akka. Ukko läksi meččäh. Kävelöy šielä mečäššä työpaikoillah. Koiran haukku ni kuuluu. Mänöy kaččomah, mitä haukkuu. Koirua ei ole, kun piä vain mättähällä, piä vain haukkuu. Hiän šen panou kesselih. Tuaš ruatau työtä. Kuuntelou: kuuluu lehmän kello. Mänöy hiän tuaš kaččomah: ei ole ni mitä, vain mättähällä kello yksinäš šoittau. Tuaš i panou kesselihiš šen. Tuaš mänöy työpaikallah. Kuuluu pajatuš. Hiän lähtöy kaččomah, ken šielä mečäššä pajattau. Miehen parta on mättähällä yksinäš: še vain pajattau. Hiän tuaš šenki otti kesselihiš.

Akka šanou:

— No mikse noita kuletat?

Hiän šanou:

— Anna hyö ollah, ei hyö šilma haittua.

Šielä tapahtuu šemmoista, jotta čuarin tyttö ei ole šuatu nakramah. Jo on kulunun šeiččemen vuotta — ei ole nakran yhtänä. Cuari šano, jotta ken hänen tyttären šuanou nakramah, ni hiän šillä antau ikusen eläkin, jotta hänen ei pie tienata ijäššäh. Kaikki kuottelou voimija, eikö millä šuatais nakramah. Ta ukko läksi šen kesselin keralla.

Cuari šano:

— Etkö, ukko, šie hoť kekši mitä, vanha mieš, millä hiän rupeis nakramah?

Ukko kun nošti koiran piän lattiella: koiran piä haukkuu, jotta kaikkil.. Cuarin tyttö muhahti pikkusen. Nošti šen lehmän kellon lattiella: kello rupei šoittamah. Cuarin tyttö šielä rupei nakramah. No šiitä miehen parran kun otti ta pani lattiella — parta pajattamah. Cuarin tyttö koko kerolla rupei nakramah niin paljon kun jakšau. Šiitä ukko šai palkinnon, hyöty ijakše.

#### 42. ЦАРЕВА ДОЧЬ

Были раньше старик и старуха. Старик пошел в лес, ходит там в лесу по делам своим. Собачий лай и слышался. Идет смотреть, на что лает. Собаки нет, одна только голова на кочке, го-

лова себе лает. Он ее кладет в кошель. Опять работает. Слышит — раздается звон коровьего колокольчика. Идет он опять смотреть — нет ничего. Колокольчик на кочке один звенит. Опять и кладет его в кошель. Опять идет на свое место. Слышится пение. Он идет смотреть, кто там в лесу поет. Борода мужчины одна на кочке — она и поет. Он и это положил в свой кошель. Старуха говорит:

— Ну зачем ты все это тащишь?

Он говорит:

— Пускай они тут, они тебе не мешают.

Там происходит такое, что цареву дочь никак не могут рассмешить. Уже семь лет прошло — ни разу не смеялась. Царь сказал, что если кто рассмешит его дочь, то он обеспечит того на всю жизнь, что не надо никогда зарабатывать на хлеб. Все пробуют свои силы, не могут ли чем рассмешить. И старик пошел с тем кошельем. Царь говорит:

— Не придумаешь ли, старик, что-нибудь, чтобы она рассмеялась, ты, пожилой человек?

Старик когда положил собачью голову на пол, собачья голова как залаяла, что прямо. Царева дочь чуть-чуть усмехнулась. Поставил на пол коровий колокольчик — колокольчик начал звенеть. Царева дочь уже засмеялась. Ну, потом как вынул бороду мужчины и положил на пол, борода запела. Царева дочь во все горло стала хохотать, сколько сил хватит.

Тут старик получил награду, разбогател на всю жизнь.

Oli ennen ukko da akka. Ukko kuolou. Naine jäy elämäh, no hiän jäy vačan kera. Da šiidä šuau poiĵan. Hänellä on hyvin vaiĵe eliä, oldih hallavuuvet da žen žemmuozet. Akka rubei šuat-tamah poigua muaimalla piädäh elättämäh. Pöĵa kun kažvo, kač-cou, sto hiän jo voit piädäh elättiä. Šanou muamollah:

Työnnä milma burlakakši, rubien laihinoista šilma elättämäh. Da šiidä hiän mäni töih yhellä bohatalla kaheštakymmeneštä vijeseštä kopeikašta vuuvešša. Vuuvon sluuži. Tuli polučkapäivä. Hiän mäni polučči kakšikymmendä viizi kopeikkua da tulou muamon luoh, šanou:

Vuuvon kun kazakoicin, šain kakšikymmendä viizi kopeikkua. Midä myö nyt, muamo, täh rahah oššamma?

Iče nyt, poigan, rubiet malttamah. Tiiĵät, midä tämänmuozensa gor'ašša pidäy oštua.

Dni poiga i läksi dorogah oššon piällä. Aivan gorodan luona tulou hänellä mužikka koiran kera vaštah.

— Kunne, mužikkaizen, vejät koirua?

— Ka mänen riputtamah, miula ei händä tarviče, a gorodašša ei anneta riputtua.

— Etgö šie händä myö?

— Ga miksi en möis. Annat nahkan hinnan — kakšikymmendä viizi kopeikkua.

Da poiga ando vuuven palkan koirasta da mäni kodihizeh. Muamo kun nägi, plakahti it'kömäh:

— Miksi šie oššit vielä koiran, kun iče olemma verizeššä näläššä?

No poiga jättäy koiran muamollah hoijettavakši, a iče palkkaudu tuaš kazakakši kaheštakymmeneštä viiještä kopeikašta vuuvešša. Tuaš vuuven sluuži, polučči kakšikymmendä viizi kopeikkua da tulou kodih, kyžyy muamoldah:

— Midäbä oštazima näih dengoih?

— Ga on midä oštua, kun meilä ei ole ni midä.

Ga poiga tuaš lähtöy gorodah. Matalla, aivan gorodan perällä, tulou mužikka vaštah šakki šelläššä.

— Midä šie šiinä šäkissä kannat?

— Ga kannan kazie tapettavakši.

— Etgö šie händä myö?

— Ga anna kakšikymmendä viizi kopeikkua. Šuat hyvän šuapkan, on mušta kazi.

Niin poiga ošti kazin da mänöy muamoh luo. Muamoh šanou:

— Ga miksi šie, poigazeni, oššit kazin, kun iče dai koira on näläššä?

— Ga miula žuali on, kun heidä tapettavakši kannetah. A nyt mie en lähe enämbi kazakakši, kun noin tyhjäh mänöy. Lähen huuhtua ruadamah. Hos vuoži hukkah mänöy, da toizena vuodena šuamma leibiä.

Da mäni hiän toizena piänä meččäh, kuado puuda hiän min lienöy da šytytti ne. Löydi pahalaizen kiärmehen da rubei šidä kangella tuleh tungemah, a pahalaine rubei pagajamah:

— Kuule šie, nuori poiga, elä pane milma tuleh, vielä mie šiula hyvyön luajin.

No kun pahalaine noin pagaji, poiga piäšti hänen. Mado šanou:

— Läkkä nyt miun muamon luoh. Hiän šiula palkan makšau, kun piäššit miun.

Lähettih matkuamah, mado iellä, poiga jällellä. Aššutah kuun, aššutah vuuven. Mado jo algo muah pujetteliuduo, šanou pojalla:

— Ruttoh tulemma miun kodih, muamo šiula andais midä otazit. Sielä on kaikenmoista dengua. Elä ota niidä, kyžy vain yhtä šormušta, mi on muamon kiäššä. Silma hiän ei košše.

No šiidä mänöy muah, poiga jälgeh. Mändih huoneheh, kaččou poiga — keški pertillä istuu hyvin šuuri da vanha akka. Akka šanou:

— Kačoppa, tulibahan venälaine šyödäväkši:



— Elä, muamozeni, šemmoistā pagaja. Hiän miun tulešta piästi, — šanou mado.

— Ga midäbä hänellä tarviččou palkakši? — kyžyy muamo.

— Pidäy hänellä piäššännäštä dengat maksua, muiten mie oliz in palan, — šanou mado.

Akka noužou, tuou värč in vašk idengua poi jan edeh:

— Ota nämä.

— En mie ota näidä, andanet tuon šormukšen, žen otan,

— Sormušta mie en anna.

Da akka kandau hobieda värč in poi jan edeh:

— Ota nämä.

— En ota mie hobeida näidä. Andanet šormukšen šormeštaš, nin otan, — šanou poiga.

— En anna šormušta.

Staruha noužou da tuou värč in puhašta kuldua.

— Ota nämä.

— En, baabuška, ota.

Šilloin staruha šelläškättä viškuau šormukšen kiäštäh.

— Ota ruttoh šormuš, kun vain kirbuou, — kergii mado šanuo.

Poiga hyppäi da šieppai šormukšen.

— Nyt šie midä tahtonet, žen šiula šormuš šuau, — šanou mado.

Da poiga läksi kodih aštumah. Oli jo männyn vuoži, kun oli koista lähten. Tulou kodih, luadiu tervehyön, kyžyy:

— Hyviingö elättä, ollahgo koira da kazi elošša?

— Elošša ollah, — šanou muamo.

— Hyvä on, nyt, muamo, rubiemma elämäh. Kuule, muamo, mäne šie čuarin tytärdä miula naizekši koziččomah, — šanou poiga.

— Ga midä šie, poigazeni, kun meilä ei ole midäi šyvvä, vet' čuari paikalla tappau.

— Mäne, mäne, muamo, mie pien kaikešta huolen.

No muamo pani turkin piällä. On hänen turkissa paikka paikan piällä. Da lähtöy muamo čuarin tytärdä koziččomah. Muamo mänoy, šanou čuarilla:

— Miun poiga kun káški miula šiun tytärdä kozita, midä šie duumaičet?

— Ga midäže poiga duumaiččou? Vuotahan, kun hiän šuannou icelläh niin hyvän koj in, kun on miula, nin šiidä pagajamma, a miun kera ei pie šuuttie, vielä i piä pois lendäy.

Muamo mänöy poigah luoh, šanou:

— Čuari ando žemmoizen miäräykšen, što kun et šuane čuarin moista kodie, piä pois jouduu.

Muamo itköy, žuali on poigua.

— Elä šie, muamo, ni midä tuuži, rubie muata, mie dielot spruavin.

No muamo rubei illalla muata, a poiga mäni pihalla, viheldi šormukšešta läbi, i häneldä kyžytäh:

— Midä pidäy šiula?

— Ga luadikkua talo kahta ockua parembi, kuin čuarilla.

— Huomenekšeh šuat že tulou.

Poiga māni muata. Noužou huomenekšella, kačotah — kodi on ieššä, suurembi kuin čuarin.

— No nyt, muamo, lähemmä uudeh kodih, heitämmä tämän torpan.

Männäh uudeh kodih. Poiga tuaš šanou muamollah:

— Mäne, muamo, uuveštah kozičcomah čuarin tytärdä.

Muamo suoriuduu da mänöy. A iče čuari on jo kojih huomanun da duumaicčou, jotta tässä on jo pygälä, tässä poiijašša. Staruha tuašen mänöy čuarin luoh, šanou azien čuarilla. Čuari šanou:

— A tyttären annan, kuin hiän šuannou zemmoizen flotan da muut vehkehet, kuin miula on, muitein — piä pois. Miun kera ei pie šuuttie.

Muamo tuli poiijan luoh, šanou, midä čuari hänellä oli ilmoittan.

— Elä, muamo, huolehi, huomeneš on ildua viižahambi, — šanou poiga.

Poiga yöllä viheldäy šormukšeh. Kyžytäh häneldä:

— Midä pidäy?

— Ga hommuatta miun randoih da kojih ymbärillä zemmoizet vehkehet, kuin čuarilla.

— Muuda ei? Magua rauhašša, kaikki tulou valmehekši.

Tuli huomeneš, ga kaikki on luajittu, midä pidi. Tuaš työndäy poiga muamoh čuarin luo. A čuari iče jo nägi, jotta kaikki on tuldu, midä hiän käski tulomah. Tuaš muamo aštuu čuarin kojih luoh, šanou:

— Tuaš tulin šiun tytärdä kozičcomah.

Čuarilla on mieli andua da ei andua. Paha andua kyžyjäakan poiijalla tytärdä. Čuari šanou:

— Kun poiigaš šuannou st'oklazen sillan miän kojista tiän kodih da st'oklazes kārryt, millä šidä myöten koista ajua, niin äššen annan tyttären.

Muamo mänöy itun kera poiijalla šanomah.

— Elähän tuuzi, muamo, rubie muata. Huomeneš on ildua viižahambi, — šanou poiga.

Oldih hyö yön, ga huomenekšella on st'oklahine silda da muut neuvotut valmehet. Poiga šanou muamollah:

— Mäne, muamo, vielä kerran čuarin luo, midä hiän duumaicčou.

Muamo mänöy da šanou azien. Čuari šanou:

— Ga nyt en enämbi muuda keksi, kuin luadie šuuret hiät. Šiula on ainut poiga, miula ainut tyttö. Mi šiinä?

Da šiidä alettih häidä luadie. Kučuttih vierahie ulgomaida myöten. Da niin poiga algo eliä čuarin tyttären kera. Eletäh hyö enzin melgo hyvin. A naine že aina kyželöy mužikaldah:

— Millä keinolla sie täytit kaikki tuaton usloviet?

Aina spraššivaiččou.

— Mie šiula kaikki omat tainossit šanoin, a sie miula olet rodnoi muzikka, a et šano. Naverno et milma šuvače.

Muzikka duumaiččou: «Midäbä tuošta, šanon mie, kun hiän on miula rodnoi naine». Da šiidä šanou:

— Miula on žemmoine šormuš, jotta šiih kun vihellät, nin tulou midä tarvičet.

Ruvetah hyö šiidä muata. Muatesša heittäy muzikka šormuksen pois, da venytäh muata. A čuarin tyttö duumaiččou: «Hos meilä on hyvä elämä, vain onhan miula parembie šulhazie, kuin kyžyjä-akan poiga». Muzikka kun uinoi, silloin naine ottau šormuksen, viheldäy šiih: hänellä tulou parahoda. Naine istuoči šiih da läksi šormuksen kera. A izändä ei tiijä i midä, maguau vain. Nouži huomenekšella—kaččou, jo nyt on männyn šormuš dai moržien. «No nyt tuaš propal»,—duumaiččou hiän. Ei hiän ruohi šanuo čuarilla, eigä i kellä. A čuari tiijusti, što tytär on kadon. Hiän mänöy poiijan luoh, kyžy:

— Missä on tytär?

No poiga ei tiijä, midä vašsata.

— No jesli kahešša päiväššä et šua tytärdä tänne, nin tyrmäh panen.

Mäni kaksi päiviä, ga poiga ei ni midä voi ruadua, da čuari hänen panou tyrmäh. Poiijan muamo it'köy, koiralla da kazilla on zuali. Hyö paissah:

— Hiän miät šurmasta piästi, razve myö händä emmä voi pe-laštua? Meilä pidäy ečcie že moržien.

A mih valdakundah mäni moržien, sai hiän žen aigah, što šinne ei laškieta koirie eigä kaziloida, šielä moržien varaji koirua. Tämän kun kazi da koira šuadih tiediä, hyö arvattih, kunne on moržien männyn, da niin hyö lähtiettih. Koira uiččou, kazi on šel-läššä, a muamatat juossah. Da hyö kuulussetti, što moržien on männyn Norviegah. Da tullah hyö šinne Norviegah, a šielä heilä ei aneža liikkuo. Kazi šanou koiralla:

— Sie jää tänne vuottamah, šiut, prijuateli, šielä paikalla tapetah. Mie kun olen pienembi da on kynnet, nin piäžen joga paikkah, a šiula on vaigiembi.

Da niin koira jäi vuottamah, a kazi läksi. Da niin kazi piäzi jälgeh žen kojn ymbärillä, missä čuari eli, da niin hiän šiinä nälläššä pyöriy kojn ymbäri, da kačcelou, mistä ois kaikkein paras piäššä šiämeh. Erähänä piänä čuarin akka, puannun moržien, avuau ikkunan, a iče rubieu muata. Da niin hiän nouži ikkunašta šiämeh yöllä. Nällästä hiän tabai hiiren. Hiiri moliuduu:

— Elä tapa milma, vielä luajin hyvyön, mie tiijän, midä työ tiälä kävelettä: šormuksen piällä oletta tullun. Vain šidä että šua. A mie šaizin. Parembi šiula on milma piästiä, mie šuan šormuk-sen. A kui šyönnet, niin ičeš tapetah dai šormušta että šua.

— No miula on näl'ga, sie šua kaikkie, midä pidäy.

— No ole huoletta. Rubiemma nyt dieloloih. Kačo, tämä emändä tiälä pidäy šormušta šuuššah, eigä niin kuin tiän izändä — ikkunalla. No mie kun olen pikkaraine, nin mänen da pissän hänän hänen nenähuogomeh. Hiän kun hirnuou, šormuš lendäy lat-tiella, a sie kopperašti tavota šormuš da vuidi srazu ikkunašta pois. A mie mänen škuapan alla tahä pagoh.

Da niin hiiri kirboi pielukšella da työndäy händiä nenäh. Morzien kun hirnuo pačkuau, šilloin šormuš lattiella lendäy, kazi šen sieppuau, da šillä kerdua on pihalla, a hiiri pagoh vuidi. A morzien piäzi šelvilla, midä oli luadiudun, da algau karjuo, što kazi vei šormukšen, hiän nägi, kun kazi vilahti ikkunašta hypäteššäh. Kazi juokšou koiran luoh da šanou:

— Nyt meilä kiirehäizeh pois, pidäis piäššä.

— Piäžemmä, — šanou koira.

Kiirehäizeh hyö juoššah muamatka, Tuli vezimatka. Koira ša-nou:

— Anna šormuš miula, muiten en ota šelgäh.

— Ga šiula vet on harvat hambahat, kirvotat šormukšen.

— No et anna, ga mie lähen.

Dai lähtöy uimah. Kazi n'augumah:

— Annan šormukšen.

Koira kiändy järelläh, pani šormukšen suuh, otti kazin šelgäh da läksi uimah. Uijah, uijah, jo ollah läššä kodirandua. Kačo-tah — nuottaveneh tulou heih kohti. Koirilla kun on taba hauk-kuo aina, nin hiän nyt haukkumah. Šilloin šormuš vedeh.

— Ga kirvotat šormukšen! — karjuu kazi.

Rabaudu koira, ga šormuš on jo kirvonnun.

— No vot, mie šanoin, što kirvotat. Nyt meilä ei ole kodih mä-nömistä. Izändä miät pelašti, a myö nyt emmä voi händä pe-laštua.

Tullah hyö mualla, dai tulou šiuh nuottovehki da ruvetah puh-kuamah kaloja.

— Lakkä, skotina, väliämme šyömäh, — šanou kazi koiralla.

Dai männäh hyö joukon luo. Šielä heidä šilit'elläh da annetah tot-kua da ruodua heilä. Kazi ottau totkut, koira ruuvat. A on ylen suuri haugi. Kazi kun rubezi totkuloida šyömäh, ga šielä on šormuš. Kazi ihaštu ylen äijäldi, kun šai šormukšen, dai ei šano koiralla. Nuottoveh ei heidä piäšsettäis. A yöllä kazi šanou koiralla:

— Lähemmä izändiä tijuštamah.

— No midä šiidä on hyödyö, — šanou koira.

Uidih hyö loppumatkan, koira vaibu kogonah.

— Šie šiinä issu, — šanou kazi, — a miula on šormuš. Mie lähen izännän luoh.

Koira rubei kaziä tavottamah. Vain midäze, hiän oli vaibun, a kazi kerrašša kivahti tieheš. Juokši, juokši kazi, da mäni tyr-

mäh, missä izändä istuu. Hyppäi fortoekašta šiämeh, ga šanon izännällä:

— Tässä on šormuš, šie pelaššit miät, nyt myö šiun.

Izändä otti šormukšen da pyrgi viijekši minuutakši pihalla. Händä lašettih, hos jo oli puolen čuassun piästä miärätty tapet-tavakši. Mäni čieppilöissä pihalla.

— Kuöčuot čuarie.

Tulou čuari. Poiga vihelläldi šormukšeh. Šamalla minuutalla čuarin tytär aštuu korablista pristaniella da tuattoh luoh.

— Kačo nyt, mistä hiän tulou.

Ruvettih hyö uueštah elämäh, no poiga vardeiččou šormušta, štož ni ken ei enämbi šidä ottais, vain čuarilda pani poiga piän pois.

### 43. [ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО]

Были раньше муж и жена. Муж умирает. Жена остается жить, но она остается с животом. И потом рождает сына. Ей очень трудно жить, были неурожайные годы с летними заморозками и всякое другое. Женщина стала посылать сына кормиться в люди. Сын когда подрос, смотрит, что он уже сам может свою голову прокормить. Говорит своей матери:

— Отпусти меня в работники, буду теперь за старый долг тебя кормить.

И потом он стал работать у одного богача за двадцать пять копеек в год. Год прослужил. Пришел день получки. Он пошел, получил двадцать пять копеек и идет к матери, говорит:

— Год прослужил, получил двадцать пять копеек. Что мы теперь, мать, на эти деньги купим?

— Сам теперь, сынок, уже стал понимать. Знаешь, что при такой нашей бедности нужно купить.

И сын пошел в город за покупками. Недалеко от города встречается ему мужик с собакой.

— Куда, мужичок, собаку ведешь?

— А иду вот вешать, мне она не нужна, а в городе вешать не дают.

— Не продашь ли ее?

— А почему бы не продать? Дашь цену шкуры — двадцать пять копеек.

И парень дал годичный заработок за собаку и пошел домой. Мать как увидела, тут же в слезы.

— Зачем ты еще собаку кунил, когда и самим есть нечего [букв.: у самих кровавый голод].

Ну, сын оставляет собаку у матери, а сам занимается снова в работники за двадцать пять копеек в год. Опять год прослужил, получил двадцать пять копеек и приходит домой, спрашивает у своей матери:

— Что же нам купить на эти деньги?

— Что ни купи, все хорошо, ведь у нас ничего нет.

И сын опять идет в город. По дороге, у самого города, встречается мужик с мешком за спиной.

— Что ты несешь в этом мешке?

— А несу кошку убивать.

— Не продашь ли ее?

— А дай двадцать пять копеек — будет у тебя хорошая шапка, кошка-то черная.

Так парень купил кошку и приходит к матери. Мать говорит:

— Зачем же ты, сынок, кошку купил, когда сами с собакой голодаем?

— Да мне жаль, когда их несут убивать. А теперь я больше не пойду в работники, коли все впустую проходит. Пойду подсеку делать. Хоть год и пропадет, а на второй год будем уже с хлебом.

И пошел он на второй день в лес, свалил деревьев там сколько-то и зажег их. Нашел бесову змею и стал ее колом в огонь толкать, а змея заговорила:

— Послушай ты, молодой парень, не толкай меня в огонь, я еще тебе добро сделаю.

Ну, когда бес так заговорил, парень отпустил его. Змея говорит:

— Пойдем теперь к моей матери. Она теперь тебе оплатит за то, что меня отпустил.

Пустились в путь, змея впереди, парень сзади. Идут месяц, идут год. Змея уже начинает в землю заползать, говорит парню:

— Скоро придем ко мне домой, мать тебе даст то, что ты возмешь. Там есть всякие деньги, но не бери их, попроси только одно кольцо, которое у матери на руке. Она тебя не тронет.

Ну, потом она идет под землю, парень следом. Пришли в комнату, смотрит парень — в середине избы сидит очень большая и старая старуха. Старуха говорит:

— Посмотри-ка, пришел-таки русский мне на съедение.

— Не говори, мать, такое. Он меня из огня вытащил, — говорит змея.

— А что же ему надо в награду? — спрашивает мать.

— Надо ему за мое освобождение денег дать, иначе я бы сгорела, — говорит змея.

Старуха встает, приносит мешок медных денег и ставит перед парнем:

— Возьми это.

— Не возьму я это, а если дашь то кольцо, его возьму.

— Кольца я не дам.

И старуха приносит мешок серебра и ставит перед парнем.

— Возьми это.

— Не возьму я серебра. Если дашь кольцо с руки, то возьму, — говорит парень.

— Не дам кольца.

Старуха встает и приносит мешок чистого золота.

— Возьми это.

— Нет, бабушка, не возьму.

Тогда старуха бросила кольцо наотмашь.

— Возьми скорей кольцо, как только упадет, — успела змея сказать.

Парень вскочил и схватил кольцо.

— Теперь ты что ни захочешь, все тебе кольцо сделает, — говорит змея.

И парень пошел шагать домой. Уже год прошел, как он ушел из дому. Приходит домой, здоровается, спрашивает:

— Хорошо ли живете, живы ли собака и кошка?

— Живы, — говорит мать.

— Хорошо. Теперь, мать, будем жить. Послушай, мать, иди ты царскую дочь мне в жены сватать, — говорит сын.

— Да что ты, сынок мой, ведь у нас даже есть нечего, ведь царь нас тут же убьет.

— Иди, иди, мать, я обо всем позабочусь.

Ну, мать одела шубу. Уж на этой шубе заплатка на заплате. И отправляется мать цареву дочь сватать. Мать приходит, говорит царю:

— Мой сын велел мне твою дочь сватать, что ты думаешь?

— А что же этот парень думает? погоди-ка, если у него будет такой же хороший дом, как у меня, то тогда поговорим, а со мной шутить не надо, не то голова отлетит.

Мать идет к своему сыну, говорит:

— Царь дал такой приказ, что если у тебя не будет такого дома, как у царя, то голову потеряешь.

Мать плачет, жалко сына.

— Ты, мать не тужи, ложись спать, я все дела справлю.

Ну, мать легла вечером спать, а сын вышел во двор, свистнул в кольцо, и у него спрашивают:

— Что тебе надо?

— Сделайте-ка дом на два очка лучше, чем у царя.

— До утра это будет.

Парень пошел спать. Встает утром, смотрят: перед избушкой дом, больше чем у царя.

— Ну теперь, мать, перейдем в новый дом, бросим эту лачужку.

Переходят в новый дом. Сын опять говорит своей матери:

— Иди, мать, снова сватать цареву дочь.

Мать одевается и уходит. А сам царь уже заметил дом и думает, что тут есть уже толк в этом парне. Старуха опять идет к царю, говорит про дело царю. Царь говорит:

— Выдам дочь, если у него будет такой же флот и остальное снаряжение, как у меня, — иначе голова с плеч. Со мной шутить не надо.

Мать вернулась к сыну, говорит, что ей царь объявил.

— Не беспокойся, мать, утро вечера мудренее, — говорит сын. Парень ночью свистит в кольцо. Спрашивают у него:

— Что надо?

— Сделайте-ка на моем берегу и вокруг дома все так, как у царя.

— Больше ничего? Спи спокойно. Все будет готово.

Настало утро, и все было сделано, как надо. Опять посылает сын свою мать к царю. А царь сам уже увидел, что все уже сделано, что он приказал сделать. Опять мать идет к царскому дому, говорит:

— Опять пришла твою дочь сватать.

Царю и хочется выдать и не хочется. Стыдно выдать дочь за сына нищей старухи. Царь говорит:

— Если твой сын сделает стеклянный мост от нашего дома до вашего дома и стеклянные дрожки, на которых по тому мосту ехать, то лишь тогда отдам дочь.

Мать с плачем идет к сыну с этой вестью.

— Не тужи, мать, ложись спать. Утро вечера мудренее, — говорит сын.

Проспала ночь, а утром стеклянный мост и все остальное уже готово. Сын говорит своей матери:

— Иди, мать, еще раз к царю, что он думает.

Мать идет и говорит про дело. Царь говорит:

— Ну, теперь больше ничего не придумаю, как устроить большую свадьбу. У тебя единственный сын, у меня единственная дочь. Что же еще?

И потом стали свадьбу справлять. Позвали гостей даже из других стран. И так парень стал жить с царевой дочерью. Живут они сначала довольно хорошо. А жена все спрашивает у мужа:

— Каким средством ты выполнил все отцовские условия?

Все спрашивает:

— Я тебе все свои секреты рассказала, а ты мне родной жум, а не говоришь. Наверно, не любишь меня.

Муж думает: «Что ж, расскажу, ведь она мне родная жена». И потом говорит:

— У меня такое кольцо, что в него как свистнешь, то будет все, что тебе нужно.

Стали они потом укладываться спать. На ночь муж снимает кольцо с пальца, и ложатся спать. А царева дочь думает: «Хоть у нас и хорошая жизнь, но есть же у меня и получше женихи, чем сын нищей старухи». Муж когда уснул, тогда жена берет кольцо, свистит в него — появляется пароход. Жена садится в него и уплыла с кольцом. А хозяин ничего не знает, спит себе. Встал утром, смотрит — уже пропали и кольцо, и жена. «Ну, теперь опять пропал», — думает он. Не смеет он сказать ни царю и никому. А царь узнал, что дочь пропала. Он идет к парню, спрашивает:



— Где дочь?

Но парень не знает, что ответить.

— Если за два дня не вернешь сюда мою дочь, то в тюрьму посажу.

Прошло два дня, а парень ничего не может сделать, и царь сажает его в тюрьму. Мать царя плачет, собаке и кошке жалко его. Они говорят:

— Он нас от смерти спас, разве мы не можем его спасти? Нам нужно найти его жену.

А в то государство, куда уехала жена, не пускают собак и кошек, потому что жена боялась собак. Когда кошка и собака про это узнали, они догадались, куда жена уехала, и так они отправились. Собака плавает, кошка на спине собаки, а по суше бегут. И они узнали, что жена уехала в Норвегию. И приходят они туда в Норвегию, а там им не дают ходить. Кошка говорит собаке:

— Ты оставайся здесь ждать, тебя, приятель, там сразу же убьют. Я поменьше, и когти у меня, так я в любое место пролезу, а тебе труднее.

И так собака осталась ждать, а кошка пошла. И так кошка, наконец, пробралась к тому дому, где царь жил, и так она голодная вертится вокруг дома и посматривает, где бы лучше пролезть в дом. В один день царева жена, сбежавшая молодуха, открывает окно, а сама ложится спать. И так она [кошка] ночью через окно зашла в комнату. С голода она поймала мышь. Мышь взмолилась:

— Не убивай меня, я еще добро сделаю, я знаю, зачем вы сюда пришли: за кольцом пришли. Только вам его не достать. А я бы достала. Лучше тебе меня отпустить, я достану кольцо. А если съешь меня, то и тебя убьют, и кольца не достанете.

— Хоть мне и голодно, но сделай все, что надо.

— Будь спокойна. Возьмемся за дело. Смотри, эта хозяйка здесь держит кольцо во рту, не так как ваш хозяин — на огне. Ну, раз я маленькая, то пойду и суну свой хвостик в ее ноздрю. Она как чихнет, кольцо упадет на пол, а ты живо поймай кольцо и выпрыгни в окно. А я сунусь под шкаф или убегу.

И так мышь забралась на подушку и засовывает хвост в нос. Молодуха как чихнет, тут кольцо падает на пол, кошка его хватает, тут же выбегает во двор, а мышь убежала. Когда молодуха поняла, что случилось, она начала кричать, что кошка унесла кольцо, она видела, как кошка взметнулась в окно.

Кошка прибежала к собаке и говорит:

— Теперь нам надо быстренько отсюда уйти.

— Уйдем, — говорит собака.

Живо пробегают они путь по суше. Прибежали к воде. Собака говорит:

— Дай мне кольцо, иначе не возьму тебя на спину.

— Но ведь у тебя зубы редкие, уронишь кольцо.

— А не дашь, так я поплаву.

И отправляется вплавь. Кошка замыкала:

— Дам кольцо!

Собака повернула обратно, взяла кольцо в рот, посадила кошку на спину и отправилась вплавь. Плывут, плывут, уже близок родной берег. Смотрят — рыбацкая лодка плывет на них. Так как у собак обычаем всегда лаять, то она и тут залаяла. Тут кольцо упало в воду.

— Уронишь кольцо! — кричит кошка.

Хватились собака, а кольцо уже упало.

— Ну вот, я же сказала, что уронишь. Теперь нам домой нет пути. Хозяин нас спас, а мы теперь не можем его спасти.

Выходят они на берег, и причаливает тут же и рыбацкая лодка, начинают чистить рыбу.

— Пойдем, скотина, скорей есть, — говорит кошка собаке.

И подходят они к рыбакам. Там их гладят и дают им внутренности и рыбы кости. Кошка берет внутренности, собака кости. А была тут очень большая щука. Кошка как стала внутренности есть, тут и было кольцо. Кошка очень обрадовалась, когда нашла кольцо, и собаке ничего не говорит. Рыбаки их не отпускают, а ночью кошка говорит собаке:

— Пойдем хозяина проведать.

— Какой от этого прок, — говорит собака.

Проплыли они остальной путь, собака совсем устала.

— Ты тут посиди, — говорит кошка, — а у меня кольцо. Я пойду к хозяину.

Собака погналась за кошкой, но куда там — она была усталая, а кошка мигом улизнула. Бежала, бежала кошка, и пришла в тюрьму, где хозяин сидит. Залезла через форточку, и говорит хозяину:

— Вот кольцо, ты спас нас, теперь мы тебя.

Хозяин взял кольцо и попросился на пять минут во двор. Его отпустили, хотя через полчаса его должны были казнить. Вышел в цепях во двор.

— Позовите теперь царя.

Приходит царь. Парень свистнул в кольцо. В ту же минуту царева дочь выходит с корабля на пристань и прямо к отцу.

— Смотри теперь, откуда она является.

Стали они снова жить, но парень сторожит кольцо, чтобы никто его больше не взял. А царю парень голову снес.

#### 44. KÖYHÄ VELLI TA POHATTA VELLI

Oli ennen köyhä velli ta pohatta velli. Hyö kylvettih ruista muaha kumpan/enki omilla peltoloillah. Samaassa aitaüksessa heilä oli ne pellot kumpasellaki. Syksyllä tuli kylmä yö, halla pani köyhän

vel'len pellon. Ei tullun suuhu pantavua. Pohatan vel'len peltuo ei pannun halla. Köyhä velli tulou pelloilta ta sanou akallah:

— Mäne hoti tähkie keryä, jotta šurvomma.

Tulou pelloilta ta sanou akalla, jotta «mitein nyt rupiemma elämäh, kun halla pani pelloit?». Köyhän vel'len akka sanou ukollah:

— Mäne ta sano Pakkasella, jotta antais syötävyä, kun pilasi pelloit.

Ukko suorieu yöllä ta lähtöy Pakaista eëcimäh. Mänöy meëcäh pikkaraista tien tropinkkua myöt'e. Mecässä on pikkaraini mökki. Mänöy talon siämeh. Sielä on oikein pikkaraini lihava akka, kävelöy lattiella:

— Mistä olet, mušikkaisen, tänne lanken ta mitä on as's'ua siula?

— Akkasen, tiijätkö sie, missä on Pakkani?

Akka sanou:

— Tiijän, miun ukko on Pakkani, tässä on Pakkasen koti.

— Kun pani miulta pellon, pohatan vel'len pelto on aivan vierellä eikä pannun. A miula on lapsie pirtti täysi ta nyt ei jääny suuhu pantavua. Läksin nyt ruokua kysymäh, eikä antais vaikka tähkie?

Akka sanou:

— Annahan tulou yöllä kotih, nin mie hänet haukun, kun pani pellon köyhältä mieheltä, a pohatalta vel'leltä ei lekahuttan.

Pakkasen akka antau köyhällä vel'lellä ruokua ta käšköy kiukualla muate. Köyhä velli on hyvilläh.

Tulou vanha ukko paharaiskani, niinkuin jäätukku — se on Pakkani. Akka sanou Pakkasella — ukollah:

— Meilä on vieras. Mimmoni sie olet, kun köyhältä velleltä panit pellon?

Pakkani sanou:

— Mistäpä mie tiesin, ken heistä on köyhä, ken pohatta? Kun oisin tietän, oisin pannun pohatanki pellon. Ka mie annan köyhällä hoš mitä hyvitystä.

Sanou akallah:

— Mäne käy tuolta sarajalta kaikišta pahin vanha kesseli. Annamma sen hänellä palkinnoksi, kun mie panin häneltä pellon.

Akka käypi kesselin ta sanou köyhällä ukolla:

— Nouse pois, ota tuo kesseli — siinä on siula palkinto pellosta.

Ukko nousou köcöttäy. Panou setkähäh kesselin ta mänöy kotih päin. Köyhä ukko arvelou: «Mitä mie tällä ruan? Tällä ei sua kuin kerran päcin sytyttyä». Ottau ta viuhaltau kesselin. Sieltä kun tulou syömistä niin äijän, niin äijän! Ukko kokuou kaiken, šuau kesselin kiini ta lähtöy kotih. Lapset juoššah vastah: «Saitko sie mitä pellon apuo?».

— Sain mie tämän paharaisan kesselin.

Akka šanou:

— Miksi šie šemmosen hapannehen kesselin otit, huppelo, tulo vain kerta tulta šytyttyä.

Ukko šanou:

— Älähän huoli.

Ta ottau avuau kesselin, puissaltau stolalla. Šieltä putosi kaikkie vain ei linnun maituo. Akka ihmettelöy:

— Mistä šie näitä kaikkie šait?

Hyö syömäh šihi. Šyvväh monta päivyä, kun ollah oltu pitältä nälässä.

Lapšet lähettih juokšentelomah pihalla. Mäntih pohattah vel'leh. Še kyšyy:

— Missä työ oletta ollun, kun ei teitä ole näkyn, ta niin oletta riskistyn? Olettako työ mitä ruokua šuanun?

Lapšet šanotah:

— Oi tiätä, kun meiltä Pakkani pellon pani. Tuatto kun mäni Pakkaselta kyšymäh apuo, nin še anto šemmosen kesselin, missä on kaikenmoista ruokua.

Pohatta šanou:

— Vuota kun mänen köyhällä vel'ellä ta oššan šen kesselin. Mitä köyhä šemmosella teköy?

Pohatta velli mänöy köyhän vel'len luo. Köyhä velli puistau kesselistä ruokua, viinua ta mitä vain mieli teköy.

Juotih viinua. Köyhä velli joi ičch humalah, jotta ei tiije ni mitänä enämpi. Pohatta velli ei juonun ta kyšyy:

— Etkö, veikkon, myö tätä kesselie miula? Ota kolme šatua rup'ua.

Antau rahat kätch. Köyhä velli möi kesselin. Akka on pahalla mielin: «Kauvanko šie niitä kolmie šatua rup'ua syöt?».

Ne rahat hyö šyötih ruttoseh. Tuaš ni köyhyyti. Akka šanou:

— Mäne tuaš, etkö šua Pakkaselta kesselie, kuolemmahan myö nälkäh.

Köyhä velli mänöy Pakkasen luo ta šanou:

— Kun möin kesselin, nin etkö voi toista antua, nälkäh kuolemma.

Pakkani šanou:

— Mintäh olet niin hölmö ta möit? — Šanou akallah: Mäne käy uuš, kaunis kesseli, annamma šen hänellä.

Akka tuou kesselin. Pakkani šanou:

— Ota nyt tämä kesseli, tästä šuat vielä parempua ruokua.

Köyhä velli lähtöy hyvällä mielin, kun šai niin kaunehen kesselin ta jotta on vielä parempua ruokua. Mänöy kōtihin, rävyhyttäy kesselin pöytäh ta šanou:

— Tulkuat nyt syömäh!

Kesselištä hyppyäy kakši mieštä ta alettih lyyvvä pualikoilla isäntyä: «Šiinä šiula, kesselin antaja!». Köyhä ukko häin tuškin

šuatto miehet kesseliä ta kesselin järelläh umpeh. Lapšilläh šanou:

— Mänkyä šanokkua tiätällä, jotta šain vielä paremman, kauhenehman kesselin.

Pohatta velli meinuau: «Lähen ta oššan šen kesselin. Välttäy hiän ilman kesseliä ja pahemmilla ruuvilla». Mänöy pohatta köyhän velli'en luo, šanou:

— Etkö, velli, myö miula šitä uutta kesseliä?

— En mie myö, šie kun olet pohatta, ota parempi, miula välttäy pahempiki. Vajeha järelläh.

Pohatta ottau uuvan kesselin ta tuou köyhällä velli'llä vanhan. Viey uuvan kesselin kotih akallah ta šanou:

— Kuču nyt kaikkie šyömäh. Nyt šiinä onki ruokua eri tavalla, kuin vanhašša kesseliššä.

Akka käški kylästä šuuriarvosie, pohattoja. Ne tullah kaikki vierahikše. Käšetäh vierahat pöytien tua istumah. Vierahat vuotetah hyvie herkkuja. Rikaš mieš puissaltau kesseliä. Šieltä kun porhaltau kakši mieštä rautapualikkojen kera ta ensimmäisekše lyyvvä mäčkytetäh isäntyä ta šiitä kaikkie vierahie. Ne hypätäh ken ikkunašta, ken ovešta pakoh. Pohatta mänöy köyhän velli'en luo:

— Ota pois kesseliš!

— En, velli!

Eikä antan enämpi vanhua kesseliä pohatalla velli'lläh. Ta niin jäi elämäh. Šiihi loppu starina.

#### 44. БЕДНЫЙ БРАТ И БОГАТЫЙ БРАТ

Были раньше бедный брат и богатый брат. Они посеяли рожь, каждый на своей полосе, а полосы их были в одной ограде. Осенней холодной ночью мороз сгубил рожь бедного брата. Нечего было рассчитывать на кусок хлеба. А поле богатого брата мороз не тронул. Приходит бедный брат с поля и говорит жене, что «как теперь будем жить — мороз погубил урожай». Жена говорит мужу:

— Иди к Морозу и скажи, чтобы дал еды, раз погубил урожай.

Муж собрался ночью и пошел искать Мороза. Идет по лесу, по маленькой тропиночке. Дошел до маленькой избушки. Заходит в избушку. Там маленькая полная старушка показивает по избе.

— Как ты, мужичок, сюда попал, и какое у тебя дело?

— Знаешь ли ты, ховаяшка, где живет Мороз?

Старушка говорит:

— Знаю, мой муж и есть Мороз, а это дом Мороза.

— Вот заморозил у меня рожь, поле богатого брата рядом, а у него не тронул. У меня полная изба ребятишек, а есть нечего. Вот и пошел просить что-нибудь поесть, не даст ли хоть немного колосьев.

Старуха говорит:

— Погоди, как придет ночью домой, так я его отругаю, почему заморозил урожай бедного брата, а у богатого не тронул.

Жена Мороза накормила бедного брата и велела лечь ему на печь спать. Бедный брат доволен.

Приходит старый старичок захудаленький, как сосулька, — это и есть Мороз. Старуха говорит Морозу, своему мужу:

— У нас гость. Какой ты, право, зачем ты у бедного брата поле заморозил?

— Откуда я знал, кто из них богатый, кто бедный? Если бы знал, то заморозил бы и поле богатого брата. Ну, я дам бедному брату что-нибудь за это.

Говорит жене:

— Иди принеси с сарая самый плохой кошель. Дадим это ему взамен урожая.

Старуха приносит кошель и говорит бедному старику:

— Слезай, возьми этот кошель — это тебе за урожай.

Старик слезает с печи. Надел кошель на спину и пошел домой. Бедный старик думает: «На что мне это? Этим можно только один раз печку растопить». Взял да и сбросил кошель. Оттуда повалилась всякая еда — много-много! Старик собрал все обратно в кошель и пошел домой. Дети бегут навстречу:

— Ты получил что-нибудь за урожай?

— Получил я вот этот захудалый кошель.

Жена говорит:

— Зачем же ты взял этот гнилой кошель, глупый? Им только раз печку растопить.

Старик говорит:

— Не торопись.

И берет кошель, открывает его и трясет над столом. Оттуда валится все, кроме птичьего молока. Жена удивляется:

— Откуда все это взялось?

Они давай есть. Едят несколько дней подряд, потому что долго голодали.

Потом дети опять побежали на улицу. Зашли в дом богатого брата. Тот спрашивает:

— Где вы были столько времени, что вас не было видно? И почему вы так поправились? Или вы достали еды?

Дети говорят:

— Ой, дядя, у нас ведь Мороз заморозил поле. Отец как пошел к Морозу просить помощь, то он дал такой кошель, где есть всякая еда.

Богач говорит:

— Пойду-ка я куплю у бедного брата тот кошель. Зачем бедняку такой?

Богатый брат идет к бедному брату. Бедный брат вытряхивает из кошеля еду, вино и все, что душе угодно. Пили вино. Бедный

брат так напился, что уже ничего не понимает. А богатый брат не пил и говорит:

— Не продашь ли мне, брат, этот кошель? Возьми триста рублей. И отдает ему деньги в руки.

Бедный брат продал кошель. Жена горюет: «Надолго ли хватит этих трехсот рублей?». Эти деньги они быстро проели. Опять и обеднели. Жена говорит:

— Иди снова, не даст ли Мороз кошель, иначе умрем от голода.

Бедный брат идет к Морозу и говорит:

— Я тот кошель продал, так не можешь ли ты дать другой кошель, иначе мы от голода умрем.

Мороз говорит:

— Почему же ты такой глупый, что продал? — Говорит жене: Иди принеси новый красивый кошель, дадим ему.

Жена приносит кошель. Мороз говорит:

— Возьми теперь этот кошель, будет у тебя пища еще лучше.

Бедный брат уходит довольный, что такой красивый кошель получил, в котором и еда получше. Приходит домой, бросает кошель на стол и говорит:

— Идите-ка кушать!

Тут из кошеля выскакивают двое мужчин и давай палками бить хозяина: «Вот тебе за то, что кошель отдал!». Бедный старик еле-еле загнал мужчин обратно в кошель и закрыл его. Говорит детям:

— Идите скажите дяде, что я получил кошель еще красивей и лучше.

Богатый брат думает: «Пойду и куплю тот кошель. Хорош он и без кошеля да без лакомств». Идет богач к бедному брату, говорит:

— Не продашь ли, брат, мне тот новый кошель?

— Я не продам, но давай поменяемся: ты богатый, так возьми кошель получше, а мне сойдет и похуже.

Богач берет новый кошель и приносит бедному брату старый. Приносит новый кошель домой и говорит жене:

— Позови-ка всех к нам в гости. Теперь есть чем угощать, этот даже лучше старого кошеля.

Жена позвала всех богатых и знатных деревни. Приходят гости. Гостям велют садиться за столы. Ждут гости лучших лакомств. Богач встряхнул кошель. Оттуда как выскочат двое мужчин с железными палками и в первую очередь начинают бить хозяина, а потом и всех гостей. Те бросаются кто в окна, кто в двери и наутек. Богач идет к бедному брату:

— Возьми свой кошель!

— Нет, брат!

И после этого не давал никогда богачу старого кошеля. Так и остался жить. На том и сказка кончилась.

Oli ennen köyhä velli ta pohatta velli. Ollah-eletäh, roštuo on tulossa. Köyhä velli lähtöy lihua kysymäh pohatalta velleiltä.

— Anna šie, veikko, — šanou, — lihua meilä keitokše, kun pruasniekka tulou.

Pohatta velli kävi lehmän reijen, loi hänellä šen lehmän reijen etoh. Šanou:

— Tuossa on, vie hot' hiiteh! — karjahtau hänellä.

Še otti šen lehmän reijen, lähtöy kotih päin, ajattelou: «Miksi mie tätä kotih vien, kun käsettih viija Hiiteh? Kerran käski, nin lähen vien Hiiteh».

Aštuu, aštuu tuon pitkiä, tämän lyhyttä, tulou šielä halonleikkuaajat vaštah. Hiän kysyy niiltä halonleikkuaajilta:

— Ettäkö työ tiija, olenko mie oikiella tiellä, mänöykö tämä tie Hiiteh?

Šanotah:

— Tämä mänöy Hiiteh, myö Hiiteh halkuo leikkuamma.

Šanotah hänellä:

— Šie ota tästä koivuni halko. Kun mänet šinne, nin hiän kiukualla istuu, še Hiijen isäntä. Kun mänet, nin elä anna kättäš hänellä, hiän kiän kopristau, a šie ojenna tätä halkuo. Hiän ihaštuu hyvin, šie kun mänet. Šiitä hiän kun rupieui tariččomäh maksuu, nin šie elä ota ni mitä, kyšy vain jauhinkivie. Hiän istuu jauhinkivi šelässä. Še on šemmoni kivi, jotta še jauhou, mitä käset. Hiän ei šitä mielelläh antais, vain kuitenkä antau, kun et muuta ota.

Hiän ottau halon ta lähtöy iellä. Aštuu šini kuni tulou talo. Še istuu kiukualla, še Hiijen ukko, jauhinkivi šelässä. Hiän tervehtiy ta halkuo ojentau. Še kun kopristau šitä halkuo, nin vešt tippuu šitä halošta. Ukko kun ihaštuu, ei tiija mitä i rustuu hänen kera. Šanou:

— Kun ei kenkänä tuo ide, työnnetäh koirie myöte, a koirat ei šuateta, ide šyvväh. Millä mie nyt šiuła maksan?

Kultua ta hopieta tariččou. Šanou še köyhä velli:

— Miula rahua ei tarviče, anna vain še jauhinkivi šelästä. Šanou še:

— Tätä mie en antais, ka kun šie olit nin hyvä, nin mie šiuła annan. Tämä kivi on šemmoni, jotta tätä mitä käset, — šanou, — nin šitä še jauhou.

Ukko kun šuapi kiven ta lähtöy kotihis. Vielä kerkiey roštuolla kotihis. Šanou naisellah, missä hiän kävi ta mistä šen kiven šai. Šanou:

— Panemma nyt tämän kiven jauhomah, mitä meilä pitäy pruasniekakše.

Kivi jauho, mitä heilä piti. Pruasniekka hyvin eletti. Kivi kun kaikkie heilä jauho, ta viimekše köyhä velli rupei tuumaimah.



«Emmäkö myö luaji omua laivua?». Niin hyö luajitah oma laiva, siitä lähetäh koko perehellä merellä. Sielä hyö ajellah, muutama kerran ruvetah keittämäh, a šuolua ei ole. Köyhä käšköy šen kiven jauhua šuolua. Kivi rupesi šuolua jauhomah, ta hiän ei muistan šitä kieltä. Hyö šyötih ta ruvettih muate kaikki. Kuni hyö muattih, kivi jauho laivan täyven šuolua, ta laiva upposi. Sinne mäntih ne kaikki, tai starina loppu.

#### 45. РУЧНОЙ ЖЕРНОВ

Были раньше бедный брат и богатый брат. Живут-поживают, подходит рождество. Бедный брат идет к богатому брату мяса просить.

— Дай-ты, брат, — говорит, — нам мяса — суп сварить к празднику.

Богатый брат принес заднюю ногу коровы, бросил ему эту коровью ногу. Говорит:

— На, бери, носи хоть к Хийси! — кричит ему.

Тот взял эту коровью ногу, идет к дому, думает: «Зачем я это несу домой, раз велели нести к Хийси? Раз велел, так и пойду отнесу Хийси».

Идет, идет, долго ли коротко ли — встречаются там дровосеки. Он спрашивает у тех дровосеков:

— Не знаете ли вы, на правильной ли я дороге, ведет ли эта дорога к Хийси?

Говорят:

— Эта ведет к Хийси, мы для Хийси дрова рубим.

Говорят ему:

— Ты возьми здесь березовое полено. Когда придешь туда, то он сидит на печи, этот хозяин Хийси. Когда придешь, то не подавай ему руки, он схватит руку, а ты протяни это полено. Он очень обрадуется, когда ты придешь. Потом он начнет предлагать плату, а ты не бери ничего, попроси только жернов. Он сидит с жерновом на спине. Это такой жернов, что он мелет все, что велишь. Ему не хочется это отдавать, но все-таки отдаст, если другого ничего не возьмешь.

Он берет полено и идет дальше. Идет, пока не приходит к дому. Этот сидит на печи, этот старик Хийси, с жерновом на спине. Он [бедный брат] здороваётся и протягивает полено. Тот как сжал это полено, так вода из полена закапала. Старик так рад, не знает, что и сделать с ним [с бедным братом]. Говорит:

— Никто не приносит сам [мяса], посылают с собаками, а собаки не привносят, сами съедают. Чем я теперь отплачу?

Золото и серебро предлагает. Говорит этот бедный брат:

— Мне денег не надо, дай только этот жернов, который на спине.

Говорит тот:

— Мне бы не хотелось это отдавать, но раз ты был такой добрый, то я тебе отдам. Это такой жернов, что он, — говорит, — что велишь, то и мелет.

Старик [бедный брат], как только получил жернов, отправляется домой. Еще успевает на рождество домой. Говорит жене, куда он ходил и откуда этот жернов достал. Говорит:

— Теперь заставим этот жернов молоть, что нам нужно к празднику.

Жернов намолот, что им нужно было, праздник хорошо справили. Когда жернов им намолот всего, то под конец бедный брат стал раздумывать: «Не сделать ли нам свой корабль?». Так они сделали свой корабль, и отправляются всей семьей на море. Там они плавают, как-то раз начинают варить, а соли нет. Бедный [брат] велит этому жернову намолоть соли. Жернов начал молоть соль, а он [бедный брат] забыл его остановить. Они поели и легли все спать. Пока они спали, жернов намолот полный корабль соли, и корабль утонул. Так все пропало, да и сказка кончилась.

#### 46. AKKA I KATTILA

Elettih muinoin ukko da akka. Heilä oli yksi kattila da pirtti paha-paha. Ukko kuoli. Akka da kattila d'iač'ih eloh. Akalla rubezi himottamah huttuo. Akka läksi ovešta, kattila karjuu:

— Anna mie lähen!

Kattila läksi, vieröy, vieröy toizen bohatan talon ed'eh. Šieldä tuldih niitolda ukko, akka da kazakat. Ruvettih huttuo keittämäh, heilä kattiloa ei ni ollu. Ukko rubezi huhuomah:

— Kattila on veräjän ieššä, ragaičetta kattiloida!

Šiidä akka otti kattilah, rubezi huttuo keittämäh. Nošsetin kattila stolalla. Ruvettih ašteida panomah. Kattila hyppäzi stolalda da rubezi vierömäh oman veräjän ed'eh. Karjuu akalla:

— Avua veräjät!

Akka avazi veräjän. Nošti kattilan stolalla, otti hutun, piästi aštiēh, otti kattilan, pezi da pani hingalolla...

Šiidä akka šanou:

— Himottau voida.

Tuaš kattilan työndäy voida eččimäh. Kattila läksj da vieri tuaš veräjän ed'eh. Šielä vanha akka voida kolauttau. Akka voin kolautti, ei ole ni mihi piästyä. Šiidä läksi toizešta talošta aštetta kyžymäh. Kaččou — kattila on veräjän ieššä, ottau žen kattilan da voin piäštäy ših kattilah. Akka pezi voin da šuolazi, pani šiidä stolalla. Kattila hyppäzi tuaš da läksi vierömäh oman veräjän luo. Karjuu akalla:

— Avua veräjäl!

Akka šöi huttuo voin keralla, nouzi kiugoalla da šanou:

— Ukkuo himottau.

Kattila läksi vierömäh. Vieri, vieri vierahalla šittatungivolla. Kaččou, tulou ukko ulloš. Ukko kaččou, tässä on kattila, pidäy kattilah ulloštauduo. Hiän kun rubezi kattilah šittumah, kattila i puuttu perzieh. Kattila vierömäh, ukko karjumah. Kattila vieri oman veräjän ed'eh. Akallah tuas karjuu:

— Avua veräjät, akkal!

Kaččou — ukko kattilašša. Šiidä šanou akka ukolla:

— Nouže poigeš kiugualla.

#### 46. СТАРУХА И КОТЕЛ

Жили в старину старик и старуха. У них был всего один котел да изба плохая-плохая. Старик умер. Старуха и котел остались. Старухе захотелось каши. Старуха стала выходить, котел заорал:

— Дай я пойду!

Котел пошел, катится, катится к дому богача. Там пришли с сенокоса муж, жена и работник. Стали кашу варить, а у них котла-то и не было. Муж закричал:

— Вот котел у ворот, зачем котлами бросаешься?

Потом жена взяла котел, стала кашу варить. Поставили котел на стол. Стали посуду расставлять. Котел прыгнул со стола и покатился к воротам. Кричит старухе:

— Открывай ворота!

Старуха открыла ворота. Поставила котел на стол, кашу пере-ложила в другую посуду, котел вымыла и положила на шесток. Потом старуха говорит:

— Масла хочется.

Опять отправляет котел масла искать. Котел пошел и опять прикатил к воротам. Там старуха масло сбивает. Старуха масло сбида, некуда выложить. Потом пошла в соседний дом посуду просить. Смотрит — котел перед воротами, берет этот котел и масло перекладывает в тот котел. Старуха вымыла масло и посолила, потом поставила на стол. Котел прыгнул опять и покатился к своим воротам. Кричит старухе:

— Открой ворота!

Старуха наелась каши с маслом, залезла на печку и говорит:

— Мужа хочется.

Котел покатился. Катился, катился на чужую навозную кучу. Смотрит — выходит старик во двор. Старик смотрит: тут котел, надо в котел сходить по нужде. Он как начал в котел с... , котел и пристал к ж... Котел катится, старик кричит. Докатился котел до своих ворот. Старухе опять кричит:

— Открой ворота, старуха!  
Смотрит — старик в котле. Потом говорит старуха старику:  
— Залезай на печку.

#### 47. LEPPÄPÖLKYN STARINA

Oli ennen ukko ta akka. Heilä ei ole lašta. Akka šanou ukolla:  
— Leikkuasit meččäh käyvveššäs leppäpölkyn, kun meil ei ole lašta, nin rupiesima šitä tuuvvittamah huvikšena.

Ukko mänöy meččäh. Leikkuau leppäpölkyn. Tuou šen kotihih. Akka šanou ukolla:

— Luaji kätyt, mie rupien tätä tuuvvittamah.

Ukko luatiu kätkyön. Akka kiäriy ripakkoih leppäpölkyn. Alkau šitä tuuvvittua kätkyössä. Tuuvvittau kolme vuotta. Erähänä huomenešša rupieu leipomah leipyä. Kätyt on hänellä šiinä vieroššä. Alko kätyt liikkuo ičekseh. Akka kaččou kätkyöh: poikalapši nousi istumah šiihe kätkyöh. Leppäpölkystä tuli kolmevuotini poika. Poika šanou:

— Luaji, muamo, miula rehennysrieška, miul on nälkä.

Akka luatiu pikkaraisen riešan ta pistäy šen kiukuan suuhu paistumah. Rieška kašvo niin suurekse, jotta ei šua šieltä kiukuan šuusta pois, kakšinkerroin piti kiäntyä. Antou pojalla. Poika šöi šen riešan ta šanou:

— Miul on vielä nälkä, luaji vielä toini rieška, pienempi kuin ensimmäini.

Muamo luatiu toisen riešan, vielä pienemmän, panou šen kiukuan suuhu paistumah. Se rieška tuli niin suurekse, jotta ei mitenkänä voi šuaha šieltä kiukuan šuusta pois. Antau šen pojalla. Poika šöi šen riešan ta šanou:

— Luaji kolmas rieška, vielä pienempi.

Muamo ottau oikein pikkaraisen palasen tahasta ta pistäy kiukuan suuhu paistumah. Rieška tuli niin suurekse kiukuašša, jotta nellin kerroin piti kiäntäy, jotta šai šen ulos. Antau pojalla. Poika šyöy šen riešan ta šanou:

— Nyt mie olen jo kylläni.

Kyšyy poika:

— Missä on tuatto?

Muamo šanou:

— Pellolla on kyntämäššä.

Leppäpölkky šanou:

— Tuo miula, muamo, vuattiet. Mie lähen kyntämäh, käšen tuaton poikeš.

Muamo toi hänellä vuattiet. Poika šuorieu. Hiän on niinkuin šuuri mieš, vaikka häntä on vain kolme vuotta tuuvvitettu.

— Nyt lähen, tuaton käšen kotih ta iče rupien kyntämäh.

Muamo šanou:

— Elä lähe, rutto tulou murkinalla.

Poika ei huolin mitänä muamoh šanasta ta māni pellolla, šanou sinne mäntyö:

— Terveh, tuatto!

Ukko kaččomah rupieu ta šanou:

— Eihän meilä ole lašta.

Poika šanou:

— Miehän olen se leppäpölkky, mitä oletta työ tuuvvittan. Miusta tuli poika. Anna mie rupien kyntämäh. Šie māne murkinalla, tuatto.

Rupiei poika kyntämäh. Uatran pisti muaha vuarnahie myöt'e ta kaški heposen mānäh.

Heponi yritti vetämäh uatrua — ei voi vetyä, niin šyvällä oli pissetty uatra muaha. Löi ruošalla hevoista niin lujalla, jotta heponi hyppäi ta kuoli i šiie uatraki rikkautu. A ukko kaččou viereššä. Ukko šanou:

— Ka tapoithan šie heposen.

Poika šanou:

— Kun še kerran oli niin vähähenkini, jotta kuoli kun yhen kerran löin, niin anna māni.

Ukko šanou:

— Lähemmä šyömäh nyt.

Niin hyö lähetäh ukko pojan kera ta ruvetah šyömäh. Poika šöi kaikki ruuvvat, se kun on niin väkövä ta šuuriruokani. Akka kantau, kantau — ei täyvy ni millä. Poika šanou:

— Mitäpä nyt, tuatto, ruattavua?

Tuatto šanou:

— Māne aituš panemah šiie pellolla, missä kyntimä.

Poika māni. Šiinä pellon laijalla oli šuuri meččä. Meččän kaikki kuato pellon piällä. Kirvehen katko, rautakanket paloikse mureteli: niin oli väkövä se Leppäpölkky. Mānöy pirttih, šanou tuatollah:

— Tuommošet ašiet miula ei keštä. Kaikki kirvehet ta rautakanket katkesi.

Ukko šanou:

— Eihän šiula mitkänäh ašiet kessä. Kyl šie šuat lähtie meiltä pois, muuvvalta työtä eččimäh.

Poika šanou:

— Mie lähen. Antakkua miula enšin ruokua.

Akka šanou:

— Vaštahan myö šöimmä. Ei ole mitänä ruokua.

Poika šanou:

— Onhan teilä härkie ta lehmie liävässä.

Akka šanou:

— Ne on vielä tappamatta.

Poika šanou:

— Miula kelpuau ne i tappamatta sygyvä.

Mänöy liäväh poika i šyöy härän. Sitä ei tarvin tappua eikä keittyä, še mäni niin.

Poika läksi muuilmalla ta šanou:

— Kun mie olen niin väkövä, nin kaikki koko tämän linnan väen tapan ta šyön. Lähen nyt toisie väkövie eččimäh.

Ukko ta akka ollah hyvilläh, kun piäštih erilläh pojašta.

Leppäpölkky matkuau ta matan varrella näköy, kun mieš puita ruaššaltau sijoiltah ta toiseh paikkah pissältäy. Leppäpölkky kyšyy mieheltä:

— Mitä šie ruat?

Mies vaštuau:

— Mie olen niin väkövä, jotten tiijä, mihi mie väkeni šuan. Tulin meččäh, jotta kisen puun šijoiltah ta toiseh paikkah issutan.

Leppäpölkky šanou:

— Mie olen niisi väkövä, emmäkö lähe eččimäh toisieki väkövie?

Kuuluu meččästä, kun pačkau oikein lujašti. Leppäpölkky šanou:

— Lähemmä eččimäh. Šiel on vielä muitaki väkövie.

Männäh kohti paukantua. Mieš pačkuttau kahta kallivuo vaššakkah. Leppäpölkky kyšyy:

— Mitä šie, mieš, ruat?

— Mie kun olen niin väkövä, nin pitäy näitä kallivoita pačkuttua vaššakkah, jotta väki vähenis. A ketäpä työ oletta?

Mieš ta Leppäpölkky vaššatah:

— Myö olemma šamoin niitä väkövie ta väkövie eččimä.

— No myöhän olemma kaikki väkövie. Läkka vielä eččimäh toisie väkövie.

Männäh vähäni matkua, tulou šuuri talo. Männäh šiihe taloh ta ruvetah šiihe yökše. Sanotah: «Još ketä tullou tähä, nin kyllä myö ne voitamma, kun olemma kolme väkövyä». Muatah šiinä yö. Huomeneksella Leppäpölkky šanou:

— Nyt kakši lähtöy meččäh ta yksi jiiy keittämäh murkinua.

Jätetäh Puijenpissyttäjä keittämäh murkinua, Leppäpölkky ta Vuarojenloukuttaja lähetäh meččäh. Leppäpölkky šanou Puijenpissyttäjällä:

— Käy liävästä lehmä, tapa ta keitä šen lihat kaikki.

Toiset miehet mäni meččäh. Puijenpissyttäjä otti liävästä lehmän, pani patah, rupei keittämäh. Keitti šen hyväkše, nošti-rokkan puan tulelta pois, pani šen pölkyn piähä. Tuli ukko pirttih: ukko on kynnärän pivuš, parta kahta kynnäryä pitkä. Ottau sen Puijenpissyttäjä, pissältäy šiltä piän pölkyn alla, iče kuatau rokan lat tiella. Lihat šyöy kaikki. (Se oli vielä väkevampi kuin Puijenpissyttäjä).

Puijenpissyttäjällä tuli šemmoni hätä, jotta toiset tullah murkinalla ta šemmoni tapaus on käynyn, jotta rokat on kuattu ta lihat šyöty. Hiän tappau toisen lehmän, panou lihat kiehumah.

Ne ei keritty vielä kiehuo, kun toiset jo mečästä tultih. Puijenpissyttäjyä kirota, kun murkina ei ole valmis. Puijenpissyttäjällä ei šanua tule šuuhu. Leppäpölkky ta Vuarojenloukuttaja purti lihät uutena. (Heil oli niin nälkä mečästä tultuo). Oltih huomeneh. Leppäpölkky šanou:

— Nyt pitäy Vuarojenloukuttajan jäähä keittääh, myö lähemmä Puijenpissyttäjän kera meččäh.

Niin hyö lähetti. Vuarojenloukuttaja tappau lehmän. Panou patah kiehumah. Šai lihät kypšekše, otti puantulelta, pani pölkyn piähä jähtymäh. Tuli ukko kyynärän pivuš, parta kahta kyynäryä ta kyšyy:

— Kenen talošša työ elättä?

Vuarojenloukuttaja šanou:

— Omašša talošša.

Ukko šanou:

— Että elä omašša talošša. Tämä talo ta lehmät on miun.

Ukko panou Vuarojenloukuttajan piän pölkyn alla, kuatau rokan, syöy lihät ta tuas piäštäy Vuarojenloukuttajan pölkyn alta. Vuarojenloukuttaja tappau ruttoseh toisen lehmän, panou patah kiehumah. Lihät ei vielä keritty i kiehuo, kun Puijenpissyttäjä ta Leppäpölkky tultih mečästä. Leppäpölkky on šemmosekse šiantyn, kun ei moneh päiväh ole šuanun kunnan ruokua ta šanou:

— Että kehtua keittäy, kun makuatta.

Puijenpissyttäjä ajattelou: «Kyllä še ukko šaman tempun teki Vuarojenloukuttajalla kuin miula eklein». Šyöti tuas lihät uutena. Oltin huomeneh. Leppäpölkky šanou:

— Mie nyt jän murkinua keittääh, mänkyä työ meččäh.

Leppäpölkky jäi kotih. Tappo lehmän, pani šen lihät patah. Šai rokan valmehekše, nošti šen pölkyn piähä, niinkuin toisetki, jähtymäh. Tulou ukko kyynärän pivuš, parta kahta kyynäryä ta šanou:

— Mitä työ tiälä meinuatta, kun šöittä miulta kaikki lehmät?

Tai rupei panemah Leppäpölkkyö pölkyn alla.

— Elä, tovarissa! — šanou Leppäpölkky ukolla. Ottau šitä parasta kiini ta šanou:

— Šie olet toisilla šitä tempuuo ruatan, vain nyt puutuit miehen käsih!

Niin Leppäpölkky vey meččäh kyynärän pituuvan ukon. Halakuau koiyusen kannon ta šiihe halkuantaisen välih panou ukon parran. Še šiihe i liehahtau[?]. Tullah toiset mečästä. Keitto on valmis heilä. Šyöti šiinä keitto. Leppäpölkky ei vielä šyvvveššä sano, jotta hänellä on ukko parraštah kiini. Šen verran šanou, jotta «miehän šain keiton kypšekše». Šyöti. Leppäpölkky šanou:

— Läkki kačomma miun vankiel!

Männäh kačomah. Leppäpölkky šanou:

— Tämähän teiltä rokan šöi. Ettäpä ole väkövie, kun tuommosen ukon annoitta rokan šyvvvä.

Ottau vičan ta lyöy ukkuo. Ukko pieksäyty, pieksäyty, jo i parta katkei. Parta jäi kannon välih, iče pakeni. Ukko läksi juoksomah — Leppäpölkky jälkeh. Juoššah, juoššah jalekkah. Juostih vuaran piällä. Kallivossa oli reikä. Ukko siitä euklahti ta mäni männeššah. Leppäpölkky tulou jalelläh ta šanou:

— Lähtekkyä ta solahuttakkuu milma reikäh, nin mie lähen eččimäh. En mie niin vähällä sitä ukkuo jätä.

Toiset miehet, Vuaranloukuttaja ta Puijennissyttäjä, lašetah Leppäpölkky siitä reijästä kallivon šiämeh. Sielä on talo. Leppäpölkky mänöy taloh. Tytär, nuori, kaunis kävelöy lattiella i kyšyy:

— Mitä sie, veikkon, tänne tulit? Nyt šiun tuatto tappau, kun sie häneltä parran kisoit. Nyt hiän makuau toiseššä huoneheššä oikein kipienä. Mie olen čuarin tytär. Hiän miut varastj. Sie kun mänet hänen luo, työ toreuvutta. Hiän on šilma väkövämpi. Nyt kun hiän tuli, nin joi elävyä vettä. Kun še ukko šuau šiun allah ta rupieu tappamah, nin sie šano: «Piäššä milma kuulla ta päivällä prostiutumah». Šill aikua sie levähä. Iče sie mäne aittah, juo pullošta elävyä vettä, elävän vejen šijah laita kuollutta vettä. Ukko kun käyt jalestä päin, nin juou kuollehen vejen.

Poika mänöy ukon luo. Ukko kroatatissa läsiy tai šanou:

— Joko rosvoinniekka tulit? Semmoseh paikkah tulit, jotta heität henkeš.

Ukko hyppäi Leppäpölkyn piällä ta niin i kuato pojan. (Nyt ei ole hänellä partua. Parta jäi kannon välih). Leppäpölkky šanou:

— Nyt tapat, piäššä kuulla ta päivällä prostiutumah.

Ukko šanou:

— Mäne.

Leppäpölkky mäni aittah, joi elävän vejen, kuollehen vejen pani šijah ta tuas mäni ukonkera toruamah. Leppäpölkky kun joi šen elävän vejen, nin tuli ukkuo väkövämmäksi. Aiko ukkuo kuristua.

Ukko šanou Leppäpölkkyllä:

— Piäššä sie nyt milma kuulla ta päivällä prostiutumah. Leppäpölkky šanou:

— Mäne.

Ukko juoksi ruttoseh aittah ta joi kuollehen vejen. Hiän luulj, jotta še on elävyä vettä, kun oli varušan valmehekse. Siihe ukko i kuoli ta kuolleššah karjuu tytöllä, jotta «sie miut šuatoit kuolomah, kun šanoit Leppäpölkkyllä». Siihe ukko kuatu kellahti. Poika šanou tyttärellä:

— Nyt lähemmä poikeš.

Tyttö šanou:

— Mielelläni lähengi, — ta antau Leppäpölkkyllä imennoin šormuksen.

Niin hyö otetah ukon koista kallehie tavaroita ta männäh kallivon reijan kohalla. Leppäpölkky liikuttau nuorua, jotta toiset noššettais jalelläh muan piällä. Šitou tytön nuorah ta šanou:

— Mäne sie iellä, ta noššatta siitä miut jalestä.



Miehet nošettih tytär muan piällä. Leppäpölkky jäi vielä sinne. Tyttö šanou:

— Leppäpölkky on šielä. Še pitäy noštua.

Vuaranloukuttaja ta Puijenpissyttäjä šanotah:

— Ei noššeta, olkoh šielä.

Kyšytäh, kenen hiän on tytär. Tyttö šanou, jotta hiän on čuarin tytär. Hänet viijäh čuarih, šanotah:

— Myö tämän tyttären šaimma muan alta.

Tytär ei voi virkkua ni mitänä. Leppäpölkky kävelöy šielä muan alla. Ei piäše ni miten poiše. Ukon talošša on kiukuan perissä ukon akka. Akka itköy, kun ukko kuoli. Leppäpölkky šanou šillä akalla:

— Etkö, akkasen, voi miten šuattua milma muan piällä?

Akka šanou:

— Šuattasin mie kyllä, vain kun ruavoit pahoin i tapoit miulta ukon.

Leppäpölkky šanou:

— Ičepähän oli syyššä, kun rupei miun kera toruamah.

Akka muuttuu hyvin vanhakse korpikše ta šanou:

— Istuuvu šie miula šelkäh, muit'en šie et tiältä piäše.

Korppi lenti reijän šuilla, Leppäpölkyn loi muan piällä, iče mäni männeššäh.

Leppäpölkky mäni šamaseh taloh, missä eli Vuaranloukuttajan ta Puijenpissyttäjä kera. Ei ole miehie, ei tyttä. No totta siitä lähtie täyty johonki. Leppäpölkky mänöy šillä linnalla, missä on čuarin tytär. (Se kun oli šanon, min linnan čuarin tytär hiän on). Mänöy lešk'akkah vatierah. Kyšyy lešk'akalta:

— Eikö mitä tällä linnalla uutta kuulu?

Akka šanou Leppäpölkkyllä:

— Ei tänne mitänä muuta kuulu, kuin čuarin tytär oli kavokšissa muan alla viisitoista vuotta. Nyt kakši miestä häntä löyvetih ta toisen kera pijetäh häitä.

Leppäpölkky niijen jalkojeh šijalta pyörähtäy ta lähtöy čuarin kotih aštumah. Tytär šilminä-korvina varteiččou ikkunašta, jotta eikö näkyis sitä miestä, Leppäpölkkyö, mikä pelašti hänet muan alta.

Leppäpölkky alko hypitellä čuarin ikkunan alla kiässäh šormušta. Čuarin tytär näköy ikkunašta šamammoisen miehen, kuin oli Leppäpölkky, ta kaččou: niin ois kuin hänen antama šormuš. Čuarin tytär juokšou Leppäpölkyn luo ta kyšyy:

— Mitein šie olet tänne piäššyn? — ta kertou Leppäpölkkyllä, mitein hiän iče piäsi.

Čuarin tytär viey Leppäpölkyn tuattoh luo ta šanou:

— Tuatto, tämä on še mieš, mi milma pelašti muan alta. Täšš on imennoi šormuš, minkä mie olen hänellä antan, kun lupauvuin hänellä moršiemekše.

Čuari anto tyttären Leppäpölkkyllä. Ruvettih pitämäh häitä. Toiset, valehtelijat miehet, ammuttih.

Šiihe še Leppäpölkyn starina i loppu.

## 47. СКАЗКА ОБ ОЛЬХОВОЙ ЧУРКЕ

Были раньше старик да старуха. У них не было детей. Старуха говорит старику:

— Срубил бы ты в лесу ольховую чурку, хоть бы ее для забавы качали, раз у нас нет детей.

Старик идет в лес. Срубил ольховую чурку, принес ее домой. Старуха говорит старику:

— Сделай колыбель, я буду ее качать.

Старик сделал колыбель. Старуха завернула ольховую чурку в тряпки, начала ее качать в колыбели. Качала три года. Однажды утром стала клевать печь. Колыбель около нее стоит. Начала колыбель сама по себе качаться. Старуха посмотрела: мальчик сидит в колыбели. Из ольховой чурки вышел трехлетний мальчик. Мальчик говорит:

— Испеки, мать, мне лепешку, я есть хочу.

Старуха сделала маленькую лепешку и сунула в устье печи. Лепешка стала такая большая, что ее нельзя было вынуть, пришлось сложить вдвое. Дала мальчику. Мальчик съел эту лепешку и говорит:

— Я еще есть хочу, сделай другую лепешку, поменьше первой.

Мать сделала лепешку еще меньше, положила в устье печи. Лепешка стала такая большая, что еле удалось вытащить из печи. Дала лепешку мальчику.

Мальчик съел лепешку и говорит:

— Сделай третью лепешку, еще меньше.

Мать взяла махонький кусочек теста и сунула ее в устье печи. Лепешка стала такая большая, что пришлось четверо сложить, чтобы вынуть из печи. Дала мальчику. Мальчик съел и эту лепешку и говорит:

— Теперь я сыт.

Спрашивает сын:

— Где отец?

Мать говорит:

— В поле пашет.

Ольховая Чурка говорит:

— Принеси мне, мать, одежду. Я пойду пахать, отпущу отца.

Мать принесла ему одежду. А он как взрослый мужчина, хоть его только три года качали.

— Теперь пойду, отпущу отца домой, а сам буду пахать.

Мать говорит:

— Не ходи, он скоро придет обедать.

Сын не послушался матери и пошел в поле. Придя туда, говорит:

— Здравствуй, отец!

Старик посмотрел и говорит:

— У нас ведь нет сына.

Мальчик говорит:

— Я ведь та ольховая чурка, которую вы качали. Вот вам и сын. Дай я буду пахать. Ты, отец, иди обедать.

Начал сын пахать. Всадил соху в землю до самых сошников и понукает лошадь. Лошадь потянула — не может вытянуть, глубоко сидит соха в земле. Ударил лошадь плетью так сильно, что лошадь рванулась и дух испустила, тут и соха сломалась. А старик стоит рядом и смотрит.

Старик говорит:

— А ведь ты лошадь-то слубил.

Сын говорит:

— Раз она была такая слабосильная, что от одного удара сохла, так туда ей и дорога.

Старик говорит:

— Пошли теперь обедать.

Пошел старик с сыном и стали есть. Сын съел все, что было — ведь ему надо было много еды, раз он был такой сильный. Старуха приносит, приносит еду — никак не накормит. Сын говорит:

— Что теперь, отец, надо делать?

Отец говорит:

— Иди поставь изгородь на то поле, где мы пахали.

Сын пошел. Возле поля был большой лес. Он тот лес свалил на поле. Топор сломал, железные ломы на кусочки искрошил — такой сильный был этот Ольховая Чурка. Пришел в избу, говорит отцу:

— Такие орудия не по мне. Все топоры и ломы сломались.

Старик говорит:

— В твоих руках все орудия сломаются. Придется тебе уйти от нас, в другом месте работы поискать.

Сын говорит:

— Я уйду. Дайте только мне сперва поесть.

Старуха говорит:

— Мы же только что ели. Еды никакой нет.

Сын говорит:

— Есть ведь у вас коровы и быки в хлеву.

Старуха говорит:

— Они еще не зарезаны.

Сын говорит:

— Для меня сойдут и не зарезанные.

Идет в хлев и съедает быка. Не надо было ни резать, ни варить, так съел.

Сын собрался идти бродить по свету, говорит:

— Раз я такой сильный, то я в этом городе всех людей убью и съем. Пойду теперь других силачей искать.

Старик да старуха рады, что избавились от сына.

Ольховая Чурка отправляется в путь и по дороге видит, как человек деревья с корнями вырывает и в другое место их сажает. Ольховая Чурка спрашивает у человека:

— Что ты делаешь?

Человек отвечает:

— Я такой сильный, что не знаю, куда девать свою силу. Пришел в лес, вырву дерево с корнями и пересажу в другое место.

Ольховая Чурка говорит:

— Я тоже сильный, не пойти ли нам вместе поискать других сильных?

Из лесу слышно, как что-то сильно стучит. Ольховая Чурка говорит:

— Пойдем поищем. Там есть и другие силачи.

Идут на этот стук. Человек скалой по скале бьет. Ольховая Чурка спрашивает:

— Что ты делаешь?

— Я такой сильный, что приходится скалой по скале стучать, чтобы силы убавилось. А вы кто такие?

Тот человек с Ольховой Чуркой отвечают:

— Мы тоже силачи и силачей ищем.

— Ну так мы все силачи. Пойдем еще поищем силачей.

Идут немного, встречается большой дом. Заходят в дом и остаются тут ночевать. Говорят: «Если сюда кто придет, так уж мы его поборем, коли нас трое силачей собралось». Переспали тут ночь. Утром Ольховая Чурка говорит:

— Теперь пусть двое идут в лес, а один останется варить обед.

Оставляют того, кто деревья вырывал, варить обед, а Ольховая Чурка и тот, кто скалами стучал, отправляются в лес. Ольховая Чурка говорит тому, что деревья вырывал:

— Возьми в хлеву корову, зарежь и свари все мясо.

Другие ушли в лес, тот, кто деревья вырывал, взял в хлеву корову, положил в котел, начал варить. Сварил, снял котел с огня, поставил на колоду. Пришел в избу старик: сам ростом с локоть, а борода два локтя. Схватил того, кто деревья вырывал, сунул его голову под колоду, суп на пол вылил, все мясо съел. (Старик сильнее того человека, который деревья вырывал). Повар засуетился — ведь скоро другие придут на обед, а с ним такая беда приключилась: суп вылит, а мясо съедено. Он режет другую корову, ставит мясо вариться. Не успело мясо свариться, как другие пришли из лесу. Ругают того, кто деревья вырывал, за то, что обед не готов. Тот слова сказать не может. Ольховая Чурка и тот, который скалами стучал, съели мясо недоваренным (такие были голодные, когда из лесу пришли). Настало другое утро. Ольховая Чурка говорит:

— Теперь останется варить тот, кто скалами стучал, мы пойдем в лес.

Так они пошли. Тот, кто скалами стучал, зарезал корову, мясо положил в котел вариться. Сварил мясо, снял котел с огня, поставил на колоду, чтобы остыло. Пришел старик: ростом с локоть, борода два локтя — и спрашивает:

— В чьем доме вы живете?

Тот, кто скалами стучал, говорит:

— В своем доме.

Старик говорит:

— Не в своем доме вы живете. Этот дом и коровы — мои.

Старик сунул голову того, кто скалами стучал, под колоду, суп вынул, мясо съел и потом отпустил повара. Тот быстренько режет другую корову, ставит котел на огонь. Мясо еще и не закипело, как пришел из лесу Ольховая Чурка и тот, кто деревья вырывал. Ольховая Чурка не на шутку рассердился, потому что несколько дней не видал настоящей еды, и говорит:

— Вам лень варить, спите, наверно.

Тот, кто деревья вырывал, думает: «Старик выкинул ту же штуку, что и со мной вчера». Опять съели мясо сырым. На утро Ольховая Чурка говорит:

— Теперь я останусь варить обед, идите вы в лес.

Ольховая Чурка остался дома. Зарезал корову, мясо положил в котел. Сварил суп, поставил его на колоду, чтобы остыла — как и другие делали. Приходит старик: ростом с локоть, борода два локтя — и говорит:

— Что вы тут затеяли: всех коров у меня приели?

И хотел было засунуть Ольховую Чурку под колоду.

— Не выйдет, товарищ, — говорит Ольховая Чурка старику. Схватил его за бороду и говорит:

— Ты с другими такие штуки выкидывал, но сейчас ты попал в руки мужчине.

Ольховая Чурка уводит старика с локоток в лес. Расщепил березовый пенек, и в ту щель положил бороду старика. Ее тут и прищемило. Приходят другие из лесу. Суп для них готов. Пошли супа. Ольховая Чурка во время еды не говорит, что у него старик за бороду привязан. Только и сказал, что «я-таки доварил суп». После Ольховая Чурка говорит:

— Пойдем посмотрим на моего пленника.

Пошли смотреть. Ольховая Чурка говорит:

— Этот ведь у вас суп съедал. Не очень вы сильные, коли такому старику дали съесть суп.

Взял прут и начал стегать старика. Старик рвался, рвался, борода и оборвалась. Борода осталась в щели пня, сам убежал. Старик пустился бежать — Ольховая Чурка за ним. Бегут, бегут друг за другом. Прибежали на вершину горы. В скале была дыра. Старик туда юркнул — и след его простыл. Ольховая Чурка возвращается обратно и говорит:

— Пойдемте спустите меня в дыру, я пойду этого старика искать. Я так легко от него не отступлюсь.

Другие спустили Ольховую Чурку через ту дыру внутрь скалы. Там стоит дом. Ольховая Чурка заходит в дом. Девушка молодая, красивая, ходит по избе, спрашивает:

— Зачем ты, братец, сюда пришел? Теперь тебя отец убьет, за то что ты у него бороду оторвал. Он сейчас лежит в другой комнате совсем больной. Я царская дочь. Он [старик] меня похитил. Ты как подойдешь к нему, вы начнете биться. Он сильнее тебя. Он как пришел, то выпил живой воды. Когда старик тебя одолеет и начнет убивать, то ты скажи: «Отпусти меня проститься с луной и солнцем». Тем временем ты поотдохнешь. Иди в клеть, выпей из бутылки живой воды, а вместо живой воды поставь бутылку с мертвой водой. Старик придет после тебя и выпьет мертвую воду.

Парень пошел к старику. Старик лежит на кровати и говорит:

— Уже пришел, разбойник? В такое место пришел, что дух испустишь.

Старик бросился на Ольховую Чурку и свалил парня. Теперь у него бороды-то нет. Борода осталась в щели пня. Ольховая Чурка говорит:

— Теперь ты меня убьешь. Отпусти с луной и солнцем проститься.

Старик говорит:

— Иди.

Ольховая Чурка пошел в клеть, выпил живую воду, на место поставил мертвую воду и опять пошел со стариком биться. Ольховая Чурка как выпил живую воду, то стал сильнее старика. Начал старика душить. Старик говорит Ольховой Чурке:

— Отпусти теперь ты меня проститься с луной и солнцем.

Ольховая Чурка говорит:

— Иди.

Старик живо побежал в клеть и выпил мертвую воду. Он думал, что это живая вода, которую заранее приготовил. Старик тут и умер и, умирая, крикнул девушке, что «ты меня до смерти довела, потому что сказала Ольховой Чурке». Старик тут упал замертво. Парень говорит девушке:

— Теперь уйдем отсюда.

Девушка говорит:

— С удовольствием уйду, — и дает Ольховой Чурке свое именное кольцо.

Взяли они из дома старика дорогие вещи и подошли к дыре. Ольховая Чурка дернул за веревку, чтобы те другие вытащили обратно на землю. Привязал девушку к веревке и говорит:

— Иди ты вперед, а потом меня поднимете.

Мужчины подняли девушку на землю. Ольховая Чурка там остался. Девушка говорит:

— Ольховая Чурка там, его надо вытащить.

Другие говорят:

— Не вытащим, пускай останется там.

Спрашивают, чья она дочь. Девушка говорит, что она дочь царя. Они приводят ее к царю, говорят:

— Мы эту девушку раздобыли из-под земли.

Девушка ничего не может сказать.

А Ольховая Чурка ходит там под землей. Никак не может оттуда выйти. В доме старика за печкой сидит старуха, жена старика. Она плачет, что старика убили. Ольховая Чурка говорит той старухе:

— Не можешь ли, бабушка, как-нибудь меня доставить на землю?

Старуха говорит:

— Я бы могла, но ты плохо сделал, что у меня старика убил.

Ольховая Чурка говорит:

— Он же сам был виноват, зачем стал со мной драться.

Старуха обернулась старым вороном и говорит:

— Садись мне на спину, иначе тебе отсюда не выйти.

Ворон подлетел к дыре, сбросил Ольховую Чурку, сам скрылся. Ольховая Чурка пошел в тот дом, где они жили втроем, три силача. Нет ни тех мужчин, ни девушки. Ну, надо, видно, куда-то податься. Ольховая Чурка идет в тот город, откуда была эта царская дочь. (Она ему сказала, какого царя она дочь). Идет к старой вдове проситься на квартиру. Спрашивает у вдовы:

— Что нового слышно в этом городе?

Старуха говорит Ольховой Чурке:

— Ничего здесь нового нет, кроме как царская дочь была пятнадцать лет под землей, а теперь ее двое мужчин нашли, и за одного из них выдают ее замуж.

Ольховая Чурка тут же повернулся и пошел к царскому дому. Девушка глаз не сводит с окна, смотрит, не появится ли Ольховая Чурка, который ее освободил из-под земли.

Ольховая Чурка остановился под окнами царя и стал подбрасывать на ладони кольцо. Царская дочь видит в окно человека, похожего на Ольховую Чурку, и смотрит — как будто ее кольцо у него. Дочь царя подбегает к Ольховой Чурке и спрашивает:

— Как ты сюда попал? — и рассказывает ему, как сама оказалась здесь.

Она ведет Ольховую Чурку к отцу и говорит:

— Отец, это тот самый человек, который освободил меня из-под земли. Вот мое именное кольцо, которое я ему дала, когда обещала стать его невестой.

Царь выдал дочь за Ольховую Чурку. Начали играть свадьбу. Тех, обманщиков, расстреляли.

На этом и кончилась сказка про Ольховую Чурку.

#### 48. YHEKSÄN KULLAISTA POIKUA

Oli ennen leskiakkani. Hänellä on kolme tytärtä. Käyväh iltua istumassa kyyssä. Sanou vanhin tyttö:

— Mie suan yhestä osrajyvstä sotaviällä ruuvan.

Toini tyttö sanou:

— Mie suan yhestä linankuijusta sotaviällä vuattiet.

Nuorin tyttö sanou:

— Mie suan kolme kullaista poikua yheessä kohussa: kiät kultaset kalvosista suahen, jalat hopieset polvista suahen, kuutamaiset kulmilla, simcukkaiset silmillä, otavaiset olkapäillä, tähet taivan harteilla.

Samoin lähetäh toisena iltana kyyh iltua istumah, samat sanat tolkkuijah, a cuarin poika kuuntelou ikkunan alla.

Kolmena iltana käyväh sielä kyyssä.

Cuarin poika sanou tuatollah:

— Hospoti plahoslovi, tuatto, mie lähen leskiakan nuorempah tyttöh sulhasiksi.

— Mitä sie lähet niin alhaiseh siätyh, suammahan myö koriempie siätyjä cuarih.

Lähtöy hiän. Läksi tai ottau morsiemekseh sen leskiakan tytösen.

Ollah-eletäh, se tulou naini kohtuseksi. Lähtöy cuarin poika merellä. Naini suau kolme poikua sillä aikua: kiät kultaset on kalvosista suahen, jalat hopieset polvista suahen, kuutamaiset kulmilla, simcukkaiset silmillä, otavaiset olkapäillä, tähet taivan harteilla. Lähtöy cuari puapuo eccimäh. Tulou Šyötär-akka vastah:

— Kunne läksit, cuari-kormelicca?

— Tänne läksin linnalla kävelömäh.

— Tiijän, tiijän, puapuo mänet eccimäh, ota milma puapoloiksi!

— Enkä ota, enkä!

Lähetth tuas astumah. Se Šyötär-akka tuas juoksou poikki polvelta vastah.

— Ota milma puapoloiksi, tiälä miän linnalla ei ole ketänä muita kun Šyöttäriä.

— Totta se pitäy ottua.

— Ala männä kotihis, — sanou Šyötär-akka cuarilla, — mie käyn riepuo ta vastua.

Mäni, otti kolme hurtan poikaraiskua, vei ne sillä naisella, a ne kolme kullaista poikua otti ta vei vihantah peltoh, valkieh vainivoh, valkien kiven alla. Mänöy pirttih, kysytäh häneltä, jotta mitä sielä on.

— On sielä, kolme hurtan poikaraiskua, ei ni mitänä muuta!

Ollah-eletäh. Mies tulou mereltä. Miehellä sanotah. Miehellä on paha mielestä. Ollah-eletäh tuas kotva aikua, mi oltaneh. Tuas naini jäy kotih, a mies lähtöy merellä. Tai suau tuas kolme poi-



kua kullaista, kuin ennenki. Työnnetäh tuas çuari puapuo eccimäh. Tuas se sama Šyötär-akka tulou vastah:

— Kunne läksit, çuari-kormelicca?

— Tänne kävelömäh.

— Tiijän, puapuo ecit, ota milma puapoloiksi!

— Enkä ota, enkä!

Tuas lähettih, se Šyötär-akka juoksi meccia myöte kiirehesti, tulou vastah toisen kerran.

— Ota milma puapoloiksi.

— En ota.

— Ka ei ole muuta miän linnalla, kun Šyötär-akkoja.

— No hoš ottanen, — sanou çuari.

— Mäne, ala männä, niin otan puapolapsillani riepua ta vastua.

Tuas mänöy naisen luo, ottau ne kultaset pojat, viedy ne vihantah peltöh, valkieh vainivoh, va'kien kiven alla, a tilah panou kolme variksen poikua. Mänöy pirttih, kysytäh häneltä:

— Mitä sielä on?

— No että tätä tiijä suajua, kolme variksen poikua on!

Tulou tuas çuarin poika kotih, hänellä on hyvin paha mielestä. Tuas se naini tulou kohulliseksi, a çuarin pojan pitäy lähtie merellä. Sanou çuarin poika, jotta kun ei suane parempie lapsie nyt kolmannella kertua, niin se naini pitäy uhotie. Tuas ni suau se naini kolme kullaista poikua. Tuas çuari työnnetäh puapuo eccimäh. Käveli ikäh-aikah, tai toi sen saman Šyötär-akan. Syötär toi kolme harakan poikua, a se naini kerkisi yhen pojan peittiä sorokah alla.

— Kunne panit yhen pojan? — karjuu Šyötär.

— Ei ni ollun kun kaksi.

Ottau ne kaksi poikua ta viedy tuas sinne vihantah peltöh, valkieh vainivoh, valkien kiven alla.

— Nyt se pitäy tappua, — tuumatah.

Mies kirjuttau, jotta uhotiet pois. Naini sanou, jotta «elkiät tappuat, työntiät maailmalla».

Šiitä häntä pannah poçkah ta työnnetäh mereh poikah kera. Se poika kašvau poçkašsa. Kuunnellah, kun koskou poçka, çylkytätäy pohjah. Poika sanou:

— Prosti muamo, mie nuppinieklalla puhkuan reijän, kaçomma, missä olemma.

— Elä, poikan, kuolemma.

— Kuolomahhan miät on ni työnnetty.

Poika puhkai loukon ta kaçcou:

— Niin pitäis olla kuin muata vassen. Mua on, ka mi mua on?

Prosti, muamo, mie po kuan poçkan puhki, niin piäsemmä mualla.

— Juma'a prostieh.

Poika potkai poçkan halki, ta hyö piästih mualla. Kacotah — kun on kaunis çuari.

— Annaš, muamo, — sanou, — hivušrihmas.

#### 49. YHEKSÄN KULLAISTA POIKUA

Oli ennen leškiakkani. Hänellä on kolme tytärtä. Käyväk iltua istumašša kylyššä. Šanou vanhin tyttö:

— Mie šuan yheštä osrajvähštä šotaviällä ruuvan.

Toini tyttö šanou:

— Mie šuan yheštä liinankuijušta šotaviällä vuattiet.

Nuorin tyttö šanou:

— Mie šuan kolme kullaista poikua yheššä kolušša: kiät kultaset kalvosista šuahen, jalat hopieset polvista šuahen, kuutamaiset kulmilla, šimčukkaiset šilmillä, otavaiset olkapäillä, tähet taivan harteilla.

Šamoin lähetäh toisena iltana kylyh iltua istumah, šamat šanat tolkkuijah, a čuarin poika kuuntelou ikkunan alla.

Kolmena iltana käyväk šielä kylyššä.

Čuarin poika šanou tuatollah:

— Hospoti plahoslovi, tuatto, mie lähen leškiakan nuorempah tyttö šulhäsi.

— Mitä šie lähet niin alhaiseh šiatyh, šuammahan myö kor-kiempie šiatyjä čuarih.

Lähtöy hiän. Läksi tai ottau moršiemekšeh šen leškiakan tytöšen.

Ollah-eletäh, še tulou naini kohtušekši. Lähtöy čuarin poika merellä. Naini šuau kolme poikua šillä aikua: kiät kultaset on kalvosista šuahen, jalat hopieset polvista šuahen, kuutamaiset kulmilla, šimčukkaiset šilmillä, otavaiset olkapäillä, tähet taivan harteilla. Lähtöy čuari puapuo eččimäh. Tulou Šyötär-akka vaštah:

— Kunne läksit, čuari-kormeličča?

— Tänne läksin linnalla kävelömäh.

— Tiijän, tiijän, puapuo mänet eččimäh, ota milma puapoloiksi!

— Enkä ota, enkä!

Lähettih tuas aštumah. Še Šyötär-akka tuas juokšou poikki polvelta vaštah.

— Ota milma puapoloiksi, tiälä miän linnalla ei ole ketänš muita kun Šyöttäriä.

— Totta še pitäy ottua.

— Ala männä kotihis, — šanou Šyötär-akka čuarilla, — mie käyn riepuo ta vaštua.

Mäni, otti kolme hurtan poikaraiskua, vei ne šillä naisella, a ne kolme kullaista poikua otti ta vei vihantah peltoh, valkieh vainivoh, valkien kiven alla. Mänöy pirtti, kyšytäh häneltä, jotta mitä šielä on.

— On šielä, kolme hurtan poikaraiskua, ei ni mitänš muuta!

Ollah-eletäh. Mieš tulou mereltä. Miehellä šanotah. Miehellä on paha mieleštä. Ollah-eletäh tuas kotva aikua, mi oltaneh. Tuas naini jäy kotih, a mieš lähtöy merellä. Tai šuau tuas kolme poi-

kua kullaista, kuin ennenki. Työnnetäh tuas čuari puapuo eččimäh. Tuas še sama Šyötär-akka tulou vaštah:

- Kunne läksit, čuari-kormeličča?
- Tanne kävelömäh.
- Tiijän, puapuo ečit, ota milma puapoloiksi!
- Enkä ota, enkä!

Tuas lähettik, še Šyötär-akka juokki meččiä myöte kiirehešti, tulou vaštah toisen kerran.

- Ota milma puapoloiksi.
- En ota.
- Ka ei ole muuta miän linnalla, kun Šyötär-akkoja.
- No hoš ottanen, — šanou čuari.

— Mäne, ala männä, niin otan puapolapšillani riepua ta vaštua.

Tuas mänöy naisen luo, ottau ne kultaset pojat, vief ne vihan-  
tah peltoh, valkieh vainivoh, valkien kiven alla, a tilah panou kolme variksen poikua. Mänöy pirttih, kyšytäh häneltä:

- Mitä šielä on?
- No että tätä tiijä šuaua, kolme variksen poikua on!

Tulou tuas čuarin poika kotih, hänellä on kyvin paha mielestä. Tuas še naini tulou kohullisekkä, a čuarin pojan pitäy lähtie merellä. Šanou čuarin poika, jotta kun ei šuane parempie lapsie nyt kolmannella kertua, niin še naini pitäy uhotie. Tuas ni šuau še naini kolme kullaista poikua. Tuas čuari työnnetäh puapuo ečči-mäh. Käveli ikäh-aikah, ta toi še saman Šyötär-akan. Šyötär toi kolme harakan poikua, a še naini kerkisi yhen pojan peittiä sorok-  
kah alla.

- Kunne panit yhen pojan? — karjuu Šyötär.
- Ei ni ollun kun kakši.

Ottau ne kakši poikua ta vief tuas šinne vihan-  
tah peltoh, valkieh vainivoh, valkien kiven alla.

— Nyt še pitäy tappua, — tšumatah.

Mieš kirjuttau, jotta uhotiet pois. Naini šanou, jotta «elkiät tappuat, työntät maailmalla».

Sitta häntä pannah počkah ta työnnetäh mereh poikah kera. Še poika kävyu počkaša. Kuumellah, kun koškou počka, čylkyt-  
täh poijah. Poika šanou:

— Prosti muamo, mie nuppinieklalla puhkuan reijän, kačomma, missä olemma.

- Elä, poikan, kuolemma.
- Kuolomahhan miät on ni työnnetty.

Poika puhkai loukon ta kaččou:

— Niin pitäis olla kuin muata vaššen. Muä on, ka mi muä on?  
Prosti, muamo, mie počkuan počkan puhki, niin piššemmä mualla.

— Jumala prostieh.

Poika potkai počkan halki, ta hyö pišštih mualla. Kačotah —  
kun on kaunis šuari.

— Annas, muamo, — šanou, — hivušrihmaš.

Otti hivosrihmat ta löi kolme kertua ristih. Tuli kaunis linna ta kaikkie mitä suinki voipi olla.

— Luaji, muamo, kaheksän paitua ta kaheksän rieskua nännimajostaš, mie lähen vellijäni ečcimäh.

— Elä lähe poikan, Syötär-akka šyöy.

— Ei se nyt šyöy, kun ei ole nuorempana šuanun šyövä.

Muamo luatiu kaheksän paitua ta kaheksän rieskua, hiän lähtöy vellijäh ečcimäh. Mäni suaren rantah, löi hivosrihmoilla kolmicci: kun tuli hopieni silta, vaskiset käsipuut mantereh suahen. Hiän mäni sitä siltua myöte mantereh. Mäni vihantah peltoh, valkieh vainivoh. Heitti stolalla ne riesat ta pajijat, a iče heittih nieklakse ta mäni seinän rakoh peittoh.

Tuli viuhahti kaheksän poikua. Maissellah rieskoja ta sanotah:

— Niin ois kuin muamosen nännimajosta nämä riesat.

Panetellah paitoja:

— Niin ois kuin muamosen luatimat nämä pajijat.

Poika hyppyäy seinän ravošta, sanou:

— Šyökyähän, veikot, ne riesat šuuhuna, pankua pajijat piäl länä, lähemmä kotih.

— Ka emmä myö, veikkon, lähe, miät Syötär šyöy.

— Ei šyö, hyvä se ennen kuin šöi.

Syötih pojat riesat, pantih pajijat piällä ta lähettih kotih mänömäh. Yheksän kullaista poikua mänöy. Šiitä kun muamoh ihaštuu, jotta kaikki hirvie!

Hyö šiitä aletah elyä hyvin, ei ni cuarissa niin hyvin eletä, kuin hyö eletäh. Kävölöy kualikkasie (kysyjie) šielä merenrannalla. Šanotah:

— Mit ollah eläjät tänne ilmeššyty, läkkä kačcomah.

Männäh sinne siltua myöte. Hiät otetah hyvin vaštah, syötetäh, juotetah, kaikki huonehet näytelläh ta annetah matkah evästä.

Šatutah šiitä kulkomah cuarin ikkunan alacci. Cuari pistäy piäh ikkunah:

— Tulkua vanhoja skuaskuja sanomah.

— Meilä on äijän nyt uutta šanomista, ei ole nyt vanhat.

Aletah šiitä šanuo, kun hyö mäntih meren suareh, missä on kaunis linna, kaunehempi kuin cuarilla, šielä on yheksän kullaista poikua ta naini. Lintuset lauielou satušsa ta kaikki.

Cuari oikein häpšistyy, jotta mi on se šemmoini. Pyrittäy kualikkasie šuattamah. Šiitä huomeneksella lähetäh kaikki kačcomah. Männäh sinne suurella šakilla. Kačcellah niitä huonehie ta siltoja. Männäh pirttih. Heitä šielä vaštah otetah, ševätäh. Jo tunnetah mieš naiseh, naini mieheh, pojikseh pakauttelou kultasie poikie cuari. Pyrittäy, jotta «lähtiet pois tiältä».

— Emmähän myö vois lähtie, kun miät kuolomah oletta työntän.

— No että nyt kuole, nyt Syöttäret siltä linnalta hävitäh.

Lähetäh siitä sieltä. Poika se ottau hivušrihmah. lyöy kolme kertua ristih. Ne huonehet kavotah ta kaikki katou šuarelta, mänäh sillan poikki, tai silta katou.

Siitä Syötär-akka sivotah upehilla häntäh: kuh jäi šilmä, kuh käsi, kuh jalka.

Siitä alettih eliä elmetellä. Luajittih pirovanjat kaikella linnalla. Šielä mieki olin, šain kirjakintahat, hernehini ruoška, vahani heponi. Šiitä kun tulin tulipaloh, kun Taipalen Kal'ošša palettih, niin vahani heponi šuli, kirjakintahat palettih, a hernehini ruoška koirat šyötih. Šinne miun hyvyöt mäntih, tai šen pituvuš starina.

#### 48. ДЕВЯТЬ ЗОЛОТЫХ СЫНОВЕЙ

Была раньше старушка-вдова. У нее было три дочери. Ходят дочери вечером в баню на посиделки. Говорит старшая дочь:

— Я приготовлю из одного ячменного зерна еду для всего войска.

Вторая дочь говорит:

— Я сделаю из одного льняного волокнца одежду для всего войска.

Младшая дочь говорит:

— Я рожу за один раз [букв.: из одного чрева] трех золотых сыновей: руки золотые от запястья, ноги серебряные от колена, по месяцу на висках, жемчужины на глазах, Большие Медведицы на плечах, звезды небесные на спине.

Так же идут и на другой вечер в баню на посиделки, те же слова говорят, а царев сын подслушивает под окном. Три вечера ходят туда в баню. Царев сын говорит отцу:

— Благослови, отец, я пойду свататься к младшей дочери вдовы.

— Зачем идешь в такое низкое сословие, могли бы мы взять [невесту] из более высоких сословий.

Отправляется он. Пошел и взял эту дочь старушки-вдовы в жены.

Живут-поживают, жена затяжелела. Отправляется царев сын на море. Жена рожает тем временем трех сыновей: руки золотые от запястья, ноги серебряные от колена, по месяцу на висках, жемчужины на глазах, Большие Медведицы на плечах, звезды небесные на спине. Отправляется царь повивальную бабку искать. Встречается ему баба Сюотяр:

— Куда пошел, царь-кормилец?

— Пошел по городу погулять.

— Знаю, знаю, бабку пошел искать, возьми меня бабкой!

— Не возьму да и не возьму!

Пошли опять дальше. Эта баба Сюотяр опять бежит из-за поворота навстречу:

— Возьми меня бабкой, здесь в нашем городе нет никого, кроме одних Сюотятяр.

— Верно, уж придется взять.

— Иди домой, — говорит баба Сюотяр, — я схожу за пеленками и за веником.

Пошла, взяла трех волчат, отнесла их к той женщине, а тех трех золотых сыновей взяла и унесла в зеленое поле, на белую ниву, под белый камень. Заходит в избу, спрашивают у нее, что кто там родился.

— Есть там три волчонка-заморыша, больше ничего!

Живут-поживают. Муж приходит с моря. Мужу рассказывают, муж опечалился. Живут-поживают опять сколько-то времени. Опять жена остается дома, а муж отправляется на море. Опять рождает трех золотых сыновей, как и раньше. Посылают опять царя бабку искать. Опять та же самая бабка Сюотяр встречается:

— Куда пошел, царь-кормилец?

— Пошел погулять.

— Знаю, бабку ищешь, возьми меня в бабки!

— Не возьму да и не возьму!

Опять пошли, эта баба Сюотяр пробежала быстро по лесу, второй раз встречаются:

— Возьми меня бабкой.

— Не возьму.

— Нет в нашем городе никого, кроме баб Сюотяр.

— Ну, пожалуй, возьму, — говорит царь.

— Ты иди, а я возьму для ребенка пеленок и веник.

Опять идет к женщине, отбирает тех золотых сыновей, относит их в зеленое поле, на белую ниву, под белый камень, а на место кладет трех воронят. Идет в избу; спрашивают у нее:

— Кто там родился?

— Да разве вы не знаете этой роженицы — три вороненка там!

Приходит опять царев сын домой, очень он опечалился. Опять жена затяжелела, а цареву сыну надо отправляться на море. Говорит царев сын, что если жена в этот раз не родит детей получше, то ее надо извести.

Опять и рождает жена трех золотых сыновей. Опять царя посылают бабку искать. Ходил долго ли коротко ли и привел ту же самую бабу Сюотяр. Сюотяр принесла трех сорочат, а эта женщина успела спрятать одного сына под сорокой.\*

— Куда дела одного сына? — кричит Сюотяр.

— Двое и было.

Берет тех двоих сыновей и уносит опять туда в зеленое поле, на белую ниву, под белый камень.

«Теперь ее надо убить», — думают. Муж пишет, что «изведите ее». Жена говорит, что «не убивайте, отпустите в мир».

Потом ее кладут в бочку и бросают в море вместе с сыном. Этот сын растет в бочке. Слышат, как бочка дна моря касается. Сын говорит:

— Прости, мать, я булавкой сделаю дырку, посмотрим, где мы находимся.

— Не надо, сынок, умрем.

— Умирать же нас и бросили.

Сын проткнул бочку и смотрит:

— Должно быть, мы у берега. Тут земля, но какая земля? Прости мать, я разломаю бочку, чтобы выйти на берег.

— Бог простит.

Сын пинком разломал бочку, и они вышли на берег. Смотрят — красивый морской остров.

— Дай-ка, мать, свои косоплетки.

Взял косоплетки и ударил трижды крест-накрест. Появился красивый дворец и все, что только может быть.

— Сделай, мать, восемь рубашек и восемь колобков на своем грудном молоке, я пойду братьев искать.

— Не ходи, сынок, баба Сюотяр съест.

— Теперь уже не съест, коли не съела, когда я помоложе был.

Мать делает восемь рубашек и восемь колобков. Он отправляется братьев искать. Пришел на берег острова, ударил косоплетками трижды — появился серебряный мост, медные перила до материка. Он прошел по этому мосту на материк. Пошел в зеленое поле, на белую ниву. Положил на стол те колобки и рубашки, а сам обернулся иголкой и спрятался в щели стены.

Врываются тут восемь братьев. Пробуют колобки и говорят:

— Кажется, будто на материнском молоке эти колобки.

Примеряют рубашки:

— Кажется, будто мать эти рубашки шила.

Парень выскакивает из щели стены, говорит:

— Съешьте-ка, братья, эти колобки, наденьте рубашки, пойдем домой.

— Нет, братец, не пойдем мы, нас Сюотяр съест.

— Не съест, довольно с нее, что раньше съела.

Съели братья колобки, одели рубашки и отправились домой. Девять золотых сыновей приходят. Тут как мать обрадуется, что даже страшно!

Они начинают жить хорошо, даже у царя так хорошо не живут, как они живут. Ходят там калики (нищие) по берегу моря. Говорят:

— Что за жители здесь появились? Пойдем посмотрим.

Идут туда по мосту. Их хорошо встречают, кормят, поят, все комнаты показывают и дают им с собой подорожников. Случается потом им проходить мимо окон царя. Царь высовывает голову в окно:

— Заходите старые сказки сказывать.

— У нас теперь много нового что сказывать, не старые теперь сказки.

Начинают потом рассказывать, как они пришли на морской остров, где стоит красивый дворец, красивее чем у царя, там девять золотых сыновей и женщина. Птички поют в саду и все такое.

Царь даже остолбенел: что, мол, там такое. Просит нищих проводить его. Потом утром отправляются все смотреть. Идут туда большой толпой. Смотрят — дворец и мост. Заходят в избу. Их там встречают, обнимают. Уже узнает муж жену, жена мужа, сыновьями называет золотых мальчиков царь. Зовет их, что «пойдем отсюда прочь».

— Не можем мы пойти, коли нас умирать бросили.

— Ну, теперь не умрете, теперь из того города все Сюоттари исчезнут.

Отправляются они оттуда. Сын тот берет косоплетки, ударяет три раза крест-накрест. Этот дворец исчезает, и все исчезает с острова, переходят мост — и мост исчезает.

Потом бабу Сюоттар привязывают к хвостам жеребцов: где остался глаз, где рука, где нога.

Потом стали жить-поживать. Устроили пирование для всего города. И я там была, получила узорчатые варежки, гороховую плеть, восковую лошадь. Потом как пришла на пожар, когда в доме Тайпале горели, то восковая лошадь растаяла, узорчатые варежки сгорели, а гороховую плеть собаки съели. Туда мое добро и ушло, да такой длины и сказка.

#### 49. KOLME SISÄREŠTÄ

Oli ennen ukko ta akka. Heilä oli kolme tyttö. Tytöt pyrittih vieristänä kuuntelomah vierissän akkua. Hyö lähettih kuuntelomah ta otettih lehmän nahka matkahaš. Istuuhttih lehmän nahkalla, pantih huppu korvihis ta piirrettih veiçellä nahkašta ympäri. Lehmän häntä kun oli šuorana ta šitä ei piirretty, niin vierissän akka i tuli ta alko vetyä hännästä. Tytöt issutah eikä ruohita ottua huppuo piäštäh. Vierissän akka vei hiät pimieh korpeh hyvin loitoš. Šielä tytöt vašta otettih huppu korvistah. Kaçotah, jotta «missä nyt olemma, kun on meççä? Tänne nyt kuolemmal».

Kävelläh tytöt šielä tuon pitkyä, tämän lyhyttä. Ei ole rahvašta, ei taluo. Jo heilä on nälkä, ta vuattiet repieli, jotta koñita ollah alaççi. Nouštih hyvin šuurella kivellä ta itetäh.

Alko kuuluo koiran haukku. Hyö — jotta «nyt šieltä tulou imehnisie, vain mitä meistä tulou, kun alaççi olemma». Koira tuli, alko haukkuo heitä šieltä kiven piältä. Čuarjo poika oli meçällä, ta hian



tulou kaččomah, mitä koiru haukkuu, pyššy on suorana. Hyö aletah molie čuarin poikua, jotta «ole niin hyvä ta elä ammu meitä, emmä myö ole mitänä otukse, kun ihmisie olemma». Hyö aletah kyšyö, jotta «ketpä työ oletta?». Čuarin poika pyrittäy heitä matkahaš, vain hyö ei luvata lähtie niin alaččomana. Čuarin poika jakau piältäh vuatteitah heillä šuojakše ta lähtöy viemäh kotihis. Vei kyläh, ta vei leškiakalla ruokittavakše. Iče hiän lupasi hommata ruuvat ta vuattiet.

Tytöt ollah hyvin kaunehet, nuorin on kaikista kaunehin. Ne tullah niin ilosikse, jotta kaikki hirvie, kun šuahah vuatetta ta hyvvyä ruokua.

Silloin piti olla kaikkien hil'ua, konša leškiakka moli. Tytöt alettih pyrkie kylyh iltua istumah šillä aikua, jotta hiän šais rauhašša molie. Leškiakka lupai, ta tytöt mäntih kylyh. Čuarin poika tuli leškiakkah, kyšyy:

— Missä tytöt ollah?

Akka šanou, jotta «kylyh mäntih, kun mie rupesin molimah, jottei häirittäis milma. Šielä sovietujah».

Mäni čuarin poika kuuntelomah kylun ikkunan alla, jotta mitä tytöt paissah. Kuuntelou, niin tytöt ollah iänettä, ei virketäi mitä. Vanhin tyttö virkkau, jotta «paška myö hoš mielitietylöistä. Milma kun ottais čuarin ruuvankeitäjä naisekše, niin mie šaisin liinan kuijušta šotamiehillä vuattiet». Keškimmäini tyttö šanou, jotta «mie kun šaisin šen pöyvälläkantajan, niin mie šaisin yheštä osranjyväštä šotamiehillä ruuvan». Kolmas šanou, jotta «miun kun ottais čuarin poika, niin mie šaisin kolme lašta: ensimmäisenä tyttön, mill ois kiät kultaset kalvosista šuahe, jalat hopieset polvista, kuutamaiset kulmilla, otavaiset olkapäillä, tähet taivan harteilla».

Čuarin poika kuuli i läksi pois. Šanou šiiitä ruuvanlaittajalla, jotta «etkö šie ottais tuota vanhinta tyttö naisekšeš, niin piemmä niät ta tuomma tänne». Keittäjä lupauu ottua. Toisella, pöytäkantajalla, tuas šanou, jotta «ota keškimmäini tyttö, niin mie otan nuorimman». Še lupai tuas ottua. Niin hyö kaikki käytih ta otettih tytöt čuarih järeštäh, niin kun luvattih.

Kun alettih elyä šiinä, niin vanhemmat sisäret ollah vihasie nuorimmalla, kun še nyt piäsi čuarin pojalla. Čuarin poika läksi matkoilla ta naini jäi pakšukše. Sisäreh tuumatah šielä, jotta «nyt kun šuau kultasen lapšen, niin otamma pois ta panemma koiranpennun tilalla».

Aika kulu, ta hiän šai tyttären. Sisäreh piätetäh nyt še tappua. Hypättih šitä muka hoitamah, tai vietih koiranpenikka, ta lapši otettih pois. Lapši pantih ripakkoih ta työnneftih lautapalasella jokeh. Lautapalasan kanto tuuli čuarin puutarhan hoitajan rantah. Tarhuri otti lapšen icelläh, kun ei heillä ollun lašta. Čuarin pojalla sisäreh kirjutettih, jotta «naisē šai koiranpenikan».

Ollah-eletäh. Cuarin poika tulou kotih, ta aletah elyäh kun ennenki, ei sen pahempua. Tuas kun cuarin poika lähtöy, ka naini jiiäki paksukse. Nyt hiän ajattelou tulovan semmosen pojan, kuin tyttö sano. Tuas tuli suantiaika, niin sisäret tuas otettih lapsi, työnnettih jokeh lautapa'asella, ta hurtan pentu vietih tilah. Puutarhuri lapsen tuas otti. Cuarin pojalla kirjutetah, jotta «nyt se sai hurtan pennun». Tuli cuarin poika kotih. Jo häntä vähäsen siännyttäis, vain ei virka i mitä.

Lähtöy cuarin poika kolmannen kerran matkoilla. Naini tuas jiiäy paksukse. Tuas — sama kauppa. Nyt partih sijan porsas tilalla. Kucuttih cuarin poika kaccomah, jotta nyt on porsas. Cuarin poika läksi vihassa, jotta nyt hiän sen tappau. Tuli kotih ta kuto se naiseh alacci kivikuvelmah muantiehe päin. Rahvaski hävetäh alacointa, toiset sualiutuu [?].

Lapset kaikki kasvetah puutarhurin luona. Puutarhuri laittau heilä huvikse senmallisen tarhan, kun on cuarillaki. Puutarhan hoitaja vanheni ta kuoli. Lapset jiiätih yksinäh. Hyö rustatah aina sitä puutarhuah, ta siitä tulou niin kaunis ta hyvä, jotta jo toisesta valtakunnasta käyväh sitä kaccomah.

Pojat lähettih kerran mecällä ta tyttö jäi yksin kotih. Tuli muilta mailta vanha akka kaccomah hiän tarhua.

— Kun, — sanou, — sitä on niin kehuttu, niin milmaki himotti nähä.

Tyttö lähtöy näyttämäh.

— Ei tämä vielä ole, — sanou, — valmis, tästä puuttuu kolmie ainetta.

Tyttö kysyy, jotta «mitä se puuttuu?».

— Ka suihkuvua vettä, helisijyä puuta ta icelaulavua lintuo.

Tyttö kysyy, jotta «mistäpä myö ne saisima?».

— Ne on, — sanou, — pohjoistunturien takana. Sielä on semmoni tarha, jotta sielä on, kun voinetta suaha.

Akka mäni pois, ta pojat tultih mecältä. Tyttö kerto, mitä akka oli sanon puutarhasta, mitä puuttuu. Pojat ollah hyvin innokkahie mänömäh.

Vanhin poika läksi käymäh. Ajau tuon pitkyä, tämän lyhyttä, ta tulou ukko vastah, niin vanha jotta ei ni paissa suata. Hiän kericcöy ukolta partua, ta ukko piäsöy pakajamah. Kysyy:

— Onko tällä tiellä heläsijie puita?

— On, — sanou ukko, — se ei olekana vuara loittona. Mie annan siula lakin, ta kun ajat vuaran piällä, niin elä ota lakkie silmiltäs, vaikka mitä karjehta kuullet. Silloin piäset, tai lässä on.

Hiän kun pani lakin silmilläh ta läksi nousomah vuarua myöte, alettih karjuo:

— Kaco, mie olen siun muamos! Tässä on tuattos! Nyt mänet tuleh, palat!

Ei ni kestän poika: vain livahutti lakkie silmiltäh, tai muuttu kivekse.

Koissah kun vuotettih, ta kun ei tullun, niin toini poika läksi ajamah. Se tuas näki ukon, otti lakin, kacahti — tai muuttu kivekse.

Tyttö kun jäi yksinä, niin ajatteli, jotta «mitäpä mieki tässä yksin? Lähen mieki eccimäh». Tuli ukon luo ta pesi sen, kericii parran ta sanou, jotta «juohata nyt hyväsiestä, mitein mie piäsen!». Ukko antau tuas lakin, ta tyttö lähtöy. Niin tyttö läksi iellä, pani lakin silmilläh ta nousou vuarah. Vaikka ois kuin karjuttu, niin tyttö ei ottan lakkie silmiltäh, ta niin piäsi vuaran piällä. Hänellä annetah sieltä helisijän puun oksa, suihkuovua vettä pullossa ta laulava lintu. Tuli vuarah, missä velleh oltih kivenä, ta hänellä kun oli elävyä vettä, niin virotti velleh. Yhessä siitä mäntih kaikki kotih.

Siitä pantih lintu laulamah, suihkuva vesi ta helisijä puu. No tietysti, aina vain enämpi käypi rahvasta kaccomassa.

Ei tyttö eikä pojat tiijetä, jotta hyö ollah cuarin pojan lapsie. Hyö toivotah olovan puutarhurin lapsie. Tyttö sanou laulavalla linnulla, jotta «mitä myö cuarin pojalla syötämmä, kun tulou puutarhua kaccomah: eihän meilä ole niin hyvyä?». Lintu sanou, jotta «käy kaupasta haulie, ta pane monta hunttua niitä kukokse. Hoikkani vehnäkuori vain pane piällä».

Tyttö luati kukon haulista ta kysyy:

— Mitäpä siihi muuta pannah?

— Ei mitänä muuta, kun kukko luuvalla ta pöytäveicci reunah.

Tyttö hätäytyy jotta mitäpä se siitä tulou. Lintu sanou, jotta «mie vastuan».

Cuarin poika tuli vierahikse, kacceli tarhua monta tuntie, käveli nälkähäs suahe, ta tyttö kuccuu hänet siitä kamarih syömäh. Cuarin poika istuutuu pöytäh ta leikkasi veicellä kukon poikki. Haulit ni pirahettih ympäri stolua. Cuarin poika siänty ta kysyy:

— Mintäh tämmösellä valehuksella milma syötät?

Laulava lintu rupei sanomah, jotta «et siekänä, cuarin poika, käytä oikein aseitas: kerran pantih siula lapsekse koiranpentu, toisen kerran hurtanpentu, kolmas kerta sijanporšaš. A siula oli lapset — kiät kultaset, jalat hopieset, ta kaikki niin, kuin naises siula oli luvannun suahe. Vihamiehet kun vajehettih, niin sie naises panit alacci kivikuvelmah, jotta koko kaupunki häpiey. Nämä on tässä siun lapset, puutarhuri kasvatti».

Cuarin poika ottau lapset, piästäy naiseh pois ta alkau elyä elmetellä.

#### 49. ТРИ СЕСТРЫ

Были раньше старик и старуха. У них было три дочери. Дочери попросились в праздник виэриста пойти послушать бабу-виэристу. Они пошли слушать и захватили с собой коровью шкуру. Уселись

на коровьей шкуре, укрылись с головой и прочертили ножом вокруг шкуры. Коровий хвост не обвели чертой, вот и пришла баба-визриста и потащила за хвост. Девушки сидят и не смеют взглянуть на свет. Баба-визриста утащила их далеко-далеко в темную корбу.\* Только там девушки открыли свои лица. Смотрят: «Где мы находимся? Кругом лес, здесь теперь умрем!».

Бродят там сестры, долго ли коротко ли. Нет ни людей, ни жилья. Они голодны, одежда изорвалась, глядишь — скоро голые будут. Взобрались на большущий камень и плачут.

Послышался лай собаки. Они [говорят], что «теперь там идут люди, но что нам делать, когда мы голые». Прибежала собака, стала лаять на них. Царев сын был на охоте, и вот он идет смотреть, на кого собака лает, ружье направил прямо. Они начинают молить царева сына, что «будь так добр, не стреляй в нас, мы не лесные звери, а люди мы».

Он спрашивает, что «кто же вы такие?».

Царев сын зовет их с собой, но они не хотят идти голыми.

Царев сын раздает им кое-что из своей одежды и ведет их к себе домой. Привел в деревню к старой вдове, чтобы та покормила их. Сам обещал достать еду и одежду.

Девушки очень красивые, младшая лучше всех. Они так обрадовались, прямо страх, когда получили одежду и хорошую еду.

Когда вдова молилась, в доме должна была стоять тишина. Девушки стали проситься в баню посидеть, чтобы она могла спокойно молиться. Вдова отпустила, и девушки пошли в баню. Царев сын пришел к вдове, спрашивает:

— Где девушки?

Старушка говорит, что «ушли в баню, когда я стала молиться, чтобы не мешать мне. Там беседуют».

Пошел царев сын под окно бани подслушивать, о чем говорят девушки. Слушает, а девушки молчат, ничего не говорят. Старшая сестра потом молвит, что «поговорим-те хоть о суженых. Если бы меня взял в жены царский повар, то я соткала бы из одного льняного волокна одежду для всего войска». Средняя сестра говорит, что «если бы мне достался царский стольник, то я бы из одного ячменного зерна приготовила бы еду всему войску». Третья говорит, что «если бы меня взял царев сын, то я родила бы трех детей: первую девочку, у которой руки были бы золотые до запястья, ноги серебряные до колен, по луне на висках, Большая медведица на плечах, звезды небесные на спине».

Услышал это царев сын и пошел прочь. Говорит повару, что «не возьмешь ли ты в жены эту старшую сестру, так сыграем свадьбу». Повар обещает взять. Другому, стольнику, тоже говорит, что «возьми ты среднюю сестру, так я возьму младшую». Тот тоже обещал взять. Так они взяли трех дочерей в царский двор, как и обещали.

Когда они начали жить, старшие сестры злятся на младшую за то, что ее взял царев сын. Царев сын уехал, а жена осталась беременной. Сестры ее задумали, что «теперь, как родит золотого ребенка, отнимем его и положим взамен щенка».

Пришло время, и она родила дочь. Сестры решили ее [ребенка] убить. Засуетнились, будто ухаживают за ребенком, положили щенка, а ребенка взяли. Завернули ребенка в тряпки, положили на дощечку и толкнули в реку. Ветром занесло дощечку к берегу царского садовника. Садовник взял ребенка к себе, так как у них не было детей. Цареву сыну сестры написали, что «жена твоя родила щенка».

Живут да поживают. Царев сын приезжает домой, и стали жить как прежде, ничего плохого не было. Опять как царев сын уезжает, жена остается беременной. Теперь он ждет такого сына, как девушка [жена] говорила. Опять наступило время родов, и опять сестры взяли ребенка, положили на дощечку и толкнули в реку, а на место положили волчонка. Опять садовник ребенка взял. Цареву сыну написали, что «на этот раз она родила волчонка». Приехал царев сын домой. Он уже и сердится, но ничего не говорит.

Уезжает царев сын третий раз. Жена опять остается беременной. Опять то же. Теперь положили вместо ребенка поросенка. Вызвали царева сына посмотреть, мол, теперь поросенок. Царев сын поехал разгневанный: решил убить ее [жену]. Приехал домой и замуровал жену голой в каменный столб, лицом к дороге. Людям совестно смотреть на голую, другие жалеют.

Дети все растут у садовника. Садовник разбил для них такой же сад, как у царя. Садовник состарился и умер. Дети остались одни. Они все возятся в своем саду, и он становится таким красивым и хорошим, что уже из другого государства приезжают смотреть его.

Однажды братья пошли на охоту, а сестра осталась одна дома. Приехала из других стран старая женщина посмотреть их сад.

— Его так расхваливают, — говорит. — что и мне захотелось увидеть.

Девочка пошла показывать.

— Здесь не все еще готово, — говорит [старуха], — здесь не хватает трех вещей.

Девочка спрашивает, чего же не хватает.

— Бьющей фонтаном воды, звенящего дерева и говорящей птицы.

Девочка спрашивает, что «откуда мы можем это достать?».

— Это есть, — говорит, — за северными гунтури\*. Там есть такой сад, там есть [три вещи], если сумеете взять.

Старуха ушла, и братья пришли с охоты. Девочка рассказала, что говорила старуха о саде, чего там не достает. Братья охотно готовы идти.

Пошел старший брат. Идет долго ли коротко ли, идет навстречу старик, такой старый, что говорить не может. Он [парень] выстриг у старика бороду, и старик заговорил. Спрашивает [парень]:

— Есть ли по этой дороге звенящие деревья?

— Есть, — говорит старик, — эта гора уже недалеко. Я дам тебе шапку, и когда будешь идти на гору, надвинь шапку на глаза и не снимай, какой бы ни услышал крик. Тогда дойдешь, да и близко тут.

Когда он надел шапку на глаза и стал подниматься в гору, начали кричать:

— Смотри, я твоя мать! Здесь твой отец! Теперь идешь в огонь, сгоришь!

Парень не выдержал; только снял шапку — превратился в камень.

Дома ждали, но раз [он] не вернулся, то поехал другой брат. Этот тоже встретил старика, взял шапку. Взглянул и превратился в камень.

Сестра, оставшись одна, подумала «Что же я гут одна? Пойду и я искать».

Пришла к старику, вымыла его, выстригла бороду и говорит, что «посоветуй мне хорошенько, как мне туда попасть».

Старик дает опять шапку, и девочка уходит. Так она пошла дальше, надвинула шапку на глаза и стала подниматься в гору. Как бы ни кричали, но девочка не сняла шапку с глаз, и так поднялась на гору. Ей там дают ветку звенящего дерева, бьющей фонтаном воды в бутылке и говорящую птицу. Пришла к тому месту, где ее братья были камнями и, раз у нее была живая вода, оживила своих братьев. Вместе потом все пошли домой.

Потом посадили птицу петъ, дерево звенеть, воду бить фонтаном. Ну, конечно, все больше народу приходит смотреть [сад]. Ни девочка, ни мальчики не знают, что они дети царева сына. Они считают себя детьми садовника. Девочка спрашивает у говорящей птицы, что «чем мы царева сына угощать будем, как придет сад смотреть — у нас ведь нет ничего хорошего?». Птица говорит, что «сходи в лавку за дробью и несколько фунтов положи в пирог. Тоненький слой пшеничного теста положи сверху».

Девочка сделала пирог из дробы и спрашивает:

— Что сюда еще класть?

— Ничего больше, [положи] на тарелку, и столовый нож рядом.

Девочка испугалась: что-то, мол, теперь будет? Птица говорит, что «я отвечу».

Пришел царев сын в гости. Осматривая сад несколько часов, ходил до того, что проголодался, и девочка зовет его в горницу есть. Царев сын сел за стол и разрезал ножом пирог. Дробинки и покатались по столу. Царев сын рассердился и спрашивает:

— Почему так коварно меня угощаешь?

Говорящая птица заговорила, «что и ты, царев сын, несправедливо решаешь свои дела: первый раз вместо твоего ребенка положили щенка, второй раз — волчонка, третий раз — поросенка. А у тебя были дети — руки золотые, ноги серебряные и все так, как твоя жена тебе обещала родить. Ненавистники подменили, а ты жену свою замуровал голой в столб, так что всему городу стыдно. Эти здесь — твои дети, садовник вырастил».

Царевич берет своих детей, выпускает жену и начинает жить-поживать.

## 50. KUKKO DA KANA

Oli enneh kukko da kana. Kukolla da kanalla oli kivi. Hyö ku kolme kerdoa pyörähytetäh — kakkara da piiroa, huttuo pada, kakkara da piiroa, huttuo pada, kakkara da piiroa, huttuo pada. Coari tiijusti, što heilä on semmoine kivi, tuli da otti. Kiven ku otti, ga kukolla da kanalla rodii nälgä.

Läksi kukko kivie tuomah coarilda. Matkai, matkai, ga tuli hukka vastah. Hukka sanou:

— Kunna sie mänet?

— Mänen, — sanou kukko, — coari otti kiven, ni kivie tuomah, kyzymäh.

Hukka sanou:

— Ota i miuda.

— Sydeäte, — sanou, — perziehe.

Hukka perziehe mäni, da kukko toas ielläh i läksi. Matkai, matkai, tuli möntti vastah, sanou:

— Kunna läksit?

— Läksin kivie kyzymäh, — sanou, — coari kiven otti, ni nälgä rodih.

Möntti sanou:

— Ota miuda tovarissaksi.

Heän sanou:

— Mäne perziehe!

Möntti perziehe i solahti. Kukko läksi ielläh. Matkai, matkai — tuli lambi vastah. Kukko istuotih vedeh perzein, sanou:

— D'uo, perze, vettä!

Pidi, pidi perzettä veissä, nosti da läksi ielläh. Matkai, matkai — mäni coarin talon pihalla:

— Kukareeku, ana, coari, kivi!

Coari sanou:

— Mängeä pangoa kukko varzoilla keskeh yöksi, ana händä sinne tapetah.

Heän ku mäni, da hukan perziestä i laski. Hukka kuda roanicçi, kuda söi, a huomuksella tuldih — ga on midä kaçcuo. Çoari huomuksella sanou:

— Mängeä ottakkoa kukko, valmis nyt on.

Tuldih, ku ovi avattih — heän sieldä furahtii, mäni pihalla:

— Kukareekuu, çoari, ana kivi!

Çoari sanou:

— Mängeä maduo pangoa hebozilla keskeh!

Pandih hebozilla keskeh, heän perziestä möntin ni laski. Möntti kuda roanicçi, kuda tappo, kuda söi. Ga huomuksella mändih hävinnyttä kukkuo ottamah, heän i furahti pihalla:

— Kukareekuu, çoari, ana kivi!

Çoari sanou:

— Toas mado i peäzi, mängeä maduo pangoa kylyh, lämmitäkkeä kyly hyväzesti.

A kyly se oli raudane. Kylyh ku pandih, heän perziestä lammin laski, kyly i d'ähty. Mändih ottamah, ovi avattih — heän sieldä i furahti pihalla:

— Kukareekuu, çoari, ana kivi!

Çoari sanou:

— Mängeä maduo tavottakkoa, muuda hot' ei, ni zoarimma.

Kukko tavotettih, peä leikattih, sullat nyhittih, pestih, pandih riehtilällä, zoarittih dai syödih.

Çoari mäni sitalla, kukko peän perziestä i toi:

— Kukareekuu, çoari, ana kivi!

Çoari huhuou:

— Hoi mado, vielä on elossa, tuogoa soabl'a, peän, maolda, leikkoamma.

Tuodih soabl'a, ku rubettih peädä leikkoamah, kukko ku peän temboau, çoarilda perže i leikatah. Heän sieldä furahtau:

— Kukareekuu, çoari, ana kivi!

Çoari ei voinun enämbi kesteä, prislos' andoa kivi. Kukko peäzi elämäh.

## 50. ПЕТУХ И КУРИЦА

Были раньше петух и курица. У петуха и курицы был жерновок. Они как три раза повернут за ручку — лепешка да пирог, каши горшок, лепешка да пирог, каши горшок, лепешка да пирог, каши горшок. Царь узнал, что у них такой жерновок, пришел и отобрал. Жерновок как отобрал, так петуху и курице стало голодно.

Пошел петух к царю за жерновком. Шел, шел — и встретился ему волк. Волк говорит:

— Куда идешь?



— Иду, — говорит петух, — царь взял жерновок, так за жерновком пошел.

Волк говорит:

— Возьми меня с собой.

— Залезай, — говорит, — в ж. . .

Волк в ж. . . залез, да петух опять и пошел. Шел, шел — встретился медведь, говорит:

— Куда пошел?

— Пошел за жерновком, — говорит, — царь жерновок взял, так голодно стало.

Медведь говорит:

— Возьми меня в товарищи.

Он говорит:

— Иди в ж. . .

Медведь в ж. . . и залез. Петух пошел дальше. Шел, шел — встретилась ламба. Петух сел в воду, говорит:

— Пей, ж. . ., воду!

Посидел в воде, встал и пошел дальше. Шел, шел — пришел во двор царского дома:

— Кукареку, отдай, царь, жерновок!

Царь говорит:

— Идите положите петуха с жеребятами на ночь, пусть его растопчут на смерть.

Он как туда пришел, волка и выпустил. Волк кого ранил, кого съел, а утром пришли — есть на что смотреть.

Царь утром говорит:

— Идите возьмите петуха, теперь уж готов.

Пришли, как дверь открыли — он оттуда вылетел во двор:

— Кукареку, царь, отдай жерновок!

Царь говорит:

— Идите, бросьте змея к лошадям.

Бросили к лошадям, а он медведя и выпустил. Медведь кого ранил, кого зарезал, кого съел. Утром пошли за убитым петухом, а он вылетел во двор:

— Кукареку, отдай, царь, жерновок.

Царь говорит:

— Опять, змей, уцелел. Вытопите баню хорошенько и бросьте в баню.

А баня та была железная. В баню как бросили его, он ламбу выпустил, баня и остыла. Пришли за ним, дверь открыли, он опять оттуда вылетел во двор:

— Кукареку, отдай, царь, жерновок!

Царь говорит:

— Идите поймайте змея. Изжарим его, коли иначе от него не избавиться.

Петуха поймали, голову отрубили, перья общипали, вымыли, положили на сковороду, изжарили и съели.

Царь пошел по нужде, петух голову высунул:

— Кукареку, отдай, царь, жерновок!

Царь кричит:

— Вот змей, все еще жив! Принесите саблю,отрежем змею голову.

Принесли саблю. Как стали голову резать, петух голову и отдернул, царю ж... и отрезали. Петух оттуда вылетел:

— Кукареку, отдай, царь, жерновок!

Царь не смог больше терпеть, пришлось отдать жерновок. Петух опять хорошо стал жить.

## 51. KULKIJAUKKO

Oli ennen kulkijaukko ta mänöy köyhäh taloh ta kysyy yhteh mittah, jotta «antuat ruokua». Talon joukko tapetah lehmä ainut ta keitetäh. Ka jauhuo ei ole yhtänä.

— Ka mäne sie aittah ta kaco, jos sielä on.

— Ka ei sielä ole, kuin mie vet eklein kävin ta ei ollun yhtänä.

— Ka mänehän.

Akka mäni aittah ta kaccou — kun on puurnut täyvet vil'ua. Ka kun akka hyvilläh, jotta on jauhuo!

— Ka nyt myö, ukkoseni, hyvin elämmä, kun saima jauhuo äijän. Vain kuin kerkisimä lehmän tappua ta lehmyä ei ole.

Ka ukko šanou, «jotta pankua huoli muata vasse». Ta muatah huomenekseh. Ka kun talon ukko mänöy tanhuolla, niin lehmät kuin liävässä ammou, nin kaikki hirvie.

— Ka a-voi-voi, akkaseni, kuin on lehmie liävä täysi! Ta kenen nuo, vel'et, lehmät ollah?

— Ka kenen — tiän, — šanou kulkijaukko ta lähtöy pois kulkomah.

Šiitä mänöy toiseh taloh, jotta sais yötä olla. Sielä ei ole muuta syömistä, kuin vuašsua ta mämmie. Talon tyttö lähtöy pohatalta kysymäh leipiä vierahalla. Mänöy ta kysyy, jotta «antuat meilä leipiä, kuin vieras tuli».

— Ka käskiet se vieras meilä riittä puimah, jotta suau hos yhtenä piänä kunnollah syyvä, a vet on jo monta aikua syömättä ollun.

Ta niin annetah leipiä työllä. Ka kun ruvetah nassakasta vuašsua laskomah, niin ei ni lähe tulomah. Ka ruvetah kaccomah, niin kultua on ihan täysi, tai vielä nakrista karsinan täyveltä.

Ei nin ruven syömäh, kuin läksi rikkahah taloh, miš pyritettih riittä puimah. Mänöy taloh ta šanou, jotta «kuin olen kučuttu vieras, niin rohkiešti tulen».

— Ka tule, tule, meilä on vet riihimiehen tarvis.

Akka sanou, jotta «rupiemma muata, jotta piäsemmä riieheh». Muatah, ta sanou kuin isäntä nošsattau, jotta ka alkuat männä.

— Vet miun pitäy vielä syyvä.

— Ka ei ni mitä syömistä kuin riieheh!

Isäntä läksi, nin ei ni kerin riiehen luo, kuin riihi oli jo kokonah palan.

Hiän ukko nousi ta mänöy yhen akan luo, ta akka justih tai-kinua luatiu.

— Ka hyvä akkaseni, — sanou ukko, — luaji miula rieska.

— Ka mäne leikkua se aikua puuta pihalla miula.

Ukko leikkasi puuta ta tuli pirttih, ta akka i antau vain riesan laitua vähäsen. Ka ukko sanou, jotta «mäne i sie, akkaseni, puus- ta ruokua suamah ta sua ilmani ikäs», ta niin akan työnsi puus- ta ruokua suamah ta muutti tikaksi. Nytki tikka on akasta syn- tynyt ta lentäy.

Siitä hiän mänöy yhteh taloh, ta siinä on kaksi hyviä hevoista, ta sanou, jotta «milma pitäy lähtie kyytih».

— Ka mitä sie et vielä pakaja! Ka emmä myö siun näkösie lähe viemäh.

— A että lähe, ka että i heposilla huomena aja.

Ukko läksi, ka toisena piänä heposet i kuoltih. Nyt hyö, tii- jät, lähettih ukkuo jälkeh ajamah, ka kun ajatah ka nähäh, jotta suuri herra ajau heposella.

— Ka etkö sie nähyn ukkuo?

— Ka näin, vain vašta mäni.

— Ka ota meitä rekeh.

— Tulkua.

Kun läksi ukolla jälkeh ta ajau pilvih, jotta tiälä mänöy.

— Ka piässä pois!

— Ka ei vielä.

Viimein hypättih pois ta niin kuoltih ta česnittih.

Sen ni pituhuš starina.

## 51. СТАРИК-НИЩИЙ

Был раньше старик-нищий, и заходит он в бедный дом и сразу же просит, что «дайте поесть». Хозяева зарезали единственную корову и сварили мяса. А муки нет нисколько.

— Сходи ты в амбар и посмотри, может там и есть [говорит старик].

— Да нет там, я ведь вчера ходила, и ничего не было.

— А сходи все же.

Хозяйка пошла в амбар и смотрит — лари полные хлеба. Хозяйка как обрадовалась, что мука есть!

— Теперь нам, муженек, хорошо будет жить, когда муки так много стало. Только жаль, что успели корову зарезать, коровы теперь нет.

А старик говорит, что «оставьте заботу на утро». И спят они до утра. А хозяин как идет утром во двор, то коровы в хлеву мычат, так прямо страшно.

— А-вой-вой, женушка, полон хлев коров! Чьи же это, братцы, коровы?

— Чьи же, как не ваши, — говорит нищий старик и уходит странствовать дальше.

Потом приходит в другой дом, чтобы переночевать. Там нет никакой еды, кроме кваса и солодухи. Хозяйская дочь идет к богачу просить для гостя хлеба. Приходит и просит, что «дайте нам хлеба, гость пришел».

— Велите-ка этому гостю прийти к нам молотить, чтобы смог хоть один день по-настоящему наестся, ведь он уже давно не евши.

И дают девушке хлеба. А когда стали [у бедняка] из бочонка квас цедить, то ничего и не течет. Стали смотреть — а бочонок полон золота. Да еще стало репы полное подполье.

Старик и не стал есть, а пошел в богатый дом, куда просили прийти молотить. Приходит в дом и говорит, что «раз я званный гость, то смело иду».

— Приходи, приходи, нам нужны люди для молотьбы.

Хозяйка говорит, что «ляжем спать, чтобы пораньше пойти в ригу». Поспали, и хозяин будит и говорит, что «собирайтесь в ригу».

— Но ведь мне надо еще покушать [говорит старик].

— Никакой еды — в ригу да и только!

И сам хозяин пошел, но не успел дойти до риги, как рига вся уже сгорела.

Старик пошел и заходит к одной женщине, а женщина как раз тесто месит.

— Добрая женщина, — говорит старик, — сделай мне колобок.

— Поди наколи мне тем временем дров на дворе.

Старик нарубил дров и пришел в избу, и женщина дает ему только немного краешка от колобка. И старик говорит, что «иди-ка ты, женщина, добывать пищу из дерева на весь свой век». И так велел женщине добывать пищу из дерева и превратил ее в дятла. Так что дятел от женщины родился и летает.

Потом он заходит в один дом, а там было две хороших лошади, и говорит, что «меня надо отвезти».

— Еще что ты скажешь! Мы таких, как ты, не возим.

— А не повезете, то на этих лошадях завтра не поедете.

Старик ушел, а на второй день лошади и околели. Тут они, знаешь, пустились в погоню за стариком, едут и видят, что важный господин едет на лошади.

— Не видал ли ты старика?

— Видел, только что прошел.

— Возьми нас в сани.

— Садитесь.

Поехал догонять старика и поднимается до облаков, что сюда, мол, старик пошел.

— Отпусти же нас!

— Погодите еще.

Наконец те прыгнули да так и умерли да скончались.

Такой и длины сказка.





## НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ СКАЗКИ

### 52. STARINA KOLMEŠTA MATISTA — POHATTA MATTI, KEYHÄ MATTI JA TUOMARI MATTI

Ka keyhä Matti ottau velkua pohatalta Matilta — kolmešatua rupl'ua jo velkautu. Ei voi maksua keyhä Matti. Pohatta Matti šanou, jotta maksua pitäy, vaikka talo myyvä. Männäh tuomari-Matin luo šiitä tolkkuimäh. Tuomari-Matti šanou, jotta «pahahan še ois vanhalta mieheltä talo myyvä, kun pereh on».

No, šiitä šanou tuomari-Matti, jotta «tulkua huomenna, eikö voi mih muuh toimenpiteih ruveta». Tuomari-Matti šanou, jotta «kun tuletta huomenna, nin kun keyhä Matti šanou kolme šemoista arvautušta, jott ei pohatta Matti arvanne — šiitä velat makšettu, kolmešatua rupl'ua ta vielä šata rupl'ua kätäh antua pohattan Matin keyhällä Matilla».

No, keyhä Matti läksi kotihis, ajattelou, jotta ei hiän šua arvautušta, pahalla mielin on. Valittelou koissah šiitä, jotta «talotomakše toitimma». Tytär šanou, jotta «annahan elämmä huomenekšeh». No šiitä kun oltih huomenekšeh, šiitä tytär šanou:

— Kun mänet, nin šano, jotta mi on šukkelin ta vikkelin täššä maailmašša? Šiitä šano toisekši, jotta mi on ihanin ta lihavin tällä maailmalla? Ta mi on: hyviä hyvästä hyvällä muanitetah? Kun ei arvanne niitä, nin: šukkelin ta vikkelin on ajatuš (še tytär šelvittäy), a ihanin ta lihavin on mua; hyviä hyvästä hyvällä muanittau — še on hyvä heponi, hyväššä orašpellošša leivällä muanittau (totta še isäntä hoš muanittau).

No, kun läksi, ta männäh šiitä Matit kaikki kolme ta šiitä hyökekuššelläh šielä. Šiitä še šanou keyhä Matti:

— Mi on šukkelin ta vikkelin täššä maailmašša?

Pohatta Matti šanou:

— Ollou lintu šukkelin ta vikkelin.

— No mi on ihanin ta lihavin? — šielä šanou nyt.

Pohatta Matti šanou, jotta «lihavin še ois šika, ka ei ole ihanin». Keyhä Matti kyšyy:

— Mi se on: hyvästä hyviä hyvällä muunnittau?

— En tiijä, — sanou pohatta Matti.

No siitä piti pohatan Matin velat ne prostie ta šata rupl'ua antua-keyhällä Matilla. Keyhä Matti lähti kotih hyväsiläh: velat sai maksua ta šata rupl'ua kormanoh! Tuomari-Matti lähtöy jälkeh, sanou:

— Olitko sie iče niin viisaš, vain ken šilma juohatti?

Še sanou ukko, jotta tyttö juohatti. No, sanou, jotta «kun on šilua niin viisaš tyttö, ni mie tulen šulhasikše». Ka, še sanou keyhä Matti, jotta «tule kun tullet, a kun et, ni ole koissaš».

No eletäh huomenekšeh, ka keyhä Matti lähtöy halkuo šuamah, Matin akka lähtöy velkoja maksamah, kun rahua šai. Siitä tulou še tuomari-Matti, šulhais-Matti. Tytär on pihalla. Matti sanou:

— Mihipä täššä heponi šivotah?

— Ka šivo kešäh eli talveh.

— Ka mie en tiijä, — še tuomari-Matti sanou, — missä on kešä, missä talvi.

— Ka šiinä kun on pihalla talvella ajettava ta kešällä ajettava — reki tai kärry — šivo kumpaseh tahot.

Siitä hiän tulou perttih, kyšyy:

— Miss on isäntä?

— No lämmitä šuamah mäni.

— A missäpä emäntä?

— Emäntä on männehen vuotisie šyöntähisie kokuomašša. A velipoika mäni mečällä: mitä šuanou, ne šinne heittäy, a mitä ei šuane — ne tuou kotih.

Še ei Matti ymmärrä, tytär šelvittäy: halkuo šuamašša on isä, velkoja maksamašša on muamo, a veli-poika kun näki, jotta vierašta tuli, ni täitä mäni tappamah toisih huonehieh: min šuau, ni šinne heittäy, a mitä ei šua, ni pukšuloissaš tuou jälelläš.

Matti sanou, jotta «mie tulin šiuš šulhasikše — šie kuuluu olet viisaš. Vain kun rupiemma elämäh, nin milma ennen ei pie tuomita, hoš kuin viisaš ollet».

No siitä lähetäh šulhasen kotih. Še tuomari-Matti kävelöy kylillä šielä, aseillaš, a naini on koissa. Tulou keyhä akka, kyšyy jauhuo. Hiän antau jauhuo tasan. Tulou tuulisnenä ta vief ne jauhot käsistä. Akka tulou jälelläš itkien, sanou:

— Kun tuuli vei jauhot!

Še sanou Matin akka, jotta «mäne kačo, näkykö mereltä tuli-je ketä». Akka kaččou: juštih laiva tulou rantah.

— Kuču laivan isäntiä tänne.

Siitä akka kučču. Sanou, jotta «noštijako tuulta?» — šillä isännällä šanou še tuomarin akka. Sanou, jotta «akalta, kun tuuli vei jauhot, nin kullalla ta hopiella šuatta maksua». Še sanou laivan isäntä, jotta «maksua še pitäy, kun kerta tuomitah».

No, tuomari-Matti juštih tulou siitä kotih, laivan isäntä sanou, jotta «šiuš naini tuomičči näin äijä maksua, no totta še maksua pitäy».

— No totta se pitäy, kun kerran tuomicci, — tuomari-Matti sanou.

Siitä se laivan isäntä läksi pois. Tuomari-Matti sanou naiseiläh, jotta «keitähän nyt erokahvit, myö nyt eruomma, kun rupeit kerran tuomiccemah ilman miutta».

Kahvie juuvah ta viinua juuvah. Tuomari-Matti sanou:

— Milma vaivuttau, mie rupien muate. A sie mäne pois, ihan kotihis tai kunne kacot, ota hos mi tästä semmoni muistiksi, min parahaksi kacot.

Se kun uinosi siitä, Matin naini sanou niillä — ketä ollou kasakkoja, niinkuin ennen sanottih:

— Kantakkua Matti miun tuaton kotih.

Tai kannettih. Siitä hiän sielä töitäh ruatau, Matti makai kuni makautti. Havaacceutu, ka naini kun kävelöy lattiella, nin sanou, jotta «mintähpä sie et männyt, kun mie käsin?».

A hiän sanou:

— Minne mie mänen? Mie olen tuattoni koissa jo.

Matti sanou:

— A mipä se miun on tänne tuonut?

Naini sanou, jotta «mie toin. Mie kaccelin ta en ni mitä sen parempua vessua nähnyt, kuin sie, tai toin mukanani».

Ka siitä Matti nousou ta sanou, jotta «läkkä poikes kotih, elämmä koissa, kun sie sen vielä kekseit».

Mäntih omah kotih, eletäh tänäki piänä, vielä kotva huome-naki. Ta siih se i loppu.

## 52. СКАЗКА ПРО ТРЕХ МАТТИ: ПРО БОГАТОГО МАТТИ, БЕДНОГО МАТТИ И СУДЬЮ МАТТИ

Вот бедный Матти берет в долг у богатого Матти — уже триста рублей задолжал. Не может бедный Матти вернуть долг. Богатый Матти говорит, что «отдать надо, пусть даже дом придется продать». Идут к судье Матти об этом советоваться. Судья Матти говорит, что «нехорошо у старого человека дом продавать, когда еще и семья есть».

Ну, потом говорит судья Матти, что «приходите завтра, нельзя ли что-нибудь предпринять». Судья Матти говорит, что «как придете завтра, то если бедный Матти придумает три такие загадки, чтобы богатый Матти не мог разгадать, — то тогда долг считается уплаченным — триста рублей — и еще богатому Матти придется дать бедному Матти сто рублей на руки».

Ну, бедный Матти пошел домой, думает, что ему не придумать загадок, опечалился он. Жалуется дома, что «без дома останемся». Дочь говорит, что «погоди-ка, доживем до утра». Ну, потом как дожили до утра, дочь и говорит:



— Как придешь туда, то скажи — что самое проворное и быстрое на этом свете? Потом второе скажи — что самое приятное и жирное на свете? И что такое: добро из добра добром манят? Если не разгадает, то самое проворное и самое быстрое — это мысль (это дочь объясняет), а самое приятное и самое жирное — это земля; а добро из добра добром манят — это хорошую лошадь из хороших зеленей хлебом манят. (Верно, уж хозяин манит).

Ну, пошел он, и собираются там все трое. Матти, и беседуют они там. Потом говорит этот бедный Матти:

— Что самое проворное и самое быстрое на этом свете?

Богатый Матти говорит:

— Не птица ли самая проворная и самая быстрая?

— Ну, а что самое приятное и самое жирное? — говорит теперь тот [бедный Матти].

Богатый Матти говорит, что «самое жирное — это свинья, но не самое приятное». Бедный Матти спрашивает:

— Что это: добро из добра добром манят?

— Не знаю, — говорит богатый Матти.

Ну, потом пришлось богатому Матти долг простить и сто рублей дать бедному Матти. Бедный Матти пошел обрадованный домой: с долгами расквитался да еще сто рублей в кармане! Судья Матти идет вслед, говорит:

— Ты сам такой умный или тебя кто-нибудь научил?

Говорит этот старик, что дочь научила. Ну, говорит [судья Матти], что «коли у тебя такая умная дочь, то я приду свататься». Говорит этот Бедный Матти, что «приходи, коли хочешь, а коли не хочешь, то сиди дома».

Ну, живут до следующего утра, и бедный Матти отправляется за дровами, жена Матти идет долги отдавать — ведь деньги получили. Тут приходит этот судья Матти, жених Матти. Дочь была на дворе. Матти говорит:

— Где здесь можно лошадь привязать?

— Привяжи к лету или к зиме.

— А я не знаю, — судья Матти говорит, — где лето, где зима.

— А тут во дворе есть то, на чем зимой ездят и на чем летом ездят — сани и телега — привяжи к чему хочешь.

Потом он заходит в избу, спрашивает:

— Где хозяин?

— Да за теплом уехал.

— А где же хозяйка?

— Хозяйка пошла раздавать то, что в прошлом году было съедено. А братец пошел на охоту: что поймает — там оставит, а чего не поймает — то домой принесет.

Матти этот не понимает, девушка объясняет: отец поехал за дровами, мать пошла отдавать долги, а братец как увидел, что гость пришел, то пошел в другую комнату убивать вшей: что пой-

мает — там оставит, а чего не поймает — в своих портках принесет обратно.

Матти говорит, что «я пришел к тебе свататься, говорят, ты умна. Но когда станем жить, то вперед меня не смей судить, как бы умна ни была».

Ну, потом идут к жениху домой. Этот судья Матти разъезжает по деревням, по своим делам, а жена дома. Приходит бедная старуха, просит муки. Она дает муки таз. Налетает вихрь и уносит муку из рук. Старуха возвращается с плачем обратно, говорит:

— Ветер муку унес!

Говорит эта жена Матти, что «поди посмотри, не видно ли кого на море, идущего к берегу». Старуха смотрит — как раз корабль подходит к берегу.

— Позови хозяина корабля сюда.

Старуха позвала. Говорит, что «вы поднимали ветер?» — тому хозяину говорит эта жена судьи. Говорит, что «раз ветер унес у старухи муку, то золотом и серебром придется вам отплатить». Говорит это хозяин корабля, что «придется платить, коли судят».

Ну, судья Матти как раз тут приезжает домой, хозяин корабля говорит, что «твоя жена присудила так много платить, но верно уж придется платить».

— Да, верно уж придется, коли присудила, — судья Матти говорит.

Потом этот хозяин корабля ушел. Судья Матти говорит своей жене, что «свари-ка теперь кофе на прощанье, мы теперь должны разойтись, раз ты стала без меня судить».

Пьют кофе и пьют вино. Судья Матти говорит:

— Я устал, я лягу спать. А ты уходи к себе домой или куда хочешь, возьми отсюда что-нибудь на память, что тебе больше всего нравится.

Когда тот уснул, жена Матти говорит этим — были там казаки (как их раньше называли):

— Несите Матти в дом моего отца.

Да и снесли. Потом она там занимается своими делами. Матти спал, пока спалось; проснулся, видит — жена ходит по избе; он и говорит, что «почему ты не ушла, коли я велел?». А она говорит:

— Куда я уйду? Я уже в доме своего отца.

Матти говорит:

— А кто же меня сюда принес?

Жена говорит, что «я принесла; я смотрела и не нашла ничего более лучшего, чем ты, да и принесла с собой». Потом Матти встает и говорит, что «пойдем домой, будем жить дома, коли ты такое еще придумала». Ушли к себе домой, живут и по сей день, еще и завтра поживут. Да тут и конец.

Oli ennen pappi, papilla oli kolme tytärä. Hiän tyttärie ei laze gul'aimah. Suattau hiät kahen meren tuakši. Luadiu kel'vazet kolmella tyttärellä, panou šinne hiät, ikkunašta noštou. Yksi on vanhin, toini nuorin, kolmaš keškimmäini. Nuorin on ylen kaunis, ei šua šuarnoissa šanuo, viržissä vedyä. Joga ikkunan alla tuatto pani saduzet dai linduzet laulamah.

Šiidä čuarin poiga tijuštou, što kolme tyttö on hyvä. Hiän šuorieu kualikan vuatteih, šuorieu, a alla panou ylen hyvät vuattiet da čuassut da kai, ottou koroban kázivardeh i lähtöy buitto kyžymäh. Mänöy šinne kahen meren tuakši. (Hiän oli ylen čoma, mäni našmehaimačče čuarin tyttäristä ymbäri). Šiidä tuli ikkunan alla. Enzin mänöy vanhemman tyttären luo kyžymäh:

— Eigole, tyttön, ozrazie jyväzie?

Dai tyttö tuou ozran jyväzie staučazen i rubieu ikkunašta andamah. Tyttö kun rubieu ozrie kuadamah värččih kyžyjällä, ga hiän värččin šuun umbeh plakkuau: jyvät kaikki muaha i männäh. Hiän ildah šuate jyväzie keryäy, štobi yökäi piäššä tytön luo. Keryäy ozrie yksin jyväzin. Tuli ilda. Hiän pyrgiy yöksi:

— Laže, tyttön, yöksi.

— Kuin mie šiun lažen?

— Anna ut'eral'nikka, mie riputtauvun, a šie viät.

Tyttö ut'eral'nikan ando, hiän riputtaudu i krabahti nouzi. Tuli da kiugualla nouzi, kaikki pahat vuattiet piälda heitti: roih šuarnoissa šanuo, viržissä vedyä, kai pomuadalla tulou. Dai tytön muanitti, tyttö še i maraudu. Hiän tytön kun nagro, da česnoi tyttö oi, ga linduni sadušta hävii, dai jo lindu ei laula, dai sadu kuivi.

Tyttöšlölillä oldih ženihät, ga tämä ručaiččih, što hiän nagrau. Tuattoh tulou, ga jo sadu kuivan dai lindumä yksi hävinnyn. Hiän jo i dogadiu, što tämä tyttö männyn on, a toizilla linduzet lauletaš dai sadut kukitah.

Tulou tuaš ilda, tuaš kualikka tulou toizen — keškimmäizen tytön luo. Tuaš šamoin pidäy värččie, jyvät tuaš muaha mändih, i ildah šuate jyväzie keryälöy i tuaš illalla pyrgiy yöksi. Tyttö andou ut'eral'nikan dai noštou kel'vah. Čuarin poiga tuaš jakšaudu, pahan nutun piälda heittäy, tuli kaunis, kun ei šua malttua šanuo, a tyttö ei tiljä midä i ruadua — ikkunašta et hyppyä. Tuaš poiga tytön i nagro, läksi pois kodih kahen meren tuakši. I niin hiän nagro kakši tyttö.

Čuarin poiga tuli kolmannešta naimah. Enzin tähto kolmannen tytön nagrua dai tuli hänen luo kuin toizien luo dai piäzi kel'vah, jakšaudu. Tyttö pöläšty, kaččou — ei ole aziet hyvät, dai čokkuau nožniččemet, lykkyäy pihalla dai kākšöy poigua:

— Mäne nošša nožniččemet, äšen laššen yöksi.

Poiga mäni, a hiän šillä aigua staunin ločkai umbeh, hiän jäi ikkunan alla. Pyrgiy poiga jalelläh kel'vah.

— En lasse, — sanou tyttö, — sizaret nagroit, milma et nagra.

Poiga kyžyy tytölä:

— Laže järelläh.

Tyttö ei lasken, i poiga läksi mänömäh kodih. Dorogalla kai jalat kylmätti, varbahat kylmätti.

Nuorembi cikko vei čuarin pojalla cikkoloijen pojat: yhen pani kăzivarrella, toizen toizella kăzivarrella. Sadu rubei ikkunan alla kukkimah i linduni laulamah.

Pojat ruvettih itkömäh. Čuarin poiga pölästy, ei tiijä, midä i ruadua. Sanou tuatollah azien. Še tyttö sadun tallo, linnun tappo. Čuarin poiga duumaičcou: «Pidäy naija še nuorembi tyttö», — i tulou kozzomah.

Tyttö sanou:

— Tulen miehellä, vain prostinet endizet dielot, midä mie siula luajin pahua: lapset toin, sadun tallain, linduzen tapoin i jatlat siulda kylmätin.

Poiga sanou:

— Prostin, tule.

Briha ottau, tyttö mänöy, hiät pietäh. Tullah sulhazen kodih dai pannah heidä muata. Muata kun ruvetah, ga čuarin poiga i sanou:

— Nygyön mie kai muissan i kai malgivot maksan, mie šiulda piän leikkuan.

Poiga läksi suabl'ua käymäh, a tyttö hyppäi koikalda, näppäi mezibočkan i pani krovatilla, katto, kun rissittyhengengen maguamah. Poiga tulou da kun suabl'alla ähkyäy kaksi kerdua, dai bočka puhkei, mejet lähettih vuodamah. Hiän ni pölästy:

— A-voi-voi, kun mara avaudu, kai paškat vuuvetah krovatilla! Kun vielä šie tukkuuduizit, ka enämbi en mărällä šormella kožettais.

Tyttö sanou:

— Šuulas-kielaš, kun et kožettane, ni ihan šamassa tukkuuvun, kai dielot paretah.

— No en kože, vain šie tukkuuvu.

Naini nouzi krovatin alda, kai keräzi mejet, bočkan paikkazi i pani paikoillah. Poiga ihaštu. Heilä oli äijä kuldua. Kullat oli pandu šadavuodizen akan alla kätkyöh, akku šidä tuuvitettih da maijolla šyötettih šarvešta. Še oli čuarin baabuška. I niin hyö ruvettih elämäh. Pojat kažvettih suurekši, muamoloijen luo käydih gostih.

Elettih erčyksi, parettili parčyksi, kovettih kolačyksi.

### 53. ХИТРАЯ ДЕВУШКА

Был раньше поп. У попа было три дочери. Он дочерей не пускает гулять. Увозит он их за два моря. Делает кельи для трех дочерей, через окно поднимает их туда. Одна из них старшая, дру-

гая младшая, третья средняя. Младшая очень красивая — нельзя ни в сказках сказать, ни в песнях передать. Под каждым окном посадил отец сады, в них птички поют.

Потом царев сын узнает, что есть тут хорошие девушки. Он надевает одежду калики, одевается, а под нее одевает очень хорошую одежду, часы и прочее, берет корзину и идет будто бы просить милостыню. Идет он туда, за два моря. (Сам он был очень красивый, пошел насмехаться над поповыми дочерьми). Потом пришел под окно. Сначала идет к старшей просить:

— Нет ли, девушка, ячменных зерен?

Девушка приносит чашечку ячменных зерен и подает через окошко. Девушка как начинает сыпать зерно нищему в мешок, он хлоп и закрыл мешок: все зерна на землю посыпались.

Он до вечера собирает зернышки, чтобы на ночь к девушке попасть. Собирает ячмень по одному зернышку. Наступил вечер. Он просится на ночь:

— Пусти, девушка, на ночь.

— Как я тебя впущу?

— Дай полотенце, я ухвачусь за него, а ты тяни.

Девушка подала полотенце, он ухватился и вскарабкался. Пришел и на печку залез, снял с себя плохую одежду: стал таким, что только в сказках сказывать и в песнях петь, весь помадой пахнет. Соблазнил он девушку, девушка и понесла. Он как над девушкой насмеялся, а честная девушка была, так птичка из садика пропала: и птичка больше не поет, и садик зачах.

У девушек были женихи, но он [царевич] заверил, что осмеет девушек. Приходит отец — а садик зачах, да и птичка одна пропала. Он сразу и догадался, что эта дочь пропала, а у других птички поют и садики цветут.

Опять наступает вечер, опять идет калика ко второй — средней девушке. Опять так же держит мешок, зерно опять на землю посыпалось, и до вечера зернышки подбирает, и опять на ночь и просится. Девушка бросает конец полотенца да и поднимает его в келью. Царев сын опять раздевается, плохую одежду снимает. стал красавец, что и сказать нельзя, а девушка не знает, что и делать — в окно не выпрыгнешь. Опять парень осмеял девушку, поехал домой за два моря. И так он осмеял двух девушек.

Приехал царев сын жениться на третьей. Сначала он хотел и третью девушку осмеять, да и пришел к ней, как и к другим, да и попал в келью, разделся. Девушка испугалась, видит — плохи дела. да и хватает ножницы, бросает их на улицу и посылает парня:

— Иди подними ножницы, тогда пущу на ночь.

Парень вышел, а она тем временем захлопнула ставню, он остался под окном. Просится парень обратно в келью.

— Не пущу, — говорит девушка, — сестер обманул, меня не обманешь.

Парень просит девушку:

— Пусти обратно.

Девушка не пустила, и парень пошел домой. Дорогой ноги обморозил, пальцы обморозил.

Младшая сестра отнесла цареву сыну сыновей сестер: одного взяла на одну руку, другого — на другую руку. Сад под окном зацвел и птичка запела.

Мальчики стали плакать. Царев сын испугался, не знает, что и делать. Говорит отцу об этом деле.

Эта девушка [младшая] сад растоптала. Царев сын думает: «Надо жениться на той, младшей дочери», — и идет свататься.

Девушка говорит:

— Пойду замуж, если простишь прежние проделки, какое зло я тебе сделала: детей принесла, сад растоптала, птичку убила, и ты ноги свои обморозил из-за меня.

Парень говорит:

— Прощаю, выходи за меня.

Парень берет, девушка выходит, свадьбу сыграли. Приходят они в дом жениха, укладывают их спать. Спать как улеглись, царев сын и говорит:

— Теперь я все припомню и за все издевки расплачусь, я тебе голову отрежу.

Пошел парень за саблей, а девушка спрыгнула с кровати, бочку с медом положила на кровать, укрыла, как человека [букв.: крещеную душу]. Парень приходит да как ткнет саблей два раза — бочка проломилась, мед потек. Он и испугался:

— А-вой-вой, живот распоролся, все содержимое течет на кровать! Если бы ты стала как прежде была, так я бы больше мокрым [так!] пальцем тебя не тронул.

Девушка говорит:

— Если не тронешь, так сразу же оживу, все дела уладятся.

— Да не трону, только ты оживи.

Женщина вышла из-под кровати, собрала весь мед в бочку, бочку поставила на место. Парень обрадовался. У них было много золота. Золото было положено в люльку под столетнюю старуху, бабушку эту качали да молоком из рожка кормили. То была царева бабушка. И так они стали жить. Мальчики подросли, к матери ходили в гости.

Жили-поживали, добрали-богатели, как калач зачерствели.

Oli ennen ukko ta akka. Ukko käypi aina mečššä halkoja šuamassa, šillä kun pitäy elättiä iččieh. Oli kerran mečššä, kaččou, kun on puuššä lintuni kaunis. Hiän ajattelou: «Tuošta nyt mie akal-

lani keiton suan, vuota vain tapan tuon linnun». Lintu alkau paissa, šanou:

— Elä milma tapa, ota kotihis, mie aijalla hyvyä luajin.

Hiän ottau linnun kotih, tuou akallah, šanou:

— Tässä on nyt, akka, lintu, mie toin.

Akka ihaštuu, pannah še lintu häkkih. Joka päivä lähtöy ukko töih, akka lähtöy kirikköh. Siitä šanou:

— Sussietaisen, sussietaisen, kaččokkua kirjoni, karjoni, hankikkua miula murkina.

Akka tulou kiriköštä, ukko töistä, heilä on murkina hankittu, lehmät lypsetty. Hyö ei tiijetä, ken šen hankkiu.

Cuarin pojalla on špouvattu, jotta «šie otat lintusešta akan». Cuarin poika ajattelou— hänen pitäy nähä, mittyni on ukolla ta akalla lintuni. Kun tulou, ni kuulou, jotta karšinašša jauhetah, ovet on lukošša, ei piäše mistänä. Hiän ottau laškeutuu truvasta hinkalolla. Siitä tulou pirttih sisäh. Kuuntelou, jotta karšinašša jauhetah. Mänöy kaččou, šiel on karšinašša oikein kaunis tyttö, jauhau ruista, kaikki on karšina valosa, niin on kaunis. Hiän mänöy vie-reh šeisomah, tyttö muuttuu mavokši i kaikekši. Hiän ottau rupieu leikkuamah miekalla: «Myöššätö maloššatu omakši morsiemekši». Myöštih, maloštih, ihan kullašša kulajau neičyt, niin on kaunis. Siitä ei hän voi enämpi lintuseksi muuttuo. Häntä oli kirjoitu lintuseksi. Cuarin poika mänöy pois truvasta, tyttö jäy šiih.

Ukko ta akka tullah, yksi töistä, toini kiriköštä. Ihašsutah, jotta ei tiijetä mih šuah, kun on ruoka valmis, kaikki työt tehty ta vielä i tyttö. No ei ehitä ni mihi, kun tulou čuarin poika šulhasiksi. Hyö ei annettais ni millä, itetäh oikein, kun vanhalla päivällä heilä ois elättäjä. Cuarin poika heilä šanou, jotta «hiän elättäy tiät, tai tytön ottau, että työ outa i kumminki mitä, hiän kun pelašti tyttären».

Hiän siitä ottau hänet, pietäh hiät, viey čuarih morsiemekšeh. Še morsien ei ruvennun ni yhtä šanua pakajamah, ihan on kuin mykkä. Cuarin pojalla on niin paha mieleštä, jotta kun ei pakaja. Cuarin poika lähtöy yhen akan luo, šanou šillä akalla:

— Mitä mie ruan, kun ei pakaja miula naini ni yhtä? Ois miehipe i kaunis, ta kun ei pakaja.

Še hänellä akka-tietäjä šanou:

— Šiula on naini pakšu. Kun šuau lapšen, ni šie ota šilloin hänen polvilla tapa še lapši, šilloin hän rupieu pakajamah,

Cuarin poika šanou:

— Enhän mie raškie, miula tulou šuali lašta.

Akka šanou:

— Tulou teilä toini.

Milloin hiän šai pojan, naini, oikein kaunehen, šilloin čuarin poika leikkasi pojan šen. Naini rupei itkömäh, ja tuli veri šuušta ta nenäštä, tyrškähti itkömäh. Yhtä hyvin naini ei alkan paissa. No hiän mäni tuoš šen akan luo, šanou:

— Mitä mie ruan, kun ei ruven naini pakajamah, tarkoin mie lapšeni tapoin — ei pakaja.

Se šanou akka:

— Šuat ottua toisen akan, silloin se rupieu kyllä pakajamah. Siitä kun otat toisen akan, lämmitä kily — kumpani puhtahammaksi pešeytyy, šen ni otat akakšeš.

Čuarin pojalla sattuki Šyöjätär ottua akaksi (se on Šyöjätär l'udojetka, paha ihmini). Issutah stolan takana šulhaskanša häissä. Se vanha morsien ottau čajumaitopuan hinkalolta, sinne kantau stolalla vartukallah. Se nuori morsien šanou:

— Kuurottinapatua tuuvvah šušsunahelmalla stolalla.

Vanha naini šanou:

— Oho cikkon, mie keššin ukon, keššin akan, keššin kovan koukkurauvan, keššin i šen, kun puhtahaini portimoini leikattiš polvillani, vain en voinun tuota keštyä, kun tuotih tulini huora omahani venččähäni.

Alettih paissa molemmat naiset, vanha tai nuori. Čuarin poika heilä šanou:

— Pitäy lämmitiä kily. Kumpani kaunehemmasti pešeytyy, šepä ni jįy morsiemeksi.

No hyö lähettiš kilyh. Lintuni (ensimäni) šanou nuorella morsiemellä:

— Heittäkkä silmat ikkunalla, ni paremmin pešeyvymmä.

Šyöjätär ottau ta heittäy silmät ikkunalla. Ottau lintuni, luou Šyöjättären silmät ikkunan alla, ice vähäsen valautuu, tulou kotih ruttoseh. Šyöjätärtä vuotetah kilystä, hyvin pitältä on Šyöjätär kilyssä. Čuarin poika šanou:

— Mintäh on pitältä kilyssä, ei tule pois?

Lintuni šanou:

— Pitäy paremmaksi pešeytyö, jotta siula paššais, a mie lähen pois ukon ta akan luo.

A čuarin poika kieltäy:

— Ehit šiitä lähtie, kun hiän kilystä tulou, pitäy vuottua.

Čuarin poika šanou piijoillah:

— Mänkyä käyttöä pois, jo nyt on pešeytyn, kun on näin monta tuntie ollun.

Kun männäh käymäh — kiukuan on sortan kilyssä, noven on icčeh, jotta ei tunnu inehmiseltä, i šokie on. Tuuvvah häntä čuarin pojalla, et tässä on morsien. Čuarin poika kaikki pöläštyy, šanou:

— Viekyä hoš minne, miula häntä ei pie!

Alkau lintuseh kera elyä, niikuin ennenki. Lintuni alkau paissa. Ta šen pivuš starina.

#### 54. [ТЕРПЕЛИВАЯ ЖЕНА]

Были раньше старик да старуха. Старик все ходит в лес дрова рубить, потому что этим надо кормиться. Был однажды в лесу, смотрит — на дереве птичка красивая. Он думает: «Убью-ка я эту



птичку, так будет старухе похлебка». Птица начинает говорить. молвит:

— Не убивай меня, возьми к себе домой: придет время — я добро сделаю.

Он берет птицу с собой, приносит старухе, говорит:

— Вот, старуха, птица, я принес.

Старуха обрадовалась, закрыли птицу в клетку. Ежедневно старик идет в лес, старуха в церковь. Говорит:

— Соседушки, соседушки, смотрите за моими коровушками-буренушками, приготовьте мне обед.

Старуха приходит из церкви, старик с работы, для них обед приготовлен, коровы подоены. Они не знают, кто это сделал.

Цареву сыну кто-то нагадал, что он женится на птичке. Царевич думает — надо ему увидеть, что за птичка у старика и старухи. Приходит и слышит, что в подвале кто-то мелет, а двери на замке — никак не попасть. Он взял да спустился через трубу на шесток. Заходит в избу. Слышит, что в подполье кто-то мелет. Идет, смотрит — там в подполье очень красивая девушка, мелет рожь. Даже светло в подполье стало, такая красавица. Он подходит к девушке — она превращается в червей и в разную нечисть. Он начинает рубить мечом: «Превратись — обернись моей невестой». Стала она девушкой, прямо золотом сияет девушка. такая красивая. Тут она больше не может превратиться в птицу. Она была проклята и превращена в птицу. Царев сын уходит обратно через трубу, девушка остается.

Приходят старик и старуха, он с работы, она из церкви. Обрадовались, что не знают, что и делать: обед готов, все дела сделаны да еще и девушка в доме! Ну, не успели ничего, как царевич приходит свататься. Они [старики] никак не хотят отдать, плачут горько: на старости лет она бы их кормила. Царевич им говорит, что он их прокормит, но и девушку возьмет — ничем вы делу не поможете, ведь он девушку спас.

Он ее взял, сыграли свадьбу, стали у царя жить. Жена эта не стала совсем говорить, как немая. Царевичу так обидно, что она не разговаривает. Идет царевич к одной старухе, говорит ей:

— Что мне делать — жена у меня никак не говорит. И по душе она мне, и красивая, а не говорит.

Говорит ему эта мудрая старуха:

У тебя жена беременна. Когда она родит, то ты у нее на коленях убей этого ребенка, тогда она заговорит.

Царевич говорит:

— Как же я могу убить, мне будет жаль ребенка.

Старуха говорит:

— Будет у вас другой ребенок.

Когда жена родила сына, такого красивого, муж зарезал этого мальчика. Жена заплакала, кровь пошла из носа и рта, но все

равно не стала говорить. Ну, он опять пошел к той старухе, говорит:

— Что мне делать — не говорит жена. Я даже дитя свое убил — все равно она не говорит.

Эта старуха говорит:

— Придется тебе взять другую жену — тогда она заговорит. Когда возьмешь другую жену, истопи баню, и кто вымоется по-нище, ту и возьми.

Случилось так, что царевич взял в жены Сюоятар (Сюоятар — это людоедка, плохой человек). Сидят свадебные гости за столом. Старая жена берет с шестка горшок с топленным молоком для чая, несет на стол и фартуком придерживает. Молодая жена говорит:

— Подолом шушуна несет горшок на стол!

Старая жена говорит:

— Охо, сестричка, я терпела старика, терпела старуху, стерпела крепкий железный крюк [?], стерпела и то, как у меня на коленях зарезали моего чистого горностая, но не стерпела того, что атакую б... привели в мой дом [букв.: венцы].

Начали говорить обе жены, старая и молодая. Царев сын им говорит:

— Надо истопить баню. Которая лучше вымоется, та и останется моей женой.

Ну, пошли они в баню. Жена-птичка говорит молодой жене:

— Давай оставим глаза на окошке, лучше будет мыться.

Сюоятар взяла да положила свои глаза на окошко. Взяла птичка, бросила глаза Сюоятар под окно, сама наскоро окатилась и быстренько вернулась домой. Сюоятар ждут из бани, очень уж долго она в бане. Царевич говорит:

— Почему она так долго в бане, не идет?

Птичка говорит:

— Стараюсь получше вымыться, чтобы ты ее взяла, а я вернусь к старику и старухе.

А царевич удерживает:

— Успеешь уйти, когда она из бани придет — надо подождать.

Царевич говорит служанкам:

— Подите сходите за ней — уж теперь-то вымылась, коли несколько часов уже в бане.

Как пошла за ней — Сюоятар там каменку\* свалила, вся в саже, что не узнать, — и слепая. Привели ее к царевичу, что вот тебе жена. Царевич даже испугался, говорит:

— Уведите куда-нибудь, мне ее не надо!

Стал с птичкой жить, как и раньше. Птичка начала говорить. Такой длинной сказка.

## 55. LAISKA AKKA

Mies ennen sielä löytä tyttären. Kuin hänellä silmäh pistäy, tai kos'sou sitä, tai ottau siitä akan. Alettih hänellä kylän akat siitä šanuo, jotta «a-voi-voi, hyvä poika, mikse otit niin laisan moršiemien, kun ei kehtua icelläh ruokua laittua».

— Ei ole hätyä, kullä mie šuan naisešta naisen! Jos on halu šyyvä-elyä, niin siitä pitäy šuaha naini.

No kun ruvettih elämäh, näköy, jotta šen verran kun šyömästä piäšöy, niin šijalla käy, ei ni tikkuo tikun piällä pane. Hyö mänäh illalla muate. Alkau mies šanuo:

— A-voi-voi, kun olet šie kylmä, kun jäpalani, enhän mie voi šiu kera muata.

Naine šanou:

— Miten niin, enhän mie ole šen paremmin kylmä kui ennen.

— En. tiijä, no en voi muata šiu kera, niin kylmä olet kuin jäpala.

No nouštih huomenekšella. Mies läksi töihih, naini ei muuta kuin nousi kiukualla. Kiukuan puatiešša istuu, jotta anna kuumenou takapuoli. No päivän istuu, ei ni mihi liiku. Tuli mies työštä kotih illalla. Hiän ei liikaha šieltä. Palvelijat pannah šyömistä ta juomista stolalla, hiän ei liiku. Kravatti luajittih i valmehella petillä mäni muate, kun mies jo viruu. Miehen viereh kun mäni, a mies i šanou:

— A-voi-voi, kuin olet šie kylmä, en voi mie šiu kera muata, kuin jätukku huahat viereššä.

Šanou:

— Elä nyt turhie, päivän issuin kiukuan reunalla, jotta ihan tuškuau takapuoltani.

— Issu mitä issu, niin toivotko, jotta šillä lämpiet? Et lämpie šillä.

— No mitä pitäis ruatua?

— Mitä pitäis ruatua? Työtä pitäis ruatua! Mitä enemmän ihmini ruatau, sitä kuumempi on. A tulen reunašša ei lämpie!

Ollah päivä. Naini rupei ruatamah, halkuo šahai, vettä kanto, puita kanto, päivän ruato, jotta hiki tuli očašta. Tuli mies työštä — šyötti, juotti. Mänäh muate.

— Ka mi [šiu] on, kuin olet näin kuuma? — naiselläh šanou.

— Ka älä virka, koko päivän olen ruatan, jotta hiki očašta tippuu.

— Šanoinhan mie šiu, jotta työn ruannašša ihmini lämpiey, eikä tulen reunašša.

Tuošta šai naisen, ruatajanaisen. Eikä laiskana muannun.

## 55. ЛЕНИВАЯ ЖЕНА

Находит там раньше парень девушку. Приглянулась она ему, сватается к ней и женится. Начали ему потом деревенские бабы говорить, что «а вой-вой, добрый парень, зачем ты взял такую ленивую жену, ей лень даже себе еду приготовить».

— Не беда, я сделаю из нее жену. Если хочет пить-есть, то должна стать [хорошей] женой.

Ну, когда начали жить, видит [муж], что как только из-за стола выйдет [жена], так прямо на постель, палец о палец не ударит. Ложатся они вечером спать. Начинает муж говорить:

— А-вой-вой, какая ты холодная, как ледышка, я же не могу с тобой спать.

Жена говорит:

— Как же так — я ведь не холодней, чем раньше.

— Не знаю, но только я не могу с тобой спать, ты холодная, как ледышка.

Ну, встали утром. Муж пошел на работу, жена, недолго думая, поднялась на печь. Сидит на печи: пусть, мол, согреется задница. Целый день сидит, с места не сдвинется. Пришел муж вечером домой с работы. Она и тут не спускается с печи. Работницы ставят на стол еду и питье, а она не двигается. Постлали кровать, на готовую постель перешла спать, когда муж уже лежал. Когда легла рядом с мужем, муж и говорит:

— А-вой-вой, какая ты холодная, не могу я с тобой спать, как от кучи льда несет холодом.

Говорит [жена]:

— Что ты зря говоришь, день сидела на печи, так что задница жжет.

— Ты думаешь, что так согреешься? Сколько бы ни сидела, так не согреешься.

— Но что же мне делать?

— Что делать? Работать надо. Чем больше человек работает, тем горячее он становится. А у огня не согреешься!

Дожили до другого дня. Жена стала работать: дрова пила, воду носила, дрова носила — целый день работала, так что пот со лба лил. Пришел муж с работы — накормила, напоила. Пошла спать.

— Что случилось, почему ты такая горячая? — жена говорит [муж].

— Не говори, целый день работала, что пот со лба капал.

— Я же говорил, что на работе человек согревается, а не возле огня.

Вот и стала у него жена работающая, не лежала без дела.

Oli ennen poika. Ni mitä ei ollun nimie kun Kolikapačkoi. Istuu laučan piässä, tuli čuari viuhahti i kyšyy:

— Mitä nyt issut, Kolikapačkoi?

No hiän i šanou šiitä:

— Čuari-hosutaari, hospoti, kun tiijät suutie ta riätie muuta, niin suuti miula ošua.

— O stukoi-stakoi, miten šiula ošua suutie? — šano čuari tai māni poikeš.

Hiän tuaš istuu, istuu šiinä, tuaš tuli pirttih čuari. Hiän tuaš kyšyy:

— Čuari-hosutaari, hospoti, kun tiijät suutie ta riätie muuta, niin suuti miula ošua.

Hiän tuašen karjuu:

— Oh čutakka, konša šiula ošua suutitah?

No tuaš istuu, istuu, ei vielä lähe pois, ajattelou, jotta kolmas kerta pitäy kyšyö. Šiitä mitä tulou kolmannešta kerrašta. Tuaš kyšyy:

— Čuari-hosutaari, hospoti, kun tiijät suutie ta riätie, niin suuti miula ošua.

Čuari viuhahti šiihe i karjuu hänellä, jotta «konša šiula ošua suutitah?!». Tyttö šano šiitä tuatollah:

— Mintäh šie et hänellä suuti ošua?

Hiän šiinä tytön ta pojan ruaššalti pihalla.

— Mänkyä ta šuutikkua min voitta. Ras've voit ošua antua suutimalla?

Tai mäntih šen pojan kotih. Hiän antau pojalla šiitä kolmešatua rupl'ua ta šanou:

— Mäne oštamah linnah kolmenšuan rupl'an ieštä šulkkuo.

Tai toi ne šulkut tai yön aikana ompeli paikan niistä šulkkuloista. Toisena piänä antau šen paikan ta šanou:

— Mäne myö tämä paikka, ota kolmešatua rupl'ua.

Mieš mänöy, ta kävelöy, ta myöy, no ni ken ei voi oštua paikka, niin on kallis. No tai lähtöy pois jo kotih, kun ni ken ei ota. Mieš šeisou kaupan ovella.

— Ka mitä šie kävelet?

— Kävelen, ka olis paikka myötävänä, no ni ken ei ošša, niin oli kallis.

— A näytä šitä, — šanou,

Hiän i näyttäy šen paikan.

— A kaunis olis, — šanou, — no liika kallis. Rahatko otat vai otatko šanan?

Hiän ajattelou, jotta hyvä olis šanaki ajalla.

— No otan šanan.

Toini šanou šiitä, jotta «šana tulou šemmone: hot' minne i kävelet, ennen šurmuu ei šurma tule».

No pelkyä, mäni kotih, no naini šanou:

— Šaitko kaupakši?

— Sain.

— No mitä šait?

— Otin, — šanou, — šanan.

Antau kuusišatua rupl'ua.

— Mäne ota kuutehšatah rupl'ah šulkkuo.

Otti ta mäni tai ošti kuuvensuan rupl'an ieštä šulkkuo tai vei naisella. Naini yön aikana tuaš ompeli paikan. Šanou:

— Mäne myö tämä paikka, ota kuusišatua rupl'ua.

Hiän i läksi šitä kauppuamah. I mäni šiih šamah puotih, kušša enšimmäisen möi.

— Ka mitä olis? — kyšyy.

— A olis paikka myötävänä, no kačotah kallehekši.

— No näytäs.

Toine i näyttäy.

— A hyvä olis paikka, kaunis olis, vain kallis on.

Šanou tuaš:

— Otatko šanan vai rahan?

Tuaš ajattelou, mitein ruatua, no i šanou:

— Otan šanan. Šana še šemmoine, jotta «rauta on kultua kal-  
lempi».

Ajattelou še mieš, jotta «kyllä še naini häntä kiruou, kun nain  
šijän hukkuan tavarua». Mäni kotih, naini kyšyy:

— Šaitko paikan kaupakši, no mitäpä šait?

— A šanan.

Antau yheksänšatua i šanou:

— Mäne ošša šulkkuo.

Hiän i mäni tai ošti yheksähšatah šulkkuo. Toi, i naini yön  
aikana ompeli paikan. Huomenekšella nouštih, šanou:

— Mäne myö tämä paikka, i kuule, ota yheksänšatua.

Tai läksi. Käveli, käveli tai tuaš mäni šen šaman puojin eteh.

— No mitäš olis kaupittelemista?

— A paikka on, no šanotah ylen kallehekši.

A tuaš še šanou, še mieš:

— Otatko rahan vai šanan?

Hiän i ajattelou, jotta «kun olen niin šijän jo propustin rahua,  
tai pitäy rahana ottua». Kuit'enki šanou:

— Anna šana.

Šanan kun otti, kun läksi kotih tai ei ruohi männä varajau,  
jotta naini lyöy, kun niin šijän rahua propusti. Kačou, laiva on  
juuri lähöššä merellä. Hiän juokši laivarantah i hyppäi šihe laivah.

Läksi laivalla matkah toisien miehien keralla. Šielä matatah,  
matatah, keški merellä puuttu laiva. No šiinä jo kolmet vuorokau-  
vet istuu še laiva, ei piäše ielläh. Laivankäyttäjät šanotah:

— Ei pitäis tällä paikalla olla ni mitä kiinniottajua, mikähän  
puuttu laivah?

Hiän ajattelou, jotta kun šanottih, jotta ei ennen šurmaa šurma tule, niin hiän proopuicčou, jotta onko šana kova. Šanou niillä toisilla tovarissoilla:

— Laškekkua milma meren pohjah, šitokkua čieppih kiinni i laškekkua.

No ne pantih čieppih kiinni ta lašettih meren pohjah. Kun meren pohjah mäni, ka ovi avautu meren pohjah. Kun mäni šinne, ka šielä kakši mieštä istuu, yksi yhellä puolella stolua, a toini toisella. Hiän kun pirttih šiihahtau, niin ne miehet šanottih:

— Vot tuli vieraš mieš meitä piäštämäh täštä kiistelemiseštä. Kun myö olemma jo kolme vuotta täššä istun ta kiistän: toini šanou, jotta rauta on kultua kallehempi, a toini šanou, kulta on rautua kallehempi.

Hiän šitä šanou:

— Heittäkkyä pois kiissäntä: rauta on kultua kallehempi.

Hyö i piäštih kiistämäštä. Miehet lähettih häntä kaimuamah, ta šitä kun läksi pois, miehet anto lippahan kultua, toisen hopieta, a kolmannen samosvetloita kivie. Tuli šiihe čiepin nenäh, čieppie kiepahutti, jotta häntä noššettais laivah. Laiva piäsi matkah.

Šielä matatah, matatah, kačotah—kun merisvieri lentäy, a poika hampahissa rippuu. Hiän šuau vavan pitän, lyöy merisvierie hampahih, poika i kirpuou. Hiän šen pojan ottau šiihe ta šuorittau šijah. A niillä laivan matkuštajilla šanou:

— Nouše maštah kaččomah, mitä muata kohti männäh.

No mieš otti ta lankieu šieltä maštošta. Kun lankieu maštošta, ka ei ole ni henkie, ei helmie. No šitä šuoritah mieštä mereh luomah. Hiän šanou:

— Elkyä vielä luokua.

I rupieu niitä lippahie kaččomah. Kun avuau šen lippahan, miššä on svetloita kivie, šielä on pienie pulloja. Kaččou—ka šielä yheššä pullošša on elävyä vettä, ottau ta tipahuttau kolme tippua šillä miehellä šuuhu. Tointuu mieš ta šanou:

— Huh, huh, kun viikon makain.

— Olisit vielä viikoman muannun, kun ei milma pahua olis ollun. Jo šuorittih mereh luuva, a mie en antan.

No tai läksi, ta matatah, i hiän noušou maštah kaččomah, mitä muata kohti matatah. Hiän i näköy, kun čuarin palatsi šieltä paistau. Kuin tähti paistau. Juohattau, jotta tuota ilmaa kohti männäh. Tai mäntih muarantah. Nouštih maihin kaikki. Šielä kun kävelläh muata myöt'e: šielä yksi čuarin tytär itköy, jotta häneltä on merisvieri pojan vienyn, jotta «ettäkö ole nähny?»». Mieš i šanou:

— En tiijä, meilä on yksi poika, merisvieriltä šuatu.

Čuarin tytär työntäy tietoloilla, jotta onko še elošša še poika. Tai kyštäh häneltä:

— Etkö ole nähny ta šuanun merisvieriltä poikua?

Htän šanou:

— No mištäpä mie šain, kun laivalla matkuan—en nähny.

Ta kuit'enki ice pojan tuou ta sanou:

— Viekyä poika.

Vietih çuarin tytöllä poika. Hiän kun ihastu, jotta ei tiijä kunne männä. Tai työntäy kolme miestä kuçcumah, jotta «tuokua kostih, jotta hiän maksau siitä palkan». I mäntih ne miehet sinne, häntä pyyvetäh, jotta «tule kostih».

— Ole hyvä ta lähe kostih, nyt pyyvettih tulemah kostih.

— Kuin mie, — sanou, — voin lähtie, kun mie olen kacçoja? Još nyt tulou mitä vahinkuo laivalla, niin kenpä sen vastuau?

Mäntih hyö pois, a çuarin tyttö työntäy miehen, jotta hiän kacçou, još tulou vahinko, niin kyllä hiän vastuau.

Hiän läksi siitä kostih. Mäni sinne. Çuarin tytär otti hänet hyvin vastah, kostittau hyvin i antau kaikkie hyvvä. Sanou:

— Mitä tulou nyt vaivoista, kun lovit merisvieriltä sen pojan?

— No mitäpä hänestä tulis? Mitäpä siula ei siäli olis?

Hiän ottau ta antau kolme laivallista hyvyttä.

Tuaš ollah kolme päivyä, mäntih miehet linnalla kävelömäh. Çuari alkau valittua, jotta hänellä on tyttö kolme vuotta sijassa muannun, tullun on kuin huamu, eikä kuole. Jo sitä on käytetty monessa tohtorissa, a ei ne tohtorit voinun parantua.

Se sanou mies:

— Meilä on yksi mies laivalla, kun mie mastosta putosin, ei ollun ni henkie ni mitä, niin hiän miut virotti, kuolלהenki voi virottua.

Tai työntäy hiän kolme saltattua, jotta «mänyä pyytäkkyä, jotta hiän tulis tänne käymäh». Ne mäntih, pyyvetäh häntä, jotta «ole hyvä, lähe çuarih käymäh: çuari pyytäy käymäh sinne».

— En, — sanou, — en mie lähe, en voi mie laivoja heittyä: još miulta laivat viijäh, ei ni mitä miulä jä.

No, mäntih çuarilla jälelläh ta sanottih:

— Ei hiän lähe, ei ruohi jättyä laivojah.

Tai työntäy kuusi saltattua häntä kuçcumah kirjan kera, jotta «ole hyvä, tule», jotta kyllä hiän vastuau kaikki, mitä vahinkuo tullou. Tai ottau tai lähtöy sinne käymäh.

Mäntih sinne, tai vei çuari häntä yläkertah kacçomah tytärtäh. Tai kacçou, ka ei ole muuta kuin huamu jälellä. Poika sanou:

— Kun kahen jätättä, niin mie rupien häntä parantamah, a en muijen aikana.

Çuari miettiin.

— Olkua hyvä, ei tuosta ihmistä tule, olkua siinä kahen.

Ottau ta neuvou çuarilla, jotta «kun mie cillih lyön, tai tuletta kacçomah». Hiän i jäi sen tytön kera siihi. Ottau kuatau teelusikkah kolme tippua elävyä vettä — tai tytöllä suuhu. Suuhu kun kuato sen vejen, tyttö hyppyäy istumah i sanou:

— Jo i tervehyin!

— Et, — sanou, — sie vielä tervehtyn.



Kuato toisen kerran kuusi tippua. Tyttö hyppäi seisualle*h* i sanou:

— Jo olen tervehtyn!

— Et ole, — sanou, — vielä oikein terveh, elä liiku.

No kun otti tuas i pani yheksän tippua sitä elävyä vettä i kuato suuhu — tytär hyppyäy kävelemäh latetta myöt'e i sanou:

— Jo olen terveh, ei sen enämpyä tarvide.

— No nyt, — sanou, — olet terveh.

Kävelöy kuin muan marjani latetta myöt'e kaunehena. Ottau ta lyöy cillie se mies, i kun se helähytti sielä alakerrassa, niin juostih isä ta emä kaccomah. No kun ihassuttih, kun ei tiijetty, kuin sitä miestä piettäis.

— No mitä nyt, toveri, — sanou, — otatko morsiemekses, vai millä maksan?

— A en ota morsiemekse, miula on morsien koissa.

No hyö häntä pietäh, pietäh, kuin hiän sen hyvän sai aikah. Ottau ta lähtöy laivallah. Ottau ta kirjuttau çuari hänellä, jotta yheksän laivua antau hiän hyvyyttä siitä, kun tytär piäsi. Jo alkau miehellä olla hyvyyttä: yheksän laivua sai yheltä, kolme — toiselta. Vahtuamista on siinä!

Laivan isäntä i lähtöy kävelemäh, i hiän i pyrkiy, jotta «ota sie miutki mukah, jotta piäsen tuttavaksi». Toini ajattelou, jotta anna lähtöy. Hiän i kaccou, ottauko se isäntä kostincua. I hiän otti, tai hiänki otti svetloita kovie kormanoh i lähti. No kun män-tih sinne taloh, niin se isäntä otti hyvin vastah, kostincat annet-tih, se mies i hiänki anto.

Pani heijät siihe istumah. Vanhan tuttavan pani alakokkah, a uuen tuttavan pani yläkokkah. Kun rupieu kostittamah, kahesti kumartau yläkokkah i yhesti alakokkah. Hiän i rupieu ajattelemah, jotta «mihän tuossa on, kun oli köyhä mies Kolikapackoi i hänellä kahesti kumartau, a miula vanhalla tuttavalla yhesti». Tai kaimai ne vierahat pois.

Kun ollah sielä tuas toisen päivän laivalla, niin se pohatta i alko suoriemah. Kun näköy — rupieu suoriemah, hiän i kysyy:

— Tuasko sie lähet kostih? Ota miutki.

— A lähe.

Kaccou, kun ottau isäntä kostincua, i hiän ottau svetloita kovie kormanoh. Heijät tuas isäntä vastah hyvänä vierahana. No pani heijät tuas istumah. Sen uuen pani yläkokkah, a sen vanhan pani alakokkah. Kun syöttäy, juottau — kahesti kumartau yläpuoleh, a yhesti alapuoleh. Ei ni kessä enämpi se pohatta, jo i sanou tovarissalla:

— No minkä sie teit, kun olemma vanhoja tuttavie, a tämä kun on ollun kaikista köyhin koko kylässä, ei ni muuta nimie kuin Kolikapackoi, a sie nyt vastah otat Kolikapackoin i kahesti kumarrat?

Se mies siitä vastuau:

— Miusta on yhennäköni, oliko Kolikapačkoi [vain ei]: hiän tuou miula šemmoset kostinčcat, jotta ei ni miun taloni vastua.

Lähettih pois, Läksi kaimuamah vierahie isäntä tai antau hänellä kolme laivallista hyvyttä. Panou vielä laivan peräh rautapočkan ta šata metrie čieppie. Hänellä on jo, miehellä, viisitoista omua laivua, kaikki kruusittu tavaruu täyvet.

Lähettih kotih tulomah kaikki. Matatah, matatah mertä myöte. Toiset miehet jo ruvetah vihuamah häntä, kun hiän niin hyöty šielä. Sanotah, jotta «ei muuta kun tapamma hänet pois i luomma mereh». A še mieš, jonka hiän pelästi, kuulou, i šiäli tull. Hiän läksi i šanou hänellä:

— Kuule, toveri, nyt on huonot asiet tulošša. Šilma toiset miehet šuoritah tappamah ta luomah mereh.

Hiän hänellä šanou:

— Puolušša milma. Šano heilä, jotta ei tapettais, jotta pantais rautapočkah i luotais mereh.

Hänellä šanotah toiset, jotta «mäne tuoh počkah». Hänet i luuvah rautapočkah tai ollah hyvilläh, jotta Kolikapačkoi on poissa i šuatih viisitoista laivua hyvyttä. Lähettih matkah. Tulla čurahettih rantah. Miehet nouštih mualla, lähettih kotih, i hiän jäi šiihe, še pelästajamieš. Toiset kun lähettih, hiän veti rautaçiepistä i veti počkan rannalla. Mualla kun veti rautapočkan, halkai šen, i mieš piäsi. Hiän juokši kotih i näki, jotta hänen vaimolla viruu kaksi prihua, yksi yhellä puolella, toini toisella. Hänellä i tuli mieleh, jotta kavaleerit ollah. Miekalla yritti lyyvä, no i tuli mieleh, jotta hänellä šanottih: «hot' jo šuoriet lyyvä, elä šivalla», i heitti pois miekan kiästä.

Noššatti šiitä naisen i lapšet.

— Mit šiula nämä prihačut ollah reunassa? Enkä ollun prihačuo luatimašša.

— Emmä ole tietän, oletko šie elošša vain kuollun. Mie jäin pakšukše, kun šie läksit, a prihačut on kašvan.

Tuli mieš hyvällä mielellä. Hänellä on hyvyttä äijä, hiän on niin ihaštun, jotta ei tiijä, miten elyä. Ottau lapšet tai šuorittau, tai ottau naisen, lähtöy näyttämäh niitä laivoja.

Šanou naisellah:

— Ei nyt tarviche enämpi hätyä varata, nyt on loppuijän leipyä, vaikka meitä čuari lykkäi ovešta kuolomah. Tällä kertua mie voim čuarie avuštua.

Lähettih rannašta tulomah pirttih. Čuari kaččou ikkunašta.

— Mi on tullun nyt, kun on ranta täyši laivoja?

Kaččou, ka kun hänen tyttö ta vävy matkuau, i ajattelou, jotta nyt on Kolikapačkoi hyötyn. Ottau ta työntäy šiitä kolme mieštä, jotta «mänyä kuččumah čuarieh kostih». Miehet mäntih i šanottih:

— Ole hyvä, čuari-hospoti kučču vävypoikah ta tyttäreh kostih.

Ei hiän šinne aššu, — šanou.

— Ei ole niitä hyvysie tullun, jotta voit kostittua milma.

Panou kuuši saltattua kuččumah, jotta «još hiän ei lähe iče, niin tuokua kantamalla». No mäntih ne kuuši saltattua i häntä pyyvetäh:

— Olkua hyvä i tulkua! No još et kučulla rupie lähtömäh, niin myö viemmä kantamalla.

Tai läksi, aštua šinne. Hiän kun tuli, čuari hänellä kumartau:

— Šiun miekka, miun piä — leikkua piä poikki.

— Ei ole miula miekkua, ta en leikkua.

Čuari itköy i anteiksi pyytäy, jotta anna anteiksi, kun hiän šilma niin pahoilla šanoilla haukku.

No hiän šiitä mäni, nošti čuarin pistyh. Hänen tähän voit elyä, — šano.

— Oli miula matalla vaikevukšie. No i tällä miehellä luajimma kojih tähä vierellä, kun miun pelašti.

I še mieš tuli čuarin alimmaisekši, i šiitä hyö ruvettih hyvin elämäh.

### 36. ТРИ СЛОВА

Был раньше парень. Не было у него иного имени, как Голь кабацкая. Сидит на скамье, пришел царь и спрашивает:

— Что сидишь, Голь кабацкая?

Ну, он и говорит:

— Царь-государь, господин, раз ты умеешь судить и рядить, то присуди мне счастье.

— О, такой-сякой, как тебе счастье присудишь? — сказал царь и сам вышел.

Он опять сидит, сидит тут, опять зашел царь в избу. Он опять спрашивает:

— Царь-государь, господин, раз умеешь всех судить и рядить, то присуди мне счастье.

Он [царь] опять кричит:

— Ох, чужак, когда тебе счастье присуждают?

Ну, опять сидит, сидит, все еще не уходит, думает, что надо три раза спросить — потом что в третий раз выйдет. Опять просит:

— Царь-государь, господин, раз умеешь судить да рядить, то присуди мне счастье.

Царь пришел и кричит на него, что «когда тебе счастье присуждают!». Дочь говорит потом отцу:

— Почему ты не присудишь ему счастья?

Он [царь] дочь и парня вытолкал на улицу:

— Идите да судите, сколько сможете. Разве можно присудить счастье!

Да и пошли в дом этого парня. Она дает парню триста рублей и говорит:

— Иди купи в городе на триста рублей шелка.

Да и принес этот шелк, и за ночь она вышила платок этим шелком. На второй день дает этот платок и говорит:

— Иди продай этот платок, возьми триста рублей.

Муж идет, и ходит там, и продает, но никто не может купить платок, такой дорогой. Ну, и отправляется он уже домой, раз никто не берет. Стоит человек у дверей лавки.

— Что ты ходишь?

— Хожу — вот платок продажный, но никто не может купить, такой дорогой.

— Покажи-ка его, — говорит.

Он и показывает этот платок.

— А красивый, — говорит, — но слишком дорог. Деньги ли возьмешь, или слово возьмешь?

Он думает, что со временем и слово пригодится.

— Что же, возьму слово.

Другой говорит потом, что слово будет такое: «Куда бы ни пошел, раньше смерти смерть не придет».

Ну, боится, пришел домой, а жена говорит:

— Продал ли?

— Продал.

— Сколько получил?

— Взял, ++ говорит, — слово.

Дает она шестьсот рублей:

— Иди купи на шестьсот рублей шелка.

Взял да пошел и купил на шестьсот рублей шелка и принес жене. Жена за ночь опять вышила платок. Говорит:

— Иди продай этот платок, возьми шестьсот рублей.

Он и пошел продавать. И зашел в ту самую лавку, в которой первый платок продал.

— Что продаешь? — спрашивает.

— Есть платок продажный, но считают слишком дорогим.

— Ну-ка покажи.

Тот и показывает.

— А хороший платок, красивый, только дорогой.

Говорит опять:

— Слово ли возьмешь или деньги?

Опять думает, что делать, ну и говорит:

— Возьму слово.

— Слово такое, что «железо дороже золота».

Думает муж, что жена, наверно, его будет ругать, «потому что зря добро перевозжу». Пришел домой, жена спрашивает:

— Продал ли платок, сколько получил?

— А слово взял.

Дает девятьсот рублей и говорит:

— Иди купи шелка.

Он и пошел и купил на девятьсот рублей шелка. Принес, и жена за ночь вышила платок. Утром встали, говорит:

— Иди продай этот платок и, послушай, возьми девятьсот рублей.

Да и пошел. Ходил, ходил и опять подошел к той самой лавке.

— Ну, что продаешь?

— А есть платок, но говорят, что очень дорогой.

И опять говорит этот человек:

— Возьмешь ли деньги или слово?

Он и думает, что «раз я так много денег упустил, то надо взять деньгами». А все же говорит:

— Дай слово.

Слово как взял, как домой пошел, то и не смеет заходить: боится, что жена придет, потому что так много денег упустил. Смотрит: как раз корабль отправляется в море. Он побежал на пристань и прыгнул на этот корабль.

Поплыл на корабле с другими людьми. Плывут там, плывут, на середине моря корабль сел. Ну, уже трое суток стоит этот корабль, не может идти дальше. Корабельщики говорят:

— Не должно бы на этом месте быть такого, на что бы корабль мог сесть.

Он думает, что раз сказали, что раньше смерти смерть не придет, то он попробует, твердое ли это слово. Говорит тем другим товарищам:

— Дайте я спущусь на дно моря. Привяжите к цепи и опустите.

Ну, те привязали к цепи и опустили на дно моря. Когда пришел на дно моря, тут открылась дверь на дне моря. Когда пришел туда, то там двое мужчин сидят, один на одном конце стола, а другой на другом конце. Он как входит в избу, то те мужчины говорят:

— Вот пришел посторонний человек, чтобы решить наш спор. Мы уже три года тут сидим и спорим: один говорит, что железо дороже золота, а другой говорит, что золото дороже железа.

Он и говорит:

— Бросьте спорить: железо дороже золота.

Они и избавились от спора. Мужчины послали его провожать, и когда он стал уходить, мужчины дали сундук золота, второй — серебра, а третий — самоцветных камней. Пришел он к цепи, качнул цепь, чтобы его подняли на корабль. Корабль поплыл дальше. Плывут там, плывут, смотрят — морской зверь летит, а мальчик у него в зубах. Он достает длинное удилище, бьет морского зверя по зубам — мальчик и падает. Он этого мальчика берет и укладывает. А корабельщикам говорит:

— Поднимись на мачту и посмотри, к какой земле мы плывем.

Ну, человек взял да и упал с мачты. Как упал с мачты, то так и лежит бездыханный. Ну, хотят этого человека в море бросить. Он говорит:

— Не бросайте еще.

И начинает рыться в этих сундуках. Как открывает тот сундук, где самоцветные камни, а там маленькие бутылочки. Смотрит —

а там в одной бутылочке живая вода, берет и капает три капли этому человеку в рот. Приходит человек в себя и говорит:

— Хух-хух, как долго спал.

— Еще бы дольше спал, если бы меня, плохого, не было. Уже собирались в море бросать, а я не дал.

Ну, и поехали дальше, и он поднимается на мачту посмотреть, к какой земле они плывут. Он и видит, как там царев дворец сияет. Как звезда сияет. Он показывает, что в ту сторону надо плыть. Да и приплыли к берегу. Вышли все на берег. Ходят там по берегу, там одна царева дочь плачет, что у нее морской зверь унес сына, что «не видели ли вы?».

Он и говорит:

— Не знаю, у нас есть один мальчик, у морского зверя отняли.

Царева дочь посылает узнать, жив ли этот мальчик. Да и спрашивают у него:

— Ты не отбил у морского зверя мальчика?

Он говорит:

— Где же я мог отбить, коли на корабле плыл — не видал.

А сам все-таки привел мальчика и говорит:

— Отведите мальчика.

Отвели к царевой дочери этого мальчика. Она так обрадовалась, что не знает, куда идти. Да и посылает трех человек звать, что «приведите его в гости, что она вознаградит за это». И пошли те люди туда, его просят, что «приходи в гости».

— Будь добрый да иди в гости, теперь попросили прийти в гости.

— Как же я, — говорит, — могу пойти, коли я смотритель: если на корабле что-нибудь случится, то кто же за это ответит?

Ушли они прочь, а царева дочь посылает человека, что тот посмотрит, и если что случится, то он ответит.

Пошел он потом в гости. Пришел туда. Царева дочь хорошо его встретила, угощает хорошо и дает всякого добра. Говорит:

— Что тебе дать за труды, что у морского зверя отбил мальчика?

— Ну что же дать? Что тебе не жалко?

Она и дает ему три корабля с добром. Пробыли тут три дня, пошли корабельщики по городу гулять. Царь начинает жаловаться, что у него есть дочь, три года лежит в постели, стала как тень, а не умирает. Уже ее водили ко многим докторам, а не могли те доктора вылечить.

Говорит тот человек [упавший с мачты]:

— У нас есть один человек на корабле: когда я упал с мачты, не было ни духу во мне, так он меня оживил, даже мертвого может оживить.

И посылает он [царь] трех солдат, что «идите попросите, чтобы он пришел сюда». Те пошли, просят его, что «будь добрый, пойдем к царю: царь просит пойти к нему».

— Нет, — говорит, — не пойду я, не могу я оставить корабли: если у меня корабли угонят, то у меня ничего не останется.

Ну, пошли те обратно к царю и сказали:

— Не идет он, не смеет оставить корабли.

Да и посылает [царь] шесть солдат с письмом звать его, что «будь добрый, приходи», что он за все ответит, если что случится. Да и взял и пошел туда.

Пришли туда, и повел царь его наверх смотреть дочь. И смотрит он — осталась от нее одна тень. Парень говорит:

— Если вдвоем оставите, то я буду лечить, а при других не стану.

Царь думает:

— Будьте добры, все равно из нее человека не выйдет, побудьте тут вдвоем.

— Говорит он царю, что «когда я в колокольчик позвоню, то приходите смотреть». Он и остался тут вдвоем с той девушкой. Берет и наливает в чайную ложку три капли живой воды — и девушке в рот. Как в рот вылил ту воду, девушка села и говорит:

— Уже и поправилась!

— Нет, — говорит, ты еще не поправилась.

Налил второй раз шесть капель. Девушка встала на ноги и говорит:

— Я уже здорова!

— Нет, — говорит, — еще не совсем здорова, не двигайся.

И взял опять и налил девять капель живой воды и вылил в рот — девушка пошла ходить по избе и говорит:

— Я уже здорова, больше ничего не надо.

— Ну, теперь, — говорит, — ты здорова.

Ходит она, как ягодка красивая, по полу. Взял и позвонил в колокольчик этот человек, и когда зазвенело там внизу, то отец и мать прибежали посмотреть. Ну и обрадовались, не знают, как этого человека отблагодарить.

— Ну что теперь, товарищ, — говорит [царь], — возьмешь ли дочь в жены или чем тебе отплачу?

— А не возьму в жены, у меня жена дома.

Ну, они его держат в гостях, за то что он им такое добро сделал. И отправляется он на свой корабль. Берет и пишет царь ему, что девять кораблей дает ему добра, за то что дочь вылечил. Накапливается уже добра у мужика: от одного получил девять кораблей, от другого — три. Есть что караулить!

Хозяин корабля отправляется гулять, и он тоже просится, что «возьми ты и меня с собой, чтобы мне познакомиться». Другой думает, что пускай идет. Он и смотрит, берет ли тот хозяин гостинец. И тот взял, и он тоже взял самоцветных камней в карман и пошел. Ну, когда пришли туда в дом, то тот хозяин хорошо принял. Отдали гостинцы, тот хозяин корабля и он дал.

Посадил их за стол. Старого знакомого посадил на нижний конец, а нового знакомого посадил на верхний конец. Когда начал угощать, то дважды кланяется верхнему концу и один раз нижнему концу. Он [хозяин корабля] и задумался, что «в чем тут дело — был бедный мужик Голь кабацкая, и ему хозяин дважды кланяется, а мне, старому знакомому, один раз». Да и проводил тех гостей.

Побыли они опять второй день на корабле, и этот богач [хозяин корабля] опять и стал собираться. Как только видит [Голь кабацкая] — начал собираться, он и просится:

— Ты опять идешь в гости? Возьми и меня.

— А пойдём.

Смотрит — берет хозяин гостинцы, и он кладет самоцветных камней в карман. Опять хозяин встречает их, как хороших гостей. Ну, посадил их опять за стол. Этого нового посадил на верхний конец, а этого старого посадил на нижний конец. Когда кормит, поит, то дважды кланяется верхнему концу, а один раз нижнему концу. И не выдержал больше тот богач, уже и спрашивает у товарища [хозяина дома]:

— Скажи ты мне по старой дружбе, что это такое: этот человек самый бедный во всей деревне, иного и имени нет, как Голь кабацкая, а ты теперь принимаешь Голь кабацкую и дважды ему кланяешься?

Хозяин и отвечает:

— Мне все равно, Голь кабацкая он или нет: он приносит мне такие гостинцы, что мой дом их не стоит.

Собрались уходить. Пошел хозяин гостей провожать, и даст ему [Голи кабацкой] три корабля добра. Принимывает еще к кораблю железную бочку и сто матров цепи. У него, у мужика, уже пятнадцать своих кораблей, все полные товара.

Поплыли все домой. Едут, едут по морю. Другие мужчины уже начинают его ненавидеть, за то что он так нажился там. Говорят, что «больше ничего, как убьем его и выбросим в море». А тот человек, которого он спас, услышал, и ему стало жалко. Он пошел и говорит ему:

— Слушай, товарищ, теперь плохие дела ожидаются. Тебя другие собираются убить и выбросить в море.

Он говорит ему:

— Защити меня. Скажи им, чтобы не убили, а чтобы положили в железную бочку и бросили бы в море.

Ему и говорят другие, что «иди в ту бочку». Его и бросают в бочке в море и радуются, что Голи кабацкой теперь нет и они получили пятнадцать кораблей добра. Отправились дальше. Пришли к берегу. Корабельщики вышли на берег, пошли по домам, а он остался там, тот, который спас Голь кабацкую. Когда другие ушли, он стал тянуть за железную цепь и вытащил бочку на берег. Вытащил на берег железную бочку, расколол ее, и тот вышел. Он побежал домой и увидел, что рядом с его женой лежат парни, один



с одной стороны, другой с другой стороны. Ему и пришло на ум, что это кавалеры. Хотел было ударить мечом, но вспомнил, что ему сказали: «Если даже собрался ударить, но не ударь». И бросил меч в сторону. Разбудил потом жену и детей.

— Что у тебя за парнишки рядом с тобой? Меня ведь не было, не мои ведь они.

— Мы не знали, жив ты или умер. Я осталась в тягости, когда ты уехал, а мальчики выросли.

Обрадовался муж. У него много добра, он так рад, что не знает, как и жить. Берет детей и одевает и берет жену, идет показывать им те корабли. Говорит жене:

— Теперь не надо браться горя, теперь на всю жизнь хватит хлеба, хоть царь нас выкинул за дверь умирать. На этот раз я могу даже царю помочь.

Пошли они от берега домой, царь смотрит в окно.

— Что случилось, почему весь берег полон кораблей?

Смотрит — а это его дочь и зять идут, и думает, что теперь Голь кабацкая нажился. Берет и посылает потом трех человек, что «идите звать его и царю в гости». Люди пошли и сказали:

— Будь добрый, царь-господин звал зятя и дочь свою в гости.

Он туда не ходок, говорит.

— Нет у царя таких лакомств, чтобы мог меня угощать.

Посылает царь шесть солдат звать, что «если он сам не пойдет, то принесите на руках». Ну, пришли те шесть солдат и его просят:

— Будьте добры и приходите! Но если так не пойдете, то мы понесем на руках.

Да и пошел, идет туда. Он когда пришел, царь ему кланяется:

— Твой меч, мой годовая — отрежь голову.

— Нет у меня меча, да и не отрежу.

Царь плачет и просит прощения, что «прости за то, что я тебя такими словами слобами ругал».

Ну, он тут подошел, поднял царя.

— По мне можешь жить, — говорит.

— Были у меня в пути трудности. А этому человеку [который с мачты упал] построим дом тут рядом, за то что меня спас.

И тот человек стал подданным царя, и потом они стали жить хорошо.

## 57. ČUARIN POIKA SUTJANA

Oli ennen ukko ta akka. Ukko tuli kipiekše ta šanou akallah, jotta «kun mie kuolen, nin myö pois heponi, helpempi šion on elyä ilman hepoista». Ukko kuoli, ta akka pani ilmetuksen, jotta hänellä on myötävä heponi. Heposen oštaja tuli hänellä toisešta

kylästä. Tai osti sen heposen. Rupei ukko lähtömäh pois, vain akka rupei kieltämäh:

— Elä lähe, kun on kerran niin pitkä matka, makua tiälä yötä.

Ukko jäi yökse. Tamma oliki tiineh ta sai sinä yönä varšan. Huomeneksella ukko rupieu lähtömäh, nin akka ei annakkana varsua.

— Še on miun, — sanou akka, — kun kerran miun tanhuossa sai.

Heilä tuli riita. Ukko sanou:

— Mie varšan tähe ošsinki, en mie tammua halunnun.

Heilä mäni riita niin pitällä, jotta prossiuhuttih čuarih suate. Čuari oli matkoilla, nin čarouna suuti. Čarouna sanou, jotta «akan on varša, kun kerran akan tanhuossa sai».

Čarouna oliki pakšuna, ta poika sanou čarounan vacasta:

— Pliäti pliätin puoleh suuti. Varša ei kuulu akalla. Še on oštajan, eikä myöjän.

No muamoh sanou, jotta «no suuti sie silloin tämä asie». Poika sanou:

— Akka ei antan rekie heposen myötäh ukolla. Nyt tuokah heponi pihalla, ta ukko vetäkkäh hevoista, a akka rekie, toini toiseh suuntah. Kumpasen jälkeh varša lähtenöy, nin še suau varšan.

Kaikki rahvas mäntih kaccomah pihalla, ta ukko alko taluttamah hevoista, a akka rekie. Varša i tuli heposen jälkeh. Ukko vei tamman tai varšan männeššäh. Kun asie mäni, niin čarouna sanou pojallah:

— Annahan kun tulet näillä ilmoilla, nin mie näytän siula, mikse ennenin syntymistäs rupesit suutimah ta mänit ielläh miusta.

Poika kun synty, nin čarouna käski piijan kaupunkilla tiijuštamah, jotta eikö toisilla ole syntyn poikua. Šepän akalla i oli syntyn poika. Čarouna käšköy uuevēstah piijan männä šepän akan luo, jotta eikö hiän vajehtais poikuah čarounan kera. Šepän akka lupuau vajehtua. Tai kiäritäh poika ripakkoh ta pannah olkikuvon šiämeh ta piika muka olkikupuo juokšuttau šepäh, a šiämessä onki poika. Samoin šepän poika tuuvah čuarih olkikuvon kera. Čuari tulou matkoilta ta on hyvilläh, kun heilä on poika. No, kun ne lapset aletah šielä leikkie yheššä, niin čuarin poika on aina šepänä, ta šepän poika on tuas kirjojen kera ta koulušša. Čuari sanou:

— Tämä ei ole miän oma poikana, še on hoš mit'ein šekon šepän pojan kera.

Čarouna sanou:

— Elä hōperrä, kun oma poikana on.

Kerta tuas lapset eloissellah pihalla, nin šepän poika on tuomarina, a čuarin poika on šepänä. Silloin oli semmoni sakona,

jotta heposen varas hirtettiin. Jenirualan poika i varasti eloissellässä toiselta heposen, ta šepän poika sanou:

— Se pitäy hirittyä viisselliccäh.

Tai luajittih viisselliccä, pantih kaklah ta vejälletti — henki pois. Šepän poika mäni čuarin satuh peittoh. Kaikki mäntih ečcimäh häntä. Čuari sanou:

— Še on miän poika; ei šepän poika tuommosie töitä ymmärrä ruatua, a meilä on šepän poika.

Čarouna tuas väittäy vastah.

Kun juoksenneltih satušsa, ta jeniruala hätäyksissä poikua ečcimäh mäni semmosešta veräjästä, mistä suau kulkie vain carskoi siäty. Šepän poika peitostah ni näki tämän tai ampu jenirualanki. Šepän poika läksi pakoh. Ajatteli, jotta ruvetah häntä nyt kovemminki ečcimäh. Hiän läksi tietä myöt'e astumah toiseh kyläh. Pikku kappaleh oli leipyä vain evähinä. Čuari työntäy sata saltattua ta kultasen korjan ajamah tietä myöt'e toiseh kyläh. Čuari käski ottua pojan kiini ta tuuva čuarih kultasella korjalla.

— Se on, — sanou, — miun poika. Kyšyöt enšin korjan hintua, mitä hiän vastuau.

Lähettih ajamah, ta poika kyyköttäy tiepuolessa.

— Mitä sie šielä ruat? — kyšytäh.

— Staaroita upuavin, noovoita pripuavin, neprijaatelin kera voinua pien.

Häntä tahotah tulomah tiellä.

— Meilä on asieta.

Hiän tulou tiellä, ta saltatat kyšytäh:

— Äijänkö tämä korja maksau?

Hiän vastuau:

— Kellä on tarvis, niin maksais triisto tiisäc ma'maamen, a mie en maksais ni mitä enkä ottais ni ilman.

Hyö lähettih pois ta sanotah:

— Ei tämä ole čuarin poika, mi lienöy repaleh.

Poika läksi iellä ta mäni kyläh. Palkkautuu papilla karjapaimenkse. No saltatat tultih čuarip luo, toimitetah čuarilla, jotta «näkimä šemmoista poikua». Čuari sanou:

— Še oli miun poika, — ta ajau hiät uvestah ečcimäh kultasen korjan kera.

Poika kun läksi paimeneh, niin mäni joven poikki ta rupei šyömäh, a lehmät jätih jokeh, missä on polvešta suaten vettä. Šotaväki tuli joven rannalla ta kyšytäh:

— Äijäkö tässä jovešsa on vettä?

Hiän vastuau:

— On tässä vettä sata kuusikymmentä polvie. (Jovešsa kun oli nellä kymmentä lehmyä ta jokahisella vettä polveh suate, niin hiän laški ne kaikki yhteh).

Tuas myöššyttih pois ta sanotah čuarilla, jotta oli poika lehmiän kera, niin oli syvä joki, jotta emmä piässyn piällicci.

— Missäpä ne lehmät oli? — kysyy čuari.

— Jovešša, — vaššattih hänellä.

— Oho työ höperöt, — šanou čuari, — vet' ei še niin šyvä ole, kun hiän šanou. Mänkyä uueštah poikua käymäh.

Poika ei enämpi i lähten paimeneh, vain pakeni muilla mailla. Šielä hiän vauraštu suureksi miehekši ta ajatteli, jotta «nyt mie voin männä kotih, jotta ei pie šataija muuilmalla, mänen čuarih». No tulou kotikylähäs tai mänöy leškiakkah. Šanou leškiakalla:

— Ota milma elämäh šiun kera, mie rupien šiula pojakše.

Leškiakka otti ta kävi ruokua ta käksi pojan levähellä. Akka läksi jauhojah käymäh, ta poika kačou jälkeh. Akka kun otti jauhot olkapiällä ta rupieu aitan ovie kiini panomah, tuulen torakka tulou ta kuatau jauhot. Akka itkien pirttih.

— Mitä, poikasen, nyt šyömäh, kun jauhot kuatu?

Poika vaštuaui:

— Elä šie ite, kun mäne čuarih prossimah, šieltä maksetah šiula jauhot.

— Miten mie, poikasen, mänen, vet' hiän kiruou milma vielä, kun kuavoin jauhot.

— No kun ruvennou suutimah, niin šano, jotta meilä on poika, mi käksi antua jauhuo, tai suutie malttau.

Akka mäni čuarih ta toimittau, mitein häneltä jauhot kuatu, ta kysyy jauhuo.

Čuari kysyy:

— Ken juohatti šiun miun luokše?

— Meilä on poika, — šanou akka, — še käksi.

Čuari arvuau, jotta šiinä on hänen poika. Čuari šanou:

— Mäne i käše tänne še poika.

Akka šanou pojalla:

— Čuarih kučuttih.

Poika mäni čuarih.

— Mie kyllä, — šanou, — tuomicčisin, kun miula ois čarskoi puku piällä.

Čuari lupuau hänellä puvun ta čarskoit pokonat ta istumeh. Poika šuorieu ta alkau suutimah. Šanou:

— Mie olen vieraš mieš, jotta šiä oli tyyni ta kaunis, kun akka läksi jauhon käyntih, vain šiitä nouši tuuli. Kysykkyä kaupunkilla, ken šillä minuutilla läksi merellä, niin še nošti tuulen. Šyylini šiihin, jotta jauhot kuatu, on še, ken merellä läksi, eikä akka.

Čuari käksi heittäimäh puvun pois. Poika šanou:

— En heittäis, još kun iče kerran annoit, niin mie jän čuarikse.

Čuari šanou, jotta «kotvan kävelit, vain tulit kumminki. Šie olet miun poika ta šuat jiahä čuarikse».

Niin poika jäi čuarikse, ta iče čuari jäi vanhoikse, ta akalla annettih jauhuo koko loppuiäkše.

## 57. ЦАРЕВ СЫН СУДЬЕЙ

Были раньше старик да старуха. Старик заболел и говорит своей старухе, что «когда я умру, то продай лошадь, тебе будет легче жить без лошади». Старик умер, и старуха объявила, что у нее продается лошадь. Покупатель лошади пришел к ней из другой деревни. Да и купил ту лошадь. Собрался старик [покупатель] уходить, а старуха стала говорить:

— Не езд, раз такой долгий путь, переспи здесь ночь.

Старик остался на ночь. Кобыла была жеребая и в ту ночь принесла жеребенка. Утром старик собрался уезжать, а старуха и не дает жеребенка.

— Это мой жеребенок, — говорит старуха, — раз в моем дворе лошадь ожеребилась.

Заспорили они. Старик говорит:

— Я из-за жеребенка и купил, кобылы я не хотел.

Спор у них зашел так далеко, что пришлось идти к царю. Царь был в отъезде, царица стала судить. Царица говорит, что «жеребенок старухин, коли во дворе у старухи родился». Царица была в тягости, и сын говорит из живота царицы:

— Б... в пользу б... и судит. Жеребенок не принадлежит старухе. Он принадлежит покупателю, а не продавшему.

Ну, его мать говорит, что «рассуди-ка тогда ты это дело».

Сын говорит:

— Старуха не дала старику саней вместе с лошадью. Теперь пусть приведут лошадь во двор, и старик пусть ведет лошадь, а старуха сани, в разные стороны. В какую сторону, за кем жеребенок пойдет, то тому и достанется.

Весь народ пошел смотреть во двор, и старик повел лошадь, а старуха потянула сани. Жеребенок и пошел за лошадью. Старик увел кобылу и жеребенка с собой. Когда дело прошло, то царица сказала своему сыну:

— погоди, как выйдешь на свет, так я тебе покажу, как до рождения судить да еще против меня.

Сын когда родился, то царица велела служанке пойти в город узнать, что не родился ли у кого-нибудь сын. Жена кузнеца и родила сына. Царица снова велит служанке идти к жене кузнеца, не помешается ли она сыном с царицей. Жена кузнеца обещает поменяться. Да и заворачивает мальчика в тряпку, и кладут в сноп соломы, и служанка будто бы сноп соломы несет к кузнецу, а там внутри мальчик. Сына кузнеца также приносят к царю в снопе соломы.

Царь приезжает домой и очень радуется, что у них сын. Ну, когда дети начинают там вместе играть, то царев сын всегда играет в кузнеца, а сын кузнеца все время с книгами и в школе. Царь говорит:

— Это не наш сын, мы как-нибудь с кузнецом перепутали сыновей.

Царица говорит:

— Не дури, наш это сын.

Как-то раз опять дети играют во дворе, и сын кузнеца играет в судью, а царев сын — в кузнеца. В то время был такой закон, что конокрада вешали. Сын генерала и украл во время игры у другого лошадь, и сын кузнеца говорит:

— Его надо повесить на виселице.

Да и сделали виселицу, закинули веревку на шею и вздернули. Сын кузнеца спрятался в царском саду. Все пошли его искать.

Царь говорит:

— Это наш сын: сын кузнеца до такого бы не додумался, а у нас сын кузнеца.

Царица опять говорит обратное.

Когда бежали по саду, то генерал с перепугу, ища мальчика, зашел в такую калитку, в которую может ходить только царское сословие. Сын кузнеца из засады это увидел и застрелил и самого генерала. Сын кузнеца убежал. Подумал, что теперь его будут настоящему искать. Отправился он по дороге в другую деревню. Был у него с собой только маленький кусочек хлеба. Царь посылает сто солдат и золотую карету по дороге в другую деревню. Царь велел поймать мальчика и привезти к царю в золотой карете.

— Это, — говорит, — мой сын. Спросите сперва цену кареты, что он скажет.

Поехали они, а мальчик сидит возле дороги на корточках.

— Что ты делаешь? — спрашивают.

— Старое убавляю, новое прибавляю, с неприятелем войну веду.

Зовут его на дорогу:

— У нас дело есть.

Он выходит на дорогу, и солдаты спрашивают:

— Сколько эта карета стоит?

Он отвечает:

— Кому нужно, то стоит триста тысяч тьмы тьмушей, а я бы не дал ничего и даром бы не взял.

Они уехали и говорят:

— Это не царев сын, какой-то оборванец.

Мальчик пошел дальше и пришел в деревню. Нанимается к попу пасти скот. Ну, солдаты вернулись к царю, рассказывают царю, что «видели такого-то мальчика». Царь говорит:

— Это был мой сын, — и велит им снова ехать с золотой каретой искать мальчика.

Мальчик когда пошел пасти скот, то перешел речку и стал есть, а коровы остались в реке, где было воды по колено. Солдаты пришли на берег реки и спрашивают:

— Сколько в этой реке воды?

Он отвечает:

— Тут воды на сто шестьдесят колен. (В реке было сорок коров и вода доходила им до колена, так он сосчитал все это вместе). Опять вернулись солдаты и говорят царю, что «был там мальчик с коровами, такая глубокая речка, что не могли перейти вброд».

— Где же эти коровы были? — спрашивает царь.

— В реке, — ответили ему.

— Ох вы, глупые, — говорит царь, — ведь речка не такая глубокая, как он говорит. Идите снова и приведите мальчика.

Мальчик больше и не пошел пасти скот, а убежал в другие страны. Там он стал уже взрослым и решил, что «теперь я могу идти домой, чтобы не надо было шататься по свету, пойду к царю». Ну, приходит в родную деревню и идет к старухе-вдове. Говорит вдове:

— Возьми меня с собой жить, я буду тебе за сына.

Старуха-вдова приняла его и пошла за едой да велела парню поотдохнуть. Старуха пошла за мукой, а парень смотрит ей вслед. Старуха взвалила муку на плечо и стала закрывать дверь амбара, налетел вихрь и развеял муку. Старуха с плачем в избу:

— Что, сынок, теперь станем есть, как муку развеяло?

Парень отвечает:

— Ты не плачь, а иди прссить к царю, там тебе дадут муки.

— Как я, сынок, пойду — ведь он меня еще станет ругать, за то что муку рассыпала.

— Ну, когда он станет судить, то скажи, что у нас есть парень, который велел дать муки и который умеет судить.

Старуха пошла к царю и рассказывает, как у нее мука развеялась, и просит муки. Царь спрашивает:

— Кто тебе посоветовал идти ко мне?

— У нас есть парень, — говорит старуха, — он велел.

Царь догадывается, что это его сын. Царь говорит:

— Иди-ка и вели этому парню идти сюда.

Старуха говорит парню:

— К царю звали.

Парень пошел к царю.

— Я, — говорит, — судил бы, если бы на мне была царская одежда.

Царь обещает ему одежду и царские погоны и трон. Парень переодевается и начинает судить. Говорит:

— Я свидетель, что погода была тихая и красивая, когда старуха пошла за мукой, но потом поднялся ветер. Спросите в городе, кто в ту минуту отправлялся в море — значит, тот поднял ветер. Виновен в том, что мука рассыпалась, тот, кто отправлялся в море, а не старуха.

Царь велел снять царскую одежду. Парень говорит:

— Не сниму — раз ты сам дал, то я останусь царем.

Царь говорит, что «долго ты бродил, но все-таки вернулся. Ты мой сын, и можешь остаться царем».

Так сын остался царем, а сам царь ушел на покой, и старухе дали муки на всю жизнь.

## 58. VIISAŠ MORŠIEN

Oli ennen ukko ta akka. Heilä oli poika. Ukko ta akka kun alettih vanheta; niin šanottih pojallah, jotta «ala eččie nuorissušta taloh, kun et liene ennen kaččon».

No poika šanou, jotta ei hänellä ole vielä mielitiettyö, no lupua kumminki huomenekšellä lähtie naisen eččoh. Poika kyšyy kumminki, jotta «mitäh šie, muamo, kašet milma aivoin huomenekšellä?».

Muamo vaštuau:

— Ka jotta näkisit, makuauko vielä tyttö, vain joko on männy työhö: meilä vet pitäy olla työn ruataja, eikä makuaja!

Tai läksi poika huomenekšellä noustuo heposella ajua köryytelömah; neiččysie kaččomah. Muamoh kaški männä šemmošeh taloh, mistä enšikse šavu näky. Tai näköy poika yheštä talošta šavun noušovan: mäni pihalla ta kaččelou. Heitti heposeh ta mäni pirttiä. Sielä tyttö räččinäisillä kutou kankašta. Tyttö šanou, jotta «mitäh šiula, vierahaisen, ei ollut šuuta eikä nenyä?». Hiän ei ošanun šiihi mitänä vaštata. Kyšyy, jotta «mihi mie panisin heposeni kiini, kun jäi pihalla irallah?». Tyttö kačahti pihalla ta vaštasi, jotta «kešä ta talvi on pihalla. Šivo kesäh eli talvehl».

Poika männä töllötti pihalla, vain ei ymmärtän, jotta mihi šie tyttö nyt neuvo šitomah, ta heponi jäi irallah. Kyšyy poika tytöltä, jotta «ketä teilä on muita eläjie?». Tyttö šanou, jotta «onhan miula tuatto ta muamo ta veikko».

— Missäpä hyö nyt ollah? — pakauttelou poika.

— Tuatto on lämmitä käymäššä, a muamo läsiy kešähisie nakrantoitah, velleni ieš-tuaš kävelöy.

Rupei tyttö vuoroštah kyšymäh:

— Mitä mie šiula, vierahaisen, keitän, kun ei ole valmista keitettyö? Keitänkö mie šiula šylekšennellen šyötävyä vain puro-matta nieltävyä?

— Keitä, — šanou, — šylekšennellen šyötävyä.

Neičyt keitti hänellä ahventa. Hiän läksi pois, šanou:

— Jiä tervehekšel!

A kaunis ois ollut hänen mieleštä tyttö. Tuli kotihis, ta muamoh kyšyy, jotta «löysitkö tyttären?».

— Löysin, — vaštasi poika, — vain hōpšö oli tyttö,

Ukko kyšyy:



— Mitein hiän oli höpsö, mitä hiän pakasi?

— Ka kun mänin, — šanou poika, — niin kyšy tyttö miulta, jotta «mintäh šiula ei ole šuuta eikä nenyä?». Eikö še höpertän?

— No iče šie olit šyypä, kun tyttö tietenki kuto räččinäisilläh, kun oli aikani, a šie et mäneššäs ryvähellyn etkä ništän nenyäš, jotta hiän ois kuullun šiun tulovan ta korjannut ičeh. Tietyšti šiula oli šuu šekä nenä, vain kun et käyttän niitä, niin hiän viisa-hašti kyšy.

— A mintähpä hiän käški šitomah miun heposen kešäh eli talveh?

— A šentäh, kun pihalla oli kärnyt ta reki: kärnyt oli kešä, a reki oli talvi. Šiun ois pitän hoš kumpaseh šituo heponi.

— No vieläpä še muutaki plaši, kun šano, jotta tuatto on läm-mintä käymäššä, muamo läsiy kešällisie nakrantahisie, a veikko ieš-tuaš kävelöy.

— Ka tuattoh oli puun vevošša, muamoh oli šuanun lapšen ta oli lapšikylyššä, a veikkoh oli kyntämäššä. A keittän hiän ois kananmunie tahi huttuo, a kun kyšyit šylekšennellen šyötävyä, niin šaitkin ahventa.

Ukko šanou, jotta «nyt pitäy lähtie šulhasikse: kun šuanemma, niin tuomma, a kun emmä, niin olkah šielä». Tai mäntih, tai kos-jottih, tai hiät piettih, ta tuotih moršien kotihis.

Lähettih šulhani ta ukko meččäh. Ukko šanou min'n'allah, jotta «lämmitä kyly, ta pane kukko kylyn lautojen piähä, ta šiitä varušša ruokua stolalla, ta pane miekka stolan poikki, a iče šuat ruveta muate: myö myöhä tulemma».

Mäntih meččäh. Ollah jo pois tulošša, niin ukko šanou pojalah, jotta «leikkua šie miulta piä ta kiät ta luo pualikkoja tiellä, jotta matka kuluis huvemmašša».

No poika arvelou, jotta ukko höpertäy, kun lähtiessä jo anto naisella šemmosie miäräykšie. Poika ei leikan piätä eikä käsie. Tultih kotih, šyötih, kylvettih ta ruvettih muate.

A moršien jo makasi — kun oli laittan, mitä käšettih, niin rupesi muate. Šanou moršiemelläh, jotta «oletko šie huomannun, jotta tuatto höpertäy?».

— En, en ole huomannun, — šanou naini. — Eihän še höpertän lähtiessä, kun hiän käški kukon panna lautojen piähä — hiän tarkotti sillä vaštua. Mie hauvoin vaššan ta panin lautojen piähä. A ruokua kun käški laittua, niin hiän tarkotti käšipaikan panta-vakše poikki stolan, eikä miekkua.

— No höperti še kumminki, — šanou poika, — kun käški meččästä tullesša leikata miun häneltä piän ta kiät. Ta käški pualikoija tien.

— Ka hiän šano šen vain vertaukšena, jotta kun hiän oli vaipun, niin šiun ois pitän ottua hänen lakki ta kintahat kannetta-vakše. A pualikkojen luokšentelomisella hiän tarkotti, jotta šie pakajaisit hänen kera, etkä iänettäš töllöttäis.

Kun maine levisi semmoni, jotta köyhässä talossa on niin viisas naini, niin cuari tuli ta otti pois, jotta «välttätä teilä i pahempi».

Tuatto-ukolla jäi ikävä ta paha mielestä. Hiän ajattelou, jotta millä hiän sais min'n'ah pois. Ukko työntäy kysyjie myöt'en tiijon naisella, jotta «missä miun surma on?». Min'n'a työntäy vastah sanua, jotta «tallin paccahah kun ocin paukahtau, niin siinä on surma». Ukko mäni tai kävi tallin paccahan piästä rahakasnah. Hiän tarkoittiki šurmalla rahojah.

Ukko työntäy kysymyksen tuas, jotta «kuin hyvissä vuatteissa silma pietäh, onko vuattiet konsana levälläh?». Naini työnsi sanan, jotta «muina päivinä on hyvin lujat, vain suavattailtana on levälini košto».

Hiän tarkoittiki sillä, jotta konsa ois vapahemmalla, jotta saisiko ukko häntä sieltä pois, niin min'n'a tarkotti, jotta muina päivinä ei, vain suavattailtana on takaveräjä kahallah. Ukko kun sai tämän tietä, niin mäni ta kävi min'n'ah pois, ta niin piäsi naini jällelläh elämäh ukon luona.

## 58. УМНАЯ НЕВЕСТА

Были раньше старик и старуха. У них был сын. Старик и старуха как начали стареть, то сказали сыну, что «начинай искать в дом молодуху [букв.: помолодения], если раньше не присмотрел». Ну, сын говорит, что нет у него еще невесты, но обещает все же завтра утром отправиться искать жену. Сын спрашивает, что «почему ты, мать, велишь мне ехать рано утром?».

Мать отвечает:

— Да чтобы увидел, спит ли девушка или уже ушла на работу: нам ведь нужна работающая, а не спящая!

И отправился сын, утром вставши, на лошади трусить, девушек смотреть. Мать велела заехать в такой дом, из [трубы] которого раньше других дым покажется. И видит парень, что из [трубы] одного дома дым поднимается; заехал во двор и осматривается. Оставил лошадь и зашел в избу. Там девушка в сорочке ткет. Девушка говорит, что «почему у тебя, гостюшко, не было ни рта, ни носа?». Он на это ничего не сумел ответить. спрашивает, что «куда бы мне привязать лошадь, она осталась во дворе непривязанной». Девушка взглянула на двор и ответила, что «лето и зима во дворе. Привяжи к лету или к зиме».

Парень вышел во двор, но не понял, куда девушка посоветовала привязать, и лошадь осталась непривязанной.

Спрашивает парень у девушки, что «кто у вас еще есть в семье?». Девушка говорит, что «есть у меня отец да мать, да брат».

— Где же они? — расспрашивает парень.

— Отец уехал за теплом, а мать болеет от прошлогоднего веселья, брат взад-вперед ходит.

Стала девушка в свою очередь спрашивать:

— Что я тебе, гостюшко, сварю, когда нет ничего приготовленного? Сварю ли я тебе еду, что едят выплевывая, или такое, что глотают не жуя?

— Свари, — говорит, — что едят выплевывая.

Девушка сварила ему окуней. Он уехал, сказал:

— Будь здорова.

А девушка оказалась ему красивой. Приехал домой, и мать спрашивает, что «нашел ли девушку?»

— Нашел, — ответил сын, только придурковатая она.

Старик [отец] спрашивает:

— Как придурковатая, что она говорила?

— Когда я зашел, — говорит парень, то девушка спросила у меня, что «почему у тебя нет ни рта, ни носа?». Разве она в уме?

— Ну ты сам был виноват, потому что девушка, конечно, ткала в одной сорочке, так как была ранняя пора, а ты, заходя, не кашлянул и не сморкался, чтобы она могла услышать, что ты идешь, и придется. Конечно, у тебя был и рот, и нос, но ты ими не пользовался, вот она умно и спросила.

— А почему она велела привязать мою лошадь к лету или зиме?

— А потому, что на дворе были телега и сани: телега — лето, а сани — зима. Тебе надо было к чему-нибудь привязать лошадь.

— Она еще и другое блажила: говорила, что отец уехал за теплом, мать болеет от прошлогоднего веселья, а брат взад-вперед ходит.

— Так отец уехал за дровами, мать ребенка родила и находилась в бане после родов, а брат пахал. А сварила бы она тебе яиц [выше пропущено] или каши, но раз ты велел сварить то, что едят выплевывая, то и достались тебе окуни.

Старик говорит, что «надо ехать сватать: если согласится, то привезем, а если нет, то пускай останется там». И поехали и сватали, и свадьбу сыграли, да привезли невесту домой.

Пошли молодой муж [букв.: жених] с отцом в лес. Старик говорит снохе, что «истопи баню и положи петуха на полок, да потом приготовь еду на столе, да положи мечь поперек стола, а сама можешь идти спать: мы поздно приедем».

Ушли в лес. Уже возвращаются обратно, старик и говорит сыну, что «отрежь ты у меня голову и руки да бросай палочки на дорогу, чтобы короче путь был».

Ну, сын думает, что старик рехнулся, потому что уже перед уходом оставил жене [снохе] такие распоряжения. Пришли домой, поели, попарились и легли спать. А невестка уже спала — приготовив все, что велели, легла спать. Говорит своей жене, что «ты не заметила, что отец блажит?».

— Нет, не заметила, — говорит жена. — Ведь не блажил же он, когда уходил: когда он велел положить петуха на полок, так он

имел в виду веник. Я выпарила веник и положила на пол. А когда велел еду приготовить, так он намекнул, чтобы полотенце положить поперек стола, а не меч.

— Но все же он блажил, — говорит сын [муж], — раз велел, когда из лесу шли, отрезать ему голову и руки. И велел бросать палочки на дорогу.

— Так он так говорил только сравнениями, что он устал, так тебе надо было взять у него шапку и рукавицы. А под палочками он подразумевал, чтобы ты с ним разговаривал, а не молчал бы как разиня.

Когда пошла окрест слава, что в бедном доме есть умная невестка, то царь пришел и увел ее, мол, «сойдет вам и похуже».

Свекор опечалился и заскучал. Он думает, как бы ему вернуть невестку. Старик велит нищим спросить у невестки, что «где моя смерть?». Невестка посылает ответ, что «о столб в конюшне как ударишься лбом, тут и смерть». Старик пошел и достал свою казну, спрятанную на столбе в конюшне. Он под смертью подразумевал деньги.

Старик опять посылает вопрос, что «хорошо ли тебя одевают или ходишь когда-нибудь в рваной одежде?». Женщина послала ответ, что «в другие дни одежда крепкая, но в субботний вечер рваный сарафан».

А он имел этим в виду, что бывает ли она когда на свободе, чтобы он мог ее увести, а невестка имела в виду, что в другие дни нет [нельзя выйти], а в субботний вечер задняя калитка открыта. Когда старик узнал об этом, он сходил и увел невестку, и так женщина стала снова жить с мужем.

## 59. MARINAN STARINA

Oli ennen ukko ta akka. Akka tuli kipekše ta šanou ukollah, jotta «kun mie kuolen, niin elä nai muista kuin Marinoista». Akka i kuoli, ta ukko läksi akkua eččimäh. Mänöy tuon pitkyä, tämän lyhyttä. Akka tulou vaštah. Kyšyy:

— Minne, ukkosen, mänet?

— Mänen, — šanou, — akkua eččimäh.

— Ota milma, — šanou akka.

— Mipä šiun nimi on? Onko Marina?

— Ei.

— En ota šilma, — šanou, — kun et ole Marina.

Aštuu tuaš, ta tulou toini akka vaštah.

— Kunne mänet?

— Akkua eččimäh.

— Ota milmal

— Otan, kun ollet Marina.

Ei ni ollun tuas Marina. Tulou tuas kolmas akka, ta šen ottau. Vei kotihis, ta še Marina on niin pahavirkani, jotta ei ni millä tule toimeh. Ukko tuumiu, mitein hiän piäsis eris akaštah: ei voi elyä yheššä. Juoktu mieleh, jotta peluanpa konstilla. Mäni meččäh ta löysi hettien. Hettien laijoilla tiputteli rahua. Tuli kotih ta šanou, jotta «vain kun mie löysin hettien ta šen ympärillä on rahua, vain en ruohtin männä ottamah rahoja, jotta mänen hettieh».

— Šanohan miula, — šanou akka, — missä še on, mie käyn rahat.

— Et šie šua niitä, — ukko šanou.

— Šuan tail

Ukko varottau, jotta «elä mäne kirpuomah». No lähtöy ukko hetettä näyttämäh ta männäh hettiellä. Akka mäni ta kurkki, kurkki niitä rahoja ta šikäli, jotta kirpoi hettieh päin.

Ukko mäni kotihis ta alko elyä. Ajattelou, jotta «paha on pahan kera elyä, vain paha on aivan pahattaki. Lähen onkittamah pois». Pani korpikuušen vavakše, pakšun hilanuoran šiimakše ta juakkerin onkekše ta pučkasi hettieh. Kuuntelou — nyky. «Jo šiun nyt šuan pois», — ajattelou. Hiän nošti, ta šarvi alko näkyö, noštou vielä — niin toini šarvi. Nošti muan piällä, niin eikä Marinua eikä, kun iče piessa. Kiittäy piessa, jotta «kyllä luajit hyvän työn, kun pelaššit mün Marinan kynšistä. Millä nyt šiun palkičen?».

— No mie, — šanou piessa, — mänen nyt čuarin tyttyö muokkuamah, niin šie tule šiitä piäštämäh. Mie kun heitän muokkuanan, niin še parenou — ta šie šuat hyvät rahat. Toista niis muokkuan, ta še käy niis pelaštamašša muka. Vain kolmanteh elä tule!

No hiän ruato niin. Kakši tyttyö i parenti ta šai hyvän palkan. Kolmatta kun rupei muokkuamah, ka tuas ni käyväh häntä.

— En lähe, — šanou.

Luvatah pakošta viijä. Ta hiän lähtöy, jotta «šyökäh piessa kun šyönöy». A hiän kokuou korillisen koiranpentuja ta panou čunah ta vetäy tietä myöte. Pennut šielä vikajau. Piessa kaččou, jotta jo i tulou. Hiän vaštah, tuli kerošta huohtau, šanou, jotta nyt hiän šyöy, mikse ukko tuli, vaikkei kāsken. Hiän šanou, jotta «elä tule, vet Marina on tiälä čunašša, mie kävin onkitin hettieštä». Piessa juokši kyličči ta juokši hettieh. Ukko mäni ta parenti viimeški tytön. Ta häntä otettih čuarih vanhoikse, a piessa joutu Marinan kāsih hettieh.

### 39. СКАЗКА ПРО МАРИНУ

Были раньше муж и жена. Жена заболела и говорит своему мужу, что «когда я умру, то не женись ни на ком, кроме Марины». Вот жена умерла, и муж пошел жену искать. Идет, долго ли коротко ли. Встречается женщина, спрашивает:

— Куда, мужичок, идешь?

— Иду, — говорит, — жену искать.

— Возьми меня, — говорит женщина.

— Как тебя звать? Зовут ли Мариной?

— Нет.

— Не возьму тебя, — говорит, — раз ты не Марина.

Идет дальше, и встречается другая женщина.

— Куда идешь?

— Жену искать.

— Возьми меня!

— Возьму, если ты Марина.

Но и эта была не Марина. Встречается третья женщина — и ту берет. Привел домсй, а эта Марина такая сварливая, что нет с ней никакого сладу. Муж думает, как бы ему отвязаться от жены, не могут жить вместе. Приходит ему на ум, что «дай-ка попробую схитрить». Пошел в лес и нашел трясину. Набросал вокруг трясинны денег. Пришел домой и говорит, что «нашел я трясину и вокруг нее есть денги, но только не смел брать денег, боялся, что провалюсь в трясину».

— Скажи-ка мне, — говорит жена, — где это есть, я схожу за деньгами.

— Тебе не достать, — муж говорит.

— Достану да и!

Муж предостерегает, что «не ходи, утонешь». Ну, идет муж трясину показывать, и пришли к трясине. Жена тянулась, тянулась, тянулась за деньгами до тех пор, пока не упала в трясину вниз головой.

Муж пошел домой и стал жить. Думает, что «плохо с плохой жить, но только плохо и без плохой. Пойду выужу». Взял большую ель вместо удилица, толстый канат вместо леси и якорь вместо крючка и бросил в трясину. Слышит — клюет. «Теперь уж я тебя вытащу», — думает. Он потянул, и показался рог, тянет еще — другой рог показался. Вытащил на землю — нет никакой Марины, а сам бес. Благодарит его бес, что «доброе дело ты сделал, что меня спас из когтей Марины. Чем же я тебе отплачу?».

— Ну, — говорит бес, — я теперь пойду мучить цареву дочь, а ты приходи ее лечить. Я как перестану мучить, она и поправится. и ты получишь хорошую плату. Другую тоже буду мучить, ты и ее будто бы спаси. Но только к третьей не приходи!

Ну, он так и сделал. Двух девушек вылечил и получил хорошую плату. Третью, когда начал мучить [бес], то опять и посылают за ним.

— Не пойду, — говорит.

Грозятся насильно вести. И он идет, что «съест бес, так пусть съест». Он набирает целую корзину щенят и кладет в санки и везет по дороге. Щенята там пищат. Бес смотрит, что тот уже и пришел. Он навстречу, пламя изо рта пышет, говорит, что теперь он его

съест, почему старик пришел, хоть он и не велел. Тот говорит, что «не подходи, ведь здесь в санках Марина, я сходил и выудил ее из трясины». Побежал бес стороной и бросился в трясины. Старик пошел и вылечил третью девушку. И его взяли к царю жить [букв.: покоить его старость], а бес попал в трясины в руки к Марине.

## 60. EI VIERNOI AKKA

Oli ennen ukko da akka. Akalla oli kolme druuguo. Yksi oli Pekka pellon poikki, toin'e oli Mikki, a kolmas Van'ka. No tulou yht'enä peenä ukko mečästä, istuotou ildazella dai šanou akalla:

— Akka, tänä peenä mie näin spoossuo ylen pitässä kuuzessa, i miulda priimi kaiken reehän.

Akka šanou:

— Priimiygo i miulda?

Ukko šanou:

— Priimiy i siulda, — šanou.

Dai akka huomuksella nouzi, ukon d'uotti, syötti i lähtöy sen spoossun luoksi reehkee šanomah. A ukko d'ai kodih. Ukko, kun akka läksi, kyllicci akasta d'uoksi, dai ielläpäi hän'dä i nouzou kuuzeh. Nouzi kuuzeh, tulou akka kuuzen alla. Akka i kirguu:

— Hoi spoossu, spoossu, oletgo sielä?

Heen šanou:

— Olen!

— Ni priimitgo miulda reehät?

— Priimin.

— No voi spoossu-rukka, — akka šanou. — Miula on kolme druuguo: yksi on Pekka pellon poikki, toin'e on Mikki, a kolmas on Van'ka. Ni pros'titgo miula reehät?

— Pros'tin.

Spoossu i kyzyy akalda:

— Nigoï tahot peessä endizestä ukosta vai kui lienou?

Akka šanou:

— Himottais peessä, spoossu-rukka, nu en voi hänestä ni kuin peessä.

A spoossu šanou hänellä:

— Enämbi vai syötä rieskoo maiduo, argivoida da lihoo, hen sogenou dai siä peezet.

Akka läksi hyvällä mielin kodih.

A ukko heitty kuuzesta, kyllicci akasta proidi, tuli kodih dai vuottau akkoo. Tuli akka. Akka samovooran pani, sillä kerdoo samovoora kiehastu, pani stolalla argivoida, rieskoo maiduo. Ukko d'oi da söi sil kodvazen i šanou akalla:

- Akka, mientäh en liene rubennu nägömäh.  
 Akka hyvällä mielin sillä kerdoo ukolla šanou:  
 — Ukko, meilä on häkki, — šanou, — kolmekezän'e. Nukka myö hänen issemmä, ni sie, — šanou, — sproovietet.  
 Nu, nostau akka häkin sarailla. Ukko otti hamaran i mänöy sarailla häkin luoksi. Ukko šanou:  
 — En voi, akka rukka, mie iskie, — šanou, — sogeissah, — šanou.  
 — Mäne kuču kedä kajo abuh.  
 Akka šanou:  
 — Mie kučun, — šanou, — Pekan pellon poikki.  
 Läksi akka, kuču Pekan. Tuli Pekka. Pekka i šanou ukolla:  
 — Ana mie issen.  
 Ukko šanou:  
 — A-voi-voi, mie, — šanou, — kolme vuotta syötin häkkie, nin hot' omasta keestä issen.  
 Otti tämä Pekka häkkie rubei pidämäh. A ukko nosti hamaran i šanou:  
 — Hospodi blahoslovi! Hoš häkkie ei puuttune, ga Pekkoo puuttuu.  
 Pekkoo kui iski hamaralla, Pekka šiih i koodu. Akka šanou:  
 — A-voi-voi, midä sie rovoit?  
 — Nukka, — šanou, — keerimmä rogozah da lykkeemmä karzinah.  
 Keerittih se Pekka rogozah, lykättih karzinah. Akka šanou:  
 — Lähen mie, — šanou, — kučun abuh Mikin.  
 Läksi akka, Mikin kuču abuh. Tuli Mikki. Mikki šanou ukollat:  
 — Na pie, ni mie issen.  
 Ukko šanou:  
 — A mie ku kolme vuotta syötin häkkie, ka hot' omasta keestä issen.  
 No, otti ukko, nosti hamaran. Mikki rubei pidämäh häkkie.  
 Ukko i šanou:  
 — Hospodi blahoslovi, hos häkkie ei puuttune, ga Mikkie puuttuu.  
 Tooš ku ottau, kun iski hamaralla, tooš Mikki šiih i koodu. No, hyö keerälletäh händä rogozah, tooš lykätäh karzinah. Ukko šanou:  
 — Kembä meilä nyt häkin isköy?  
 Akka šanou:  
 — Kučun mie, — šanou, — Van'kan.  
 Akka mäni d'uoksi, kuču Van'kan. Tuli Van'ka. Van'ka i šanou ukolla:  
 — Na pie häkkie, ni mie issen.  
 A ukko šanou:  
 — Mie kun, — šanou, — kolme vuotta syötin häkkie, ni hot' omasta keestä issen.  
 Ukko tooš nosti hamaran:



— Hospodi blahoslovi, hos hääkie ei puuttune, ga Van'koo puuttuu.

Tooš Van'koo hamaralla oččah. Van'ka siih i koodu.

Tooš händä keeritäh rogozah da lykätäh karzinah. Nu, siidä otti ukko, häkin iski. Verestä lihoo käski akalla panna kattilah. Akka pani verestä lihoo kattilah. Ukko i šanou akalla:

— Akka, meilä on, — šanou, — sapožnikka d'uomari yl'en, — šanou, — ni män'e sie händä kuču. Heen miät bedasta peestäy.

Akka mäni kuču sapožnikan.

Tuli sapožnikka. Akka siih pani verestä lihoo stolalla, kaiken d'ytyistä, — značit, ukko četvertin viinoo, i rubetah hyö d'uomah. D'uodih, d'uodih vähän'e, tämä ukko i šanou ombelijalla:

— Vot, — šanou, — meilä on, — šanou, — pokoinikka. Etgo sie, — šanou, — šoottais koskeh?

A humal'nikka še kun humaldu, sapožnikka, heen šanou:

— Anaskoo vai täh, mie sidä kerdoo hänen vien.

Otetah nossetah pokoinikka karzinasta. Sapožnikka ottaa pokoinikan olgupeel'je, i juossulla mänöy juoksou sillalle i lykkeeu koskeh. A kuni sapožnikka sin käy, sidä aigua hyö nossettih toin'e. Nossettih toin'e, ku tuli sapožnikka d'ärelläh, hyö i šanotah:

— Pahoin lykkäzit, kačo — tuli d'ärelläh.

— Kui heen tuli, — sapožnikka šanou.

— Anakkoo mie uuvvestah hänen lykkeen. Otti toižen pokoinikan tooš olgupeel'je dai tooš juoksulla kossella. Mänöy i lykkeey hänen, a sini hyö tooššen kuni sapožnikka käy, tooššen hyö nossettih kolmas. Tooš ku tuli sapožnikka d'ärelläh, hyö šanotah:

— Ka sil, — šanou, — pahoi lykkäit, ga tooš tuli d'ärelläh.

Sapožnikka šanou:

— Anakkoo kolmannen kerran juoksen, — šanou, — lykkeen, ei enämbi tule.

Ottau pokoinikan olgopeel'je i läksi d'uoksemah koskeh. Nu, a akalla rodih žoali druuguloja, heen suoriin, pani valgien skoot'erin peeh i läksi koskeh kaččomah druuguloja. A sapožnikka matkoo d'ärelläh kossesta i kui nägi akan i duumaiččou, što heen on pokoinikka. Heen kui tavotti akan syläh, d'uoksi sillalla i lykkäi koskeh. Tull ukon luoksi. Ukko i kyzyy händä:

— Etgo nägen miun akkoo?

A sapožnikka šanou:

— Miula tuli vastah, mie duumaičin, što on pokoinikka, i mie hänen lykkäzin koskeh.

I sidä jo hyö d'uodih viinoo i kozittih, i ukko nai uuvan akan, i nygöinä el'etäh kuin pidäy.

## 60. НЕВЕРНАЯ ЖЕНА

Были раньше муж да жена. У жены было три дружка. Один был Пекка, второй Микки, а третий Ванька. Ну, приходит однажды муж из лесу, садится ужинать и говорит жене:

— Жена, сегодня я видел спаса. Он был на большущей ели и мне отпустил все грехи.

Жена говорит:

— Отпустит ли мне?

Муж говорит:

— Отпустит и тебе, — говорит.

Вот жена утром встала, мужа напоила, накормила и отправляется к спасу на покаяние. А муж остался дома. Муж, когда жена ушла, побежал в обход, прибежал раньше ее и поднялся на ель. Поднялся на ель, приходит жена под ель. Жена и кричит:

— Хой спас, спас, ты здесь?

Он [муж] отвечает:

— Здесь!

— Так отпустишь ли мне грехи?

— Отпущу.

— Ой спасушка, — жена говорит, — есть у меня три друга. Один Пекка, другой Микки, а третий Ванька. Так простишь ли мне грехи?

— Прощу.

Спас и спрашивает у жены:

— Не хочешь ли ты избавиться от своего мужа или как?

Жена говорит:

— Хотелось бы избавиться, спасушка, но никак не могу избавиться.

А спас говорит ей:

— Побольше корми его цельным молоком, скоромным маслом да мясом — он ослепнет, и ты избавишься от него.

Жена довольная пошла домой. А муж слез с ели, прошел мимо жены, пришел домой и ждет жену. Пришла жена. Жена самовар поставила, в ту же минуту самовар закипел, положила на стол скоромное масло, цельное молоко. Муж пил да ел, через некоторое время и говорит жене:

— Жена, что-то я перестал видеть.

Жена на радостях тут же говорит мужу:

— Муж, у нас бык, — говорит, — трехлетний. Давай-ка мы его забьем, так ты, — говорит, — поправишься.

Ну, пригоняет жена быка на верхний сарай. Муж взял топор и идет на сарай к быку. Муж говорит:

— Не могу, женушка, забить, — говорит, — сослепу. Иди позови кого-нибудь на помощь.

Жена говорит:

— Я позову, — говорит, — Пекку, что за полем живет. Пошла жена, позвала Пекку. Пришел Пекка. Пекка и говорит хозяину:

— Давай я забью.

Муж говорит:

— А-вой-вой, я, — говорит, — три года быка кормил, так хоть своей рукой забью.

Взял Пекка да стал быка держать. А муж поднял топор и говорит:

— Господи благослови! Если в быка не попаду, то в Пекку попаду.

Как ударил Пекку обухом, Пекка тут и упал. Жена говорит:

— А-вой-вой, что ты наделал?

— Ну-ка, — говорит [муж], — завернем его в рогожу и бросим в подполье.

Завернули Пекку в рогожу, бросили в подполье. Жена говорит:

— Пойду, — говорит, — позову на помощь Микки.

Пошла жена, позвала Микки на помощь. Пришел Микки. Микки говорит хозяину:

— На, держи, так я ударю.

Муж говорит:

— А я три года быка кормил, так хоть своей рукой забью.

Взял муж, поднял топор. Микки стал держать быка. Муж и говорит:

— Господи помилуй, если в быка не попадет, так в Микки попадет.

Опять как ударил обухом, Микки тут и упал. Ну, они завернули его в рогожу и бросили в подполье. Муж говорит:

— Кто же теперь нам быка забьет?

Жена говорит:

— Позову я, — говорит, — Ваньку.

Жена сбегала позвала Ваньку. Пришел Ванька, Ванька и говорит хозяину:

— Ну, держи быка, так я ударю.

А муж говорит:

— Я, — говорит, — три года быка кормил, так хоть своей рукой забью.

Муж опять поднял топор:

— Господи благослови, если в быка не попадет, то в Ваньку попадет.

Опять обухом Ваньку по лбу. Ванька тут и упал. И его завернули в рогожу и бросили в подполье. Ну, потом муж взял да быка забил. Велел жене положить в котел свежего мяса. Жена положила свежего мяса в котел. Муж говорит жене:

— У нас, — говорит, — есть сапожник, большой пьяница, — говорит, — так поди и позови его. Он нас из беды вызволит.

Жена пошла, позвала сапожника. Пришел сапожник. Жена положила на стол свежего мяса в разных видах; муж, значит, — четвертинку вина, и стали они пить. Пили немного, муж и говорит сапожнику:

— Вот, — говорит, — у нас, — говорит, — есть покойник. Не можешь ли ты, — говорит, — бросить его в падун.

А пьяница тот, как захмелел, сапожник-то тот, и говорит:

— Давайте-ка его сюда, я мигом его утащу.

Взяли подняли покойника из подполья. Сапожник взвалил покойника на плечо, бегом бежит на мост и бросает в падун. А пока сапожник туда ходил, они тем временем вытащили другого [покойника.] Вытащили другого, а когда сапожник вернулся, они говорят:

— Плохо бросил, смотри — обратно вернулся.

— Как же вернулся, — сапожник говорит. — Дайте я снова его брошу.

Взял второго покойника опять на плечо и бегом к падуну. Пришел и бросил его, а тем временем, когда сапожник туда ходил, они подняли третьего покойника. Опять сапожник как вернулся, они говорят:

— Смотри-ка, ты, — говорят, — плохо бросил, опять ведь обратно пришел.

Сапожник говорит:

— Дайте третий раз сбегая, — говорит, — так брошу, что больше не вернется.

Взял покойника на плечо и побежал к падуну. Ну, а жене стало жаль своих дружков, она собралась, набросила на голову белую скатерть и пошла к падуну смотреть дружков. А сапожник возвращается обратно от реки, и когда увидел женщину, то подумал, что она покойник. Он поймал ее, побежал на мост и бросил в падун. Вернулся к мужу. Муж и спрашивает у него:

— Не видел ли моей жены?

А сапожник говорит:

— Мне встретилась, я подумал, что покойник, и я ее в падун бросил.

И потом они всю ночь пили вино. Мужик взял новую жену, и поныне живут как надо.

## 61. RAHALOMPÄ

Oli ennen ukko ta akka. Ukko käveli kylässä tai löysi hyvin suuren rahalomšan, monta satua rupl'ua oli rahoa. Tuli kotih hyvillä mielin ta sanou akallah:

— Како sie tätä rahašummua, kuin löysin äijän rahoa, nyt onnako köyhyys lähtöy. Pane nyt nämä rahat talteh.

Akka hätäyty, jotta ei tiijä kunne ne rahat panis. Ašettau mikä mihinkä, jottei ni yhtä näkyis, ašettau lippahah, varajau, jotta šieltä varasšettah. Lopulla panou vaššan alla. Ei ne i šielä pisytä. Šiitä hänellä on šuuri hätä, jotta ei tiijä kunne panna. Viimein pani šisälöhönšä. Hyvillä mielin mänöy kyläh ta i alkau šanuo kylän akoilla, jotta hänen ukko löysi äijän rahua, jotta riittäy koko ijäksi.

Ukolla tuli hätä käteä, jotta «ohoh, ohoh, ei olis pitän sanuo: viijäh meiltä kuitenkin ne nyt». Ukko otti pois akaltah rahat.

Kun rahvas sai tietyä, jotta oli löytän rahoa, tai alettih kysyö, jotta «oletko löytän rahoa?». Ukko — jotta «en ole löytän, akka valehtelou».

Ukko i mänöy meccäh tai suau rysästäh hauvin ta anšasta mecon. Mecon pani rysäh ta hauvin pani anšah. Tuli kotih, sanou akallah, jotta «läkkä myö kačcomah pyvyksie». (Ei šanon, jotta oli ennen käynyn). Männäh kačcomah. Akka hätäytyy:

— Mimmoni cuuto on rotitun, kun on hauki anšassa ja mečco rysässä!

Ukko i sanou, jotta «muailman loppu tulou». Akka sanou, jotta «minne sie miun suatat muailman lopun aijaksi, jotta en näkis muailman loppuo?». Ukko sanou, jotta «kun mäнемmä kotih, niin mie šiun peitän».

Tultih kotih. Ukko pani puisen kumuol'lah ta akan šiämeh i varottau, jotta «elä liiku, mie šanon konša loppuu».

Hiän ni kylvi puisen piälä osrua ta pani kanat ta kukot niitä n'okkimah. Akka šiellä yksinäh pakajau, jotta «nyt šielä parahallah on muailman loppu, kun rakehie šatau», jotta «teräväh loppuu». Ukko i ottau akkah puisen alta tai sanou, jotta «jo loppu muailman loppu!».

A virkakunta i tuli tutkimah ukkuo, jotta löysiköhän rahua. Ukko sanou, jotta «en löytän, akka valehtelou». Akalta kysytäh, jotta «mihi aikah se kuit'enki tapahtu?. Akka i sanou, jotta «se oli moniehta päivyä iellä sitä, kun hauki puuttu anšah ta mecco rysäh». Ukko sanou, jotta «kuulkua työ nyt, konša se šemmoista on tapahtun, vet' jo akka parka kokonah on höpertyn».

— Konša se hauki ka nin on puuttun anšah? — kysytäh akalta. Akka i sanou, jotta päivyä ennen muailman loppuo.

— A konša se muailman loppu on ollun? — kysytäh tuaš ne tutkijat.

— Ettäköhän tuota kuullun, kun rautasie rakehie šato katolla?

Ukko i sanou, jotta «akka raiska kokonah on höperö, plašiu». Siitä tutkijat i šanottih, jotta «kun olet höperö, nin piässämmä ka nin poikes tiät».

Ta niin i suatih ukko ta akka piteä rahat.

## 61. КОШЕЛЕК С ДЕНЬГАМИ

Были раньше старик да старуха. Шел однажды старик по деревне и нашел большой кошелек, несколько сот рублей было денег. Пришел домой радостный и говорит старухе:

— Смотри, сколько денег я нашел — теперь нашей бедности конец! Только убери их понадежнее.

Старуха засуетилась, не знает, куда и убраться деньги. Те спрячет в одно место, то в другое, чтобы не было видно. Спрятала в сундук, а сама боится, что украдут их оттуда. Переложила под веник. Нет, и там не уцелеют. Большая у нее забота оттого, что не знает, куда деньги спрятать. И сунула, наконец, за пазуху. Довольная пошла по деревне и рассказывает бабам, что нашел ее старик столько денег, что на всю жизнь хватит.

Испугался старик: «Ох-ох-ох, не надо было говорить ничего старухе. Украдут теперь наши деньги». Старик у старухи деньги отобрал.

Когда народ узнал про то, будто бы старик нашел деньги, начали его расспрашивать. Старик [говорит], что «ничего я не находил, старуха все наврала».

Пошел старик в лес, попала ему в мережку щука, а в силок глухарь. Он в мережку положил глухаря, а в силок щуку. Пришел домой и говорит старухе:

— Пойдем, проверим ловушки.

Не сказал, что сам уже раньше ходил. Пришли в лес, старуха испугалась:

— Какое чудо произошло: в мережке глухарь, а в силке щука!

Старик и говорит, что светопреставление будет.

Старуха спрашивает, что «куда же ты меня на это время денешь, чтобы не видеть мне светопреставления?». Старик говорит, что «когда придем домой, то я тебя спрячу».

Пришли домой. Старик повернул деревянное корыто вверх дном, старуха забралась под него, он предупреждает, что «не шевелись, я скажу, когда кончится».

Насыпал старик ячменя на корыто и выпустил кур да петухов клевать. Старуха говорит сама с собой: «Теперь там это самое светопреставление, коли град такой пошел, наверное скоро кончится». Поднял старик корыто и говорит, что «кончилось уже светопреставление!».

Пришли чиновники с допросом к старику, не находил ли он денег. Старик говорит, что «не находил, старуха врет». У старухи спрашивают, что когда это было. Старуха и говорит, что было это за несколько дней до того, как попался в мережку глухарь, а в силке щука. Старик говорит, что «послушайте вы ее, когда же такое случается! Совсем старуха бедная помешалась».

— Когда же щука в силок попала? — спрашивают у старухи.

Старуха и говорит, что за день до светопреставления.

— А когда же светопреставление было? — спрашивают эти судьи.

— Так разве вы не слышали, как железный град по крышам стучал?

Старик говорит, что «совсем помешалась бедная старуха, умом тронулась».

Судьи и говорят, что «раз помешалась, то отпустим мы вас на свободу».

Так и остались деньги у старика и старухи.

## 62. HOI, HURIT!

Oli en'n/en akka, skalla oli poiga da tytär. Poiga huomuksella lähtöy, en tiijä, mihi roadoh meččäh, a moamo da tytär d'eähäh kodih. Moamo päčün panou lämbiemäh, päčissä d'o ollah yhet keglehyöt, leibät voaliu, tytöllä sanou nimie myöteh (en muišša, mi oli tytöllä nimi):

— Mäne kašša rannašša hau.

Tyttö ku mäni hauo kaštamah, a d'ärvi eu levie, ga d'ärvestä poikki hubutah muzikat:

— Hoi, tyttö, siä ku mennet d'ärven toizella puolella miehellä, dai enzi kerdoa d'ärvestä poikki proidiešša mänet vedeh.

Tyttö itušša perttih. Perttih tulou, ga moamoh kyzyy:

— Midä itet?

— Muzikat huhutah, što ku mänet d'ärvestä poikki kellä ni gi miehellä, ni enzi kerdoa d'ärvestä poikki proidiešša mänet vedeh.

Moamo tarttuh hänellä kaglah: ga itkömäh, ga itkömäh, ga itkömäh. Päivä d'o ildapuolessa, vielä moamo da tytär itetäh. Leibät d'o stolalla reämisyttih, päčči viluštu. Hyö van yksi yhen kaglašša riputah da itetäh. D'o poiga tuli kodih, kyzyy:

— Midä kaglakkah itettä šezissä?

Hyö sanottih — sidä da sidä itemmä. Poiga sanou da peädä lekuttau:

— No hurit, no hurit! Pidäy lähtie, engo voi vielä mistä ni gi hurie löydeä.

Mäni, mäni, ga muzikka kylyn ku van on kylvenyn, humalašša van missä ollou, koadeida ei voi d'alгах panna, unohti kui koadiet pannah d'alгах. Koadiet on azettanun kahen seibähän peähäh opuškapuoolešta, seärykset riputah alašpäin. Sidä d'uoksou, d'uoksou — hypähtäy koadeiheh, no ku ei aigau'uttoa d'alгах. Poiga sanou:

— Kačoi, yhen hurin ni löyin.

Poiga kyzyy muzikalda:

— Midä siä roat?

Heän sanou:

— Unohin kuin koadeida d'alгах pannah, ni koadeida d'alгах panen.

— Hoi, huri, vet ei näin pandoa koadeida d'alгах. Andanet šoan rub'oa, ga miä opaššan, kui pidäy koadiet d'alгах panna.

— Anan, van siä šoata koadiet d'alгах.

Poiga koadiet d'algah pani, soan rubl'oa otti da ni läksi ielläh, a muzikka vielä sil'mät risti, ku koadiet šoadih d'algah.

Poiga mäni, mäni, mäni, ga kyl'n peällä lehmeä nošsetah. Kyl'n peällä, katoksella on kazvan heineä, ni seniidä heinie syömäh nošsetah lehmeä. Poiga sanou:

— Kačo, ei kai hurit oldu sielä, on vielä i teälä hurie. Midä työ roatta?

— Ka lehmeä nošsamma katoksella heiniä syömäh.

— Hoi, hurit, niittäkkeä libo nyhikkeä heinät, a elgeä lehmeä sin nošsakkoa.

Hyö niin ni roattih, pojalla sada rubl'oa annettih, poiga läksi ielläh. Mäni, ga kodie srojitat, ni kuhu rodieu pitembi hirzi, ni sidä pal'alla riehität, štobi lyhenis, a kuhu lienöy lyhemmäksi, ni siidä venytetäh — ei roattoa, a kigletäh. Poiga sanou:

— Elgiä senin roakkoa, a roakkoa näin: ku vuidiu pitemmäksi hirzi, ni se pilikkeä, a ku vuidiu lyhyemmäksi, ni d'atokkoa.

Pojalla toas annettih sada rubl'oa, poiga otti d'engat da läksi ielläh.

Matkai, matkai, matkai, kačcou — ga hurstiloin kera d'uokšennellah rahvas pihalda perttih, pihalda perttih, ielläh-d'ärelläh. Poiga tuli, sanou:

— Midä työ roatta?

— Ka vasta ku srojima pertin uuen, ni ku eu päiveä pertissä.

Ni pertih päiveä kannamma.

Poiga duumaiccou: «Ka dai teälä on hurie». Sanou:

— Ongon teilä ikkunat pertissä?

— Ka eu, velli, ni midä.

— Ni ottakkoa pila da pilakkoa loukot seinih, rakennakkoa, ošsakkoa st'oklat, loajikko roamat, dai päiveä tulou perttih kandaatta.

— Slava tebe, hospodi, poiga-rukkoa n'euvonnalda!

Annettih sada rubl'oa, da poiga otti i läksi ielläh. Matkai, matkai, matkai, ga toas uessa pertissä viuhketäh rahvas hurstiloin kera — pertistä pihalla hurstiloilla šauda kannetah. Poiga kyzyy:

— Midä roatta?

— Ole siä, ku vaštanikkoš koin srojima, ni ku pertti täyzi on šauda: ni ei šoa ni silmie avata. Ni pertistä pihalla hurstiloilla šauda kannamma.

— Ka hoi, hurit, ongo teilä hoti truba?

— Ei, velli, ole ni midä.

— No ku ei ole truboa, ni kaivakkoa van loukko lageh da loajikko truba, ni enämbi šauda hurstiloilla ei pie kandoa.

— Passibo da passibo neuolda.

Toas sada rubl'oa annettih, poiga otti, läksi. Puolen tuhatta d'engoa sai, ei vet midä i männyn. Poiga duumaiccou: «Ei oldoa yhet miän hurit, on vielä i muualla hurie».

Sihi i starina loppieti.



## 62. ЭХ, ГЛУПЦЫ!

Была раньше женщина, у женщины были сын и дочь. Сын утром отправляется не знаю на какую-то работу в лес, а мать и дочь остаются дома. Мать затапливает печь; в печи уже одни головешки остались, хлебы валяет. К дочери обращается по имени (не помню, как дочь звали):

— Поди на берег, помочи помело.

Девушка как пошла мочить помело, а озеро неширокое было, то мужики через озеро и кричат:

— Хой! Девушка, если ты выйдешь замуж на другой берег озера, то как поедешь первый раз через озеро, так и утонешь.

Девушка с плачем в избу. Приходит в избу, мать и спрашивает:

— Что плачешь?

— Мужики кричат, что когда выйдешь на другую сторону озера за кого-нибудь замуж, то как поедешь первый раз через озеро, утонешь.

Мать бросается ей на шею и плакать, и плакать, и плакать. День уже клонится к вечеру, все еще мать и дочь плачут. Хлебы на столе расплылись, печь остыла. А они, обнявшись, плачут. Уже сын пришел домой, спрашивает:

— Что вы, обнявшись, тут плачете?

Они рассказали: потому-то и потому-то плачем. Сын говорит и качает головой:

— Ну и глупые, ну и глупые! Надо пойти [поискать], не найду ли еще где-нибудь таких же глупых.

Шел, шел, [видит] — мужик только что в бане попарился, никак не может портки надеть: забыл, как портки надевают. Повесил портки за гашник на колья, штанины внизу болтаются. Побегит-бежит, пытается прыгнуть в портки, но никак не может. Парень говорит:

— Смотри-ка, нашел ведь одного глупца.

Парень спрашивает у мужика:

— Что ты делаешь?

Тот говорит:

— Забыл, как портки надевают, так вот пытаюсь надеть.

— Ой, глупый, ведь не так надевают портки. Если дашь сто рублей, так я научу, как надо надевать.

— Дам, только ты научи меня, как надевать.

Парень ему портки надел, сто рублей взял и пошел дальше, а мужик даже перекрестился, когда портки оказались на ногах.

Парень шел, шел, шел, [смотрит] — на баню корову тянут. На бане, на крыше, трава выросла, так ту траву есть корову поднимают. Парень говорит:

— Смотри-ка, не все глупцы там были, есть еще и здесь глупые. Что вы делаете?

— Корову поднимаем на крышу траву есть.

— Ой, глупые, выкосите либо повыдергайте траву, а не поднимайте туда корову.

Они так и сделали, парню сто рублей дали, парень пошел дальше. Шел, [смотрит] — дом строят, если где бревно подлиннее, так они его кувалдой бьют, чтобы укоротить, а где покорооче, то они его растягивают — не работают, а мучаются. Парень говорит:

— Не этак, а так делайте: когда попадетса подлиннее бревно, то вы отпилите, а если попадетса короче, то добавьте.

Парню опять дали сто рублей, парень деньги взял и пошел дальше. Шел, шел, шел, смотрит — народ с холстами бегаёт из избы на двор, из избы на двор, взад-вперед. Парень подошел, говорит:

— Что вы делаете?

— Так только что выстроили новую избу, а света в избе нет. Вот и носим свет в избу.

Парень думает: «И тут есть глупцы». — Говорит:

— Есть у вас окна в избе?

— Нет, брат, ничего.

— Так возьмите пилу и выпилите отверстия в стенах, купите стекла, сделайте рамы, и будет свет в избе — носить не надо.

— Слава тебе господи, спасибо, сынок, за совет!

Дали сто рублей, парень взял и пошел дальше. Шел, шел, шел, [смотрит] — опять около новой избы народ с холстами носится: из избы во двор, в холстах дым носят. Парень спрашивает:

— Что делаете?

— Не говори, только что выстроили дом, а изба полна дымом; даже глаз открыть нельзя. Вот и носим дым в холстах из избы во двор.

— Ой, глупцы, есть ли у вас хоть труба?

— Нет, брат, ничего нет.

— Ну, коли нет трубы, то сделайте отверстие в потолке и поставьте трубу — не надо будет холстами дым выносить.

— Спасибо, спасибо за совет.

Опять сто рублей дали, парень взял, пошел. Полтысячи денег получил, ничего не потерял. Парень думает: «Не одни только наши глупые, есть еще и в других местах глупцы».

Тут и сказка кончилась.

### 63. НОМА-VÄY

Elettih ukko da akka. Mužikkoo kučuttih Homaksi. Heen šanou akalla:

— Mäne nyt siä kyndämäh, miä rubian nyt murginšo loodimah.

Akka šanou:

— Miä ka lähän, van roo kodiroovot.

I kasköy:

— Lämmittä perti. Tuošša ollah rugethet, n'e jauho; tuošša padazešša on kuore, pieksä voiksi, syötä kanat. Lapsi štobj ei itkiis, liekuta lašta.

I läksi pellolla kyndämäh. Heen mäni pellolla da van kyndäy, a mužikka Homa van emännöičöy: pani päcin lämbiemäh, kanoilla d'yvee lykkäi da laški lattiella pertih, välillä, kuoriat pani vakkah da kuorevakan selgäh, kätkyöstä provedi nuoran karžinah da sido d'algah, štobj voisi lašta liekuttoo, rugethet otti da zavodi d'auhuo. Oigiella keellä kive pyörittäy, vazemmalla keellä, ruista kiveh panou, d'allalla lašta liekuttou, a kuorevakk selläššä. Kuorevakk läikky, kuore selgee myöten valuu, Homa šanou:

— Emäšköiniä, midähän on selgä mägä?

Rubei nuorašta liekuttamah kätyttä, ga kätyt d'o ei liiku, duumalöčöu: «Vuota siä, miä kacon, midähän kätyt ei liiku». A kuore d'o valuu selgee myö'ten. Tuli, ga orzi, miä kätyt oli sivottu, on langennun lapsen peellä dai lapsen tappannu. Kaččou, ga kanoida pertiššä ei oo. Kušša kanat? Ku heen on pöllässyk-sissä, hieššä. Kačahti, ga kanat on mändy päččih da palettu.

— A-voi-voi, emäšköiniä, midä miä roovoin! — šanou heen. — Midä miä nyt akalla šanon, ku akka tulou kodih? Lapsen tapoin, kanat poltin, kuore mäni mooh, rugethet on d'auhomatta...

Kačahti, ga appi tulou, d'o on pihalla.

— Lapset, šanokkoo diedollas, što tata da mama ollah pellolla kyndämäššä, — šano da iče nouzi lauoilla, magoondapalatilla moota. Appi tuli da kyžy:

— Missäbä, lapset, ollah toottoš da moomoš?

— Mama da tata ollah pellolla kyndämäššä.

Diedo, appifukko, rubei lapšilla gostinčoi d'agamah.

— Tämä siula, tämä siula, tämä annakkoo moomollaš, tämä annakkoo tootollaš.

Hän ku sielä palatilda rubei kaččomah, midä appi d'agau, da vielä rodii žooli, ei van syödäis hänen gostinčoida lapset, dai kaččuošša langei. Appi šanou:

— A-voi-voi, Homa-väy rukka, mi siula rodii?

— Hoi, appi rukka, vet d'ain kodih emännöimäh, ni lapsen tapoin, kanat poltin, kaiken elokšen mänetin. Midä miä nyt šanon akalla, ku heen tulou kodih?

— Homa väy, miä tulini siuda svood'bah kuččumah.

— No tulit, ni silloin pidäy lähtie, pidäy männä moomoodaš kuččuo pellolda, — šanou lapšilla.

— Mäne hot' siä kuču, — šanou vanhemmalla pojalla.

— Hoi, väy rukka, kunna siä lähet, ku siula on lapsi kuollut, pidäy vet še mooh panna? — šanou appi hänellä.

— Heitä siä, lapsen panemma kartofeikuoppah, a svood'boo ei šoo piettee.

Emändä tuli pellolda.

— Homa, d'ogo murgina on valmis?

— Hoi, akka rukka, lapsen tapoin, kanat poltin, kaiken eloksen hävitin, eigo roinnun murginoo, eigo midä.

— Hoi emäsköiniä, kunna siä d'änet, sielä hyvin i lienöy, — sanou akka hänellä.

— Appi tuli meidä swood'boh kuccumah, meilä pidäy lähtie sinne.

— Kunna myö lähemmä? Pidäy hot' lapsi soottoo mooh.

— Midä siä, akka, tolkuicet, lapsen panemma kuoppah, a swood'boo ei soo piette.

Lapsen pandih kuoppah da lähettih swood'boh: akka root sidä, midä ukko sanou.

Mändih swood'boh, ga pidäis kyly lämmittee. Sanotah:

— Ken voinou kylyh halguo sooha?

Homa sanou boikoina muzikkana:

— Miä!

Hänellä annettih yheksikezähine ubeh. Läksi halgoh. Mäni Homa meccäh, kaččelieksi puuloin ladvoi myöten: «Tuosta ei liene ni midä, tuon leikkoon». Mäni kymmenikän kelon alla: «Kunne päin miä tämän sorran? Tuuan päin sordazin — paha tulou nostoo regeh, reen peellä šordazin — regi murenou, šorran ku miä vembelen peellä, ni kaikkies kebiambi tulou regeh nostoo». Otti dai kelon hicutti, hicutti leikkai — šordi vembelellä. Mäni kačcomah, ga hebozella on d'allat puoleh da toizeh van hoorottu. «No emäsköiniä, midä miä roovoin!». Istuoti kannon peellä da van pinnittäy itköy ibu ildazeh soo. Koissa d'o kylyt lämmitettih, kyl'vettih dai sanotah:

— Kunna hiän Homa-väy viikoštu?

Lähettih ečcimäh. Tuldih, ga heen on hebozen tappanun da van kannon peellä istuu da itköy pinnittäy.

— Midä itet? — kyžytäh häneldä.

— Hm, hm (ei voi šanoo šuusta peestee), hm, hebozen tapoin ga...

Van nyuckyttäy.

— Heitä itendä, matkoo kodih!

Händä pandih regeh da lähettih kodih viemäh. Tuldih kodih, ga tooš pidäis rokka, liarokka, keittaa swood'bovehella. A keittaa pidäy ynnälline lammaš.

— Ken rubiau keittääh lammasta?

Homa boikoina muzikkana sanou tooš:

— Miä rubian!

— No rubiat, ni keitä, lihat on tässä.

Mäni keittääh. Lihat keitti, läksi kodih matkoomah, ga koirat rubettih häneh päin haukkumah. Heen yhellä lihoo palazen, toizella toizen — lihat lykki kaikki, a koirat vielä ei heitetty haukundoo. Loppuzilla lykkäi rokan: «Nakkoo, tässä on rokat!». Da tyhd'än kattilan kera tuli kodih.

— Hoi väy, missäbo on rokat? D'ogo lihat keitit?

— Olgoo työ, ku koirat rubettih haukkumah, ni kaikki lihat heilä syötin da lopulla rokat annoin.

— A-voi-voi, siuda, väy, midä siä toista rovoit?

Händä otetah da pannah tarhalla šaratukkuh. Heen d'ärelläh pertih i tulou, ei pyzy vet, mado, saratukušsa.

— Ken lähtöy voošoo tuomah bučišta?

Homa tooš šanou:

— Miä!

— No lähet, ni mäne. Ved'orka on tässä.

Otti ved'orkan, mäni da propkan bučišta peesti, voosa ved'orkah valuu. Koirat ruvettih haukkumah häneh päin.

— Hoh, d'eretniekat! — ottau da propkalla koiria i lykkey.

Voosa d'o mänöy ved'orkasta peeličči, a propkoo eule, millä bucci typpie. Šormiloi čokiu. Ni millä ei heitä voosa peeličči matkondoo. A voosa d'o matkoou latetta myöt'e. Hiän kaččo, kaččo dai omahah veščan ni čökkäi bučin typpieksi. Voosan tuoja viikostu.

Midä kummoo! Kunne miän Homa väyn työndänet, sielä hyvin ni dielot roitah.

Mändih kačcomah, ga Homa seižou bučin luona da ravajau. Ei tiijetty, midä roodoo: bucci go murendoo, van se vešča leikata (a bučišsa ollah raudazet vannehet). Otettih dai bučin i murennettih. Händä tooš šaratukkuh i mäčkättih i šanottih:

— Štobi enämbi et liikkuis!

Hiän, Homa, nouzou buiškalla (da vet ennen oldih šaupertit, a trubat niissä oldih lauoista loojitut, kohallizet), truboo myöte kocahti lattiella: ligautti, ku noven kera tuli, andilahat dai kai siidä pertin.

— Hoi, Homa väy, midä siä root?!

Otettih da pandih tooš hänen šaratukkuh i šanottih:

— Štobi enämbi teeldä et liikkuis!

Heen sielä nyt viruu vaibunuona. Svood'boveh illalla myöhäsyttih, rubettih yöttämäh. Työnnettih sogia staruuhä pernih heine panomah. Homa pernih i mäni. Sijat levitettih, vierdih moloduhat sillä sijalla mootä. Vierdih, dai Homa rubei sebeemäh andilašta. Naine šanou zenihällä:

— Heitä siä sebeendä.

— Ka en miä sebee.

Homa van sebeey.

— Ka heitä siä sebeendä!

— Ka en miä sebee!

— Davai panemma keet yhteh.

Pardih kai nellä kättä yhteh, zenihä kyzyy:

— Vielägo sebeey?

— Ka sebeey! — šanou andilaš.

Noštih, kai pernät riičittih — Homa sieidä vilanti. Toatto-appe šanou tyttärellä:

— Ku pidänöy vielä eloh d'ättee, ni läkkä panemma regeh da viemmä kodih, a ku ei, ni otan da panen laudoo vaš dai seičas ammun!

Tytär šanou:

— Hoi tata rukka, elä ammu, lähemmä kodih!

Homa šootettih regeh da viedih kodih, dai swood'boveh läksi kodih. Swood'bo loppui, dai starina loppui.

### 63. ЗЯТЬ ХОМА

Жили муж да жена, мужика звали Хомой. Говорит он жене:

— Поди теперь ты пахать, я теперь стану обед готовить.

Жена говорит:

— Я-то пойду, только ты все домашние дела справь.

И наказывает:

— Натопи избу, вот тут рожь — смели все, а здесь в горшочке сметана — взбей масло, накорми кур. И ребенок чтоб не плакал — качай ребенка.

И пошла в поле пахать. Она знай себе пашет, а муж Хома знай себе хозяйничает: затопил печь, курам зерна бросил и пустил их на пол в избу. Горшок со сметаной положил в кошел, а кошел на спину, привязал веревку к зыбке, веревку провел в подполье и привязал к своей ноге, чтобы можно было ребенка качать, взял рожь и начал молот. Правой рукой жернов вертит, левой рукой рожь в жернов сыплет, ногой ребенка качает, а кошел со сметаной на спине. Кошел на спине прыгает, сметана по спине льется, Хома говорит:

— Ах, так тебя, что ж это спина мокрая?

Стал за веревку дергать, а зыбка не качается, думает: «Постой-ка, посмотрю, отчего зыбка не качается». А сметана все течет по спине. Пришел — а очеп, на котором зыбка висела, на ребенка упал, и ребенка убило. Смотрит — кур в избе нет. Где же куры? А он так налуган, весь в поту. Глянул — а куры залезли в печь и сгорели.

— А-вой-вой, так тебя, что я наделал! — говорит он. — Что я теперь жене скажу, когда жена домой придет? Ребенка убил, кур съел, сметану пролил, рожь не смолота.

Посмотрел, а тесть идет, уже во дворе.

— Дети, скажите дедушке, что отец и мать в поле пахать ушли.

Сказал и сам поднялся на полати спать. Тесть пришел и спрашивает:

— Где же, дети, отец да мать у вас?

— Мать да отец в поле пашут.

Дедушка, тесть, стал детям гостинцы раздавать.

— Это тебе, это тебе, это дайте матери, а это отцу.

А он [Хома] стал выглядывать с полатей, что тесть раздает, да стало жалко, как бы дети его гостинца не съели, завертелся да и упал.

Тесть говорит:

— А-вой-вой, Хома-зятюшка, что с тобой?

— Ой, тестюшка, я ведь остался дома хозяйничать, так ребенка убил, кур сжег, все имущество погубил. Что же я теперь жене скажу, когда она домой придет?

— Зять Хома, я пришел тебя на свадьбу звать.

— Ну, раз пришел, так надо идти. Надо мать позвать с поля,— говорит детям. — Поди хоть ты позови,— говорит старшему сыну.

— Ах, зятюшка, куда же ты пойдешь, если у тебя ребенок умер— надо ведь его похоронить?— говорит тесть ему.

— Брось ты, ребенка положим в картофельную яму, а свадьбу нельзя задерживать.

Пришла хозяйка с поля.

— Хома, обед уже готов?

— Ах, женушка, ребенка убил, кур сжег, все имущество погубил, не стало ни обеда и ничего.

— Ох, так тебя, уж где ты остаешься, там все хорошо и получается,— жена ему говорит.

— Тесть пришел нас на свадьбу звать, надо нам туда пойти.

— Куда мы пойдём? Надо, же хоть ребенка похоронить.

— Что ты, жена, толкуешь— ребенка положим в яму, а свадьбу задерживать нельзя.

Положили ребенка в яму [картофельную] да пошли на свадьбу. Жена делает то, что муж прикажет.

Пришли на свадьбу, а надо бы баню истопить. Говорят:

— Кто может поехать за дровами для бани?

Хома, как бойкий мужик, говорит:

— Я!

Дали ему девятилетнего жеребца, поехал за дровами. Приехал Хома в лес, поглядывает на верхушки деревьев: «Из этого ничего не выйдет, а это срублю». Подошел к десятисаженному сухостюю: «В какую сторону мне его свалить? Если в ту сторону, то трудно будет поднять в сани; если на сани свалить— сани сломаются. А свалю-ка я на дугу, так легче всего будет в сани наваливать». Тюкал, тюкал по сухостюю, наконец срубил и свалил на дугу. Подошел посмотреть, а у лошади ноги по сторонам разъехались

— Ну, так тебя, что же я наделал!

Сел на пень и плачет до самого позднего вечера. Дома уже баню истопили, попарились и говорят:

— Что-то зять Хома долго нет.

Пошли искать, пришли, а он коня убил и на пне сидит да плачет-заливается.

— Что ты плачешь? — спрашивают у него.

— Хм... хм... (не может слова выговорить) хм... коня убил, так... — знай всхлипывает.

— Перестань плакать, иди домой!

Посадили его в сани и повезли домой. Приехали домой, а надо бы мясо сварить для свадебных гостей, целую овцу сварить.

— Кто будет овцу варить?

Хома, как бойкий мужик, опять и говорит:

— Я буду!

— Ну, будешь, так вари, мясо тут.

Пошел варить, сварил мясо, направился к дому, а собаки на него залаяли, он одной — кусок мяса, другой — кусок мяса, все мясо побросал, а собаки все не перестают лаять, под конец выплеснул суп: «Нате, вот вам суп!». И с пустым котлом пришел домой.

— Эй, зять, где же мясо? Уже сварил?

— Не спрашивайте — собаки как начали лаять, так я им все мясо скормил да под конец суп дал.

— А-вой-вой, зять, что ты опять наделал!

Взяли его да положили на кучу осоки на огороде. А он снова в избу идет, не сидит ведь, змей, на куче осоки.

— Кто пойдет квас из бочки цедить?

Хома опять и говорит:

— Я!

— Ну, пойдешь, так иди. Вот ведро.

Взял ведро, пошел да затычку из бочки вытащил, квас в ведро течет. Собаки на него залаяли.

— У, еретики! — взял да затычкой бросил в собак.

Квас уже через край ведра льется, а затычки нет, чем бочку заткнуть. Сунул палец — не помогло, квас все льется. Уже по полу течет квас. Он посмотрел да своим крапом и заткнул бочку.

Задержался ушедший за квасом.

— Вот диво! Куда нашего зятя Хому ни пошлешь, там все хорошо и получается.

Пошли посмотреть, а Хома стоит у бочки и подпрыгивает. Не знают, что делать: бочку ли разбить или эту вещь отрезать (а бочка с железными обручами). Взяли да бочку разбили. Его опять бросили на кучу осоки и сказали:

— Чтоб больше с места не сдвинулся!

Он, Хома, встает на вышку (а ведь в старину были курные избы, а трубы в них были из досок, прямые). [Хома] из трубы брякнулся на пол, вместе с сажей упал и перепачкал невесту и всю избу.

— Ой, зять Хома, что ты делаешь?!

Взяли да положили его опять на кучу осоки и сказали:

— Чтоб больше отсюда не выходил!

Лежит он теперь там усталый. Свадебные гости припозднились, стали их оставлять на ночь. Послали слепую старуху набивать



постельники сеном. Хома в постель и залез. Сделали постели, легли молодожены на ту постель спать. Легли, и стал Хома обнимать невесту. Невеста говорит жениху:

— Перестань обнимать.

— Так я и не обнимаю.

А Хома все обнимает.

— Да перестань ты обнимать!

— Да я же не обнимаю!

— Давай, сложим руки вместе.

Сложили вместе четыре руки, жених спрашивает:

— Еще ли обнимает?

— Да обнимает! — говорит невеста.

Встали все, перины распороли. Хома оттуда и высунулся. Тесть говорит дочери:

— Если хочешь, чтоб [Хома] жив остался, так пойдем положим его в сани и увезем домой, а нет, так возьму да приставлю к доске и тут же пристрелю!

Дочь говорит:

— Ой, тятенька, не стреляй, поедем домой!

Хому положили в сани и увезли домой, да и свадебные гости разъехались по домам. Свадьба кончилась, и сказка кончилась.

#### 64. KUKKO KIEKUU

Oli ennen ukko ta akka, eletti kahen. Hyö oltih oikein köyhät. Ukko oli niin vähätöini: ku missä työssä hiän ni kävi, ei hiän ni mitä šuanun, ei ni mitä tuonun kotih.

Šanou ukko akallah:

— Nyt vain, akka, piässä milma herroih hyrehtimäh, jumalalla laulamah.

No ukko läksi koistah.

Tulou jumalan koti, sielä linnut lauletah, sielä on kaikenlaista lintou. Jumala pani sen ukon paccahalla istumah ta kiekumah.

— Nyt šiun on kolme vuotta kiekuttava kuin kukolla: «Kukko kiekkuu, kukko kiekkuu, kukolla on kultaset kenkät, a kuninkahalla ei ni sviettua». Kun kolme vuotta kiekut, ni šuat palkoikšes kultaset kenkät, hopieset paklat.

Kulu kolme vuotta, annetih ukolla kultakenkät, hopieset paklat. Ukko läksi kotihensa. Aštu, astu. Tuli mieš vaštah, hevoista vetäy, kyšy ukolta:

— Mistä, ukko, matkuat?

— Matkuan jumaloista laumasta, herroista hyrehtimästä. Sielä kulu kuši vuotta, seisoin seičcemen kešyä, šen kaiken kahekšan vuotta.

Mies kyšyy ukolta:

— Mitäkä šie šait palkkua?

— Sain palkkua kultaset kenkät, hopieset paklat.

Mies šano, jotta «etkö vaiha heposeh niitä kenkie?».

— No vajehettih.

Läksi; hevoista vetäy ukko. Tuli toini mieš vaštah, lehmyä vetäy.

Lehmänvetäjä kyšyy:

— Mistä, ukkoseni, vejät hevoista?

Ukko vaštua:

— Olin jumaloissa laulamašša, herroissa hyrehtimäšša. Šielä kulu kuuši vuotta, šeisoin šeiččemen kešyä, šen kaiken kahekšan vuotta.

— Mitä šie šait palkkua?

— Sain mie palkkua kultakenkät ta hopieset paklat.

— Etkö, ukko, vaiha niitä lehmäh?

— Mie olen vaihtan ne jo heposeh.

— Etkö vaiha hevoista lehmäh?

— No vajehettih.

Niin ukko vaihto heposen lehmäh. Läksi ukko lehmyä vetämäh ielläh. Vetäy, vetäy, ta tuaš tulou mieš ukolla vaštah. Mieš vetäy lammašpokkuo.

Mies kyšyy:

— Mistä, ukkoseni, lehmyä vejät?

— Olin mie jumaloissa laulamašša; herroissa hyrehtimäšša. Šielä kulu kuuši vuotta, šeisoin šeiččemen kešyä, šen kaiken kahekšan vuotta.

— Mitä šie šait palkkua?

— Sain palkkua kultaset kenkät ta hopieset paklat.

— Etkö, ukko, vaiha niitä pokkoh?

— Mie olen ne vaihtan heposeh ta heposen olen vaihtan lehmäh.

— Etkö šie, ukko, lehmyä vaiha lammašpokkoh?

Niin vaihtau ukko lehmän lammašpokkoh. Lähtöy ukko ielläh aštumah. Tulou mieš vaštah, koirua vetäy. Šitte vaihtau ukko lammašpokon koirah. Šitten koiran vaihtau kiššah. Ta kiššan vaihtau šierah. Läksi ukko aštumah šiera kiššä. Tuli lampi vaštah. Kaččou — šiinä lammissa kakši šoršua uiksennelläh. Loi ukko šoršie šieralla tai ei ni ošan. Ta läksi kotih kavelömäh, ta maršiu ukko kotih. Akka kyšyy ukolta:

— Missä olet, ukkoseni, näin kotvan ollut?

Ukko šanou akalla:

— Olin jumaloissa laulamašša, herroissa hyrehtimäšša. Kulu šielä kuuši vuotta, šeisoin šeiččemen kešyä, šen kaiken kahekšan vuotta.

— Mitäpä šait, ukko, palkkua?

— Sain palkkua kultakenkät ta hopieset paklat.

Akka rupei jalkojah pešömäh. Ukko kyšyy:

— Miksi, akka, nyt jalkojaš pešet?

— No kultakenkie panetella.

— Jo mie vajehin ne heposeh.

Akka rupieu tallie sroimah. Ukko kyšyy:

— Miksi, akka, tallie luajit?

— Ka hevoista pityä.

— Ka jo mie heposen vajehin lehmäh.

Akka partta luatimah.

— Miksi, akka, partta luajit?

— Ka lehmyä pityä.

— Jo mie lehmän lammašpökkoh vajehin.

Šitten akka šointa luatimah.

— Miksi, akka, šointa luajit?

— Ka lammašpökkuo pityä.

— Ka jo mie pokon koirah vajehin.

Akka allašta luatimah, akka allašta luatimah.

— Miksi, akka, allašta luajit?

— Ka koirua šyöttyä.

— Ka jo mie koiran kiššah vajehin.

Akka rupieu toista allašta luatimah.

— Miksi, akka, allašta luajit?

— Ka kiššua šyöttyä.

— Ka jo mie kiššan sieroih vajehin.

Akka veičcie ta kirvehie eččimäh.

— Miksi, šie, akkasen, kirvehie ta viečcie ečit?

— Ka hivon sieroilla, jotta tultais terävemmät ta näpiemmät.

— Ka jo mie sieroilla šoršie lammissa loin.

Akka kattilua pešömäh, akka kattilua pešömäh!

— Miksi, akka, kattilua pešet?

— Ka šoršie keittyä.

— Ka en mie ni ošannu.

Akka kauhalla-kapussalla ukkuo piäh, akka kauhalla-kapussalla ukkuo piäh!

Šen pivuš še starina.

#### 64. КУКАРЕКУ

Были раньше старик да старуха, жили вдвоем. Они были очень бедные. Старик был такой непутевый: на какую бы работу ни нанимался, ничего он за нее не получал, ничего не приносил домой. Говорит старик своей старухе:

— Отпусти-ка, старуха, теперь меня к господам напевать, богу петь.

Ну, старик отправился из дому. Встречается дом бога, там птицы поют: там каких только нет птиц. Бог посадил старика на столб и велел кукарекать:

— Теперь тебе надо три года кукарекать петухом. Кукареку, кукареку, у петуха золотые шпоры, а у короля и того лучше. Три года прокукарекаешь, то получишь в награду золотые башмаки, серебряные оборы.

Прошло три года, дали старику золотые башмаки, серебряные оборы. Пошел старик домой. Шел, шел. Встретился ему человек, лошадь ведет, спросил у старика:

— Откуда, старик, идешь?

— Ходил к богам петь, господам напевать. Там прошло шесть годов, простоял я семь лет [лето — время года], все восемь годов.

Человек спрашивает у старика:

— Что ты получил в награду?

— Получил в награду золотые башмаки, серебряные оборы.

Человек сказал, что «не променяешь ли эти башмаки на лошадь?».

— Ну, поменяемся.

Пошел старик, лошадь ведет. Встретился другой человек, корову ведет. Человек с коровой спрашивает:

— Откуда, старичок, лошадь ведешь?

Старик отвечает:

— Я у богов песни пел, у господ напевал. Там прошло шесть годов, простоял я семь лет, все восемь годов.

— Что ты получил в награду?

— Получил я в награду золотые башмаки и серебряные оборы.

— Не променяешь ли, старик, их на корову?

— Я уже променял их на лошадь.

— Не променяешь ли лошадь на корову?

— Ну, поменяемся.

Так старик променял коня на корову. Пошел старик с коровой дальше. Ведет, ведет корову, и опять встречается старику человек. Человек ведет барана. Человек спрашивает:

— Откуда, старичок, корову ведешь?

— Ходил я к богам петь, господам напевать. Там прошло шесть годов, простоял я семь лет, все восемь годов.

— Что ты получил в награду?

— Получил в награду золотые башмаки и серебряные оборы.

— Не променяешь ли, старик, их на барана?

— Я уже променял их на лошадь и лошадь променял на корову.

— Не променяешь ли, старик, корову на барана?

Так старик меняет корову на барана. Отправляется старик дальше. Встречается человек, собаку ведет. Потом меняет старик барана на собаку. Потом собаку меняет на кошку. И кошку меняет на брусочек. Пошел старик дальше с брусочком в руке. Встретилась лямба. Смотрит — в той лямбе две утки плавают. Кинул старик брусочек в уток да и не попал. И пошел домой, и шагает старик к дому. Старуха спрашивает у старика:

— Где, старичок, так долго был?

Старик говорит старухе:

— Ходил к богам петь, господам напевать. Там прошло шесть годов, простоял семь лет, все восемь годов.

— Что ты, старик, получил в награду?

— Получил в награду золотые башмики и серебряные оборы.

Старуха стала ноги мыть. Старик спрашивает:

— Зачем, старуха, теперь ноги моешь?

— А золотые башмаки примерять.

— Я уже променял их на лошадь.

Старуха начинает конюшню строить.

Старик спрашивает:

— Зачем, старуха, конюшню строишь?

— Да коня оставить!

— Да я уже променял лошадь на корову.

Старуха давай стойло делать.

— Зачем, старуха, стойло делаешь?

— Да корову поставить.

— Я уже корову на барана променял.

Тут старуха давай ясли делать.

— Зачем, старуха, ясли делаешь?

— Да барана кормить.

— Да я уже променял барана на собаку.

Старуха корытце делать, старуха корытце делать!

— Зачем, старуха, корытце делаешь?

— Да чтобы собаку кормить.

— Да я уже собаку на кошку променял.

Старуха начинает другое корытце делать.

— Зачем, старуха, корытце делаешь?

— Да чтобы кошку кормить.

— Да я уже кошку на бруски променял.

Старуха ножи да топоры искать.

— Зачем ты, старушка, топоры да ножи ищешь?

— Да наточу брусками, чтобы были поострее.

— Да я уже брусками в уток на ламбе кинул.

Старуха котелок мыть, старуха котелок мыть!

— Зачем, старуха, котелок моешь?

— Да уток варить.

— Да я ведь и не попал.

Старуха поварешкой-половником старика по голове, старуха поварешкой-половником старика по голове!

Такой длины эта сказка.

## 65. ROSVO-KLIIMON STARINA

Oli ennen ukko ta akka, ta heilä oli poika, poika oli mykkä. A, pojalla on Kliimo nimi. Ta hyö kaikella luatuh kuotellah, jotta poika rupieis pakajamah. A ei rupie. Akka šanou ukollah, jotta «mäne šie käytlele mečässä, eikö rupie šielä pakajamah». Hiän šielä käytti mečässä. Tultih kujan šuuhu; šielä on šuuri vanha honka.

— Tuatto, mie kun kašvan šuurekši, niin tämän honkan kuan šiun piällä, anna kuolet šiih, — šen šano poika, ei muuta enämpi ni paissut.

Akka šanou ukolla, jotta «vie tämä poika rosvojen joukkoh, a kun kuatau šiula honkan piällä, niin šiih kuolet». Šiitä tuatto vei šen rosvojen joukkoh. Se otettih hyvin vaštah.

Tai ilta kun tuli, tai lähettih rosvaloiksi. Mäntih pohatan talon ulkoaittah, noššettin šalmo kankiloilla.

— No, Kliimo, mänehän nyt šyytämäh, — še oli nuori rosvo, — opašteluutumah.

No Kliimo pistäyty aittah ta šieltä šyyti, šyyti kaikki mitä oli, yksi liinakukla jäi. Häneltä kyšytäh:

— Onko vielä mitä?

Kliimo šanou:

— Ei ole ni mitä, yksi liinakukla jäi.

Hyö kannettih kaikki pois, šalmo pantih kiinni, a Kliimo jäi aittah. A hyö juoštih ikkunan alla, karjuttih:

— Hoi, rosivot on aitaššal!

Šieltä hypättih talonväki juokšomah, a rosvo-Kliimo kun kuuli — nyt tullah! — hiän viritti liinakuklan palamah, a iče rupest ovikorvah. A hyö kun hypättih šammuttamah, šilloin rosvo-Kliimo käsistä aličči pakoh. Ta hiän juokšiki šinne rosvon majalla. Kun oli pimie, nin häntä ei ni nähty.

— Oho työ, stukoit-stakoit, mintäh miut jättijä?

— Ka nuorta rosvo opasšamma.

Ta tuaš tois iltana ni lähettäh. Mänäh toisen talon aittah. Ta šanotahi

— Kliimo, mäne i tuaš!

Hiän šanou:

— Ei še Kliimo kaikičči lähe, nyt on toisen vuoro.

Toini mieš i läksi, kun šalmo noššettih. No tai kyšytäh:

— Joko šie šyyvit kaikki? — šanotah. — No tulehan nyt pois! Tai pantih šalmo kiinni. Kun hiän rupei tulomah, hiän šiuh ličkautu ta kuoli. Ta hyö näpättih niittä šivotoja šelkäh ta lähettih juokšomah. Kliimo šanou šiitä, jotta ei hiän yhtä joukošta jätä: «mie lähen käyn pois». Hiän mäni šinne, nošti šalmon, otti pois miehen ta šeläššäh kantau ruumista. Ta vei mečäh ta pani puuta vaššen šeisomah. Šiitä mäni šinne rosvon majalla. Yön ta päivän šyötih, illalla tuaš lähettih. Mäntih čuarin karšinah, noššet-

tih šalmo. Čuarilla on karšinašša šivotat. No ta Kliimo šinne čuarin karšinah läksi šivotoja šyytämäh. Kyšytäh, jotta «vieläkö on mitä?».

— Ei enämpiä ole kuin čuarin ta čarovnan venčävuattiet.

Ta silloin pissettih kiinni šeinä ta hiän jäi karšinah, rosvo-Kliimo. Hiän tuumaiččou, miten hiän piäšöy pois tiältä, jotta ei šuatais kiinni. Kuuntelou, kun čuarissa šuoritah heinällä piijat ta kasakat. Hiän šuorisi, pani čuarin vuattiet alla, čarovnan vuattiet piällä. Noušou karšinašta, šanou:

— Hospoti pomilui, tämmösenä pruasniekkana šuorietta heinällä, mitä teillä jumala antau!

A hiän iče pihalla hivuttautuu. Ne arvellah, jotta kummitte-liutu sillä keinoin, karšinašta nousi. Čuari šiitä käski noštua koko kaupunkilla ruškiet plakut, jotta nyt on pruasniekka. Siinä, kačo, čuari petty!

Šiinä kävelöy toisenä piänä rosvo-Kliimo čuarin pihalla. Čuari kaččou tai pisti piän ikkunašta.

— Mitä kävelet? — šanou.

— Ka kävelen työtä-ruokua eččimäššä.

— No tulehan, — šanou, — pirttih, niin on työtä-ruokua.

Šiitä tuli pirttih, čuari šanou:

— Äšen olet rosvo-Kliimo, kun šuanet miulta härän varaštua liäväštä.

Še poika šiitä otti illalla ta šuoriutu čuarin vuatteih pimieššä, tuaš liinakuklan i otti šelkähäš. A čuari pani härän liäväh ta pani kolme saltattua vahtih. A hiän mänöy niillä saltatoilla šanou:

— Antakkua miula härkä, mie panen tämän liinakuklan liäväh, hiän kuitenkin teiltä šuau, a miulta ei šua.

Ne i annetah, kun on čuarin vuatteissa (arvellah, jotta čuari še on).

Čuari tuli huomenekšella, kyšyy:

— Onko käynyn rosvo-Kliimo?

— Ei ole käynyn, — šanotah, — šie kun toit tuon liinakuklan, nin šielä on — ei ole käynyn rosvo-Kliimo.

Čuari pisti piäh liäväh, kaččou: šielä on liinakukla parrešša. Otti piššualin saltatoilta ta alko lyyvä niitä saltattoja, jotta «työki oletta yheššä rosvo-Kliimon kera, milma petättä».

A tuaš toisena päivänä kävelöy rosvo-Kliimo čuarin ikkunan alla. Čuari tuaš pisti piän ikkunah:

— Mitä kellisteliyvyt, kun et tule pirttih?

No ta tuaš tuli poika pirttih, čuari šanou:

— Äšen rosvo-Kliimo olet, još voit varaštua miulta šyöttilähän orihin tallista.

A čuari pani kuuši saltattua vahtih (ei pannun niitä vanhoja, pani uuvet). A rosvo-Kliimo kokosi kiššua väršin. Ta šuorisi čuarin vuatteih ta mäni šinne. Hiän mäni šinne, šanou:

— Siuivoit, anna kun mie otan sen syöttälähän, lähemmäs nämä kiisat sinne, anna hän keriy näitä kiissoja.

Hyö annettih, Čuari tuli huomenekšella, kyšyy:

— Onko käynyn rosvo-Kliimo?

— Ei ole käynyn, sie kun piäšsit nuo kiisat tuonne, niin tuola nuo etelä vilsketäh.

Häa ni kačahti, šanou:

— No jo se vei, stukoi-stakoi, — ta tuas niitä piššalin perällä piekšy.

A šittä tuas mäni kolmantena piänä rosvo-Kliimo, kävelöy čuarin ikkunojen alla. Čuari pisti piäh ikkunašta, šanou:

— Äsen olet rosvo-Kliimo, kun šuanet rahalippahan miun naisen alta, šormukšet šormista, korvarenkahat korvista.

A ilta kun tuli, hämärtä, Kliimo pani ne tuas čuarin vuattehet piälläh. Nyt hän mäni kävi šen pokoiniekan, min pani puuta vasšen pistyh, šeläššäh kanto. A rahalipaš on peräššä lattiella, čuarin naini istuu rahalippahalla ta čuari naiselläh yšäššä. Pyššy on šuorana ovie kohti, jotta kun tulou še rosvo-Kliimo, niin šamaššä ampuo. A rosvo-Kliimo kun tuli, lonkasi ovie ta ašetti šen pokoiniekan oviloukošta kaččomah. Iče mäni peittoh šinčin peräh. A še pokoinieka kun kaččou oviloukošta — toivou, jotta še on rosvo-Kliimo, tai ampuo ločkasi. Še kun ampu, niin še i kolahti še ruumis — čuari toivo, jotta nyt še kuoli še rosvo-Kliimo. Čuari šanou:

— Nyt milma šyytetäh, kun miehen tapoin, lähenvien peittoh.

A čuari kun proiti pihalla, rosvo-Kliimo tuli pirttih naisen juo, Hänellä kun on čuarin vuattiet piällä, niin naini arvelou, jotta še on čuari.

— Anna, — šanou, — rutta še rahalipaš, šormukšet ta korvarenkahat, moušet ej ni ollut še rosvo-Kliimo, niin vien pois šuulta hän šuau, a miulta ei šua.

Ta hän mäni pihalla, liputtau, jotta «nyt jäit näistä!». Čarovna juokšou jälkeh, jotta «anna hot' rahua vähäsen, nyt milma čuari kirnou, kun annoin kaikki». Hän nošti kolme kertua kulta-rahua: «No mänehän nyt».

Še proiti. A pappi alko muka nakrua čuarie, kun rupesti rosvo-Kliimolla petettäväksi. No ta rosvo-Kliimo i šai kuulla, jotta pappi čuarie nakrau. Rosvo-Kliimo otti ta luajitti hopiešauvan. Te mäni kirikköh, šuorisi čarovnan vuatteih: šiinä čillit heläjäy, hopiet läikkyy, jotta kun pimieh huoneheh mänöy, niin kaikki valon antau. Tai rahvaš kaččou — kenhän tuo tuli, kahapäin väki jakautua, hänellä tietä annetah. Hän mäni šuorah kriilošäulla, alko kallehie mplitvoja šielä jorhata. Pappi kyšyy, jotta «ken sie olet?». Šanou:

— Mie olen talvahašta, šilma kučuttih šinne pokuajunah.

Pappi kun hätäyty, jotta «millä mie šinne piäšen?». Še rosvo-Kliimo šanou:

— Kyllä sie piäšet, etä varaja. Lähemmä vain pihalla, mie noššan.



Pappi läksi pihalle, kaikilla rahvalla prostintin:

— Antakkua synnit anteheksi, jos kellä pahua ruayoin.

Rahvalla kumartau, rahvas hänellä vaštah. A cuariki šielä oli kirikössä, hyvästeli häntä. No hän siitä kun panou papin hopijašauvan piäh istumah, kun pappi vareutu, kun rupesi [Kliimo] noštamah šitā šauvua, rupesi [pappi] värisemäh tai pieri. Atkäs šen muah papin.

— Nyt šie mänet läpi muamästä, kun taiyahab männessä pieret, — ta šitā lyöy šauvalla.

Šiitä hän-nuakliöci hänet kirikön šeinäh hiemoista ta puksunlahkehista ta heittäy šauvan reunah, jotta ken matkuau, niin papie lyyvä. A šiitä šen papin maatuška šai kuulla, jotta pappi riäkottau kirikön šeinässä, mäni ta piäšti pois papin.

Papilla tulou cuari vaštah šiitä. Cuari šanou:

— Šie nakroit milma, jotta petti rosvo-Kliimo, ka pettipähän i šiut.

Pappi šanou:

— Elä, veikkon, virka, niin on huikie, jotta en voi rahvahaa šilmih kaččuo.

Ta šen pivuä i starina.

Kullian lehti kuulijalla,  
Iemmen lehti laulajalla,  
a ken ei ilmeä kuulut —  
kuurnisiaklat korväh.

## 65. СКАЗКА О ВОРЕ КЛИМО

Был дедьце старик и старуха, и у них был сын, сын был немой. А зовут его Климо. Уж они по-всякому пытались заставить его говорить, но он не говорил. Старуха и говорит мужу, что «поди-ка своди его в лес, может, там заговорит».

Сводил он [старик] его в лес. Подошли к концу дорогам, а там стоит большая старая сосна.

— Отец, когда я вырасту большой, то свалю эту сосну на тебя — ты и умрешь, — только и выговорила сын.

Старуха говорит старику, что отвези сына к ворам, а то и впрямь свалит сосну на тебя, так тут и умрешь». Старик и отвез его к ворам. Сына там хорошо приняли.

А как вечер настал — пошла воровать. Принесли к амбару богатого дома, угол приподняли кодьями.

— Ну, Климо, иди-ка ты вытаскивать, — он ведь молодой вор, надо его поучить.

Климо и задел в амбар, бросал, бросал оттуда все, что там было, одна только кудель осталась. У него спрашивают:

— Есть ли еще что-нибудь?

Климо говорит:

— Нет ничего, одна только кудель осталась.

Они все ушли, угол амбара опустили, а Клеймо остался в амбаре. Они побежали под окна [дома] и закричали:

— Хой! В амбаре воры!

Из дома выскочили люди, а вор Клеймо как услышал бегут — взял и поджег кудель, а сам спрятался за дверьми. А когда они бросились тушить, вор Клеймо из-под рук убежал. И прибежал он в дом разбойников. Было темно, его никто не заметил.

— Ах вы, такие-сякие, почему меня оставили?

— Молодого разбойника учим!

На другой вечер опять и пошли. Идут к амбару другого дома. И говорят:

— Клеймо, иди ты опять!

А он отвечает:

— Не все Клеймо ходить, теперь других черед.

Другой и пошел, когда подняли угол. Ну и спрашивают:

— Все ли вытащил, повыбросал? — говорят. — Ну, теперь выходи!

Да и опустили угол, а он когда стал выходить, его придавило, и он умер. Они захватили награбленное и убежали. А Клеймо говорит, что он одного из шайки не оставит: «Пойду, вынесу его». Он пошел туда, приподнял угол амбара, вытащил вора и на спине понес труп. Унес в лес и прислонил его к стволу дерева. Потом пошел в дом разбойников. Ночь и день ели, а вечером опять пошли. Пришли к царскому дому, приподняли угол. У царя в подполье добро. Ну, и Клеймо пошел выбрасывать добро. Спрашивают, что «есть ли еще что-нибудь?».

— Ничего, кроме подвенечных платьев царя и царицы.

Тогда они опустили стену, и вор Клеймо остался там. Он думает, как бы ему выбраться отсюда, чтобы не поймали. Слышит, что у царя служанки и работники собираются на сенокос. Он оделся: вниз надел платье царя, а сверху — царицы. Поднимается из подполья и говорит:

— Господи помилуй, в такой праздник собираетесь на сенокос, что вам бог даст!

Они решили, что это чудится. А служанки и работники побежали сказать царю, что там чудится, и в подполья кто-то поднялся. Царь и приказал развесить красные флаги во всем городе: что теперь, мол, праздник. Тут, смотри, царь и обманулся.

На другой день вор Клеймо похаживает по царскому двору. Царь посмотрел да и высунул голову из окна.

— Чего ходишь? — спрашивает.

— Хожу вот, работу да еду ищу, — отвечает.

— Заходи-ка, — говорит, — в избу, так найдется работа да еда.

Зашел он в избу, а царь говорит:

— Если сумеешь украсть у меня из хлева быка, тогда ты настоящий вор Клеймо.

Парень потом вечером в темноте взял да переоделся в царскую одежду и снова взвалил кудель на спину. А царь запер быка в хлеву и поставил троих солдат сторожить. А он [Клеймо] пошел и говорит этим солдатам:

— Отдайте мне быка, а я положу эту кудель в хлев, у вас он все равно уведет, а у меня не сумеет.

Они и отдали, потому что он был в царской одежде (думают, что это царь и есть). Наутро царь приходит и спрашивает:

— Приходил ли вор Клеймо?

— Нет, не приходил, — отвечают, — ты вот как принес эту кудель, так она там и лежит, вор Клеймо не приходил.

Царь заглянул в хлев, смотрит — там кудель в стойле. Взял у солдат ружье и давай их бить, что «и вы заодно с воров Клеймо, меня обманываете».

На другой день снова ходит вор Клеймо под окнами царя. Царь опять высунулся из окна, спрашивает:

— Что слоняешься, а не заходишь?

Ну, и опять зашел парень в избу, царь говорит:

— Если сумеешь украсть у меня из конюшни откормленного жеребца, тогда ты вор Клеймо.

А царь поставил шесть солдат сторожить. (Не поставил тех старых, поставил новых). А вор Клеймо собрал полный мешок кошек. Переоделся в царскую одежду и пошел туда. Пришел туда и говорит:

— Служивые, дайте-ка я возьму жеребца, да впустим туда этих кошек, пусть он их собирает.

Они и отдали. Наутро царь приходит и спрашивает:

— Приходил ли вор Клеймо?

— Не приходил. Ты какпустил туда этих кошек, так они там и сейчас носятя.

Он посматрел и говорит:

— Уже успел увести, такой-сякой. — И опять побил их прикладом ружья.

А потом опять пошел на третий день вор Клеймо, ходит под окнами царя. Царь высунул голову из окна, говорит:

— Если достанешь ларец с деньгами из-под моей жены, кольца с ее пальцев и сережки с ушей, тогда ты действительно вор Клеймо.

А вечер как настал, стемнело, Клеймо опять оделся в ту царскую одежду. Затем он сходил за тем покойником, которого он к дереву поставил, и взвалил его на спину. А ларец с деньгами стоит на полу, царева жена сидит на ларце, и царь у жены на коленях, направлено ружье на дверь, что когда появится вор Клеймо, тут же выстрелит. А вор Клеймо как пришел, приоткрыл дверь и поставил покойника как бы подсматривать в щель. Сам в сенях спрятался. А покойник как смотрит в щель, [царь] думает, что это вор Клеймо — и выстрелил. Выстрелил он — труп и

узнал. Царь подумал, что умер теперь этот вор Клеймо. Царь говорит:

— Теперь меня будут обвинять, что я человека убил, добру спрячу.

А царь когда прошел во двор, вор Клеймо прошел в избу к царице. На нем как была царская одежда, то царица жена и думает, что это царь.

— Дай, — говорит, — скорее ларец с деньгами, кольца и серьги, может, это и не был вор Клеймо, так я унесу: у тебя он возьмет, а у меня не сумеет.

Он вышел во двор, рукой машет, что «пропали теперь твои вещи». Царица побежала вслед и просит, что «дай хоть денег немного, а то царь ругать будет, что все отдала». Он взял три горсти золотых монет: ну, теперь иди, мол.

Это так и кончилось. А поп начал посмеиваться над царем, потому что тот дал вору Клеймо одурачить себя. Ну, и вор Клеймо узнал, что поп над царем смеется. Вор Клеймо взял да, заказав серебряный посох. И пошел в церковь, переделался в царицыну одежду: в ней бубенчики позванивают, серебро блестит так, что когда в темную комнату входишь — все кругом освещает. И народ смотрит: кто это пришел, все расступаются — ему дорогу дают. Он прошел прямо на клирос и начал петь святые молитвы. Поп спрашивает, что «кто ты такой?». Говорит [Клеймо]:

— Я с неба. Тебя звали туда на покаяние.

Поп [спрашивает], что «на чем же я туда попаду?». Этот вор Клеймо говорит:

— Не бойся, попадешь. Выйдем-ка на улицу, там я тебя подниму.

Поп вышел на улицу, прощается со всем народом:

— Простите мои грехи, если кому-нибудь зло причинил.

Народу кланяется, народ ему тоже. А царь тоже был в церкви, попрощался с ним. Ну, он [Клеймо] потом сажает попа на конец серебряного посоха, а поп как испугался, и когда Клеймо начал поднимать посох, поп задрожал да и п. . . . Бросил [Клеймо] попа на землю:

— Теперь ты провалишься сквозь землю, потому что, собираясь на небо подниматься, и. . . . — и бьет его посохом.

Потом он приколотил его за штаны и рукава к церковной стене и посох рядом кладет, чтобы попа бить, кто мимо пройдет. Потом попова матушка узнала, что под на церковной стене болтается, пошла и освободила попа.

Попу потом встречается царь. Царь и говорит:

— Ты смеялся надо мной, что обманул меня вор Клеймо, но обманул он и тебя.

Поп говорит:

— Не говори, братец, так стыдно, что не могу в глаза людям смотреть.

Da taylor danyy n skavka.

Золотой листок слушателью,  
листок любви певцу,  
а кто не слышал —  
всегда-границам в уши.

## 66. KEYHÄ MATTI I BOHATTA MATTI

Vot eletti keyhä da bohatta Matti rinnakkai. Keyhällä Matilla oli huono pertti, lasta oli äijä. Vot häin, keyhä Matti, hevон zašii. Hebo hypöi bohatan Matin orahih. Bohatta Matti mäni da seibähällä isti hebuo nenäh, i hebo kuoli. Keyhä Matti akan da lapsien kera mändih pihalla da itetäh: «Vaste hebozen ostima, a sen sie tapoit». Keyhä Matti sanou:

— Siula on seiččemen hebuo, nyt anna paras hebo, ku hevон tapoit.

Bohatta Matti sanou:

— Anna suudoh, ni miittumua hebuo ei rodei.

Keyhä Matti män i ruado, ando suudoh dielon. Vot mändih suudoh. Bohatta lahd'o sud'd'at. Sud'd'at suudittih, sanotah:

— Keyhällä Matilla muga i pidi, ku tappo hebozen, mikse kiini ei pidänyn.

Häin tuli suudosta, keyhä Matti, akka kyzzy:

— Mida teillä suudittih?

Keyhä Matti akalla vastai, sanou:

— Bohatan kera ei sua suudigkseh, häin vz'atkañ ando, i miula vai nahka suudittih.

Keyhä Matti sanou akalla:

— Nyt pidäy lähtie nahka myyvä, suaha, — sanou, — lapsilla leibiä, toizih kyläh pidäy lähtie myömäh, tämä Matti nyt ei ota.

Häin läksi sen hebozen nahkan kera. Matkai, tuli dorogalla yksinäine talo, stancie. Talossa sie nuori mučoi, i keyhä Matti tariččieteh yöksi, sanou:

— Märgä olen.

Mučoi sanou:

— Mie en lasse ukottah, a ukko on kävelyksessä.

Sanou:

— Mie ved' en kosse sinuo, lasse, ku olen märgä, a toizeh kyläh on pitkä matka.

Nu keyhä Matti duumaičči, čto vägeheh eule midä ruveta, tulou ukko, vie tappau. Keyhä Matti läksi pihalla, emändä salbai veräjät umbel. Keyhä Matti pordahilla seizou, duumaiččou: «Kak-sikymmendä virstua on toizeh kyläh, a vihmu ku korvoista kua-

dau, kassun äijäl. En lähe tolkutta tästä katoksen älda». Häin otti da nouzi halgopinolla seiniä vasse, duumaiččou: «Tässä on kassu nyt». Häin kaččou pertih päite ikkunasta läbi. Pihalda päite nägyy, midä ruatah pertissä, a pertistä päi ei nävy, midä ruatah pihalla, ku on pimie. Matti kaččou, ga nuori mies tuli gorničasta pertih. Emändä rubei paistamah oland'ua. Oland'at paisto, siidä toi viinua. Ruvettih čuajuo d'uomah da oland'ua šyömäh, viinua d'uomah — a keyhä Matti kaččou ikkunasta. Hyö d'uodih da šyö-dih, siidä vie emändä kaksi bl'uodua oland'ua pani päččih. Siidä hyö vierdih kravatilla muate. Ajo drug čuruzissa hebone pihalla. Emändä sanou sillä nuorella miehellä:

— Mäne nyt škuappah!

A škuappa oli korgie, lattiesta lageh suaten. Nuori mies mänä škuappah, emändä pani škuapalla lukun. A keyhä Matti ikkunasta nägi kaiken hiän dielon. Izändä hebozen lazetti da tanhuoh pani. Keyhä Matti toimitti, čto tämä tuli izändä, ku bez sprossu lazetti hebozen i pani tanhuoh. Izändä rubei tanhutpordahie myöte nouzumah pertih.

Keyhä Matti šalkun otti halgopinolda da mäni veräjie kolottimah. Izändä sinčosta sanou:

— Ken on matkamies? — sanou.

Keyhä Matti sanou:

— Lasse, velli, yökse, ynnäh olen umbimärgäne.

Izändä avai öven, sanou:

— Tule, velli, tule, miä iče olen kävelijämies.

Laski keyhän Matin izändä. Mändih pertih. A emändä keyhän Matin tundou: vasse ei laskenu, a d'o izännän kera tuli pertih. Emändä duumaiččou iččiedäh vasse: «Lienne tulluh dorogalla vastah, da izändä otti yökse». Izändä sanou emännällä:

— Pane syyvä-illasta.

Emändä sanou:

— Nyt keittämäh en rubie, on ennistä keitettyö koufeida, da vilustu koufeiniecca.

Izändä sanou:

— Pane midä tiedänet, šyöndä eule igine.

Emändä pani maiduo, koufeiniekan stolalla, silakkua-kašua, leibiä, kuda-midägi stolalla keräi. Izändä käski keyhän Matin sanou:

— Istoi, velli matkamies, šyömäh.

Izändä istuize kökkah, keyhä Matti toizeh. A keyhä Matti nahkasalkun lykkäi laučan alla, omahaze d'algoih. Izändä kyzy keyhädä Matilda:

— Kunne piet matan?

Keyhä Matti sanou:

— Olis hebozen nahka myödävä, mänen toizeh kyläh nahkua myömäh.

Izändä sanou:

— On häi teiä kylässä bohatta kupča Matti, mintäh et sillä myönny koissa, kannat toizeh kyläh?

Keyhä Matti sanou:

— Elä, velli izändä, pahakse ota, ei, — sanou, — šidä nahkua kaikil sua ostua, kallis on ylen nahka.

Izändä sanou:

— Ga ved' kolme rubl'ua hebozen nahka maksau, tua suabi ostua hot' kehä.

Keyhä Matti sanou:

— Puolen nellikkyö maksau kuldua se nahka.

Izändä sanou:

— Mindäh on sen kallis nahka, mida häin toimittau dieluo, ei häi kengäksi sen kallis voi roita ni mistä päi?

Keyhä Matti sanou:

— Se nahka on volšebnoi, tiedäy kaiken eloksen maailmalla, zentäh on se kallis.

Izändä sanou:

— Opi, tiedäygo midä miun elämästä se nahka, on häi midä tapahtunu?

Keyhä Matti otti da nahkua d'allalla painaldi šalkussa. Keyhä Matti sanou:

— Nahka sanou, što emändällä on kaksi bl'uodua oland'ua päčissä.

Izändä sanou:

— Keh varoi sie piet oland'at, ku stolah et tuonu?

Izändä sanou, päččilavvan avai — niin i on, kaksi bl'uodua oland'ua päčissä.

Emändä sanou:

— Ved' unohin andua, sinuh varoin i paissoin.

Izändä sanou keyhällä Matilla:

— Nu kuottele, eigo vie midä nahka sano.

Keyhä Matti tuas kuotteli nahkua painua d'allalla, sanou izännällä:

— Nahka sanou: emändällä on druugu pandu škuappah.

Izändä sanou emändällä:

— Anna vai avaimet, kačon škuappua.

Emändä sanou:

— Avaimet kavottih, ni midä druuguu eule, da kogo rovussa eule druuguu.

Nu izändä sanou:

— Kačomma, avuan kirvehellä škuapan.

Izändä škuapan oven kirvehellä avazi, druugu sielä hyppiäy dai pagoh piäzöy pihalla, ei kergie kirvehellä iskie.

Izändä sanou keyhällä Matilla:

— Nu myötgo nyt nahkan, mie ossan?

— Myön, — sanou, — vai puoli nellikkyö kuldua anna.

Izändä ando, vai vähästä ei täydyny puoleh nellikköh kuldua.

— Nu ladno, — sanou, — fyött da d'uotti.

Keyhä Matti rubei lähtemär pois matkah, a izändä sanou:

— Kunne nyt lähet yödä vasse pois?

— A lähen, — sanou, — miula pidäy suudoh männä teizeh kyläh srokilla, nyt lämbiin tässä da söin.

Keyhä Matti läksi, duumaičcou: «Nyt ku sain kullat, ni eule miula ni miittumua suuduo, lähen kodih».

Tuli keyhä Matti kodih. Akka kyzyy:

— Saitgo hot' d'auhoppuudan arvon d'en'gua nahkasta?

Keyhä Matti sanou akalla:

— Roih dostaliksi igiä, vai elä virka ni kellä ni midä.

Keyhä Matti työndäy kaheksanvuodizen tytön bohatah Matin luo:

— Puolinellikköhistä kyzy, — sanou.

Keyhä Matti neuuvo tyttözel:

— Ku kyzynöy bohatta Matti, midä mittuau, sano: en tiijä.

Mäni keyhän Matin tyttöne bohatah Matin luo.

— Tata kučču, — sanou, — dädä, puolinellikközen, anna meilä puolinellikköhine, — sanou.

Bohatta Matti sanou:

— Midäbo mittuau häin?

Keyhän Matin tyttö sanou:

— En tiijä, midä mittuau.

Nu bohatta Matti duumaičcou: «Nu midä häin mittuau, hänellä ei ole kartonkua, ni vill'ua muassa?». Bohatta Matti ottai da tervuau uurdiet puolinellikköhizeztä, čtočj d'ais zametno, midä keyhä mittai. Siid ando puolinellikköhizen, sano:

— Mäne vie tuatallas.

Toi keyhän Matin tyttöine tuatallah puolinellikköhizen. Keyhä Matti pani viizirublahizen kuldad'en'gañ puolinellikköhizeh i sanou työllä:

— Vie mäne puolinellikköhine d'ärilleh.

Toi keyhän Matin tyttö d'ärilleh bohatala Matilla puolinellikköhizen. Bohatta Matti kačču — ga kuldad'en'ga d'iänyh uurdieh puolinellikköhizen! Bohatta Matti sanou omalla perehellä:

— Kävelyksissä oli toizessa kylässä, ga on graabinuh poštan libo laukan mintaho, ku kuldua mittuau. Nyt kai meistä torrut zamaiu.

Läksi bohatta Matti keyhän Matin luo.

— Terveh, terveh susieda, — sanou.

Keyhä Matti sanou:

— Vie tervehyön, koiran roža, luait. Yksi hebone oli hyvyttä, sen tapoit da suddil vz'atkan annoit, a miula yksi nahka suudittih. A miuda d'umal ei heittänyt: mäniin linnalla i ulgomuan tuldih kupčat i miula puolinellikkyö annettih hebozen nahkasta kuldua. Ylen on kallis nahka.

Bohatta Matti sanou:



— Usso, ku puuhonikkokönnön oiv d'ienmy kuldad' on'ga vie, ota tässä d'äriileh.

Keyhä Matti sanou:

— Sen d'en'gan tah elän, dostaliksi ijaksi nyt roih kuldua, pie se d'en'ga, oie pöivilles. Vot pelduo oli palane, se jäi kyndämättä.

Bohatta Matti sanou:

— Työnän kolme kazakkua, dai kynnetäh se peldo siula.

Dai työndi kolme kazakkua, i kynnetih peldo keyhällä Matilla. Bohatta Matti tappo kai seičöeme omallaže hevot, nähkat nylgi, palkai keyhällä muzikalda hevon nähkoi vid'dä, lähtöy kuldua suamah nähkoista. Mäni sinne linnalla nähkoin kera bohatta Matti. Päivän häin kauppuafou, kyzzy puolda nellikkyö nähkasta, a hänellä taritah van kolme rub'ua, sanotah:

— Ni missä muailmalla eule sidä hindua, ni ken ei anna puolda nellikkyö kuldua hebozen nähkasta.

Bohatta Matti sanou:

— Keyhä Matti sai puolen nellikkyö kuldua hebozen nähkasta, kuibo miula etto anna?

Linnal sanotah:

— Myö emmä tiijä bohattua, ni keyhiä, pidänöy — ota kolme rub'ua nähkasta, ei — ni mäne kunne tahot.

Siidä möi kolmin rublin nahka, iče duumaičöou: «Ei suannu tälle keyhä Matti kuldua, on mintahö voruinuh, poštan libo laukan». Duumaičöou bohatta Matti: «Nyt kodih menen dai tapan keyhän Matin, ku yhestä hebozesta mänetti seičöeme hevosta».

Kodih tuli i sanou omalla perehellä:

— Keyhän Matin — susiedan — tapan tänä yönä.

A keyhä Matti duumaičöou: «Nyt tappau miuda, ku ei suannu nähkoista kuldua». Keyhällä Matilla oli ylen paha pörtine. Ku oli syyssime, pörtissä oli vilu, i ainos häin magai eussalla. Bohatta Matti tiedäy, čto häin maguau eussalla, i yöllä mänöy händä tappamah. Keyhä Matti duumaičöou: «Tänä yönä tufiou tappamah». Hänellä oli muamo vanha, sadavuodine. Hänellä sanou keyhä Matti:

— Muamo, tule eussalla muate, mie tulen päcillä.

Muamoh sanou:

— Tule, tule, poigane, ku kyl'miit, mie tulen eussalla.

Keyhä Matti mäni päcillä, a muamoh tuli eussalla. Rodih keskiyön aiga, kylä kai ninettih muata. Bohatta Matti läksi kirvehen kera keyhiä tappamah. Tuli bohatta Matti pertih (ku oli ovet karut). Häin rubei eussalla kuottelemah, ongo siinä keyhä Matti. Kuottelou, ga siinä i on maguaja. Häin iški kirvehellä piäh, bohatta Matti se, iče läksi pagoh, ovi d'ai kahallah. Staruuha langei lattiella pois eussalda. Keyhä Matti nouzi, dai akka, dai lapset nostih. Staruuha ryöckyy lattiella, veri suusta da nenästä lähtöy. Keyhän Matin akka da lapset itetäh, sanotah:

— Oho mado, aiga kaupan pidi, staruuhan tappo!

Keyhän Matin akka sanou ukolla:

— Nyt sie olet puuttunu, sanotah, čto sie tapoit. Läksiziin kyläh, veiziin viestin, čto bohatta Matti staruuhan tappo, ni ussottua ei, svidietelyä ei ole, sanotah: «moužet sie iče tapoit?»

— Nu ladno, — keyhä Matti sanou akalla, — elä ite, ijan eli, ku toista sadua vuotta eli.

Keyhä Matti suoritti kuolien muamon, pani tužurkan piäh, šuapkan piäh, kindahat kädeh, da ni kando d'ärven randah, da ni venehen peräh issutti (muamon sen kuolien), melan pani kainaloh. Emän d'ätti istumah venehen peräh, iče läksi kodih. Huonduksel tuli aigazeh venehen luo, muamoh se ku eläväne istuu venehen peräs, ku vilulla ilmalla d'amötti. Häin otti da lykkäi venehen kera d'ärvel muamon. A sielä oli nuottaniekkoi monie d'ärvellä. Venehtä kando nuottaniekkoin abajah. Nuottaniekat sanotah:

— Mäne pois, kalat pöllätät abajasta.

Händä kando myödäzeh d'o d'uuri venehen perih. Nuottaniekka mužikka ottau da rindah händä äikkiäy melalla. Häin ottau da vedeh pakkuu i uppoi. Toine tovarissa sanou:

— Poputi i tuli hänellä, ku kaloi pöllättämäh tuli.

A poigah se, keyhä Matti, rannalla kaččo i nägi, čto muamus pandih vedeh nuottaniekat. Poiga kirgu, se keyhä Matti, nuottaniekoilla:

— Paniija ristikanzan vedeh, seičas dokaziin policijall!

Nyt vot, nuottaniekat pöllästyttih, tuldih rannalla keyhän Matin luo. Keyhä Matti sanou:

— Moužet hän oli vähänägöne, a työ ristikanzan vedeh paniija.

Nuottaniekat sanotah:

— Eläi, velli, dokazi policijah, myö annamo d'en'gua stulla.

Keyhä Matti sanou:

— Ku puolen nellikkyö kuldua andanetta — bohatat työ olette eläjät — niin en dokazi.

Nuottaniekat sanotah:

— Anna puoleksi nedäliä srokkua, myömmä žiivatat dai imušestvat; muite et tävvy kuldua.

Puolen nedälin perästä hyö myödih kai lehmät, hebozet i tuodih keyhällä Matilla puoli nellikkyö kuldua. Keyhä Matti sanou tyttöllä:

— Mäne tuo bohatalda Matilda puolinellikköhisty. — Tyttöllä nevvoo: Ku kyzynöy bohatta Matti: «midä mittuau?», sano: «en tiijä».

Keyhän Matin tyttö mäni bohatan Matin luo, sano:

— Tata kučču puolinellikköhistä.

Bohatta Matti kyzzyy:

— Midäbo mittuau hän?

Tyttö sanou:

— En tiijä, midä mittuau.

Tuas hain tervei uurdiet puolinellikköhizestä, čto bj d'ais zametno, midä mittuau. Toi tyttö tuatollah puolinellikköhizen. Tuat tah tuas pani viizirublahizen kulda d'en'gan puolinellikköhizeh.

— Mäne, — sanou, — vie d'arilläh.

Tuas se bohatta Matti kaččou, ga d'en'ga puolinellikköhizessä kuldane. Bohatta Matti duumaiččou: «Mistä hain nyt sai d'en'gua, pidäy lähtie käyvä». Tuli keyhän Matin luo.

— Terveh, susieda, terveh!

— Oo, — sanou, — koiran roža, vie tervehyön luait, — keyhä Matti sanou, — ved', — sanou, — tulit minuo tappamah, a eussalla aigaudu muamo, i miua tilasta tapoit muamon. A mie zen muamon vein linnalla, i algomuan kupčat annettih puoli nellikkyö kuldua, lekerstvaksi otetah, ylen kallis on ristikanzan teelo.

Bohatta Matti mäni kodih, otti häi omahaze muamon tappo vanhan, pani regeh, lähtöy linnalla myömäh. (Kuldua pidäy suaha puolinellikkyö). Linnalla hänellä oli muamo katettu od'd'ualalla, ajeiou linnua myö. Rahvas kzyztäh:

— Midä siula on myödäviä reissä?

Sanou:

— Mie tapoin muamon, nyt myöziin, ken puolen nellikkyö kuldua endais.

Pölicii od'd'ualä otettih, kačotah, d'eistvitel'no on muamon tappanu. Sanotah:

— Mikse sie muamon tapoit?

— Ka, — sanou, — tappohän keyhä Matti, niin puolen nellikkyö kuldua sai.

Pölicii sanou:

— Myö keyhiä Mattie ni tunne ni tiije emmo, a siula on reissä tässä.

Bohattua Mattie pandih raudolih muamon tapannasta. Kahaksitoista vuotta suudittih bohattua Mattie tapannasta. Kahaksitoista vuotta hain oli sie katoržnoissa ruavossa. Srokka löppi.

Aijänpäivän suovattana illalla pandih kaikki päcit lämmitä, bohatta Matti matkuau tyrmästä kodih. Keyhän Matin akka sanou ukolih:

— Nyt, kačo, siun tappau, kodih kui tuli, piäzi tyrmästä.

Keyhä Matti sanou:

— Ku ollou suudittu synnyndätilalla hänen käzih, anna tappau.

Bohatta Matti mäni, d'oi, söi, akallah sanou:

— Anna poštelipiälizet, vien keyhän Matin d'ärvellä syvimmällä tilalla, hänen tagači kaksitoista vuotta tyrmässä issuin.

Akkah anda poštelipiälizet. Mäni keyhän Matin luo.

— Nyt, — sanou, — susieda, et enämbi ni kedä smuti, nyt panen poštelipiälizeh da syvimmällä tilua vien d'ärväh.

Keyhä Matti sanou:

— Valda siun, rua midä kaččuol!

Rubei bohatta Matti panemah keyhiä Mattie postelipiälizeh. Lapset ruvettih keyhällä Matilla it'kemäh da akka. Lapset sanotah muamallah:

— Nyt leivänsuajua ei rodei, kuolemma näl'gäh!

Läksi. Hänet kando postelinpiälizien kera. Äijänpäivän suovatana rahvasta matkuau kirikköh, ku vezi valau, spuassua vastuamah. Bohatta Matti duumaiccou: «Läksiziin mie lykkiäiziin vedeh, ni suuri riähkä tulou ennen spuassun vastavuo». (Vareudu!). Bohatta Matti mäni kirikön ogruadan oven edeh, keyhiä Mattie sellässä kandau postelipiälizien kera. Häin duumaicci: «Lähen spuassun vastuan, siidä ässen hänen lykkiän vedeh». Häin sido suun postelipiälizien i heitti ogruadan veräjien edeh, ice läksi spuassua vastuamah. A keyhä Matti postelipiälizissä aino lugou: «Oi hospodi, skoro li men'a v čarsvo voz'm'oš?». A bohatta muzikka matkuau kirikköh, duumaiccou: «Ken se lugija ollou, ken seze ollou čarstvah taričciuduja?». Bohatta muzikka seizattu rinnalla poštepiälizien.

— Ken sie olet čarstvah taričciuduja?

A keyhä Matti vastuu:

— Mie en ole luadinu pahutta ni kanan poijalla tällä ilmau, nyt tuli kolme anhelie i otetah spuassua vassattuo miuda čarsvah.

Bohatta muzikka sanou:

—Sua sie miullani tila čarsvah.

Keyhä Matti sanou:

—Äijä pidäy d'en'gua tilan sinne suahessa, tyhd'illä kázillä sinne et piäze čarsvah. Sielä on piisarie da kontorsiekkua, sinne vie kir'd'uttua pidäy, sinne pidäy d'en'gua kir'd'utuksista.

Bohatta muzikka sanou:

— On miulla d'en'gua, ku ijän torguicin. Äijägo pidäy, tuon d'en'gua?

Keyhä Matti sanou postelipiälizissä:

— Tuhat rubl'ua pidäy.

Toi tuhannen bohatta muzikka d'en'gua i tuli keyhän Matin luo postelipiälizien rinnalla. Keyhän Matin keritti postelipiälizistä, sanou:

— Na tuhat rubl'ua d'en'gua da pane miuda icces tilah, a siula ku on anhelit tuttavat, sie toista i suat tilan.

Keyhä Matti otti tuhannen i pani icceh tilah bohatan postelipiälizih. Lähtiessä sano keyhä Matti bohatala muzikalla:

— Aino luve: «Skoro li men'a v čarsvo voz'm'oš?». Hot' midä sraščainnou, aino luve.

Keyhä Matti tuli kodih, akallah sanou:

— Midä et sriäpi, ku on äijänpäivän yö, midä olet pahalla mielie?

Akkah sanou:

— Kui sie piäziit kázistä, ku otti vedeh panna? Mie pöllässyin, en tiijä ni sriäppie, ni midä.

— Ei, — sanou, — miuda vedeh pannu, vie sain tuhannen d'en'gua, paniin iččen tilasta toizen bohatan postelipiälizih. Keitä nyt čuajuu da koufeida da paissa oland'ua.

Paisti akkah oland'at, koufeit, čuajut. (Ihastu, ku ukkoh piäzi). Lapset kai stolah azetti, i ruvettih ynnä perehen ker d'uomah. Bohatan Matin akka astuu keyhän Matin ikkunan alačci, kaččouga keyhä Matti d'uou lapsien da akan ker da oland'ua syöy. Mäni kodih, ga tyttäreh sanou:

— Missä kävelet, ku et tule kodih auttamah sriäppimäh?

Näin sanou tyttärellä:

— Heität i sie sriäpinnän.

Tyttäreh sanou:

— Mindäh mie heitän sriäpinnän?

— A heität, — sanou, — sendäh — tuattos läksi keyhiä Mattie vedeh panemah, keyhä Matti d'o lapsien da akan ker koissa čuajuu d'uou, naverno on häin pannuh tuattuadas vedeh.

Tytär muamollah kaglah tarttu da rubei itkemäh, heitti sriäpinnän.

Spuassa vassattih kirikös. Bohatta Matti läksi keyhiä Mattie panemah vedeh. Tuli postelipiälizien rinnalla. A bohatta muzikka vai lugou:

— Oi, hospodi, skoro li men'a v čarsvo voz'm'oš?

Bohatta Matti sanou:

— Čarsvan mie siula annan, vie go čarsvah tahot lähtie?

Nosti bohatta Matti hänen postelipiälizien ker selgäh i läksi veneheh viemäh. Veneheh vei i heitti. Läksi bohatta Matti soudamah d'ärvellä, syvimmällä paikalla soudau. Syvällä kohalla ku vei, rubei nostamah postelipiälizien ker, bohatta muzikka postelipiälizissä sanou:

— Oi, hospodi, skoro li men'a v čarsvo voz'm'oš?

Matti lykkäi hänen vedeh:

— Vot siula čarsvo!

Tuli bohatta Matti kodih, akkah sanou:

— Kui sie eloh piäzit?

A Matti sanou:

— Miul oli prosto piässä, a keyhän Matin lykkäin vedeh.

Akkah sanou:

— Keyhiä Mattie et lykäny, vasta tulin, häin čuajuu d'oi lapsien da akan ker.

Ukkoh sanou:

— Tädä paginua mie en usso, ku vaste lykkäin syvällä kohalla, kuoli sinne.

Akkah sanou:

— Et usso, ga mäne käy, keyhä Matti on koissa.

Bohatta Matti mäni keyhän Matin luo, koissa on.

— Kui sie nyt piäzit, ku syvällä kohalla lykkäin mie?

Keyhä Matti sanou:

— Vot, kaima, kuh lykkäit, siid oli vedehizen svuad'bo, siid annettih miula tuhat rubl'ua d'en'gua i tuodih mualla valmehekse. A ku olluzit syvembäh lykänny, sielä oli toine svuad'bo vie bohatembi, annetannus kaksi tuhatta.

Bohatta Matti sanou:

— Pane, kaima, miuda postelipiälizih da vie sinne, i mie hot' suan d'en'gua.

— Ka miula, — sanou, — eule vacca siun moine, läkkä vien.

Pani bohatan Mattin postelipiälizih. Da ni soudi syvimmällä koh-tua, da ni lykkäi vedeh, ice sano:

— Ken midä eččiy, sidä i suau.

## 66. БЕДНЫЙ МАТТИ И БОГАТЫЙ МАТТИ

Вот жили бедный и богатый Матти по соседству. У бедного Матти была плохая изба, детей много. Вот он, бедный Матти, лошадь выпустил. Лошадь зашла в зеленя богатого Матти. Богатый Матти пошел да ударил колом по морде лошади, и лошадь издохла. Бедный Матти с женой и детьми вышли на двор и плачут: «Только купили лошадь, а ты ее убил». Бедный Матти говорит:

— У тебя семь лошадей — теперь дай лучшую лошадь, раз [мою] лошадь убил.

Богатый Матти говорит:

— Подай в суд, никакой лошади тебе не будет.

Бедный Матти так и сделал: подал дело в суд. Вот пошли в суд. Богатый Матти одарил судей. Судьи судили, говорят:

— Бедному Матти так и надо, что лошадь убили: почему на привязи не держал?

Он пришел из суда, бедный Матти; жена спрашивает:

— Как вас рассудили?

Бедный Матти жене ответил, говорит:

— С богатым судиться нельзя: он взятку дал, а мне только шкуру присудили.

Бедный Матти говорит жене:

— Теперь надо пойти продать шкуру, — говорит, — купить де-тям хлеба. В другую деревню надо пойти продать, этот Матти теперь не возьмет.

Пошел он с этой лошадиной шкурой. Шел, пришел к одино-кому дому, к станции. В доме молодая жена, и бедный Матти про-сится переночевать, говорит:

— Промок я.

Женщина говорит:

— Я без мужа не пушу, а муж уехал.

Говорит [Матти]:

— Я ведь тебя не трону, пусти — я промок, а до другой деревни еще далеко.

Ну, бедный Матти подумал, что насильно нельзя остаться: придет хозяин — еще убьет. Бедный Матти вышел во двор, хозяйка закрыла двери на запор. Бедный Матти стоит на крыльце, думает: «До другой деревни двадцать верст, а дождь как из ушата льет — совсем промокну, не пойду никуда отсюда, из-под навеса». Он взял да встал на поленницу дров возле стены, думает: «Тут не промокну теперь». Он посмотрел в избу через окно. Со двора видно, что делают в избе, а из избы не видно, что делается во дворе, потому что темно. Матти смотрит — молодой мужчина пришел в избу из горницы. Хозяйка стала печь оладьи. Испекла оладьи, потом принесла вина. Стали чай пить, оладьи есть, вино пить, а бедный Матти смотрит в окно. Они попили да поели, потом хозяйка еще два блюда оладий поставила в печь. Потом легли они на кровать спать.

Вдруг въехала во двор лошадь с бубенцами. Хозяйка говорит этому молодому мужчине:

— Лезь в шкаф!

А шкаф был высокий, от пола до потолка. Парень зашел туда в шкаф, хозяйка повесила на шкаф замок. А бедный Матти в окно видел все это их дело. Хозяин распряг лошадь и поставил в крытый двор. Бедный Матти сообразил, что это хозяин приехал, раз без спросу распряг лошадь и поставил во двор. Хозяин стал подниматься по лестнице со двора в избу.

Бедный Матти взял свою суму с поленницы и стал стучать в дверь. Хозяин из сеней говорит:

— Что за путник? — говорит.

Бедный Матти говорит:

— Пусти, брат, переночевать — насквозь промок.

Хозяин открыл дверь, говорит:

— Иди, брат, иди, я сам всегда в пути.

Пустил хозяин бедного Матти. Пришли в избу. А хозяйка признала бедного Матти: перед этим не пустила его, а теперь с хозяином пришел в избу. Хозяйка про себя думает: «Наверно, встретились по дороге, и хозяин привел на ночлег». Хозяин говорит хозяйке:

— Дай поужинать.

Хозяйка говорит:

— Сейчас уже варить не стану, есть старый кофе, но кофейник остыл.

Хозяин говорит:

— Давай что знаешь — не навек же наедаться.

Хозяйка принесла на стол молока, кофейник, салаку, хлеба — того да другого на стол собрала. Хозяин пригласил бедного Матти, говорит:

— Садись, брат-путник, кушать.

Хозяин сел на одном, бедный Матти на другом конце стола. А бедный Матти суму со шкурой бросил под лавку, себе в ноги. Хозяин спрашивает у бедного Матти:

— Куда путь держишь?

Бедный Матти говорит:

— Есть у меня лошадиная шкура продажная, иду в другую деревню шкуру продавать.

Хозяин говорит:

— Так есть же у вас в деревне богатый купец Матти, почему же ты не продал ему, несешь в другую деревню?

Бедный Матти говорит:

— Не в обиду, брат-хозяин, будь сказано, — говорит, — эту шкуру не всякий может купить, дорогая уж очень шкура.

Хозяин говорит:

— Да ведь лошадиная шкура три рубля стоит, ее кто угодно может купить.

Бедный Матти говорит:

— Полчетверика золота стоит эта шкура.

Хозяин говорит:

— Почему такая дорогая шкура, на что она годна? Ведь не станешь же из такой дорогой кожи сапоги шить.

Бедный Матти говорит:

— Эта шкура волшебная, все на свете знает, поэтому и дорогая.

Хозяин говорит:

— Попробуй, знает ли о моей жизни что-нибудь эта шкура, не случилось ли что-нибудь?

Бедный Матти взял да нажал ногой на шкуру. Бедный Матти говорит:

— Шкура говорит, что у хозяйки два блюда оладий в печке.

Хозяин говорит:

— Для кого ты бережешь оладьи, на стол не принесла?

Хозяин пошел, заслонку открыл — так и есть: два блюда оладий в печи.

Хозяйка говорит:

— Забыла ведь дать, для тебя же пекла.

Хозяин говорит бедному Матти:

— Попробуй-ка, не скажет ли еще что-нибудь шкура.

Бедный Матти опять нажал на шкуру ногой, говорит хозяину:

— Шкура говорит: у хозяйки дружок спрятан в шкафу.

Хозяин говорит хозяйке:

— Дай-ка сюда ключи, загляну в шкаф.

Хозяйка говорит:

— Ключи пропали, никакого дружка нет, да и во всем роду не бывало дружков.

Ну, хозяин говорит:

— Посмотрим — открою топором шкаф.



Хозяин дверцу шкафа топором открыл, дружок оттуда как выпрыгнет, выскочил на двор — не успел [хозяин] топором ударить.

Хозяин говорит бедному Матти:

— Не продашь ли шкуру, — я куплю?

— Продам, — говорит, — только полчетверика золота дай.

Хозяин дал, немножко не хватило золота до полчетверика.

— Ну ладно, — говорит [бедный Матти], — это за то, что кормил и поил меня.

Бедный Матти стал собираться в дорогу, а хозяин говорит:

— Куда же ты на ночь глядя?

— А пойду, — говорит, — мне надо к сроку успеть на суд, я уже согрелся и поел.

Бедный Матти пошел, думает: «Теперь, когда получил золото, никакого суда мне не надо, пойду домой».

Пришел бедный Матти домой. Жена спрашивает:

— Выручил ли хоть на пуд муки за шкуру?

Бедный Матти говорит жене:

— Хватит до конца жизни, только никому ничего не говори.

Бедный Матти посылает восьмилетнюю дочку к богатому Матти:

— Попроси четверик, — говорит.

Бедный Матти советует девочке:

— Если спросит богатый Матти, что [отец] меряет, скажи «не знаю».

Пошла дочка бедного Матти к богатому Матти.

— Дядя, тата просил, — говорит, — четверик, дай нам четверик, — говорит.

Богатый Матти говорит:

— Что он меряет?

Дочка бедного Матти говорит:

— Не знаю, что меряет.

Ну, богатый Матти думает про себя: «Что же он меряет: у него нет ни картошки, ни жита?». Богатый Матти взял да засмолил уторы четверика, чтобы стало заметно, что бедный мерял. Потом дал четверик, сказал:

— Отнеси отцу.

Принесла девочка бедного Матти четверик отцу. Бедный Матти положил золотой пятирублевый в четверик и говорит дочке:

— Иди отнеси четверик обратно.

Отнесла дочка бедного Матти четверик обратно богатому Матти. Богатый Матти смотрит — глянь-ка, золотой остался на дне четверика! Богатый Матти говорит своей семье:

— Ходил в другую деревню, так, видно, ограбил почту либо лавку какую-нибудь, раз золото меряет. Теперь всю нашу торговлю приберет к рукам.

Пошел богатый Матти к бедному Матти.

— Здравствуй, здравствуй, сосед, — говорит.

Бедный Матти говорит:

— Еще здороваешься, собачья морда! Всего одна лошадь было добра, и ту убил да судьям взятку дал, а мне одну только шкуру присудили. А меня бог не покинул, пошел в город, пришли иностранные купцы и полчетверика золота дали мне за шкуру лошади. Очень уж дорога шкура.

Богатый Матти говорит:

— Верю, раз на дне четверика остался золотой, возьми обратно.

Бедный Матти говорит:

— Без этих денег проживу, до конца жизни теперь хватит золота, отстань. Вот поля клочок есть, остался не вспаханным.

Богатый Матти говорит:

— Пошлю трех работников, вспашут они то поле.

И послал трех работников, и вспахали поле бедному Матти. Богатый Матти убил всех своих семерых лошадей, шкуры содрал, нанял у бедного мужика лошадь шкуры везти, едет золото выручать за шкуры. Приехал туда в город со шкурами богатый Матти. Целый день продает, просит полчетверика за шкуру, а ему предлагают только три рубля, говорят:

— Нигде на свете нет такой цены, никто не даст полчетверика золота за шкуру лошади.

Богатый Матти говорит:

— Бедный Матти получил полчетверика золота за шкуру лошади, почему же мне не дадут?

В городе говорят:

— Мы не знаем ни бедного, ни богатого. Надо, так бери три рубля за шкуру, а нет, так иди куда хочешь.

И продал шкуры по три рубля за штуку, сам думает: «На за шкуру бедный Матти получил золото, не иначе как что-нибудь ограбил — почту или лавку». Думает богатый Матти: «Теперь как домой приду, так убью бедного Матти за то, что из-за одной его лошади я семи лишился».

Пришел домой и говорит своей семье:

— Бедного Матти, соседа, убью сегодня ночью.

А бедный Матти думает: «Теперь убьет меня, раз не получил золота за шкуру». У бедного Матти была очень плохая изба. В осеннее ненастье в избе было холодно, и он спал на припечке. Богатый Матти знает, что он спит на припечке, и ночью идет его убивать. Бедный Матти думает: «Этой ночью придет убивать». У него была мать старая, столетняя. Ей и говорит бедный Матти:

— Мать, иди на припечек спать, я лягу на печь.

Мать говорит:

— Иди, иди, сынок, коли озяб, я спущусь на припечек.

Бедный Матти зашел на печь, а его мать спустилась на припечек. Настала полночь, деревня вся заснула. Богатый Матти пошел с топором убивать бедного. Зашел богатый Матти в избу (двери то были худые). Он стал шарить на припечке: тут ли бедный Матти. Щупает — так и есть. Он ударил топором по голове, богатый Матти этот. Сам убежал, дверь осталась открытой. Старуха упала с припечка на пол. Бедный Матти встал, и жена и дети встали. Старуха лежит на полу, кровь изо рта и из носа течет. Жена бедного Матти и дети плачут, говорят:

— Ох змей, что натворил — старуху убил!

Жена бедного Матти говорит мужу:

— Теперь ты попался; скажут, что ты убил. Пошла бы в деревню, отнесла бы весть, что богатый Матти старуху убил, но не поверят, свидетелей нет, скажут: «Может, ты сама убила».

— Ну ладно, — бедный Матти говорит жене, — не плачь, свое отжила, коли больше ста лет прожила.

Бедный Матти одел мертвую мать; надел на нее тужурку, шапку на голову, рукавицы на руки, и отнес ее на берег озера, да посадила на корму лодки (мертвую-то мать), кормовое весло вложил ей под мышку. Мать оставил сидеть в лодке, сам пошел домой. Утром рано пришел в лодке — мать как живая сидит на корме лодки: погода ведь была холодная. Он взял да толкнул лодку с матерью на озеро. А там на озере тянули невод. Лодку понесло на тоню. Рыбаки говорят:

— Уходи, рыбу на тоне распугаешь!

Ее несло попутным ветром прямо к лодке рыбаков. Один мужик взял да в грудь ударил ее веслом. Она в воду упала да тут и утонула. Другой рыбак говорит:

— Туда ей и дорога, зачем пришла рыбу пугать.

А сын ее, бедный Матти, на берегу смотрел и видел, что рыбаки его мать толкнули в воду. Сыну этот бедный Матти, крикнул рыбакам:

— Утопили крещеную, сейчас полиции донесу!

Ну вот, рыбаки испугались, приплыли к берегу, к бедному Матти. Бедный Матти говорит:

— Может, она плохо видела, а вы крещеную в воду толкнули.

Рыбаки говорят:

— Не доноси, брат, полиции, мы тебе денег дадим. Бедный Матти говорит:

— Если полчетверика золота дадите — богатые вы мужики, — то не докажу.

Рыбаки говорят:

— Дай полнедели сроку, продадим скотину да имущество, иначе не набрать золота.

Через полнедели они продали всех коров, лошадей и принесли бедному Матти полчетверика золота. Бедный Матти говорит дочке:

— Поди принеси от богатого Матти четверик, — и наказывает дочке: Если спросит богатый Матти: «Что меряет?» — скажи «не знаю».

Дочка бедного Матти пошла к богатому Матти:

— Тата просил четверика.

Богатый Матти спрашивает:

— Что же он меряет?

Девочка говорит:

— Не знаю, что меряет.

Опять он засмолил уторы четверика, чтобы узнать, что меряли. Принесла дочка отцу четверик. Отец положил опять пятирублевый золотой в четверик.

— Иди, — говорит, — отнеси обратно.

Опять этот богатый Матти смотрит, а в четверике золотой. Богатый Матти опять думает: «Откуда сейчас у него деньги? Надо сходить». Пришел к бедному Матти:

— Здравствуй, сосед, здравствуй!

— О-о, — говорит, — собачья морда, еще здороваешься, — бедный Матти говорит. — Ведь, — говорит, — пришел меня убивать, а на печке оказалась мать, и вместо меня убил мать. А я мать увез в город, и заграничные купцы дали полчетверика золота, на лекарство взяли — очень дорого тело крещеного ценится.

Богатый Матти пошел домой, взял да и убил свою старую мать, положил в сани, едет в город продавать. (Полчетверика золота надо получить). Мать у него была накрыта одеялом, разъезжает по городу. Люди спрашивают:

— Что у тебя в санях продажного?

Говорит:

— Я убил мать, теперь бы продал, кто бы полчетверика золота дал.

Полицейские одеяло сдернули, смотрят — действительно, мать убил.

Говорят:

— Зачем ты мать убил?

— Так, — говорит, — бедный Матти же убил и полчетверика золота получил.

Полицейские говорят:

— Мы бедного Матти не знаем — не ведаем, а у тебя тут, в санях.

Богатого Матти заковали в кандалы за убийство матери. На двенадцать лет его засудили. Двенадцать лет был на каторжных работах. Кончился срок.

В субботу вечером перед пасхой у всех печи топят, богатый Матти идет из тюрьмы домой. Жена бедного Матти говорит мужу:

— Теперь, смотри, убьет тебя, раз домой пришел, вышел из тюрьмы.

Бедный Матти говорит:

— Если мне при рождении суждено умереть от его руки, то пускай убивает.

Богатый Матти пришел домой, поел, попил, жене говорит:

— Дай постельник, уволок бедного Матти на озеро, на самое глубокое место: из-за него двенадцать лет в тюрьме сидел.

Жена дала ему постельник. Пошел к бедному Матти.

— Теперь, — говорит, — сосед, никого больше не будешь за нос водить, сейчас положу тебя в постельник и унесу на самое глубокое место в озере.

Бедный Матти говорит:

— Воля твоя, делай что хочешь.

Стал богатый Матти запихивать бедного Матти в постельник. Дети да жена бедного Матти заплакали. Дети говорят матери:

— Теперь кормильца не будет, умрем с голода!

Пошел [богатый Матти]. Несет того [бедного Матти] в постельнике. В страстную субботу народ валит в церковь, как вода течет, к заутрене [букв.: спаса встречать]. Богатый Матти думает: «Пошел бы я и бросил бы в воду, но большой грех будет до встречи спаса». (Испугался!). Богатый подошел к воротам церковной ограды, бедного Матти в постельнике на спине несет. Он подумал: «Пойду спаса встречу, а потом только этого брошу в воду». Он завязал постельник и оставил у ограды, сам пошел спаса встречать. А бедный Матти в постельнике причитает: «О господи, скоро ли меня в царство возьмешь?». А богатый мужик идет в церковь, думает: «Кто это причитает, кто это в царство [небесное] просится?». Богатый мужик остановился возле постельника.

— Кто ты, просящийся в царство?

А бедный Матти отвечает:

— Я не сделал на этом свете зла даже дыпенку, теперь пришли три ангела и возьмут меня после заутрени в царство [небесное].

Богатый мужик говорит:

— Достань ты и мне место в царстве [небесном].

Бедный Матти говорит:

— Много надо денег, чтоб там достать место. Там писаря да конторщики, там писать надо, а за писанину надо платить деньгами.

Богатый мужик говорит:

— Есть у меня деньги, ведь весь век торговал. Сколько надо? Принесу денег.

Бедный Матти говорит из постельника:

— Тысячу рублей нужно.

Принес богатый мужик тысячу рублей и пришел к бедному Матти. Освободил бедного Матти из постельника, говорит:

— Вот тысяча рублей, да пусти меня на свое место: раз у тебя ангелы знакомые, то ты и в другой раз получишь место.

Бедный Матти взял тысячу и положил вместо себя в постельник богача. Перед уходом бедный Матти сказал богатому мужику:

— Ты все говори: «Скоро ли меня в царство возьмешь?»  
Как бы тебя ни стращали, все повторяй то же.

Бедный Матти пришел домой, жене говорит:

— Почему не стряпаешь — ведь паскальная ночь, почему печальна?

Жена говорит:

— Как ты вырвался из его рук, когда [он] хотел тебя в воду бросить? Я испугалась, не могу ни стряпать и ничего.

— Нет, — говорит, — в воду меня не бросили, еще тысячу рублей денег получил, засунул вместо себя в постельник одного богача. Вари теперь чай да кофе да пеки оладьи.

Испекла жена оладьи, сварила кофе, чай (обрадовалась, что муж вернулся). Усадила всех детей за стол, и стали всей семьей пить. Жена богатого Матти проходит мимо окон бедного Матти, смотрит — бедный Матти с детьми да с женой чай пьет да оладьи ест. Пришла домой, а дочь говорит:

— Где ходишь, не поможешь стряпать?

Она говорит дочери:

— Бросишь и ты стряпать.

Дочь говорит:

— Почему я брошу стряпать?

— А бросишь, — говорит, — потому что отец твой понес бедного Матти в воду, а бедный Матти уже с детьми и женой дома чай пьет: наверно, он твоего отца в воду бросил.

Дочь бросилась матери на шею и заплакала, бросила стряпать.

В церкви встретили спаса. Богатый Матти пошел, чтобы бросить в воду бедного Матти. Пришел к постельнику. А богатый мужик знай себе причитает:

— *Ой господи, скоро ли меня в царство возьмешь?*

Богатый Матти говорит:

— Я тебе дам царство, еще царства захотел!

Взвалил богатый Матти постельник на спину и пошел к лодке. Пришел к лодке и бросил. Стал богатый Матти грести на озеро, к самому глубокому месту гребет. Доплыл до глубокого места, стал поднимать постельник, богатый мужик в постельнике говорит:

— *Ой господи, скоро ли меня в царство возьмешь?*

Матти бросил его в воду:

— Вот тебе царство!

Пришел богатый Матти домой, жена говорит:

— Как ты жив остался?

А Матти говорит:

— Мне просто было остаться в живых, а бедного Матти я бросил в воду.

Жена говорит:

— Не бросил ты бедного Матти в воду. Я только что шла: он чай пил с детьми.

Муж говорит:

— Этому я не поверю, потому что только-только бросил его на глубоком месте. там он и утонул.

Жена говорит:

— Не веришь, так иди сходи, бедный Матти дома.

Богатый Матти пошел к бедному Матти — тот дома.

— Как же ты вылез, коли я тебя на глубокое место бросил?

Бедный Матти говорит:

— Вот, тетка: куда ты меня бросил, там была свадьба водяных, они дали мне тысячу рублей денег и сами вынесли на берег. А если бы меня еще поглубже бросил, там была другая свадьба, еще богаче, дали бы две тысячи.

Богатый Матти говорит:

— Положи, тетка, меня в постельник и отнеси туда, чтоб я тоже достал денег.

— А у меня, смотри, сердце не как у тебя, — говорит, — пошла, отнесу.

Положил богатого Матти в постельник. И попал на самое глубокое место да и бросил в воду, сам сказал:

— Кто что ищет, то и получит.

## 67. KUMOHKA

Oli ennen ukko ta akka. Heilä oli kaksi lasta: tytär ta poika. No akka kun rupei kuolomah, niin šanoi lapsilla:

— Totelkua toini toistana, kuunnelkua, elkyä rahvašta nakrat-  
takkua ta koirie haukuttakkua.

Šitä i kuoltih ukko ta akka, jätih tyttö ta poika, hyvin hyö  
eletti. Tyttö oli oikein kaunis. Čuarih haluttih ottua šitä piijaksi,  
vaikka vänkällä, a hiän ei olis voinun ni kuin lähtie, eikä veikko  
antua, a čuarilla vet oli voima.

Veikko šanou:

— Lupauvu, čikko, piijaksi.

A iče i läksi, pani čikon vuattiet piälläh. Kun hiän on poikoi,  
nöyrä, lepšau, lepšau, ruatäu kaikki hyvin. Tai čuarissa hyvin hä-  
neh miellytti. Poika pitäy naittua, šuaha tämä min'äksi — piika.  
(Näistä voisi vaikka kappalehen luatie, ihan totta — mie voisin  
vaikka esittyä!).

Taj otetti hiät pietti, šuatih naisekšeh, pantih nuori pari-  
kunta sarajalla muata. Čuarin pojalla muamo vakottau:

— Muista še, jotta kolmeh päiväh liikuta elä tyttö.

Poika lupau. A poika ei ni keštä. Ruvetti muate, poika al-  
koi hyvvyällä. A še kun oli Kumohka, hiän pyöriy, šanou:

— A-voi-voi, piässä sie milma uloš. Siitä kun mie nuorua le-  
kahutan, niin siitä milma noššalla.

Nuora kun rupei liikkumah, hiän noššalti, a siinä pokko. No  
siitä tullah huomeneksella parikuntua noššattamah, ka hänellä ei ni  
morsienta, pokko vierellä. A muamo semmoseksi pölästy, sanou:  
— No rikoksen luajit.

Hyö pantih se uskoksi, jotta jumala se nakasuici. A siitä ruvet-  
tih väittämäh, jotta eikö se hot' ollun Kumohka.

— Nyt lähemmä hänet tapamma siitä hyvästä, mitä hän sem-  
mosen häpien luati cuarin pojalla.

A poika sanou cikollah, jotta «lämmitä, cikko, oikein kuumaksi  
kiukua nyt, kattila kalie». Tai se kuumennettih, kattila tuli kuu-  
maksi. No hiän rupesi siinä kuumašša kattilašša huttuo keittämäh  
kynnyksen alla. Tullah miehet, hiän huttuo keittäy:

— Elkyä patah, elkyä patah!

— Mitä sie siinä?

— Ka niättä työ.

— Ka mitä sie?

— Ka miula on semmoni pata — ice keittäy.

Maissellah, maissellah — no kiehuu se.

— Myö sie, veikkon, meilä pata. Meilä ei ole toki emäntyä ta  
kokkie, kun lähemmä heinällä, nin meilä pitäy tämä pata.

Tai maksetah sata rupl'ua hänellä.

— Jäit nyt tappamatta, myö läksimmä kyllä silma tappamah, no  
kun tämmösen vessan annoit, nin...

Snaçit, hyö lähettin, a cikko ta veikko jäitih nakrua hymyäle-  
mäh: «Petyittä nyt».

A hyö tultih cuarih, sanotah:

— Jäi se tappamatta nyt, semmosen štuukan šaimma, annahan  
myö häneltä kaiken viisauven kisomma.

No ollah-eletäh, ka tuli heinäaika. Suoritah heinällä, ketä kunne  
pannah. No cuari sanou:

— Kokki pitäis panna matkah.

Miehet sanotah:

— Meilä ei pie kokkie eikä kakkie, myö suamma ice ruuvan,  
meil on semmoni štuukka.

Prikaati niittäy, jo heilä on nälkä.

— Läkkä pois syömäh!

— No niittäkkä myö vielä, eihän meilä ole kiireh, meilä on  
keitto valmis, kun myö panimma šakuo ta makuo, nin siitä levä-  
hämmä enämmän.

No jo hyö on niin vaivuttu, jotta toini toisie kuletetah. Tul-  
lah syömäh — miten on kattila heitetty kannon piäh, niin ei kie-  
hun eikä paistun. No tuas on Kumohka hiät pettän!

— No nyt ei hänellä enämpi ni mitä ihuo eikä armuo, emmä  
enämpi ušo, vaikka hiän mitä šanois, ei kun henki pois tai pois! —  
niin piätelläh miehet.



No tullah heinältä kotih:

— Nyt ei ihuo eikä armuo, nyt lähemmä tapamma!

Sätitäh rospoinikakksi, a siitä kun männäh, niin:

— Terveh, prijatteli!

Nyt veikko jo koissa tietäy, jotta nyt häntä tullah kuit'enki tappamah. Sanou cikollah, jotta «tässä on ruoska miula seinässä, nyt kun miehet tullah, niin mie siula sanon: „Pane, cikkon, ruokua vierahilla!“. Sie sano, jotta «suuh kuššah vierahillaš tai kostillas!“. (A verimöykyn pisti cikollah sisälöh). Mie pissän silma veicellä kylkeh, sie lankie. Ja kun ruošalla kerran lyön — hyppyä polvihuissillah, toisen kerran lyön — nouse seisual'lah, kolmannen kerran kun lyön, nin hyppyä ruokua laittamah.

Tultih miehet:

— Terveh tänne!

— Tulkua terveh, tulkua terveh.

— No pane sie, cikko, vierahilla ruokua.

— Šuuh kusen vierahillaš tai kostillas!

— Vai niin.

Tai kun pissältäy veicellä, lankei.

— Ka mitä sie ruavoit? Cikkoš tapoit!

— Ka tapoin mie! Elkäh olkah västen, mie pahankuriset opas-san, elkäh västah sanokkah.

Ruassalti ruošan, a miehet kacotah kuin lehmä uutta kesselie. Ensi kerran kun ruošalla vejältäy — cikko nousi polvillah, kun toisen kerran ruassalti ruošalla lyyvä — cikko nousi kävelömäh, kolmannen kerran kun ruassalti, nin cikko alko kun miilen'koi ruokua laittua pöytäh. Ta niistä oli ihme ta kumma!

— Ka mitä sie ruavoit cuutuo?

— Ka totelkah.

No nähäh hyö, jotta ei tämä ole valehta, kun hiän aikana tappoi. Alettih pyytyä ruoškua.

— Myö sie, veikkon, meilä tämä ruoska! Kun meilä on niin pahankuriset naiset, niin myö heitä opassamma. Jiät sie tuas henkih, läksimä myö silma lopettamah, ka kun olet noin viisas, niin emmä myö voi lopettua.

Möi ruošan. Mäntih kotih. Mitä lie yhellä kieckahti naini västah — pisti veicellä, naini kuation. Löi, löi ruošalla — ei nouse — kuollut kun kuollut. «No a-voi-voi! Valehteli se tuas, kehnon kiär-mis se Kumohka!».

Anto cuari nyt semmosen prikaasun, jotta enämpyä häntä ei heittyä eloh, vaikka mitä keksikkäh, uhhotie tai uhhotie — hiän on nyt valehellut teitä monella štuukalla, ei kun tappua ta cikko ottua piijaksi. A hiän jo sisärelläh sanou:

— Nyt ne tullah milma tappamah. Mie kaivan hauvan, hautua milma tuoh ikkunan alla, sie istuuvu ta ite ikkunakorvassa.

Čikko rautasapoinikan kuumentu, a iče šießä hauvašša istuu karhottau rautasapoinikka kiässä. Čikko istuu ikkunakorvašša ta itköy. Tultih miehet.

— Mitä sie itet?

— Ka veikkoni kuoli.

— Missäpä hiän on?

— Ka tuossa on hauvašša ikkunan alla.

— Oho kehnou rospoiniekkä, niin kuoli! Nyt emmä voi ni mitä, lähemmä hot' šitumma kiärmeheh hauvalla.

Mäni yksi istu kyykisty, hiän ku trähni kuumalla rauvalla, še karjuu:

— Oho kiärmis, mimmoni oli eliässäh, šemmoni on i kuolu-  
tuoh!

— Ka mitäpä hiän ruato?

— Ka koita iče!

Niin kaikki kolme koitetih.

— Kaccokka myö, eikö hiän hoti, rospoinikka, ole elävä!

Avatah hauta, hiän terveh-kaunis!

— Nyt sie šatuit, nyt kyllä et piäše!

— Ei muuta kun järveh!

— Ei armuo ni mityttä, lähemmä!

Čunah köytettih ta kiärittih nuorilla — lähettih. Lähettih vetyä köyttämäh čunašša. Vietih, vietih viijentoista virššan piäh. Ei otettu kirveštä, ei otettu purašta — ka millä hyö še avanto šuahah. Toini toisellah:

— Mäne sie käy, mäne sie käy.

— A läkkä myö yheššä, ei hiän ni kunne piäše, anna piessa kylmäy hoti.

Lähettih kaikin, jäkäh! A hiän kun venyy, kuulou — cillit coi-  
kuau, puara ajau.

— Paat'uska, paat'uska, elä piällä aja, elä piällä aja!

— Ka mitä sie šiinä venyt?

— A-voi-voi, kun milma, paat'uska, lähettih uusilla mailla, uusilla vesillä viemäh, šieltä ei muuta kuin hyvyyttä ottua, a kun en malta kieltä enkä mieltä, niin miten mie šinne lähen?

Paat'uska šanou:

— Mie še kyllä tietäšin kielen tai mielen.

— No tule silloin hyvin ruttoseh, kun kerran maltat, niin ei muuta kuin hyvyyttä ottua. Paat'uska hänet keritti nuorista, hiän paat'uskan kiäri rokosinah, otti paat'uskalta tulupan ta läksi pu-  
ralla ajua köröttämäh. Paat'uska jäi uutta hyvä vuottamah. Mie-  
het tultih, jyssettih avanto, pučkattih paat'uska avantoh. Paat'uska  
ei virkkan ni mitä. No miehet šuatih še, ollah niin hyvilläh, niin  
hyvilläh, kun hyö Kumohka šuatih avantoh.

— Lähemmä nyt piessan kotih, niin tansšimma, niin tansšimma,  
otamma tyttären čuarih piijaksi — čuari on pašattava!

Lähettilä siitä, tultih sinne, sielä semmoista pietäh iltamua, plässitäh, syyväh. A Kumohka puaroilla pihah, tulou pirttih.

— A! Ka sitäkö iluo tulija nyt miun pirttih tanssimah, kun miun avantoh säitta? Ka erehyittä nyt!

— Ka mistä sie, veikkon, tulit?

— Mistä tulin? Minne veittä, avantoh panijat? Kun työnnäl-tijä, kun sanoin «pul'-pul'», niin samassa puara eteh.

— Ka saisimmako se i myö?

— Ka mintäh työ että sais!

Ne usotah (vot ollah höperöt, kolme höperyö, a hiän yksi). Siitä hyö lähettih puaroja eëcimäh. Ensimmäini kun hyppäsi: «pul'-pul'!». Toini hyppäsi: «pul'-pul'!» — karjuu:

— Jo miula on harja kiässä!

Kolmas hyppäi — sielä ollah tänäki piänä. A tyttö ta poika jäitih elämäh, eikä pitän tyttären cuarih piijaksi männä. Elyä el-vetelläh vielä i tänäki piänä, kun ei oltane kuoltu.

## 67. КУМОХКА

Были раньше старик и старуха. У них было двое детей: дочь и сын. Ну, старуха когда стала умирать, то сказала детям:

— Слушайте друг друга, чтобы люди над вами не смеялись и собаки на вас не лаяли.

Потом и умерли старик да старуха, остались дочь и сын. Хорошо они жили. Девушка была очень красивая, хотели ее взять служанкой к царю, хотя бы и против воли, а ей никак не хотелось идти, и брат не хотел отпускать, а у царя ведь была сила. Брат говорит:

— Согласись, сестра, идти служанкой.

А пошел он сам, надел на себя одежду сестры. И какой же он бойкий, послушный; носится, носится, все делает хорошо. И у царя всем он очень понравился. Надо сына женить, заполучить эту служанку в невестки. (И из этого можно бы хоть спектакль сделать, сущая правда! Я могла бы даже играть!).

И взяли, свадьбу сыграли, стала у них невестка. Уложили молодоженов спать на сарае. Царева сына мать предупреждает:

— Запомни: три дня не трогай девушку.

Сын обещает, а не может выдержать. Легли спать, парень стал ласкать. А ведь это был Кумохка, он вертится, говорит:

— А-вой-вой, отпусти меня во двор. Я как дерну за веревку, тогда меня подними.

Веревка когда зашевелилась, он [царев сын] поднял, а на веревке баран. Ну, потом утром приходят будить молодоженов, а у него невесты и нет, баран рядом. А мать до того перепугалась, говорит:

— Значит, обычай нарушил.

Они так и поверили, что это бог наказал. А потом стали сомневаться, что не был ли это Кумохка.

— Теперь пойдем убьем его за то, что он так опозорил царева сына.

А парень [Кумохка] говорит сестре, что «натопи, сестра, очень жарко печь, чтобы котел накалить».

И накалили, котел стал горячий. Ну, он стал в этом горячем котле на пороге кашу варить. Приходят мужчины, он кашу варит:

— Не наступите в котел, не наступите в котел!

— Что ты тут делаешь?

— Так видите же вы.

— А что?

— А у меня такой котел — сам варит.

Пробуют, пробуют — варится ведь.

— Продай ты, братец, нам котел. У нас нет ни хозяйки, ни поварихи: когда пойдем на сенокос, то нам нужен этот котел.

И отдают ему сто рублей.

— Остался ты пока жив, мы ведь пришли тебя убивать, но раз ты такую вещь нам дал, то...

Значит, они пошли, а сестра и брат остались, посмеиваются: «Обманулись теперь».

А те пришли к царю, говорят:

— На этот раз он остался жив, такую штуку достали, дай-ка мы у него все хитрости выудим.

Ну, живут-поживают, и наступает пора сенокоса. Собираются на сенокос, кого куда назначают. Царь и говорит:

— Надо бы кухарку туда.

Мужчины говорят:

— Нам не нужно ни кухарки, ни поварихи, мы и сами приготовим еду, у нас есть такая штука.

Бригада косит, уже они проголодались.

— Пошли кушать!

— Давайте покосим еще, нам ведь не к спеху, у нас похлебка готова, раз мы в котел все положили; а потом подольше поотдохнем.

Уж они так устали, что друг друга ведут. Приходят есть, а котел как был оставлен на пне, так и не сварился и не испекся. Ну, опять Кумохка их обманул!

— Ну, теперь ему больше ни пощады, ни жалости, больше не поверим, что бы он ни говорил, дух вон да и только, — так решают мужчины.

Ну, возвращаются с сенокоса домой:

— Теперь ни пощады, ни жалости, теперь пойдем убьем!

Честят его разбойником, а когда приходят, то:

— Здравствуй, приятель!

Брат уже теперь знает, что все-таки его придут убивать. Говорит сестре, что «тут на стене клетка, когда мужчины придут, то

я тебе скажу: «Накрывай, сестрица, стол для гостей!». Ты скажи, что «н. . . . . мне на твоих гостей и гостейников!». (А пузырь с кровью сунул сестре за пазуху). Я пырну тебя ножом в бок, ты упади. И как плеткой раз ударю — вскочи на колени. Второй раз ударю — встань на ноги, третий раз как ударю, то беги угощение готовить.

Пришли мужчины:

— Будьте здоровы!

— Приходите здоровы, приходите здоровы! [Так!].

— Ну, сестра, ставь угощение для гостей.

— Н. . . . . на твоих гостей и гостейников!

— Вот как?!

И пырнул ножом, [она] упала.

— Что же ты натворил, — сестру убил?!

— И убил! Пусть не противится, я строптивых проучу, пусть не прекословит.

Схватил плетку, а те смотрят, как коровы на новый кошель. Первый раз как вытянет плеткой — сестра встала на колени, второй раз стегнул плеткой — сестра поднялась на ноги, третий раз как стегнул, то сестра как миленькая стала накрывать на стол. А те диву даются!

— Что за чудеса ты делаешь?

— А пусть слушается!

Но видят они, что это не обман, потому что при них убил. Стали просить плетку:

— Продай ты, братец, нам эту плетку. У нас такие строптивные жены, так мы их проучим. Опять ты жив останешься, пошли мы тебя кончать, но коли ты такой умный, то не можем мы тебя прикончить.

Продал плетку. Пришли домой. У одного жена что-то огрызулась — пырнул ножом, жена упала. Бил, бил плеткой — не встает: мертвая так мертвая и есть. «А-вой-вой! Наврал опять, чертов змей, этот Кумохка!».

Отдал царь теперь такой приказ, что не оставлять его больше в живых, что бы ни придумал — убить да и убить. «Он вас уже не один раз обманул, больше ничего, как убить его, а сестру взять в служанки». А он [Кумохка] уже и говорит сестре:

— Теперь они придут меня убивать. Я вырою могилу, похорони меня тут под окном, садись у окна и плачь.

Сестра железный шомпол накалила, а сам [Кумохка] там в могиле сидит с железным шомполом в руке. Сестра сидит у окна и плачет. Пришли мужчины:

— Что ты плачешь?

— Да брат мой умер.

— А где же он?

— А вот тут в могиле под окном.

— О, чертов разбойник, так умер! Теперь уж ничего больше не можем, пойдем хоть я... на могиле змея.

Пошел один и присел, он [Кумокка] как прынул горячим железом, тот заорал:

— О змей, какой был при жизни, такой и после смерти!

— Да что он сделал?

— А попробуй сам!

Так все трое перепробовали.

— Посмотрим-ка, не жив ли хоть он, разбойник.

Открывают могилу — он здоров-красив!

— Теперь ты попался, уж теперь-то не уйдешь!

— В озеро его, больше никаких.

— Пощады никакой, пойдем!

\* В чунки\* уложили и веревками скрутили, отправились. Пошли тянуть его в чунках. Увезли за пятнадцать верст. Не взяли топора, не взяли пещни — чем же они прорубь сделают? Друг другу [говорят]:

— Иди ты сходи, иди ты сходи.

— А пошли-ка мы вместе, никуда он не уйдет, пускай, бес, хоть замеранет.

Пошли все — пускай останется!

А он лежит, слышит — бубенцы звенят, пара едет.

— Батюшка, батюшка, не наедь на меня, не наедь на меня!

— Зачем же ты тут лежишь?

— А-вой-вой, меня, батюшка, хотят везти на новые земли, на новые воды, там только добро хватать, а у меня ни языка, ни разума, как же я туда поеду?

Батюшка говорит:

— У меня нашелся бы и язык и разум.

— Ну, иди тогда быстренько, раз у тебя все есть — там только добро собирать.

Батюшка его развязал, он батюшку завернул в рогожу, взял у батюшки тулуп и поехал на паре. Батюшка остался нового добра ждать. Мужчины пришли, сделали прорубь, бросили батюшку в прорубь. Батюшка ни слова не сказал. Ну, мужчины сделали это, такие довольные, такие довольные, что Кумокку бросили в прорубь.

— Пойдем теперь в дом этого черта, так будем плясать, так будем плясать, возьмем сестру к царю в служанки — царю надо прислуживать!

Отправились они, пришли туда, там такое веселье устроили, пляшут, едят. А Кумокка на паре во двор, приходит в избу:

— А! Так вы теперь с этой радости в моей избе плясаете, что меня в прорубь бросили? Но ошиблись!

— Так откуда ты, братец, явился?

— Откуда явился? Куда увезли? В прорубь бросили? Когда вы бросили, я только сказал «буль-буль» — тут же пара [лошадей] передо мной.

— А мы смоган бы достать?

— А почему бы нет?

Те верят (вот какие глупые, три глупца, а он один). Потом они отправились лошадей искать. Первый прыгнул: «буль-буль!». Второй прыгнул: «буль-буль!». Кричит:

— У меня уже грива в руке!

Третий прыгнул, и там они все еще и поныне. А сестра и брат остались жить, и сестре не надо было идти к царю в служанки. Живут-поживают еще и сегодня, если не умерли.

## 68. LAISAN MIHEN STARINA

Oli kerran laiska Matti ta hänellä oli kakši lehmyä. No akka alko noitua, jotta hän ei rua työtä.

— Elä sie, akka, kiirehi, kyllä sitä vielä ruatah.

Akka elätti Mattie lehmien tuotteilla. Matti huomau, jotta akalla on kertyn kymmenie ruplie rahua kassah. Matti šanou akallah, jotta «anna miula nelläkymmentä viisi rupl'ua rahua, jotta mie oššan heposen ta lähen tienuamah».

— Šie, — šanou, — pirun laiska, et lähe mihinä heposen oštoh, vain viet miulta rahat, — šanou akka Matillah.

— Kyllä mie lähen, — šanou Matti, — ta kyllä mie vielä tienuan.

No akka antau rahua ta ajattelou: «Anna, peijakaš, mänöy, jotta ei pie elättyä». Matti kuin šai nelläkymmentä rupl'ua rahua, nin paino lakin piäh ta läksi heposen oštoh. Matti kuin muantiellä kävelij, nin häntä vaštah tuli mieš oikein laisalla heposella, min meinäsi myyvä. Matti kyšyy, jotta «eikö mieš hevoista myö?».

— Joo, jo olen kakši kuukautta myökšennellyn, ta ei ole kenkänä oštan.

— Mitä makšau heponi? — kyšy Matti.

— Ka nelläkymmentä rupl'ua. Ka tämä on niin laiska, jotta ei piäše ni kunne.

— Ka šilloin ei isäntyäh jätä, — ajattelou Matti.

Matti anto nelläkymmentä rupl'ua rahua ta läksi kotihis päin ajua köröttelemäh. Matti mäni tiehuarah ta kiänti heposeh kotihis, tai akka huomau, jotta on, pahuš, šuanun heposen. Matti kuin ajo pihalla, nin akka tuli vaštah ta šanou:

— Vieläpä löyty muajilmašta toini laiska, kuin Matti on.

Matti vaštai:

— Semmöini šen olla pitäy, jotta ei isäntyäh jätä heponi.

Matti vei heposen tallih ta anto heinyä ta iče mäni pirttih. Šitte Matti ompeli pienen värčin ta pani šiihe nauhat. (Tämä oli

kun pieni tupakivärcci). Matti kun sai värccin valmeheksi, nin passautti värccie heposen hännän alla, jotta passuauko. Matti tuli tupah ta makasi yön rauhallisesti. Huomeneksella kuin nousi, nin kysy akaltah kaksikymmentä rupl'ua hopeni, jotta piäsöy tienessin alkuh.

— Kyllä sie, pirun laiska, et lähe ni kunne, — vastuau akka, — vain syöt miulta kaikki rahat.

Niin akka anto rahat ta sano:

— Ala painuo, vielä köyhytät miun saman näköseksi, kuin ice olet.

— Elähän, akka, hätyäle, kyllä sitä rahua tulou, kuin mie piäsen tienuamah.

Tähä samah kyläh tulou kolme herrua, jotka oli kyytie vailla. Ne sai kuulla, jotta laisalla Matilla on heponi, ta hiän pitäy suaha Matti kyytih. Niin hyö kävelläh Matin luo ta sanotah päivyä Matilla.

— Päivyä, päivyä, herrat.

— Eikö Matti lähe kyytih? — sanotah herrat.

— Ka lähen, vain miula on heponi laiska, kuin iceki.

— Tokko se heponi voipi vetyä miät, — sanotah miehet.

— Ka kyllä se vetäy, vaikka miun mökkini, — sanou Matti.

Niin Matti val'lästi heposeh ta samalla pani hännän alla värccih kaksikymmentä rupl'ua hopeni. Herrat ei huomattu, ta Matti läksi ajamah. Herrat paissah:

— Kylläpä on Matilla laiska heponi, vain semmoni se pitäy olla, jotta ei isäntyä jätä.

Herrat sanotah:

— Eikö vois vähän ruoskua näytyä, jotta hiän joutummin kävelis.

Matti ravahutti kolme kertua hevoista ta heponi työnsi sitan. Matti kun ajo sittaläjän luo, nin hyppäi rejeistä ta rupei ruosan varrella hämmentämäh. Herrat kysytäh, jotta mitä nyt mies Matti meinuu.

— Ka pitäyhän kahella laisalla olla tuotetta.

No herrat nousi rejeistä ta nähäh, jotta heponi on suttun hopie-rupl'ie.

— Ka voi perhana, tämäkö hopeni sittuu?

— Ka niättä sen omilla silmillänä.

— Ka eiköhän Matti myö meilä tätä hevoista?

— Ka milläpä mie ice, laiska, elän, kun toisen myön?

Herrat ajatellah ta lašetah, jotta se heilä sittuu yhtenä yönä satoja rupl'ie, kun vain hyvällä piemmä. Matilta kysytäh, jotta «äijäkö siula pitäy maksua tästä heposesta?».

— Ka kolmesatua rupl'ua miun pitäis suaha. Kait mie sillä elän vähän aikua.

Mitäš, herrat annettih Matilla kolmesatua rupl'ua ta lähettih kotihis ajamah laulun kera, jotta nyt hyö rikassutah kokonah, kun



suatih tämmöni heponi. Herrat lasetah, jotta «sie pie yö, mie pien toisen ta sie kolmannen, jotta suamma yhen verran rahua». Ka niin hyö vietih heponi linnah ta pantih tallih ta vielä pantih verka jalkojen alla, jotta siihe sittuis rahat. Huomeneksella mäntih kaččomah, nin ei ollun yhtänä kopeikkua sittun. Herrat ajatellah, jotta jokohan Matti petti heitä. Nyt toini herra sanou:

— Anna miula, nin mie en syötä niin äijyä, nin kyllä suamma tulokset.

No niinhän se vietih ta pantih verka jalkojen alla seuruavaksi yöksi. A huomeneksella mäntih kaččomah, ka ei ollun yhtänä kopeikkua.

— Voi perkelehen Matti, petti se kumminki miät.

No kolmaš herra sano:

— Mie en ušo sitä, jotta heponi ei tuota rahua, kun Matti sai niin huonolla hoijolla, ta myö vielä näin hyväsesti hoijamma ta ei tule mitänä. Ka antuathan miula heponi kolmanneksi yöksi, siitähän on kumma.

Kolmantena huomeneksena kun mäntih kaččomah, nin ei sielä ollun kuin suuri tukku sittua heposen persien takana. Herran rouva nakrau, jotta nuo on suuret herrat aivan hulluja, kun kaikkie loruja usotah. Ta ajatellah, jotta ei ole tähä suate heposet hopieta sittun, vain Matilla sitä tuli. Rouvat sanotah ukkojah aivan hulluksi, kun usotah kaikkie loruja. Herrat piätettih, jotta pitäy tänä päivänä tappua Matti, kerran, piru, noin rumasti petti.

No Matti kun nousi huomeneksella, nin sanou akallah, jotta «vierahie tulou tänä päivänä».

— Ka mitä piruo tullou, ka jouvut kurjah tilah, — sanou akka Matilla.

No Matti sanou akallah:

— Eläpä huoli, kyllä niitä keinoja riittäy, kun vain panet puita kiukuah, jotta se komiešti lämpiey.

No Matti pani kenkät jalkah ta mäni liäväh, ta otti puan ta vei hankella ta upotti sen keittämistä varte. Sitten hiän pani kiukuah kive usiemman ta sano, jotta «eipä mukavampua konstie, jotta suan puan kiehumah». Matti kuin sai kivet kuumaksi, niin vei kivet patah ta mäni pirttih ta rupei lintakuppeieh särpämäh, tai pata pihalla rupesi kiehumah. Herrat justih tullah pihalla ta nähäh, kuin Matilla vesi hankešsa olovassa puassa kiehuu, ta ihmetelläh pitkä aika. Herrat mäni pirttih ta sanottih, jotta «päivyä Matilla».

— Päivyä, päivyä, — vastasi Matti.

— Mi siula on tuošsa ikkunan alla, kun kiehuu?

— Ka eikö herrat ole nähty ennen — vet se on kiehuva lähte.

— No eiköhän sitä sais linnah? — kysytäh herrat.

— Ka ei se ole kuin pata. Illalla kuin täytät, niin huomeneksella se rupieu kiehumah.

— No onkohan se totta? — sanotah herrat.

— Ka siitä niättä omilla silmillänä, kun ollou valehta.

— No eiköhän Matti myö meilä tuota, jotta saisimma linnah? Myö annamma kolmesatua.

Herrat ruttoh hyvällä mielellä vejettih lompšah esillä ta luvettih rahat Matilla käteh puasta ta paistih, jotta nyt se vasta tulolähte tulou meilä. Laiska Matti kun sai rahat, nin mäni hyvin kepieh ta nošti herroilla rekeh puun. Matti kun mäni pirttih ta rupei nakramah:

— Tulou sitä, akka, rahua, kun herran hulluja vain ošuu pettyä hyväsesti.

Akka sanou:

— Kakolan linna siun viimeksi periy.

No Matti sanou:

— Ei ole miula hätyä, kuin vain ei siula olle.

Herrat kun mäni linnah, nin nakrettih, jotta nyt sitä sai Matilta helpolla hyvän vessan. Rouvat kysytäh:

— Min työ saitta?

— Ka tuon puun, ta kun illalla panemma vettä ta viemmä hanckella, nin huomeneksella se jo kiehuu, ta sitä siitä kaikki linnan ihmiset ihmetelläh.

No herrat ensin vähän ryypättih ta siitä ruvettih patua panomah hankeh ta vielä i vettä kantamah. Rouvat sanotah:

— Joko työ, herrat, oletta tullun huimaksi, jotta konša teilä vesi kiehuu kylmässä hankešša ta kylmässä puassa?

Herrat kun suatih valmeheksi, nin ruvettih lippuja luatimah, jotta kun kaupunkista tulou ihmisie, nin pitäy vet näyttyä vessua ihmisillä. Hyö luajittih lippuja monenlaisie. Pojilla oli kaikkein kallehemmat ta lapsilla helpoimmat. No niinhän herrat kun suatih liput valmeheksi, nin luajittih ilmotukset joka paikkah, jotta kaikki tiijettäis tulla kaccomah, ta vielä i vahti pantih, jotta ei ni ken veis. Ta sinä yönä tuli kolmenkymmenen astehen pakkani, ta pata kylmi umpijiäksi ta halkesi kolmeksi kappaleheksi, tai siihe mäni koko lähte herroilta. Ta huomeneš kun tuli, nin kansa keräyty, kuin musta pilvi, ta herrat mäntih peittoh, jotta ei vain ihmiset heitä nähtäis. Vahti siinä seisuo törrötti, ta ihmiset nakrettih herrojen hulluutta ta sanottih:

— Mäne sie pois ta elä ole niin hullu, kuin nuo herras ollah, koko mies.

Herrat tästä kiukustah piätettih, jotta nyt Matilla ei ole kuin viijen minuutin aika elyä ta lähettih Mattie tappamah. No Matti tuas huomeneksella kun nousou, nin sanou akallah, jotta «vierahie tulou, vain ei ole hätyä, sillä hyvie unija näin». Vain akka sano:

— Viimeset päivät, Matti, vietät kivimuurien siämessä.

Ka Matti sanou:

— Ei ole hätyä, akka, kyllä vielä selviemmä.

— Tiijätähän sie, ukkoseni, — sanou akka, — kun čuarie ta herroja petät, nin niijen kera ei ole leikki.

Matti vastasi, jotta «ei se herroilla ole työmiehien veri imetävä ta suatettais hyöki elyä kuin muutki». Matti mäni liäväh ta leikkai pokolta kurkun poikki ta valutti veren astieh. Ta otti pokolta kusikukkaron ta täytti sen sillä verellä. Tulou sen kera pirttih ta šanou, jotta «rupie nyt, akka, auttamah». Niin nyt akka pani värcin oikieh kainaloh, ta Matti rupei ruoskua luatimah tai šai valmeheksi. Matti šanou:

— Nyt se on tuas kaikki valmista, vain rupiemma, akka, päivällisellä, — ta alko šärpyä lintua.

A šilloin ne herrat tultih pirttih ta šanottih, jotta «päivyä Mattilla, ta šiuła ei ole kuin viisi minuuttie elämisen aikua». No Matti šanou:

— Mikä šiinä, kertahan kuolla pitäy.

Akka šilloin rupieu itkömäh ta šanou:

— Enkö mie šiuła ole šanon, kun olet tätä ruatan.

Šilloin Matti šanou:

— Voi perkeleh, kun vielä pitäy viimeni kerta noista akoista laskie kiukkuni veri pois.

Ta löi akkuah veicellä oikieh kainaloh, ta akka lenti selälläh. Herrat šanotah:

— Voi, perkelehen Matti, akkas tapoit!

— Ka en mie tappan, kun lašin sen kiukkusen veren, sillä akoilla sitä aina riittäy miehie vastah. Kyllä miula on šemmoni ruoska, jotta kyllä se virkuou, kun vain lyyvä rapsuau muutaman kertua.

Matti otti ruošan ta šano, jotta «kačcuot, jotta akoista on paha veri lašettava», — tai löi kolme kertua, tai akka nousi ylähäksi. Herrat ruvettih kysymäh, jotta «ole hyvä, Matti, ta myö meilä tämä ruoska, sillä meilä on šemmoset akat, jotta niistä ei ole košana pahua verta lašettu, ta ne on niin pahavirkaset, kuin košana pahuot». Matti šanou:

— Kun kolmesätua tulou, nin voin myyvä, vain halvemmalla en mie anna.

— Ka tämä raha ei ole šuuri, — ta herrat annettih rahat Mattilla ta mäntih kotihis.

Niin herrat mäntih linnah, ta šuurin herra otti ruošan, ta toiset mäntih hepoistah viemäh ta vielä šanottih, jotta «šiitä myö otamma ruošan». Herra kuin aštu pirtin šiämeh, nin rouva šano:

— Min nyt olet hullutuksen löytän?

— Ka elä kiukuttele šiinä, kačo mie lašen šiusta pahan veren pois!

Herra otti veicen ta löi akkuah oikieh kainaloh, ta akka i kuoli. Herra otti ruošan ta löi kerran, löi toisen ta vielä i kolmannen, ka akka ei ni nouše. Ka toini herra juoksou, jotta «anna, velli, ruoska, en pärjyä akan kera mihinkänä», — ta otti ruttoh ruošan ta mäni pois. Heti rouva oli vaššašsa ta šanou, jotta «mitäpä nyt hullun vehkeitä kuletat?».

— Ka miekö hullu, ka mie siusta kiukkuveren panen vuotamah!

Ta löi akkuah veicellä, ta se i kuoli. Hiän ottau ruošan, lyöy, lyöy, a akka ei nouse. Heti kolmas herra tulla tupsahti ta sanou:

— Miula on akka kuin koira, ta anna ruttoh ruoska miula.

Sai ruošan ta mäni löi akkuah veicellä ta ruosalla, ka akka i kuoli kuin toisilta. Nyt hännellä i tuli itku silmäh ta juokšomah toisien luokse, a toiset tullah häntä vastah.

Nyt ei muuta Matilla, kuin pitäy viijä mereh ta upottua sinne. Niinpä herrat luajittih tynnyri ta huomeneksella pannah Matti tynnyrih ta viijäh omalla heposellah meren jiallä. No Matti vielä huomeneksella sanou akallah, jotta «vieraita tulou, vain ei ole hätyä—piäsen pois». Matti ei kerin minnenä, kun herrat tultih ta pantih Matti tynnyrih. Vain Matti sanou:

— Kuolomah mie jo jouvanki.

Herrat läksi ajua köröttämäh ta ajettih viisi kilometrie meren jiallä, vain purahat ta lapiet jäitih kotih. Nyt hyö jätettih tynnyri jiallä ta lähettih niitä käymäh. Vielä sanottih:

— Anna sie jähmetyt vähäsen ennein järveh joutumistaš.

No Matti nyt ajattelou, jotta mi keino nyt auttau, no kuminki tuumi, jotta on niitä hulluja, jotka vielä uskou jumalah, ta rupei veisuamah. Sielä oli yksi pojari, mi ajoi poroilla ta oli hyvin vanha, ta hiän kuoli sen veisun. Se alko ajatella, jotta «mi ihme tuola on, kuin veisuau? Ka mie lähen kaccomah». Hiän mänöy. Matti kuin kuoli, nin sanou:

— Mäne pois, sillä mie mänen taivahah.

Pojari sanou:

— Ole hyvä ta piässä milma mänömäh, sillä miula on jo kuusikymmentä vuotta icyä ta olen pojari.

— No miula on nelläkymmentä,— vastuau Matti.

— No piässä, veikkon, suat porot tai kaikki.

— No avua tynnyri ta tule ice tänne.

Matti kun piäsi pois, nin sano:

— Elä nyt virka mitänä, sillä samalla rukouksella sieki piäset taivahah.

Ta niin Matti pani tynnyrin umpeh ta mäni porojen luokse.

Herrat tultih ta pantih tynnyri mereh ta nakrettih, jotta «kyllä nyt Matin kurja kuoli». Otettih vielä ryyppyjä. Hyö mäntih Matin pirtin kautta ta nähäh, kuin Matti sitou poroja kiini puuhu. Herrat paissah välissä, jotta «Matti on». Mänäh lässä, ka Matti še on.

— Ka terveh, Matti! Ka mistä sie olet tänne tullun?

— Ka voi veikkosen, kun oisija pannun vähän syvemällä, oisin äijemmän poroja suanun, a kun paniija matallalla, nin vähäsen šain.

— No eiköhän Matti veis meitä huomena suamah poroja?

— Ka voi viijä, no pitäy luatie suuri tynnyri, jotta sovitta kaikki yhteh, ta mie vielä vien syvemällä.

Herrat mäntih linnah ta juuvah, jotta huomena hyö suahah suuri porolauma. Matti huomeneksella nousou ta sanou:

— Nyt ne vierahat kyllä viimeni kerta tullah.

Akka sanou:

— Kyllä siut poroksi poltetah.

Ka Matti ei muuta kuin rupesi päivällisellä, ta justih tultih herrat ta tahotah Mattie viemäh heita mereh, jotta hyöki suahah poroja. Matti sanou:

— Kyllä mie tiät vien sinne, jos usotta.

— Ka mintäh myö emmä uso, kun vet omilla silmillänä näkimä.

— Ka astuot tynnyrih silloin!

Herrat ruvettih tynnyrih, ta Matti pani sen kiini. Matti vei herrat laulun kera avannon luo, mih häntä meinattih panna. Ta Matti otti riiton avannošta ta työnsi tynnyrin avantoh ta sano:

— Näin mie piäsen pojareista tai herroista erilläh!

Matti tulou kotih ta sanou akallah, jotta «kerran piäsimä näistä erilläh, nin nyt mie rupien työtä ruatamah ta hyvin elämäh». Niin Matti vielä nytki eläy koissah tervehenä akkah kera.

## 68. СКАЗКА ПРО ЛЕНИВОГО МУЖИКА

Был когда-то ленивый Матти, и было у него две коровы. Ну, жена ругается, что он не работает.

— Не торопись, жена, я еще поработаю.

Жена кормила Матти тем, что выручала от коров. Матти замечает, что у жены набралось несколько десятков рублей. Матти и говорит жене, что «дай мне сорок пять рублей денег, я куплю лошадь и поеду на заработки».

— Ты, чертов лентяй, — говорит, — никакой лошади покупать не пойдешь, только деньги у меня выманишь, — говорит жена своему Матти.

— Не думай — я пойду да еще и заработаю.

Ну, дает жена денег и думает: «Пусть чертяка, уходит, чтобы не надо было кормить».

Матти, когда получил сорок рублей денег, то нахлобучил шапку и пошел покупать лошадь. Матти как вышел на дорогу, то навстречу ему ехал мужик на очень ленивой лошади, которую задумал продать. Матти спрашивает, не продает ли мужик лошадь.

— Да-а, уже два месяца продаю, но никто не покупает.

— Что стоит лошадь? — спросил Матти.

— Да сорок рублей. Но она такая ленивая, что на ней никуда не уедешь.

— Ну, тогда уж хозяина своего не оставит, — думает Матти.

Матти дал сорок рублей и поехал трусить домой. Матти свернул на дорогу к дому, и жена видит, что купил-таки, негодный, лошадь. Когда Матти приехал во двор, то жена вышла навстречу и говорит:

— Смотри-ка, нашелся же на свете второй такой ленивый, как Матти [про коня].

Матти ответил:

— Такая она и должна быть лошадь, чтобы хозяина своего не оставляла.

Матти поставил лошадь в конюшню, дал сена и сам пошел в избу. Потом Матти сшил маленький мешочек и пришил завязочки. Получилось вроде маленького кисета. Матти, когда сшил мешочек, то примерил его под хвост лошади, что впору ли. Матти вернулся в избу и проспал всю ночь спокойно.

Утром как встал, так попросил у жены двадцать рублей серебром, чтобы завести дело.

— Уж ты, чертов лентяй, никуда не пойдешь, — отвечает жена, — только съешь у меня все деньги.

Дала жена деньги и сказала:

— Проваливай — сделаешь меня такой же нищей, как сам.

— Не тужи, жена, будут деньги, как только я начну зарабатывать.

В эту самую деревню приходят три господина, которым нужна была подвода. Они прослышали, что у бедного Матти есть лошадь, и надо, чтобы Матти их сvez. И так они идут к Матти и здороваются с ним.

— Добрый день, добрый день, господа.

— Не повезет ли Матти нас? — говорят господа.

— Повезу, только у меня лошадь ленивая, как и я сам.

— А сможет ли эта лошадь нас всех везти? — говорят господа.

— Может везти хоть эту мою избенку, — говорит Матти.

Так Матти запряг лошадь да при этом подвесил под хвост мешочек с двадцатью рублями серебра. Господа не заметили, и Матти велел господам сесть в сани и поехал. Господа говорят:

— Ну и ленивая же у Матти лошадь, только такая она и должна быть, чтобы хозяина не оставила.

Господа говорят:

— Нельзя ли немножко показать плетку, чтобы она побыстрее шагала?

Матти хлестнул три раза лошадь, и лошадь н. . . . . Матти соскочил с саней и стал рукояткой плетки ковырять в куче. Господа спрашивают:

— Что же Матти сейчас делает?

— Надо же двум ленивым иметь доход.

Ну, господа слезли с саней и видят, что лошадь н. . . . . серебряных рублей.

— Что за черт! Она у тебя серебро с. . . ?

— Так своими же глазами видели.

— Не продаст ли Матти нам эту лошадь?

— Так чем же я, сам лентяй, проживу, если другого лентяя продам?

Господа думают и прикидывают, что она им за одну ночь н. . . . . сотни рублей, «если только хорошо будем кормить». У Матти спрашивают, что «сколько тебе заплатить за эту лошадь?».

— Ну, триста рублей мне надо бы выручить. На это я, верно, сколько-то времени проживу.

Что ж, господа дали Матти триста рублей и поехали домой с песней — ведь они теперь совсем разбогатеют, раз такую лошадь достали.

Господа решили, что «ты держи ночь, я — вторую, а ты — третью, чтобы получили поровну денег». Так они приехали в город да поставили лошадь в конюшню да еще сукно постелили под ноги, чтобы на него н. . . . . деньги. Утром пошли посмотреть, так ни одной копейки не н. . . . . Господа думают, что неужели Матти обманул их. Теперь другой господин говорит:

— Дай мне, я не буду много кормить — наверняка получим результаты.

Ну, увели лошадь и разостлали сукно под ноги и на другую ночь. А утром пошли посмотреть — не было ни одной копейки. «Вот сатана Матти, обманул все же нас!». Третий господин говорит:

— Я не поверю, чтоб лошадь не приносила деньги, раз Матти добился при таком плохом уходе, а мы так хорошо кормили, но все ничего нет. Дайте-ка мне лошадь на третью ночь — тогда уж чудеса [если ничего не получится].

На третье утро как пошли посмотреть, так не было там ничего, кроме большой кучи г. . . . . Госпожа смеется, что эти большие господа прямо сумасшедшие, всяким басням верят. Господа решили, что надо сегодня убить Матти, раз, черт, так некрасиво обманул.

Ну, Матти как только встал утром, то сказал жене, что «сегодня будут гости».

— Каких бы чертей ни занесло, а быть тебе в жалком положении, — говорит жена Матти.

А Матти говорит жене:

— Будь спокойна, хватит способов, только подложи дров в печь, чтобы пламя поыхало.

Ну, Матти обулся, пошел в хлев да взял котел и вынес на снег и поставил его в снег. Потом он положил в печь несколько камней и сказал, что «лучше не придумаешь, чтобы котел закипел». Камни когда накалились, Матти унес их в котел и вернулся в избу да начал хлебать из своей чашки линду, а котел на дворе закипел. Как раз господа заходят во двор и видят, как у Матти вода кипит в котле на снегу, и долго удивляются. Господа зашли в избу и сказали, что «добрый день, Матти».

— Добрый день, добрый день, — ответил Матти.

— Что у тебя там под окном кипит?

— Так разве господа никогда не видали — ведь это кипящий ключ.

— Нельзя ли его перенести в город? — спрашивают господа.

— Это всего только котел. Его с вечера как наполнишь водой, то утром будет кипеть.

— Но правду ли ты говоришь? — говорят господа.

— Так видите же своими глазами, если неправда.

— Может, Матти продаст нам это, чтобы перевезти в город?

Мы дадим триста рублей.

Господа живо, предовольные, вытащили свои бумажники и отсчитали деньги Матти в руку за котел да говорили между собой, что «вот у нас какой ключ теперь будет». Матти-лентяй как только получил деньги, то пошел и проворно поднял котел в сани господам. Матти вернулся в избу и начал смеяться:

— Деньги будут, жена, умей только дураков-господ хорошенько обманывать.

Жена говорит:

— Тюрьма тебя в конце концов ждет.

А Матти говорит:

— Не волнуйся, со мной ничего не случится, если только с тобой не случится.

Господа как приехали в город, так смеются, что удалось же достать у Матти задешево хорошую вещь. Барыни спрашивают:

— Что вы достали?

— А вот этот котел как нальем с вечера полный воды и вынесем на снег, так утром уже будет кипеть, и все люди в городе будут удивляться.

Ну, господа сперва немного выпили да начали потом пристраивать котел в снегу и воду носить.

Барыни говорят:

— Что ж вы, господа, совсем с ума сошли — когда же это вода кипела в снегу и в холодном котле?

Господа все приготовили и начали билеты готовить, когда, мол, из города придут люди, то надо ведь людям показать эту вещь. Они наделали разных билетов. Для парней самые дорогие и для детей — самые дешевые.

Ну, как приготовили господа билеты, так развесили объявления повсюду, чтобы все пришли посмотреть, да еще и сторожа приставили, чтоб никто не унес [котел]. А в эту ночь был тридцатиградусный мороз, и вода в котле вся замерзла, и котел раскололся на три части, и не стало у господ никакого кипящего ключа. И когда наступило утро, народу собралось, как черная туча, а господа побежали прятаться, чтобы только люди их не видели. Сторож остался стоять как столб, и люди смеялись над глупостью господ и говорили:



— Уходи ты восвояси, не будь таким дураком, как эти твои господа.

Господа, обозлившись, решили, что теперь для Матти осталось жить не больше как пять минут, и пошли убивать Матти. А Матти как утром встает, то опять говорит жене, что гости будут, но все обойдется, потому что хорошие, мол, сны снились. Только жена говорит:

— Доживешь, Матти, свои последние дни за каменными стенами.

А Матти говорит:

— Не горюй, жена, выпутаемся еще.

— Ты же знаешь, муженек, — говорит жена, — как царя да господ обманывать — с ними шутки плохи.

Матти ответил, что нечего господам кровь рабочих людей сосать, могли бы они жить, как и другие.

Матти пошел в хлев, перерезал горло барану и выпустил кровь в посудину. Да вынул у барана мочевого пузыря и наполнил его той кровью. Приходит с этим в избу и говорит:

— Помоги-ка, жена, мне теперь.

— Не миновать тебе в конце концов тюрьмы!

И так жена положила пузырь под правую мышку, а Матти стал плетку делать и приготовил ее. Матти говорит:

— Теперь опять все готово, давай, жена, обедать, — и стал хлебать линду.

А тогда эти господа зашли в избу и поздоровались с Матти:

— Тебе осталось жить только пять минут.

Ну, Матти говорит:

— Что ж, когда-нибудь все равно придется умереть.

Тут жена начинает плакать да говорит:

— Разве я тебе не говорила, что быть беде за твои проделки!

Тогда Матти говорит:

— Вот дьявол, придется еще последний раз у жены дурную кровь пустить, — и ударил жену ножом под правую мышку, и жена полетела навзничь.

Господа говорят:

— У, чертов Матти, жену свою убил!

— Да не убил я, а лишь дурную кровь выпустил, потому что ее у баб всегда хватает [с избытком] против мужчин. Есть у меня такая плетка, что оживит ее, лишь только несколько раз стегнуть.

Матти взял плетку и сказал:

— Смотрите, как у баб дурную кровь пускают, — и ударил три раза плеткой, и жена поднялась на ноги.

Господа стали просить, что «будь добр, Матти, продай нам эту плетку, потому что у нас такие жены, что у них никогда не пускали дурную кровь, и такие они вредные, как настоящие дьяволы». Матти говорит:

— Если триста дадите, то могу продать, только дешёвая и не отдам.

Ну, эти деньги невелики, и господа дали Матти деньги и поехали домой. Так приехали господа в город, и самый большой господин взял плетку, а другие погнажи своих лошадей домой да ещё сказали, что «потом мы возьмем плетку». Господин когда зашёл в избу, то госпожа сказала:

— Какую теперь глупость нашёл?

— Не смейся, не смейся ты, а то смотри, я выпущу из тебя дурную кровь!

Господин взял нож да ударил жену под правую мышку, а жена и умерла. Господин взял плетку, ударил раз, ударил два да ещё в третий раз, а жена и не встает. Тут второй господин прибегает, что «дай, брат, плетку, никак не могу справиться с женой» — и взяла скорей плетку да ушел. Барыня тут как тут, выхвдит ему на встречу и говорит, что «какие дурацкие штуки ты теперь тащишь?».

— Это я-то дурак? Так я из тебя дурную кровь выпущу!

И ударил жену ножом, да жена и умерла. Он берет плетку, бьет, бьет — а жена и не встает. Тут же третий господин ворвался и говорит:

— У меня жена, как собака, дай скорей плетку мне!

Взял плетку и пошел, ударил жену ножом да плеткой, а жена и умерла, как у других. Тут он слезу пустил и побежал к другим, а другие идут ему навстречу.

Теперь Матти один конец — ни море и утоить! И так господа сделали бочку и утром кладут Матти в бочку и на его же лошади везут на морской лед. Матти еще утром говорит жене, что «будут гости, но не беда — выкручусь». Но Матти не успел никуда, как господа приехали да положили Матти в бочку. Матти только и сказал:

— А мне и так уже пора умирать.

Господа едут, трусят и уже проехали пять километров по морскому льду, а пшши да лопаты дома остались. Ну, они оставили бочку на льду и пошли за ними. Еще сказали:

— Пусть-ка окоченеет хорошенько, перед тем как в озеро угодит.

А Матти думает: «Что теперь придумать?». Но все же решил, что есть еще такие дураки, которые в бога верят, и начал псалмы петь. Был там один боярин, который ехал на оленях да был очень старый, и он-то и услышал это пение: «Что за чудо, — думает он, — кто это поет? Пойду-ка я посмотрю». Он подходит. Матти как услышал, так и говорит:

— Отойди, потому что я иду на небо!

Боярин говорит:

— Будь добр,пусти меня, потому что мне уже шестьдесят лет и я боярин.

- А мне сорок, — отвечает Матти.
- Ну пусть, братец, получишь оленей и все.
- Ладно, открой бочку да лезь сюда.

Матти когда вышел, то говорит:

— Теперь ты молчи, моими молитвами и ты попадешь на небо.  
И так Матти закрыл бочку и пошел к оленям.

Пришли господа и бросили бочку в море и посмеялись, что «ну, теперь бедняга Матти помер». Еще и выпили немного. Они ехали мимо избы Матти и видят, как Матти привязывает оленей к дереву. Господа между собой говорят: «Это же Матти!». Подходят поближе — в самом деле Матти.

— Здравствуй, Матти! Но как же ты сюда попал?

— Ой, братцы, если бы вы бросили меня поглубже, я получил бы больше оленей, а бросили, где мелко, так мало досталось.

— Не поможет ли Матти завтра и нам достать оленей?

— Что ж, можно, только надо сделать большую бочку, чтобы всех положить вместе, и я увезу вас подальше, где глубже.

Господа уехали в город и пьянствуют: завтра они достанут большое стадо оленей. Матти утром встает и говорит:

— Теперь эти гости последний раз придут.

Жена говорит:

— Еще тебя в пепел превратят.

А Матти, как ни в чем не бывало, сел обедать, и как раз пришли господа, зовут Матти везти их в море, чтоб и они достали оленей. Матти говорит:

— Я вас увезу, если верите мне.

— Почему бы нам не верить, когда своими ведь глазами видели.

— Тогда шагайте в бочку!

Господа залезли в бочку, и Матти закрыл ее. Матти с песней увез господ к проруби, куда его думали бросить. Матти разбил ледок на проруби и толкнул бочку в прорубь да сказал:

— Так я отвязусь от бояр и господ!

Матти пришел домой и говорит жене, что «раз отделались от этих [господ], то теперь я буду работать да хорошо жить». Так Матти еще и сейчас живет и здоровствует в своем доме с женой.

## 69. PLUUTTA MUŽIKKA

Oli ennenin žemmon'e pluutta mužikka. Mäni kolme velleštä halguo leikkuamah. Hiän heilä šanou:

— Miksi työ stolovoissa joga kerran d'engat makšatta, kun šyöttä?

— A kuinba?—šanotah toizet.

— A miula tämä šliäppä makšau: šillä kun huiskuan — dai makšettu.

Ga toizet ihmetelläh:

— Kuin že voit kaikešta ruuvašta makšua?

— Tulgua vain huomena restoranah, nin niättä.

Dai tuldih toizet kučuttuh aigah. Hiän jo ieldäpäin oli kaikki d'engat makšan da kai zakazainut. Čekit vain ottua. Hiän tuli, šöi, joi. A toizet kačotah.

— Tuošta hiän nyt monda šadua makšau, tuommozen veron šyöy.

A hiän nouzi stolašta, šliäpällä heilahutti.

— Izändä, šel'vätgö ollah?

— Kai on makšettu, — šanou izändä.

A toizet hänellä jälgeh.

— Myö šie meilä že šliäppä.

— Ga voin mie, — šanou, — myyvä. Annatta viizikymmendä rubl'ua mieheštä. Že tulou šadaviizikymmendä rubl'ua kolmešta.

D'engazet kovottih, ošettih šliäppä. Yksi šliäpän piäh pani.

— Davai lähemmä restoranah, nyt makšua ei pie.

Mändih restoranah, tilattih viinaš da muut herkut. Juuvah, šyväh, midä vain on kallehembua. Šyödih noin kolmeš šadah rubl'ah. Šliäppäpiä zakazivaičcou. Ruvettih lähtömäh. Tiluja heilahutti lakillah:

— Izändä, šel'vät olemma?

— Ga mitein že šel'vät, enzin rahat makšakkua.

Heilahutti toizen kerran:

— Olemmago šel'vät?

— Ei, ei, makša rahat!

Da rahat pidi makšua. Mändih pihalla. Yksi šanou:

— Šie pahoin lippazit. Hiän vet' lippazi toizin puolin.

Toine šanou:

— Huomena mie šliäpän otan. Pidäy tilata niidä ruogie, midä hiän tilazi.

Dai mändih toissapiänä restoranah. Zakazivaijah šidä, midä mieš oli zakazivainun. Šyödih, juodih. Lähettih da lipahutettih šliäpällä:

— Izändä, olemma šel'vät?

— Ga kun rahat makšatta, nin šiidä.

Tuaš hiän pidi že makšua. Paissah:

— Valehteli. Lähemmä tapamma hänen.

A mies smekaičči, jotta d'engoja voijah tulla periämäh. Huomeneksella perti lämmitessä da lihakeiton kiehuos'ga huomuu jotta tullah miehet. Hiän čugunnikan kiuguašta tavotti da vei žen pordahilla. Ne kun tuldih, hiän šanou:

— Ladno, kypšet jo ollah lihat, vierahilla justih.

Kučču miehet šyömäh. Šyväh šiinä. Miehet kyžytäh:

— Kuin siula čugunnikka ilman tuletta kiehuu?  
— Ga kiehuu ze, hangella hos pane, kun vain keittämistä siä meššä on.

— Ga myö meilä. Äijängo otat?

— En äijyä, kakšikymmendä viizi rubl'ua kaikkieh.

Ošsettih čugunnikan, lähettih meččäh. Mändih, leikatah halguo. Tulii murgina-aiga. Yksi mäni, pani lihat, vejen da jauhot kattilah da läksi leikkuamah. Toizet vähäzen aijan piäštä käsetäh kaččomah: kun ollou kiehun da kuču. Kaččou, tulou da šanou:

— Ei kiehu, riide on jo piällä.

Leikattih vielä halguo, läksi toini kaččomah. Ga i jäššä on kogonah. Tuaš valehteli — duumajah. Čugunnikka on jäššä, jotta kirvehellä ei šua veštyä. Valehteli durakka! Da muretettih čugunnikka.

— Lähemmä kehnon tapamma!

Tullah, ga hiän sarajalla regie luadiu. A toizet ei ole ni nähty ennein kogo regie.

— Miksi šie tädä luajit?

— Ga luajin ičelläni hebozekši. Kunne lähen, nin ei tarviče kävellä.

— Kuinhän ilman hebozetta kävelöy?

— Ga kaččokkua, paikalla lähen.

Hiän istuu sankkah — da sarajapordahie myöt'en alahakši. Termän alla karjuu: tpruu, tpruu, a čuna ičeštäh piettyy.

— Etgö šie myö meilä tädä korjua, kun meilä on loitoš meččäh kävelendä?

— Tämän mie hos teilä möizin, ni tädä työ että maha upravlajja.

— Ga etgö šie meidä juohata?

— Ga juohattazin, vain rahvahan aigana ei šua juohattua: ei lähe matkah. Tiän pidäy vediä meččäh šuate. Mänettä korgiella goralla, lähettä šiidä. Moužet rubieu kuundelomah.

Hyö makšettih viizikymmendä rubl'ua da lähettih vedämäh. Vejetäh ylen korgien goran piällä, missä hiän halgopinot alahana oli.

— Ga täštä myödämägeh kuottelemma.

Alahana on mutka, missä hyö halguo leikattih. Regi läksi juokšomah. Da ravič juokšou. Yksi šanou:

— Pidäy piettyä.

— Ka midä pietämmä? Kergiey lähembänä halgopino.

A hyö kun goran alla piäštih, da mutkašta halgopinoja kohti. Yksi šanou:

— Pietä!

— Anna mänöy halgopinoih kiini, iče piettyy, — šanou toin'e.

Čuna kun halgopinoh mäčähti: šebä poikki, iče pitäkšeh. Nouštih. Yksi sanou:

— Valehteli, kehno!

— Ei, — šanou toin'e — Myö emmä' kyzyn, mitein rukovodie kattilua da šuarkua. Emmäkä täädä mahtan rukovodie.

Da mieš jäi puhtahakši. A hyö mändih meččäh halguo kuadamah.

## 69. ПЛУТОВАТЫЙ МУЖИК

Был раньше такой плутоватый мужик. Пошли три брата дрова рубить. Он им говорит:

— Почему вы в столовой каждый раз деньги платите, когда едите?

— А как же? — говорят те.

— А у меня вта шляпа платит: ею как махну — все уплачено.

А те удивляются:

— А как же она [шляпа] может за все заплатить?

— А приходите завтра в ресторан, так увидите.

И пришли те в назначенное время. Он уже заранее за все заплатил деньги и заказал все. Только чеки взять. Он пришел, поел, попил. А те смотрят.

— За это ему придется несколько сотен заплатить, такой обед ест.

А он встал из-за стола, шляпой махнул.

— В расчете, хозяин?

— Все уплачено, — говорит хозяин.

А те за ним следом.

— Продай ты нам эту шляпу.

— Что ж, могу, — говорит, — продать. Дадите по пятьдесят рублей с брата. Это выходит сто пятьдесят рублей с троих.

Денежки собрали, купили шляпу. Один надел шляпу на голову.

— Давай пойдем в ресторан, теперь платить не надо.

Пришли в ресторан, заказали вина и разные лакомства. Пьют, едят, что только подороже. Съели так рублей на триста. Тот, который в шляпе, заказывает. Собрались уходить. Тот, кто заказывал, махнул шляпой.

— Хозяин, в расчете?

— Как же в расчете, сперва деньги заплатите.

Махнул второй раз:

— В расчете ли?

— Нет, нет, плати деньги!

И пришлось заплатить деньги. Вышли на улицу. Один говорит:

— Ты плохо махал. Он ведь другим краем махал.

Второй говорит:

— Завтра я шляпу возьму. Надо заказывать те же блюда, что он заказывал.

Да и пошли на второй день в ресторан. Заказывают то, что тот мужчина заказывал. Поели, попили. Собрались уходить и махнули шляпой.

— Хозяин, мы в расчете?

— А когда деньги заплатите, то тогда [в расчете].

Опять им пришлось за все заплатить. Говорят между собой:

— Обманул. Пойдем убьем его.

А мужик смекнул, что могут прийти за своими деньгами. Утром, когда печь топилась и мясной суп варился, замечает он, что идут мужики. Он чугунок из печки вытащил и вынес на крыльцо. Когда те пришли, он говорит:

— Ладно, готово уже мясо, как раз для гостей.

Позвал мужиков есть. Едят тут. Мужики спрашивают:

— Как у тебя чугунок без огня кипит?

— Как же, кипит! Хоть на снег ставь, было бы что варить.

— Продай ты нам. Сколько возьмешь?

— Не много, всего двадцать пять рублей.

Купили чугунок, пошли в лес. Пришли, рубят дрова. Настало время обедать. Один пошел, положил в чугунок мясо и муку, налил воды и пошел рубить. Другие через некоторое время ведут посмотреть, не закипел ли суп. Посмотрел, приходит и говорит:

— Не кипит, уже ледком покрылся.

Порубили еще дров, пошел другой смотреть. А уже совсем замерз [чугунок]. Опять обманул — думают. В чугуночке лед, так что топором не отколоти. Наврал дурак! И раскололи они чугунок.

— Пойдем убьем черта!

Приходят, а он на сарае сани делает. А те раньше никогда даже не видали саней.

— Для чего ты это делаешь?

— Вот делаю себе вместо лошади. Как пойду куда-нибудь, не надо пешком идти.

— А как же это без лошади идет?

— Так посмотрите, сейчас отправлюсь.

Он садится в сани — и вниз, по взвозу сарая. Внизу кричит «тпру-тпру», — а сани сами и останавливаются.

— Не продашь ли нам эти сани, потому что нам далеко ходить в лес?

— Я хоть вам и продал бы, но вы не умеете ими управлять.

— А ты нас не научишь?

— Научил бы, но при людях нельзя показывать: сани не пойдут. Вам придется тащить до лесу. Подниметесь на высокую гору, потом поедете. Может быть, [сани] будут слушаться.

Они заплатили пятьдесят рублей и потащили. Втащили на очень высокую гору, под которой были их поленицы дров.

— Вот отсюда с горы попытаемся.

Внизу поворот, где они дрова рубили. Сани покатались, быстро идут. Один говорит:

— Надо остановить.

— А зачем останавливать? Успеем поближе, у самых полениц.

Покатились они под гору, из-за поворота прямо на поленницы.  
Один говорит:

— Останови!

— Пусть дойдут вплотную к поленницам, сами остановятся, — говорит другой.

Сани как жмякнутся в поленницу: передок пополам, сами [братья] навзничь. Поднялись. Один говорит:

— Обманул черт!

— Нет, — говорит другой. — Мы не спросили, как управлять котлом и шапкой. И этими тоже не смогли управлять.

И мужик остался чистым [не виноватым]. А они [братья] пошам в лес деревья валить.

## 70. UKON TA AKAN STARINA

Heilä oli poika, yksi. Ei ruven še poika tottelemah, ei ruven ruutamah ni mitä. No, hyö siitä keskußsellah, jotta „mitä myö rupiemma ruutamah tämän pojan kera, miksi myö rupiemma häntä opaštamah?“.

— Rupiemma kauppiehekše opaštamah, — ukko ta akka šanotah, — eikö šiih totu.

Annettih lehmä ta koira kaupaksi hänellä, työnnettih kylällä. Hintua pantih kolmekymmentä rupl'ua lehmällä ta kolme rupl'ua koiralla. Šiitä poika läksi, mäni erähäh taloh, šanou:

— Oššattako lehmän ta koiran?

Šiitä hiän hinnalla erehty, šano lehmällä kolme rupl'ua — siitä ruttoh oššettih. Šiitä koirua hiän kaupioči kolmešta kymmenešta rupl'asta koko päivän eikä šuattan kaupaksi, vei kotih. Ukko ta akka siitä pahašuttih, kun lehmä mäni kolmešta rupl'asta. Ukko läksi siitä lehmyä tiijuštelemah, jotta minne hiän on myöt. Šatuki šiih taloh, mäni taloh, šano:

— Terveh tänne, tervehyisie taivahašta.

— Konša šie olet šielä käynyt? — akka kyšyy.

— Ka mie käyn šielä joka päivä, — ukko šanou.

— No niätkö šie šielä miun lapšie? Miun lapšie on šielä nellä pienenä kuollehie, ne on taivahašša.

— Niän, joka päivä niän mie.

— Mityšpä on heilä šielä olla? — šanou akka. — Onko heilä šielä šyömistä?

— Hyvä heilä on olla šielä, ta šyömistä on, ka maituo on ikävä heilä.

Akka šanou, jotta „etkö šie ottais maituo viijä?“.

— Ei voi ottua, mutkikaš on matka, maito pilautuu. Vain kun lehmän antanet, nin še mänöy, tänäpiän on šielä jo.



— Ka puitt' en amma, — sanou, — kun eklein vasta oštima lehmän, toini jäy ičellänä.

— Ukko šanou, jotta „še kyllä mänöy, tänäpäinä on šielä lehmä“.

No, akka antau lehmän, ukko lähtöy lehmiä vetämäh hyvin poikoseh, jotta kerkies männä — še talon ukko ei ollun koissa.

No šiitä ukko kun lehmiä vetäy, šiitä kaččou: toini ukko jo tulou jälkeh, še oštaja. Hiän lehmän vetäy meččäh, iče noušou šuurella kivellä tiepuoleh. No ukko tulou jälkeh, sanou:

— Etkö ole nähnyt lehmiä tässä vetämässä?

— Näin, — šanou, — veti tällä kivellä ta taivahah läksi mänömäh, nin vain häntä lehmältä punoutu.

Šiitä läksi ukko jällelläh kotihis, še oštaja ukko, akalla šanou viemäh, jotta taivahah še oli männyt.

Ukko otti lehmän meččästä ta vei kotihis — ta liävähäš. Piäštih ukkō ta akka elämäh — ei tullut kauppiešta šiitä pojašta.

## 70. СКАЗКА ПРО СТАРИКА И СТАРУХУ

У них был один сын. Не стал этот сын слушаться, не стал ничего делать. Ну, они потом говорят между собой, что «что мы станем делать с этим сыном, чему мы станем его учить?».

— Станем учить его на купца, — старик да старуха говорят, — не привыкнет ли он к этому [делу].

Дали корову и собаку ему для продажи, послали в деревню. Цену назначили тридцать рублей за корову и три рубля за собаку. Потом парень пошел, пришел в один дом, говорит:

— Не купите ли корову либо собаку?

Тут он в цене ошибся, сказал за корову три рубля — тут живо купили. Потом собаку он продавал за тридцать рублей целый день и не смог продать, привел домой. Старик да старуха тут огорчились, так как корова ушла за три рубля. Потом старик пошел узнавать про корову, что куда он ее продал. И попал как раз в тот дом, зашел в избу, сказал:

— Здравствуйте, привет с неба.

— Когда ты туда ходил? — старуха спрашивает.

— А я туда каждый день хожу, — старик говорит.

— Видишь ли ты там моих детей? Моих детей там четверо, умерли маленькими, они на небе.

— Вижу, каждый день я вижу.

— Как им там живется? — говорит старуха. — Достаточно ли у них там еды?

— Хорошо им там живется, и еды достаточно, но по молоку они соскучились.

Старуха говорит, что «не возьмешь ли ты молока им передать?».

— Нельзя, путь извилист, молоко скиснет. Но если дашь корову, то ее доставлю, сегодня же будет там.

— Будто не дам, — говорит, — только вчера купили корову, другая останется.

Старик говорит, что «это можно, сегодня же будет корова там». Ну, старуха дает корову, старик пошел с коровой быстренько, чтобы успеть уйти — хозяйна не было дома. Ну, ведет старик корову, смотрит — другой старик уже идет следом, тот, который купил корову. Он корову увел в лес, сам стал на большой камень у дороги. Ну, старик догоняет, говорит:

— Не видел ли ты здесь человека с коровой?

— Видел, — говорит, — затащил корову на этот камень и отправился на небо, только хвост у коровы крутился.

Тут пошел старик обратно домой, тот старик-покупатель, к старухе с вестью, что на небо тот ушел.

Старик взял корову из лесу и увел домой и поставил в свой хлев. Зажили опять старик да старуха, не вышел купец из того сына.

## 71. HUPAKON STARINA

Oli ennen hupakko, semmonen vanhanpuoleni, ikämies. Hän paistoi kanan voissa. Ta toi pöyvällä, ta pani lautasen sen riehtilän piällä, jotta kun tulou oikein nälkä, silloin hän rupieui sitä syömäh. Ta iče läksi kaupunkilla kävelömäh, jotta nälkä tulis. A pani oven lukkuh, ta pani kiven alla avaimen, ovikorvah. No ta läksi kävelömäh hiän, tuli kaksi nuorta poikua hänellä vastah. Šanou še hupakko:

— Että vet' mäne, pojat, meilä, kun meilä on ovi lukussa. Miula on šielä, — šanou, — lihapaisti pöyvällä. Miula on, — šanou, — avain kiven alla, ovi on lukušša.

A pojat tuumi: „Läkkä myö kaččomah, mitä šielä hänellä on. No kiven alla on avain, hyö otettih ta mäntih pirttih. A hyö otettih ta šyötih še lihapaisti hyvin tarkkaseh, kaikki luut kavisseltih. Šiitä hyö šyötih, šiih mäni luuh hyvin šuuri kärpäni, hyö i painettih luota piällä. No ukko tuli kotihis, šanou:

— Eipähän ni käyty pojat tiällä!

Otti luuvvan — rosvo i puuttu — kärpäsen sai kiinni.

— Nyt šie puutuit, — šanou, otti koprahaš kärpäsen.

Otti šen kärpäsen ta läksi prokuroorih, kärpäni koprašša. Mäni prokuroorin luo, šanou:

— Mitä nyt ruamma rosvoilla, rosvon sain kiinni, lihapaistin šöi. Pojat ei liikutettu, avain oli kiven alla, a tämä luita kavisteli.

Prokuroori šiitä muhahtelou, jotta „mitä mie šanon tuommossella hupakolla“. No prokuroori šanou:

— Piässähän kärpäni kopraštaš. Kun kärpäni istuutuu, nin šie navahuta šauvallas: još ošuat, niin kärpäni on viärä, još et, šilloin ei ole kärpäni viärä.

Kärpäni lenteli, kierteli ta lenti prokuroorilla oččah. Ukko navahutti prokuroorilla oččah tai ošai kärpäseh. Prokuroori kellahti šeinyä vaššen ta kotvan aikua oli šiinä ällissykšissä. Prokuroori tuumi, jotta ukko on hupakko, a hiän oli iče vielä hupakompi. Šanq, jotta „mänehän nyt kotihis“. A ičellä oli piä kiäritty.

Šen pivus šarina. (Meilä kun šanottih, nin koko pirttikunta nakrettih).

## 71. СКАЗКА О ДУРАЧКЕ

Был раньше придурковатый человек, такой пожилой, в летах мужчина. Он зажарил курицу в масле. И поставил на стол да накрыл сковороду тарелкой, что когда очень проголодается, тогда съест. А сам пошел по городу гулять, чтобы проголодаться. Двери закрыл на замок, а ключ положил под камень, у двери. Ну, и пошел он гулять. Встретились ему два молодых парня. Говорит этот дурачок:

— Не пойдете ведь, ребята, к нам, потому что у нас дверь на замке? У меня, — говорит, — там жаркое на столе, у меня, — говорит, — ключ под камнем, дверь на замке.

А парни думают: «Пойдем, посмотрим, что у него там есть».

Ну, ключ лежит под камнем, они взяли да и зашли в избу. Они взяли да и съели жаркое начисто, все косточки обглодали. Потом, когда они съели, на кости села большая муха, они и прикрыли все тарелкой. Ну, старик приходит домой, говорит:

— Вот и не заходили парни сюда!

Снял тарелку — вор и попался: муху поймал.

— Попалась теперь, — говорит, — взял муху в кулак. Взял он эту муху и пошел к прокурору, с мухой в кулаке. Пришел к прокурору, говорит:

— Что сделаем с вором, вора поймал, мое жаркое съел. Парни не тронули, ключ был под камнем, а эта [муха] кости обглодала.

Прокурор ужмыляется, мол, что я скажу такому дурачку. Ну, прокурор говорит:

— Выпусти-ка муху. Когда муха усядется, ты ударь палкой: если попадешь — то муха виновата, если нет — то не виновата.

Муха летала, покружилась да и села прокурору на лоб.

Старик ударил прокурора по лбу и угодил в муху. Прокурор упал к стене и долгое время слова вымолвить не мог. Прокурор думал, что старик глуп, а он сам был еще глупее. Сказал, что «иди-ка ты домой». А у самого голова перевязана.

Такой длины и сказка. (У нас как рассказали, так все, кто был в избе, смеялись).

Oli ennen ukko ta akka. Hyö ollah köyhät, a naini oli oikein kaunis. Hiän kirikköh käypi yhtäläistä. Ta hiän on niin kaunis, jotta kaikki ihmiset häntä i kačotah. Kirikköh kun mäni pokajen'jah, nin pappi häneh i mielty. Hiän šanou šielä hänellä, jotta „etkö šie rupieis miun keralla truušimah, mie šiušta tykkyäsin, kun šie olet ylen kaunis. Kun työ olletta köyhät, niin mie toisin teillä, millä elyä“. No naini šanou:

— Annahan kun mie ajattelen, nin mie šanon huomena, kun tulen kirikköh.

A jo čuhuttau arhirei, jotta „etkö šie rupieis miun kera truušimah?“. Hiän tuaš lupauu eluo. No nyt tiakka čuhuttau:

— Etkö šie rupieis miun kera truušimah, vain kun mie šiušta tykkyäsin.

Hiän šanou:

— Šanon mie teillä huomena.

A hiän tulou ukkoh luokše kotih ta šanou ukollah. Ukko šanou:

— Ka lupauvu šie, anna hyö tullah, ka šano, jotta äijä pitä tuuva.

Toissa piänä hiän mänöy kirikköh ta šanou, jotta papin pitä tulla huomena kaheksän aikana, tiakan tulla yheksän aikana, a arhirein kymmeneksi. Naini mänöy kotihis, šanou ukollah, jotta tullah. Ukko mäni kamarih peittoh, jotta annahan keräytyy.

Jo tulou kello kaheksän. Pappi tulla kynnistäy, kesseli šeläššä, meččyä myöte. No vot, pappi tuli ta nošti kaikki pöyvällä. Hiän on niin hyvilläh: nyt on meillä mitä šyvvä ta juuva — moniluatus viinasakuskat, viinät, šijan läskie, konservat, jauhot, ryynit. Šuuri kesseli kun oli, niin šiinä piti olla vaikka mitä! Istuuvuttih stolah šyvväh, juuvah šiinä. Pappi še ottau aina ušeimman ryyryn, a naini pikkusen vain, jottei pettyis. Pappi šanou:

— Ka emmäkö ala muate ruveta, pitäišhän meillä muate ruveta.

Naini šanou:

— Rupiemma, rupiemma, — šanou.

Naini koittaa viivyttä: annahan tulou yheksän kello.

— Rupiemma, — šanou, — ka miula kun ukko makuu kaikkičöi pal'lahin nahkoin, nin šiun pitäis jakšautuo.

No hiän jakšautuu, — heitti piältäh ta rupesi šänkyh.

No šanou pappi naisella:

— Tulehan nyt pois.

Naini šanou:

— Kuulehan, kenpä šielä komajau? Mäne hoš kiukuan peräh peittoh, jottei nähtäis.

Tuli tiakka, šuuri, šuuri kesseli šeläššä. Hiän tuaš purkau kesselin: ta kun hänellä on kaikkie, kaikkie, mitä vain! No hyvä, tuaš

ruvettih pöytäh: šyvväh-juuvah. Tiakka ei ruohi ni šyvvä: annahan šiula jäy. Paissah šiinä, tiakka šanou:

— No meijänhän jo pitäis šänkyh ruveta.

Naini šanou:

— Rupiemma myö šänkyh, ka miula kun ukko kaikičči pal'ahin nahkoin makuau, niin šiun niis pitäis jaksautuo.

Hiän jaksautuo hyvin ruttoh ta pyörähtäy šänkyh:

— Tulehan nyt pois ruttosehl

Hiän jo kuuntelou: jo komajau še arhirei. Šanou:

— Ken komajau? Mäne hyvin ruttoh kiukuan perällä, jottei nähtäis.

Šilloin kun hyppäsi kiukualla, niin arhirei avasi oven. Ka tiakka kun nousi kiukualla, niin tiakka kyšyy:

— Mitäpä še šie tiälä ruat?

Pappi šanou:

— Ka šitä mitä šieki.

Arhirei kun tuli, avasi kesselin: kun šiela oli voita, makkaraa, kantservat ta kaikkie hyvyä, ta vielä rahua šuuri tukku. No šiitä hyö hänen kera istuuvutah pöytäh, konjakkipullo avatah, juokšennellah. Ka naini ei ruohi šijy juuva. Naini šiinä pikku hil'akšeh pakajau ta aikua viivyttelöy. A ukko kaikki kuuntelou šiela šeinän takana. No arhirei tuaa šanou:

— No nyt rupiemma šänkyh muate.

Naini šanou:

— Ka rupiemma myö, ka miun ukko kun aina pal'ahin nahkoin makuau, niin šiun niis pitäy jaksautuo.

Ukko šiela kuuntelou, jotta šänkyh alkau vuatie. Hiän šiela kamarissa i koleutuu. Arhirei kyšyy:

— Ka ken še kolajau?

— Ka en tiijä.

— Ka minnepä mie mänen?

— Ka mäne šie hot' kiukuan perällä!

Arhirei šinne noušou, kyšyy papilta ta tiakalta:

— Mitä piruo še työ tiälä ruatta?

— Ka šitä mitä šieki!

Ukko tuli, ta ruvettih šyömäh, nakretah šiinä. Ukko kyšyy:

— Mistä šie šait näitä ruokie?

— Ka kylällä kävin ta oššin.

Kačotah, ka maatuška matkuau ikkunan aličči. Ikkunakorvašša istuu še ukko. Ukko kyšyy:

— Mitäpä šie kävelet ta kaččelet?

— Ka ukko huorissa kävelöy, nin tulin eččimäh.

— Ka tule šie pirttih!

A šillä aikua naini kamarih peittoh.

— No kun šiula kerran ukko huorissa kävelöy, nin ruvekka myö šiun kera truušimah, — šanou še ukko maatuškalla.

No še, jotta „rupiemma, rupiemmal”. Šankyštä piäsi ta läksi poikeš.  
Ukko šanou:

- Tule šie i toiččil
- Tulen, tuleni! — šanou.

No kačotah, ka tuaš tulou tiakan akka. No tuaš še mieš kyšyy, jotta „mitäpä šie kävelet?”. Šanou:

- Ka ukko kun kävelöy huorissa, nin mie tulin eččimäh.
- A tule i pirttih šieki: kun ukko kävelöy, nin tule šieki.
- Hiän pirttih tulou hyvillä mielin. No pirttih tulou, ukko šanou:
- Kun kerran hiän kävelöy, niin rupiemma myö šiun kera truušimah.

— Rupiemma, rupiemma, — šanou.

Hänellä šiitä ukko antau hyväččäisen ryypyn, ta ruvetah šankyh.  
Še tuaš tiakka šanou:

- Nyt mie karjeuvun!
- Pappi ta arhirei šanotah:

— Et šua virkkual Eipähän pappi ni mitä virkkan.

Hammašta purrah ta käsie purrah, a ei ni mitä virketa. No tiekan akka kun piäsi ta läksi poikeš. Juuri kerkisi lähtie, kačotah — arhirein akka tulou. Šanou mieš:

- Mitäpä šie kaččelet ikkunan alla?
- Ka mie kaččelen, kun ukko huorissa käypi.

Ukko tuaš häntä pirttih kučču:

— Tulehan pirttih, — šanou.

No, tai tuli pirttih, ukko šanou:

— Kun šiula ukko huorissa kävelöy, nin rupiemma myö truušimah.

No hiän ni soklassiutuu:

— Rupiemma, rupiemmal

Ukko hänellä konjakkiryypyn antau (oman ukon tuoman konjak-kiryypyn). No akka kun joi, ruvettih šankyh tuaš. Arhirei hammašta purou ta käsieh purou, jotta „nyt mie šolahan alaš, akkua kömyyttämäh”. Toiset hänellä:

— Et šolaha, etpähän ni šie meitä piäštän!

Šieltä vain kiukuanperästä kurkissellah, kun akat on šankyšsä.

No läksi še arhirein akka pois. Ne kun läksi pois, naini i tuli pirttih kamarista. Hiän ei puitto tiijäkkänä, onko ketä i käynyn.

Šiinä akkah kera issutah ta paissah: ukolla himottau šuaha ne pois šieltä. Ukolla on šeinällä hyvin vanha ruoštunut pyššypaha. Hiän šitä ratušelou, šitä pyššyö, šanou:

— Jo mie olen tätä kotvan korjaillut, jokohan tämä on nyt hyvä?

Šanou, jotta „pitäy reistata ampuo nyt”. Akka kyšyy:

- Kunnepa šie ammut?
- Ka mie, — šanou, — ammun kiukuan peräh.
- Elä, ukkosen, ammu kiukuan peräh!

A piššuali on šemmoni hänellä, jotta ei ampuo šuata. Ukko sanou:

— Mie ammun, ei haittua ni mitä, eihän šielä ni ketä ole kiu-kuan peräššä.

Silloin kun hypättih pihalla juokšomah kaikki pal'ahin nahkoin. Ukko karjuu:

— Ka mitä čuutuo tämä on? — puitto ei ni tiijä.

A rahvaš kun näköy, juoššah ta karjutah:

— Piessat juoššah mečäštä!

Toiset šanotah:

— Ka ei ole piessat, kun pappi on ta arhirei i tiakka!

Akat kyšytäh:

— A mistäpä työ tuletta?

— Ka šieltä, missä i työ olitta.

Ukot ei voitu akkojen piällä šiäntyö, kun iče šielä oltih.

## 72. [ПОП, ДЬЯКОН И АРХИЕРЕИ]

Были раньше муж да жена. Они были бедные, а жена была очень красивая. Она все в церковь ходит. И она такая красивая, что все люди только на нее и смотрят. Как пришла она в церковь на покаяние, то поп в нее и влюбился. Он говорит ей там, что «не хочешь ли ты со мной дружить, я бы тебя любил, потому что ты очень красивая. Так как вы бедны, то я бы вам приносил на жизнь». Ну, жена говорит:

— Дай-ка я подумаю, а завтра скажу, когда прийду в церковь.

А уж и архиерей нашептывает, что «не хочешь ли со мной дружить?». Он тоже пообещал добра. Ну, теперь дьякон нашептывает:

— Не хочешь ли со мной дружить, я бы тебя очень любил?

— Я вам завтра скажу.

Она приходит к мужу домой и рассказывает ему. Муж говорит:

— Пообещай всем, пусть все приходят, да скажи, чтобы побольше принесли.

На другой день она идет в церковь и говорит, что поп пусть придет завтра в восемь часов, дьякон — в девять часов, а архиерей — в десять. Жена пришла домой и сказала мужу, что придут. Муж спрятался в горнице — пусть, мол, пока собираются.

Вот уж и восемь часов. Поп несется с кошельем за спиной по лесу. Ну вот, поп пришел и положил все на стол. Она радуется: «Теперь у нас есть и попить и поесть: разные закуски к вину, свиное сало, консервы, мука, крупа». Кошель был большой, так в нем чего только не было! Сели за стол, едят, пьют. Поп все выпивает, а женщина только немного, чтобы не опьянеть. Поп и говорит:

— Не лечь ли нам спать, надо же нам поспать.

Женщина говорит:

— Ляжем, ляжем.

Она пытается оттянуть время, пусть-ка девять часов будет.

— Ляжем, — говорит, — только мой муж спит всегда голый, так и тебе надо бы раздеться.

Ну, он разденется, — говорит. Под снял все с себя и лег в кровать. И говорит поп женщине:

— Иди же скорей!

Женщина говорит:

— Послушай-ка, кто это там гремит? Поди хоть на печь спрячься, чтобы не увидели.

Пришел дякон с большим кошельем за спиной. Он разгрузил кошелек, а в нем чего только нет! Опять сели за стол, едят, пьют. А дякон сам даже не ест — пусть, мол, тебе останется. Поговорили, а дяком и говорит:

— Не пора ли уже в постель?

Женщина говорит:

— Ляжем, только мой муж всегда голый спит, тебе тоже нужно бы раздеться.

Он быстренько разделся и юркнул в кровать:

— Иди-ка скорей!

Она прислушивается: уже и архиерей стучится. Говорит:

— Кто это стучится? Иди скорей на печь, чтобы не увидели.

Только поднялся на печь, архиерей открывает дверь.

А дякон залез на печь и спрашивает:

— А ты что здесь делаешь?

Поп отвечает:

— То же, что и ты.

Архиерей как пришел, открыл кошелек: там масло, колбаса, консервы — много хорошего, да еще денег большая куча. Сели они за стол, открыли бутылку коньяку, попивают. Жена не смеет много пить. Она разговаривает себе понемногу да время тянет. А муж все слышит за стеной.

Архиерей опять и говорит:

— Ну, теперь ляжем в постель.

Женщина говорит:

— Ляжем, только мой муж всегда спит голый, тебе тоже нужно раздеться.

Муж слышит, что уже спать зовет, и начал стучать в соседней комнате. Архиерей спрашивает:

— Кто это стучит?

— Не знаю.

— Где бы мне спрятаться?

— Да иди хоть на печь.

Архиерей туда залез, спрашивает у попа и дякона:

— Какого черта вы здесь делаете?

— Да то же, что и ты.



Муж пришел, стали есть, посмеиваются тут. Муж спрашивает:

— Откуда ты столько еды достала?

— В деревню ходила и купила.

Смотрят, матушка под окошком проходит. Муж сидит у окна. Спрашивает муж:

— Что ты ходишь да посматриваешь?

— Да вот муж гуляет, так пошла искать.

— Заходи ты в избу.

А тем временем жена спряталась в горнице.

Ну, раз твой муж гуляет, так давай и мы с тобой дружить, — говорит муж матушке.

Ну, она — что «давай, давай!». С кровати поднялась и ушла. Муж говорит:

— Приходи еще и в другой раз!

— Приду, приду! — говорит.

Смотрят: теперь идет дьяконова жена. Ну, опять муж спрашивает, что «зачем ты ходишь?». Говорит:

— Да вот муж гуляет, так я пошла искать.

— Заходи в избу. Раз муж гуляет, так и ты заходи.

Она с радостью заходит в избу. Ну, в избу заходит, а муж говорит:

— Коли он гуляет, так давай и мы с тобой дружить.

— Давай, давай, — говорит.

Муж дал ей выпить и легли на кровать. Дьякон и говорит:

— Я сейчас закричу!

— А поп и архиерей говорят:

— Молчи! Молчал же поп.

Скрипят зубами, кусают себе руки, но голоса не подают. Дьяконова жена ушла. Только успела уйти, смотрят — жена архиерея идет. Говорит муж:

— Что ты в окна заглядываешь?

— Да вот заглядываю — муж гуляет.

Муж опять ее в избу зовет:

— Заходи-ка в избу, — говорит.

Ну, и зашла в избу. Муж говорит:

— Раз у тебя муж гуляет, так давай и мы с тобой дружить.

Ну, она и соглашается:

— Давай, давай!

Муж налил ей коньяку (того самого, что ее муж принес). Ну, жена как выпила, они и легли на кровать. Архиерей зубами скрипит и руки кусает, что «я сейчас слезу и поколочу жену». Другие ему:

— Нет, не слезешь, ведь и ты нас не пустил!

Оттуда с печи выглядывают, смотрят на жен.

Архиереева жена ушла. Те как ушли, жена и вышла из горницы в избу. Она будто и не знает, что кто-то приходил. Сидят с мужем да разговаривают. А мужу хочется согнать тех с печи. У мужа

на стене висит старенькое ржавое ружьишко. Он начинает ковыряться в нем и говорит:

— Я его давно исправляю, исправное оно теперь или нет?

Говорит, что «надо бы попробовать выстрелить». Жена спрашивает:

— Куда будешь стрелять?

— А я, — говорит, — выстрелю на печь.

— Не стреляй, муженек, на печь!

А пищаль-то у него такая, что и не стреляет. Муж говорит:

— Я выстрелю, там на печи ведь никого нет.

Тут как выскочат все на двор бежать, голые. Муж кричит:

— Это еще что за чудо? — будто и не знает.

А люди как увидели, побежали и кричат:

— Бесы из лесу бегут!

Другие говорят:

— Это не бесы, а поп, архиерей и дьякон!

Жены спрашивают:

— Откуда вы идете?

— Оттуда, где и вы были.

Мужья не могли сердиться на жен, потому что сами там были.

Oli ennen ukko da akka. Suadih hyö poiga. Ukko kuolou, akka jäy poiijan kera elämäh. Kažvatti poiijan da työndi töih gorodah. Poiga työssä oli kolme vuotta: šai yhet vuattiet piällä, a rahua šai vain yhen kuldazen viizirubl'azen, muuda ei. Tullesah hiän toi tyhjää kancervobantkoja värcillizen. Romahutti ne karžinan pohjalla, kuin rahašakin.

A hänellä himottau toizešta talošta naija rikaš tyttö. Työndäy muamoh talošta käymäh puolipuudahista: „Šano, jotta poiga tuli gorodašta, en tiijä midä merkkua“. Akka toi zen aštien, a poiga solahti zen kera karžinah, kaivo šinne hauvan. A toizen talon ukko tuli kuundelomah peitočči, jotta midä hiän mittua. Kuundelou — niin kuin rahat helättäis. A poiga karžinašša purkkija hauDAH lykkii. „Äijä on d'engua kehnolla, kolme vuotta oli šielä,“ — duumiu ukko kuunnelleššah.

Poiga nouzi karžinašta, ando mittuanda-aštien muamollah da kiinnitti zen pohjah ainuon viizirubl'azen.

— Vie že aštie, šano äijä passibuo, muuda ni midä elä virka, — šanou poiga muamollah.

Ukko šanou akallah, kun poiijan muamo oli lähten:

— Mäne, kačo aštiešta, midä hiän on merkinnyt.

Akka mänöy, kačcou, ga mitan pohjassa viizirubl'ahine:

— Ga d'engua on merkannut. Pohjah on puuttun viizirubl'ahine.

— Silloin pidäy tytär suattua hänellä miehellä, — šanou ukko, — kun noin äijän toi d'engua. Kučumma huomena tänne.

Huomenekšella akka mänöy kučumah. Šanou: „Terveh teilä!“.

A poiga oli männyt meččäh koiran kera. Šanou poiijan muamalla:

— Kun Van'ka tulou meččästä, ni tulgah paikalla meilä käymäh.

Kun Van'ka tuli meččästä, šanou muamo:

— Van'ka, šilma kučuttih toizeh talon paikalla, kun tulet.

Van'ka otti da suoriudu hyvih vuatteih. Mäni sinne, ga sielä samovuara keitetty, Van'ka syömäh issutettih. Istuuvttih juomah, paistih šidä-tädä, a tuatto i šanou:

— Etgö šie miun tytärdä ottais miehellä?

Van'ka šanou:

— Ei hiän vet' miula lähe, kun mie olen paha da vielä leskiakan poiga.

— Lähtöy, koz'z'o šie vain händä.

Juodih, syödih dai lähettih bes's'odah tytön kera. Poiga šanou tytöllä:

— Etgö šie tule miula miehellä?

Tyttö šanou:

— Tule huomena, nin tulen.

Huomena illalla poiga i tuli. Tuas händä juotettih da syötettih. Tuas tuatto tyttö taričcou. Vuidittih bes's'odah. Poiga šanou tytöllä:

— Mäne šie tuattoš luo, andakkah miula kaksisadua rubl'ua d'engua häiksi. Miula kun on d'engat pandu haudah, ni en kehtais ruveta kaivamah. Vielä sussiedat viijäh.

Tyttö mäni, kyžyy. Tuatto šanou:

— Annamma, miksi emmä andais. Kyllä hiän toiči maksau.

Ando d'engat, da laski talo:oš häidä pidämäh.

— Šiidä kun d'engat otan hauvvasta ni šiidä oššan suuren kojn, — šanou poiga.

Hiät piettih da mändih kodih elämäh. Poiga lähtöy meččäh, muamo-akka tyttären luo toizeh kyläh, a morzien jiiy yksinäh kodih. Tulou pappi morziemen luo, šanou:

— Etgö šie milma ota druuguksi?

— En ota. Annahan mie enžin kyžyn Van'kalda, kun kodih tulou.

— Elä šano hänellä, vet' miun dai šiun tappau, — šanou pappi da lähtöy pois.

Kun vain pappi kergii lähtie, silloin tulou diekka:

— Oi, — šanou, — N'ura, kun mie šilma äijaldi šuvaičen! Ota milma druuguksi.

— En voi ottua. Anna Van'kalda kyžyn, kun meččästä tulou.

— Elä sano, miun dai siun tappau, — sanou diekka da kiirehäizeh lähtöy.

Tulou Van'ka, da hänellä i sanou N'ura:

— Vot, miula kakši druuguo kävi pyrgimäh.

V'an'ka sanou:

— Sie kucu enzin yhtä, kässe tuuva sada rubl'ua rahua, säkki vehnäjuhuo da muuda. Siidä toista.

Toizena piänä tuli pappi. Kyzyy:

— Šanoitgo?

— Engo hot! Kuule vain, tuo sie sada rubl'ua rahua, rengi voida, säkki vehnäjuhuo, sokerie.

Da pappi läksi käymäh. Mäni da toi teräväizeh. Ruvetah perttie lämmittämäh, olad'd'ua paistamah. Morzien sanou:

— Van'ka tulou kahen tunnin piästä.

Paisto olad'd'at. Kun vain ruvettih juomah, N'ura sanou da kacahtau kelloh:

— Mäne, pappizen, pois, paikalla tulou Van'ka, molemmat tappau.

Pappi kiirehäizeh lähtöy. Ei kerinnyt ni caskua cäijuo juuva. Tulou diekka. Dai hiän kandau koistah rahua da kaikkie hyvyttä.

— Kahen cuassun piästä Van'ka tulou.

Tuaš, kun vain ruvettih juomah, ga N'ura i sanou:

— Cuassut jo mändih, seičas tulou ukko mečästä. Tule huomena aivombah.

Diekka pois. Ukko i tuli. N'ura hänellä kaikki näyttelöy, midä sai.

— Huomena vielä luvattih tulla.

Ukko tuaš mečäh lähtöy. Dai pappi tulou:

— Šanoitgo ukollas?

— En šanon ni midä.

Ruvettih olad'd'ua paistamah da perttie lämmittämäh. A Van'kalla oli cūralla luajittu siira. A ukko, Van'ka, ei männytkänä mečäh. Rubei buitto humalah. Kun ruvettih cäijuo juomah, hiän sinoiessa möläjämäh.

— Kedä ollou pertissä, kai tapan!

Akka i sanou:

— Kunne sie pappi rukka suat? Jaksauvu da pane vuattiet krovatin alla, a iče seižatu cuucalan reunah.

Tuli izändä, karjuu:

— Akka, ongo kedä druuguo siula?

— Ei olei kedä.

Van'ka kaikki kaccelou da buitto ei ni huomua pappie. Lähtöy da mänöy podvalkalla. Tulou diekka. A pappi seižou da varajau. A N'ura diekan kera juomah. Šanou:

— Nyt kun juomma da syömmä, nin muata i rubiemma.

Tuaš Van'ka sinčoŝsa möleydy. Diekka häädäydy:

— Ga minne mie nyt?

— Jaksauvu, pane vuattiet krovatin alla, da ice mäne cuucalah seizomah. Ei koŝe. Čuucaluo hiän suvaičcou.

Dai mäni diekka sinne. Tuli Van'ka kirvehen kera, kačcelou joga paikan, buitto ei nii midä nähnyt. Van'ka rubieu N'uran kera čajuo juomah. A kyläldä kuuluu huuvanda:

— Arhirei tuli! Arhirei tuli! Missä on pappi da diekka?!

A diekka da pappi ei ruohita lekahtua. Ečitäh pappie. Papin akka joga talossa juoksendelou. Tulou Van'kan taloh. Hyö čajuo juuvah, voirengit stolalla.

— Eigo ole pappie teilä?

— Ei ole.

— A mistäbä työ voida saitta?

— Meilä lehmä kando, nin voida rubei lypsämäh, — sanou Van'ka, a N'uralla sanou:

— Sie mäne teräväh pois pertistä.

Papin akka sanou:

— Myögyä työ miula ze lehmä, äijän maksan.

— Emmä lehmyä myö, ga važazen voimma myyvä. Andanet viizikymmendä rubl'ua d'engua.

— Ga buitto en anna.

Da d'engat stolalla heittäy. A Van'ka avuau keŝki oven, tembauu papin akan krovatilla da rubieu hänen kera muata. Pappi nägöy kaiken, no ni midä ei kergie virkkua. Papin akka hyppyäy da juoksou pois. Kun oli vain ruvettu čajuo juomah, tulou diekan akka:

— Ettägö diekkua ole nähny?

— Emmä ole.

— Mistä teilä näin äijä voida?

— Ga miän lehmä lypsäy pal'l'asta voida.

— Ettägö myö miula?

— Emmä lehmyä myö, ga važan voimma myyvä.

Akka heittäy viizikymmendä rubl'ua d'engua stolalla. Nura läksi pois pertistä. Tuaš V'anka oven avai, sieppai diekan akan krovatilla. Tuaš diekka ni midä ei voi virkkua. Akka hyppäi da läksi juoksomah. Vanka kirjuttau kirjapalazen da lyöy zen veräjällä: «Tässä talossa luajitah cuucalua». Arhirei lähtöy ice kylä myöten pappie da diekkua ečcimäh. Kun tulou pihalla, kacou pihalla, kacou kirjapalan dai tulou perttih. Sanou:

— Miula himoittais nähä siun cuucaloja.

— Ga näytämmä.

Van'ka mänöy, voijattau papin da diekan nävöt novella, jotta arhirei ei tundis. Arhirei avai oven da sanou:

— Mie oŝsan hiät. Ga mintäh heilä häpiet riputah? Tuo keskimäine ois hyvä.

— Ga mie heildä ne pois leikkuan, — šanou Van'ka da ru-bieu veistä hivomah. Hivou veičen.

A pappi da diekka pöllässyttih: «Pidäy meilä tästä hoš kuin piässä». Dai ikkunašta hypättih da juossah alacci kodiloih. Papin koissa akka da arhirei pöllässyttih, eigä tahota laskie šiämeh. No lašetah da tunnetah, jotta pappi da diekkahan ne ollah.

— Midäbö työ sinne mänittä?

A hyö ei virketä i midä. Šanotah, jotta Van'ka heilä niin ruado, muuda ei. Arhireikana ei ruohtin männä čuuceloja käymäh. A Van'ka makšo apellah d'engat — velat — a ice piäzi hyvin elämäh.

### 73. [ЧУЧЕЛА]

Были раньше муж и жена. Родился у них сын. Муж умирает, жена остается с сыном жить. Выростила сына и отправила в город на работу. Парень работал три года: заработал только одежду на себя, а денег получил только один пятирублевый золотой, больше ничего. Принес с собой мешок пустых консервных банок. Грохнул в подполье, как будто мешок с деньгами.

А ему хочется взять за себя богатую девушку из соседнего дома. Посылает мать в тот дом за полупудовой мерой:

— Скажи, что сын приехал из города, мол, не знаю, что меряет.

Мать принесла меру, а сын спустился в подполье, вырыл там яму. А хозяин соседнего дома пришел украдкой подслушать, что он меряет. Слушает — как будто деньги звенят. А парень в подполье консервные банки бросает в яму. «Много денег у черта, ведь три года был там» — думает старик, подслушивая.

Парень поднялся из подполья, дал меру матери и засунул в утору единственный пятирублевый.

— Отнеси эту меру, скажи большое спасибо, больше ничего не говори, — говорит парень матери.

Старик говорит своей старухе, когда мать соседнего парня ушла:

— Поди, посмотри меру, что он мерял.

Старуха идет, смотрит — на дне меры пятирублевый.

— Видно, деньги мерял: ко дну пристал пятирублевый.

— Тогда надо дочь за него выдать, — говорит старик, — коли у него так много денег. Позовем завтра к нам.

Утром старуха идет звать. Говорит: «Здравствуйте!». А парень в лес ушел с собакой. Говорит [старуха] матери парня:

— Когда Ванька придет из лесу, то пусть сразу же зайдет к нам.

Когда Ванька пришел из лесу, мать говорит:

— Ванька, тебя звали к соседям сразу же, как придешь.

Ванька взял да одел хорошую одежду. Пришел туда, а там самовар уже готов. Ваньку посадили кушать. Сели пить [чай], поговорили о том о сем, а отец [невесты] и говорит:

— Не возьмешь ли мою дочь за себя?

Ванька говорит:

— Она ведь за меня не пойдет, потому что я не хорош, а к тому же сын вдовы.

— Пойдет, ты только посватайся.

Попили, поели и пошли на беседу с девушкой. Парень говорит девушке:

— Пойдешь ли за меня замуж?

Девушка говорит:

— Приходи завтра — пойду.

Вечером на другой день парень и пришел. Опять его поили и кормили. Опять отец предлагает дочь [в жены]. Пошли на беседу. Парень и говорит девушке:

— Иди ты к отцу, пусть он мне даст двести рублей денег для свадьбы. У меня деньги зарыты в яму, так не хотелось бы раскапывать. Еще соседи утащат.

Девушка пошла, попросила. Отец говорит:

— Дадим, почему не дать. Он после отдаст.

Дал деньги и пустил в свой дом свадьбу играть.

— Потом, когда деньги выну из ямы, куплю большой дом, — говорит парень.

Справили свадьбу и ушли в дом мужа жить. Муж отправляется в лес, свекровь к своей дочери в другую деревню, а молодуха остается одна дома.

Приходит поп к молодухе, говорит:

— Не возьмешь ли ты меня в дружки?

— Нет. Подожди, сперва спрошу у Ваньки, когда придет домой.

— Не говори ему, ведь он и меня, и тебя убьет, — говорит поп и уходит.

Как только поп успел уйти, тут же приходит дьяк:

— Ой, Нюра, — говорит, — как я тебя люблю! Хочешь, буду твоим дружком?

— Не могу обещать. Дай у Ваньки спрошу, когда из лесу вернется.

— Не говори ему, меня и тебя убьет, — говорит дьяк и поспешно уходит.

Приходит Ванька, Нюра и говорит ему:

— Вот, ко мне двое приходили проситься в дружки.

Ванька говорит:

— Ты позови сперва одного, вели принести сто рублей денег, мешок пшеничной муки и еще что-нибудь. Потом второго [позови].

На второй день пришел поп. Спрашивает:

— Сказала ли?

— Нет, что ты! Послушай, только принеси сто рублей денег, ведро масла, мешок пшеничной муки, сахару.

Поп и пошел за этим. Сходил и принес быстренько. Стали печку топить, оладьи печь. Молодуха говорит:

— Ванька придет через два часа.

Испекла оладьи. Как только начали пить [чай], Нюра посмотрела на часы и говорит:

— Уходи, батюшка, сейчас придет Ванька, обоим нас убьет.

Поп поспешно уходит. Не успел даже чашки чая выпить. Приходит дьяк. Он тоже приносит из дому денег и всякого добра.

— Через два часа Ванька придет [говорит молодуха].

Опять, как только начали пить, Нюра и говорит:

— Время уже прошло, сейчас муж придет из лесу. Приходи завтра пораньше.

Дьяк ушел. Муж и приходит. Нюра ему все показывает, что достала.

— Завтра опять обещали прийти.

Муж опять уходит в лес. Приходит поп:

— Сказала мужу?

— Ничего не сказала.

Начали оладьи печь и печку топить. А у Ваньки в углу было сделано чучело [скульптурное изображение святого]. А муж, Ванька, и не ушел в лес, притворился будто бы пьяным. Когда [поп с Нюрой] стали чай пить, он начал в сенях шуметь.

— Всех убью, кто в избе!

Жена и говорит:

— Куда же ты, батюшка, денешься? Разденься и положи одежду под кровать, а сам встань рядом с чучелом.

Пришел хозяин, кричит:

— Жена, у тебя тут дружки есть?

— Нет никого.

Ванька оглядывает все кругом и будто бы не замечает попа. Поднимается на чердак. Приходит дьяк. А поп стоит и дрожит от страха. А Нюра с дьяком чай пьет. Говорит [дьяк]:

— Теперь как попьем и поедим, спать ляжем.

Опять Ванька в сенях зашумел. Дьяк испугался:

— Куда же я теперь?

— Разденься, положи одежду под кровать, а сам становись рядом с чучелами — не тронет. Он любит чучела.

Дьяк и встал туда. Пришел Ванька с топором, во все места заглядывает, будто ничего не видит. Ванька начинает с Нюрой пить чай. А в деревне кричат:

— Архиерей приехал! Архиерей приехал! Где поп и дьяк?!

А дьяк и поп не смеют пошевелинуться. Ищут попа. Попадья в каждый дом забегает. Приходит в дом Ваньки. Они чай пьют, ведра с маслом на столе.

— Попа нет у вас?

— Нет.

— А где вы масло достали?

— У нас корова отелилась, так маслом доиться стала, — говорит Ванька, а Нюре говорит — ты выйди из избы поскорей.



Попадья говорит:

— Продайте вы мне эту корову, я дорого заплачу.

— Корову не продадим, а теленка можно продать, если дашь пятьдесят рублей денег.

— Будто уж не дам!

И деньги бросает на стол. А Ванька открывает смежную дверь, хватается попадью и ложится с ней спать. Поп видит все, но ничего не может сказать. Попадья вскакивает и убегает. Только начали пить чай, приходит жена дьяка:

— Дьяка не видали?

— Нет.

— Откуда у вас столько масла?

— А наша корова чистым маслом доится.

— Не продадите ли мне?

— Корову не продадим, а теленка можем продать.

Жена дьяка бросает на стол пятьдесят рублей денег. Нюра выходит из избы. Ванька опять открыл дверь, схватил жену дьяка и на кровать. Дьяк опять ничего не может сказать. Жена вскочила и убежала. Ванька пишет записку и прибывает ее к воротам: «В этом доме делают чучела». Архиерей идет сам по деревне искать попа и дьяка. Заходит во двор, смотрит, видит записку и заходит в избу. Говорит:

— Мне бы хотелось посмотреть твои чучела.

— Можно показать.

Ванька идет, мажет лица у попа и дьяка сажей, чтобы архиерей не узнал. Архиерей открыл дверь и говорит:

— Я куплю их. Но почему у них срам висит? Этот средний хорош.

— Я могу отрезать у них, — говорит Ванька и начинает точить нож.

Наточил нож. А поп и дьяк испугались: надо отсюда как-то уйти. И выпрыгнули в окно и голые бегут по домам. В доме попа попадья и архиерей испугались, не хотят даже пускать в дом. Но все же выпускают и узнают, что это поп и дьяк.

— Зачем вы туда пошли?

А они ничего не говорят. Говорят, что Ванька с ними так сделал, больше ничего. И архиерей не смел идти за чучелами. А Ванька выплатил своему тестю долг и сам хорошо зажил.

#### 74. PAPIN KASAKKA

Oli ennen pappi ta papat'ja. Hyö ollah vanhat ta hyvin po-  
hatat. Sanou akka, jotta «mäne sie, pappi, eëcimäh kasakkua, kun  
myö emmä voi ni mitä ruatua enämpi, kun olemma vanhat». Sa-  
nou:

— Kun mänet, niin livanua elä ota, livanat ollah hyvin ka-  
valat.

No tai pappi läksi ta mänöy yhteh kyläh. Tuli poika vastah,  
kysyy:

— Kunne, pappi, läksit?

— Kasakkua eëcimäh, -- sanou. — Ka mi šiula on nimi?

— livana.

— Akka ei käsken ottua livanua.

Poika juoksi eteh ta poikki polvelta vastah. Kysyy:

— Kunne, pappi, läksit?

-- No kasakkua eëcimäh.

— Ota milma.

— Ka mipä šiula on nimi?

— Ka livana.

— Akka ei käsken livanua ottua.

Vielä kolmannen kerran poika juoksou poikki polvelta vastah.

Kysyy:

— Minne, pappi, läksit?

— Kasakkua eëcimäh.

— Ota milma.

— Ka mipä šiula nimi?

— livana.

— Ka en mie voi ottua, akka ei käsken livanua ottua.

livana sanou:

— Ka miän linnalla ei ni ole kuin livanua kaikki, hoš kuin  
pitälti eci.

No sanou:

— Lähe šilloin.

Mäntih pappilah, kysyy:

— Mipä tällä on nimi?

Šanou:

— Ka livana on nimi.

— Ka miksipä šie otit livanan, miehän sanoin, jotta elä ota  
livanua.

Se poika sanou, jotta «miän linnalla ei ole ni ketä kun livanua».

Siitä hyö otetah se poika. No otetah ta kysytäh:

— Suatko šie halkuo leikata?

— Ka sillähän mie olen piätäni elättän.

Huomeneksella noustih makuamasta, syötettih livanua ta  
juotettih, pantih kesselih evästä hänellä. Kysytäh:

— Voisitko šie leikata kolme šyltä?

No hiän sen voipi! livana šielä mäni, päivän syöy ta makuau,  
syöy ta makuau mečäššä. Otti katkasi kolme varpua, joka šylen  
piäh pani varvan -- kolme šyltä i tuli varpua. Tuli kotih muka  
vaivuksissa, ei taho pirttih piäššä. Ne vastah tullah.

— Äijänkö šait? — kysytäh.

— Ka kolme syltä.

Siitä tuas häntä syötetäh ta juotetah, pantih kiukualla muate. Tuas pantih evästä kesselih ta sanotah:

— Voisitko sie leikata kuusi syltä halkuo?

Kyllä hiän sen voipi, kuusi syltä. Heilä hyvä mielestä — nyt hyö suatih hyvä kasakka. Pappi sanou vielä akallah:

— Kačo, kun sie livanua moitit, a kun saimma hyvän kaskan.

Iivana tuas läksi meccäh. Mäni meccäh ta leikkasi kuusi varpua, ta tuas pani siitä samah pinoh, aina sylen piäh varvan. Ta koko päivän sielä meccässä syöy ta makuau. No illalla tulou kotih, tuas juoSSH vastah:

— No äijäkö sie sait?

Iivana sanou:

— Antuat työ mie syön ta levähtelen, siitä sanon. Niin olen vaipun, jotta en paissa voi.

Iivana söi ta tupakoičči siinä vähäsen, henkähteli. Pappi ta papat'ja iessä seisotah ta vuotetah, äijäkö hiän sai. Kysytäh:

— No äijäkö sie sait?

Iivana sanou:

— No ka kuusi syltä.

Matuska piättelöy, jotta kyllä on hyvä kasakka. No tuas kolmantena huomeneksena sanotah, jotta tuas pitäy männä halkuo leikkuamah. Tuas pantih hänellä evästä kesselih kolmantena piänä. Pappi aina varottau, jotta «panehan hyvät evähät Iivanalla, jotta vois ruatua». Pappi sanou:

— Yritähän, voitko suaha yheksän syltä.

No kyllä hän voi, kun on näin hyvät evähät! Iivana tuas mäni meccäh. Päivän söi ta makasi, yheksän varpua leikkasi, kaikki pani yhteh pinoh aina yhen sylen piäh. No illalla tuli kotih. Tuas juoSSH vastah:

— No saitko sie äijän?

— Ka antuat työ mie syön ta levähtelen, en mie voi paissa, kun niin vaivuttau.

Söi ta joi, hyö iessä seisotah ta vuotetah. Vielä tupakoičči vähäsen aikua. No hyö nyt kysyy:

— Kuin äijä sie sait vieläki?

Hiän sanou:

— Ka yheksän syltä.

Piätelläh, jotta «kyllä meilä on hyvä kasakka». No pappi sanou:

— Lähemmä huomena kačcomah.

Yöllä kun se kasakka makuau kiukualla, sotkou leipiä vartahasta paitah välih evähiksi. Tai lähettih huomeneksella meccäh (pappi ei ottan evästä, luulou, jotta rutto käyväh). Hyö kävelläh, kävelläh päivä — halkopinoja ecitäh (a se poika tietäy, jotta sielä on vanha talli, hevoistalli). A se jo ihan pimeni. Poika piättäy,

jotta «nyt meidän pitäy yötä olla tässä tallissa, emmä ni kunne piäse, eksyn olemma». A pappi on niin vaipun ta nälästyn, jotta juuri piäsöy sinne tallin nurkkah muate. A livana mäni toiseh nurkkah ta alko syyvä suuhkarie paitah välistä. A pappi kysyy:

— livana, mitä sie syöt?

No livana vastasi:

— Ka tiälä on vanhojen heposien kakarehie, kuivanehie, niitä puren.

Pappi kysyy:

— Onko ne hyvät?

livana sanou:

— Ka nälkähisellä hyvät on, mie olen ennenki näitä syöny.

Pappi sanou:

— Työnnähän miulaki, ole niin hyvä.

livana sieltä keräi kamahlollisen ta vei. Pappi alko pureksennella niitä ta piätti:

— Kyllä nämä i ollah hyvät.

Muattih yö ta lähettih tuas taipalehella, muka kotih, jotta hyö ollah eksytty. Vain livana tietäy, minne männä. livana tietäy, jotta siinä tallin lässä on talo. Ihan päivän käytteli, käytteli sitä pappie mecässä, ta tultih siih taloh yöksi. livana tietäy, jotta siinä taloossa syötetäh, vain ei pie sanuo, jotta «passipo, ei miula pie». livana sanou papilla:

— Kun käsetäh syömäh, niin pitäy sanuo, jotta «passipo, ei miula pie». Siitä kun toisen kerran käsetäh, siitä vasta rupiemma. No hyö mäntih taloh, pantih taloossa ruokua kaikilla.

Sanotah:

— Vierahat, nouskuate syömäh.

Pappi sanou:

— Passipo, eihän meilä pie.

A livana rupei syömäh, pappi jäi laucalla. Pappi ei ni ilennyn ruveta syömäh, kun toisen kerran ei käsetty. Yön oli pappi niin nälässä. Lähettih kotihis huomeneksella astumah. A koti heilä ei ollun loittona (a livana päivän käytteli häntä mecässä). Illalla mäntih kotihis. Pappi nälästyi niin ta vaipu, kun söi — ei voinun ni mitä paissa — niin muate. A livana tuas kuuntelou, kun huomeneksella pappi akkah kera paissah. Pappi sanou:

— Šuattakka pois tuo livana, proitimma kokonah, niin pepelätäy, kun kaksi päiväy mecässä käytteli. Jo heposen sittakakarua šoin, en tiijä, mitä hän iče söi.

Maatuska sanou:

— Ka jospa se ei lähe, kun kolmeksi vuuveksi palkkasima.

Pappi sanou:

— No kun sen kolmen vuuvan palkan maksamma, niin totta hiän siitä lähtöy.

A livana se kuuntelou. No huomeneksella noustih makuamašta.

— No nyt meilä, — sanotah, — livana, ei ole enämpi työtä, mäne poikes kotihis.

— A kuin mie lähen pois, kun olen kolmeksi vuuveksi palkkautun, nakrauhan milma rahvas.

— No vuuvan palkan maksamma, sen sata rupl'ua.

— Ka mie en, — sanou, — lähe vuuvan palkalla. mie olen kolme vuotta.

— Ka meilä kun ei ole työtä — myö maksamma kahesta vuuvesta palkan.

Iivana sanou:

— Jos kolmelta vuuvelta maksatta palkan, niin mie lähen, a muit'en en lähe.

Pappi sanou akalla:

— Mäne eci rahat, kolme satua rupl'ua, anna mänöy musikka kotihis.

Iivana läksi kotihis, vielä annettih hyvät evähät, jotta ei nälässä olis. Pappi piätti, jotta, «kyllä meilä tuli hyvä, kun suatoma poikes, oli semmoni valehtelija».

No livana mäni kotihis, kolme satua rupl'ua toi rahua muamollah ta tuatollah, ta netälin viipy koko reissullah. Siitä ossettih heponi ta tavaruua, ta niin piästih Iivanan joukko elämäh.

Sen pivuś starina.

#### 74. ПОПОВ РАБОТНИК

Были раньше поп и попадья. Они старые и очень богатые. Говорит жена, что «иди ты, поп, работника искать, поскольку мы не можем уже работать, потому что старые». Говорит:

— Как пойдешь, то Ийвана только не бери, Ийваны очень коварные.

Ну, поп и пошел, и идет в одну деревню. Встретился парень, спрашивает:

— Куда, поп, пошел?

— Работника искать. — говорит. — А как тебя звать?

— Ийвана.

— Жена не велела брать Ийвана.

Парень побежал вперед и из-за поворота опять навстречу. Спрашивает:

— Куда, поп, пошел?

— Работника искать.

— Возьми меня.

— А как тебя звать?

— Ийвана.

— Жена не велела брать Ийвана.

Еще и третий раз парень бежит из-за поворота навстречу. Спрашивает:

— Куда, поп, пошел?

— Работника искать.

— Возьми меня.

— А как тебя звать?

— Ийвана.

— Не могу я взять, жена не велела брать Ийвана.

Ийвана говорит:

— А в нашем городе других и нет, кроме Ийвана, сколько ни  
ищи.

Ну, говорит [поп]:

— Пошли тогда.

Пришли в дом попа, спрашивает [попадья]:

— Как этого зовут?

Говорит [поп]:

— Зовут Ийвана.

— Так почему же ты взял Ийвана, я же сказала, что не бери  
Ийвана!

Этот парень говорит, что «в нашем городе нет никого, кроме  
Ийвана». Потом они берут этого парня [в работники]. Ну, берут  
и спрашивают:

— Умеешь ли ты дрова рубить?

— Я этим делом только и кормил свою голову.

Утром встали, накормили Ийвана и напоили, положили в ко-  
шель харчей для него. Спрашивают:

— Ты смог бы нарубить три сажени?

Ну, это он может! Ийвана туда пошел, день ест и спит, ест и  
спит в лесу. Взял отломил три прутика, через каждую сажень  
положил прутик — три сажени прутьев и вышло. Пришел домой  
будто бы такой усталый, не может в избу зайти! Те выходят  
встречать.

— Сколько нарубил? — спрашивают.

— Так три сажени.

Тут опять его кормят и поят, уложили на печь спать. Опять  
положили харчи в кошель и говорят:

— Ты смог бы нарубить шесть сажений дров?

Уж это он может, шесть сажений. Они [поп и попадья] предо-  
вольны — теперь они нашли хорошего работника. Поп говорит еще  
жене:

— Смотри, ты Ийвана хулила, а какой хороший работник.

Ийвана опять пошел в лес. Пришел в лес и отрезал шесть пру-  
тиков и опять также расставил, через каждую сажень положил  
прутик. И целый день там в лесу ест и спит. Ну, вечером прихо-  
дит домой, опять бегут навстречу:

— Ну, много ли нарубил?

Ийвана говорит:

— Дайте я поем и поотдохну, потом скажу, я так устал, что го-  
ворить не могу.

Ийвана поел и покурил тут немного, поотдохнул. Поп и по-падья перед ним стоят и ждут, много ли он нарубил. Спрашивают:

— Ну, много ли ты нарубил?

Ийвана говорит:

— Да шесть сажений.

Матушка думает, что вот какой хороший работник. Ну, опять на третье утро говорят, что надо бы пойти дрова рубить.

Опять кладут ему в кошель харчи на третий день. Поп все на-поминает, что «положи-ка хорошие харчи для Ийвана, чтобы мог работать». Поп говорит:

— Постарайся, не сможешь ли нарубить девять сажений.

Ну, конечно, он может, раз такие хорошие харчи! Ийвана опять пришел в лес, целый день ел и спал, девять прутиков отрезал, все положил в одну поленницу по одному через сажень. Ну, вечером пришел домой. Опять бегут навстречу:

— Ну, много ли нарубил?

— Дайте же я поем и поотдохну, не могу и говорить, так устал.

Поел и попил, они перед ним стоят и ждут. Еще покурил не-много. Ну, они опять спрашивают:

— Сколько же ты теперь нарубил?

Он говорит:

— Да девять сажений.

Думают, что «хороший же у нас работник!». Поп говорит:

— Пойдем завтра посмотреть [дрова].

Ночью, когда работник спит на печи, он сует себе за пазуху хлеб с жердочки.<sup>1</sup> Да и пошли утром в лес (поп не взял еды, ду-мает, что быстро сходят). Они идут, идут целый день — полен-ницы ищут (а парень знает, что там есть старая конюшня). А уже совсем стемнело. Парень говорит, что «придется нам теперь пере-ночевать в этой конюшне, никуда больше не попадем, заблуди-лись». А поп так устал и проголодался, что еле-еле добрался до конюшни и завалился в углу спать. А Ийвана пошел в другой угол и стал есть сухари из-за пазухи. А поп спрашивает:

— Ийвана, что ты ешь?

Ну, Ийвана ответил:

— А здесь есть старые конские катехи [памет] засохшие, их грызу.

Поп спрашивает:

— Они вкусные?

Ийвана говорит:

— А голодному вкусные кажутся, я и раньше их едал.

Поп говорит:

---

<sup>1</sup> В северной Карелии и Финляндии раньше хлеб выпекался осенью из нового урожая сразу на целый год. Плоские хлебцы с отверстием посредине (отсюда и название *reikäleipä*, букв.: хлеб с дыркой) нанизывались на жерди и хранились в амбаре, частично в избе.

— Брось и мне, будь добрый.

Ийвана набрал там пригоршню и отнес. Поп стал грызть их и решил:

— Они и вправду вкусные.

Переспали ночь и опять пустились в путь, будто бы домой, как будто они заблудились. Но Ийвана знает, куда идти. Ийвана знает, что тут около конюшни есть дом. Целый день водил, водил этого попа по лесу, и пришли к ночи в тот дом. Ийвана знает, что в этом доме накормят, только не надо говорить, что «спасибо, мне не надо». Ийвана говорит попу:

— Когда позовут есть, то надо сказать, что «спасибо, мне не надо». Потом как второй раз позовут, потом только сядем.

Ну, они зашли в дом, в доме собрали на стол еду для всех. Говорят:

— Гости, садитесь кушать.

Поп говорит:

— Спасибо, нам ведь не надо.

А Ийвана стал есть, поп остался сидеть на скамье. Попу совестно было сесть за стол, потому что второй раз не попросили. Так и провел поп эту ночь голодный. Пошли утром домой. А дом у них недалеко был, а Ийвана целый день водил попа по лесу. Вечером пришли домой. Поп так проголодался и устал, что как поел, не мог ничего говорить — и так спать. А Ийвана опять подслушивает, что утром поп со своей женой говорят. Поп говорит:

— Отпустим этого Ийвана, пропадем совсем. Так баламутит, два дня по лесу водил, я уже конские катехи ел, не знаю, что он сам ел.

Матушка говорит:

— А если он не уйдет, раз мы на три года наняли?

Поп говорит:

— Ну, если за три года ему заплатим, то, верно, он тогда уйдет.

А Ийвана тот слушает. Ну, утром встали.

— Ну, теперь у нас, — говорят, — Ийвана, работы больше нет, иди обратно домой.

— А как же я уйду, коли на три года нанялся, ведь люди надо мной будут смеяться.

— Ну, за год мы тебе заплатим, эти сто рублей.

— А я, — говорит, — не уйду с годичным заработком, я буду три года.

— Но у нас ведь нет работы — мы дадим тебе заработок за два года.

Ийвана говорит:

— Если дадите заработок за три года, то я уйду, а иначе не уйду.

Поп говорит жене:

— Иди достань деньги, триста рублей, пусть уходит мужик домой к себе.



Ийвана пошел домой, еще дали хорошие харчи, чтобы в дороге не голодал. Поп решил, что «вот как хорошо у нас стало, когда отпустили его, такой был обманщик».

Ну, Ийвана пришел домой, триста рублей денег принес матери и отцу, а всего неделю был на заработках. Потом купили лошадь и товару, и так у семьи Ийвана наладилась жизнь.

Такой длины сказка.

Oli ennen muzikka papilla kazakkana. Rubei durakkua val'aimah. Pappi käsköy jo pois, ga kazakka ei lähe. Missä lammissa ved'ehini paino rahvasta, pappi työndäy kazakan sinne. Mäni hiän sinne, lambih rubei verkkuo laškomah. Rubezi ved'ehini painamah venehen pohjasta. A kazakka nossaldi ved'ehizen tukist'a veneheh. Verkot laški, da vei ved'ehizen papin taloh, pani kiugual'l'a: «Toin t'eilä ämmön». Vareudu. Vei hänen aittah da algo vielä syöttyä ved'ehistä. Pappi šanou akalla: «Työnnämmä meccäh olomatoinda hevost'a ečcimäh».

Da käveli, käveli mečässä, dai dogadi kondien. Ei muuda kuin kondiella päičet piäh da kodih. Tuli kodih, sido tanhuoh da andau sillä l'eibyä. Pappi kyzyy:

— Miksi šie l'eibyä murotat?

— Ga onnako kun heboni mečästä tuuvah, ga l'eibyä annetah. Pappi kun mäni tanhual'l'a, kačcou — kondie. Mölyn kera pagoh lähti juokšomah. Muate venyttävyttih. Pappi šanou:

— Työnnämmä meccäh muamuo ečcimäh.

Nouštih maguamašta. Pappi šanou:

— Meildä kun muamo kadozi, nin mäne šie mečästä ečcimäh.

Kazakka evästä kes's'elih, juoksi meccäh. Dogadi meccähizen akan. Šai sen harjaksist'a da vuali sen kodih. Tuli kodih, kiugual'l'a kökähytti issuttua.

— T'ässä, — šanou, — teilä muamo.

Pappi duumaičcou händä hävittyä da lähettäy muijen kylän pappiloilda käymäh ottamattomie velgoja: erähällä kolmešadua, toizella kuuzišadua, kolmannella yheksänsadua da juohattau papit.

A kazakka kondien pisti val'ahih, meccähizen akan pani jamš-sikakši, a ved'ehizen akan issutti rinnallah. Läksi ajua hurauttamah. Ajau, mäni papin luo.

— Anna velat, — šanou da sel'vittäy.

— Ga ei ole velgoja, euga midä.

Männäh toize papin luo, šegi ei tunnussa. Männäh kolmannen luo. Kerävyttih kolme pappie da alettih kazakkua kleskaija. A kazakka komanduicci oman voiskan:

— Kondie kuadamah, ved'ehini vedämäh.

Ne hypättih pappien piällä.

— Ga elä, hyvä veikko, anamma rahua hoš kuin äijän!

Dai kučču poiga pois elukkah da šai tuhat viižišadua rubl'ua rahua da läksi papin luo. Tuli papin luo d'engojen kera. Kondien vei tanhuoh, a meccähizen akan da ved'ehizen köksäzi kiugual'l'a. Šyötti elukkah. A pappi ei ruohi enembi perttih tulla. Muattih yö. Pappi akalla pagajau:

— Lähemmä huomenna pagoh, ei tästä eris piäze.

A kazakka i kuulou. Pappi varuštii suuren kuppuh. A ruvetah hyö kaikki muate. «Ana uinuou, ni siidä lähemmä», — duumaiccou pappi. Kazakka mäni, suuremasta kes's'elis'tä d'engat puissaldi, ice kes's'elih. Pappi yöllä šanou:

— Nyt lähemmä.

Da šuadih kes's'elit sel'gäh. Matattih, matattih, päivä valguou. Pappi šanou:

— Lebäyvymmä, ei enämyä tavota.

A kazakka kes's'elis'tä hil'l'akkaizeh karjuu:

— Vuottakkua!

— Ga kehno, jo tulou, juokse, akka!

Lähtietäh juoksomah. Juoštih joven rannalla suate. Šiih i jäädih, ei voidu ielläh männä. Kazakka hyppäzi kes's'elis'tä:

— Tässägo i oletta?

Šyödih siinä, ruvettih muate. Kazakka buitto maguau. Pappi šanou:

— Ruvekkah hiän jogipuoleh. Mie kun šiula šanon «pehni!», sie työnnä jogeh.

Ruvettih muate jogirannalla. Tuli kazakka, siidä akka da pappi. Pappi akkon'eh oli väibun dai uinottih. Kazakka nouzi toizeh puoleh muate. Nyykkyäy pappie: «pehni», pappi akkah jogeh syyvällyttäy. Nouzou pappi.

— Ga miksi omas akkaš ved'eh työnzit? Ongo šiula zuali akkua?

— Ga buitto ei ole!

Kazakka pamahutti pappie tagapuoleh — kun on igävä, ni mäne.

## 75. [ПОП И РАБОТНИК]

Был когда-то мужик у попа в работниках. Начал дурака валять. Поп уже велит ему уйти, но работник не уходит. В которой ламбе водяной людей топят — поп туда и посылает работника. Пошел он туда, начал сети спускать. Стал водяной лодку ко дну тянуть. А работник водяного за волосы в лодку поднял. Спустил сети и привел водяного в поповский дом, посадил на печь: «вам бабушку

привел». Поп испугался. Работник увел водяного в амбар и стал его там кормить. Поп говорит жене:

— Пошлем в лес искать несуществующую лошадь.

Ходил, ходил по лесу да и увидел медведя. Взял да надел медведю уздечку — только и всего. Пришел домой, привязал медведя во дворе и дает ему хлеба. Поп спрашивает:

— Для чего ты хлеб крошишь?

— Когда лошадь из лесу приводят, так ей ведь хлеб дают.

Поп как пошел во двор, смотрит — медведь. С криком убежал.

Легли спать. Поп говорит:

— Пошлем в лес [якобы пропавшую] мать искать.

Работник набрал харчей в кошель, побежал в лес. Увидел жену лешего. Схватил ее за гриву и приволок домой. Пришел домой, на печь толкнул [ее].

— Вот вам, — говорит, — мать.

Поп хочет его погубить и посылает к попам других деревень требовать несуществующие долги. У одного триста, у другого шестьсот, у третьего девятьсот — поп называет тех попов.

Работник медведя запряг, жену лешего посадил ямщиком, водяного усадил рядом с собой, поехал. Едет, пришел к попу:

— Отдай долг, — говорит.

Поп объясняет:

— Нет ведь никакого долга.

Приезжает к другому попу, а тот тоже не признается. Приезжает к третьему. Собрались три попа и начали работника хлестать. А работник свое войско двинул: медведю приказал валить, водяному — таскать. Бросились они на попов.

— Избавь, братец, дадим денег сколько угодно!

Да и позвал парень своих зверей обратно, получил тысячу восемьсот рублей денег и поехал к попу. Приехал с деньгами к попу. Медведя поставил во дворе, а водяного с женой лешего толкнул на печь. Накормил своих зверей. А поп больше не смеет в избу зайти. Переспали они ночь. Поп говорит жене:

— Придется нам завтра бежать, иначе от него не избавиться.

А работник все слышит. Поп приготовил большой кошель денег, другой — еды, поставил в углу в сених. Легли они все спать. «Когда уснет, тогда и уйдем», — думает поп. Работник пошел, из большого кошеля деньги высыпал, сам в кошель. Поп ночью встает: «Теперь пошли», — и навалили кошель на спину. Шли, шли, начало светать. Поп говорит:

— Поотдохнем, теперь уж не догонит.

А работник из кошеля тихонько кричит: «Подождите!».

— Вот черт, уже догоняет. Беги, жена!

Побежали. Добежали до берега реки. Тут остановились, не могли больше бежать. Работник выскочил из кошеля:

— Так вы тут?

Поели тут. Легли спать. Работник будто уснул. Поп встает, [говорит жене]:

— Пусть он будет с краю. Я как тебе скажу «пихни», ты столкни его в воду.

Легли спать. С краю, у берега, работник, потом попадьё и поп. Поп с попадьёй устали и заснули. Работник встал и перешел на другую сторону, толкнул попа в бок: «пихни», — поп жену и столкнул с берега в реку. Работник встает:

— Зачем же ты жену в воду бросил? Жалко ли тебе жену?

— Будто не жалко!

Работник попа пинком в зад: коли жалко, то иди следом.

---

76

Oli ennen muailmas pappi. Akka työnsi papin kasakkua palkkuamah kylästä. Hänellä kun sielä mečas tulou mies vastah, kyşyy şiltä papilta:

— Kunne sie läksit?

Pappi şano, jotta hän läksi työmieştä palkkuamah.

— Ota miut, — şanou mies.

Pappi kyşyy:

— Mi şiula on nimi?

— Matti, — vastai mies.

— Ei akka käşkenyt Matti-nimistä kasakkua palkata.

Ta lähettih yks yhellä päin, toini toisella päin. Se şama mies kierti meccie myöt'e tuas vastah. Tuas kyşyy:

— Kunne sie mänet, pappi?

— No mänen kasakkua palkkuamah. Mi şiula on nimi?

Mies şanou:

— Miula on nimi Matti.

Niin tuas ei palkannun Matti-nimistä, i lähettih yks yhellä päin i toini toisella päin. Şamani mies kierti kolmannen kerran papilla vastah. Tuas kyşy pappi nimen, şe şanou:

— Miula on Matti nimi.

— No eikö tiäl ole muunnimisie miehie, kun kaikki ollah Matti-nimiset miehet?

Tai palkkuau şen kasakaksi. Männäh kotih, i vief sen akan luokse se pappi kaşakan. Kun ruvetah muate, toisessa huoneheşsa on pappi, a toisessa kaşakka. Kaşakka mänöy oven luo kuuntelomah, mitä hyö tuumaijah. Se akka kyşyy papilta:

— Mipä şillä on nimi kaşakalla?

— Şillä on Matti nimi.

— Oho pappi, mimmosen cuuton luait, kun palkkasit Matti-nimisen kasakan. Sen kera tässä miula nyt loppu tulou. Kun sie nouset huomeneksella, sano hänellä — anna mänöy meccäh, sielä on kontie syöryn mejän lehmän, nin kontie syöy hänet. Siitä myö piäsemmä kasakasta.

Huomeneksella isäntä ja kasakka juuvvah kahvi. Kasakka kysyy:

— Mitä nyt on työtä?

Pappi sanou:

— Kun meilä on jäänyn musta lehmä yöksi meccäh, kun sen voisit suaha.

No, kun mänöy sinne, sielä kontie viäntäy juurie. Hiän viänti vican ta pani kontiella päicet piäh, veti sen kontien tallih, mäni pirttih i sanou sillä akalla:

— Mäne nyt lypsä se musta lehmä, se on tanhuošsa nyt.

Akka kun mänöy lypsämäh, sielä kontie on syöryn kaikki lehmät. Siitä tuas ruvetah muate. Akka i sanou papilla:

— Johan mie sanoin, jotta ei pie ottua Matti-nimistä kasakkaa ruatoh. Nyt kun nouset huomeneksella, nin viijen viršän piässä on lampi. Lammissa sielä on vetehini. No kun mie olen nähnyyn unissa, jotta sielä on siun tuaton hopieristi kirvonnun sinne veteh. Kun kasakka mänöy sitä suamah, nin sinne hiän i joutuu.

Huomeneksella toimittau käymäh ristiie lampih. Lammin laijalla on hyvin suuri kivikkövuara. Kasakka alkau kive paukuttua sinne järveh vetehisen piällä. Vetehini työntäy poikah kaccomah, ken sielä lykkiy kive. Sanou se vetehisen poika:

— No mitä sie nyt Matti ruat, kun kive lykit järveh i tahot tappua miät?

— Nu kun et tuone sitä hopieristie, mi on tuaton risti, nin täh päiväh loppuu teijän elämä.

Antau se poika omah ristih Matilla: mäne nyt papin luokše rissin kera.

Tuas ruvettih muate. Akka i sanou papilla:

— Kaco sie, nyt jo vetehisen rissin toi. Pitäy se tappua tahi työntyä koko kylästä pois.

Huomeneksella noussah makuamasta. Pappi sanou kasakalla:

— Ota sie mitä tahot, vain mäne poikes.

Kasakka sanou:

— Kun vuosipalkan antanetta, nin siitä lähen pois.

No pappi anto sen palkan — voit lähtie poikes.

— No kun sie annat sen palkan, nin onko siula pahua rekie antua miula? Vielä kysy listiet rekeh, pappi neki anto. Siitä kysyy vielä suurta hiilivakkua. Siitä hiän panou sen hiilivakan kojuksi rekeh i lähtöy ajamah. Kontien panou heposeksi, vetehisen pojan panou ajamah kontieta. Vetehisen pojan pitäy ajua kaupunkih cuarin ikkunojen alacci. Cuari kaccou: no ken tuo on matkalaini, kun kontie on heposena, vetehini ajamassa? Cuari sanou:

— Kenpä sie olet matkalaini?

A Matti sanou:

— Mie olen muailman pohatteri, ympäri muailmaa kiertelen.

Čuari sanou:

— Tule tänne sisällä, on miulaki ruatuo.

No hiän mänöy sinne sisällä i sanou:

— Minne miun heposet joutuu?

Čuari anto avaimet, i hiän suatto heposen tanhuoh. Čuari sanou:

— Kun kolmepiähini smeja tahtou tyttären ottua, kun sen voisit piästyä.

Matti tuumuau:

— Kyllä se piäsöy, kun kolmesatua rupl'ua annat palkkua. Nyt mäne sie seppäh, — sanou Matti. — Pitäy tavottua kolmepuutahini lakki piäh i kolmepuutahini vasara, kolmepuutahini alasin — kaikki rautaset, ja vielä pitäis suaha kolmepuutahiset kortit miula smejan kera korttie lyyvä.

Tyttö viijäh takahuoneheh muate, Matti rupei etuhuoneheh maquamah. Kun kaikki ruvettih makuamah, pantih kolme tuohusta palamah stolalla. Matti ottau ne kortit ja kaccelou. Tulou vähän ajan perästä se smeja tyttyö ottamah. Näköy Matilla kiässä kortit. Sanou Matti:

— On tässä vanhat kortit, ja kun ei ole kumppanimestä peluamah, nin yksin peluan.

Ruvettih hyö peluamah. Kumppani kattau kolme korttie i voittau, se prinkkuau kolme kertua occah. Hyö pelatah. Matti i voitti smejan. Smeja kun panou silmät umpeh, nin Matti kolme kertua lyöy pal'l'alla, smeja sen jotta piäsi mereh pakoh. Huomeneksella čuari sanou:

— Mänkyä suakua se mies ta tyttö poikes, naverno on syöryn ne smeja.

Merestä annettih tieto, jotta pitäy antua tytär keskimmäisellä vel'l'ellä, kun ei suanun nuorin. Tuas čuari pyytäy piästyä se tyttö. Matti sanou:

— Kun annatta kuusisatua rupl'ua, nin piässän.

Čuari anto i tavotti nyt kuusipuutahiset vehkehet. Matti vuottau uutta šenihyä. Kun tuli smeja, i sen voitti samalla keinoin, i smeja pakeni mereh. Čuari tuas tuumuau:

— Nyt se on vienyn tyttären, mänkyä keräkkyä luut pois.

Čuaril annettih tieto, jotta tulou yheksänpäini smeja ottamah.

Čuari pyytäy Mattie piästyä tyttö petašta. Matti sanou: kyllä hiän piästäy, no pitäy antua tyttö hänellä akaksi.

Matti tuas luajitti yheksänpuutahisen vasaran. Vielä oli rautaukko tavottu i läpi seinästä oli pantu kiini rautalankoilla. Tuas tuli smeja, yheksänpiähini, vihasena i rupei peluamah korttie. Smeja jo rupei voittamah, a rautani ukko rupei nakramah. Se sanou:

— Kenpä se on stolan piässä vanha ukko?

Matti sanou:

— Se on miun tuatto, se nakrau silma, kun sie häviet.

Smeja sanou:

— Kyllä heittäy nakrannan, en mie lähe kun suuh tuolla ukolla [?] Ja kun se puuttu smeja suuhu ukolla, Matti löi sitä yheksänpuutahisella pal'l'alla occah, i siitä smeja vei seinät i ukon mereh. Cuari sanou:

— Oli kova rähinä yöllä, nyt se on vienyn tyttären.

No tullah tervehenä poikes, siitä pietäh hiät i annetah Matilla se cuarin tyttö. Pannah Matti cuariksi. Matti sanou:

— Hyvä on kun miut panit cuariksi, se rautani ukko pitäy suaha merestä. Pitäy olla yheksäntuhatta saltattua, ennen kun mie lähen, i yheksän kuukauven ruuvat pitäy panna niillä matkah, yheksäntuhatta syltä rautacieppie pitäy olla matassa.

Kyllä se väkie i tavarua on, no laivua ei ole, a Matti sanou: «Kunhan tulou valmeheksi, kyllä laivat löytyy». Matti mäni rannalla, löi kolme kertua merta ristih, i tuli suuri laiva rantah i lastiat [?] oli sielä. Sano sillä laivalla:

— Nyt sie suat lentyä yli meriä ta maita. Lennä sih kohtah, misssä on ukko meren pohjassa.

Se lenti kaksi merta ja kolmanella se laiva pietty. Matti sano:

— No ken sinne ruohtiu männä meren pohjah rautaukkuo suamah?.. A mie kun lähen ice i liikutan cieppie, nin työ nostakkua pois sieltä.

Saltatat vassattih: no kyllä hyö nossetah. Suatih ciepillä meren pohjah. Se mäni justih talon piällä. Mäni talon siämeh, sielä on vanha akka, a seinäh on lyöty [?] vanha ukko. Akka sanou:

— Miehet on mänty viinua suamah, kun tulou pruasniekka, tuuvah yheksän tynnyrie viinua.

Pojat tultih eikä suatu viinua. Akka sanou:

— Kun oli semmoni mies, se olis suanun vaikka kuin paljon viinua.

— No mitä et piettän sitä? — sanottih pojat.

— Mistä mie tiesin, jotta työ että tuo viinua.

Pojat tuas lähettih viinua eccimäh. Tuas Matti i mänöy akan luokse i kyssä:

— Kunne siun pojat mäntih?

Akka sanou:

— Viinan eccoh.

— Oho, — sanou Matti, — mie kyllä sitä voin keittyä. Anna vain suuri astie.

Akka anto suuren astien, lammin kokosen. Matti rupei keittämäh viinua. Ruttoh joutu hänen viina. Pojat tultih, ei suatu viinua. Akka heilä sanou:

— No kun nyt tästä liikutatta, suatta siitä viinua.

Se kun maisto sitä, sih i kuantu, kuoli. Toini kun maisteli, siihe i kuoli. Yheksänpäini kun juoksi, tuas kuantu. Kaikki vellet i kuoliti.

Matti mäni akkua pyytämäh sitä viinua juomah, i akan kuolettau, i vanhan ukon. Siitä ottau rautaukon, liikuttau cieppie, i saltatat nošsetah häntä laivah. Siitä mänöy takasin kaupunkih. Vetehisen heitti takasin lampih, kontien piästi, a iče rupei elämäh cuarin tyttären kera.

## 76. [ПОП И РАБОТНИК]

Был на свете поп. Жена послала попа в деревню нанимать работника. Встречается ему в лесу человек, спрашивает у попа:

— Куда ты пошел?

Поп сказал, что он пошел работника нанимать.

— Возьми меня, — говорит человек.

Поп спрашивает:

— Как тебя зовут?

— Матти, — ответил человек.

— Жена не велела нанимать работника по имени Матти.

И пошли один в одну, другой в другую сторону. Тот человек пошел лесом в обход и опять вышел навстречу попу. Опять спрашивает:

— Куда идешь, поп?

— Иду работника нанимать. Как тебя зовут?

Человек говорит:

— Меня зовут Матти.

Так опять поп не взял работника по имени Матти, и пошли один в одну, другой в другую сторону. Тот человек в третий раз вышел попу навстречу. Опять поп спрашивает имя, тот говорит:

— Меня зовут Матти.

— Неужели здесь всех мужчин зовут Матти, и других имен нет?

И нанял его в работники. Пошли домой, и привел поп к жене этого работника. Легли спать, поп [с женой] в одной комнате, работник в другой. Работник подошел к дверям подслушать, о чем те говорят. Жена спрашивает у попа:

— Как этого работника зовут?

— Его зовут Матти.

— Ох ты, поп, что ты наделал — нанял работника по имени Матти на мою погибель. Утром как встанешь, скажи ему — пусть идет в лес, там медведь задрал нашу корову, так медведь и его съест. Так мы от работника избавимся.

Утром хозяин и работник попили кофе. Работник спрашивает:

— Какая мне будет работа?



Поп говорит:

— У нас черная корова осталась на ночь в лесу, вот если бы ты ее нашел.

Ну, пошел в лес, а там медведь корни vorочает. Он [работник] скрутил из ветки уздечку и надел на медведя, привел медведя в конюшню, пришел в избу и говорит попадье:

— Иди подои ту черную корову, она во дворе теперь.

Попадья как пошла доить, а там медведь всех коров уже съел. Потом опять легли спать. Жена и говорит попу:

— Я же ведь говорила, что не бери работника по имени Матти. Теперь как утром встанешь, то [дай ему задание]. За пять верст есть ламба, в той ламбе живет водяной. Мне во сне приснилось, что серебряный крест твоего отца упал в ту ламбу. Работник пойдет его доставать, там и останется.

Посылает [поп] утром [работника] на ламбу за крестом. На берегу ламбы большущая каменная гора. Работник начинает бросать камни в воду на голову водяному. Водяной посылает своего сына посмотреть, кто там камни бросает. Говорит сын водяного:

— Что ты, Матти, делаешь, почему камни бросаешь в озеро и нас убить хочешь?

— Если не принесешь серебряного креста, который уронил отец попа, то сегодня жизни вашей конец будет.

Отдал сын водяного свой крест Матти: иди к попу с крестом.

Опять легли спать. Жена и говорит попу:

— Смотри-ка ты, теперь крест водяного принес. Надо его убить или же прогнать совсем из деревни.

Утром встают. Поп говорит работнику:

— Возьми что хочешь, только уходи.

Работник говорит:

— Если годичный заработок дашь, то тогда уйду.

Ну, поп дал ему годичный заработок: можешь, мол, уходить.

— Ну, раз ты даешь мне заработок, то не дашь ли еще старые сани мне?

Еще попросил большой короб, в котором уголь держат. Сделал из короба кибитку и поехал. Медведя запряг вместо лошади, сына водяного посадил кучером. Сын водяного погоняет медведя по городу мимо царских окон. Царь смотрит — что это за ездок: медведь вместо лошади, а водяной погоняет. Царь говорит:

— Что ты за путник?

А Матти говорит:

— Я богатырь, объезжаю белый свет.

Царь говорит:

— Заходи в дом, у меня тоже найдется работа.

Ну, он заходит и говорит:

— Куда мне коня поставить?

Царь дал ключи, и он поставил коня во дворе. Царь говорит:

— Вот трехголовый змей хочет взять мою дочь, так если бы ты смог ее спасти.

Матти прикинул умом:

— Спасу, если дашь триста рублей за труды. Теперь иди к кузнецу, — говорит Матти. — Надо сделать трехпудовую шапку мне на голову, трехпудовый молот, трехпудовую наковальню — все из железа, и еще надо бы достать трехпудовые карты, со змеем в карты играть.

Девушку увели в комнату спать, Матти остался в передней. Когда все улеглись, зажгли на столе три свечи. Матти взял те карты и разглядывает их. Немного погодя приходит тот змей за девушкой. Видит — у Матти в руках карты. Матти говорит:

— Есть тут старые карты, но нет товарища, с кем бы поиграть, так один играю.

Стали они играть. Кто три карты покроет и выиграет, тот дает другому три щелчка в лоб. Играют они. Матти и выиграл. Змей как глаза закрыл, Матти три раза ударил по лбу молотом — змей едва убежал в море. Утром царь говорит:

— Идите соберите кости дочери и того человека, наверно уже змей их съел.

Из моря пришла весть, что надо отдать дочь среднему брату, коли младшему не досталась. Опять царь просит Матти спасти дочь. Матти говорит:

— Если дадите шестьсот рублей, то спасу.

Царь дал деньги и велел сделать шестипудовые принадлежности. Матти ждет нового жениха. Пришел змей, Матти его таким же способом одолел, и змей убежал в море. Царь опять говорит:

— Уже наверно унес [змея] дочь, идите соберите кости.

Царю дали знать, что девятиголовый змей придет за дочерью. Царь опять просит Матти выручить дочь из беды. Матти говорит, что он выручит, но надо отдать дочь ему в жены.

Матти велел сделать девятипудовый молот. Еще сделали железного старика и прикрепили его к стене железной проволокой. Пришел змей, девятиголовый, злой, и стали они играть в карты. Змей уже начал было выигрывать, а железный старик рассмеялся. Змей говорит:

— Кто ээрт старик за столом?

Матти говорит:

— Это мой отец, он смеется над тобой, что ты проигрываешь.

Змей говорит:

— Перестанет смеяться, когда я ему в рот залезу.

Как попал змей в челюсти железному старику, Матти ударил его [змея] по лбу девятипудовым молотом, так что змей унес с собой в море и стены, и старика.

Царь говорит:

— Ночью был большой шум, наверно теперь унес дочь.

А они вернулись живы-здоровы, потом сыграли свадьбу и выдали за Матти царскую дочь. Посадили Матти царем. Матти говорит:

— Хорошо, что меня посадили царем: того железного старика надо вытащить из моря. Надо девять тысяч солдат и еды им на девять месяцев, девять тысяч сажень железной цепи надо взять с собой.

Люди и все, что надо с собой, найдутся, но корабля нет. А Матти говорит: «Когда все будет готово, так корабли найдутся». Матти пошел на берег моря, ударил три раза крест-накрест по воде, и к берегу приплыл большой корабль. Сказал этому кораблю:

— Теперь можешь лететь через моря и земли к тому месту, где на дне моря находится железный старик.

Корабль перелетел два моря и на третьем остановился. Матти сказал:

— Ну, кто отважится спуститься на дно за железным стариком? Но я сам отправлюсь, и когда я дерну за цепь, то вы меня поднимите.

Солдаты ответили: они, конечно, поднимут. Спустили его на цепи на дно моря. Он как раз опустился на дом. Зашел в дом, там старая старуха, а к стене прибит [?] старый старик. Старуха говорит:

— Сыновья пошли искать вина к празднику, девять бочек вина принесут.

Сыновья вернулись, вина не достали. Старуха говорит:

— Здесь был такой человек, что мог бы достать сколько угодно вина.

— Так почему же ты его не задержала? — сказали сыновья.

— Откуда же я знала, что вы не принесете вина.

Сыновья опять пошли искать вина. Опять Матти идет к старухе и спрашивает:

— Куда твои сыновья ушли?

— Старуха говорит:

— Вина искать.

— Ох-хо, — говорит Матти, — я могу варить вино. Дай только большую посудину.

Старуха дала большую посудину, величиной с ламбу. Матти начал варить вино. Быстро сварилось его вино. Сыновья старухи пришли, не достали вина. Старуха говорит им:

— Вот вам вина сколько угодно.

Один как попробовал — тут и упал, умер. Второй попробовал — тут же умер. Десятиголовый подбежал, тоже упал. Все братья и умерли. Матти попросил старуху попробовать вина — и старуху умертвил, и старика. Потом взял железного старика, дернул за цепь, и солдаты подняли его на корабль. Потом вернулся в город. Водяного бросил обратно в ламбу, медведя отпустил, а сам стал жить с царской дочерью.

## 77. PAPPISTARINA

Kuolou pappi. Lähtöy diekka pappie eëcimäh. Tulou muzikka vastah. Diekka sanou:

— T'erveh, muzikka. Kunne mänet?

Heen sanou:

— Mie mänen kazakaksi palkkoot'emah.

Diekka sanou:

— Rubie papiksi.

Heen sanou:

— Mie i kird'oo en tiijä.

Täh heen sanou:

— Meen alttarissa hos midä huhuo, ni ken ni midä ei malta.

Nu i läksi muzikka papiksi. Muuda ni midä ei malta pajattoo, vain yhtä: «Matkoou muzikka dorogoo myö, tulou diekka vastah: «T'erveh, muzikka, kunne mänet?» — «Mie mänen kazakaksi palkkoot'emah». — «Rubie papiksi». Heen sanou: «Mie en ni kird'oo malta». Heen sanou: «Meen alttarissa hos midä huhuo, ni ken ni midä ei malta».

Matkoou kupča kylästä läbi, mäni papin luoksi, sanou:

— Bat'uska, pidäis miula mol'ebinoo pajattoo.

A pappi sanou:

— Mol'ebinat oldih da proidittih, a pan'ehidat d'eedih, da viizi rubl'oo maksetah.

Kupča mänöy Petroskoih da mänöy arhir'ein luoksi, sanou:

— Tahoin mol'ebinan pajatattoo, a pappi sanou: «Mol'ebinat proidittih, a pan'ehidat viizi rubl'oo maksetah».

Rubei arhir'ei kačcomah kniiigoista i nägöy, sto pappi on d'o mäne tiijä konža kuollun, a zoolovenja tulou.

Lähtöy arhir'ei pappie kačcomah. Tuli, obied'n'an sluzittih, ni pappi nosti rissin da sanou:

— Kun, d'umala, meen kuldaizella vanhimmalla ana kuldaine karietta, a peucoilla tuhanzin rublin d'engoo!

A arhir'ei rohahti nagramah:

— Tämä vasta pappi, kun kuldaista karietoo moliu, a toizet vai pit'kee igee.

I d'ätti papiksi iel'leh.

## 77. СКАЗКА О ПОПЕ

Умирает поп. Отправляется дьячок попа искать. Встречается ему мужик. Дьячок говорит:

— Здравствуй, мужик. Куда идешь?

Тот говорит:

— Иду наниматься в работники.

Дьячок говорит:

— Будь попом.

Тот говорит:

— Я и читать не умею.

Он [дьячок] говорит:

— В нашей церкви что ни говори, никто ничего не поймет.

Ну пошел мужик служить попом. Ничего не умеет читать, только одно: «Идет мужик по дороге, встречается ему дьячок: „Здравствуй, мужик, куда идешь?“ — „Иду наниматься в работники“. — „Будь попом“. Он говорит: „Я и читать не умею“. Тот говорит: „В нашей церкви что ни говори, никто ничего не поймет“».

Проезжает через деревню купец, зашел к попу, говорит:

— Батюшка, надо бы мне молебен отслужить.

А поп говорит:

— Молебны были и прошли, только панихиды остались, по пять рублей стоят.

Купец приезжает в Петрозаводск и идет к архиерею, говорит:

— Хотел молебен заказать, а поп говорит: «Молебны кончились, а панихиды пять рублей стоят».

Стал архиерей смотреть по книгам и видит, что поп уже поди знай когда умер, а жалованье идет.

Поехал архиерей к тому попу. Приехал, обедню отслужили, поп крест поднял и говорит:

— Дай бог нашему дорогому преосвященному золотую карету, а певчим по тысяче рублей денег!

Архиерей как расхохочется:

— Вот это поп — молит о золотой карете, а другие только «многия лета».

И оставил того и впредь попом.

## 78. VAČČA ITKÖY

Oli ennen pohatan talon poika. Hiän läksi naimah, ottamah naista toisesta kylästä. Otti pohatasta talosta morsiemien. Hyö savotittih hyvin elämäh. Siitä kun rupieu hänen kera elämäh, ka kuulou, kun naisella vačča itköy. Toisena päivänä vielä kuuntelou, jotta vieläkö rupieu vacča itkömäh. A naini vain makuau. Mies ajattelou, jotta mitä tuo on cuutuo, kun vacča itköy.

Kolmantena päivänä mänöy leskiakkah. Leskiakka kysyy häneltä:

— Mitein savotit elämäh nuoren morsiemien kera?

— No mitäs tuossa on elämässä, hyvin myö savotima elämäh, vain mi ollou cuuto: naini ice makuau, ei tiijä tästä ilmašta, a vacča itköy.

— Oh, poika rukka, kun vacca itköy, ka se ei konsana hyvyä tiijä. Hänellä, — sanou, — nyt kun tulou, ka rupieu kolme vuotta kylässä käymäh, kul'aiccemah i menijän i tulijan kera. Siitä hiän rupieu kolme vuotta varastamah. Siitä hot' suahah i kiini, jo häntä nakasuijah i tyrmäs issutetah, a hiän ei siitä huoli, vain varastau. Kolme vuotta varastau. Siitä kun sen kolme vuotta varastau, siitä kolme vuotta tuattol'assa märkyä kakrua jauhou. Kyllä sie siitä häpietä ta huikieta niät. No jos sie häntä kieltäsit tai löisit, ei se siitä parantuis, hiän sen kolme vuotta ruatau joka lajie.

Hiän i rupieu siitä kul'aiccemah: on yötä pois, netälin on pois. Häntä [poikua] jo muamo kiruou.

— Vot ku jätit naisen, laisit noin juoksentelomah.

— Oh, muamo, kun sie et tiijä ni mitä, nin hot' elä virka ni mitä.

Sen kolme vuotta kun kul'aicci, i varastamah rupei. Varastau kolme vuotta, a mies ei sano ni mitä. Muamo sanou pojalla, jotta «mäne ota uusi naini, vet meilä tarvičcou ruatajie». Poika sanou, jotta tulou se aika, ottau hiän vielä.

No kun eli ne kolme vuotta, sanou — no, nyt hiän lähtöy naista käymäh. Otti hänen kaikki ne hyvät vuattiet, mi oli lippahassa, tai istuutu rekeh i läksi ajamah. Mäni sinne taloh. Häntä ei tunneta: eikä naini, eikä anoppi. Hiän pyrkiy yöksi, jotta «saisko tässä matkalaini yötä olla?».

No miks ei sais. Tai on hiän siinä iltua i sanou: eikö hiän hyvässä talossa sais kilyh käyvä?

— En ole pitkäh aikah kylpen, niin haluttais kylie.

— Kyllä, — sanotah, — miks ei.

Tai nossatetah piikua, sanotah:

— Piika, nouse pois, lämmitä kily, vieras tahtou kilyh.

Hiän siitä hyppäi ylös tai mäni, tai pani kilyn lämpiemäh. Siinä välissä šolahtau vielä karsinah jauhomah. Ei malta olla joutavana, vaikka jo pani kilyn lämpiemäh. Tuas juoksi kačcomah kilyö. I kily on valmis. Tai juoksou pirttih sanomah, jotta «mänyä kilyh, kily on valmis».

Isäntä sanou:

— Mänkäh vieras iellä, myö siitä jälestä käymmä.

Vieras suorieu kilyh i sanou:

— Eikö teilä ole sitä mallie, kun meijän puolessa, jotta löylyn lyöjä pietäh kilyssä?

Sanotah:

— Meilä ei kyllä ole, vain kun piika lähtenöy, niin emmä kiellä.

Häntä nossatetah, jotta «nouse sieltä, vieras tahtou löylyn löyjän». Tai lähettih kilyh, tai hiän siitä reistä näppäi kapsäkin tai mäntih kilyh.

Hiän siitä vašsat hautou i sanou:

- Eiköhän emäntä jaksauvu ta rupie kylpömäh?
- En, ei meilä ole sitä mallie.
- Mie ušon, jotta sie vielä tänä iltana rupiet kylpömäh.
- En mie jaksauvu.

No tai nousi siitä mies i kylpi, kylpi, tai solahiti lattiella, istuutu skammilla. Kučuu häntä piätä ta selkyä pešömäh. Naini kaiken ajan niin kuin varajau, oven suussa pyöriy, no kuitenkin mäni, tai pesi piän i selän. Hiän miehellä pani tasah vettä, jotta valautuo. Mies mäni tai otti kapsäkistä käsipaikan, i otti tai levitti kapsäkin lattiella. Alko hänen niitä vuatteita nossella: sulkkupaikkoja, sulkkukostoja, sulkkuvartukkoja, i kysyy, jotta «etkö sie ole näitä hot'konša pitän tai etkö tunne omakses?»

— En tiijä, oli sitä miula ennen samanmoisija, no vieläkö niitä olis olemassa vai ei.

Mies sanou:

— Tulehan kaccomah tarkempah, eiköhän hot' siun olla?

Tai näyttäy hänen nimikirjutuksie. Rupieu nimie kaccomah, ka silloin muhahtau murehen suu, tai tarttuu miehellä kaklah i kysyy:

— Etkö ole hot' miun mies?

— Enkö mie häntä olle. Mäne nyt hyvin ruttoh, nouse lauvoilla ta peševvy ta šuorie. Pane nämä vuattiet piällä.

Hiän pešety i siitä rupei häntä suorittamah niih vuatteih. Siitä lähettih pirttih mänömäh, a vanhemmat kacotah ikkunasta i sanotah:

— Niin olis kuin miän entini tytär tulis.

Kun mäntih pirttih, ka akka ta ukko lankettih, niin pölässyttih, jotta kun hyö on omua tytärtä kiusattu kolme vuotta märkyä kakrua jauhomassa. Mies siitä mäni ta selitti kaikki, jotta «elkyä niin äijälti hermostukkaa, jotta tämä on tiän tytär, a mie tiän vävy. No mie kun tiesin asien hyvin, niin mie en virkkan ni mitä, kun käršin, anna täyttäy kaikki tempu».

Siitä hyö yön seutu syyväh, juuvah, kostitah. Huomeneksella läksi hiän pois, val'l'asti heposen. Kolme hevoista vielä talon puolesta hänellä annettih ta kolme kuormua hyvyttä pantih.

No kun istuuvuttih, ka heposet noustih pistyh, ei lähetä. No, mi kumma, kun ei heposet lähetä? Hiän sanou naisella, jotta «vieläkö šiula jäi jauhetta karsinah?».

— Vielä jäi hyvin vähäni.

— No mäne piässä ne kiven silmästä läpi.

Hiän läksi sinne mänömäh. Vanhemmat ei laseta.

— Sie olet jo tovol'nän sitä työtä ruatan. Kolme vuotta olet kiven puuta pyörittän.

Mäni kuit'enki, kiven kohotti, kuato ne ropehesta kakrat sinne. Siitä mäni rekeh, piästih heposet lähtemäh.

No tultih kotih. Otettih ukko ta akka morsienta vastah. Ei tiijeta, jotta onko se uusi vain vanha, a poika ei šanon sen parem-

min, jotta hiän oli uuden vain vanhan tuonun. Siitä piästih elämäh hyvvä elösta, alko hyvin totella talon väkie, tai ruatau kuin slie-tuiccou.

## 78. ЖИВОТ ПЛАЧЕТ

Был раньше в богатом доме сын. Он поехал жениться, брать жену из другой деревни. Взял молодуху из богатого дома. Они начали хорошо жить. Потом как зажил с ней, слышит, что у жены живот плачет. На второй день опять слушает, что плачет ли еще в животе. А жена все спит. Муж думает, мол, что это за чудо — живот плачет. На третий день идет к старухе-вдове. Старуха-вдова спрашивает у него:

— Как начал жить с молодой женой?

— Что нам не жить, хорошо мы начали жить, но какие-то чудеса творятся: жена сама спит, ничего не ведает, а в животе у нее плачет.

— Ох, бедняга, когда живот плачет, то это всегда не к добру. С ней, — говорит, — случится теперь такое, что будет три года по деревне бегать, гулять со встречным и поперечным. Потом она будет три года красть. И хоть ее и поймают, накажут и в тюрьму посадят, она все будет красть. Три года будет красть. Потом как поворует три года, потом будет три года в доме своего отца сырой овес молоть. Натерпишься ты из-за нее стыда и позора. Но если бы ты ее уговаривал и бил, то от этого лучше не стало бы, она все же по три года будет это делать.

Вот она и начинает гулять: одну ночь нет дома, неделю нет. Уже мать сына ругает:

— Вот как распустил жену, даешь ей бегать.

— Ох, мать, коли ты ничего не знаешь, то и не говорила бы ничего.

Эти три года как прогуляла, потом воровать стала. Ворует три года, а муж ничего не говорит. Мать говорит сыну, что «поди возьми новую жену, ведь нам нужна работница». Сын говорит, что придет еще время, еще он женится.

Ну, прошли те три года, и говорит [сын]: ну, теперь он поедет за женой. Взял он всю хорошую одежду, что было в сундуке и сел в сани да поехал. Приехал в тот дом. Его не узнают ни жена, ни теща. Он просится переночевать, что, мол, нельзя ли здесь путнику ночь переспать.

Ну, почему бы и нельзя? И сидит он тут вечером и говорит, нельзя ли ему в гостеприимном доме в баню сходить:

— Давно не парился, очень хотелось бы в баню.

— Конечно, — говорят, — почему бы и нет.

И будят служанку, говорят:

— Служанка, вставай, затопи баню, гость хочет попариться.

Она тут вскочила и вышла, и затопила баню. Тут между делом



еще спускается в подполье помолоть: не может сидеть сложа руки, хоть уже баню затопила. Побежала посмотреть баню, а баня уже готова. И прибегает в избу сказать, что «идите в баню, баня готова».

Хозяин говорит:

— Пусть гость идет вперед, мы потом после сходим.

Гость собирается в баню и говорит:

— У вас нет такого обычая, как в нашей стороне, что в бане кто-нибудь пару поддает?

Говорят:

— У нас-то нет обычая, но если служанка пойдет, то мы не запрещаем.

Ее будят, что «вставай, гостю надо пару поддавать». И пошли в баню, и он из саней схватил чемодан, да и пришли в баню. Он потом веники распарил и говорит:

— Может, хозяйка разденется и будет париться?

— Нет, у нас нет такого обычая.

— Я думаю, что ты еще сегодня вечером будешь париться.

— Нет, я не разденусь.

Ну, и залез муж на полку и парился, парился и спустился на пол, сел на скамью. Зовет ее голову и спину мыть. Жена все время как бы боится, вертится у дверей, но все-таки подошла и вымыла голову и спину. Она начерпала мужу таз воды, чтобы окатиться. Муж пошел и взял из чемодана полотенце и взял да раскрыл чемодан на полу. Начал он вынимать одежду: шелковые платки, шелковые сарафаны, шелковые фартуки и спрашивает, что «ты никогда это не носила и не признаешь своим?».

— Не знаю, были и у меня раньше такие же, но осталось ли еще что-нибудь.

Муж говорит:

— Подойди, рассмотри получше, не твое ли это.

И показывает ее метки. Стала разглядывать вышивку, и тут усмехнулись печальные губы, и бросилась мужу на шею и спрашивает:

— Не мой ли ты муж?

— Как будто да. Иди теперь скорей на полку, вымойся и оденься. Надень эту одежду.

Она вымылась, и потом стал он ее одевать в эту одежду. Потом пошли они в избу, а родители смотрят в окно и говорят:

— Похоже, как будто наша прежняя дочь идет.

Когда зашли в избу, то старик и старуха упали — так испугались, что они свою дочь три года мучили, заставляя сырой овес молоть. Муж пришел и все объяснил, что «не волнуйтесь так сильно, это ваша дочь, а я ваш зять. Но я знал все это дело наперед, поэтому не говорил ничего, а все переносил — пусть она выполнит все положенное».

Потом они ночью едят, пьют, гостят. Утром он уезжает, запряг лошадь. Трех лошадей ему еще из дома дали и три воза добра нагрузили. Когда сели, лошади встали на дыбы, не идут. Что за чудо, почему лошади не идут? Он говорит жене, что «остался ли у тебя еще немолотый овес в подполье?».

— Осталось еще чуть-чуть.

— Ну, иди пропусти это через жернов.

Она пошла туда. Родители не пускают:

— Довольно ты уже эту работу работала. Три года ручку жернова вертела.

Пошла все-таки, подняла жернов, высыпала из короба овес. Потом села в сани, лошади пошли.

Ну, приехали домой. Встретили старик да старуха ее. Не знают, что новая это или старая, а сын тоже не сказал, новую или старую он привез. Потом стали жить хорошей жизнью, стала слушаться всех в доме и работать как следует.

## 79. RUKENEN TÄHKÄ

Oli ennen leskiakka. Hänellä oli yheksän vuuen vanha tyttö. Näköy se tyttö unissah, jotta hiän astuu tietä myö'te ta löytäy rukehen tähkän. Siitä se tähkä alkoi kasvua käsissä ja kasvo niin paljon, jotta hänellä käsissä oli jo kokonaini lyhe. Vanha ukko tulou vastah työllä, sauvan kera köppäsöy. Ukko sanou työllä:

— Tässä on siun scastie, tulet hyvin onnelliseksi.

Siitä ukko kopahuttau häntä olkapiätä vasse, siitä tyttö põlästy ta heräsi.

Tytön kotih tulou rikkahan talon tyttö lapsilikkua eccimäh. Leskiakan tyttö on oikein viisas ja hyvin miellyttävä, kaikki luullah häntä kolmentoista-nelläntoista vanhaksi. Rikas tyttö pyytäy leskiakan tyttö piijakseh. Niin anto akka tyttäreh, ta tytär läksi lapsilikkaksi. Tyttö ruatau jo kaksi-kolme vuotta, ja kaikki ruatau hyvin hyväsesti, isäntäväki hänestä oikein tykätäh, pietäh kun omua tyttöyöh.

Työnnettih tyttö marjah pyhänäpäivänä. Kävelöy sielä ta suau kosjah täyven marjua ta lähtöy jällelläh tulomah. Tieltä löytäy hyvin suuren rukehen tähkän, ta tyttö heti muisti uneh. Tyttö kotih, sanou:

— Marjou sain ta löysin rukehen tähkän.

Puhissetah tähkä isännän kera ta luvetäh jyvät. Siinä oli k sankymmentä kaksi jyvyä. Isäntä ihmettelöy, jotta ei män qhyvyä tähkyä ennen ni nähny. Tyttö sitou jyvät ripakkoh ta isännältä, jotta hiän antais kevyällä työllä muata kylvy at.

Isäntä nakrau horhottau, jotta «vain sen verran kyllä suat peltuo». Tyttö ehtottau isännällä:

— Jos kahessakymmenessä vuuveessa tähkästä tulou niin paljo viljua, jotta voit kylvyä kaikki siun pellot, niin silloin ne pellot tulou miun.

Isäntä nakrau ta sanou:

— Jos kahessakymmenessä vuuveessa ei tule niin paljon jyvie, niin silloin siun pitäy sluusie miula kaksikymmentä vuotta ilman palkkua.

Tyttö ehtottau tehä niistä sopimuksen.

Ensi vuotena kylvi tyttö ne kaheksankymmentä kaksi jyvya. Joka jyvästä kasvo kaheksan, yheksän olkie, ja joka olessa monta tähkyä. Syksyllä tyttö pui ne kaikki ja sai melkein täyven säkin jyvie. (Paperit myös tyttö pani talteh). Niin tyttö kylvi vuuvesta vuoteh vill'ojah, kaheksassatoista vuuveessa tuli niin paljo viljua, jotta sai kylvyä kaikki isännän pellot. Silloin isäntä joutu pois tilalta muailmalla kalikkaiseksi. Tyttö tuli tiluksen isännäksi. Otti sinne muamohki elämäh. Niin eletäh vielä tänä päivänäki, kotva huomenaki.

## 79. РЖАНОЙ КОЛОС

Была раньше вдова. У нее была девятилетняя дочь. Видит эта дочь во сне, что идет она по дороге и находит ржаной колос. Этот колос начал расти у нее в руках и вырос так, что в руках оказался уже целый сноп. Идет ей навстречу старик, с палкой в руках. Старик говорит девочке:

— Это твое счастье, будешь очень счастливой.

Потом старик хлопнул ее по плечу, девочка испугалась и проснулась.

В дом девочки приходит дочь богача искать няньку. Дочь вдовы очень умная и приятная, все думают, что ей тринадцать-четырнадцать лет. Богатая девушка просит дочь вдовы к себе в служанки. Так отдала вдова свою дочь, и дочь пошла в няньки. Девочка работает уже два-три года и все делает очень хорошо, хозяева ее очень любят, обращаются как с родной дочерью.

Отправили девочку в воскресенье в лес за ягодами. Ходит она, набрала полное лукошко ягод и отправляется обратно. На дороге находит очень большой ржаной колос, и девочка сразу вспомнила сон. Девочка приходит домой, говорит:

Ягод набрала и ржаной колос нашла.

Очистили колос с хозяином и посчитали зерна. В нем было двадцать два зерна. Хозяин удивляется, что он никогда и не видел такого большого колоса. Девочка завернула зерна в тряпочку и принесла к хозяину, чтобы он дал весной земли посеять эти зерна. Хозяин говорит, что мол, «уж столько-то земли получишь». Девочка предсказывает хозяину:

— Если за двадцать лет из этого колоса вырастет столько зерна, что можно будет засеять все твои поля, тогда все поля будут мои.

Хозяин смеется и отвечает:

— Если за двадцать лет не будет столько зерна, то тогда тебе надо будет служить у меня двадцать лет бесплатно.

Девочка предложила написать договор.

В первый год она посеяла эти восемьдесят два зерна. Из каждого зерна выросло восемь-девять стеблей, да на каждом стебле несколько колосьев. Осенью девочка обмолотила все и получила почти целый мешок зерна. (Бумаги девочка тоже сохранила). Так девочка сеяла из года в год свое зерно, и за восемнадцать лет вышло столько зерна, что можно было засеять все поля хозяина.

Тогда хозяину пришлось уйти из своей усадьбы, пойти по миру каликой. Девочка стала хозяйкой. Взяла туда и свою мать жить. Так живут еще по сей день, еще и завтра жить будут.

---

## 80. ĆUARIN STARINANŠANOJA

Oli ennenin ĉuari. Hännellä joka päivä piti uusi starinansanoja. Starinansanojan piti aina sanuo šemmosie starinoja, mitä ĉuari ei ennen ollun kuullun. Još ei tietän uusie starinoja, nin silloin starinansanojalta piä leikattih. Joka päivä tuotih aina uusie starinansanojie, no ei ni ken tietän šemmosie starinoja, mitä ĉuari ei olis kuullun.

Tuaš ni eĉitäh starinansanojua, no ni ken ei ruohi lähtie. Täyty yksi pojan pietelsikkä, mi sanou, jotta «mie se kyllä lähen». Ottau tai mänöy ĉuarin luo. Ćuari i viey stuulan ta sanou:

— Sano, prijaateli, starinua.

Poika i alkau sanuo starinua:

— Kun miun ukko ta šiun ukko yhtehistä sarajua luajittih, nin orava päivän juoksi seinähirttä myöt'en. Oletko kuullun?

— En ole kuullun, — sanou ĉuari.

Poika niin ottau ta pois lähtöy. Toisena päivänä tuaš poika tulou ĉuarin luo starinua sanomah. Ćuari tuou stuulan ta sanou, jotta «ala, prijaateli, tuaš sanuo starinua». Poika alkau:

— Kun miun tuatto ta šiun tuatto yhtehistä härkyä kašvatettih, nin piäcky päivän šarvijen välie lenti. Oletko kuullun?

— En ole kuullun, — sanou ĉuari.

Ćuari jo alkau tuumaija, jotta vot on pietelsikkä, mahtau keksie. Ćuari keryäy omat virkamieheh ta sanou niillä:

— Nyt hos mitä sanou poika, nin työ sanokkua, jotta «olemma kuullun».

Kolmantena päivänä, kun poika tulou starinua sanomah, nin cuari tuaš ni kantau stuulan ta sanou:

— Kačo, prijaateli, kun nyt on tultu kuuntelomah kaikki miun virkamiehet, sano nyt hyvä starina.

Poika alkau:

— Siun tuatto kun otti miun tuatolta velkah nelläkymmentä počkua kultua. Olettako kuullun?

Herroilla kun oli annettu miäräys, jotta sanuo: «Olemma kuullun», nin hiän ei auttan muu kuin sanuo: «Olemma kuullun».

— No kun oletta kuullun, nin maksakkua velka, — sanou poika.

Siit otettih ta kerättih kultua kaikilta virkamiehiltä ta cuarilta. Ei löyvetty kuin yksi počkallini. A poika oli rahvahalta kerännyn nelläkymmentä hevoista ta nelläkymmentä počkua, millä kultua vetyä.

— No kyllä se nyt cuari heittäy rahvahan tapannan, — piätteli poika.

## 80. ЦАРСКИЙ СКАЗОЧНИК

Был раньше царь. Ему каждый день надо было нового сказочника. Сказочник должен был рассказывать такие сказки, которых царь раньше не слышал. Если тот не знал новых сказок, то тогда сказочнику отрубали голову. Каждый день приводили все новых сказочников, но никто не знал таких сказок, которых бы царь не слышал.

Опять и ищут сказочника, но никто не смеет идти. Нашелся один парень, сорви-голова [букв. бездельник], который говорит, что «а я вот пойду». Взял да и пошел к царю. Царь приносит ему стул и говорит:

— Расскажи, приятель, сказку.

Парень и начинает сказывать сказку:

— Когда мой дед и твой дед строили сарай, то белке надо было целый день потратить, чтобы пробежать по бревну из конца в конец. Слышал?

— Нет, не слышал, — говорит царь.

Парень взял да и ушел. На второй день парень опять приходит к царю сказки сказывать. Царь опять приносит ему стул и говорит, что «начни-ка, приятель, опять сказывать сказки». Парень начинает:

— Когда мой отец и твой отец вместе растили быка, то ласточке надо было потратить целый день, чтобы пролететь от одного рога до другого. Слышал?

— Нет, не слышал, — говорит царь.

Царь начинает уже думать, что вот бездельник, умеет же выдумывать. Царь созывает своих чиновников и говорит им:

— Теперь что бы парень ни рассказывал, то вы говорите, что уже слышали.

На третий день, когда парень приходит сказки сказывать, царь опять несет стул и говорит:

— Смотри, приятель, теперь все мои чиновники пришли слушать, расскажи теперь хорошую сказку.

Парень начинает:

— Твой отец взял у моего отца в долг сорок бочек золота. Слыхали?

Господам как было приказано, чтобы говорили «слыхали», то им не оставалось ничего, как сказать: «Слыхали».

— Ну, раз слыхали, то платите долг, — говорит парень.

Потом взяли и собрали золото у всех чиновников и у царя. Не нашли больше, как одну бочку. А парень собрал у людей сорок лошадей и сорок бочек, на чем золото вывозить.

— Уж теперь-то царь перестанет людей убивать, — решил парень.





## ПРИМЕЧАНИЯ

В примечаниях к текстам указываются карельские варианты данного сюжета, опубликованные в СССР на карельском, финском и русском языках, а также неопубликованные варианты, имеющиеся в фольклорном фонде Архива Карельского филиала АН СССР. Кроме того, по мере возможности учтены научные публикации карельских сказок учеными и собирателями Финляндии.

В тех случаях, когда публикуемый карельский вариант сюжета по своим специфическим мотивам обнаруживает сходство с отдельными сказками соседних народов, главным образом — русских и финнов, дается ссылка на сборник, где подобная сказка опубликована.

### Сказки о животных

1. *Rero ta ukko kalalla* — Лиса и старик на рыбной ловле. А.—А. 1: записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от М. И. Михеевой, 63 л., уроженки дер. Алозеро района Калевалы. АКФ 22, 56: публикацию данного текста на финском языке см.: Mihejeva, стр. 8—9. Варианты: АКФ 2, 135 (Лоухский р-н); 13, 23; 19, 21; 20, 20 (р-н Калевалы); 71, 68 (Кондопожский р-н); SKS I, 33.

В вариантах, как в карельских, так и в русских и финских, этот сюжет обычно не составляет самостоятельной сказки, а контаминируется с другими сюжетами сказок о лисе и медведе.

2. *Rero ta kontie* — Лиса и медведь. А.—А. 1+2: записала Липкина в 1937 г. в с. Вокнаволок района Калевалы от М. А. Ремшу, 72 л. АКФ 19, 21; варианты — АКФ 2, 135 (Лоухский р-н); 9, 45 (Кемский р-н); 13, 23; 20, 20; 22, 56 (р-н Калевалы); 72, 84 (Кондопожский р-н); 135, 12 (Олонецкий р-н) — с добавлением эпизода «Лиса замазывает голову сметаной». Публикации: KKN I, стр. 14, 148—149; Remsu, стр. 7—8 (публикуемый вариант). В варианте из Олонецкого района вместо медведя появляется волк, в то время как во всех севернокарельских сказках «партнером» лисы выступает медведь. В варианте из Кемского района вместо медведя — заяц. Сказка носит этиологический характер, объясняя, почему заяц не имеет хвоста. Аналогичный финский вариант см.: SKS I, 68.

3. *Kontie, hukka ta roho huuban leikkuussa* — Медведь, волк и лиса делают урожай. — А.—А. 9: самозапись А. Маликиной, 26 л. из дер. Войница района Калевалы, 1947 г. АКФ 18, 88; варианты — АКФ 2, 92 (Лоухский р-н); 13, 23; 20, 20; 22, 52 (р-н Калевалы); 45, 22 (Сегежский р-н); 64, 30 (Медвежьегорский р-н); 142, 25 (Олонецкий р-н).

В вариантах АКФ 13, 23; 20, 20; 22, 52 сюжет о совместной работе контаминируется с другими сюжетами о хитрой лисе. Публикации: SKS I, №№ 41—44, 89; SKS;Т, стр. 390—391 и 391—393; KKN II, стр. 105; KKN III, стр. 84, 148; Mihejeva, стр. 10—13. Сюжет о совместной работе широко распространен в Финляндии (см., например: SKS I, №№ 25, 26, 28, 32, 38), известен также в саамском и эстонском сказочном эпосе. В публикациях русских сказок этот сюжет отсутствует.

4. **Repo, kontie ta jänis** — Лиса, медведь и заяц. А.—А. 9 + 1 + 2 + 3 + 70 (частично): записал В. Кормуев в 1937 г. в дер. Пирттилакша района Калевалы от Е. Антипиной, 65 л. АКФ 13, 23. Подобные варианты с такой же последовательностью контаминированных сюжетов не встречались. Сказка является характерным примером гибкости и подвижности так называемого «эпоса о лисе» в северокарельской традиции. Здесь часты подобные неповторимые контаминации сюжетов о приключениях лисы. Это относится и к финским сказкам о лисе. Ср.: SKS I, №№ 19, 25, 26, 28, 32, 38, 45; SKS<sub>J</sub>T, стр. 373—393.

5. **Ukko, akka ta oava** — Старик, старуха и белка. А.—А. 20B: записала Э. Тимонен в 1947 г. в Петрозаводске от М. И. Михеевой, 63 л., уроженки дер. Алозеро района Калевалы. АКФ 22, 21; варианты — АКФ 18, 89 (р-н Калевалы); SKS I, №№ 12 и 458. В первой сказке вместо белки горностай, во второй — лиса. Сказка SKS I, 12 начинается стихотворной вставкой, которая затем повторяется как ответ на вопрос каждого встречного зверя. В этом варианте, записанном в 1880 г. в дер. Контокки Архангельской губ. (нынешний р-н Калевалы), стихотворная форма вопросов и ответов лучше сохранилась:

Mitä vedät, repo rukka,  
Jäljestäsi jylkyttelet?  
Ukkoa pahoja miestä:  
Pani pihdit pirtin päälle,  
Lautaset lakan etehen,  
Meille metsän juoksijoille,  
Huutehen vilostajille,  
Hämärässä häksäjille,  
Pimeässä pilkkojille,  
Kasteheassa kahlajille,  
Rahakarvan kantajille,  
Itse puuttui pihtilöihin,  
Latsistihe lautasihin.

Что везешь, лисынька,  
За собой тянешь?  
Старика, негодника:  
Поставил клещи на крышу,  
Ловушки перед чердаком —  
Для нас, по лесу бегающих,  
В инее мерзнущих,  
В сумерках плутающих,  
В темноте шмыгающих,  
По росе бредущих,  
Денежный мех носящих, —  
Сам попал в клещи,  
Угодил в ловушки.

Бликий финский вариант см.: SKS I, 38. Сюжет 20B характерен только для карел и финнов; у других народов встречается разновидности сюжета 20A и 20C.

6. **Kurki ja repo kuomakset** — Журавль и лиса — кумовья. А.—А. 60: записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от М. И. Михеевой, 63 л., уроженки дер. Алозеро района Калевалы. АКФ 22, 57. — Публикацию этого же варианта на финском языке см.: Mihejeva, стр. 18—19. Варианты: АКФ 19, 78 (р-н Калевалы); 64, 7 (Сегежский р-н). Публикации: KKN I, стр. 54; Remsu, стр. 12; Конкка, стр. 76—78. Сказка известна в фольклоре многих народов и в многочисленных литературных обработках. Для карельских, как и для финских вариантов, характерен местный колорит: лиса наливает кашлицу на скалу.

7. **Kuren ta revon starina** — Сказка о журавле и лисе. А.—А. 60 + 56A: записал на магнитофон Т. Вайзинен в 1962 г. в с. Ухта района Калевалы от А. Т. Карповой, 54 л. Запись хранится в кабинете звукозаписи Карельского филиала АН СССР, № 212/3.

Обычно эти два сюжета бытуют каждый самостоятельно. Сюжет 56A характерен для прибалтийско-финских народов, в то время как у других европейских народов чаще встречаются разновидности этого сюжета: 56B и С. Карельские варианты сюжета 56A: АКФ 19, 82 (сказка опубликована на карельском языке, см.: Remsu, стр. 9—11, на русском языке — Евсеев, 35 и Пажлаков, стр. 89—90); 22, 55 (р-н Калевалы); 64, 7 (Сегежский р-н). Публикации: SKS I, 82; KKN I, стр. 54. Варианты сюжета А.—А. 60 см. в примечании к тексту № 6. Во всех вариантах сюжета 56A журавль (или ворона) оказывается хитрее лисы. В варианте АКФ 19, 82, записанном от известной сказительницы М. А. Ремшу, конец более логичен. Приводим конец этой сказки в русском переводе:



«Думает лиса, что „как же мне теперь ворону убить, зачем полезла со своими советами?“. Да и пошла на скалу и притворилась мертвой; лежит, вытянув ноги. Ворона летела, смотрит — тут лиса мертвая. И пошла клевать. А лиса поджидает: „Подойдешь ты поближе, так схвачу я тебя“. Да и поймала ворону.

«— Ох ты, мошеница, научила пичужку, чтобы не давала она мне больше птенцов. Теперь я тебя убью за это зло, почему ты полезла со своими советами.

«Ворона говорит:

«— Только не убивай так, как твоя бабушка мою бабушку убила.

«Лиса говорит:

«— Как она убила? Я что-то не слыхала этой истории.

«— Да так, — ворона говорит, — завернула, — говорит, — в бересту и бросила под гору катиться: где осталась рука, где нога, да под конец и голова оторвалась, да так и умерла, — говорит.

«— А вот так я тебя и убью! — говорит лиса.

«И принесла лиса бересту, и завернула в нее ворону, и бросила под гору. А ворона выпорхнула из бересты да крикнула, улетая:

— Нюхай хвост, кума моя,  
хватило ума поймать,  
но не хватило ума съесты!

«Так и улетела ворона. Такой длины сказка».

8. *Ogava, kinnas ta niekla* — Белка, рукавица да игла. А.—А. 90: записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от М. И. Михеевой, 63 л. АКФ 22, 69; варианты — АКФ 12, 29; 12, 48; 18, 86; 20, 26; 23, 7; 29, 101 (р-н Калевалы). Публикации: SKSiT, стр. 411—413; SKS I, 175. Вариант АКФ 20, 26, записанный от М. М. Хотеевой, опубликован в русском переводе; см.: Евсеев, 39. Имеются переводы публикуемого варианта на русский (Конкка, стр. 10—12) и на финский языки (Mihejeva, стр. 20—22). По имеющимся данным, область бытования сюжета ограничена районом Калевалы. Ни у русских, ни у финнов в публикациях этот сюжет не встречается.

9. *Revon starina* — Сказка о лисе. А.—А. 103: записал на магнитофон Р. Пирхонен в 1958 г. в с. Реболы Сегежского района от Е. И. Тимофеевой, 72 л. Запись хранится в кабинете звукозаписи Карельского филиала АН СССР, № 28. Варианты: АКФ 35, 18 (Беломорский р-н); 52, 7 (Сегежский р-н); 63, 15 (Медвежьегорский р-н). Публикации: SKS I, 115 (русский перевод см.: Конкка, стр. 36—38). Все варианты довольно близки друг к другу. Во всех вариантах, за исключением SKS I, 115, действуют звери: лиса, кот, медведь и волк. В вышеуказанном варианте к волку и медведю присоединяется лев. Кроме приводимого текста, расшифрованного с магнитофонной ленты, сказка в исполнении Е. И. Тимофеевой в том же году была записана от руки (АКФ 52, 7). Сравнение этих двух текстов показывает, что записанный от руки текст схематичней, более сжат, в нем отсутствуют повторы, которые в тексте магнитофонной записи придают повествованию характер живой речи. Магнитофонная запись отличается богатством интонаций и выразительностью речи рассказчицы.

10. [Напуганые волки]. А.—А. 125: записал Я. Ругоев в 1937 г. в дер. Венозеро Беломорского района от А. И. Мироновой, 65 л. АКФ 35, 45. Карельских вариантов не имеется. Русские варианты Аф. 46, 47 очень близки к публикуемому тексту, как и финский вариант SKS I, 123.

11. *Närän starina* — Сказка про быка. А.—А. 159: записала У. Конкка в 1959 г. в дер. Алозеро района Калевалы от М. И. Михеевой, 75 л. АКФ 31, 3; варианты — АКФ 22, 51; 23, 8 (р-н Калевалы). Публикации: SKS I, 463 (из Ухты и Контокки нынешнего района Калевалы). Финский вариант SKS I, 159 весьма близок к публикуемому тексту, но стихотворные вставки значительно разнятся.

12. «*Jyvästä kukko...*» — «Из зернышка петух...». А.—А. 170 (условно): записал Я. В. Ругоев в 1937 г. в дер. Компаково Беломорского района от

П. Т. Ивановой (возраст неизвестен). АКФ 35, 11; варианты — АКФ 13, 20 (р-н Калевалы); 73, 1 (Кондопожский р-н); 134, 2а; 138, 67 (Олонцевский р-н). Публикации: Конкка, стр. 51—53; SKS I, 160, 161. Перечисленные варианты лишь условно можно отнести к сюжету А.—А. 170: они по существу относятся уже к бытовым сказкам, хотя и придерживаются схемы данного сюжета. Северокарельские варианты этой версии сюжета очень близки, за исключением конца: в варианте из района Калевалы жена, узнав о том, как муж разбогател, бросается с досады в озеро: она была из богатого дома. В этом варианте социальная тенденция выражена более четко.

### Волшебные сказки

13. *Ivan Med'ved'ev* — Иван Медведев. А.—А. 650А + 301А: записала Т. Ананина в 1937 г. в с. Сельга Медвежьегорского района от М. В. Исаковой, 72 л. АКФ 63, 46; варианты — АКФ 13, 17; 19, 23; 22, 39; 29, 137 (р-н Калевалы); 95, 31; 99, 15; 101, 25; 102, 3; 112, 22 (Пряжинский р-н); 134, 82; 135, 1; 135, 9 (Олонцевский р-н). Публикации: SKSJT, стр. 207—226; KKN I, стр. 118—121; KKN II, стр. 14—17, 32—35; KKN III, стр. 134—138; Mihejeva, стр. 65—69; Remsu, стр. 15—18; Пажлаков, стр. 64—70; Конкка, стр. 23—26.

В карельской традиции герой сюжета «Три царства» неизменно обладает необыкновенной силой, что сближает данный сюжет с сюжетом 650А. Необыкновенная сила героя объясняется его чудесным происхождением. Он или сын медведя, или же осиновая или ольховая чурка, которую бездетные старики баюкали до тех пор, пока она не превратилась в живого ребенка (о происхождении героя из чурки см. тексты №№ 21, 47). Подобное происхождение героя из чурки встречается и в севернорусских сказках, хотя значительно реже, чем в карельских (см., например: Никифоров, 85). В роли противника героев в карельской, как и в русской традиции, часто выступает «мужичок с ноготок, борода с локоток», а также akka — бабка, старуха, хозяйка подземного царства. Образ глиняной девицы в других вариантах не встречается. Возможно, он возник по аналогии с персонажем сказки «Глиняный парень» (А.—А. 333\*В), характеризующимся исключительной прозорливостью. Сказочная формула «в ступе сидит, пестом погоняет, помелом дорогу замечает» не характерна для карельской традиции и заимствована из русских сказок. Довольно редко в карельских сказках на этот сюжет встречаются все три царства: медное, серебряное и золотое. Обычно герой попадает в подземное царство — «на иной свет», где он находит одну или трех девушек. Как правило, герой не имеет определенного задания найти царскую дочь, а случайно попадает в подземное царство и добывает там себе жену. Для карельской традиции характерно, что главный герой в ряде вариантов не мстит братьям или товарищам за их предательство, а прощает их. Другая версия сюжета встречается редко: герой отправляется на поиски исчезнувшей царевны и находит ее на горе (АКФ 134, 43). В другом варианте опубликованном в сб.: Remsu, стр. 15—18, герой также находит царевну на горе, в царстве золотого орла. Здесь имеется известный мотив о великанах: герой кладет в свои голенища двух богатырей и забирается с ними на гору.

14. [Два брата]. А.—А. 303: записала О. Елисеева в 1941 г. в дер. Лужмавара Сегежского района от Ф. А. Елагиной, 81 г. АКФ 34, 48 (6); варианты — АКФ 35, 42 (Сегежский р-н); 98, 7 (Пряжинский р-н); 138, 6; 135, 146 (Олонцевский р-н). Последний вариант опубликован в русском переводе, см.: Конкка, стр. 39—46. Карельские варианты сюжета не отличаются от русских, и можно предполагать, что в публикуемом варианте прозвище братьев Шутин (искаженная форма от Щукин) заимствовано карелами у русских.

15. «*Nenä halki, suolua siämeh*» — «Нос надвое, соли в рану». А.—А. 306: записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от М. И. Михеевой, 63 л. АКФ 22, 35. Варианты не встречаются. Однако художественная форма и язык сказки говорят о том, что сказка эта давно существует в карельской традиции. Мотив золотой лодки, золотого озера и золотого леса встречается

в сказках на другие сюжеты. В таком же оформлении, как у Михеевой, этот сюжет опубликован в популярном сборнике финских сказок: Roine, стр. 28—33, — но нельзя установить, у финнов или у карел записан этот вариант. Характерно, что героем сказки является Тухкимус — младший брат. В художественном отношении эта сказка — одна из лучших в репертуаре М. И. Михеевой. В ней строго соблюдена сказочная поэтика с трехкратными повторениями. Из русских вариантов ближе всего к данному тексту сказка ЗВ, 3 (ср.: Аф. 298, 299).

16. *Kuosalistarina* — Сказка о прялке. А.—А. 311: записала Т. Кундозорова в 1957 г. в с. Боярском Лоухского района от Г. И. Выварич, 9 л. АКФ 3, 18; варианты — АКФ 2, 128 (Лоухский р-н); 20, 22; 22, 29 (р-н Калевалы); 63, 18; 65, 23 (Медвежьегорский р-н); 73, 2 (Кондопожский р-н); 101, 31 (Пряжинский р-н); 135, 11; 135, 85 (Олонецкий р-н). Публикации: Пажлаков, стр. 94—96; Mihejeva, стр. 37—40.

Интерпретация сюжета, имеющая место в публикуемом варианте, является исключением. Смешение функций старика и медведя, очевидно, является следствием детского переосмысления: старик, обещавший своих дочерей медведю, должен быть наказан. Эта задача в сказке разрешена в высшей степени остроумно. Возможно, впрочем, что переосмысление сюжета есть результат творчества какого-нибудь взрослого сказочника, внесшего эти интересные изменения специально для детей. Однако аналогичные варианты не обнаружены. Все остальные варианты представляют одну редакцию сюжета, общую для северных и южных районов Карелии.

17. [Младший брат]. А.—А. 327А (условно): записал Н. Хрисанфов в 1937 г. в с. Вокнаволоок района Калевалы от М. А. Ремшу, 72 л. АКФ 19, 81; варианты — АКФ 22, 17 (р-н Калевалы); 35, 28; 36, 11 (Беломорский р-н). Все варианты близки друг к другу. Герой сказки — младший брат (Тухкимус, Тухкимууричча), которым старшие пренебрегают, но который благодаря своей хитрости спасает их от Сююятар. Только в сюжете А.—А. 327А, В. С Сююятар выступает как людоедка, но не во всех вариантах людоедка называется именем Сююятар. В русских сказках обычно младший брат в данном сюжете — заморышек или мальчик с пальчик, и никакого конфликта между ними и старшими братьями нет. Эпизод с разбойниками в конце сказки близок к сюжету бытовой сказки «Разбойники под деревом» (А.—А. 1653В); кроме публикуемого варианта, он имеется еще в варианте АКФ 22, 17.

18. *Culistarina* — Сказка о чули. А.—А. 333\*В: записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от М. И. Михеевой, 63 л. АКФ 22, 67. Опубликована на финском языке: Mihejeva, стр. 41—42. Варианты: АКФ 73, 4 (Кондопожский р-н); 133, 40 (Олонецкий р-н).

В последнем варианте герой называется «глиняный мальчик», как и в ряде русских и финских вариантов (см.: Онч. 102 и 130, Ив. 637 и Roine, стр. 84—87). Этимология слова «чули» неизвестна, и сама сказочница также не смогла объяснить значения этого слова. О давнем бытовании этой сказки в Карелии свидетельствуют ее язык с традиционными повторами и ее ритмический склад. Данный карельский вариант сближается с русскими вариантами Онч. 130 и Ив. 637.

19. «*Piili, piili, Pilkkan...*» — «Пийли, пийли, моя Пятнашка...». А.—А. 403А: записала Э. Тимонен в 1948 г. в дер. Войница района Калевалы от А. С. Богдановой, 50 л. АКФ 26, 110; варианты — АКФ 1, 20; 2, 33 (Лоухский р-н); 13, 7; 16, 70; 18, 83; 19, 75; 20, 6; 23, 15; 23, 16; 25, 57; 26, 10; 29, 42 (р-н Калевалы); 35, 44; 45, 11 (Сегежский р-н); 63, 48; 65, 34; 65, 50; 66, 33 (Медвежьегорский р-н); 72, 97; 72, 125; 72, 155; 75, 9 (Кондопожский р-н); 91, 22; 100, 42; 101, 13а; 103, 43 (Пряжинский р-н); 132, 61; 133, 30; 137, 14; 137, 17 (Олонецкий р-н).

Публикации: SKS;T, стр. 84—92; KKN III, стр. 63—65; Пажлаков, стр. 51—57; Евсеев, 40; Белова, 12; Конкка, стр. 13—18. Из русских вариантов наиболее близок Худ. 8 (записан в Карелии).

Одна из наиболее распространенных по всей Карелии сказок. Сюжет бытует в двух версиях: севернокарельской и южнокарельской. Обычно в ка-

рельских вариантах отсутствует коллизия «мачеха—падчерица», появляется она иногда лишь в сказках, записанных в Олонецком районе. Почти во всех вариантах диалог девушки с собачкой сохранил следы стихотворной формы. В варианте АКФ 1, 20 в отличие от остальных вместо предметов, добытых отцом, перечисляются предметы, принадлежащие матери: девушка не хочет выйти замуж, пока не износится скалка матери, пока не сломается игла матери, пока не износится ручка жернова, на котором мать молола. Иногда мотивы сюжета 403А появляются в сюжетах «Золушка» (А.—А. 510А) и «Свиной чехол» (А.—А. 510В). В варианте АКФ 20, 6, записанном от М. М. Хотевой, оригинально контаминируются сюжеты «Подмененная невеста» и «Чудесные дети» (А.—А. 707). В большинстве вариантов царевич обращается за советом к старой вдове, которая знает тайну подмены.

20. *Sinipetra* — Синяя важенка. А.—А. 409; записала А. Леонтьева в 1941 г. в дер. Войница района Калевалы от У. Т. Маликиной, 50 л. АКФ 15, 121а; варианты — АКФ 16, 69; 22, 14 (р-н Калевалы); 72, 40 (Суоярвский р-н); 133, 267; 134, 44; 134, 84 (Олонецкий р-н). В северо-карельских вариантах Сююятар превращает женщину в важенку, а в южно-карельских — в гусыню или лебедушку. Распространена также контаминация сюжетов А.—А. 409 и 510А («Золушка»): Сююятар после того, как ей не удалось выдать свою дочь за царевича, превращает падчерицу в важенку (см. текст № 28 в настоящем сборнике). По данным Aarne, сюжет А.—А. 409 в Финляндии не встречается.

В стихотворной вставке появляется слово ююятар (*juojatar*) как синоним Сююятар. Это слово, встречающееся рядом с именем Сююятар только в стихотворных формах, образовалось благодаря аллитерации по аналогии со словом Сююятар (корень *syö-dä* есть) от слова *juo-da* пить :

...ei syö Syöjättäritiltä,  
ei juo juojattarilta...

21. [Подмененная жена]. А.—А. 425А (условно) + 403 (условно): записал И. Яковлев в 1937 г. в дер. Шалговарака Медвежьегорского района от М. А. Яковлевой, 72 л. АКФ 65, 90; варианты: АКФ 13, 25; 22, 63 (р-н Калевалы); 46, 5 (Сегежский р-н); 63, 80 (Медвежьегорский р-н); 99, 17 (Пряжинский р-н); 135, 66; 138, 81 (Олонецкий р-н). Публикации: SKS II, 11а, 11b; Конкка, стр. 134—141 (русский перевод варианта АКФ 13, 25). Варианты сильно отличаются друг от друга. Чудесный жених в карельских сказках выступает в образе медведя, головы, снопа соломы. В результате позднейших христианских представлений чудесный жених сродни «нечистому», как в публикуемом варианте и в варианте АКФ 22, 63. Для всех вариантов общим является то, что необыкновенный жених — родной или названный сын старика и старухи, повествованием о которых обычно начинается сказка. Девушка выходит за него добровольно, в результате сватовства, причем иногда жених выполняет трудные задания. В большинстве вариантов чудесный жених ставит условие жене, чтобы она никому не говорила о том, что он по ночам принимает образ прекрасного юноши. Когда жена нарушает это условие, муж исчезает, жена отправляется на поиски его (см.: Конкка, стр. 134—141). Лишь в одном варианте (АКФ 46, 5) муж покидает жену за то, что та зажгла вторую спичку, для того чтобы ночью посмотреть на него (по условию можно было сжечь только одну спичку). В публикуемом варианте муж не исчезает, а происходит подмена жены. В качестве Сююятар, принимающей на себя роль настоящей жены или невесты, здесь выступает родная сестра. Представляет интерес эпизод пребывания жены в «мужском» доме в лесу: здесь можно усматривать некоторые детали так называемых мужских союзов (см.: В. Я. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, стр. 95—115). Другая версия сюжета особенно хорошо разработана в южной Карелии.

22. *Karpehen starina* — Сказка про козла. А.—А. 450 (условно): записал на магнитофон Р. Пирхонен в 1958 г. в с. Реболы Сегежского района от Е. И. Тимофеевой, 72 л. Запись хранится в кабинете звукозаписи Карель-

ского филиала АН СССР, № 29, 6. Варианты: АКФ — 2, 35 (Лоухский р-н); 45, 5 (Сегежский р-н); 72, 41 (Суоярвский р-н); 79, 14 (Кондопожский р-н); 132, 61; 134, 30; 135, 84 (Олонецкий р-н). Публикации: Белова, 5; русский перевод этого варианта см.: Пажлаков, стр. 33—37. Для большинства вариантов характерна такая же завязка, как и в публикуемом варианте: девушка обещана водяному, но ее спасает коза. В карельских вариантах не встречается мотив превращения брата в козленка. Исключение составляет вариант АКФ 2, 35, сильно отличающийся от всех других, в котором брат превращается в оленя. Среди русских вариантов сказки составляет исключение сказка Онч. 128, полностью соответствующая карельской редакции. Ср. также Онч. 56: девушка спасается на козле от черта, которому обещана; козел отвечает на вопросы черта, как и в некоторых карельских вариантах. Интересен вариант АКФ 45, 5, представляющий, очевидно, другую версию сюжета (см. следующий текст).

23. *Vokko da tytö* — Девушка и баран. А.—А. 450 (условно) + 403: записала А. Фадеева в 1937 г. в с. Ругозеро Сегежского района от А. Ф. Аникиевой, 72 л. АКФ 45, 5; варианты см. в примечании к тексту № 22. Это один из редких вариантов, в котором баба Сюоятар придает женщине свой облик. Обычно она превращает ее в важенку, утку, гусыню, в ову. См. №№ 20, 28 настоящего сборника.

24. *Paimen Juakko* — Пастух Юакко. А.—А. 465С в сочетании с мотивами из сюжета \*804, I: записал Д. Лажив в 1956 г. в дер. Коккосалми Лоухского района от Е. П. Кирилловой, 32 л. АКФ 2, 100; варианты — АКФ 19, 3; 20, 12; 22, 76; 26, 26 (р-н Калевалы). Публикации: SKS II, 13с. Там же краткое изложение еще пяти вариантов из Карелии (стр. 265—269). Все варианты носят христианско-морализирующий характер, но сквозь религиозную форму ясно проступает крестьянское отношение к явлениям жизни. Герой сказки пастух Юакко отдает все свои сбережения церкви, или же раздает бедным (вариант АКФ 20, 12), или совсем не получает платы за свои труды (вариант АКФ 22, 76). За это бог (спас, Иван-богослов) награждает его: отдает свою дочь ему в жены. Царь, который хочет отнять у героя жену, гибнет необыкновенным образом, когда герой передает ему письмо от своего тестя. Судьба людей, обреченных на вечные мучения, тоже выражает осуждение крестьянином образа жизни богатых и тех средств, которыми они пользуются для приобретения богатства. Финских вариантов сказки в публикациях не удалось обнаружить. В сборнике К. Крона приводятся только карельские варианты. Из русских сказок на этот сюжет наиболее близок неопубликованный вариант М. М. Коргуева (АКФ 47, 107); другие русские варианты, как опубликованные, так и рукописные, из Архива Карельского филиала АН СССР в деталях значительно отличаются от данного варианта. Начало варианта, записанного от М. М. Коргуева, полностью совпадает с карельскими вариантами сказки о пастухе Юакко. Дальше у Коргуева действие переходит в город, чего в карельских вариантах нет. Многие детали, например образы людей, обреченных на мучения, форма их просьб к Якову, тоже совпадают. Несомненно, здесь мы имеем явное доказательство взаимовлияния карельской и русской сказок. Возможно, Коргуев усвоил эту сказку от своей матери-карелки и данная версия сказки является карельской, тем более что у русских, даже в Карелии, сказка имеет иной вид (например, варианты Ф. А. Конашкова и П. И. Рябинина-Андреева близки к варианту Аф. 216). В одном карельском варианте сказки (АКФ 20, 12) герой носит русское прозвище «Якко-пастух», хотя в разговорном языке слово *paimen* в этом районе не имеет в качестве синонима русского слова «пастух» (употребление двуязычных названий предметов как синонимов для карел характерно). Возможно, сказка когда-то, в свою очередь, была перенята карелом от русского.

25. *Hätikkö-tyttöäen starina* — Сказка о девушке-неряхе. А.—А. 480А: записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от М. И. Михеевой, 63 л. АКФ 22, 25. Опубликована на финском языке: Mihejeva, стр. 69—72, на русском языке: Конкка, стр. 47—50. Варианты: АКФ 12, 51; 12, 133 (р-н Калевалы); 45, 12 (Сегежский р-н); 132, 68; 134, 104; 135, 173 (Олонец-

кий р-н); SKSjT, стр. 357—363. В севернокарельских вариантах отсутствует коллизия «мачеха—падчерица», которая заменена противопоставлением лени и прилежания с нравоучительной целью (сказка рассчитана исключительно на детского слушателя). Во всех вариантах, кроме АКФ 45, 12 и 132, 68, отсутствуют лошадь, корова, овца, которые характерны для русских сказок на этот сюжет.

26. [Мачеха и падчерица]. А.—А. 480\*С: записала А. Фадеева в 1937 г. в дер. Ондозеро Сегежского района от Д. И. Никитиной, 31 г. АКФ 50, 25; варианты — АКФ 14, 42; 22, 26 (р-н Калевалы); 74, 53 (Суоярвский р-н); 92, 6 (Пряжинский р-н); 132, 68; 132, 205; 134, 25; 134, 102 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 153—154; Mihejeva, стр. 57—60; Евсеев, 49.

Из сюжетов о мачехе и падчерице (А.—А. 480) в Карелии наиболее распространен сюжет 480\*С, на втором месте стоит сюжет 480А; варианты 480\*В обнаруживают следы явного заимствования у русских; они более редки.

27. *Laisia tytär* — *Ленивая дочь*. А.—А. 501: записала Липкина в 1937 г. в с. Вокнаволок района Калевалы от М. А. Ремшу, 72 л. АКФ 19, 10. Опубликована в сб.: Remsu, стр. 68—70; русский перевод с некоторой обработкой см.: Конкка, стр. 94—96. Редкий сюжет; имеется лишь в записи от известной калевальской сказочницы и исполнительницы эпических песен М. А. Ремшу и ее дочери А. М. Реттневой (АКФ 26, 23). Вариант Ремшу—Реттневой довольно близок к немецкому варианту из сборника сказок братьев Гримм с той разницей, что вместо королевы немецкой сказки здесь выступает сам будущий жених девушки, царев сын. Кроме того, в карельских вариантах иронический оттенок усилен. Этот сюжет широко распространен в восточной Финляндии (по данным Аарне — 72 варианта).

28. *Mušta lammaš* — *Черная овца*. А.—А. 510А + 409: записал В. Кормиев в 1937 г. в дер. Пиртилакша района Калевалы от Н. М. Каллио, 41 г. АКФ 13, 8; варианты (без контаминации сюжета «Золушка» с сюжетом 409) — АКФ 2, 141 (Лоухский р-н); 18, 87; 22, 45 (р-н Калевалы); 35, 43 (Беломорский р-н); 73, 6 (Кондопожский р-н); 135, 77; 137, 3 (Олонецкий р-н); варианты с контаминированным сюжетом — АКФ 13, 8; 29, 41; 29, 100 (р-н Калевалы); 64, 23 (Медвежьегорский р-н); 101, 12а (Пряжинский р-н); 132, 179; 134, 44; 134, 122; 141, 25 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSjT, стр. 65—73; KKN III, стр. 40—42; Евсеев, 47; Конкка, стр. 97—104 (русский перевод публикуемого варианта). Сравнительно большое количество вариантов и хорошая разработка сюжета свидетельствуют о том, что данный сюжет является одним из самых популярных в карельском сказочном репертуаре. В вариантах северной и средней Карелии, как и в публикуемом тексте, мать Золушки встречает в лесу Сюоятар, которая превращает ее в овцу и занимает ее место. В некоторых вариантах превращение женщины в овцу мотивировано следующим образом: Сюоятар велит женщине, идущей овцу, плюнуть и пройти между ее ног — тогда, мол, найдется овца. Женщина верит Сюоятар и сама превращается в овцу. В собственно карельских вариантах магическую силу имеют кости матери-овцы, а в ливвиковских и людиговских девушке-сиротке помогают капли крови матери. В южнокарельской традиции злое начало представляет жена дяди Золушки по отцу: она, дочь Сювяйнтери (то же, что и Сюоятар), превращает жену шурина в овцу. В одном варианте (АКФ 141, 25) это мотивируется следующим образом: после смерти шурина жена говорит мужу, что невестку, вдову шурина, следует превратить в овцу, иначе она будет требовать свою долю имущества. Весьма близкий русский вариант см.: Чистов, стр. 26—31. Здесь, как и в вариантах северной Карелии, падчерица превращена в оленюху. Царского пира с последующей примеркой кольца, перчатки, башмака (или других предметов) здесь, как вообще в русских вариантах на этот сюжет, нет, но есть характерная для карельских вариантов деталь: Ягибиха свою дочь «тесала, тесала, строгала, строгала...». Мотив этот может быть заимствован из карельской сказки, поскольку его наличие не вызвано развитием сюжета: в русской сказке нет необходимости строгать и тесать, так как ничего не примеряется. Характерно, что в карельских сказках на данный сюжет героиня

не называется Золушка (Тужкимус) — это имя появляется только в сюжете А.—А. 512 о младшей сестре. Южнокарельская версия сюжета существенно отличается в деталях и представляет большой интерес.

29. [Погоня за дочерью]. А.—А. 510В. Записал А. Войнов в 1939 г. в дер. Костовара Лоухского района от О. М. Никитиной, 50 л. АКФ 1, 5; варианты — АКФ 1, 8; 1, 18; 2, 146 (Лоухский р-н); 13, 5; 15, 93; 20, 2; 22, 16; 22, 27; 26, 31 (р-н Калевалы); 45, 11 (Сегежский р-н); 63, 43; 64, 24; 65, 149 (Медвежьегорский р-н); 72, 149 (Кондопожский р-н); 99, 32 (Пряжинский р-н); 132, 9; 132, 75; 132, 145; 134, 108; 135, 15; 135, 40; 135, 82 (Олонецкий р-н).

Сюжет распространен по всей Карелии и имеет несколько версий, которые можно условно назвать так: 1) «Погоня за дочерью» (АКФ 1, 5; 22, 16); 2) «Фонарь» (АКФ 1, 8; 22, 27; 45, 11); 3) «Девушка-птица» (АКФ 134, 108; 135, 15; 135, 40); 4) «Немая жена» (АКФ 1, 8; 13, 5; 63, 43; 64, 24; 65, 149; 72, 149; 99, 32); 5) «Звериная шкура» (АКФ 132, 9; 132, 75; 132, 145). Остальные варианты сочетаются с сюжетами А.—А. 480, 510А, 707. У финнов на этот сюжет сравнительно мало записей (по данным Aarre — 23 варианта).

В версии «Погоня за дочерью», которая представлена данным вариантом, бегство дочери происходит при помощи бросания предметов, которые превращаются в трудно преодолимые препятствия. Стихотворная вставка (пение птицы) из этой сказки встречается также в сюжете «Чудесное бегство» — А.—А. 313 (см.: SKSjT, стр. 135—143). Публикуемый вариант является одной из наиболее архаичных сказок, что обнаруживается как в содержании, так и в поэтике.

30. [Фонарь]. А.—А. 510В + 403; записала А. Фадеева в 1937 г. в дер. Ондозеро Сегежского района от Д. И. Никитиной, 31 г. АКФ 45, 11; варианты см. в примечании к предыдущему тексту. Данную версию сюжета А.—А. 510В условно можно назвать «Фонарь», так как в других вариантах дочь прячется в подаренный матерью фонарь и в нем попадает к царевичу. Мотив «найти жену с синим большим пальцем, как у покойной жены» встречается главным образом в северной и средней Карелии. В варианте АКФ 63, 43, записанном, к сожалению, лишь в виде пересказа на финском языке, имеются интересные мотивы: мать и дочь — синевровые, синеглазые и синепалые. Перед смертью жена говорит мужу: «Если, износив три пары железных сапог, не найдешь синевровой, синеглазой и синепалой, то возьми свою дочь в жены».

31. *Sinipeigalon starina* — Сказка о синепалой. А.—А. 510В + 887 (условно); записала К. Даниева в 1937 г. в дер. Лазарево Медвежьегорского района от М. И. Морозовой, 60 л. АКФ 64, 24; варианты см. в примечании к тексту № 29. Данный вариант представляет версию «Немая жена» (варианты см. там же). Во второй части имеются мотивы, сближающие ее с сюжетом «Терпеливая жена» (см. текст № 54). Во всех вариантах данной версии жена начинает говорить только тогда, когда муж приводит в дом вторую жену. Мотив «немой» жены, которая не смеет говорить, имеется в русской сказке Онч. 278, по сюжету близкой сказке № 54 из данного сборника. Однако в карельских вариантах этот мотив лучше разработан и органически связан с развитием сюжета.

32. *Kolme tytärtä i suarin poika* — Три сестры и царев сын. А.—А. 512 (условно); записал Г. Ларнонов в 1938 г. в г. Кеми от Е. А. Пекшуевой, 39 л., уроженки района Калевалы. АКФ 9, 25; варианты — АКФ 1, 17 (Лоухский р-н); 20, 7; 29, 100 (р-н Калевалы); 45, 9; 45, 19; 52, 6 (Сегежский р-н); 65, 46 (Медвежьегорский р-н); 75, 4 (Кондопожский р-н); 96, 10 (Пряжинский р-н); 133, 367 (Олонецкий р-н); SKSjT, стр. 73—79.

Сюжет бытует по всей Карелии и довольно стабилен. Корова, овца и старик с волшебной палочкой или прутиком встречаются и в южных вариантах. Для того чтобы скала раскрылась, девушка произносит заклинание, например: «Avau, avau, kivikallivoine, tuaton, tuaton, died oin buabon blahoslovenjozessa, muzikkazen kaskystä» («Раскройся, раскройся, каменная скала, с благословения отца, матери, дяди, бабушки, по приказу мужичка» — т. е.

чудесного старика). Эта формула-обращение к родителям, появляющаяся в южнокарельских вариантах (АКФ 96, 10; 133, 367), позволяет предполагать, что младшая дочь связана с культом предков. Почти во всех вариантах ее зовут Tuhkimus (Золушка), она сидит на печи в золе, т. е. является охранительницей домашнего очага. В этом отношении она близка к образу Тухкимуса — младшего брата. Благодаря тому что младшая сестра связана с культом предков, она и получает волшебного помощника в виде старика с волшебной палочкой. В этом заключается древняя основа сюжета. Позднее появляется нравственная мотивировка и оценка с противопоставлением старших сестер младшей (лень — трудолюбие, заносчивость — скромность). Это придает сказке дидактический характер.

В северной Карелии появляются варианты (АКФ 29, 100; 52, 6), в которых органически переплетаются сюжеты А.—А. 510А и 512. Если в публикуемом варианте три девушки — родные сестры, то в названных выше двух вариантах героиня сказки не младшая сестра, а старикова дочь, а две других — мачехины дочери. Благодаря этой детали вражда между сестрами становится более мотивированной. Коллизия «мачеха—падчерица», в свою очередь, вызывает контаминацию сюжета 512 с сюжетом 409 (мать-важенка). В результате получилась новая интересная сказка с сюжетной схемой 512, но с коллизией «мачеха—падчерица»; контаминация этого сюжета с сюжетом 409 сближает данную сказку со сказкой типа «Черная овца» (см. текст № 28), в которой сочетаются сюжеты 510А и 409.

У финнов, как и у русских, сюжет А.—А. 512 в указателях не зарегистрирован.

33. Tuhkimus-niätästarina — Сказка о Тухкимусе и кунице. А.—А. 530А: записала Э. Тимонен в 1949 г. в г. Петрозаводске от известной исполнительницы карельских эпических песен Т. А. Перттунен, 69 л., уроженки дер. Ладв-озеро района Калевалы. АКФ 24, 1; варианты — АКФ 2, 150 (Лоухский р-н); 9, 32; 12, 30 (Кемский р-н); 26, 25 (р-н Калевалы); 45, 2; 46, 15; 50, 10 (Сегежский р-н); 61, 48; 63, 186; 64, 29; 65, 9 (Медвежьегорский р-н); 72, 85; 72, 220 (Кондопожский р-н); 74, 21 (Суоярвский р-н); 94, 34; 95, 12; 96, 13; 98, 4; 100, 3; 102, 5; 102, 12; 112, 21 (Пряжинский р-н); 132, 181; 134, 21; 134, 90; 134, 101; 135, 175; 138, 75; 138, 82; 141, 2 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 25—26, 68—70; KKN II, стр. 120—127; KKN III, стр. 93—95, 96—98.

Сюжет А.—А. 530А в Карелии более распространен, чем сюжет 530В, в то время как в русском репертуаре мы видим обратную картину. Несмотря на широкое бытование этой сказки у карел, она в художественном отношении уступает сказкам на другие распространенные сюжеты, как А.—А. 403, 510А, 510В, 707 и др. Наиболее интересным в художественном отношении среди имеющихся вариантов можно считать данный текст, который в то же время является наиболее архаичным: герой получает коня не от покойного отца, а от тотемного животного. В тексте сохранились поэтические формулы-повторы, которых нет в других текстах. Образ куницы в роли чудесного дарителя в вариантах не встречается. Во многих вариантах даритель отсутствует: герой ударяет 3 раза веточкой (палкой) по скале или по дороге — и появляется конь (варианты АКФ 46, 15; 63, 186; 132, 70; 135, 175; 138, 75). В большинстве вариантов дарителем является покойный отец, в некоторых вариантах — покойная мать (например, АКФ 72, 220; 95, 12; 134, 21). Встречаются и такие варианты, в которых герой не получает коня от дарителя, а подкарауливает его, когда конь приходит портить посев. В севернокарельской редакции сюжета в отличие от южнокарельской Тухкимус добывает трех царевен и уступает двух старших своим братьям за выполнение унизительного условия (кроме публикуемого текста, варианты АКФ 9, 32; 26, 25). В варианте KKN III, стр. 93—95, записанном в 1871 г. в дер. Панозеро (нынешний район Калевалы), герой получает от покойного отца чудесных коня, оленя и свинью, запирает их (как и в публикуемом варианте) в свой амбар и обещает показать братьям, если те вычистят от нечистот порог его амбара (в сказке объясняется, что в амбарах старших братьев хранились хлеб и одежда, а у Тухкимуса не было ничего; и так как он и не



заглядывал в свой амбар, братья превратили его в отхожее место). Однако в этом варианте Тухкинус ничего не дает своим братьям. Здесь уже мы имеем переходную форму с дальнейшим развитием сюжета: вражда братьев становится открытой, родственные связи и родовая взаимопомощь ослабевают.

34. *Kolmejalanki heponi*—Трехногая лошадь. А.—А. 531: записал А. Войнов в 1939 г. в дер. Коштовара Лоухского района от О. М. Никитиной, 50 л. АКФ 1, 9; варианты — АКФ 12, 74; 19, 35; 19, 35а; 22, 58 (Калевальский р-н); 132, 109; 135, 822; 135, 882 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 46—54, 131—132; KKN II, стр. 77—78; Белова, 14, 16; Remsu, стр. 36—43.

Для карельской версии сюжета характерно начало, близкое к сюжету 327В (братья отправляются на поиски невест, младший брат догоняет их и ночью меняет головные уборы братьев и дочерей старухи). В карельских вариантах не «конек-горбунок», а «паршивый жеребенок», «трехногая лошадь» и т. д.

35. [Девять братьев и сестра]. А.—А. 533А (условно) и 451 (только начало): записал И. Яковлев в 1937 г. в дер. Соснов-Наволок Медвежьегорского района от Т. Ф. Васьякова, 8 л. АКФ 65, 24; варианты — АКФ 1, 6; 1, 21 (Лоухский р-н); 22, 70 (р-н Калевалы); 45, 16; 45, 21 (Сегежский р-н); 63, 65; 63, 84 (Медвежьегорский р-н); 72, 182; 79, 64 (Кондопожский р-н); 135, 33; 138, 61 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSjT, стр. 127—134; KKN II, стр. 84—85; Белова, 9.

Одна из самых поэтических сказок карельского народа. Сюжет древнего происхождения, отражающий один из обычаев родового строя. Ни в одном из карельских вариантов не мотивирован уход братьев из дома и невозможность их возвращения в случае рождения ребенка мужского пола. Вследствие утери логической мотивировки наблюдается модернизация начала сказки. В ряде вариантов братья уезжают на заработки в Питер и сестра идет их навещать. Наиболее полно повествовательные звенья сохранились в варианте SKSjT, стр. 127—134, записанном в западной Карелии, Иломанси. Здесь Сююятар меняется с девушкой не только платьем, но и лицом: сестра становится безобразной, а Сююятар — красавицей. Кроме того, Сююятар лишает девушку языка и разума, чтобы она не могла рассказать братьям о подмене. Но когда девушка идет пасти скот, Сююятар возвращает ей язык и разум, чтобы она могла стеречь и звать животных. Поэтому она в лесу поет свою песню, обращенную к птицам (лебедям, гусям); братья подслушивают ее песню — все выясняется. В новых записях обычно эти мотивы — Сююятар принимает на себя облик девушки и лишает ее языка — отсутствуют, и сказка начинает тяготеть к бытовому рассказу о коварной женщине. Из русских сказок наиболее близки к карельской версии Никифоров, 80 и Карн. 96; обе сказки записаны на Пиниге. Но в этих вариантах царевна едет к отцу, а не к братьям.

36. *Kiissalan linnan prinsessa*—Принцесса кошачьего замка. А.—А. 545А: записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от Михеевой М. И., 63 л., уроженки дер. Алозеро района Калевалы. АКФ 22, 15; вариант — 18, 84 (р-н Калевалы). Обычно в этом сюжете девушка получает кошку в наследство от матери (вариант АКФ 18, 84), но в публикуемом тексте начало сходно с началом сказок на сюжет «Золушка», что объясняется популярностью образа Сююятар. Интересно отметить, что в одной исландской сказке мачеха превращает свою падчерицу в кошку, которая помогает своей сестре (см.: Е. М. Мелетинский, Герой волшебной сказки, стр. 192). Сюжет 545А бытует на севере, кроме карел, также у финнов, саамов, у скандинавских народов. Публикуемый вариант в основной части обнаруживает сходство с финскими сказками на этот сюжет (см., например: Roine, стр. 205—210). Не исключено также влияние сказки Андерсена «Принцесса на горошине» при образовании данного варианта.

37. *Vrihačču kondien berlogassa eli*—Паренек в медвежьей берлоге жил. А.—А. 545В: записала А. Фадеева в 1937 г. в дер. Ондозеро Сегежского района от Д. И. Никитиной, 31 г. АКФ 50, 24; варианты — АКФ 3, 23

(Лоухский р-н); 132, 148 (Олонекский р-н); SKS;T, стр. 240—247 и стр. 247—254. В последних вариантах, как обычно и в русских, герою помогает лиса.

38. *Tuhkimus-Tähkimys* — Тухкимус-Тяхкимюус. А.—А. 550: записала О. Пергамент в 1937 г. в с. Кимасозеро Сегежского района от Т. К. Алимпиевой, 81 г. АКФ 47, 40; варианты — АКФ 3, 16 (Лоухский р-н); 22, 81 (р-н Калевалы); 63, 107; 65, 48 (Медвежьегорский р-н); 99, 12; 103, 5; 112, 38 (Пряжинский р-н); 132, 108; 132, 175; 134, 3; 134, 13; 137, 13 (Олонекский р-н); Евсеев, 56. Варианты мало отличаются друг от друга; публикуемая сказка в сюжетном отношении близка к русской сказке Аф. 168. В ряде вариантов птица называется по-русски — «жар-птица», в большинстве же вариантов просто птица или золотая птица. Характерно, что герой во многих вариантах называется Тухкимус или Иван Тухкимус. Во всех вариантах герою помогает волк.

39. *Car' Davida* — Царь Давид. А.—А. 551 + 301A + 300A: записала П. Куйка в 1939 г. в с. Кимасозеро Сегежского района от К. И. Ананиной. 61 г. АКФ 50, 1; варианты — АКФ 9, 37 (Кемский р-н); 19, 86 (р-н Калевалы); 114, 5 (Пряжинский р-н); 134, 20 (Олонекский р-н); KKN III, стр. 22—28.

Публикуемый вариант представляет довольно редкий в северной Карелии случай развернутого повествования с контаминацией нескольких сюжетов. В сказке строго выдержана троекратность действия, хорошо сохранился диалог героя с лесной старухой-дарительницей и змеем. Формулы-обращения в таком оформлении характерны для северокарельских сказок на соответствующие сюжеты.

40. *Narakkastarina* — Сказка о сороках. А.—А. 552: записала Э. Тимонен в 1947 г. в с. Ухта района Калевалы от М. И. Михеевой, 63 л. АКФ 22, 2. Русский перевод данного варианта см.: Конкаа, стр. 27—35. Варианты — АКФ 14, 22; 19, 56; 26, 48 (р-н Калевалы); 47, 38 (Сегежский р-н); 63, 106; 64, 3 (Медвежьегорский р-н); 80, 45 (Суоярвский р-н); 91, 8; 98, 13; 99, 16; 99, 29; 101, 24 (Пряжинский р-н); 132, 67; 136, 27; 136, 87; 136, 117 (Олонекский р-н); KKN III, стр. 141—144.

Вторая часть большинства карельских вариантов, особенно из Олонекского района, отличается от данного варианта; там мы находим характерные для русских сказок мотивы: царевна, которую ищет герой, заключает его в темницу, где много женихов; герой выбирается оттуда благодаря волшебным предметам, полученным от зятя, женится на царевне, затем выпускает змея (или Кощея бессмертного) и т. д. О русском происхождении части карельских вариантов сюжета, помимо совпадения сюжетного хода и мотивов, говорит и появление русских имен, например «Jelena-krassa, kuldani kassa» (буквальный перевод с русского: «Елена краса, золотая кося»), вообще не характерных для карельской сказки, а также имени Кощея бессмертного, которое иногда искажено вследствие непонимания: «Бессмертная коза» (АКФ 65, 3), «Kuolematon luu» (т. е. бессмертная кость — АКФ 80, 45). Во всех вариантах сестры живут в необычайных домах и дворцах: или на высоком столбе, который сияет, как звезда (АКФ 47, 38), или в домике, круглом как яйцо, который вертится на камне (АКФ 80, 45), или в медном, серебряном и золотом дворцах. Сестер уносят птицы: сороки, орлы (АКФ 26, 48), вихри (АКФ 19, 56; 14, 22; 47, 38) и черти, нечистый (АКФ 136, 27; 136, 87). Любопытно, что в некоторых вариантах чудесные зятья на вопросы своих жен, как бы они поступили с матерью, отцом, старшим и средним братьями жены, отвечают, что съели бы, разорвали бы на части, но с младшим шурином неизменно обошлись бы как с дорогим гостем (АКФ 26, 48; 47, 38).

41. *Kultakalan starina* — Сказка о золотой рыбе. А.—А. 555: записала Т. Тунтуева в 1958 г. в с. Ребола Сегежского района от Е. С. Тимофеевой, 72 л. АКФ 52, 2; варианты — АКФ 1, 7; 2, 97 (Лоухский р-н); 12, 73 (р-н Калевалы); 72, 78; 72, 127; 72, 145; 72, 213 (Кондопожский р-н); 101, 2 (Пряжинский р-н); 137, 6; 138, 13 (Олонекский р-н); KKN I, стр. 134—135.

В Карелии бытует две версии сказки о золотой рыбке: пушкинская, которую представляет большинство имеющихся вариантов на этот сюжет, и версия, представленная в сборнике данным текстом. Более подробно об этом говорится в статье В. Я. Евсеева «Карельские варианты пушкинских сказок» («Известия Карело-Финского филиала АН СССР», № 3, 1949, стр. 75—88). Как видно из публикуемого текста (это отмечает также В. Я. Евсеев), в карельской «непушкинской» версии сюжета значимость старухи осуждается лишь в этическом плане; социальное заострение здесь не имеет места, поэтому нет и пушкинского противопоставления образов старика и старухи в социальном плане. Характерно, что больше всего вариантов данного сюжета с пушкинской версией записано у карел-людиков, проживающих главным образом в Кондопожском районе. То же самое можно сказать и о других пушкинских сказках.

42. *Suarin tytär* — Царева дочь. А.—А. 559; записал Н. Хрисанфов в 1937 г. в с. Вокнаволок района Калевалы от М. А. Ремшу, 72 л. АКФ 19, 80. Кроме публикуемого текста, обнаружен лишь один вариант сюжета, записанный от крупного южнокарельского сказочника С. И. Иванова (АКФ 114, 15). Этот вариант близок к известным русским вариантам сюжета Аф. 297 и Чистов, стр. 53—55. В варианте С. И. Иванова благодарные животные — лягушка, ящерица и мышь. Вариант М. А. Ремшу интересен тем, что здесь, во-первых, царевну смешит старик, который не претендует на ее руку, и, во-вторых, роль благодарных животных играют волшебные предметы. Поющая борода и лающая собачья голова изредка встречаются в других сюжетах севернокарельских сказок.

43. [Волшебное кольцо]. А.—А. 560; записал Я. Ругоев в 1937 г. в дер. Пертозеро Сегежского района от К. Т. Калинина, 60 л. АКФ 46, 13; варианты — АКФ 13, 75; 16, 42; 22, 53 (р-н Калевалы); 36, 9а (Белоомский р-н); 63, 49; 65, 40 (Медвежьегорский р-н); 95, 32; 102, 2 (Пряжинский р-н); 132, 182; 134, 147 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 72—73, 121—131; KKN II, стр. 12—14; KKN III, стр. 12—15; SKS II, 7а, 7б, 7с, Пажлаков, стр. 57—63. Сюжет широко бытует среди карел и довольно стабилен. Расхождения между вариантами незначительны. В варианте АКФ 63, 49 вместо волшебного кольца — ручной жернов, который «стоит только тронуть, как все появится». Герой получает его от отца щуки и спускается за ним под воду. Несомненно, этот мотив появился под влиянием сюжета «Чудесная мельница», известного в Карелии (см. текст № 45).

44. *Köyhä velli ta pohatta velli* — Бедный брат и богатый брат. А.—А. 564; записала Э. Тимонен в 1947 г. в с. Ухта района Калевалы от М. И. Михеевой, 63 л. АКФ 22, 8; варианты — АКФ 75, 15 (Кондопожский р-н); 99, 21; 102, 1 (Пряжинский р-н); 132, 213; 138, 68 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN II, стр. 88—92; Белова, 13 (русский перевод см.: Пажлаков, стр. 114—118). Перенос варианта АКФ 75, 15 с мотивами из сюжета «Правда и крипда» см.: Евсеев, 46. Лишь в публикуемом варианте дарителем является Мороз (Halla), в остальных же вариантах, представляющих южнокарельскую традицию, герой получает чудесные дары от своего Счастья, Доли (Oza). В свою очередь, образ Счастья не встречается в сказках северной Карелии. В основной части, где повествуется о том, как богатый брат обманом завладевает чудесным предметом и как бедняку удается получить свое сокровище обратно, севернокарельская и южнокарельская традиции совпадают. Обращает на себя внимание тот факт, что в северной Карелии сказки на данный сюжет редки, зато более распространены сюжет 565 (см. следующий текст). Из русских сказок наиболее близок к карельской версии вариант «Ж. ст.», стр. 322—325.

45. *Jauhinkivi* — Ручной жернов. А.—А. 565; записала У. Конкка в 1948 г. в г. Петрозаводске от А. М. Реттневой, 53 л., уроженки с. Вокнаволок района Калевалы. АКФ 26, 51; варианты — АКФ 13, 24; 13, 66; 14, 48; 19, 17; 22, 9 (р-н Калевалы). Публикацию варианта АКФ 19, 17, записанного от М. А. Ремшу, матери Реттневой, см.: Remsu, стр. 66—67 (русский перевод

см.: Пажлаков, стр. 78—79 и Евсеев, 38); финский перевод варианта АКФ 22, 9 см.: Mihejeva, стр. 77—80. Русский перевод варианта АКФ 14, 48 см.: Конкка, стр. 59—60.

Этот сюжет бытует главным образом только в северной Карелии. Характерно, что, хотя в начале сказки социальный антагонизм намечается, он не получает развития. Только в одном варианте (АКФ 14, 48), записанном от 14-летнего мальчика, богатый брат и его семья тонут вместе с соляной мельницей. В других же вариантах вместе с жерновом тонут или рыбаки богатого брата (АКФ 19, 17), или купцы, которые купили мельницу у бедного брата (АКФ 13, 66; 22, 9).

Hiisi — хозяин леса в мифологии карел. По мнению финских языковедов и этнографов, hiisi первоначально обозначал вообще лес, а затем этим именем стали называть мифическое существо, под властью которого якобы находится лес и его обитатели (см.: Uno Harva. Suomalaisten muinaisusko. Helsinki. 1948, стр. 349—355). Позднее, как пишет финский этнограф У. Харва, когда первоначальное значение слова hiisi стало забываться, именем hiisi стали называть мифических подземных существ, живущих в лесах, в горах, под жилищами, под водой и т. д. Отсюда такое расплывчатое представление о величине hiisi: он то может быть великаном, то — меньше мелких зверюшек. В современном языке слово hiisi стало ругательным, вроде русского «черта» или «лешего».

46. Akka i kattila — Старуха и котел. А.—А. 591; записала А. Харламова в 1934 г. в дер. Пудужемье Кемского района от В. Е. Артемьева, 12 л. АКФ 9, 52; варианты — 22, 65 (Калевальский р-н); 101, 16 (Пряжинский р-н). Перевод сказки АКФ 22, 65 на финский язык см.: Mihejeva, стр. 86—88. Сюжет этот у русских не встречается, не отмечен также в финском репертуаре, по данным Аарне.

47. Lerräpölkyn starina — Сказка об Ольховой Чурке. А.—А. 650А + 301А; записала Э. Тимонен в 1947 г. в г. Петрозаводске от М. П. Михеевой, 63 л., уроженки дер. Алозеро района Калевалы. АКФ 22, 39; варианты — АКФ 9, 44 (Кемский р-н); 12, 132; 22, 10; 22, 84 (р-н Калевалы); 35, 37 (Беломорский р-н); 63, 25; 63, 46; 64, 19 (Медвежьегорский р-н); 72, 12; 72, 134 (Кондопожский р-н); 99, 22; 100, 4; 102, 3; 102, 44; 114, 17 (Пряжинский р-н); 135, 103; 136, 3; 136, 120 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSJТ, стр. 17—25 и стр. 25—35; Mihejeva, стр. 61—64; Пажлаков, стр. 64—70 (то же — Конкка, стр. 191—197).

В карельской традиции сюжет 650 А.—А. большей частью контаминируется с сюжетами 300 и 301. Такая композиция необходима для раскрытия основной идеи сказки: чудесная сила, обернувшаяся злом в обыденной обстановке, находит себе достойное применение в богатырских подвигах. Герой, сила которого не уместается в узкие рамки повседневности, отправляется на поиски себе подобных, с тем чтобы вместе наказывать зло и творить добро (убивает змея или хозяйина подземного царства, спасает царевну и т. д.). Чудесная сила героя, как правило, связана с его чудесным рождением: он происходит или от ольховой (осиновой) чурки, или же является сыном медведя (см. текст № 13 и примечание к нему), иногда он сын хозяйки леса. В северной Карелии встречаются варианты, представляющие финскую традицию данного сюжета с характерным концом: герой или уходит навсегда, или же погибает на войне.

В публикуемом варианте девушка из подземного царства называет старика отцом и в то же время объясняет Ольховой Чурке, что она похищенная стариком царская дочь. В ряде карельских вариантов данного сюжета девушка — дочь старика (или старухи), которого преследует герой. Очевидно, это более архаический мотив. Позднее появляется модернизированная мотивировка поступков девушки — она похищенная стариком царевна.

48. Yhdeksän kullaista poikaa — Девять золотых сыновей. А.—А. 707; записал Е. Каллио в 1947 г. в дер. Пирттилакша района Калевалы от О. И. Антипиной, 75 л. АКФ 18, 82; варианты — АКФ 1, 19; 2, 122; 2, 140 (Лоухский р-н); 19, 15; 20, 13; 22, 13; 22, 60; 26, 46 (р-н Калевалы); 36, 9

(Беломорский р-н): 45, 1; 45, 20; 46, 330; 50, 9 (Сегежский р-н); 63, 42; 64, 27; 65, 18; 65, 44 (Медвежьегорский р-н); 72, 129; 72, 147 (Кондопожский р-н); 91, 23; 95, 20; 100, 6 (Пряжинский р-н); 132, 158; 132, 179; 134, 7; 134, 46; 134, 134; 135, 42; 138, 70; 138, 80; 141, 1 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSiT, стр. 93—103, стр. 103—109 и стр. 109—113; KKN I, стр. 55—58; KKN II, стр. 4—8, 138—141; KKN III, стр. 54—56, 169—171; Белова, 15 (русский перевод см.: Пажлаков, стр. 27—32); Конкка, стр. 128—133.

Одна из наиболее распространенных по всей Карелии сказок. Имеется две версии сюжета, наиболее типичной из которых является публикуемая сказка. За редкими исключениями, злое начало в сказке представлено не сестрами царицы, а традиционной Сюоятар. Только в северной Карелии встречается версия, распространенная в Европе, но редко встречающаяся в русском репертуаре. «Классической» карельской версией можно назвать публикуемый текст: Сюоятар три раза подмывает «золотых» сыновей шенятами, котятами, воронятами и пр.; царицу с одним сыном бросают в бочке в море, бочка пристает к острову и т. д.; сын пускается на поиски братьев с колобочками, испеченными на материнском молоке. Над Сюоятар, которая или сама стала женой царевича, или же выдала за него свою дочь, учиняется расправа. Сжигание Сюоятар в смоляной яме больше характерно для северной Карелии, хотя наряду с этим мотивом появляется и другой: Сюоятар привязывают к хвосту трех- или девятилетнего жеребца. В севернорусских вариантах в роли карельской Сюоятар встречается баба-яга (например, Аф. 284). Для всех карельских и финских вариантов сюжета характерно одинаковое начало: разговор трех сестер (иногда трех девушек, не связанных родством), как правило, из бедного сословия. Разговор этот (см. данный текст) почти не варьируется. Описание внешности чудесных детей имеет три основных версии. В районе Калевалы обычно как в данном тексте; южнее мы имеем формулу: «Kuudamoini kukuilla, oudamoini ocalla, päiväni piälakalla» (По месяцу на висках, большая медведица на лбу, солнышко на макушке). В Олонецком районе: «Käit kaluimih sah kuldazet, dallat polvih sah hob'dazet, kuudamoine ocal kumoltaa, päiväne päälakal pastaa, d'oga tukan ladvazes tähtyzet riputah» (До запястья руки золотые, до колен ноги серебряные, месяц на лбу сияет, солнышко на макушке светит, на каждом волосе по звездочке).

49. Kolme sisäreštä — Три сестры. А.—А. 707: записала Липкина в 1937 г. в с. Вокнаволок района Калевалы от М. А. Ремшу, 72 л. АКФ 19, 15. Кроме публикуемого варианта, эту версию мы находим еще в вариантах АКФ 22, 13; 26, 46 (р-н Каленалы); 50, 9 (Сегежский р-н). Во всех этих вариантах злое начало представлено сестрами царицы. Карельские варианты близки к русским и финским вариантам этой версии сюжета (ср. Аф. 288, 289 и Roine, стр. 302—307).

Vierissän akka (баба Виэриста) — мифическое существо, связанное с календарными обрядами карел. По верованиям карел, это существо влияло на жизнь людей от рождения до крещения, это время по-карельски называлось vierissän keski. По сообщению жителей с. Вокнаволок района Калевалы (АКФ 31, 30), баба Виэриста выходит в канун рождения из проруби величиной с льняное семечко, а уходит обратно в крещение величиной с воз сена. Для того чтобы баба Виэриста могла в это время свободно входить и выходить, проруби специально увеличивались и возле них ставили особые кресты, в которых не должно было быть железных гвоздей. Чтобы баба Виэриста не вредила людям, нельзя было работать при свете, несмотря на то, что день в это время на севере очень короток. Нельзя было также оставлять работ недоделанными. Новогодние гадания были непосредственно связаны с Виэриста. Ходили гадать ночью на прорубь, гадали также на перекрестке дорог на коровьей шкуре — это называлось ходить слушать бабу Виэриста. При гаданиях нужно было строго соблюдать установленные правила, иначе Виэриста могла повредить гадающим, как например в данной сказке. Подобные же факты, связанные с карельским Vieristä, изложены в книге Pertti Virtaranta: Vienan kansa muistele. Porvoo—Helsinki, 1958.

50. *Kukko da kana* — Петух и курица. А.—А. 715: записал И. Яковлев в 1937 г. в дер. Педризен Ваара Медвежьегорского района от П. Т. Леонтьевой, 80 л. АКФ 65, 113; варианты: АКФ 16, 72; 22, 4 (р-н Калевалы); 132, 66; 132, 184; 134, 126; 138, 63 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN II, стр. 62—64; Mihejeva, стр. 73—76 (финский перевод варианта АКФ 22, 4; русский перевод того же варианта см.: Евсеев, 54). Можно предполагать, что публикуемый вариант представляет наиболее древнюю редакцию сюжета. В других вариантах мы находим позднейшие наслоения, в сторону усиления социального звучания сюжета. Для позднейшей карельской версии характерно, что волшебный жернов достается детям-сиротам, у которых его и отбирает царь. В сюжет впадают мотивы из сюжета 327А (см.: Евсеев, 54). Петух в этой версии играет роль чудесного помощника — возвращает детям жернов.

51. *Kulkijaukko* — Старик-нищий. А.—А. 750В + 752 (условно) + 751А: записал В. Кормуев в 1937 г. в дер. Пиртилакша района Калевалы от М. Ремшуйевой (возраст неизвестен). АКФ 13, 21; вариант — АКФ 134, 78 (Олонецкий р-н). Как в этой, так и в других карельских легендарных сказках (сюжеты А.—А. 785 и 849В) герой — просто чудесный старик, а не какой-либо конкретный святой. Христианские легенды у карел трансформировались в волшебные сказки с чудесным героем; четко выражая крестьянскую идеологию, они отличаются от волшебных сказок тем, что здесь в центре внимания стоят этические проблемы. Например, герою данной сказки совершенно чуждо христианское всепрощение: он платит добром за добро (бедные оказываются добрее богатых), а за зло и жестокосердие безжалостно наказывает. Подобного рода легендарные сказки распространены в Финляндии (см., например, SKS:Т, стр. 442—445, 446—448), но там они чаще выражают христианскую мораль.

#### Новеллистические и бытовые сказки

52. *Starina kolmešta Matista — pohatta Matti, keyhä Matti ja tuomari Matti* — Сказка про трех Матти: про богатого Матти, бедного Матти и судью Матти. А.—А. 875: записала У. Конкка в 1959 г. в с. Ухта района Калевалы от М. М. Пекшуйевой, 84 л. АКФ 31, 2; варианты — 21, 55; 26, 3 (р-н Калевалы); 72, 130 (Кондопожский р-н); 100, 29; 100, 39 (Пяржикский р-н); 138, 1 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN II, стр. 103—104; KKN III, стр. 122—123.

Вопросы судьбы варьируются. Например: 1) «Что лучше всего греет?» 2) «Что дальше всего слышно?» 3) «Что всего крепче?». Во всех карельских вариантах данного сюжета бедная девушка состязается в уме со своим богатым дядей и судьей, а не с царем и царским сыном, как обычно в русских сказках (ср.: Аф. 328, Онч. 49. См. 47, 116, 192).

53. *Viizaš tyttö* — Хитрая девушка. А.—А. \*875. II: записала О. Елисеева в 1941 г. в с. Тунгула Беломорского района от А. К. Богдановой (возраст неизвестен). АКФ 36, 48 (4); варианты — АКФ 20, 57; 22, 28 (р-н Калевалы); 35, 4 (Беломорский р-н); 52, 3 (Сегежский р-н); 64, 15 (Медвежьегорский р-н); 135, 86; 138, 79 (Олонецкий р-н). В некоторых вариантах мотивировка усилена: царевич задумывает убить младшую сестру за то, что она совершает озорные поступки: переодевшись старухой, лечит его (царапает кошкой); переодевшись царевичем, отменяет его распоряжения к свадьбе и делает свои (принести на стол дохлую лошадь и т. д.). У русских по публикациям известен только вариант Онч. 145 из Повенецкого уезда Архангельской губ. У финнов этот сюжет не зарегистрирован.

54. [Терпеливая жена]. А.—А. 705 и 887: записала У. Конкка в 1948 г. в с. Ухта района Калевалы от А. Ф. Матилайнен, 50 лет. АКФ 26, 31; варианты — АКФ 19, 6; 22, 62 (р-н Калевалы). Русский перевод варианта АКФ 22, 62 (только начало сюжета) см.: Конкка, стр. 61—63. Второй частью данная сказка примыкает к сказкам на сюжет А.—А. 510В в карельской версии «Немая жена» (см. текст № 31 и примечание к нему). Однако мотивы немоты

жены различны. В сюжете А.—А. 510В жена не смеет говорить, так как боится передразнивания, а в данной сказке жена благодаря своему чудесному происхождению лишена дара речи. Вариант АКФ 19, 6 ближе к сюжету «Гризельда» из «Декамерона» Боккаччо, но и там девушка чудесным образом происходит от цветка. Вариант АКФ 19, 6 записан от М. А. Ремшу, сказочный репертуар которой сложился под известным книжным влиянием (имеются в виду финские популярные сборники сказок), поэтому в ее изложении сюжет в отличие от публикуемого текста ближе к бытовой новелле литературного типа, чем к волшебной сказке. Очевидно, в данной карельской версии мы имеем более древнюю основу сюжета, который впоследствии подвергся переосмыслению и получила определенную назидательную нагрузку. В публикуемом тексте, как и в версии «Немая жена» сюжета А.—А. 510В, отсутствуют такие нравственные категории, как долготерпение, покорность и т. д. Историко-бытовая основа и причины немоты жены нам пока непонятны. Возможно, здесь мы имеем дело с какими-нибудь запретами, связанными с древним брачным законом.

Подобное чудесное происхождение героини сказки, как в публикуемом варианте, мы находим в русской сказке Оич. 2/8, записанной в Архангельской губернии. Немота женщины здесь вызвана боязнью передразнивания, как в карельских сказках на сюжет А.—А. 510В.

55. *Laiska akka* — Ленивая жена. А.—А. 901\*В: записала Л. Грендал в 1937 г. в с. Ухта района Калевалы от М. М. Хотсевой, 73 л. АКФ 20, 18. Опубликована на русском языке: Елссен, 44. Варианты — 46, 285 (Сегежский р-н); 101, 21а (Пряжинский р-н). Вариант Хотсевой интересен тем, что в нем муж умно отучает жену от лени, не прибегая к грубым средствам унижительного характера, как обычно в сказках на этот сюжет. Малое количество вариантов на сюжеты «Укрощение строптивой» и «Исправление ленивой» объясняется, вероятно, особенностью семейных отношений у карел: женщина на севере, в силу особых экономических условий, была самостоятельна и уважаема в семье.

56. *Kolme talua* — Три слова. А.—А. 910В; записала Л. Грендал в 1937 г. в с. Ухта района Калевалы от М. М. Хотсевой, 73 л. АКФ 20, 9. Опубликована на русском языке: Елссен, 42. Варианты — 9, 36 (Кемский р-н); 74, 1 (Суоярвский р-н); 103, 3а (Пряжинский р-н); 135, 150 (Олонецкий р-н). Публикации: ККН II, стр. 47—49; ККН III, стр. 18—22, 138—140.

Во всех вариантах, за исключением АКФ 9, 36, одно из «заветных слов» таково: «железо дороже золота». Конец сказки, где царь кается и обращается к герою: «... твой меч — моя голова» — типичен также для севернокарельских сказок на сюжеты А.—А. 675 и 315А.

57. *Suarin poika uut jana* — Царев сын судья. А.—А. 920: записала Липкина в 1937 г. в дер. Вокнаполок района Калевалы от М. А. Ремшу, 72 л. АКФ 19, 12; варианты — АКФ 17, 3 (р-н Калевалы); 35, 41 (Беломорский р-н); 100, 12; 101, 5 (Пряжинский р-н); 134, 22; 134, 41; 135, 93; 135, 94; 136, 8; 138, 53 (Олонецкий р-н); ККН III, стр. 43—48. Восходящие к апокрифическим легендам карельские сказки о царе Соломоне немногим отличаются от русских сказок на этот сюжет; особенно близки к русским сказкам варианты Олонецкого района.

58. *Viisaä mötöien* — Умная невеста. А.—А. 921: записала Липкина в 1937 г. в с. Вокнаполок района Калевалы от М. А. Ремшу, 72 л. АКФ 19, 7; варианты — АКФ 14, 61а; 18, 37; 19, 7 (р-н Калевалы); 64, 4 (Медвежьегорский р-н); 75, 11 (Кондопожский р-н); 135, 162 (Олонецкий р-н). Публикации: Ремшу, стр. 76—79, русский перевод см.: Кюнкка, стр. 79—82.

В северной Карелии бытует и другая версия сюжета, в которой вместо девушки-невесты выступает мальчик, отвечающий царю. Особенно широко эта версия распространена в Финляндии (по данным Аапте, FFC, 5, 155 вариантов). В начале сказки вопросы царя и ответы мальчика не отличаются от вопросов и ответов в сказках типа «Невестины загадки». Далее царь дает мальчику задание приехать к нему с соблюдением определенных условий (как в русских сказках о «семилетке»). Перед этим царь задает вопрос: «Что бе-

лее — день или молоко?». За неправильный якобы ответ царь сажает мальчика в тюрьму, но мальчик доказывает царю, что день белее молока. В ряде вариантов мальчик остается жить у царя и женится на царевне но в некоторых сказках мальчик уходит и конец сказки носит остро сатирический характер (см.: SKSjT, стр. 513—516). Наиболее близкие русские варианты типа «Невестины загадки» — Онч. 211, 217, См. 18.

Публикуемый вариант весьма близок к песне, записанной Леннротом от Архипа Перттунена (SKVR I, 3, 2008) и в переработанном виде опубликованной Леннротом в «Кантелетар» (Kanteletar elikkä Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä, 3. kirja, runo 59, Helsinki, 1942). Песня полностью повторяет сюжетный ход публикуемой сказки, кроме последнего эпизода.

59. *Märinan starina* — Сказка про Маоину. А.—А. 1164: записала Липкия в 1937 г. в с. Вокнаволок района Калевалы от М. А. Ремшв, 72 л. АКФ 19, 20; варианты — АКФ 15, 58 (р-н Калевалы); 35, 9 (Беломорский р-н); 135, 148 (Олонецкий р-н) Начало сказки типично для северно-карельской традиции: вдовец ищет себе жену с определенным признаком (см. тексты №№ 30, 31), или же муж (свекор) ищет повивальную бабу (тексты №№ 20, 48).

60. *Ei vierno akka* — Неверная жена. А.—А. 1380: записал на граммпластинку Н. И. Богданов в 1940 г. в г. Петрозаводске от Т. Е. Туруева, 60 л., проживавшего в дер. Сельга Медвежьегорского района. АКФ, разр. III/2, № 124. Сказка полностью не вошла на пластинку, конец взят из записи А. Симаковой от того же исполнителя за 1940 г. (АКФ 61, 55), текстуально очень близкой к данной записи. Варианты — АКФ 2, 177 (Лоухский р-н); 22, 3 (р-н Калевалы); 35 5 (Беломорский р-н); 52, 5 (Сегежский р-н); 61, 9; 61, 55; 63, 189; 64, 6 (Медвежьегорский р-н); 74, 19 (Кондопожский р-н); 99, 11; 112, 5 (Пряжинский р-н); 132, 51; 132, 155; 135, 871; 141, 20; 142, 14 (Олонецкий р-н).

Данная версия бытует по всей Карелии, но в южных районах появляется русская версия с характерными для нее деталями: один любовник вместо трех, которого муж убивает выстрелом из ружья (ср., например, Онч. 50, 139, Сок. 1). Карельские варианты мало отличаются друг от друга. Расхождения главным образом падают на конец сказки. В ряде вариантов муж, наказав жену, примиряется с ней. Варианты с примирительным концом, как правило, записаны от исполнительниц-женщин.

61. *Rahalompä* — Кошелек с деньгами. А.—А. 1381: записал О. Бородин (год записи неизвестен) в дер. Вокнаволок района Калевалы от М. А. Ремшв. АКФ 19, 1. Русский перевод опубликован: Конкка, стр. 153—154. Варианты — АКФ 35, 299; 36, 22 (Беломорский р-н); SKSjT, стр. 351—353. По имеющимся данным, сюжет бытует только на севере Карелии. Карельские варианты отличаются, в частности, от русских незлобивым отношением к болтливой жене и юмористическим решением темы (ср., например, Онч. 76, 186, Сок. 14).

62. *Ноi, hurit!* — Эх, глупцы! А.—А. 1384 + 1286 + 1210 + 1244 + + 1245 + 1245, I: записал И. Яковлев в 1937 г. в дер. Венги Медвежьегорского района от К. К. Няпшуевой, 60 л. АКФ 65, 41; варианты — АКФ 22, 36; 25, 56 (р-н Калевалы); 52, 8 (Сегежский р-н); 63, 45; 64 25 (Медвежьегорский р-н); 134, 2; 134, 76; 135, 32 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, сто 1—3; Белова, 27; Пажлаков, стр. 131—132 (то же — Конкка, стр. 184—185). Кроме контаминации анекдотов о глупцах с завязкой: «Брат ищет людей глупее сестры и матери» — в Карелии широко распространены анекдоты без контаминации.

63. *Nota-väy* — Зять Хома. А.—А. 1408 + 1685: записал И. Яковлев в 1937 г. в дер. Лазарево Медвежьегорского района от А. И. Гостасневой, 60 л. АКФ 65, 97; варианты — АКФ 19, 31; 22, 73 (р-н Калевалы); 35, 19 (Беломорский р-н); 64, 9 (Медвежьегорский р-н); 134, 1 (Олонецкий р-н). Публикации: Ремшв, стр. 71—73 (вариант АКФ 19, 31; русский перевод см.: Пажлаков, сто 133—134 и Конкка, стр. 171—173); Miheieva стр. 105—106 (вариант АКФ 22, 73; русский перевод см.: Евсеев, 55). Сюжет широко



распространен у финнов (по данным Aarne — 99 вариантов). Известна песня на этот сюжет «Жена-делегатка», возникшая в 20-е годы XX в.

64. *Kukko kiekku* — Кукареку. А.—А. 1415; записал Д. Лажиев в 1956 г. в дер. Коккосалми Лоухского района от Е. Д. Кирилловой, 69 л. АКФ 2, 101; варианты — АКФ 20, 24; 22, 74; 25, 91; 29, 43 (р-н Калевалы); 134, 74 (Олонецкий р-н). Варианты района Калевалы представляют собою оригинальное сплетение двух сюжетов: А.—А. 715 («Петух и жерновцы») и 1415 («Мена»). Старик выполняет функцию петуха, его так же хотят загубить (ср. текст № 50), наконец, чтобы от него избавиться, царь дает золотые башмаки с серебряными запясками; дальше происходит мена. В карельской традиции старуха в конце бьет или прогоняет старика, в западноевропейской и отчасти в русской традиции жена не сердится, и муж выигрывает пари (ср. Аф. 408, 409, Кари. 134).

65. *Rosvo-Klimon atarina* — Сказка о воре Клиймо. А.—А. 1525А; записала У. Конкка в 1954 г. в с. Ухта района Калевалы от И. Л. Лесонен, 72 л. АКФ 28, 279; варианты — 16, 48; 19, 84; 20, 30; 20, 56; 21, 4; 22, 11 (р-н Калевалы); 35, 293 (Беломорский р-н); 45, 10; 47, 41 (Сегежский р-н); 64, 20 (Медвежьегорский р-н); 75, 3 (Кондопожский р-н); 92, 48; 94, 1 (Пряжинский р-н); 137, 10 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 101—103, 139—141; KKN III, стр. 38—39. Литературно обработанный перевод публикуемого текста см.: Конкка, стр. 68—72.

Сюжет широко распространен по всей Карелии. Мотивировки действий героя различны. В северной Карелии обычно такая же мотивировка, как и в данном тексте (ср. Оич. 59), или же сын бедняка вынужден идти на ученье к вору. В южнокарельских вариантах чаще герой — уже известный вор, вернувшийся на родину; он хочет испытать его ловкость. В некоторых случаях сюжет получает большую социальную заостренность, когда герой, не являясь вором, вынужден красть, чтобы получить заработанное им.

66. *Kevhi Matti i bohalla Matti* — Бедный Матти и богатый Матти. А.—А. 1535А; записала К. Белова в 1939 г. в дер. Чиннозеро Суоярвского района от А. К. Исакова, 51 г. АКФ 74, 57; варианты — АКФ 2, 102 (Лоухский р-н); 11, 2; 18, 92; 19, 19; 26, 49 (р-н Калевалы); 63, 233 (Медвежьегорский р-н); 100, 8; 102, 50 (Пряжинский р-н); 132, 49; 134, 17; 135, 170; 137, 5; 138, 59; 139, 5 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN III, стр. 161—165; Jäppев, стр. 16—19; Ренки стр. 86—88 (русские переводы см.: Евсеев, 36; Пажлаков, стр. 119—121, Конкка стр. 164—166). Варианты мало отличаются друг от друга и близки к западноевропейской версии сюжета. Исключения составляют варианты АКФ 11, 2; 134, 17; 137, 5, в которых нет коллизии «бедный и богатый брат»: охотник ловит живого ястреба (орда), который выполняет функцию «дорогой кожи», якобы обладающей чудесными свойствами.

По языковому признаку публикуемая сказка относится к собственно карельским и по этой причине помещена в этом сборнике. Но по манере исполнения и художественным деталям она, как и творчество А. К. Исакова в целом, примыкает к южнокарельской традиции.

67. *Kumohka* — Кумохка. А.—А. \*1538, I + 1539 + 1535\*В. Записала У. Конкка в 1954 г. в с. Ухта района Калевалы от И. Р. Хизтала, 56 л. АКФ 28, 275; варианты — АКФ 13, 12; 14, 19; 18, 92; 20, 10; 20, 23 (р-н Калевалы); 94, 26; 99, 7; 114, 7 (Пряжинский р-н); 134, 113 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN III, стр. 165—167; Пажлаков, стр. 105—110 (перевод варианта АКФ 20, 23; перевод варианта АКФ 20, 10 той же сказочницы см.: Евсеев, 43); Конкка, стр. 114—122 (перевод варианта АКФ 13, 12).

В севернокарельских вариантах сюжета герой выдает себя за сестру, чтобы избавить ее от службы у царя или нежелательного для нее замужества. Такой мотивировки нет ни в южнокарельских, ни в русских вариантах сюжета. Там обычно сестру хотят взять в служанки, чтобы возместить ущерб, нанесенный «шутом», или же шут переодевается женщиной, чтобы дурачить своего противника. Имя Кумохка встречается только в районе Калевалы в вариантах

сказительницы М. М. Хотеевой и ее дочери И. Р. Хизтала (публикуемый вариант). Вообще же нарицательное имя «кумохка» известно в этом районе: так называют веселого шутника, зубоскала, выдумщика. Для северных вариантов характерно, что герой сталкивается с царем и держит себя с ним чрезвычайно независимо и смело (см.: Евсеев, 43). В южной Карелии герой называется «шут», «шут Гришка», «плат Максимка» и т. д.

68. *Laisan miehen starina* — Сказка про ленивого мужика. А.—А. 1539 + + 1535\*В: записал В. Кормуев в 1937 г. в дер. Кеунасозеро района Калевалы от И. П. Торвинена, 50 л. АКФ 13, 9; варианты — АКФ 2, 96 (Лоухский р-н); 13, 18; 19, 8; 19, 51; 22, 24 (р-н Калевалы); 35, 12; 35, 22 (Беломорский р-н); 63, 188; 65, 110 (Медвежьегорский р-н); 72, 4 (Кондопожский р-н); 92, 51; 94, 25; 94, 88; 99, 2; 114, 19 (Пряжинский р-н); 134, 11; 134, 12; 136, 122 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSjT, стр. 324—329; Jännes, стр. 21—23; KKN I, стр. 16—18; KKN III, стр. 48—49; Белова, 22, 26; Пажлаков, стр. 135—138 (перевод сказки Белова, 26); Remsu, стр. 60—65, 80—82; Mihejeva, стр. 107—110.

Сюжет лишь формально обособлен от предыдущего сюжета, где имеется дополнительный эпизод «шут—невеста». Образ героя и в том и в другом типах сюжета один и тот же. Варианты существенно отличаются друг от друга. Для большинства из них характерна социальная коллизия (бедный мужик мстит своим обидчикам — попу, купцу), но встречаются и такие, в которых герой обманывает разбойников или же случайных людей. Публикуемая сказка благодаря превосходной обрисовке героя и мастерству повествования, выдержанного в специфической северной манере, является одной из лучших на этот сюжет. К сожалению, от этого замечательного сказочника, умершего в 1942 г., записана только одна сказка.

69. *Pluutta mužikka* — Плутоватый мужик. А.—А. 1539. Записал Я. Ругоев в 1937 г. в дер. Компаково Беломорского района от А. И. Иванова, 33 л. АКФ 35, 314. Сказка представляет собою вариант широко распространенного в Карелии сюжета (см. тексты №№ 67, 68 и примечания к ним). Здесь сюжет получил чисто юмористическую разработку и бли ок анекдотам о глупцах. Начало публикуемого текста сходно с русской сказкой Худ. 30.

70. *Ukon ta akan starina* — Сказка про старика и старуху. А.—А. 1540: записала У. Конкка в 1959 г. в с. Ухта района Калевалы от М. М. Пекшуевой, 84 л. АКФ 31, 1; вариант — АКФ 135, 838 (Олонецкий р-н). Вариант близок к финской сказке, опубликованной в «Virittäjä» (II, 1886, стр. 116), но в финском варианте обман не мотивирован, там проезжий — плат, как и в части русских вариантов сюжета (например, Аф. 391, Онч. 296). Три финских варианта см.: SKSjT, стр. 501—512; последний из них имеет такую же мотивировку действия, как и публикуемый нами вариант.

71. *Hupakon starina* — Сказка о дурачке. А.—А. 1586: записала У. Конкка в 1954 г. в с. Ухта Калевальского района от И. Л. Лесонен, 72 л. АКФ 27, 277. Записей и публикаций вариантов не имеется.

72. [Поп, дякон и архиерей]. А.—А. 1730: записала У. Конкка в 1954 г. в с. Ухта района Калевалы от И. Л. Лесонен, 72 л. АКФ 28, 276; варианты — АКФ 2, 90 (Лоухский р-н); 19, 97; 20, 29 (р-н Калевалы); 61, 36; 63, 36; 65, 87 (Медвежьегорский р-н); 72, 168 (Кондопожский р-н); 99, 37; 112, 93 (Пряжинский р-н); 136, 85; 137, 16; 141, 4 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN II, стр. 60—61; Белова, 23 (русский перевод см.: Пажлаков, стр. 139—142). Сказки о любовных похождениях служителей культа широко распространены в Карелии. Варианты данного сюжета мало отличаются друг от друга и близки к русским вариантам.

73. [Чучела]. А.—А. 1730 + \*1730 II: записал Я. Ругоев в 1937 г. в дер. Березово Беломорского района от В. Я. Естратовой, 60 л. АКФ 35, 27; варианты — АКФ 112, 93 (Пряжинский р-н); KKN II, стр. 92—96 (только А.—А. 1730, II). Начало сказки очень близко к русской сказке Онч. 256 из Архангельской губ.: сапожник, которому поп платил за работу копейками, просит у богатого мужика, у которого есть дочь-невеста, четверик, чтобы

смерить деньги. Богач предлагает ему дочь в жены. Далее сюжет А.—А. 1730, но без прибавления \*1730, II.

74. *Räpin kazakka* — Попов работник. А.—А. 1775 (конец сказки): записала У. Конкка в 1954 г. в с. Ухта района Калевалы от И. Л. Лесонен, 72 л. АКФ 28, 278. Опубликовано на русском языке: Конкка, стр. 54—58. Варианты (с введением «голодный поп на ночлеге») — АКФ 72, 18 (Кондопожский р-н); 74, 22 (Суоярвский р-н); 133, 27 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 136—137, 159—160; KKN III, стр. 59—60. В ряде карельских вариантов попу противопоставлен дьякон, а не работник (см.: Евсеев, 57). Для карельских сказок о попе и работнике не характерен «уговор не сердиться», зато часто появляется мотив запрета на какое-либо имя, но как раз человека с таким именем поп и вынужден нанять; работник причиняет вред попу (делает вид, что работает и т. п.). Имеется одна запись анекдота (АКФ 72, 82), состоящего только из мотива запрета на имя (как в начале этой и последующей сказки № 76). Возможно, этот анекдот бытовал самостоятельно, но как относящийся к попу и работнику стал применяться также в качестве эпизода в сказках о попе и работнике. Ни у русских, ни у финнов этого мотива нет (по данным указателей Аарне и Андреева). Карельские сказки о попе и работнике по сюжетам разнообразны, и в ряде случаев их трудно определить по указателям. Иногда в одном образе объединяются попов работник и «шут» и сказка приобретает мотивы из сюжета А.—А. \*1538, I и 1539.

75. [Поп и работник]. Сюжет в указателе Аарне—Андреева не обозначен. Записал Я. Ругоен в 1937 г. в дер. Компаково Беломорского района от А. И. Иванова, 33 л. АКФ 35, 15; варианты — АКФ 2, 142 (Лоухский р-н); 13, 71 (р-н Калевалы); 35, 10 (Беломорский р-н); 63, 256; 65, 86 (Медвежьегорский р-н); 74, 59 (Суоярвский р-н); 94, 55; 99, 23; 112, 92; 114, 23 (Пярицкий р-н); 138, 84 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 160—161; Конкка, стр. 83—89.

Публикуемая сказка относится к сказкам типа «Балда» с мотивами из сюжета А.—А. 650А (чуждая сила) и сцеплением анекдотов о глупом черте (водяном). Иногда силач-работник, посланный к «белому» царю, одерживает победу над многоголовыми змеями (сюжет А.—А. 300). Обычно такого типа сказки, как и публикуемая, кончаются мотивом «бегство от работника» (А.—А. 1132). Мотивировка желания хозяина избавиться от работника различна: то работник слишком много ест, то он начинает вредить попу и т. д. Но в ряде вариантов мотивировка отсутствует — это сближает данный сюжет с сюжетом волшебной сказки А.—А. 650А. Мотивировка отсутствует также в одной русской сказке, записанной в Карелии (Азадовский, 25), которая из всех русских вариантов сюжета стоит ближе всего к карельским сказкам этого типа.

76. [Поп и работник]. Сюжет в целом в указателе не обозначен. Записал И. Пажлаков в 1939 г. в с. Ухта района Калевалы от М. Митрофанова (возраст неизвестен). АКФ 13, 32. Варианты см. в примечании к тексту № 75. В этой сказке, как и в ряде других вариантов, желание попа и попадьи избавиться от работника логически не мотивировано. Мотивировка, характерная для русских сказок типа «Балда» (поп боится щелчков силача-работника), появляется только у южных карел, ливвиков и людиков, у которых антипоповские сказки этого типа особенно интересны. Здесь, как и в сказке № 74, имеется мотив запрета на определенное имя. Герой, как и в сказке № 75, обладает необыкновенной силой (мотивы из сюжета А.—А. 650) и одерживает победу над многоголовыми змеями (мотивы из сюжета А.—А. 300). Такое сочетание элементов сатирических антипоповских сказок и волшебных сказок характерно для определенной группы карельских сказок о попе и его работнике (см. статью в настоящем сборнике).

77. *Rappistarina* — Сказка о попе. А.—А. 1825А: записала Т. Ананина в 1937 г. в дер. Селга Медвежьегорского района от Т. Е. Туруева, 60 л. АКФ 61, 19; вариант — АКФ 19, 38 (р-н Калевалы) опубликован на местном карельском диалекте в сборнике: Remsu, стр. 93—95. Севернорусские

сказки на этот сюжет довольно близки к приводимому карельскому варианту (ср.: Сок. 83, 136, Карн. 12). Здесь возможен факт заимствования, о чем свидетельствует как сходство в деталях карельской сказки и вышеуказанных русских сказок, так и то обстоятельство, что карельский сказитель Т. Е. Турев был хорошо знаком с русским народным творчеством: он пел русские былины на русском языке и в собственном переводе на родной язык. Вариант, записанный от М. А. Ремшу, отличается более развернутым повествованием и затушевыванием социальной остроты данного сюжета. У Ремшу поп служит хорошо (даже получает премии!), и народ им доволен. Конец сказки выдержан в духе северокарельского юмора: когда архиерей приезжает «проверить» попа, поп-мужик в проповеди обещает ему взятку в виде денег, на что архиерей отвечает: «Слава тебе, господи!». После этого поп продолжает: «Петри из Лехтовары нарубил мне три сажени ольховых дров. Я бы половину отдал архиер-е-е-ю!». Архиерей отвечает: «Не надо, не надо, оставь у себя дрова-а-а!». Комизм заключается в том, что в Карелии, где достаточно березы и сосны-сухостоя, ольху на дрова не принято рубить.

**78. *Waśa itköy — Живот плачет.*** В указателе сюжет не зарегистрирован. Записала А. Грендал в 1937 г. в с. Ухта района Калевалы от М. М. Хостевой, 73 л. АКФ 20, 4; вариант — АКФ 35, 6 (Беломорский р-н). Эти два варианта совпадают во всех деталях.

**79. *Rukehen tähkä — Ржаной колос.*** В указателе сюжет не зарегистрирован. Записала В. Мелляри в 1946 г. в с. Ухта района Калевалы от Е. И. Хмяляйнен, 74 л. АКФ 23, 11; варианты — АКФ 74, 38 (Суоярвский р-н); 101, 33 (Пряжинский р-н); ККН II, стр. 50—51. В вариантах момент предсказания во сне отсутствует. Сказка ранее опубликована в русском переводе: Конкка, стр. 64—65.

**80. *Cuarin starinansaŋoja — Царский сказочник.*** В указателе сюжет не зарегистрирован. Записала А. Леонтьева в 1941 г. в с. Вокнаволок района Калевалы от Е. А. Васара (возраст неизвестен). АКФ 15, 120; вариант — ККН III, стр. 107—108. Сказка в некоторой степени сближается с сюжетом А.—А. \*1376 («Муж отучает жену от сказок») и со сказками типа «небылиц»; в ней своеобразно использована завязка сказок Шахразеды в «Книге тысячи и одной ночи». Сравнивая два известных нам варианта сказки (другой вариант записан в том же районе в 1871 г.), мы обнаруживаем социальное обострение сюжета. При одинаковой сюжетной схеме и сходных по содержанию небылицам совершенно различны мотивы, по которым герой рассказывает эти небылицы. В более раннем варианте отец с сыном идут к царю просить денег для женитьбы; царь обещает дать деньги при условии, если они расскажут три не известных ему небылицы.

Подобного типа сказки бытуют в Карелии также среди русских (см.: Азадовский, 30; Корг. 66). По построению обе русские сказки близки к публикуемой карельской сказке. Сказка — Азадовский, 30 отличается лишь по завязке: царь обещает полцарства и царевну тому, кто расскажет сказку, какой никто не слышал.



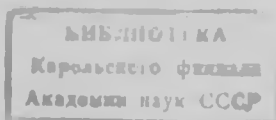
## СЛОВАРЬ МАЛОПОНЯТНЫХ СЛОВ

- Ахкиво (карельское ahkivo) — санки в виде лодочки с усеченной кормой; ахкивом пользовались охотники и рыбаки только зимой
- Бабить (карельское baubuija) — повипать, принимать в родах
- Важенка — самка северного оленя
- Взвоз (взвозье, павозы, павезд) — в севернорусских и карельских крестьянских домах настил со двора в верхний гарай для въезда туда возом
- Вица (карельское vičca) — хворостинка, розга
- Голбец — припечье с дверцами, со ступеньками для выхода на печь и с лазом в подполье
- Грядка — жердь из стены в стену под потолком, на которой сушат лучину, подвешивают лук и др.
- Загуста — вандруха, каша из ржаной муки, которую едят с молоком или коровьим маслом
- Казак (карельское kazakka) — батрак, нанимавшийся на целый год, не поденщик
- Каменка — банная печь, сложенная из камня, на которую поддают пар
- Квач — помазок в дегтярнице для смазки лодок легтем
- Колосники — жерди в риге, на которые ставятся снопы для просушки
- Корба (карельское korbi) — густой, темный еловый лес в сырой низине
- Ламба (карельское lambi) — небольшое лесное озеро без истоков
- Лапаливо (карельское lapalivo) — синоним змеи, употребляемый в карельской народной поэзии; применяется также в качестве синонима и эпитета к Сююятар
- Линда (карельское linda) — мучная похлебка, сваренная на молоке
- Соплича (карельское sorpičča) — берестяная торба для кормления лошади зерном
- Сорока (карельское sorokka) — старинный женский головной убор, украшенный шитьем или жемчугом
- Тунтури (финское tunturi) — безлесные горы в Лапландии
- Чунки (карельское čuna) — ручные санки, по форме напоминающие дровни

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- А. А. — Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне, Л., 1929
- АКФ — Архив Карельского филиала Академии наук СССР (первая цифра обозначает номер коллекции, вторая цифра — номер текста)
- Азадовский — Русские сказки в Карелии (старые записи). Подготовка текстов и комментарии М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1947
- Аф. — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, в трех томах. Подготовка текста и примечания В. Я. Проппа. М., 1957
- Евсеев — Карельский фольклор. Новые записи. Вступительная статья, подготовка текстов и примечания В. Я. Евсеева. Под редакцией В. Я. Проппа. Петрозаводск, 1949
- Еф. — П. С. Ефименко. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, ч. 2. М., 1878
- Ж. ст. — «Живая старина», XXI (1912), вып. II—IV
- ЗВ — Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Вятской губернии. Записки Русского географического общества по отделению этнографии, т. XLII, Пгр., 1915
- ЗП — Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Пермской губернии. Записки Русского географического общества по отделению этнографии, т. XLI, Пгр., 1914
- Ив. — Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н. А. Иванидким в Вологодской губернии. Вологодское книжное издательство, 1960
- Карн. — И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного края. Л., 1934
- Конкка — Карельские народные сказки. Составление, вступительная статья и примечания У. С. Конкка, научная редакция В. Я. Евсеева. Петрозаводск, 1959
- Корг. — Сказки М. М. Коргуева. Записи, вступительная статья и комментарий А. Н. Нечаева. Петрозаводск, 1939
- Никифоров — Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. Издание подготовил В. Я. Пропп. Издательство АН СССР, М.—Л., 1961
- Онч. — Северные сказки. Архангельская и Олонецкая губ., сборник Н. Е. Ончукова. Записки Русского географического общества по отделению этнографии, т. XXXIII, СПб., 1908
- Пажлаков — Карельские сказки. Составил, перевел с карельского и литературно обработал И. Пажлаков. Петрозаводск, 1947
- См. — А. М. Смирнов. Сборник великорусских сказок архива Русского географического общества, вып. I—II. Записки Русского географического общества по отделению этнографии, т. XLIV, Пгр., 1917
- Сок. — Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915
- Худ. — И. А. Худяков. Великорусские сказки, I—III. М., 1860—1862
- Чистов — Перстенек — двенадцать ставешков. Избранные русские сказки Карелии. Составление, вступительная статья и комментарий К. Чистова, научная редакция Н. Полищук. Петрозаводск, 1958
- Aarne — Antti Aarne. Finnische Märchenvarianten. Verzeichnis der bis 1908 gesammelten Aufzeichnungen. Ausgearbeitet von A. Aarne. FFC (Folklore Fellows Communications), № 5, Hamina, 1911; Finnische Märchenvarianten. Ergänzungsheft I. Verzeichnis der in den Jahren 1908—1918 gesammelten Aufzeichnungen. FFC, № 33, Helsinki, 1920

- Белова — Карелиян рахвахан суарнат. Состуави К. Белова. Петрозаводск, 1939
- Finne — Satujen maailma, kertonut Jalmari Finne. Suomen kansan sadut. II. Porvoo, 1910
- Jännes A. — Kielellisiä muistiinpanoja Kaakkois-Karjalasta. Helsinki, 1889
- KKN I — Karjalan kielen näytteitä, 1. osa. Julk. Eino Leskinen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 193. osa, Helsinki, 1932
- KKN II — Karjalan kielen näytteitä, 2. osa. Julk. E. Leskinen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 193. osa, Helsinki, 1934
- KKN III — Karjalan kielen näytteitä, 3. osa. Julk. E. Leskinen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 193. osa, Helsinki, 1936
- Mihejeva — M Mihejeva. Karjalaisia kansansatuja. Petroskoi, 1951
- Remsu — M. Remsu. Karjalais-suomalaisia kansansatuja. Petroskoi, 1945.
- Rolno — Roinе, Raul. Suomen kansan suuri satukirja. Alkulauseen kirjoittanut Martti Haavio. Porvoo-Helsinki, 1952
- SKS I — Suomalaisia kansansatuja. I. osa. Eläinsatuja. Toim. K. Krohn. Helsinki, 1886
- SKS II — Suomalaisia kansansatuja. 2. osa. Kuninkaallisia satuja. 1. vihko. Toim. K. Krohn ja L. Lilius, Helsinki, 1893
- SKSjT — Suomen kansan satuja ja tarionoita. Toim. Eero Salmelainen. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1955
- SKVR — 1) Suomen kansan vanhat runot, I. Vienan läänin runot, 3. Julkaisut A. R. Niemi. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1919. 2) Suomen kansan vanhat runot, I. Vienan läänin runot, 4. Julkaisut A. R. Niemi. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1921



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие (В. Евсеев)	3
О собирании и некоторых особенностях карельских сказок (У. Конкка)	6

### Сказки о животных

1. Repo ta ukko kalalla. Лиса и старик на рыбной ловле	52
2. Repo ta kontie. Лиса и медведь	53
3. Kontie, hukka ta repo huuhan leikkuussa. Медведь, волк и лиса делят урожай	54
4. Repo, kontie ta jänis. Лиса, медведь и заяц	57
5. Ukko, akka ta orava. Старик, старуха и белка	60
6. Kurki ja repo kuomakset. Журавль и лиса — кумовья	63
7. Kuren ta revon starina. Сказка о журавле и лисе	64
8. Orava, kinnas ta niekla. Белка, рукавица да игла	68
9. Revon starina. Сказка о лисе	71
10. [Без названия]. [Напуганные волки]	74
11. Härän starina. Сказка про быка	77
12. «Juvästä kukko...». «Из зернышка петух...»	81

### Волшебные сказки

13. Ivan Med'ved'ev. Иван Медведев	83
14. [Без названия]. [Два брата]	89
15. «Nenä halki, suolua siäme». «Нос надвое, соли в рану»	100
16. Kuošalistarina. Сказка о прялке	111
17. [Без названия]. [Младший брат]	113
18. Sulistarina. Сказка о чули	118
19. «Piili, piili, Pilkkani...». «Пийли, пийли, моя Пятнашка...»	120
20. Sinipetra. Синяя важенка	127
21. [Без названия]. [Подменная жена]	132
22. Karphen starina. Сказка про козла	140
23. Bokko da tyttö. Девушка и баран	150
24. Paimen Juakko. Пастух Юакко	153
25. Hätikkö-tyttären starina. Сказка о девушке-неряхе	163
26. [Без названия]. [Мачеха и падчерица]	167
27. Laiska tytär. Ленивая дочь	171
28. Musta lammaš. Черная овца	175



29. [Без названия]. [Погоня за дочерью]	185
30. [Без названия]. [Фонарь]	187
31. Sinipeigalon starina. Сказка о синепалой	194
32. Kolme tytärtä i čuarin poika. Три сестры и царев сын	199
33. Tuhkimus-niätästarina. Сказка о Тухкимусе и кунице	205
34. Kolmejalcani heponi. Трехногая лошадь	212
35. [Без названия]. [Десять братьев и сестра]	219
36. Kiššalan linnan prinšessa. Принцесса кошачьего замка	226
37. Brihačču kondien berlogassa eli. Паренек в медвежьей берлоге жил	230
38. Tuhkimus-Tähkimyš. Тухкимус-Тяхкимюс	237
39. Car' Davida. Царь Давид	245
40. Narakkastarina. Сказка о сороках	267
41. Kultakalan starina. Сказка о золотой рыбке	281
42. Cuarin tytär. Царева дочь	286
43. [Без названия]. [Волшебное кольцо]	287
44. Köyhä velli ta pohatta velli. Бедный брат и богатый брат	298
45. Jauhinkivi. Ручной жернон	304
46. Akka i kattila. Старуха и котел	306
47. Leppäpölkyn starina. Сказка об Ольхоной Чурке	308
48. Yheksän kullaista poikua. Десять золотых сыновей	320
49. Kolme sisäreätä. Три сестры	326
50. Kukko da kana. Петух и курица	333
51. Kulkijaukko. Старик-ищий	336

#### Новеллистические и бытовые сказки

52. Starina kolmešta Matista — pohatta Matti, keyhä Matti ja tuomari Matti. Сказка про трех Матти — про богатого Матти, бедного Матти и судью Матти	340
53. Viizaš tyttö. Хитрая депушка	345
54. [Без названия]. [Терпеливая жена]	348
55. Laiska akka. Ленивая жена	353
56. Kolme banua. Три слона	355
57. Cuarin poika sut'jana. Царев сын судьей	367
58. Viisaš morsien. Умная невеста	374
59. Marinan starina. Сказка про Марину	378
60. Ei viernoi akka. Неверная жена	381
61. Rahalompä. Кошелек с деньгами	386
62. Hoi, hurit! Эх, глупцы!	389
63. Нота-väy. Зять Хома	392
64. Kukko kiekuu. Кукареку	399
65. Rosvo-Kliimon starina. Сказка о воре Клиймо	404
66. Keyhä Matti i bohatta Matti. Бедный Матти и богатый Матти	411
67. Kumohka. Кумохка	429
68. Laisan miehen starina. Сказка про ленивого мужика	437
69. Pluutta muzikka. Плутватый мужик	449
70. Ukon ta akan starina. Сказка про старика и старуху	454
71. Нупакон starina. Сказка о дурачке	456

72. [Без названия]. [Поп, дьякон и архиерей] . . . . .	458
73. [Без названия]. [Чучела] . . . . .	464
74. Papiin kasakka. Попов работник . . . . .	471
75. [Без названия]. [Поп и работник] . . . . .	479
76. [Без названия]. [Поп и работник] . . . . .	482
77. Pappistarina. Сказка о попе . . . . .	490
78. Vaäsa itköu. Живот плачет . . . . .	491
79. Rukehen tähkä. Ржаной колос . . . . .	496
80. Suarin starinansanoja. Царский сказочник . . . . .	498
Примечания (У. Конкка) . . . . .	501
Словарь малопонятных слов (У. Конкка) . . . . .	523
Список сокращений . . . . .	524

### Карельские народные сказки

Утверждено к печати

Институтом истории, языка и литературы Карельского филиала АН СССР

Редактор Издательства А. И. Смирнова  
Художник М. Н. Свинына

Технический редактор Р. А. Замареза  
Корректоры Т. Н. Богданова-Катькова и М. А. Горилас

Сдано в набор 28/XII 1962 г. Подписано к печати 4/IV 1963 г. РИСО АН СССР № 104—10В. Формат бумаги 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. л. 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Печ. л. 33 = 33 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 37,54. Изд. № 1662. Тип. зак. № 985. М-26421. Тираж 2200. Цена 2 р. 35 к.

Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР  
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издательства Академии наук СССР. Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
28	15 снизу	объектом	объектом
33	22 сверху	valkjessa	valkiessa
39	17 "	A.—A. * 1535 B).	A.—A. 1535* B).
55	23 снизу	sekan,	sekah,
92	12 "	Issuuttih,	Istuuttih,
142	10 "	tuuzlit	tuuflit
207	23 "	huhuo:	huhuo:
357	2 "	Htän	Hiän
404	15 сверху	nossetin	nossettih
417	16 "	puolinellikkyö).	puolinellikkyö).
417	13 "	teelo.	t'eelo.
419	6 "	kaccouga	kaccou ga
450	5 снизу	perti	pertin
484	25 сверху	Kumppani	Kumpani
509	1 снизу	дяди,	леда,